РОБЕРТ
МУЗИЛЬ

ЧЕЛОВЕК
БЕЗ
СВОЙСТВ

Человек без свойств (Книга 1)

Роберт Музиль

Аннотация
Роберт Музиль. Человек без свойств. (Книга 1)
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Своего рода введение
1. Откуда, надо заметить, ничего не вытекает
2. Дом и жилище человека без свойств
3. Даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами
4. Если есть на свете чувство реальности, то должно быть и чувство возможности
5. Ульрих
6. Леона, или Смещение перспективы
7. В состоянии слабости Ульрих приобретает новую возлюбленную
8. Каканиа
9. Первая из трех попыток стать выдающимся человеком
10. Вторая попытка. Предпосылки морали человека без свойств
11. Самая важная попытка
12. Дама, чьей любви Ульрих добился после одного разговора о спорте и мистике

13. Гениальная скаковая лошадь способствует созреванию убеждения, что ты — человек без свойств
14. Друзья юности
15. Душевный переворот
16. Таинственная болезнь времени
17. Воздействие человека без свойств на человека со свойствами
18. Моосбругер
19. Увещевание письмом и случай приобрести свойства. Конкуренция двух вступлений на престол
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Происходит все то же
20. Соприкосновение с реальностью. Несмотря на отсутствие свойств, Ульрих действует энергично и пылко
21. Истинное изобретение параллельной акции графом Лейнсдорфом
22. Приняв обличье влиятельной дамы неописуемого интеллектуального обаяния, параллельная акция готова проглотить Ульриха
23. Первое вмешательство великого человека
24. Собственность и образованность; дружба Диотимы с графом Лейнсдорфом и служба приведения знаменитых гостей к единству с душой
25. Недуг замужней души

26. Слияние души и экономики. Человек, способный соединить их, хочет насладиться барочным очарованием старой австрийской культуры. Благодаря этому рождается идея для параллельной акции

27. Суть и содержание великой идеи

28. Глава, которую может пропустить всякий, кто не очень высокого мнения о занятости мыслями

29. Объяснение и нарушения нормального режима сознания

30. Ульрих слышит голоса

31. На чьей ты стороне?

32. Забытая, чрезвычайно важная история с супругой одного майора

33. Разрыв с Бонадеей

34. Горячий луч и остывшие стены

35. Директор Лео Фишель и принцип недостаточного основания

36. Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое

37. Один публицист доставляет изобретением «австрийского года» большие неприятности графу Лейнсдорфу; его сиятельство крайне нуждается в Ульрихе

38. Кларисса и ее демоны
39. Человек без свойств состоит из свойств без человека
40. Человек со всеми свойствами, но они ему безразличны. Князь духа попадает под арест, и параллельная акция получает почетного секретаря
41. Рахиль и Диотима
42. Великое заседание
43. Первая встреча Ульриха с великим человеком. В мировой истории не происходит ничего неразумного, но Диотима выдвигает тезис, что истинная Австрия — это весь мир
44. Продолжение и конец великого заседания. Ульрих находит приятность в Рахили, Рахиль — в Солимане. Параллельная акция получает твердую организационную форму
45. Молчаливая встреча двух горных вершин
46. Идеалы и нравственность — лучшее средство, чтобы заполнить ту большую дыру, которую называют душой
47. То, что все прочие представляют собой порознь, Арнгейм представляет собой в одном лице
48. Три причины славы Арнгейма и тайна целого
49. Начало разнобоя между старой и новой

дипломатией

50. Дальнейшее развитие. Начальник отдела Туцци решает получить ясное представление о личности Аргейма

51. Фишель и его домочадцы

52. Начальник отдела Туцци отмечает пробел в работе своего министерства

53. Моосбругера переводят в новую тюрьму

54. Ульрих показывает себя реакционером в беседе с Вальтером и Клариссой

55. Солиман и Аргейм

56. Напряженная работа в комитетах параллельной акции. Кларисса пишет его сиятельству и предлагает год Ницше

57. Великий подъем. Диотима делает странные открытия относительно сущности великих идей

58. Параллельная акция вызывает тревогу. Но в истории человечества не бывает добровольных поворотов назад

59. Моосбругер размышляет

60. Экскурсия в царство логики и морали

61. Идеал трех статей, или Утопия точной жизни

62. И земля, а Ульрих в особенности, преклоняется перед утопией эссеизма

63. У Бонадеи видение
64. Генерал Штумм фон Бордвер навещает Диотиму
65. Из разговоров Аргейма и Диотимы
66. Между Ульрихом и Аргеймом не все гладко
67. Диотима и Ульрих
68. Отклонение в сторону: должны ли люди быть в согласии со своим телом?
69. Диотима и Ульрих. Продолжение
70. Кларисса навещает Ульриха, чтобы рассказать ему одну историю
71. Комитет по выработке директив в связи с семидесятилетием правления его величества начинает заседать
72. Наука улыбается в бороду, или первая обстоятельная встреча со злом
73. Дочь Лео Фишеля Герда
74. Четвертый век до Р. Х. против 1797 года. Ульрих снова получает письмо от отца
75. Генерал Штумм фон Бордвер смотрит на визиты к Диотиме как на приятное разнообразие в служебных обязанностях
76. Граф Лейнсдорф проявляет сдержанность
77. Аргейм как друг журналистов
78. Превращения Диотимы

79. Солиман любит

80. Более близкое знакомство с генералом Штуммом, который неожиданно появляется на Соборе

81. Граф Лейнсдорф высказывается о реалистической политике. Ульрих учреждает союзы

82. Кларисса требует года Ульриха

83. Происходит все то же, или Почему не придумывают историю?

84. Утверждение, что и обыкновенная жизнь по природе своей утопична

85. Старания генерала Штумма внести порядок в штатский ум

86. Король от коммерции и слияние интересов души и тела, а также: Все дороги к уму идут от души, но ни одна не ведет назад

87. Моосбругер пляшет

88. Связь с великими вещами

89. Надо идти в ногу со временем

90. Низложение идеократии

91. Игра a la baisse и a la hausse на бирже духа

92. Из правил поведения богатых людей

93. Даже с помощью физической культуры к штатскому уму подступиться трудно

94. Ночи Диотимы

95. Сверхлитератор, вид сзади

96. Сверхлитератор, вид спереди
97. Таинственные силы и предназначения Клариссы
98. Насчет государства, погибшего от неточного словоупотребления
99. О полусмышлености и ее плодотворной другой половине, о сходстве двух эпох, о милом нраве тетушки Джейн и о нелепости, которую называют новым временем
100. Генерал Штумм вторгается в государственную библиотеку и приобретает опыт, относящийся к библиотекарям, библиотечным служителям и духовному порядку
101. Враждующие родственники
102. Борьба и любовь в доме Фишелей
103. Соблазн
104. Рахиль и Солиман на тропе войны
105. Возвышенной любви не до шуток
106. Верит ли современный человек в бога или в главу мирового концерна? Нерешительность Аргейма
107. Граф Лейнсдорф добивается неожиданного политического успеха
108. Нераскрепощенные народы и мысли генерала Штумма о слове «раскрепощение» и родственных с ним словах

109. Бонадея, Какания; системы счастья и равновесия
110. Распад и сохранение Моосбругера
111. Для юристов не существует полусумасшедших людей
112. Аргейм приобщает своего отца Самуила к богам и принимает решение завладеть Ульрихом. Солиман хочет подробнее узнать о своем царственном отце
113. Ульрих беседует с Гансом Зеппом и Гердой на смешанном языке пограничной области между сверхразумным и не вполне разумным
114. Обстановка обостряется. Аргейм очень милостив к генералу Штумму. Диотима делает приготовления к отбытию в беспредельность. Ульрих фантазирует о возможности жить так же, как читаешь
115. Кончик твоей груди как лепесток мака
116. Два древа жизни и требование учредить генеральный секретариат точности и души
117. Черный день Рахили
118. Ну, так убей его!
119. Контрманевр и совращение
120. Параллельная акция сеет смуту
121. Обмен мнениями
122. Путь домой

123. Поворот

Аннотация

Роман «Человек без свойств» — главное произведение выдающегося австрийского писателя XX в. Роберта Музиля (1880–1942). Взяв в качестве материала Австро-Венгрию накануне первой мировой, Музиль создал яркую картину кризиса европейского буржуазного общества.

Роберт Музиль
Человек без свойств
(Книга 1)

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Своего рода введение
1
Откуда, надо заметить, ничего не вытекает

Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, — и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, — стоял прекрасный августовский день 1913 года.

Автомобили вышмыгивали из узких, глубоких улиц на отмели светлых площадей. Пешеходы тянулись темными мглистыми потоками. Там, где их вольную поспешность перерезали более мощные скорости, они утолщались, текли затем быстрее и, немного попетляв, опять обретали свой равномерный пульс. Сотни звуков сливались в могучий гул, из которого поодиночке выступали вершины, вдоль которого тянулись и снова сходили на нет бойко выпиравшие ребра, от которого откалывались и отлетали звонкие звуки. По этому шуму, хотя особенность его описанию не поддается, человек после многолетнего отсутствия с закрытыми глазами узнал бы, что он находится в имперской столице Вене. Города можно узнавать по походке, как людей. Открыв глаза, он определил бы то же самое по характеру уличного движения гораздо раньше, чем ему подсказала бы это какая-либо примечательная деталь. И даже если он только воображает, что смог бы определить, тоже не беда. Переоценка вопроса о том, где ты находишься, идет от времен кочевого быта, когда надо было примечать места пастбищ. Интересно узнать, почему, когда речь идет о красном носе, довольствуются весьма неточной констатацией, что он красен, и нико-

гда не спрашивают, какого именно он красного цвета, хотя это можно с точностью до микрона выразить через длину волны; а когда речь идет о такой намного более сложной вещи, как город, где кто-то находится, всегда хотят точно знать, какой именно город имеется в виду. Это отвлекает от более важного.

Не надо, стало быть, придавать особое значение названию города. Как все большие города, он состоял из разнобоя меняющихся, забегающих вперед, отстающих, сталкивающихся предметов и дел, из бездонных точек тишины между ними, из проторенных путей и бездорожья, из большого ритмического шума и из вечного разлада и сдвига всех ритмов и в целом походил на клокочущий кипяток в сосуде, состоящем из прочного материала зданий, законов, установлений и традиций. У тех двух, что шли в этом городе по широкой оживленной улице, такого впечатления, разумеется, вовсе не было. Они явно принадлежали к привилегированному слою общества, были аристократичны в одежде, осанке и манере говорить друг с другом, носили на белье свои со значением вышитые инициалы и точно так же, то есть не напоказ, а в тонком нижнем белье своего сознания, знали, кто они такие и что в имперской

столице они на месте. Если предположить, что их имена Арнгейм и Эрмелинда Туцци, — что, однако, не соответствует действительности, ибо госпожа Туцци находилась в августе в обществе своего супруга в Бад Аусзее, а доктор Арнгейм еще в Константинополе, — то напрашивается вопрос, кто же они. Люди живого ума очень часто встречают на улицах такие вопросы. Решение их, надо заметить, состоит в том, что их забывают, если не могут в течение следующих пятидесяти шагов вспомнить, где уже видели этих двоих. Но вот пара эта внезапно остановилась, потому что впереди столпился народ. Уже на мгновение раньше что-то выскочило из ряда, двинулось наискось; что-то крутнулось, скользнуло в сторону, тяжелый, резко затормозивший грузовик, как оказалось теперь, заехав одним колесом на кромку тротуара, сидел на мели. Как пчелы вокруг летка, сразу скопились люди вокруг пятачка, который они оставили незаполненным. Там, выйдя из своей машины, стоял шофер, серый, как оберточная бумага, и объяснял происшествие, грубо жестикулируя. Взгляды подходивших устремлялись на него, а потом осторожно спускались в глубину прогалины, где кто-то, недвижный, как мертвец, был уложен на край тротуара. Он

пострадал из-за собственной неосторожности, как все признали. Люди попеременно опускались возле него на колени, чтобы что-нибудь с ним предпринять, распахивали и снова запахивали его пиджак, пытались приподнять его или, наоборот, вновь уложить; никто, собственно, не преследовал этим никакой другой цели, кроме как заполнить время, пока со спасательной службой не прибудет умелая и полномочная помощь.

Дама и ее спутник также подошли и поглядели поверх голов и согнутых спин на лежавшего. Затем они отошли назад и помедлили. Дама почувствовала что-то неприятное под ложечкой, что она вправе была принять за сострадание; это было нерешительное, сковывающее чувство. Господин после некоторого молчания сказал ей:

— У этих тяжелых грузовиков, которыми здесь пользуются, слишком длинный тормозной путь.

Дама почувствовала после таких слов облегчение и поблагодарила внимательным взглядом. Она уже несколько раз слышала это выражение, но не знала, что такое тормозной путь, да и не хотела знать; ей достаточно было того, что сказанное вводило этот ужасный случай в какие-то рамки и превращало в техническую проблему, которая ее непосредственно не касалась. Да и

слышна была уже резкая сирена «скорой помощи», и быстрота ее прибытия наполнила удовлетворением всех ожидавших. Замечательная вещь — эти социальные службы. Пострадавшего положили на носилки и вдвинули вместе с ними в машину. Вокруг него хлопотали люди в какой-то форменной одежде, а внутри кареты, насколько улавливал взгляд, все было так же опрятно и правильно, как в больничной палате. Уйти можно было с почти оправданным убеждением, что произошло нечто законное и правомерное.

— По американской статистике, — заметил господин, — там ежегодно из-за автомобильных катастроф гибнет сто девяносто тысяч и получает увечья четыреста пятьдесят тысяч человек.

— Вы думаете, он мертв? — спросила его спутница, у которой все еще было неоправданное чувство, что она присутствовала при чем-то из ряда вон выходящем.

— Надеюсь, он жив, — отвечал господин. — Когда его вносили в машину, он казался живым.

2

Дом и жилище человека без свойств

Улица, где произошел этот маленький несчастный случай была одним из тех длинных, извилистых транспортных потоков, которые лучами вытекают из центра города, пересекают окраины и впадают в предместья. Задержись здесь наша изящная пара чуть дольше, она увидела бы нечто такое, что ей наверняка понравилось бы. Это был отчасти еще сохранившийся сад восемнадцатого или даже семнадцатого века, и, проходя мимо его решетчатой ограды из кованого железа, можно было увидеть между деревьями, на тщательно подстриженном газоне, что-то вроде небольшого, с короткими крыльями замка, охотничьего или предназначенного для любовных радостей замка минувших времен. Точнее говоря, его несущие арки остались от семнадцатого века, парк и верхний этаж отдавали восемнадцатым, фасад был обновлен и немного испорчен в девятнадцатом веке, так что все вместе казалось несколько смазанным, как фотографические снимки, сделанные один поверх другого; но все же при виде всего этого никак нельзя было не остановиться и не сказать «Ах!». А когда это белое прелестное зданьице отворяло свои окна, взгляду открыва-

лась благородная тишина уставленных книгами стен жилища ученого.

Это жилище и этот дом принадлежали человеку без свойств.

Он стоял за одним из окон, смотрел сквозь нежно-зеленый фильтр садового воздуха на коричневатую улицу и уже десять минут с часами в руке считал автомобили, экипажи, трамваи и размытые расстоянием лица пешеходов, заполнявших сеть взгляда торопливым снованием; он определял скорости, углы, кинетическую энергию движущихся физических тел, которые молниеносно притягивают, привязывают, отпускают глаз и в течение не поддающегося никакому учету времени заставляют внимание упереться в них, оторваться, перескочить к следующему и метнуться за ним; короче говоря, немного посчитав в уме, он со смехом спрятал часы в карман и пришел к заключению, что занимался ерундой… Если бы можно было измерить скачки внимания, работу глазных мускулов, колебательные движения души и все усилия, затрачиваемые человеком на то, чтобы удержаться на ногах в потоке улицы, получилась бы, наверно, — так он думал и забавы ради попытался вычислить эту невозможную сумму, — величина, по сравнению

с которой сила, необходимая Атланту чтобы удержать на себе мир, ничтожна, и можно было бы измерить, какую огромную работу совершает ныне даже человек ничего не делающий.

Ибо человек без свойств был сейчас таким человеком.

А делающий что-либо?

— Из этого можно извлечь два вывода, — сказал он себе.

Мышечная работа обывателя, который спокойно ходит целый день по своим делам, значительно больше, чем мышечная работа атлета, который раз в день выжимает огромный вес; это доказано физиологически, и, значит, мелкие обыденные усилия в их общественной сумме и благодаря тому, что они поддаются этому суммированию, вносят в мир, пожалуй, больше энергии, чем героические подвиги; героический подвиг представляется даже крошечным, как песчинка, с помпой водружаемая на гору. Эта мысль ему понравилась.

Но нужно прибавить, что понравилась она ему вовсе не потому, что он любил обывательскую жизнь; напротив, ему просто доставляло удовольствие создавать затруднения своим склонностям, которые когда-то были иными. Может быть,

как раз обыватель-то и предчувствует начало огромного нового, коллективного, муравьиного героизма? Его назовут рационализированным героизмом и сочтут куда как прекрасным. Кто может знать это уже сегодня? А таких остававшихся без ответа вопросов тогда были сотни. Они носились в воздухе, они горели под ногами. Время двигалось. Люди, которые тогда еще не жили, не захотят этому поверить, но уже тогда время двигалось со скоростью верхового верблюда, а не только сегодня. Не знали лишь куда. Да и не могли как следует разобраться, что было наверху, а что внизу, что шло вперед, а что назад.

— Можно делать что угодно, — сказал себе человек без свойств, пожимая плечами, — в такой сумятице сил это не имеет ни малейшего значения!

Он отвернулся, как человек, который научился отказываться, даже почти как больной, который боится всякого сильного прикосновения, и когда он, шагая через смежную гардеробную, проходил мимо висевшей там боксерской груши, он нанес ей такой быстрый и мощный удар, каких в смиренном настроении или в состоянии слабости обычно не наносят.

3
Даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами

Только, собственно, из озорства и потому, что он терпеть не мог обычных квартир, снял человек без свойств, не так давно вернувшись из-за границы, этот маленький замок, бывший некогда летней резиденцией перед городскими во— ротами, которая утратила свое назначение, когда ее поглотил разросшийся город, и стала в конце концов всего лишь пустующим, ждущим повышения цен на землю, никем не заселенным земельным участком. Арендная плата была соответственно низкой, но неожиданно много денег ушло затем на то, чтобы привести все в порядок и увязать с современными требованиями; это была авантюра, исход которой вынудил его обратиться за помощью к отцу, что ему, человеку без свойств, отнюдь не было приятно, ибо он любил свою независимость. Ему было тридцать два года, а его отцу шестьдесят девять лет.

Старик был в ужасе. Не от внезапной атаки, собственно, хотя и от нее тоже, ибо терпеть не

мог опрометчивость, и не от затрат, на которые он должен был пойти, ибо, в сущности, ему было по душе, что сын его обнаружил потребность в домашнем быте и собственном устройстве. Но приобретение здания, которое, хоть и с прибавлением уменьшительного словечка, нельзя было определить иначе, чем замок, оскорбляло его чувства и пугало их, как чреватая бедой дерзость.

Сам он начинал домашним учителем в сиятельных домах — будучи студентом, а потом и молодым помощником адвоката, и, собственно, не от нужды, ибо уже отец его был состоятельным человеком… Позднее, однако, став университетским преподавателем и профессором, он почувствовал себя за это вознагражденным, ибо благодаря этим тщательно поддерживаемым связям постепенно сделался юридическим консультантом почти всей земельной аристократии своей родины, хотя теперь-то и вовсе не нуждался в побочном занятии. И даже долгое время после того, как приобретенное им таким путем состояние уже выдерживало сравнение с подарком семьи рейнских промышленников, которое некогда принесла рано умершая мать его сына, не прерывались эти добытые в молодости и укрепленные в зрелом возрасте связи. Хотя от

настоящей адвокатуры уважаемый ученый теперь отстранился и лишь при случае занимался высокооплачиваемым арбитражем, все события, касавшиеся круга бывших его покровителей, тщательно регистрировались в его записях, с большой точностью переносились с отцов на сыновей и внуков, и не проходило ни одной свадьбы, ни одного дня рождения, ни одних именин без поздравительного письма с тонкой смесью почтительности и общих воспоминаний. Столь же пунктуально приходили каждый раз и короткие ответные письма, благодарившие дорогого друга и маститого ученого. Поэтому сын его с младых ногтей знал этот аристократический талант почти бессознательно, но точно взвешивающего высокомерия, который безошибочно устанавливает меру любезности, и раболепие человека, принадлежащего как-никак к духовной аристократии, перед владельцами лошадей, пахотных земель и традиций всегда раздражало его. Но отец его был нечувствителен в этом пункте не по расчету: большую карьеру таким путем он сделал исключительно по природному побуждению, он стал не только профессором, членом академий и множества научных и государственных комитетов, но и рыцарем, комтуром, даже кавалером

большого креста высших орденов, его величество наконец даровало ему потомственное дворянство и еще до того назначило членом Верхней палаты. Удостоившись этого отличия, он примкнул там к либерально-буржуазному крылу, которое иногда противостояло нобилитету, но характерно, что никого из его аристократических покровителей это не обижало и даже не удивляло; в нем ничего иного, чем дух поднимающейся буржуазии, никогда и не видели. Старик деятельно участвовал в специальных комиссиях по законодательству, и даже когда он при каком-нибудь бурном голосовании оказывался на буржуазной стороне, у противной стороны это вызывало не злость, а скорее чувство, что его просто не пригласили. В политике он не делал ничего другого, чем то, что уже и прежде было его функцией: соединял превосходящее и порой мягко корректирующее знание с впечатлением, что на его личную преданность можно все-таки положиться, и, существенно не изменившись, как утверждал его сын, стал из домашнего учителя учителем верхнепалатным.

Когда он узнал об истории с замком, она показалась ему нарушением некой не определенной законом, но тем более требующей строгого со-

блюдения границы, и он осыпал своего сына упреками, еще более горькими, чем те, что он уже не раз делал ему в прошлом, звучавшими даже как предсказание скверного конца, который, мол, теперь начался. Оскорблено было главное чувство его жизни. Как у многих, кто достиг чего-то значительного, состояло оно, далекое от своекорыстия, из глубокой любви к полезному, так сказать, вообще и сверхлично, другими словами — из честного уважения к тому, на чем строишь свою выгоду, уважения не оттого, что ты ее строишь, но в гармонии и одновременно с нею, а также и по общим причинам. Это очень важно; даже благородная собака ищет себе место под обеденным столом, не смущаясь тем, что ее пинают ногами, вовсе не из собачьей подлости, а из привязанности и верности, а люди холодного расчета не добиваются и половины того успеха в жизни, что души правильно смешанные, способные действительно любить людей и условия, которые приносят им выгоду.

4

Если есть на свете чувство реальности, то должно быть и чувство возможности

Чтобы легко пройти в открытые двери, надо учитывать тот факт, что у них есть твердый косяк. Это правило, по которому всегда жил старый профессор, есть просто требование чувства реальности. Но если есть на свете чувство реальности, — а в его праве на существование никто не усомнится, — то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности.

Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: случилось, случится, должно случиться то-то и то-то; нет, он станет выдумывать: могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то; и если ему о чем-нибудь говорят, что дело обстоит так-то и так-то, он думает: ну, наверно, оно могло бы обстоять и иначе. Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет. Ясно, что следствия такого творческого дарования могут быть любопытными, и нередко, к сожалению, они представляют то, чем люди восхищаются,

ложным, а то, что они запрещают, дозволенным или и то и другое не имеющим ровно никакого значения. Такие люди возможности витают, как говорят, в облаках, в облаках фантазии, мечтаний и сослагательного наклонения. У детей, имеющих эту тягу, ее настойчиво искореняют, называя при них таких людей фантазерами, мечтателями, слюнтяями, а также критиканами и придирами.

Когда хотят их похвалить, этих глупцов называют также идеалистами, но все перечисленные прозвища применимы только к слабой их разновидности, которая не может понять реальность или жалким образом избегает ее, то есть применимы тогда, когда отсутствие чувства реальности и в самом деле означает недостаток. Между тем возможное включает в себя не только мечтания слабонервных особ, но и еще не проснувшиеся намерения бога. Возможное событие или возможная истина — это не то, что остается от реального события или реальной истины, если отнять у них их реальность, нет, в возможном, по крайней мере, на взгляд его приверженцев, есть нечто очень божественное, огонь, полет, воля к созиданию и сознательный утопизм, который не страшится реальности, а подходит к ней как к задаче, как к изобретению. Чтобы проще было понять, чем от-

личаются люди с чувством реальности от людей с чувством возможности, достаточно подумать о какой-нибудь определенной сумме денег. Все возможности, какие содержит в себе, например, тысяча марок, она ведь содержит независимо от того, есть ли она у тебя или ее нет; тот факт, что она есть у меня или у тебя, так же ничего не прибавляет тысяче марок, как ничего не прибавляет какой-нибудь розе или какой-нибудь женщине. Но дурак прячет эти деньги в чулок, говорят люди реальности, а способный человек делает с ними что-то; даже к красоте женщины тот, кто ею владеет, несомненно, что-то прибавляет или, наоборот, что-то отнимает от ее красоты. Возможности пробуждают реальность, и нет ничего нелепее, чем отрицать это. И все-таки в сумме или в среднем всегда остаются одни и то же возможности, повторяющиеся до тех нор, пока не появится человек, для которого что-то реальное значит не больше, чем что-то мыслимое. Он-то лишь и дает смысл и назначение новым возможностям, и он пробуждают их.

Однако такой человек — явление не очень-то простое. Поскольку его идеи, если это не пустые химеры, суть не что иное, как еще не рожденные реальности, у него, естественно, тоже есть

чувство реальности; но это чувство возможной реальности, а оно достигает своей цели куда медленнее, чем присущее большинству людей чувство их реальных возможностей. Этому человеку подавай, так сказать, лес, а другому хватит деревьев; но лес — это нечто такое, что трудно выразить, тогда как деревья означают столько-то и столько-то кубических метров древесины определенного качества. Или, может быть, лучше сказать иначе: человек с обыкновенным чувством реальности подобен рыбе, которая клюет на удочку и не видит леску с крючком, а человек с тем чувством реальности, которое можно назвать и чувством возможности, забрасывает удочку, понятия не имея, насажена ли наживка. Чрезвычайное равнодушие к хватающей наживку жизни навлекает на него опасность творить совершенно нелепые вещи. Непрактичный человек — а он не только кажется таковым, он таков и есть — всегда ненадежен, и в отношениях с людьми от него можно ждать всяческих неожиданностей. Он будет совершать действия, которые означают для него нечто иное, чем для других, но спокойно воспримет что угодно, если только это можно охватить какой-нибудь необычайной идеей. И к тому же сегодня он еще очень

далек от последовательности. Вполне, например, возможно, что преступление, наносящее ущерб другому, покажется ему всего лишь социальным просчетом, виновен в котором не преступник, а устройство общества. Вряд ли, однако, пощечина, которую получит он сам, представится ему позором общества или хотя бы чем-то столь же безличным, как укус собаки; наверно, он сначала даст сдачи, а уж потом придет к мнению, что этого он не должен был делать. И уж конечно, если у него отнимут возлюбленную, то сегодня он еще не вполне способен отрешиться от реальности такого оборота дела и вознаградить себя новым, внезапным чувством. В данное время развитие в этом направлении еще продолжается и оборачивается для отдельно взятого человека как силой, так и слабостью.

И поскольку обладание свойствами предполагает известную радость по поводу их реальности, то это позволяет увидеть, как кто-то, у кого нет чувства реальности и по отношению к себе самому, может вдруг в один прекрасный день предстать себе человеком без свойств.

5
Ульрих

Человека без свойств, о котором здесь повествуется, звали Ульрих, и Ульрих — неприятно звать все время по имени кого-то, с кем еще так мало знаком, но фамилию приходится ради его отца утаить, — Ульрих представил первый образчик своего способа думать уже на рубеже отрочества и юности в одном школьном сочинении на патриотическую тему. Патриотизм был в Австрии совершенно особым предметом. Германские дети, например, просто учились презирать войны австрийских детей, и им внушали, что французские дети — это внуки истощенных распутников, которые тысячами пускаются наутек при виде германского солдата с длинной окладистой бородой. И совершенно то же самое, только с перестановкой ролей и желательными заменами, заучивали тоже часто одерживавшие победы французские, русские и английские дети, А дети хвастуны, они любят играть в сыщиков-разбойников и всегда готовы считать семью Икс из Большого Игрековского переулка, если они

случайно к ней принадлежат, самой главной семьей на свете. Их, стало быть, легко склонить к патриотизму. Но в Австрии это было немного сложнее. Ибо хотя во всех войнах своей истории австрийцы побеждали, после большинства этих войн им приходилось что-нибудь да уступать. Это будит мысль, и в своем сочинении о любви к отечеству Ульрих написал, что серьезный друг отечества никогда не вправе считать свое отечество самым лучшим; больше того, в озарении, которое показалось ему особенно прекрасным, хотя он был слишком ослеплен его блеском, чтобы разобрать, что происходит, он прибавил к этой подозрительной фразе еще и вторую — что, наверно, и бог, предпочитает говорить о своем мире в conjunctivus potentialis[1] (nie dixerit quispiam — здесь можно возразить…), ибо бог создает мир, думая при этом, что сошло бы и по-другому… Ульрих был очень горд этой фразой, но, по-видимому, он выразился недостаточно ясно, ибо поднялся переполох и его чуть не исключили из школы, хотя никакого постановления так и не приняли, потому что не могли решить, чем считать его дерзкое замечание — хулой на отече-

---

[1] Примечания: 1

В сослагательном наклонении, выражающем возможность (лат.).

ство или богохульством. Он воспитывался тогда в аристократической гимназии Терезианского дворянского лицея, поставлявшей самый благородный материал для столпов государства, и его отец, разгневанный тем, как посрамило его это далеко от яблони упавшее яблоко, отправил Ульриха на чужбину, в одно маленькое бельгийское воспитательное заведение, которое находилось в захолустном городке, управлялось с хорошей коммерческой хваткой и, при невысоких ценах, недурно зарабатывало на проштрафившихся учениках. Там Ульрих научился презирать идеалы других и в более крупном, международном масштабе.

С той поры пролетели, как облака по небу, шестнадцать или семнадцать лет. Ульрих не сожалел о них и гордости за них не испытывал, на тридцать третьем своем году он просто удивленно смотрел им вслед. За это время он побывал в разных местах, иногда ненадолго задерживался и на родине и везде занимался как почтенными, так и пустыми делами. Намеком уже дано было понять, что он был математик, и больше об этом не стоит распространяться, ибо на любом поприще, если подвизаешься на нем не ради денег, а из любви, наступает момент, когда кажется, что

прибавление лет никуда не ведет. После того как этот момент продлился довольно долго, Ульрих вспомнил, что родине приписывают таинственную способность наделять мечты корнями и почвой, и осел там с чувством путника, который навеки садится на скамью, хотя предчувствует, что тотчас же встанет.

Когда он при этом, выражаясь на библейский лад, устроил дом свой, он сделал одно открытие, которого, собственно, ждал. Он поставил себя перед приятной необходимостью полностью перестроить свое небольшое запущенное владение как пожелает. Все принципы, от чистой по стилю реконструкции до полной бесцеремонности, были к его услугам, и, соответственно, все стили, от ассирийского до кубизма, должен был он мысленно перебрать. На чем следовало ему остановить выбор? Современный человек родится в клинике и умирает в клинике, так пусть и живет как в клинике! — провозгласил недавно один ведущий зодчий, а другой реформатор интерьера потребовал передвижных стен в квартирах на том основании, что человек должен учиться доверять человеку, живя с ним вместе, и не вправе обособляться и замыкаться. Тогда как раз началось новое время (ведь это оно делает

каждый миг), а новое время требует нового стиля. К счастью Ульриха, замок, каким он его застал, обладал уже тремя стилями, друг на дружке, так что с ним и правда нельзя было предпринять все, чего требовали; тем но менее Ульрих чувствовал себя очень взбудораженным ответственностью, накладываемой на него устройством дома, и угроза «скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты», которую он то и дело вычитывал в журналах по искусству, висела над его головой. После подробного ознакомления с этими журналами он пришел к выводу, что лучше уж ему взять в свои руки отделку собственной личности, и принялся собственноручно делать наброски будущей своей мебели. Но как только он придумывал какую-нибудь внушительно-громоздкую форму, ему приходило в голову, что ее вполне можно заменить технично скупой, функционально оправданной, а стоило ему набросать какую-нибудь истощенную собственной силой железобетонную форму, он вспоминал по-весеннему тощие формы тринадцатилетней девочки и начинал мечтать, вместо того чтобы принять решение.

Это были — в вопросе, всерьез его не очень-то трогавшем, — та знакомая бессвязность идей

и то расширение их без средоточия, которые характерны для современности и составляют ее своеобразную арифметику, перескакивающую с пятого на десятое, но не знающую единства. Постепенно он стал выдумывать вообще только невыполнимые интерьеры, вращающиеся комнаты, калейдоскопические устройства, трансформируемые приспособления для души, и его идеи становились все более и более бессодержательными. Наконец он пришел к той точке, куда его тянуло. Отец его выразил бы это примерно так: кто может выполнить все, что ему ни заблагорассудится, тот вскоре уже и сам не знает, чего ему желать. Ульрих повторял себе это с великим наслаждением. Эта подержанная мудрость показалась ему исключительно новой мыслью. Человека нужно стеснить в его возможностях, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями, трудностями и ограничениями, как безумца смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, приобретет, может быть, ценность, зрелость и прочность… Невозможно и впрямь перечесть, что означает эта мысль! Так вот, человек без свойств, вернувшийся на родину, сделал и второй шаг, чтобы подвергнуться формирующему воздействию

внешних обстоятельств, на этой точке своих раздумий он просто предоставил устройство своего дома гению своих поставщиков в твердом убеждении, что они-то уж позаботятся о традиции, предрассудках и ограниченности. Сам он только освежил старые линии, оставшиеся здесь от прежних времен, темные оленьи рога под белыми сводами зальца, плоский потолок салона, а в остальном прибавил все, что казалось ему целесообразным и удобным.

Когда все было готово, он вправе был покачать головой и спросить себя: вот, значит, жизнь, которая должна стать моей?.. Он обладал очаровательным небольшим дворцом; дом этот просто следовало так назвать, ибо он был совершенно таким, каким воображают дворцы, этакой изысканной резиденцией для важного лица, каким его представляли себе мебельные, ковровые и санитарно-технические фирмы, главенствующие в своих областях. Только этот прелестный часовой механизм не был заведен, а то бы по въезду подкатили кареты с сановниками и знатными дамами; лакеи спрыгнули бы с запяток и недоверчиво спросили Ульриха: «Милый человек, где ваш хозяин?»

Он возвратился из заоблачной выси и сразу же

снова обосновался в заоблачной выси.

6
Леона, или Смещение перспективы

Устроив дом свой, надо взять кого-то в жены себе. Ульриховская подруга тех дней звалась Леонтиной и была певицей в небольшом варьете; она была высокого роста, стройная и полная, раздражающе вялая, и называл он ее Леоной.

Она обратила на себя его внимание влажной темнотой глаз, болезненно-страстным выражением красивого, с правильными чертами, продолговатого лица и чувствительными песнями, которые она пела вместо непристойных. Содержание всех этих старомодных песенок составляли любовь, страдание, верность, одиночество покинутой, шум леса и блеск форели. Рослая и до мозга костей одинокая, стояла Леона на маленькой сцене и терпеливо пела их публике голосом домашней хозяйки, и если в ее исполнении все же попадались рискованные в нравственном смысле места, то в них уж и вовсе не было жизни, потому что и трагические, и игривые чувства эта девушка подкрепляла одинаковыми, старательно заученными жестами.

Ульриху это сразу напомнило не то старинные фотографии, не то красавиц в немецких семейных журналах давно минувших лет, и, вдумываясь в лицо этой женщины, он открыл в нем множество черточек, которые никак не могли быть реальными и все же составляли это лицо. Конечно, во все времена есть все разновидности лиц; но вкус времени выделяет всегда какую-то одну и возводит ее в счастье и красоту, а все другие лица стараются тогда уподобиться такой разновидности; даже безобразным это более или менее удается с помощью прически и моды, никогда это не удается лишь тем, рожденным для странных успехов лицам, в которых, ничем не поступаясь, выражает себя величественный и отживший свой век идеал красоты прежней эпохи. Трупами прежних вожделений мелькают такие лица в великой пустоте любовного вихря; и когда мужчины глазели в простор скуки, которой было исполнено пение Леонтины, и не понимали, что с ними происходит, крылья носа дрожали у них совсем от других чувств, чем при виде маленьких, дерзких, причесанных под «танго» певичек. Тогда-то Ульрих и решил назвать ее Леоной, и обладать ею показалось ему столь же деланным, как обладать большой, обработанной скорняком

львиной шкурой.

А после того как началось их знакомство, Леона развила еще одно несовременное свойство: она была невероятно прожорлива, а это порок, ревностное служение которому давно вышло из моды. По своему происхождению это было прорвавшейся наконец страстью бедного ребенка к дорогим лакомствам, а теперь он обрел силу идеала, выпущенного наконец из клетки и захватившего власть. Ее отец был, по-видимому, добропорядочным мещанином, который каждый раз бил ее, когда она заводила поклонников; но делала она это исключительно потому, что страшно любила сидеть в садике какой-нибудь маленькой кондитерской и, чинно поглядывая на прохожих, есть ложечкой мороженое. Нельзя, правда, утверждать, что она не была чувственна, но, коль скоро это дозволено, надо сказать, что и в этом, как во всем прочем, она была довольно-таки ленива и старалась не утруждать себя. В ее крупном теле каждому возбуждению требовалось удивительно много времени, чтобы дойти до мозга, и случалось, что среди дня глаза ее без причины увлажнялись, а ночью бывали устремлены в какую-нибудь точку на потолке, словно наблюдая за сидевшей там мухой. Точно так же

она иногда в полной тишине начинала смеяться над какой-нибудь шуткой, которая дошла до нее только теперь и которую за несколько дней до этого она спокойно выслушала и не поняла. Если у нее не было особой причины для противоположного, она вела себя вполне порядочно. Каким образом она вообще пришла к своей профессии, выведать у нее было невозможно. Видимо, она и сама это уже не помнила в точности. Выяснилось только, что исполнение песенок она считала необходимой частью жизни и связывала с ним все возвышенное, что когда-либо слышала об искусстве и о людях искусства, вследствие чего ей казалось очень правильным, педагогичным и благородным выходить ежевечерне на маленькую, окутанную сигарным дымом сцену и исполнять песни, душераздирающее действие которых не подлежало сомнению. Разумеется, ее нисколько при этом не коробили нет-нет да попадавшиеся в текстах непристойности, потребные для оживления пристойного, но она была твердо убеждена, что первая певица императорской оперы делает в точности то же, что и она.

Конечно, если непременно называть это проституцией, когда человек отдает за деньги не, как то обычно бывает, всего себя, а только свое

тело, то при случае Леона проституцией занималась. Но если в течение девяти лет, как она с шестнадцатого года своей жизни, знать скудость поденной платы на кабацкой эстраде, держать в голове цены на туалеты и на белье, вычеты, скупость и произвол хозяев, проценты от съеденного и выпитого увеселенными гостями и от счета за номер в соседней гостинице, если ежедневно иметь со всем этим дело, ссориться из-за этого и обладать коммерческой сметкой, тогда то, чем профан: восхищается как разгулом, становится профессией, полной логики, целесообразности и сословных законов. Ведь как раз проституция это такая штука, которую видишь очень по-разному в зависимости от того, откуда на нее смотришь — сверху или снизу.

Но хотя Леона имела вполне объективное представление о половом вопросе, у нее была и своя романтика. Только всякая экзальтация, всякое тщеславие, всякая расточительность, такие чувства, как гордость, зависть, сладострастие, скупость, готовность отдаться, короче — движущие силы личности и успеха в обществе связаны были у нее не с так называемым сердцем, а с tractus abdominalis, с пищеварительным процессом, с каковым они, кстати сказать, обычно

связывались в прежние времена, что и сегодня можно наблюдать на примере дикарей или кутящих крестьян, которые умудряются выразить благородство чувств и все прочее, что отличает человека, с помощью пира, где полагается торжественно и со всеми сопутствующими явлениями объедаться. За столиками кафешантана Леона исполняла обязанности; но предметом ее мечтаний был кавалер, связь с которым на срок ангажемента избавила бы ее от этого и позволила ей сидеть в фешенебельной позе над фешенебельной карточкой кушаний в фешенебельном ресторане. Тогда бы она предпочла поесть сразу от всех имеющихся блюд, но в то же время ей доставляла болезненно-противоречивое удовлетворение возможность показать, что она знает, как надо выбирать и как составляют изысканное меню. Волю своей фантазии она могла давать лишь за небольшими десертами, и обычно из этого получался обильный второй ужин в обратной последовательности. Черным кофе и стимулирующим обилием напитков Леона восстанавливала свою вместительность и подхлестывала себя сюрпризами до тех пор, пока не утоляла своей страсти. А тогда ее чрево так наполнялось изысканными лакомствами, что чуть не разрывалось.

Лениво сияя, она оглядывалась вокруг и, хотя вообще-то разговорчивостью не отличалась, любила в этом состоянии присовокуплять к съеденным ею изыскам ретроспективные замечания. Произнося «польмопе а ля Торлонья» или «яблоки а ля Мелвилл», она бросала эти слова так, как иной нарочито небрежно упоминает, что он беседовал с князем или лордом, носящим ту же фамилию.

Поскольку появляться с Леоной на людях было не совсем во вкусе Ульриха, он обычно устраивал ее кормление у себя дома, где она могла пировать в обществе оленьих рогов и стильной мебели. Но это не удовлетворяло ее социальных амбиций, И когда неслыханнейшими яствами, какие может предложить ресторатор, человек без свойств побуждал ее к одинокой неумеренности, она чувствовала себя оскорбленной в точности так же, как женщина, которая замечает, что любят ее не из-за ее души. Она была красива, она была певица, ей нечего было прятаться, и каждый вечер к ней устремлялись желания нескольких десятков мужчин, которые подтвердили бы ее правоту. А этот человек, как ни хотел он быть с нею наедине, неспособен был даже сказать ей: «Боже мой, Леона, твоя ж… — это блаженство!»

— и со смехом облизнуть усы при виде ее, как к этому приучили ее кавалеры. Леона немножко презирала Ульриха, хотя, конечно, хранила верность ему, и Ульрих это знал. Прекрасно знал он, кстати сказать, как принято вести себя в обществе Леоны, но времена, когда губы его в силах были произнести что-либо подобное и когда эти губы носили усы, миновали слишком давно. А когда ты уже не способен на что-либо, что прежде умел делать, пусть даже это была величайшая глупость, то ведь это все равно как если бы у тебя отнялись руки и ноги. У него дрожали глазные яблоки, когда он глядел на свою подругу, которой ударяли в голову еда и питье. Ее красоту можно было тихо отделить от нее. Это была красота герцогини, которую шеффелевский Эккехард[2] пронес через порог монастыря, красота всадницы с соколом на перчатке, красота легендарной императрицы Елизаветы с тяжелым венцом волос, очарование для людей, которые все уже умерли. Чтобы выразиться точно, она напоминала также божественную Юнону, но не Юнону вечную и непреходящую, а то, что связала с именем этой богини эпоха, которая прошла или проходит. Та-

[2] Примечания: 2

Герой одноименного исторического романа немецкого писателе И.-В. Шеффеля (1826–1886).

ким образом, мечта бытия облекала его материю довольно неплотно. Леона же знала, что за великосветское приглашение надо как-то платить, даже если пригласивший никаких желаний не выражает, и что нельзя просто позволять глазеть на себя; поэтому она вставала, как только вновь обретала такую способность, и начинала спокойно, но очень громко петь. Ее другу подобные вечера напоминали вырванный листок, живой благодаря доверенной ему игре мыслей, но, как все вырванное из связи, мумифицированный и полный той тирании навек застывшего, которая составляет жутковатую прелесть живых картин, где жизнь словно бы приняла вдруг снотворное да так и застыла в оцепенении, полная внутренней связи, резко очерченная и все-таки в целом ужасно бессмысленная.

7
В состоянии слабости Ульрих приобретает новую возлюбленную

Однажды утром Ульрих явился домой в плачевном виде. Платье его было изодрано, расшибленную голову ему пришлось облепить примочками, часы и бумажник отсутствовали. Он не знал, взя-

ли ли их те трое, с которыми он вступил в драку, или же они были украдены у него каким-нибудь тихим другом человечества за то короткое время, что он пролежал без сознания на мостовой. Он лег в постель и, когда его измученные члены снова почувствовали себя покойно расправленными и укрытыми, еще раз обдумал все происшествие.

Три эти головы очутились перед ним внезапно; он мог на пустынной в поздний час улице случайно задеть кого-то из них, ведь мысли его прыгали и были заняты чем-то другим, но эти лица были готовы к злобе и вошли в круг фонаря уже искаженными. Тут он сделал ошибку. Ему следовало сразу отпрянуть, словно испугавшись, и при этом крепко толкнуть спиной или локтем в живот парня, ставшего позади него, и в тот же миг постараться удрать, ибо с тремя сильными мужчинами сладить нельзя. Вместо этого он промедлил. Виной тому был возраст — его тридцать два года; вражда и любовь требуют теперь уже несколько больше времени. Он не поверил, что эти три лица, которые вдруг среди ночи взглянули на него с презреньем и злобой, посягают только на его деньги, и отдался чувству, что тут слилась и воплотилась направленная на него ненависть; и в то время как хулиганы уже

осыпали его площадной бранью, он радовался мысли, что это, может быть, вовсе не хулиганы, а такие же граждане, как он, только подвыпившие и освобожденные от скованности, в которой он, проходя мимо них, пребывал и которая разрядила на нем ненависть, всегда с готовностью поджидающую его и вообще всякого чужого человека, как гроза в атмосфере. Ведь нечто подобное чувствовал, бывало, и он. Невероятное множество людей чувствует ныне огорчительное противоречие между собой и невероятным множеством других людей. Это основная черта культуры — что человек испытывает глубочайшее недоверие к человеку, живущему вне его собственного круга, что, стало быть, не только германец еврея, но и футболист пианиста считает существом непонятным и неполноценным. Ведь в конце концов вещь сохраняется только благодаря своим границам и тем самым благодаря более или менее враждебному противодействию своему окружению; без папы не было бы Лютера, а без язычников — папы, поэтому нельзя не признать, что глубочайшая приверженность человека к сочеловеку состоит в стремлении отвергнуть его. Об этом он думал, конечно, не так подробно; но он знал это состояние неопределенной атмосфер-

ной враждебности, которым насыщен воздух в наш век, и когда оно вдруг сгущается в трех навсегда потом исчезающих незнакомцев, чтобы разразиться громом и молнией, то это чуть ли не облегчение.

Все-таки при виде трех хулиганов он раздумывал, пожалуй, несколько дольше, чем надо бы. Правда, первый, бросившись на него, отлетел назад, потому что Ульрих опередил его ударом в челюсть, но второго, с которым следовало разделаться затем в один миг, кулак едва задел, ибо удар сзади каким-то тяжелым предметом чуть не размозжил голову Ульриху. У него подкосились ноги, его схватили, он снова выпрямился с той почти неестественной легкостью тела, что обычно приходит за первым изнеможением, двинул несколько раз в путаницу чужих тел и был свален кулаками, которые делались все больше и больше.

Поскольку ошибка, допущенная им, была теперь выяснена и относилась только к спортивной области, словно какой-нибудь слишком короткий прыжок, Ульрих, все еще обладавший прекрасными нервами, спокойно уснул в точно таком же восторге от ускользающих витков забытья, какой он где-то в глубине души уже испытал при своем

поражении.

Проснувшись, он убедился, что его ранения незначительны, и еще раз задумался о случившемся. Драка всегда оставляет неприятный осадок, привкус, так сказать, поспешной интимности, и, независимо от того, что нападал-то не он, у Ульриха было такое чувство, что он вел себя неподобающим образом. Но не подобающим чему?! Совсем рядом с улицами, где через каждые триста шагов полицейский карает за малейшее нарушение порядка, находятся другие, требующие такой же силы и такого же склада ума, как дремучий лес. Человечество производит библии и винтовки, туберкулез и туберкулин. Оно демократично, имея королей и дворянство; строит церкви и, с другой стороны, университеты против церквей, превращает монастыри в казармы, но в казармы направляет полковых священников. Естественно, что и хулиганам оно дает в руки наполненные свинцом резиновые шланги, чтобы изувечить тело сочеловека, а потом предоставляет этому одинокому и поруганному телу пуховики, как тот, что облекал сейчас Ульриха, наполненный как бы сплошной почтительностью и предупредительностью. Это известное дело — противоречия, непоследова-

тельность и несовершенство жизни. По поводу их смеются или вздыхают. Но Ульрих-то был как раз не таков. Он терпеть не мог эту смесь покорности и слепой любви в отношении к жизни, мирящуюся с ее противоречиями и половинчатостью, как старая дева с неотесанностью молодого племянника. Только и с постели он тоже не стал вскакивать, когда выяснилось, что пребывать в ней значит извлекать выгоду из непорядка в делах человеческих, ибо в каком-то смысле это не что иное, как поспешная сделка с совестью за счет существа дела, самопоблажка, дезертирство в частную жизнь, когда ты лично избегаешь дурного и поступаешь хорошо, вместо того чтобы печься об общем порядке. После его недобровольного опыта Ульриху даже казалось, что если тут упразднят винтовки, а там королей и какой-нибудь большой или малый прогресс уменьшит глупость и зло, то в этом будет до отчаяния мало толку, ибо мера мерзостей и подлостей тотчас же восполнится новыми, словно одна нога мира всегда отскальзывает назад, как только другая выдвинется вперед. Причину и тайный механизм этого — вот что надо бы познать! Это было бы, конечно, несравненно важнее, чем быть добрым человеком по стареющим принципам, и поэтому

в сфере морали Ульриха тянуло больше к службе в генеральном штабе, чем к повседневному героизму доброты.

Теперь он еще раз представил себе и продолжение своего ночного приключения. Когда он очнулся после неудачно прошедшей драки, у тротуара стоял наемный автомобиль, шофер которого пытался приподнять раненого незнакомца за плечи, и какая-то дама склонялась над ним с ангельским выражением лица. В такие моменты, когда сознание выплывает из бездны, все видишь как в мире детских книжек; но вскоре этот обморок уступил место действительности, присутствие хлопотавшей над ним дамы взбодрило и освежило Ульриха, как одеколон, так что он сразу понял, что пострадал не очень уж сильно, и попытался поизящнее встать на ноги. Это ему не сразу вполне удалось, и дама озабоченно предложила куда-нибудь отвезти его, чтобы ему оказали помощь. Ульрих попросил доставить его домой, и так как вид у него и правда был еще растерянный и беспомощный, дама согласилась это сделать. Потом он в машине быстро пришел в себя. Он чувствовал рядом с собой что-то матерински-чувствительное, нежное облако услужливого идеализма, облако, в тепле которого теперь, когда

он снова становился мужчиной, начали складываться ледяные кристаллики сомнения и страха перед опрометчивым поступком, наполняя воздух мягкостью снегопада. Ульрих рассказал о своем приключении, и красивая женщина, которая была на вид лишь чуть-чуть моложе, чем он, то есть лет тридцати, посетовала на людскую грубость и нашла его донельзя заслуживающим жалости.

Конечно, он стал теперь энергично оправдывать случившееся и объяснять удивленной красавице, от которой на него веяло чем-то материнским, что о таких стычках нельзя судить по успеху. Прелесть их в том и заключена, что в кратчайший отрезок времени, с невиданной в обыденной жизни стремительностью и по едва уловимым сигналам нужно выполнить столько многоразличных, мощных и все-таки точнейше согласованных друг с другом движений, что контролировать их сознанием становится невозможно. Напротив, любой спортсмен знает, что уже за несколько дней до состязания нужно прекратить тренировку, а это делается не для чего иного, как для того, чтобы мышцы и нервы могли заключить между собой последний договор без участия, а тем более без вмешательства воли,

намерения и сознания. В момент действия всегда потом так и бывает, описывал Ульрих: мышцы и нервы, вырвавшись на свободу, сражаются с личностью; и она, то есть все тело, душа, воля, вся главная фигура, вся эта юридически отделяемая от окружающего ее мира целокупность, захвачена ими только поверхностно, как Европа, сидящая на быке, а если выходит иначе, если малейший луч размышления проникает на грех в эту темень, тогда, как правило, дело не выгорает… Ульрих вошел в раж. Это — утверждал он теперь, имея в виду феномен почти полного устранения сознательной личности или прорыва сквозь нее, — это в сущности сродни утраченным феноменам, которые были знакомы мистикам всех религий, а потому это в какой-то мере современный заменитель вечных потребностей, пусть скверный, но все-таки заменитель; и значит, бокс и подобные виды спорта, приводящие все это в рациональную систему, представляют собой своего рода теологию, хотя и нельзя требовать, чтобы это было признано всеми.

Ульрих так энергично обратился к своей спутнице, немного, наверно, и из тщеславного желания заставить ее забыть жалкое положение, в котором она нашла его. При этих обстоятель-

ствах ей трудно было определить, говорит ли он всерьез или острит. Во всяком случае ей могло показаться вполне, в сущности, естественным, что он пытается объяснить теологию через спорт, это было, пожалуй, даже интересно, ведь спорт есть нечто современное, а теология, напротив, нечто такое, о чем решительно ничего не знаешь, хотя налицо все еще, нельзя отрицать, много церквей. Как бы то ни было, она нашла, что счастливая случайность позволила ей спасти блестящего человека. Правда, время от времени она спрашивала себя, не произошло ли у него сотрясение мозга.

Ульрих, пожелавший теперь изречь что-нибудь понятное, воспользовался случаем, чтобы указать попутно на то, что и любовь принадлежит к религиозным и опасным феноменам, поскольку она вырывает человека из объятий разума, лишает его почвы под ногами и повергает в состояние полной неопределенности.

Да, сказала дама, но спорт так груб.

Разумеется, поспешил признать Ульрих, спорт груб. Он, можно сказать, есть сгусток тончайше распределенной, всеобщей ненависти, который оттягивается в состязания. Утверждают, конечно, обратное: спорт, мол, объединяет людей, дела-

ет их товарищами и тому подобное; но по сути это только доказывает, что грубость и любовь отстоят друг от друга не дальше, чем одно крыло какой-нибудь большой пестрой немой птицы от другого.

Он сделал акцент на крыльях и на пестрой, немой птице, — мысль без настоящего смысла, но наполненная толикой той огромной чувственности, с какой жизнь одновременно удовлетворяет все соперничающие в ее необъятном теле противоречия; он заметил теперь, что его соседка этого совершенно не поняла, однако мягкий снегопад, который она распространяла в машине, стал еще гуще. Тут он совсем повернулся к ней и спросил, не противно ли ей говорить о таких телесных вопросах. Телесные дела и правда слишком уж входят в моду, и в сущности это ужасно, потому что тело, если оно хорошо натренировано, берет верх и так уверенно, без спросу, реагирует на любой раздражитель своими автоматизированными движениями, что у владельца остается только жутковатое чувство, что он ни при чем, и его характер как бы уходит от него в какую-нибудь часть тела.

Кажется, этот вопрос действительно глубоко задел молодую женщину; она обнаружила свою

взволнованность сказанным, стала тяжелее дышать и осторожно отодвинулась. Механизм, подобный только что описанному, учащение дыхания, покраснение кожи, сердцебиение и, может быть, еще что-нибудь в ней, кажется, заработал. Но как раз тут автомобиль остановился перед домом Ульриха. Он успел лишь с улыбкой спросить адрес своей спасительницы, чтобы принести ей свою благодарность, но, к его удивлению, эта милость дарована ему не была. И черная кованая решетка захлопнулась за удивленным незнакомцем. Потом еще, возможно, в свете электрических ламп выросли высокие и темные деревья старого сада, зажглись окна, и по коротко остриженному изумрудному газону раскинулись низкие крылья маленького, как будуар, замка, глазам приоткрылись увешанные картинами и уставленные пестрыми рядами книг стены, и попрощавшегося спутника принял в себя неожиданно прекрасный быт.

Так оно вышло, и когда Ульрих еще размышлял, как было бы неприятно, если бы ему снова пришлось тратить время на одну из этих давным-давно надоевших интрижек, ему доложили о какой-то даме, которая не пожелала назвать себя и вошла к нему под низко опущенной ву-

алью. Это была она самая, не назвавшая своего имени и своего местожительства, но самовольно предложившая приключение таким романтически-благотворительным способом под предлогом беспокойства о его состоянии.

Спустя две недели Бонадея была уже четырнадцать дней его возлюбленной.

8
Какания

В том возрасте, когда еще придают важность портняжным и цирюльным делам и любят глядеться в зеркало, часто представляют себе также какое-то место, где хочется провести жизнь, или по меньшей мере место, пребывание в котором импонирует, даже если чувствуешь, что тебя лично туда не очень-то тянет. Такой социальной навязчивой идеей давно уже стало подобие сверхамериканского города, где все спешат или стоят на месте с секундомером в руке. Воздух и земля образуют муравьиную постройку, пронизанную этажами транспортных магистралей. Надземные поезда, наземные поезда, подземные поезда, люди, пересылаемые, как почта, по трубам, цепи автомобилей мчатся горизонтально, скоростные

лифты вертикально перекачивают человеческую массу с одного уровня движения на другой; в узловых точках люди перескакивают с одного средства передвижения на другое, всасываются и подхватываются, без раздумья, их ритмом, который между двумя разражающимися громом скоростями делает синкопу, паузу, маленькую пропасть в двадцать секунд, торопливо обмениваются несколькими словами в интервалах этого всеобщего ритма. Вопросы и ответы пригнаны друг к другу, как детали машин, у каждого человека есть строго определенные задачи, профессии собраны в группы по определенным местам, едят на ходу, развлечения собраны в других частях города, и опять же в каких-то других стоят башни, где находишь жену, семью, граммофон и душу. Напряженность и расслабленность, деятельность и любовь точно разграничены во времени и распределены после основательной лабораторной проверки. Столкнувшись в какой-либо деятельности с затруднением, дело просто бросаешь, ибо находишь другое дело или при случае лучший путь, или другой находит путь, с которого ты сбился, это совсем не беда, ведь ничто не транжирит столько общей энергии, сколько самоуверенная убежденность, будто ты призван не отступаться

от какой-то определенной личной цели. В пронизанном силовыми линиями коллективе любой путь ведет к хорошей цели, если слишком долго не мешкать и не размышлять. Цели поставлены вкоротке; но и жизнь коротка, от нее получаешь, стало быть, максимум достижимого, а больше человеку и не надо для счастья, ведь то, чего достигаешь, формирует душу, а то, чего хочешь, но не достигаешь, только искривляет ее; для счастья совершенно неважно то, чего ты хочешь, а важно только, чтобы ты этого достиг. Кроме того, зоология учит, что из суммы неполноценных особей вполне может составиться гениальное целое.

Нет никакой уверенности, что так оно и должно быть, но такие представления входят в дорожные сны, в которых отражается чувство безостановочного движения, нас захватившего. Они поверхностны, тревожны и коротки. Бог знает, что будет на самом деле. Можно подумать, что мы каждую минуту держим начало в своих руках и должны составлять план для всех нас. Не нравится нам эта штука со скоростями — так затеем другую. Например, что-нибудь совсем медленное, с колышущимся, как покрывало, таинственным, как моллюск, счастьем и с глубоким коровьим взором, о котором мечтали уже греки. Но дело

обстоит вовсе не так. Штука эта держит нас в своих руках. Едешь в ней днем и ночью, да еще делаешь при этом всякую всячину — бреешься, ешь, любишь, читаешь книжки, выполняешь свои профессиональные обязанности, как если бы четыре стены стояли на месте, и страшновато тут только, что стены едут, а ты этого не замечаешь, и выбрасывают вперед свои рельсы, как длинные, изгибающиеся щупальца, а ты не знаешь — куда. А кроме того, хочется ведь еще, по возможности, самому принадлежать к силам, которые направляют поезд времени. Это очень неясная роль, и случается, что, выглянув после долгого перерыва наружу, видишь: пейзаж изменился; что пролетает мимо, то пролетает, ибо иначе не может быть, но при всей твоей покорности все большую власть приобретает чувство, будто ты проскочил мимо цели или попал не на ту линию. И в один прекрасный день возникает неистовая потребность: сойти, спрыгнуть! Ностальгическое желание быть задержанным, не развиваться, застрять, вернуться к точке, лежащей перед не тем ответвлением! И в старое доброе время, когда еще существовала на свете Австрийская империя, можно было в этом случае покинуть поезд времени, сесть в обыкновенный поезд обыкновенной

железной дороги и вернуться домой.

Там, в Какании, этом уже исчезнувшем, непонятном государстве, которое в столь многих отношениях было, хотя это и не признано, образцовым, тоже существовал темп, но темп не слишком большой. Стоило на чужбине подумать об этой стране, как перед глазами вставало воспоминание о белых, широких, благополучных дорогах времен пеших походов и нарочных, дорогах, тянувшихся по ней во всех направлениях, как реки порядка, как полосы светлого солдатского тика, и обнимавших земли бумажно-белой рукой управления. И какие земли! Были там ледники и море, Карст и чешские нивы, ночи на Адриатике в неугомонном звоне цикад, и словацкие деревни, где дым выходил из труб, как из вывернутых ноздрей, а деревня лепилась между двумя холмиками, словно земля приоткрыла губы, чтобы согреть между ними свое дитя. Конечно, по этим дорогам катились и автомобили, но не слишком много автомобилей! Готовились к покорению воздуха, здесь тоже, — но не слишком интенсивно. Время от времени отправляли судно в Южную Америку или Восточную Азию — но не слишком часто. Не было честолюбия мировой экономики и мирового господства. Находились в середине Европы, где

пересекаются старые оси мира; слова «колония» и «заморские земли» отдавали чем-то еще совершенно не изведанным и далеким. Знали роскошь — но, боже упаси, не такую сверхутонченную, как французы. Занимались спортом — но не так сумасбродно, как англосаксы. Тратили невероятные суммы на войско — но как раз лишь столько, чтобы прочно оставаться второй по слабости среди великих держав. Главный город тоже был несколько меньше, чем все другие крупнейшие города мира, но все-таки значительно больше, чем просто большие города. И управлялась эта страна просвещенным, малоощутимым, осторожно срезавшим острые углы способом, управлялась лучшей в Европе бюрократией, которую можно было упрекнуть только за одну ошибку: гениальность и гениальную предприимчивость частных лиц, не привилегированных на то родовитостью или государственным заданием, она воспринимала как нескромность и наглость. Но кому охота, чтобы ему указывали неправомочные! А к тому же в Какании только гения всегда считали болваном, но болвана гением, как то случалось в других местах, никогда не считали.

Вообще сколько поразительных вещей можно рассказать об этой исчезнувшей Какании! Она

была, например, Кайзерско-Королевской и Кайзерской и Королевской; одну из этих двух помет «к. к.» или «к. и к.» носили там каждая вещь и каждое лицо, но все-таки требовалось тайное знание, чтобы безошибочно различать, какие установления и какие люди должны называться «к. к.», а какие «к. и к.». Письменно она именовалась Австрийско-Венгерской монархией, а в устной речи позволяла называть себя Австрией — именем, стало быть, которое она сняла с себя торжественной государственной присягой, но сохраняла во всех эмоциональных делах в знак того, что эмоции столь же важны, как государственное право, а предписания не выражают истинную серьезность жизни. Она была по своей конституции либеральна, но управлялась клерикально. Она управлялась клерикально, но жила в свободомыслии. Перед законом все граждане были равны, но гражданами-то были не все. Имелся парламент, который так широко пользовался своей свободой, что его обычно держали закрытым: но имелась и статья о чрезвычайном положении, с помощью которой обходились без парламента, и каждый раз, когда все уже радовались абсолютизму, следовало высочайшее указание вернуться к парламентарному правлению. Та-

ких случаев было много в этом государстве, и к ним относились также национальные распри, что по праву вызывали любопытство Европы и освещаются сегодня совершенно неверно. Они были настолько ожесточенны, что из-за них по-многу раз в году стопорилась и останавливалась государственная машина, но в промежутках и паузах государственности царило полное взаимопонимание и делался вид, будто ничего не произошло. Да по-настоящему и не происходило ничего. Просто та неприязнь каждого к стремлениям каждого другого, в которой мы все сегодня едины, в этом государстве сформировалась рано и стала, можно сказать, сублимированным церемониалом, который еще имел бы, пожалуй, большие последствия, если бы его развитие не было до срока прервано катастрофой.

Ибо не только неприязнь к согражданину была возведена там в чувство солидарности, но и недоверие к собственной личности и ее судьбе приняло характер глубокой самоуверенности. В этой стране поступали — доходя порой до высших степеней страсти и ее последствий — всегда иначе, чем думали, или думали иначе, чем поступали. Несведущие наблюдатели принимали это за мягкость или даже за слабость австрийского,

по их мнению, характера. Но это было неверно, и всегда неверно объяснять происходящее в какой-либо стране просто характером ее жителей. Ведь у жителя страны по меньшой мере девять характеров — профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознанный, неосознанный и еще, может быть, частный; он соединяет их в себе, но они растворяют его, и он есть, по сути, не что иное, как размытая этим множеством ручейков ложбинка, куда они прокрадываются и откуда текут дальше, чтобы наполнить с другими ручьями другую ямку. Поэтому у каждого жителя земли есть еще и десятый характер, и характер этот — не что иное, как пассивная фантазия незаполненных пространств; он разрешает человеку все, кроме одного — принимать всерьез то, что делают его по меньшей мере девять других характеров и что с ними происходит; иными словами, значит, как раз то, что должно было бы заполнить его. Это, нельзя не признать, трудноописуемое пространство окрашено и сформировано в Италии иначе, чем в Англии, поскольку то, что отделено от него, имеет иную окраску и форму, и все же оно там и здесь представляет собой одно и то же — пустое, невидимое пространство, внутри которого дей-

ствительность походит на покинутый фантазией игрушечный, из кубиков, город.

Насколько такое вообще может стать очевидным, оно стало очевидным в Какании, и в этом Какания, хотя мир не знал о том, была самым передовым государством; это было государство, которое только как-то мирилось с самим собой, в нем ты был негативно свободен, постоянно испытывал чувство недостаточности причин для собственного существования, и великая фантазия неслучившегося, или случившегося не раз навсегда, омывала тебя, как дыхание океанов, из которых вышло человечество.

«Так уж получилось», — говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли. Да, несмотря на многое, что говорит об обратном, Какания, может быть, все-таки была страной для гениев; и наверно потому она и погибла.

9

Первая из трех попыток стать выдающимся человеком

Этот вернувшийся домой скиталец не помнил такой поры своей жизни, которая бы не была проникнута желанием стать выдающимся человеком: с этой потребностью Ульрих, казалось, родился. Верно, что такая жажда может свидетельствовать и о тщеславии и глупости; но не менее верно, что это прекрасное и правильное стремление, без которого на свете было бы, вероятно, не так много выдающихся людей.

Беда состояла лишь в том, что Ульрих не знал, как им становятся и что это такое — выдающийся человек. В школьные годы он считал таковым Наполеона; объяснялось это отчасти естественной для юнца готовностью восхищаться преступлением, отчасти тем, что учителя ясно указывали на этого тирана, пытавшегося поставить Европу на голову, как на величайшего злодея истории. В результате, разделавшись со школой, Ульрих стал прапорщиком в кавалерийском полку. Вероятно, если бы его тогда спросили, почему он выбрал эту профессию, он уже не ответил бы: «чтобы стать тираном», но такие желания — иезуиты; гений Наполеона начал развиваться лишь после

того, как он стал генералом, а как мог Ульрих, будучи прапорщиком, убедить своего полковника в необходимости этого условия?! Уже во время эскадронных занятий нередко обнаруживалось, что полковник был другого мнения, чем он. Тем не менее Ульрих не проклял бы учебного плаца, на мирном поле которого нельзя было отличить самонадеянность от призвания, если бы не был так честолюбив. Пацифистским разговорам насчет «милитаристского воспитания народа» он не придавал тогда ни малейшего значения, а был полон страстной памяти о героике барства, насилия и гонора. Он участвовал в скачках, дрался на дуэлях и различал только три вида людей — офицеров, женщин и штатских; последние представляли собой физически неразвитый, презренный по своим умственным способностям класс, у которого офицеры уводили жен и дочерей. Он предавался великолепному пессимизму; ему казалось, что раз ремесло солдата есть такое острое и раскаленное орудие, то этим орудием надо сечь и резать мир ему же на благо.

Хотя с ним, на его счастье, при этом никакой беды не стряслось, однажды он все-таки сделал некое открытие.

В одной компании у него вышло с одним зна-

комым финансистом маленькое недоразумение, которое он хотел; уладить с обычным блеском, но оказалось, что и среди, штатских есть мужчины, умеющие постоять за женскую. часть своей семьи. Финансист переговорил с военным министром, с которым был знаком лично, и в результате: Ульрих имел долгую беседу со своим полковником, в которой ему, Ульриху, была разъяснена разница между эрцгерцогом и простым офицером. С тех пор его больше не радовало ремесло воина. Он ожидал, что взойдет на арену потрясающих мир приключений, и вдруг увидел, как на широкой пустой площади буянит пьяный молодой человек, которому отвечают одни лишь камни. Поняв это, он простился с неблагодарным поприщем, где только что достиг чина поручика, и бросил службу.

10
Вторая попытка. Предпосылки морали человека без свойств

Но Ульрих переменил только коня, перейдя от кавалерии: к технике; у нового коня были стальные члены, и бежал он вдесятеро резвее.

В мире Гете стук ткацких станков был еще по-

мехой, в эпоху Ульриха уже начали открывать музыку машинных залов, заклепочных молотков и фабричных гудков. Не надо, впрочем, думать, будто люди вскоре заметили, что небоскреб выше, чем человек на коне; напротив, еще и сегодня, желая изобразить из себя что-то особенное, они садятся не на небоскреб, а на высокого коня, они быстры как ветер и зорки не как гигантский рефрактор, а как орел. Их чувство еще не научилось пользоваться услугами их разуму, и разница в развитии между этими двумя почти так же велика, как между слепой кишкой и корой головного мозга. Значит, это не такое уж малое счастье, если ты догадываешься, как то довелось Ульриху уже на исходе отрочества, что поведение человека во всех высших, на его взгляд, вопросах гораздо старомоднее, чем его машины.

Ульриха залихорадило, едва он вошел в учебные залы механики. Зачем нужен еще Аполлон Бельведерский, если у тебя перед глазами новые формы турбогенератора или игра суставов распределительного устройства паровой машины! Кому интересны тысячелетние словопрения о том, что хорошо и что плохо, если оказывается, что это никакие не «константы», а «функциональные значения» и добротность сделанного

зависит от исторических обстоятельств, а добротность людей — от психотехнической сноровки в использовании их свойств! Мир просто смешон, если смотреть на него с технической точки зрения, непрактичен во всех человеческих взаимоотношениях, в высшей степени неэкономен и неточен в своих методах; и кто привык улаживать свои дела счетной линейкой, тот просто не может принимать всерьез добрую половину всех людских утверждений. Счетная линейка — это две неслыханно остроумно сплетенные системы чисел и делений; счетная линейка — это две белые, лакированные, скользящие одна в другой планочки трапециевидного сечения, с помощью которых можно мгновенно решать сложнейшие задачи, не тратя ни одной мысли без пользы; счетная линейка — это маленький символ, который носишь в нагрудном кармане и чувствуешь над сердцем твердым белым штыком акцентного знака; если у тебя есть счетная линейка, а кто-то приходит с громкими словами или с великими чувствами, ты говоришь: минуточку, вычислим сначала пределы погрешности и вероятную стоимость всего этого!

Это была, несомненно, мощная концепция инженерного дела. Оно, это представление, со-

ставляло рамку привлекательного будущего автопортрета, изображающего мужчину с решительными чертами, с набитой шеком[3] трубкой в зубах, в кепи и превосходных сапогах для верховой езды, который находится в пути между Кейптауном и Канадой, чтобы для своей фирмы претворять в действительность внушительные проекты. При этом всегда можно выкроить время и при нужде добыть у своего технического мышления каком-нибудь совет насчет устройства мира и управления им или какое-нибудь изречение вроде эмерсоновского, которое не мешало бы вывесить над каждой мастерской: «Люди живут на земле как предвестники будущего, и все их дела — это попытки и поиски, ибо любое дело может быть превзойдено следующим!» По правде говоря, эта фраза принадлежала самому Ульриху и была составлена из нескольких змерсоновских фраз.

Трудно сказать, почему инженеры не совсем таковы, как то соответствовало бы этому афоризму. Почему они, например, так часто носят часы на цепочке, которая тянется из жилетного кармана к одной из верхних пуговиц кривобокой

---

[3] Примечания: 3
Сорт курительного табака.

крутой дугой, или же эта цепочка образует у них на животе один подъем и два спуска, словно она находится в стихотворении? Почему им нравится втыкать в свои галстуки булавки с оленьими зубами или подковками? Почему их костюмы сконструированы так же, как первые образцы автомобиля? Почему, наконец, они редко говорят о чем-либо другом, кроме своей профессии; а если и говорят, то почему делают это в какой-то особой, натянутой, расплывчатой, формальной манере, которая проникает внутрь не глубже, чем до надгортанника? Конечно, это относится далеко не ко всем, но ко многим относится, и те, с кем Ульрих познакомился, когда впервые поступил на службу в фабричную администрацию, были таковы, и те, с кем он познакомился при втором поступлении, тоже были таковы. Они производили впечатление людей, крепко связанных со своими чертежными досками, любящих свое дело и обладающих замечательной способностью к нему; но предложение применить смелость их мыслей не к их машинам, а к ним самим они восприняли бы так же, как требование воспользоваться молотком с противоестественной целью убийства.

Поэтому так быстро кончилась и вторая, более

зрелая попытка, которую Ульрих предпринял, чтобы стать необыкновенным человеком на стезе техники.

11
Самая важная попытка

По поводу всего предшествовавшего Ульрих сегодня только покачал бы головой, как если бы ему стали рассказывать о переселении его души; но не по поводу третьей своей попытки. Нетрудно понять, что инженер с головой уходит в свою профессию, вместо того чтобы выйти на вольный простор мира идей, хотя его машины и поставляются на самый край света, ибо ему так же не нужна способность переносить смелость и новизну души своей техники на свою личную душу, как не в силах машина применить к себе самой лежащее в ее основе исчисление бесконечно малых. Относительно же математики сказать этого нельзя; здесь перед нами сама новая логика, сам дух в чистом виде, здесь источники времени и начало необозримых трансформаций.

Если это и есть осуществление извечных мечтаний — летать по воздуху и плавать с рыбами, пробиваться сквозь толщи исполинских гор,

посылать вести с божественными скоростями, видеть и слышать невидимое и далекое, слышать, как говорят мертвые, погружаться в чудодейственный целебный сон, видеть живыми глазами, как будешь выглядеть через двадцать лет после своей смерти, знать среди мерцающей ночи о тысяче находящихся над и под этим миром вещей, прежде неведомых, если свет, тепло, сила, наслаждение, комфорт — извечные мечты человечества, — то сегодняшние изыскания — это не только наука, а волшебство, а торжественный обряд, предполагающий величайшую силу сердца и мозга, перед которой бог открывает одну складку своего плаща за другой, религия, догмы которой пронизывает и поддерживает суровая, мужественная, гибкая, холодная и острая, как нож, логика математики.

Правда, нельзя отрицать, что по мнению не-математиков все эти извечные мечты осуществились вдруг совершенно иначе, чем то представлялось первоначально. Почтовый рожок Мюнхаузена был прекраснее, чем законсервированный фабричным способом голос, семимильные сапоги — прекрасней автомобиля,

царство Лаурина[4] — прекраснее, чем железнодорожный туннель, волшебный корень прекраснее фототелеграммы, вкусить от сердца собственной матери и понимать птиц прекраснее, чем зоопсихологическое исследование об экспрессивных модуляциях птичьего голоса. Обретена реальность и утрачена мечта. Уже люди не лежат под деревом, разглядывая небо в просвет между большим и вторым пальцем ноги, а творят; и нельзя быть голодным и рассеянным, если хочешь чего-то добиться, а надо съесть бифштекс и пошевеливаться. Дело обстоит в точности так, словно старое бездеятельное человечество уснуло на муравейнике, а новое проснулось уже с зудом в руках и с тех пор вынуждено двигаться изо всех сил без возможности стряхнуть с себя это противное чувство животного прилежания. Незачем в самом деле много об этом говорить, большинству людей сегодня и так ясно, что математика, как демон, вошла во все области нашей жизни. Может быть, не все эти люди верят в историю о черте, которому можно продать свою душу; но все люди, которые, наверно, что-то понимают в душе, коль скоро они, будучи священниками, историками

[4] Примечания: 4

Повелитель карликов, герой немецкого средневекового эпоса «Розовый сад Лаурина».

и художниками, извлекают из этого неплохие доходы, свидетельствуют, что она разрушена математикой и что математика есть источник некоего злого разума, хотя превращающего человека во властелина земли, но делающего его рабом машины. Внутренняя пустота, чудовищная смесь проницательности в частностях и равнодушия в целом, невероятное одиночество человека в пустыне мелочей, его беспокойство, злость, беспримерная бессердечность, корыстолюбие, холод и жестокость, характерны для нашего времени, представляют собой, по этим свидетельствам, лишь следствие потерь, наносимых душе логически острым мышлением! Так вот и тогда уже, когда Ульрих стал математиком, были люди, предсказывавшие гибель европейской культуры из-за того, что в человеке нет больше веры, любви, простоты, доброты, и примечательно, что все они в свои юные и школьные годы был скверными математиками. Это позднее служило им доказательством того, что математика, мать точного естествознания, бабушка техники, является и праматерью того духа, из которого в конце концов возникли ядовитые газ и военные летчики.

В неведении относительно этих опасностей

жили, собственно, лишь сами математики и их ученики, естествоиспытатели, ощущавшие все это душой столь же мало как гонщики-велосипедисты, усердно нажимающие на в дали и ничего на свете не замечающие, кроме заднего колеса того, кто сейчас перед ними. Об Ульрихе же, напротив, можно было с уверенностью сказать, что он любил математику из-за людей, которые ее терпеть не могли. И был не столько научно, сколько по-человечески влюблен в эту науку. Он видел, что по всем вопросам, в каких она считает себя компетентной, она думает иначе, чем обыкновенные люди. Если бы можно было заменить научные взгляды мировоззрением, гипотезу — экспериментом, истину — действием, то труд жизни любого крупного естествоиспытателя или математика превосходил бы по мужеству и разрушительной силе величайшие деяния истории. Не появился еще на свете человек, который мог бы сказать верящим в него: крадите, убивайте, распутничайте, наше учение настолько сильно, что оно превратит навозную жижу ваших грехов в белопенный горный ручей; а в науке каждые несколько лет бывает так, что что-то, считавшееся дотоле ошибкой, внезапно переворачивает все; прежние представления или что какая-ни-

будь невзрачная и презренная мысль становится владычицей нового царства идей, и такие случаи там — это не просто перевороты, нет, они, как лестница Иакова, ведут в вышину. В науке все происходит так же ярко, так же беспечно и великолепно, как в сказке. И Ульрих чувствовал: люди просто не знают этого; они понятия не имеют, как уже можно думать; если бы можно было научить их думать по-новому, они бы и жили иначе.

Возникает, правда, вопрос: так ли уж все неправильно в мире, что его нужно то и дело переворачивать? Но на это мир давно сам дал два ответа. Ведь с тех пор, как он существует, большинство людей были в юности за то, чтобы его перевернуть. Они находили смешным, что старшие привязаны к существующему и думают сердцем, куском мяса, вместо того чтобы думать мозгом. Эти молодые всегда замечали, что моральная тупость старших есть в такой же мере неспособность к новым связям, как обыкновенная интеллектуальная тупость, и естественная для них самих мораль была моралью продуктивности, героизма и перемен. Однако, придя в возраст свершений, они больше уже не вспоминали об этом, да и вспоминать не желали. Вот почему многие, для кого математика или

естествознание означает профессию, сочтут это наглостью, если кто-нибудь займется наукой по таким причинам, как Ульрих.

И все же на этом третьем поприще он, по мнению специалистов, сделал совсем не так мало, с тех пор как несколько лет назад вступил на него.

12
Дама, чьей любви Ульрих добился после одного разговора о спорте и мистике

Оказалось, что и Бонадея стремится к великим идеям.

Бонадея была та дама, что спасла Ульриха в ночь его неудачного бокса и навестила на следующее утро под низко опущенной вуалью. Он окрестил ее Бонадеей, Благой богиней, потому что таковой вошла она в его жизнь, и еще в честь богини непорочности, обладавшей в древнем Риме храмом, который путем странного переосмысления стал средоточием всяческого разврата. Она этого не знала. Звучное имя, данное ей Ульрихом, нравилось ей, и она носила его во время своих визитов, как роскошно вышитый пеньюар.

— Я, значит, твоя Благая богиня? — спрашивала она. — Твоя Bona dea? — И верное произношение двух этих слов требовало, чтобы она при этом обвивала руками его шею и прочувствованно глядела на него со слегка запрокинутой головой.

Она была супругой уважаемого человека и нежной матерью двух красивых мальчиков. Любимое ее понятие было «глубоко порядочный»; она применяла его к людям, слугам, делам и чувствам, если хотела сказать о них что-нибудь хорошее. Она способна была произносить вдова «истинное, доброе и прекрасное» так же часто и естественно, как другой говорит «четверг». Полнее всего удовлетворяло ее потребность в идеях представление о тихом, идеальном житье-бытье в кругу, который образуют супруг и дети, в те время как где-то далеко внизу маячит темное царство по имени «не введи меня во искушение», пригашая своим мраком сияющее счастье и заставляя его светиться мягко, как лампа. У нее был лишь один недостаток — что от одного только вида мужчин она возбуждалась в совершенно необычайной мере. Она вовсе не была сладострастна; она была чувственна, как другие люди страдают чем-нибудь другим, например, потливостью рук или тем, что легко меняют свои убеждения, это было

как бы врожденной ее чертой, и она не могла ничего с ней поделать. Познакомившись с Ульрихом при таких романтических, чрезвычайно волнующих воображение обстоятельствах, она с первой же минуты была обречена стать жертвой страсти, которая началась как сочувствие, перешла после короткой, но жестокой борьбы в запретные потаенности и продолжалась как чередование укусов греха и укусов раскаяния.

Но Ульрих был в ее жизни бог весть которым по счету случаем. С такими страдающими любовным бешенством женщинами мужчины, разобравшись, что к чему, обращаются чаще всего немногим лучше, чем с идиотами, которых можно глупейшими средствами заставлять спотыкаться снова и снова на том же месте. Ведь самозабвенно-нежные чувства мужчины напоминают рычание ягуара над куском мяса, и упаси боже тут помешать… Вследствие этого Бонадея часто вела двойную жизнь, словно какой-нибудь вполне почтенный в повседневном быту гражданин, который в темных закоулках своего сознания ведет жизнь железнодорожного вора, и когда ее никто не держал в объятьях, эту тихую, статную женщину угнетало презрение к себе, вызванное ложью и бесчестьем, на которые

она шла, чтобы ее держали в объятьях. Когда ее чувственность была возбуждена, Бонадея была грустна и добра, более того, в этой своей смеси восторга и слез, грубой естественности и неизбежного раскаянья, не вспышках ее мании перед уже грозящей депрессией она приобретала особую прелесть, волнующую, как непрерывная дробь приглушенного барабана. Но в интервале между приступами, в раскаянье между двумя состояниями слабости, заставлявшем ее чувствовать свою беспомощность, она была полна достопочтенных претензий, делавших обхождение с ней непростым. Надо было быть искренним и добрым, сочувствовать всякой беде, любить императорский дом, почитать все почитаемое и вести себя в нравственном отношении так же деликатно, как у постели больного.

Если так не получалось, это тоже ничего не меняло в ходе вещей. В оправдание себе она придумала сказку, что в свое прискорбное состояние была приведена супругом в невинные первые годы их брака. Этот супруг, который был гораздо старше и физически крупнее, чем она, представал тут каким-то беспардонным чудовищем, и в первые же часы своей новой любви она рассказала об этом и Ульриху с печальной

многозначительностью. Лишь поздней он узнал, что человек этот был известным и авторитетным юристом, очень способным в своем деле, к тому же безобидным убийцей — любителем охоты и желанным гостем всяких застолий, где собирались охотники и законники и где говорили о мужских проблемах, а не об искусстве и о любви. Единственная оплошность этого простоватого, добродушного и жизнерадостного человека состояла в том, что он был женат на своей супруге и потому чаще, чем другие мужчины, находился с ней в тех отношениях, которые на судейском языке называют случайной связью. Под психологическим воздействием многолетней покорности человеку, чьей женой она стала больше по расчету, чем по влечению сердца, у Бонадеи сложилась иллюзия своей физической сверхвозбудимости, и эта фантазия сделалась почти независимой от ее сознания. Непонятная ей самой внутренняя необходимость приковывала ее к этому баловню обстоятельств; она презирала его за слабость собственной воли и чувствовала себя слабой, чтобы иметь возможность его презирать; она обманывала его, чтобы убежать от него, но при этом в самые неподходящие моменты говорила о нем или о детях, которые были у нее от него,

и никогда не была в состоянии освободиться от него целиком. Как многие несчастные женщины, опору на довольно зыбкой иначе почве она обрела в неприязни к своему прочно наличествующему супругу и конфликт с ним переносила на каждое новое приключение, которое должно было освободить ее от него.

Чтобы утихомирить ее жалобы, не оставалось ничего другого, как поскорее перевести ее из состояния депрессии в состояние мании. Тогда она отказывала тому, кто так поступал и злоупотреблял ее слабостью, в каком бы то ни было благородстве помыслов, но ее страдание обволакивало ей глаза пеленой влажной нежности, когда она, как она это с научной объективностью выражала, «склонялась» к этому человеку.

13
Гениальная скаковая лошадь способствует созреванию убеждения, что ты — человек без свойств

Весьма важно, что Ульрих был вправе сказать себе, что в своей науке он сделал немало. Его работы принесли ему, правда, и признание. Требовать

восторгов было бы чересчур, ибо даже в империи истины восторг испытывают только перед пожилыми учеными, от которых зависит, получишь ли ты доцентуру или профессуру. Если говорить точно, он остался тем, кого называют надеждой, а надеждами в республике умов называют республиканцев, это те люди, которые воображают, что всю свою силу можно посвятить делу, вместо того чтобы расходовать изрядную ее часть на внешнее продвижение; они забывают, что продуктивность одиночки невелика, а продвижение — это всеобщее желание, и пренебрегают социальным долгом карьеризма, обязывающим начинать как карьерист, чтобы в годы успеха стать подпоркой и ступенькой, с помощью которой выбьется в люди кто-то другой.

И вот однажды Ульрих перестал хотеть быть надеждой. Тогда уже наступило время, когда начали говорить о гениях футбольного поля или площадки для бокса, но на минимум десять гениальных изобретателей, теноров или писателей в газетных отчетах приходилось еще никак ни больше, чем один гениальный центр защиты или один великий тактик теннисного спорта. Новый дух чувствовал себя еще не совсем уверенно. Но как раз тогда Ульрих вдруг где-то вычитал — и как

бы до поры повеяло зрелостью лета — выражение «гениальная скаковая лошадь». Оно встретилось в репортаже об одном сенсационном успехе на ипподроме, и автор, может быть, совершенно не сознавал всего величия мысли, подброшенной духом коллективизма его перу. Ульрих же вдруг понял, в какой неизбежной связи находится вся его карьера с этим гением скаковых лошадей. Ведь лошадь была искони священным животным кавалерии, и в своей казарменной юности Ульрих только и слышал о лошадях да о женщинах, и от этого-то он и удрал, чтобы стать выдающимся человеком, и вот, когда он после разнообразных усилий мог бы уж, пожалуй, почувствовать близость вершины своих устремлений, его оттуда приветствовала опередившая его лошадь.

Это, конечно, оправдано исторически, ибо совсем не так давно достойный восхищения дух мужественности представляли себе существом, чья смелость была нравственной смелостью, чья сила — силой убежденности, чья твердость — твердостью сердца и добродетели, существом, которое быстроту считало мальчишеством, уловки — чем-то недозволенным, юркость и резвость — чем-то не вяжущимся с достоинством. Под конец, правда, это существо встречалось уже не

в живом виде, а лишь на педагогических советах гимназий и во всякого рода письменных высказываниях, оно превратилось в идеологический призрак, и жизнь должна была поискать себе новый образ мужественности. Поискав его, она, однако, сделала открытие, что уловки и хитрости, применяемые находчивым умом при логическом расчете, на самом деле не очень отличаются от бойцовских уловок жестоко вытренированного тела и что существует всеобщая бойцовская душевная сила, которую трудное и невероятное делает холодной и умной независимо от того, привыкла ли она угадывать открытую для атаки сторону задачи или физического противника. Если подвергнуть психотехническому анализу гиганта мысли и чемпиона страны по боксу, то, вероятно, и правда их хитрость, их смелость, их точность, их комбинаторика, а также быстрота их реакций в области для них важной окажутся одинаковыми, и возможно даже, что в доблестях и способностях, определяющих их особый успех, они не будут отличаться от какого-нибудь знаменитого скакуна, ибо нельзя не учитывать того, сколько замечательных свойств пускается в ход, когда надо взять барьер. А к тому же у лошади и у чемпиона по боксу есть перед гигантом мысли

то преимущество, что их достижения и значение можно безупречно измерить и лучших из них действительно признают лучшими, и, стало быть, спорт и объективность по праву вытесняют устаревшие представления о гении и человеческом величии.

Что касается Ульриха, то нужно даже сказать, что в этом вопросе он был на несколько лет впереди своего времени. Ведь наукой он занимался как раз по этому принципу улучшения рекорда на одну победу, на один сантиметр или на один килограмм. Его ум должен был доказать свою остроту и силу и выполнял работу силачей. Это наслаждение мощью ума было ожиданием, воинственной игрой, каким-то неопределенным, но властным притязанием на будущее. Ему было неясно, что он совершит с этой мощью; с ней можно было сделать все и ничего не сделать, стать спасителем мира или преступником. Да такова, наверно, и вообще психологическая ситуация, благодаря существованию которой снова и снова пополняется мир машин и открытий. Ульрих смотрел на науку как на подготовку, закалку и вид тренировки. Если выходило, что такое мышление слишком сухо, резко и узко, что оно не дает перспективы, то с этим приходилось так же

мириться, как с отпечатком лишений и напряжения, который накладывают на лицо большие физические и волевые усилия. Он годами любил духовную несытость. Он ненавидел людей, неспособных, говоря словами Ницше, «терпеть ради истины душевный голод»; тех идущих на попятный, малодушных, изнеженных, которые тешат свою душу болтовней о душе и пичкают ее, поскольку разум якобы дает ей камни вместо хлеба, религиозными, философскими и выдуманными чувствами, похожими на размоченные в молоке булочки. Он держался мнения, что в этом столетии все человеческое пребывает на марше, что гордость требует противопоставить всем бесполезным вопросам девиз «еще нет» и жить по временным принципам, но в сознании цели, которой достигнут потомки.

Правда состоит в том, что наука выработала понятие суровой, трезвой силы, делающее просто невыносимыми старые метафизические и моральные представления рода человеческого, хотя заменить их оно может только надеждой, что настанет далекий день, когда раса интеллектуальных завоевателей спустится в долы душевной плодовитости. Но это удается лишь до тех пор, пока ты не вынужден оторвать взгляд от про-

роческой дали и направить его на теперешнее, близкое, прочитав, что некая скаковая лошадь стала тем временем гениальной. На следующее утро Ульрих встал с левой ноги и нерешительно зашарил правой в поисках домашней туфли. Это произошло не в том городе и не на той улице, где он жил сейчас, но всего несколько недель назад. По бурому асфальту под его окном уже сновали автомобили; чистота утреннего воздуха стала наполняться кислецой дня, и ему показалось невыразимо нелепым наклонять сейчас, в пробивавшемся сквозь занавески молочном свете, свое голое тело вперед и назад, поднимать его с пола и опускать на пол брюшными мышцами и наконец колотить кулаками по груше для бокса, как то делают в этот же час столько людей перед уходом на службу. Час в день — это одна двенадцатая сознательной жизни, и его достаточно, чтобы держать тренированное тело в состоянии пантеры, готовой к любому приключению; но он тратится на бессмысленное ожидание, ибо никогда не случаются приключения, достойные такой подготовки. Совершенно так же обстоит дело с любовью, к которой человек готовится с невероятным размахом, и наконец Ульрих понял, что и в науке он походил на путника, одолевавшего

без цели перед глазами один горный хребет за другим. Он обладал какими-то дольками нового способа думать и чувствовать, но столь сильная поначалу картина нового распадалась на все более многочисленные частности, и если раньше он верил, что пьет из источника жизни, то теперь выпил почти все свои ожидания. Тут он и прекратил на середине большую и многообещающую работу. Его коллеги показались ему не то беспощадными прокурорами и главными жандармами логики, не то курильщиками опиума и пожирателями какого-то странно бесцветного снадобья, от которого мир наполнялся для них видениями чисел и беспредметными связями. «Бог ты мой, — подумал он, — ведь я же не собирался быть математиком всю свою жизнь?!»

Но что, собственно, он собирался делать? В этот момент он мог бы обратиться разве что к философии. Но в состоянии, в каком она тогда находилась, философия напоминала ему ту историю с Дидоной, где разрезается на ремни бычья шкура, только оставалось очень сомнительно, что ими действительно охватишь царство; а что прибавлялось нового, было похоже на то, чем он сам занимался, и никак не соблазняло его. Он мог только сказать, что чувствовал себя более дале-

ким, чем в юности, от того, чем, собственно, хотел стать, если это вообще не осталось ему совершенно неизвестным. С удивительной ясностью видел он в себе все, кроме умения зарабатывать деньги, в котором он не нуждался, поощряемые его временем способности и свойства, но возможность их применения он потерял; и если уж футболисты и лошади обладают гением, то, значит, пустить его в ход — это в конце концов единственное, что остается, чтобы спасти свою самобытность, а потому он решил взять на год отпуск от своей жизни и поискать подходящего применения своим способностям.

14
Друзья юности

После возвращения Ульрих успел уже несколько раз побывать у своих друзей Вальтера и Клариссы, ибо они, несмотря на летнее время, никуда не уехали, а он много лет их не видел. Всякий раз, когда он являлся, они играли на рояле. Они находили само собой разумеющимся не замечать его в такую минуту, пока не закончат пьесу. На сей раз это была ликующая бетховенская песнь радости; миллионы, как то описывает Ницше,

благоговейно падали в прах, ломались барьеры вражды, разделенных мирило, соединяло евангелие мировой гармонии; разучившись ходить и говорить, оба готовы были, танцуя, взмыть в воздух. Лица их были в пятнах, тела изогнуты, головы рывками поднимались и опускались, растопыренные кисти рук месили неподатливое вещество звуков. Происходило нечто неизмеримое; набухал неясно очерченный, готовый вот-вот лопнуть пузырь, и излучения взволнованных кончиков пальцев, нервных складок на лбу, судорог тела наполняли все новым чувством чудовищный персональный мятеж. Сколько раз, интересно, такое уже повторялось?

Ульрих не выносил этого всегда открытого рояля с оскаленными зубами, этого широкомордого, коротконогого — помесь таксы с бульдогом — идола, подчинившего себе жизнь его друзей вплоть до картинок на стене и худосочных эскизов фабричной художественной мебели; сюда входил даже тот факт, что прислуги у них не было, была только приходящая служанка, которая стряпала и убирала. За окнами этого обиталища поднимались к волнистым лесам виноградники с купами старых деревьев и кривыми домишками, но вблизи все было неряшливо, голо, разрозненно

и вытравлено, как бывает там, где окраины больших городов врезаются в сельскую местность. Арку моста между таким передним планом и прелестной далью перекидывал инструмент; блестяще-черный, он выбрасывал за стены огненные столбы нежности и героики, хотя они, истертые в мельчайший звуковой пепел, рушились уже в сотне-другой шагов, не достигнув даже холма с соснами, где стоял трактир у дороги, на полпути к лесу. Комнаты, однако, рояль мог заставить греметь и был одним из тех мегафонов, через которые душа кричит во вселенную, как томимая течкой олениха, которой нет другого ответа, кроме такого же соревновательного зова тысячи других одиноко трубящих на всю вселенную душ. Сильная позиция Ульриха в этом доме основывалась на том, что он объявил музыку немощью воли и расстройством ума и говорил о ней пренебрежительнее, чем думал на самом деле; ибо для Вальтера и Клариссы она была в то время высочайшей надеждой и высочайшим страхом. Ульриха они отчасти презирали за это, отчасти почитали как какого-то злого духа.

Когда на сей раз игра закончилась, Вальтер, размягченный, выдохшийся, растерянный, остался на своем полуповернутом табурете сидеть у

рояля, Кларисса же встала и оживленно приветствовала вторгшегося гостя. В ее руках и в ее лице еще дрожал электрический заряд игры, улыбка ее пробивалась сквозь напряжение восторга и отвращения.

— Лягушачий король! — сказала она, и голова ее, качнувшись назад, указала не то на музыку, не то на Вальтера. Ульрих почувствовал, как снова напряглась упругая сила союза между ним и ею. В прошлый его приход она рассказала ему об ужасном сне: какое-то скользкое существо хотело овладеть ею спящей, оно было пузато-мягким, ласковым и омерзительным, и означала эта большая лягушка музыку Вальтера. У обоих друзей было не так-то много секретов от Ульриха. Поздоровавшись с ним, Кларисса уже опять от него отвернулась, быстро возвратилась к Вальтеру, снова выкрикнула свой боевой клич «лягушачий король», которого Вальтер, как показалось, не понял, и еще вздрагивавшими от музыки руками больно и с болью исступления рванула его за волосы. Ее супруг сделал мило смущенное лицо и на шаг приблизился, возвращаясь из скользкой пустоты музыки.

Потом Кларисса и Ульрих пошли без него погулять под косым стреловидным дождем вечернего

солнца; он остался у рояля. Кларисса сказала:

— Способность запретить себе что-либо вредное — это проверка жизненной силы! Изнуренного влечет вредное!.. Что ты думаешь по этому поводу? Ницше утверждает, что это признак слабости, если художник слишком занят моральной стороной своего искусства.

Она села на землю, на бугорок.

Ульрих пожал плечами. Когда три года назад Кларисса вышла замуж за его друга юности, ей было двадцать два года, и он сам подарил ей на свадьбу сочинения Ницше.

— Будь я Вальтером, я вызвал бы Ницше на дуэль, — ответил он с улыбкой.

Стройная, нежно вырисовывавшаяся под платьем спина Клариссы напряглась, как тетива, и лицо ее тоже было полно напряжения; она боялась повернуть его к Ульриху.

— В тебе все еще есть что-то девчоночье и в то же время геройское… — прибавил Ульрих.

Это было сказано не то вопросительно, не то без вопроса, немного в шутку, но и с долей нежного изумления; Кларисса не совсем поняла, что он имел в виду, но оба его слова, которые он уже однажды употребил прежде, вонзились в нее, как горящая стрела в соломенную крышу.

Время от времени до них доносилась волна наугад взбаламученных звуков. Ульрих знал, что она неделями отказывала в близости Вальтеру, если он играл Вагнера, Тем не менее он играл Вагнера; с нечистой совестью; словно это был мальчишеский порок.

Клариссе хотелось спросить Ульриха, что ему об этом известно; Вальтер не умел ничего держать про себя; но ей было стыдно спрашивать. Теперь и Ульрих присел на бугорок поблизости от нее, и наконец она сказала нечто совсем другое.

— Ты не любишь Вальтера, — сказала она. — Ты на самом деле ему не друг.

Это прозвучало вызывающе, но она засмеялась.

Ульрих дал неожиданный ответ:

— Мы — друзья юности. Ты была еще ребенком, Кларисса, когда мы уже находились в особых отношениях кончающейся юношеской дружбы. Несметное число лет назад мы восхищались друг другом, а теперь мы не доверяем друг другу, зная друг друга насквозь. Каждому хочется избавиться от неприятного впечатления, что когда-то он путал другого с самим собой, и потому мы служим друг другу неподкупным кривым зеркалом.

— Ты, значит, не веришь, — сказала Кла-

рисса, — что он еще чего-то достигнет.

— Нет второго такого примера неизбежности, как тот, что являет собой способный молодой человек, когда он суживается в обыкновенного старого человека — не от какого-то удара судьбы, а только от усыхания, заранее ему предназначенного!

Кларисса плотно сомкнула губы. Старый, времен юности, уговор между ними, что убеждения важнее вежливости, всколыхнул ей сердце, но было больно. Музыка! Звуки все время добирались сюда. Она прислушалась. Теперь, в молчанье, отчетливо доносилось клокотанье рояля. Если не прислушиваться, то оно словно бы вздымалось из бугров как «трепещущее пламя» вокруг Брунхильды.

Трудно было сказать, что представлял собою Вальтер в действительности. Он и поныне, это несомненно, был приятный человек с выразительными, полными значения глазами, хотя ему шел тридцать пятый год и он служил в каком-то причастном к искусству учреждении. Устроил ему эту удобную службу отец, пригрозив, что лишит его денежного подспорья, если он откажется от нее. Ведь, собственно, Вальтер был художником; одновременно с изучением

истории искусства в университете он работал в классе живописи государственной академии и позднее некоторое время жил в мастерской. И когда он с Клариссой вскоре после женитьбы на ней перебрался в этот дом на отшибе, он тоже был художником; но теперь, казалось, он снова был музыкантом; в течение десяти лет своей любви он бывал то тем, то другим, а вдобавок еще и поэтом, издавал литературный журнал и пошел было даже, чтобы жениться, служить в агентство по распространению пьес, но через несколько недель отказался от этой затеи, стал вскоре, чтобы жениться, театральным дирижером, разглядел через полгода, что и это невозможно, был учителем рисования, музыкальным критиком, отшельником и многим другим, пока не лопнуло терпение его отца и его будущего тестя, несмотря на все их великодушие. Пожилые люди вроде них обычно утверждали, что у него просто нет воли; но с тем же правом можно было утверждать, что он всю свою жизнь был только разносторонним дилетантом, и в том-то и состояло самое удивительное, что всегда находились специалисты в области музыки, живописи или литературы, которые прочили Вальтеру великое будущее. В жизни Ульриха, наоборот, хотя ему и удалось

сделать кое-что бесспорно ценное, никогда не бывало такого случая, чтобы кто-то пришел к нему и сказал: «Вы тот человек, которого я всегда искал и которого ждут мои друзья!» В жизни Вальтера такое случалось каждые три месяца. И даже если то бывали не самые авторитетные судьи, то все-таки все они были людьми, имевшими какое-то влияние, способными сделать заманчивое предложение, возглавлявшими какое-нибудь новое предприятие, располагавшими должностями, знакомствами и протекцией, которые они отдавали в распоряжение открытому ими Вальтеру, чья жизнь именно поэтому могла идти таким размашистым зигзагом. Было в нем, Вальтере, что-то, казавшееся более важным, чем определенное свершение. Может быть, это был особый талант слыть большим талантом. И если это дилетантизм, то духовная жизнь немецкой нации в большой мере основана на дилетантизме, ибо этот талант встречается на всех уровнях вплоть до действительно очень талантливых людей, и только им его, по всей видимости, обычно недостает.

И даже талантом понимать это обладал Вальтер. Хотя он, конечно, как всякий, готов был считать свои успехи личной заслугой, все же

счастливая легкость, с какою он поднимался от одной случайной удачи к другой, всегда тревожила его как пугающая легковесность, и каждая перемена его деятельности и человеческих связей происходила не только от непостоянства, но и от больших внутренних терзаний и в страхе, что он должен ради чистоты внутренних побуждений продолжить странствие, пока не успел закрепиться там, где уже намечается обманчивое пристанище. Его жизненный путь был цепью бурных переживаний, рождавших героическую борьбу души, которая, противясь всякой половинчатости, не подозревала, что служит тем самым своей собственной. Ибо в то время как он страдал и боролся за нравственность своей духовной деятельности, как то подобает гению, и целиком отдавал себя своему таланту, которого не хватало на что-то большое, его судьба кругами и потихоньку привела его назад к нулю. Он наконец достиг места, где ему уже ни что не мешало; тихая, незаметная, защищенная от всякой нечистоплотности художественного рынка служба в полуученой должности давала ему предостаточно независимости и времени, чтобы сосредоточенно прислушиваться исключительно к своему внутреннему зову, обладание

любимой снимало шипы, коловшие его сердце, дом «на краю одиночества», куда он перебрался с ней после женитьбы, был словно создан для творчества. Но когда не осталось ничего, что нужно было преодолевать, случилось неожиданное: произведений, которые так долго сулило величие его помыслов, не последовало. Вальтер, казалось, не мог больше работать; он прятал и уничтожал; он каждое утро или пополудни, вернувшись домой, запирался на несколько часов, совершал многочасовые прогулки с закрытым альбомом для зарисовок, но то немногое, что из этого возникало, он никому не показывал или уничтожал. На это у него были сотни разных причин. Но и в целом взгляды его в это время начали поразительно меняться. Он уже не говорил больше о «современном искусстве» и об «искусстве будущего», — понятия эти были связаны с ним у Клариссы с пятнадцатилетнего возраста, — а подводил где-то заключительную черту, в музыке, например, после Баха, в литературе — после Штифтера, в живописи — после Энгра, и объявлял все позднейшее вычурным, упадочническим, утрированным и вырождающимся; мало того, он с каждым разом все запальчивей утверждал, что в такое отравленное в своих духовных корнях

время, как нынешнее, чистый талант должен вообще воздерживаться от творчества. Но разоблачительно было то, что хотя из его уст можно было услышать столь строгие суждения, из его комнаты, как только он запирался, все чаще доносились звуки Вагнера, то есть музыки, которую он в прежние годы учил Клариссу презирать как типичный образец мещански-вычурного, упадочнического времени, но перед которой теперь сам не мог устоять, как перед крепким, горячим, пьянящим зельем.

Кларисса сопротивлялась этому. Она ненавидела Вагнера хотя бы уже из-за его бархатной куртки и берета. Она была дочерью художника, чьи эскизы декораций и костюмов имели широкую славу. Детство ее прошло в царстве, дышавшем воздухом кулис и запахом краски, среди трех разных жаргонов искусства — театрального, оперного и мастерской художника, в окружении бархата, ковров, гениев, леопардовых шкур, безделушек, павлиньих опахал, ларей и лютней. Поэтому она терпеть не могла всякого сладострастия в искусстве и испытывала тягу ко всему аскетически-строгому, будь то метагеометрия новой атональной музыки или освежеванная, ясная, как препарат мышц, воля классических

форм. Первую весть об этом принес в ее девичью неволю Вальтер. «Принц света» назвала она его, и, когда она была еще ребенком, они с Вальтером клятвенно обещали друг другу, что не поженятся, пока он не станет королем. История его перемены предприятий была заодно историей безмерных страданий и восторгов, где роль награды за борьбу выпала ей. Кларисса не была так талантлива, как Вальтер, это она всегда чувствовала. Но она считала гениальность вопросом воли. С дикой энергией принялась она заниматься музыкой; не исключено, что она вообще не была музыкальна, но она обладала десятью сильными пальцами для игры на рояле и решительностью; она упражнялась целыми днями и погоняла свои пальцы, как десять тощих волов, которые должны вытащить из земли какую-то застрявшую в ней невероятную тяжесть. Таким же манером она занималась и живописью. С пятнадцатилетнего возраста она считала Вальтера гением, потому что всегда намеревалась выйти замуж только за гения. Она не разрешала ему не быть гением. И увидев его несостоятельность, она стала бешено сопротивляться этому удушающему, медленному изменению атмосферы своей жизни. Как раз теперь Вальтеру и нужно было человеческое тепло,

и когда его мучило его бессилие, он льнул к ней, как дитя, ищущее молока и сна, но маленькое, нервное тело Клариссы не было материнским. Ей казалось, что из нее тянет соки паразит, который хочет в ней угнездиться, и она не поддавалась ему. Она презирала эту жаркую, как в прачечной, теплоту, где он искал утешения. Возможно, что это было жестоко. Но она хотела быть спутницей великого человека и боролась с судьбой.

Ульрих предложил Клариссе папиросу. Что мог он еще сказать ей, после того как с такой прямотой сказал все, что он думал. Дымки их папирос, потянувшиеся за лучами вечернего солнца, соединились в некотором отдалении от них.

«Что знает Ульрих об этом? — думала Кларисса на своем бугорке. — Ах, что может он вообще понимать в такой борьбе!» Она вспомнила, как распадалось, каким изнуренно-пустым делалось лицо Вальтера, когда его одолевали муки музыки и чувственности, а ее сопротивление не давало им выхода; нет, полагала она, об этой чудовищности любовной игры словно бы на Гималаях, воздвигнутых из любви, презрения, страха и высших обязательств, Ульрих не знал ничего. Она была не очень благоприятного мнения о математике и никогда не считала его таким же

талантливым, как Вальтер. Он был умен, он был логичен, он много знал; но разве это не больше, чем варварство? Правда, в теннис он играл раньше несравненно лучше, чем Вальтер, и Кларисса помнила, как иной раз при виде его решительных ударов она с такой остротой чувствовала, что он добьется чего захочет, с какой этого никогда не чувствовала при соприкосновении с живописью, музыкой или мыслями Вальтера. И она подумала: «А может быть, он знает о нас все, да не говорит?!» В конце концов он ведь вполне ясно намекнул только что на ее героизм. Это молчание между ними стало теперь захватывающе интересным.

А Ульрих думал: «До чего же мила была Кларисса десять лет назад — это полудитя с пылающей верой в наше, троих, будущее». И неприятна она была ему, собственно, только один-единственный раз — когда они с Вальтерам поженились: тогда она проявила то неприятнее себялюбие вдвоем, которое часто делает молодых, честолюбиво влюбленных в своих мужей женщин такими невыносимыми для других мужчин. «В этом отношении произошла большая перемена к лучшему», подумал он.

15
Душевный переворот

Вальтер и он были молоды в то ушедшее ныне время вскоре после последней смены веков, когда многие думали, что и век тоже молод.

Век, сошедший тогда в могилу, во второй своей половине не очень-то отличился. Он был умен в технике, коммерции и в научных исследованиях, но вне этих центров своей энергии он был тих и лжив, как болото. Он писал картины, как древние, сочинял, как Гете и Шиллер, и строил свои дома в стиле готики и Ренессанса. Требование идеального господствовало наподобие полицейского управления надо всеми проявлениями жизни. Но в силу того тайного закона, который не позволяет человеку подражать без утрирования, все делалось тогда так корректно, как то и не снилось боготворимым образцам, следы чего и сегодня еще видны на улицах и в музеях, и, связано ли это со сказанным или нет, целомудренные и застенчивые женщины того времени должны были носить платья от ушей до земли, но обладать пышной грудью и основательным

задом. Впрочем, по разным причинам ни о каком минувшем времени не знают так мало, как о тех трех или пяти десятках лет, что лежат между собственным двадцатилетием и двадцатилетием отцов. Поэтому полезно, может быть, вспомнить и о том, что в плохие эпохи мерзейшие дома и стихи создаются по ничуть не менее прекрасным принципам, чем в самые лучшие; что у всех людей, уничтожающих достижения предшествующего хорошего периода, есть чувство, будто они их улучшают; и что бескровные молодые люди такого времени столь же высокого мнения о своей молодой крови, как новые люди во все прочие времена.

И это каждый раз кажется чудом, если после отлогого склепа такой эпохи, душа вдруг немного поднимется, как оно тогда и случилось. Из масляно-гладкого духа двух последних десятилетий девятнадцатого века во всей Европе вспыхнула вдруг какая-то окрыляющая лихорадка. Никто не знал толком, что заваривалось; никто не мог сказать, будет ли это новое искусство, новый человек, новая мораль или, может быть, новая перегруппировка общества. Поэтому каждый говорил то, что его устраивало. Но везде вставали люди, чтобы бороться со старым. Подходящий человек

оказывался налицо повсюду; и что так важно, люди практически предприимчивые соединялись с людьми предприимчивости духовной. Развивались таланты, которые прежде подавлялись или вовсе не участвовали в общественной жизни. Они были предельно различны, и противоположности их целей были беспримерны. Любили сверхчеловека и любили недочеловека; преклонялись перед здоровьем и солнцем и преклонялись перед хрупкостью чахоточных девушек; воодушевленно исповедовали веру в героев и веру в рядового человека; были доверчивы и скептичны, естественны и напыщенны, крепки и хилы; мечтали о старых аллеях замков, осенних садах, стеклянных прудах, драгоценных камнях, гашише, болезни, демонизме, но и о прериях, широких горизонтах, кузницах и прокатных станах, голых борцах, восстаниях трудящихся рабов, первобытной половой любви и разрушении общества. Это были, конечно, противоречия и весьма разные боевые кличи, но у них было общее дыхание; если бы кто-нибудь разложил то время на части, получилась бы бессмыслица вроде угловатого круга, который хочет состоять из деревянного железа, но в действительности все сплавилось в мерцающий смысл. Эта иллю-

зия, нашедшая свое воплощение в магической дате смены столетий, была так сильна, что одни рьяно бросались на новый, еще не бывший в употреблении век, а другие напоследок давали себе волю в старом, как в доме, из которого все равно выезжать, причем обе эти манеры поведения не замечали такого уж большого несходства между собой.

Если не хочется, то и не надо, стало быть, переоценивать это прошедшее «движение». Да и существовало-то оно лишь в том тонком, текучем слое интеллигентов, который единодушно презирают поднявшиеся сегодня опять, слава богу, люди с мировоззрением, при всех его противоречиях непробиваемым, и не распространилось на массы. Но хоть историческим событием все это не стало, событьицем оно было, и оба друга, Вальтер и Ульрих, застали еще, когда были молоды, его мерцанье. Сквозь неразбериху верований что-то тогда пронеслось, так если бы множество деревьев согнулось под одним ветром, какой-то сектантский и реформаторский дух, блаженное сознание начала и перемены, маленькое возрождение и реформация, знакомые лишь лучшим эпохам, и тот, кто вступал тогда в мир, чувствовал уже на первом углу, как овевает этот дух щеки.

16
Таинственная болезнь времени

Значит, они и правда совсем не так давно были двумя молодыми людьми, думал Ульрих, когда снова оказался один, — которых великие идеи осеняли странным образом не только в первую очередь, раньше, чем всех других, но к тому же и одновременно, ведь достаточно было одному открыть рот, чтобы сказать что-то новое, как другой уже делал это же потрясающее открытие. Есть что-то странное в юношеской дружбе: она как яйцо, чувствующее свою великолепную птичью будущность уже в желтке, но предстающее внешнему миру пока всего лишь несколько невыразительным овалом, который нельзя отличить от любого другого. Он ясно видел перед собой комнату мальчика и студента, где они встречались, когда он на несколько недель возвращался из своих первых вылазок в мир. Письменный стол Вальтера, заваленный рисунками, заметками и нотными листами, заранее излучавший блеск будущности знаменитого человека, и узкую этажерку напротив, у которой Вальтер в пылу

беседы стоял, бывало, как Себастиан у столба, под светом лампы, падавшим на прекрасные волосы, всегда вызывавшие у Ульриха тайное восхищение. Ницше, Альтенбергу, Достоевскому или кого они на сей раз читали приходилось довольствоваться местом на полу или на кровати, когда в них уже не было надобности, а поток разговора не терпел такой мелочной помехи, как аккуратное водворение их на место. Заносчивость юности, для которой величайшие умы на то и нужны, чтобы пользоваться ими по своему усмотрению, показалась ему сейчас удивительно прелестной. Он попытался вспомнить их разговоры. Они были как сновидение, когда, просыпаясь, еще успеваешь поймать последние свои мысли во сне. И он подумал с легким изумлением: когда мы тогда что-то утверждали, у нас была еще и другая цель, кроме правоты, — утвердить себя! На столько сильнее в юности было стремление светить самим, чем стремление видеть при свете. Воспоминание об этом словно бы парившем на лучах настроении юности он ощутил как мучительную утрату.

Ульриху казалось, что с началом зрелого возраста он попал в какой-то всеобщий спад, который, несмотря на случайные короткие всплески, раз-

ливался все более вялыми толчками. Трудно было сказать, в чем состояла эта перемена. Разве вдруг стало меньше выдающихся людей? Конечно, нет! Да вовсе и не в них дело; уровень эпохи зависит не от них, ни бездуховность людей шестидесятых — восьмидесятых годов не могла, например, подавить развитие Геббеля и Ницше, ни они оба — бездуховность своих современников. Застыла общая жизнь? Нет, она сделалась мощнее! Стало ли больше, чем прежде, сковывающих противоречий? Вряд ли могло их стать больше! Разве раньше не соблазнялись извращениями? Еще как! Говоря между нами, вступались за слабых мужчин и обходили вниманием сильных; случалось, что болваны играли роль вождей, а большие таланты — роль чудаков; не тревожась по поводу всяческих родовых мук, которые он называл упадочнической и больной гиперболизацией, истинный немец продолжал читать свои семейные журналы и посещал в несравненно больших количествах массовые мероприятия и академические выставки, чем авангардистские «сецессионы»;[5] а уж политика-то и вовсе игно-

[5] Примечания: 5

Объединения художников в Мюнхене (1892), Вене (1897) и Берлине (1899), отвергавшие академиям и выступавшие провозвестниками стиля «модерн».

рировала взгляды новых людей и их журналов, и официальные учреждения по-прежнему отгораживались от нового, как от чумы… Разве не правильнее было бы даже сказать, что с тех пор все изменилось к лучшему? Люди, возглавлявшие прежде лишь маленькие секты, стали теперь старыми знаменитостями; издатели и антиквары разбогатели; новое продолжает учреждаться; весь мир посещает и массовые мероприятия, и «сецессионы», и «сецессионы» «сецессионов», семейные журналы коротко остриглись; государственные деятели любят показать свою компетентность в тонкостях культуры, а газеты делают историю литературы. Что же утрачено?

Что-то невесомое. Знак плюс или минус. Какая-то иллюзия. Как если бы магнит отпустил железные опилки и они снова перемешались. Как если бы размотался клубок ниток. Как если бы колонна пошла не в ногу. Как если бы оркестр начал фальшивить. Нельзя было назвать решительно ни одной частности, которая не была бы возможна и прежде, но все пропорции немного сместились. Идеи, авторитет которых прежде был тощим, стали тучными. Славу пожинали лица, которых прежде не принимали всерьез. Топорщившееся смягчилось, разделенное слилось

вновь, независимые делали уступки всеобщим восторгам, уже сложившийся было вкус снова страдал неуверенностью. Резкие границы повсюду стерлись, и какая-то новая, не поддающаяся описанию способность родниться вынося наверх новых людей и новые представления. Они не были дурными, отнюдь нет; только к хорошему примешалась чуточку великоватая доля дурного, к истине — заблуждения, к значительности — приспособленчества. Казалось прямо-таки, что для этой смеси существовала предпочтительная дозировка, сулившая в мире наибольший успех, маленькая, в обрез отмеренная добавка суррогата — она только и придавала гению гениальный, а таланту внушающий надежду вид, подобно тому как, по мнению многих, лишь известная добавка инжира или цикория придает кофе настоящую, полноценную кофейность, и вдруг все ключевые и важные позиции духа оказались заняты такими людьми, и все решения стали сообразны их вкусу. Ни на кого нельзя возлагать ответственность за это. И нельзя сказать, как все стало таким. Нельзя бороться ни с какими-то людьми, ни с какими-то идеями или определенными явлениями. Нет недостатка ни в таланте, ни в доброй воле, ни в характерах. Только есть такой же недостаток

во всем, какого нет ни в чем; ощущение такое, словно изменилась кровь или изменился воздух, таинственная болезнь сожрала небольшие задатки гениальности, имевшиеся у прежней эпохи, но все сверкает новизной, и в конце концов не знаешь уже, действительно ли мир стал хуже или просто ты сам стал старше. Тут-то и окончательно наступает новое время.

Вот как изменилось время, — как день, поначалу сияющий голубизной и потихоньку заволакивающийся, — и оно не было настолько любезно, чтобы подождать Ульриха. Он отплачивал своему времени тем, что причину таинственных изменений, которые, пожирая гений, составляли его, времени, болезнь, считал самой обыкновенной глупостью. Совсем не в обидном смысле. Ведь если бы изнутри глупость не была до неразличимости похожа на талант, если бы извне она не могла казаться прогрессом, гением, надеждой, совершенствованием, никто бы, пожалуй, не захотел быть глупым и глупости не было бы. По крайней мере с ней было бы очень легко бороться. Но в ней, к сожалению, есть что-то необыкновенно располагающее и естественное. Если, например, найдут, что олеография — изделие более искусное, чем написанная вручную

картина, то в этом будет и своя истина, и доказать ее можно точнее, чем ту истину, что Ван Гог был великий художник. Точно так же очень легко и выгодно быть как драматург сильнее Шекспира или как повествователь ровнее Гете, и чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие. Нет решительно ни одной значительной идеи, которую глупость не сумела бы применить, она может двигаться во все стороны и облачаться в одежды истины. У истины же всегда только одна одежда и один путь, и она всегда внакладе.

Но в связи с этим Ульриху вскоре пришла в голову одна странная штука. Он представил себе, будто великий церковный философ Фома Аквинский, умерший в 1274 году, после того как он с несказанным трудом привел в полный порядок мысли своего времени, — будто он предпринял еще более глубокое и основательное исследование и лишь только что закончил его; и вот, оставшись по какой-то особой милости молодым, он вышел, с несколькими фолиантами под мышкой, из сводчатой двери своего дома, и перед носом у него промчался трамвай. Недоуменное удивление «доктора универсалис», как называли знаменитого Фому в прошлом, позабавило Ульриха. По пустой улице приближался мотоциклист,

руки и ноги колесом, он с грохотом вырастал из перспективы. На лице его была серьезность ревущего с невероятной важностью ребенка. Ульрих вспомнил тут портрет одной знаменитой теннисистки, который видел на днях в каком-то журнале; она стояла на носке, с открытой до самой подвязки и выше ногой, закинув другую ногу к голове и высоко замахнувшись ракеткой, чтобы взять мяч; при этом лицо у нее было как у английской гувернантки. В том же журнале была изображена пловчиха, которую массируют после состязания; в ногах и в головах у нее, наблюдая за происходящим самым серьезным образом, стояли особы женского пола в верхней одежде, а она голышом лежала на кровати, на спине, с приподнятым, как будто она отдавалась, коленом, и на нем покоились руки массажиста во врачебном халате, стоявшего рядом и смотревшего с фотографии так, словно это женское тело освежевано и висит на крюке. Когда стали появляться такие вещи, и существование их надо было как-то признать, как признают существования высотных зданий и электричества. «Нельзя злиться на собственное время без ущерба для себя самого», чувствовал Ульрих. Да он и всегда готов был любить все эти формы живого. Никогда ему

только не удавалось любить их безгранично, как того требует чувство социального благополучия; давно уже на всем, что он делал и испытывал, лежала печать неприязни, тень бессилия и одиночества, универсальная неприязнь, к которой он не находил дополнения в какой-то приязни. Порой у него было на душе совсем так, словно он родился с каким-то талантом, с которым сейчас нечего делать.

17
Воздействие человека без свойств на человека со свойствами

Беседуя, Ульрих и Кларисса не замечали, что музыка позади них порой прекращалась. Тогда Вальтер подходил к окну. Он не мог видеть их, но чувствовал, что они находились у самой границы его поля зрения. Его мучила ревность. Низменный дурман тяжело-чувственной музыки влек его назад. Рояль за его спиной был открыт, как постель, разворошенная спящим, который не хочет просыпаться, потому что не хочет смотреть в лицо действительности. Зависть паралитика, чувствующего, как шагают здоровые, изводила его, а заставить себя присоединиться к ним он

не мог, ибо его боль делала его беззащитным перед ними.

Когда Вальтер поднимался утром и спешил на службу, когда он весь день говорил с людьми, а потом ехал среди них домой, он чувствовал себя человеком выдающимся и призванным к чему-то особому. Он думал тогда, что видит все иначе; его могло взволновать то, мимо чего небрежно проходили другие, а где другие небрежно хватали ту или иную вещь, там даже движение собственной руки было полно для него духовных приключений или самовлюбленной расслабленности. Он был чувствителен, и чувство было у него всегда взбудоражено копанием в мыслях, их провалами, колышущимися долинами и горами; он никогда не бывал равнодушен, а во всем видел счастье или несчастье и благодаря этому всегда находил повод для усиленных размышлений. Такие люди необыкновенно притягательны для других, потому что этим другим передается нравственное волнение, в котором они непрестанно находятся; в их разговорах все принимает личное значение, и поскольку, общаясь с ними, можно все время заниматься самим собой, они доставляют удовольствие, которое вообще-то можно получить лишь за плату у какого-нибудь психоаналитика

или специалиста по индивидуальной психологии, да еще с той разницей, что там чувствуешь себя больным, а Вальтер помогал людям казаться самим себе очень важными по причинам, дотоле ускользавшим от них. Этим свойством — распространять духовную самососредоточенность — он покорил и Клариссу и постепенно вытеснил всех соперников; поскольку все становилось у него этическим волнением, он мог убедительно говорить о безнравственности украшательства, о гигиене гладкой формы и о пивных парах вагнеровской музыки, как то соответствовало новому художественному вкусу, и приводил этим в ужас даже своего будущего тестя, чей мозг живописца был как распущенный павлиний хвост. Таким образом, не подлежало сомнению, что у Вальтера были успехи в прошлом.

Но как только он, полный впечатлений и планов небывалой еще, может быть, зрелости и новизны, прибывал домой, с ним происходила обескураживающая перемена. Ему достаточно было установить холст на мольберте или положить листок бумаги на стол — и уже возникало ощущение ужасной пропажи в его душе. Его голова оставалась ясной, и план в ней маячил как бы в очень прозрачном и чистом воздухе, план

даже разъединялся, превращался в два плана или в большее число планов, которые могли оспаривать первенство друг у друга; не связь между головой и первыми, необходимыми для исполнения движениями словно бы отрезало. Вальтер не мог решиться шевельнуть и пальцем. Он просто не вставал с места, где ему случилось сесть, и мысли его соскальзывали с поставленной им перед собой задачи, как снег, что тает, едва упав. Он не знал, чем заполнялось время, но не успевал он оглянуться, как наступал вечер, и поскольку после нескольких таких случаев он уже приходил домой со страхом перед их повторением, целые вереницы недель стали скользить и проходили как сумбурный полусон. Замедленный безнадежностью во всех своих решениях и побуждениях, он страдал от горькой грусти, и его неспособность превратилась в боль, которая часто, как носовое кровотечение, возникала у него где-то во лбу, едва он решался за что-либо взяться. Вальтер был пуглив, и эти явления, которые он отмечал у себя, не только мешали ему работать, но и очень страшили его; они настолько, казалось, были независимы от его воли, что часто производили на него впечатление начинающейся умственной деградации.

Но хотя его состояние в течение последнего года все ухудшалось, он в то же самое время нашел удивительную поддержку в мысли, которой никогда прежде достаточно не ценил. Мысль эта состояла не в чем ином, как в том, что Европа, где он был вынужден жить, безнадежно выродилась. В эпохи, внешне благополучные, но внутренне переживающие тот спад, который происходит, вероятно, во всяком деле, а потому и в духовном развитии, если на него не направляют особых усилий и не дают ему новых идей, — в такие эпохи прежде всего следовало бы, собственно, задаться вопросом, какие тут можно принять меры противодействия; но неразбериха умного, глупого, подлого, прекрасного как раз в такие времена настолько запутана и сложна, что многим людям явно проще верить в какую-то тайну, отчего они и провозглашают неудержимый упадок чего-то, что не поддается точному определению и обладает торжественной расплывчатостью. Да и совершенно, в сущности, безразлично, что это — раса, сырая растительная пища или душа: как при всяком здоровом пессимизме, тут важно только найти что-то неизбежное, за что можно ухватиться. И хотя Вальтер в лучшие годы способен был смеяться над такими теориями, он тоже,

начав прибегать к ним, быстро увидел великие их преимущества. Если дотоле был не способен к работе и плохо чувствовал себя он, то теперь неспособно к ней было время, а он был здоров. Его ни к чему не приведшая жизнь нашла вдруг потрясающее объяснение, оправдание в эпохальном масштабе, его достойное; и это принимало уже характер прямо-таки великой жертвы, если он брал в руку и опять клал на место карандаш или перо.

Тем не менее Вальтеру еще приходилось бороться с собой, и Кларисса мучила его. На разговоры о пороках времени она не шла, она верила в гений прямолинейно, Что это такое, она не знала, но все ее тело трепетало и напрягалось, когда заходила об этом речь; это либо чувствуешь, либо не чувствуешь — таково было единственное ее доказательство. Для Вальтера она всегда оставалась той маленькой, жестокой, пятнадцатилетней девочкой. Никогда она целиком не понимала его чувств, и ему никогда не удавалось подчинить ее себе. Но при всей своей холодности и суровости, сменявшихся у нее восторженностью и сочетавшихся с беспредметно-пламенной волей, она обладала таинственной способностью влиять на него так, словно через нее поступали

толчки с какой-то стороны, которую нельзя было указать в трехмерном пространстве. Иногда от этого делалось жутковато. Особенно он чувствовал это, когда они играли вдвоем. Игра Клариссы была сурова и бесцветна, подчиняясь чуждому ему закону волнения; когда тела пылали так, что сквозь них светилась душа, он чувствовал это с пугающей силой. Что-то не поддающееся определению отрывалось тогда от нее и грозило улететь вместе с ее духом. Шло оно из какой-то тайной полости в ее естестве, которую нужно было в страхе держать закрытой; он не знал, по каким признакам он это чувствовал и что это было; но это мучило его невыразимым страхом и потребностью предпринять что-то решительное, чего он не мог сделать, ибо никто, кроме него, ничего такого не замечал.

Глядя в окно на возвращавшуюся Клариссу, он был почти уверен, что опять не удержится от искушения говорить об Ульрихе плохо. Ульрих вернулся некстати. Он причинял Клариссе вред. Он жестоко ухудшал в ней то, чего Вальтер не осмеливался бередить, каверну беды, все бедное, больное, зловеще-гениальное в Клариссе, тайное пустое пространство, где цепи были натянуты так, что могли в один прекрасный день и вовсе

не выдержать. И вот она стояла перед ним с непокрытой головой, только что войдя, держа в руке летнюю шляпу, и он смотрел на нее. Глаза ее были насмешливы, ясны, нежны; может быть, немного слишком ясны. Иногда у него бывало такое чувство, что она просто обладает силой, отсутствующей у него. Жалом, которое никогда не даст ему покоя, была она для него уже в свои детские годы, и сам он, конечно, никогда не хотел, чтобы она была другой; в этом, может быть, и состояла тайна его жизни, непонятная тем двум.

«Глубоки наши муки! — подумал он. — Нечасто, наверно, два человека любят друг друга так глубоко, как должны любить мы». И без перехода заговорил:

— Не хочу знать, что рассказывал тебе Уло. Но могу сказать, что его сила, которой ты любуешься, не что иное, как пустота!

Кларисса посмотрела на рояль и улыбнулась; Вальтер непроизвольно уселся опять у открытого рояля. Он продолжал:

— Легко, должно быть, испытывать героические чувства, если от природы ты нечувствителен, и мыслить километрами, если понятия не имеешь, какие миры таит в себе любой миллиметр!

Они называли его иногда Уло, как в пору его

юности, и он любил их поэтому так, как сохраняют улыбчивую почтительность к своей кормилице.

— Он застрял на месте! — прибавил Вальтер. — Ты этого не замечаешь. Но не думай, что я его не знаю!

У Клариссы были какие-то сомнения.

Вальтер резко сказал:

— Нынче все разложилось! Бездонная пропасть интеллекта! Интеллект у него и есть, это я признаю. Но он совершенно не знает, что такое власть цельной души. О том, что Гете называет личностью, о том, что Гете называет подвижным порядком, он и ведать не ведает. «Эта дивная мысль о пределах власти, о законе и буйстве, о свободе в мере, о порядке подвижном…

Стихи волнами срывались с его губ. Кларисса с приветливым удивлением посмотрела на эти губы, словно с них слетела какая-то милая игрушка. Затем опомнилась и вставила тоном заботливой мамочки:

— Хочешь пива?

— Пива? Почему бы нет? Я ведь всегда не прочь.

— Но в доме нет пива!

— Жаль, что ты спросила меня, — вздохнул

Вальтер. — Я, может быть, совсем об этом и не подумал бы.

Для Клариссы вопрос был уже исчерпан. Но Вальтер вышел теперь из равновесия; он уже не находил должного продолжения.

— Помнишь наш разговор о художниках? — спросил он неуверенно.

— Какой?

— Который был у нас несколько дней назад. Я объяснял тебе, что значит живое творческое начало в человеке. Не помнишь, как я пришел к выводу, что прежде вместо смерти и логической механизации царили кровь и мудрость?

— Нет.

Вальтер запнулся, поискал, поколебался. Вдруг он выпалил:

— Он человек без свойств!

— Что это такое? — спросила Кларисса, хихикнув.

— Ничего. Именно ничего!

Но слова Вальтера расшевелили любопытство Клариссы.

— Нынче их миллионы, — утверждал Вальтер. — Это порода людей, рожденная нашим временем! — Нечаянно найденные слова понравились ему самому, как если бы он начал

стихотворение, слова эти погнали его вперед, прежде чем он уловил их смысл. — Погляди на него! За кого ты могла бы его принять? Похож ли он на врача, на коммерсанта, на художника или на дипломата?

— Но ведь он не врач, не коммерсант и так далее, — трезво возразила Кларисса.

— Что ж, может быть, он походит на математика?

— Этого я не знаю. Я же не знаю, как должен выглядеть математик!

— Ты сказала сейчас нечто очень верное! Математик ни на кого не походит. То есть вид у него настолько интеллигентный вообще, что какого-то единственного, определенного содержания лишен! За исключением римско-католических священников, нынче уже вообще никто не выглядит так, как ему подобало бы, потому что своей головой мы пользуемся еще безличнее, чем своими руками. Но математика — это вершина, она уже сегодня знает о себе так же мало, как будут, наверно, знать люди о лугах, телятах и курах, когда станут питаться не хлебом и мясом, а энергетическими таблетками!

Кларисса тем временем поставила на стол нехитрый ужин, и Вальтер уже вовсю им за-

нялся, чем, может быть, и было внушено ему это сравнение. Кларисса смотрела на его губы. Они напоминали ей его умершую мать, это были очень женственные губы, занятые едой, как какой-нибудь работой по дому, и над ними — маленькие, подстриженные усики. Глаза его блестели, как свежеоблупленные каштаны, даже когда он просто искал кусок сыра на блюде. Хотя он был малого роста и сложения скорее рыхлого, чем хрупкого, он обращал на себя внимание и принадлежал к людям, которые кажутся всегда хорошо освещенными. Он продолжал говорить:

— Ты не можешь угадать его профессию по его виду, однако он не выглядит и как человек, профессии не имеющий. А теперь сообрази, каков он. Он всегда знает, что надо сделать. Он может посмотреть женщине в глаза. Он может в любую минуту тщательно все обдумать. Он может пустить в ход кулаки. Он талантлив, наделен силой воли, лишен предрассудков, мужествен, выносливый, напорист, осторожен — не хочу проверять все это по отдельности, пусть у него будут все эти свойства. Ведь у него-то их нет! Они сделали на него то, что он есть, и определили его путь, и все же они ему не принадлежат. Когда он зол, в нем что-то смеется. Когда он грустен, он что-то

готовит. Когда его что-то трогает, он этого не приемлет. Любой скверный проступок покажется ему в каком-то отношении хорошим. Всегда лишь какая-то возможная связь решает для него, как смотреть на то или иное дело. Для него нет ничего раз навсегда установленного. Все видоизменяемо, все — часть целого, бесчисленных целых, принадлежащих, возможно, к сверхцелому, которого он, однако, ни в коей мере не знает. Поэтому каждый его ответ — ответ частичный, каждое его чувство — лишь точка зрения, и важно для него не «что это», а лишь какое-нибудь побочное «каково это», важна для него всегда какая-то примесь. Не знаю, понятно ли я говорю.

— Вполне, — сказала Кларисса. — Но я нахожу это очень милым с его стороны.

Вальтер непроизвольно говорил с растущей неприязнью; старое мальчишеское чувство более слабого, столь часто сопутствующее дружбе, увеличивало его ревность. Ведь хотя он и был убежден, что, кроме нескольких простых демонстраций своей смышлености, Ульрих ничего не совершил, втайне Вальтер не мог избавиться от впечатления, что физически он всегда уступал Ульриху. Картина, которую он набросал, освободила его как удавшееся произведение искусства;

не он извлек ее из себя, а вне его, подверстываясь к таинственной удаче начала, лепились слова к словам, и при этом внутри его распадалось что-то, так и не доходившее до его сознания. Закончив, он понял, что Ульрих выражает не что иное, как эту бесхребетность, присущую ныне всему на свете.

— Тебе это нравится? — спросил он, горько теперь удивленный. — Ты не можешь утверждать это всерьез!

Кларисса жевала хлеб с мягким сыром; она могла только улыбнуться глазами.

— Ах, — сказал Вальтер, — прежде мы, может быть, тоже думали примерно так. Но ведь это лишь предварительный этап, не больше. Ведь такой человек — это не человек!

Теперь Кларисса дожевала.

— Он же сам это говорит! — возразила она.

— Что говорит он сам?

— Ах, мало ли что?! Что сегодня все распалось. Он говорит, что все застряло на месте, не только он. Но он на это не в такой обиде, как ты. Он как-то рассказал мне одну длинную историю. Если разложить на части естество тысячи человек, то окажется каких-нибудь два десятка свойств, чувств, реакций, конструкций и так далее, из

которых все они состоят. А если разложить наше тело, то получится только вода и десяток-другой кусочков материи, в ней плавающих. Вода поднимается в нас точно так же, как в деревьях, и тела животных она образует так же, как облака. Я нахожу, что это славно. Только вот не знаешь тогда, что о себе и думать. И что надо делать. — Кларисса хихикнула. — На это я ответила ему, что в неслужебные дни ты с утра до вечера удишь рыбу и лежишь у воды.

— Ну и что? Хотел бы я знать, выдержал ли бы он это хотя бы десять минут. Но люди, — сказал Вальтер твердо, — делают это уже десять тысяч лет, они глядят на небо, чувствуют земное тепло и не разлагают все это на части, как не разлагают на части свою мать!

Кларисса опять невольно хихикнула.

— Он говорит, что с тех пор все очень усложнилось. Так же, как мы плаваем по воде, мы плаваем и в море огня, в буре электричества, в небе магнетизма, в болоте тепла и так далее. Но неощутимо. В конце концов остаются вообще только формулы. И что они по-человечески означают, выразить толком невозможно. Вот и все. Я уже забыла, что учила в лицее. Но так примерно оно, кажется, и есть. И если сегодня, говорит он,

кто-нибудь хочет, как святой Франциск или ты, назвать птиц братьями, то он не вправе просто тешить себя этим, а должен решиться полезть в печь, утечь в землю через токоприемник трамвая или выплеснуться в канал через кухонную мойку.

— Да, да! — прервал Вальтер ее отчет. — Сначала четыре элемента превращаются в несколько десятков, а кончается дело тем, что мы плаваем в одних только отношениях, процессах, в помоях процессов и формул, в чем-то таком, о чем не знаешь, вещь ли это, процесс ли, фантазия или черт знает что! Тогда нет, значит, разницы между солнцем и спичкой, и между ртом, как одним из концов пищеварительного тракта, и другим его концом тоже никакой разницы нет! У одной и той же вещи есть сотня сторон, у стороны сотня аспектов, и с каждым связаны другие чувства. Человеческий мозг, получается, успешно расщепил вещи; но вещи расщепили, выходит, человеческое сердце! — Он вскочил, но не вышел из-за стола. — Кларисса! — сказал он. — Он опасен для тебя! Пойми, Кларисса, сегодня человеку ничего так не нужно, как простота, близость к земле, здоровье. И — да, безусловно, можешь говорить что угодно, — и ребенок, потому что именно

ребенок прочно привязывает человека к почве. Все, что тебе рассказывает Уло, бесчеловечно. Уверяю тебя, у меня есть мужество просто пить с тобой кофе, вернувшись домой, слушать птиц, немножко погулять, перекинуться словом с соседями и спокойно закончить день. Это и есть человеческая жизнь!

Нежность этих видений медленно приближала его к ней; но как только вдалеке мягко забасили отцовские чувства, Кларисса заупрямилась. Ее лицо онемело, пока он к ней приближался, и заняло оборонительную позицию.

Когда он подошел к ней вплотную, он весь истекал теплой нежностью, как хорошая крестьянская печь. Кларисса на мгновение заколебалась в этих потоках тепла. Потом она сказала:

— Дудки, милый мой! — Она схватила со стола кусок сыра и хлеба и быстро поцеловала Вальтера в лоб. — Пойду погляжу, нет ли ночных мотыльков.

— Но ведь в это время года, Кларисса, — взмолился Вальтер, — уже не бывает бабочек.

— Ну, это неизвестно!

От нее в комнате остался только смех. С куском хлеба и сыра бродила она по лугам; местность была спокойная, и в провожатых она не нуждалась.

Нежность Вальтера опала, как преждевременно снятое с огня суфле. Он глубоко вздохнул. Потом, помедлив, снова сел за рояль и ударил по клавишам. Хотел он того или нет, получалась фантазия на мотивы вагнеровских опер, и под всплески этого необузданно бурлившего вещества, в котором он некогда, во времена заносчивости, себе отказывал, пальцы его барахтались и плескались в потоке звуков. Пускай это слышат и вдалеке! Наркоз этой музыки парализовал его спинной мозг и облегчал его участь.

18
Моосбругер

В это время публику занимало дело Моосбругера.

Моосбругер был плотник, рослый, широкоплечий, поджарый человек, с волосами как шкурка коричневого барашка и добродушно сильными лапами. Добродушную силу и порядочность выражало и его лицо, и кто их не увидел бы, тот почувствовал бы их по запаху, крепкому, честному, сухому запаху рабочего дня, неотъемлемому от этого тридцатилетнего человека и идущему от общения с деревом и от работы, требующей

рассудительности не меньше, чем напряжения.

Люди останавливались как вкопанные, впервые увидев это лицо, наделенное богом всеми приметами доброты, ибо обычно Моосбругер ходил в сопровождении двух вооруженных судебных охранников, с крепко связанными спереди руками и на прочной стальной цепочке, ручку которой держал один из сопровождавших.

Когда он замечал, что на него смотрят, на его широком добродушном лице с нечесаной шевелюрой, усами и бородкой появлялась улыбка; носил он короткий черный пиджак и светло-серые брюки, шагал по-военному широко, больше всего занимала судебных репортеров эта улыбка. Улыбка эта могла быть смущенной или лукавой, иронической, коварной, скорбной, безумной, кровожадной, жуткой, явно перебирая противоречивые определения, они, казалось, отчаянно старались найти в этой улыбке что-то такое, чего, видимо, нигде больше не находили во всем его добропорядочном облике.

Ведь Моосбругер зверски убил уличную женщину, проститутку самого низкого разряда. Репортеры точно описали рану на шее — от гортани до затылка, а также две колотых раны в груди, прошедшие сквозь сердце, две на левой

стороне спины и надрезы на грудях, которые были почти отделены от тела; репортеры выразили свое отвращение к описанному, но не остановились, пока не насчитали еще тридцать пять уколов в живот и не объявили о резаной ране почти от пупка до крестца, продолженной вверх по спине множеством более мелких, а также о следах удушения на горле. Они не находили обратного пути от всех этих ужасов к добродушному лицу Моосбругера, хотя сами были людьми добродушными, и все-таки описали случившееся объективно, компетентно и явно задыхаясь от напряжения. Даже напрашивавшимся объяснением, что, мол, перед ними душевнобольной, — ибо Моосбругер уже несколько раз попадал в сумасшедший дом за подобные преступления, — они не воспользовались, хотя сегодня хороший репортер прекрасно разбирается в таких вопросах; они, казалось, пока еще никак не хотели отказываться от злодея и выпускать этот случай из собственного мира в мир больных, в чем были согласны с психиатрами, успевшими столько же раз объявить Моосбругера здоровым, сколько и невменяемым. А потом, как ни странно, случилось так, что, едва узнав о патологических выходках Моосбругера, тысячи людей, осужда-

ющих газеты за их падкость на сенсации, сразу восприняли эту новость как «что-то наконец интересное» — и вечно спешащие чиновники, и их четырнадцатилетние сыновья, и погруженные в домашние заботы супруги. Вздыхали, правда, по поводу такого выродка, но заняты были им истовее, чем делом собственной жизни. И в эти дни какой-нибудь добропорядочный начальник отдела или управляющий банком вполне мог, ложась в постель, сказать своей сонной супруге: «Что бы ты сейчас сделала, если бы я был Моосбругером…»

Ульрих, когда его взгляд упал на это отмеченное участием бога лицо над наручниками, тут же повернул обратно, сунул часовому близлежащего окружного суда несколько папирос и спросил об арестанте, который, по-видимому, недавно прошел под конвоем через эти ворота, так он узнал… но так, должно быть, происходили подобные вещи прежде, поскольку часто о них повествуют в этой манере, да и сам Ульрих почти верил, что так оно и было, но современная правда состояла в том, что он просто прочел обо всем в газете. Прошло еще много времени, прежде чем он лично познакомился с Моосбругером, а увидеть его дотоле воочию Ульриху удалось только

один раз во время слушания дела. Вероятность узнать что-либо необычное из газеты гораздо больше, чем вероятность столкнуться с этим самому; другими словами, в области абстракции происходят сегодня более существенные вещи, а менее значительные — в действительности.

Узнал же Ульрих этим путем об истории Моосбругера примерно следующее.

Моосбругер был в детстве бедным пастушонком в такой крошечной деревушке, что к ней даже проселочной дороги не было, и беден он был настолько, что ни разу не разговаривал с девушкой. На девушек он мог всегда только глядеть — и позднее, в годы ученья, и уж подавно потом, когда скитался. Надо только представить себе, что это значит. На то, чего желаешь так же естественно, как хлеба или воды, можно всегда только глядеть. Через некоторое время желаешь этого уже неестественно. Она проходит мимо, и юбки колышутся над ее икрами. Она перелезает через забор и становится видна до колена. Ты глядишь ей в глаза, и они делаются непроницаемыми. Ты слышишь, как она смеется, быстро оборачиваешься и видишь лицо, такое же неподвижно круглое, как норка, в которую только что юркнула мышь.

Понятно поэтому, что даже после первого убийства девушки Моосбругер оправдывался тем, что его постоянно преследуют духи, взывающие к нему день и ночь. Они поднимали его с постели, когда он спал, и мешали ему во время работы; еще он слышал, как они днем и ночью разговаривают и спорят между собой. Это не была душевная болезнь, и Моосбругер терпеть не мог, когда об этом так говорили; он, правда, сам иногда украшал это воспоминаниями о церковных проповедях или излагал с учетом советов насчет симуляции, которые можно получить в тюрьмах, но материал был всегда наготове; он только немного тускнел, когда внимание от него отвлекалось.

Так было и во время скитаний. Зимой плотнику трудно найти работу, и Моосбругер часто неделями жил без крова. Идешь, бывает, целый день, приходишь в селенье, а пристанища нет. Шагай дальше до поздней ночи. Поесть нет денег, вот и пьешь водку, пока не зарябит в глазах и тело само не пойдет. В ночлежку проситься не хочется, несмотря на теплый суп, отчасти из-за насекомых, отчасти из-за унижений, которых там натерпишься; лучше уж добыть, побираясь, крейцер-другой и залезть на сеновал к какому-нибудь крестьянину. Без спросу, конечно, а то

сперва долго проси, а потом только обиду терпи. Утром, правда, из-за этого часто выходит ссора и донос насчет хулиганства, бродяжничества и нищенства, и постепенно толстеет подшивка судимостей, которую каждый новый судья преподносит с таким важным видом, словно она-то и объясняет Моосбругера.

А кому бы задуматься, что это значит — днями и неделями не мыться по-настоящему. Кожа становится такой заскорузлой, что позволяет делать только грубые движения, даже если хочется сделать ласковое, и под такой корой затвердевает живая душа. Рассудок, должно быть, задет этим меньше, необходимое продолжаешь делать вполне разумно; он, должно быть, горит, как маленький огонек в огромном ходячем маяке, полном растоптанных дождевых червей и кузнечиков, но все личное тут раздавлено, и ходит лишь охваченное брожением органическое вещество. И вот когда Моосбругер, скитаясь, шел по деревне или по пустынной дороге, на пути его встречались целые процессии женщин. Сперва одна женщина и только через полчаса, правда, другая, но даже если они появлялись через такие большие промежутки и никакого отношения друг к другу не имели, в общем это были все

равно процессии. Они шли из одной деревни в другую или просто на минутку выбегали из дома, они носили толстые платки или кофты, змейчато обтягивавшие бедра, они входили в теплые горницы, или вели перед собой своих детей, или были на дороге так одиноки, что их можно было сшибить камнем, как ворону. Моосбругер утверждал, что он не садист, убивающий удовольствия ради, потому что вдохновляло его всегда только отвращение к этому бабью, и так оно, наверно, и есть, ведь можно понять и кошку, которая сидит перед клеткой, где прыгает вверх и вниз толстая золотистая канарейка, или хватает лапой мышь, отпускает, опять хватает, чтобы еще раз увидеть, как та бежит; а что такое собака, друг человека, которая бежит за катящимся колесом и только понарошку кусает его? В таком отношении к живому, движущемуся, безмолвно катящемуся или шмыгающему есть доля тайной неприязни к радующемуся самому себе со-существу. И, что, наконец, было делать, если она кричала? Можно было либо опомниться, либо, если опомниться-то не можешь, вдавить ее лицо в землю и набить ее рот землей.

Моосбругер был лишь бродячим плотником, совсем одиноким человеком, и хотя везде, где он

работал, товарищи с ним ладили, друзей у него не было. Сильнейший инстинкт время от времени жестоко обращал его естество к внешнему миру; но, может быть, ему и правда не хватало лишь, как он говорил, воспитания и условий, чтобы сделать из этой потребности что-нибудь другое, ангела массовой смерти, поджигателя театра, великого анархиста; ведь анархистов, сплачивающихся в тайных союзах, он с презрением называл жуликами. Он был, несомненно, болен: но хотя в основе его поведения явно лежала патология, отделявшая его от других людей, ему-то это казалось лишь более сильным и более высоким сознанием своего «я». Вся его жизнь была до смешного, до ужаса неуклюжей борьбой за то, чтобы это признали и оценили. Он уже мальчишкой переломал пальцы своему хозяину, когда тот вздумал его наказать. От другого он удрал с деньгами — справедливости ради, как он говорил. Ни на одном месте он не выдерживал долго; он оставался везде до тех пор, пока — так поначалу всегда бывало — держал людей в робости своим молчаливым трудолюбием при добродушном спокойствии и здоровенных плечах; но как только люди начинали обращаться с ним фамильярно и непочтительно, словно нако-

нец раскусили его, он сматывал удочки, ибо его охватывало жутковатое чувство, будто его кожа сидит на нем недостаточно плотно. Один раз он сделал это слишком поздно; четыре каменщика на стройке сговорились доказать ему свое превосходство, сбросив его с верхнего этажа лесов; услыхав, как они уже хихикают у него за спиной и подкрадываются, он обрушил на них всю свою огромную силу, спустил одного с двух лестниц, а двоим другим перерезал на руках все сухожилия. То, что его наказали за это, перевернуло ему, как он говорил, душу. Он эмигрировал. В Турцию; и вернулся, ибо мир везде сплачивался против него; ни волшебными словами нельзя было разрушить этот заговор, ни добротой.

А такие слова он усердно подхватывал в сумасшедших домах и тюрьмах — крохи французского и латинского, которые он в самых неподходящих местах вставлял в свои речи, с тех пор как обнаружил, что владение этими языками дает власть имущим право «выносить решение» о его судьбе. По той же причине он старался и на судебных заседаниях выражаться по-книжному, говорил, например, «это, по-видимому, является основой моего зверства» или «я ее представлял себе еще более жестокой, чем обычно бывают,

по моему наблюдению, такого рода бабы»; видя, однако, что и это не производит ожидаемого впечатления, он нередко принимал театрально эффектную позу и надменно объявлял себя «анархистом по убеждениям», который в любую минуту мог бы быть спасен социал-демократами, если бы захотел одолжаться у этих евреев, злейших эксплуататоров трудового невежественного народа. И у него таким образом оказывалась своя «наука», область, недоступная ученым притязаниям его судей. Обычно это приносило ему в зале суда оценку «недюжинные умственные способности», почтительное внимание во время процесса и более суровые наказания, но польщенное его тщеславие воспринимало, в сущности, эти процессы как почетные периоды его жизни. А потому он ни к кому не пылал такой ненавистью, как к психиатрам, полагавшим, что со всей его сложной сутью можно разделаться несколькими иностранными словами, как будто это дело самое обыденное. Как всегда в таких случаях, медицинские заключения о его психическом состояний шатались под нажимом вышестоящего мира юридических представлений, и Моосбругер не упускал ни одной из этих возможностей публично доказать на суде свое превосходстве над

психиатрами и разоблачить их как самодовольных тупиц и обманщиков, которые ни в чем не смыслят и посадили бы его, если бы он симулировал, в сумасшедший дом, вместо того чтобы отправить в тюрьму, где ему действительно место. Ибо он не отрицал своих преступлений, он хотел, чтобы на них смотрели как на катастрофы грандиозного мировосприятия. Хихикающие бабы были первыми в заговоре против него; у всех у них имелись ухажеры, а прямое слово серьезного человека они ни во что не ставили или даже принимали за оскорбление. Он избегал их, пока мог, чтобы не раздражаться, но не всегда это удавалось. Бывают дни, когда у мужчины одна дурь в голове и он ни за что не может взяться, потому что у него от беспокойства потеют руки. И если тогда поддашься, то можешь быть уверен, что и шагу не сделаешь, как вдали уже, словно дозор, высланный вперед врагами, замаячит такая ходячая отрава, обманщица, которая втайне высмеивает мужчину, ослабляя его и ломая перед ним комедию, а то и еще куда хуже обижая его по своей бессовестности! Вот так и надвинулся конец той ночи, ночи, безучастно проведенной в пьяной компании с великим шумом, чтобы утихомирить внутреннюю тревогу. Даже когда

ты не пьян, мир бывает ненадежен. Стены улиц колышутся, как кулисы, за которыми что-то ждет определенной реплики, чтобы выйти на сцену. На краю города, где начинается широкое, освещенное луной поле, становится спокойнее. Там Моосбругеру пришлось повернуть, чтобы найти окольный путь домой, и тут-то, у железного моста, к нему пристала эта девчонка. Она была из тех, что нанимаются к мужчинам, внизу, на пойменных лугах, какая-нибудь сбежавшая служанка без места, коротышка, видны были только два завлекающих мышиных глаза из-под платка. Моосбругер отверг ее и ускорил шаг; но она стала клянчить, чтобы он взял ее к себе домой. Моосбругер продолжал шагать — прямо, за угол, наконец беспомощно взад и вперед; он делал большие шаги, и она бежала с ним рядом; он останавливался, и она стояла, как тень. Он тянул ее за собой, вот в чем была штука. Тогда он сделал еще одну попытку ее прогнать: он повернулся и плюнул ей дважды в лицо. Но это не помогло; она была неуязвима.

Случилось это в отдаленном парке, который им нужно было пересечь в самом узком его месте. Тут Моосбругер и решил, что у девчонки должен быть какой-нибудь защитник поблизости: иначе

откуда бы взялась у нее смелость следовать за ним, несмотря на его неудовольствие? Он схватил лежавший у него в кармане штанов нож, потому что его хотели разыграть или, может быть, опять напасть на него: всегда ведь за бабами стоит другой мужчина, который над тобой насмехается. Да и не показалась ли она ему вообще переодетым мужчиной? Он видел, как движутся тени, и слышал треск в кустах, а эта нахалка с ним рядом упорно, как маятник, повторяла свою просьбу снова и снова; но не было ничего, на что бы могла обрушиться его исполинская сила, и он начал бояться этого жуткого бездействия.

Когда они вошли в первую, еще очень мрачную улицу, лоб у него был в поту и он весь дрожал. Не оглядываясь по сторонам, он направился в кофейню, которая еще была открыта. Он выпил залпом чашку черного, кофе и три рюмки коньяку и спокойно посидел, может быть, четверть часа; но когда он расплачивался, опять пришла мысль, что ему делать, если она поджидает его на улице. Есть такие мысли — как бечевки, опутывающие руки и ноги бесконечными петлями. И, не успев пройти несколько шагов по темной улице, он почувствовал, что она — рядом. Теперь она держалась совсем не смиренно, а дерзко и уверенно;

и она уже не просила, а просто молчала. Тут он понял, что никогда от нее не избавится, потому что это он сам и тянул ее за собой. Слезливое отвращение наполнило ему глотку. Он шел, а это, наполовину позади него, было опять-таки им. В точности так, как всегда при встречах с процессиями. Однажды он сам вырезал у себя из ноги большую занозу, потому что у него не хватило терпения ждать врача; совершенно так же чувствовал он свой нож и сейчас — длинный и твердый, лежал он у него в кармане.

Но прямо-таки неземным напряжением своего сознания Моосбругер нашел еще один выход. За оградой, вдоль которой проходила теперь его дорога, была спортивная площадка; там тебя никто не увидит, и он свернул туда. Он улегся в тесной будке кассы, уткнувшись головой в угол, где было всего темнее; мягкое проклятое второе «я» улеглось рядом с ним. Он притворился по-этому, что засыпает, чтобы потом улизнуть. Но когда он стал тихо, ногами вперед, выползать, оно опять было здесь и обвило руками его шею. Тут он почувствовал что-то твердое в ее или в своем кармане; он извлек это наружу. Он не знал точно, были ли это ножницы или нож; он пырнул этим. Она утверждала, что это только ножницы,

но это был его нож. Она упала головой в будку, он немного оттащил ее оттуда, на мягкую землю, и колол ее до тех пор, пока совсем не отделил ее от себя. Потом он постоял рядом с ней еще, может быть, четверть часа и смотрел на нее, а ночь тем временем опять стала спокойнее и удивительно гладкой. Теперь она уже не могла обидеть мужчину и повиснуть у него на шее. Наконец он перенес труп через улицу и положил перед кустом, чтобы ее легче было найти и похоронить, как он утверждал, ибо теперь она уже была ни при чем.

При слушании дела Моосбругер уготовлял своему защитнику самые непредвиденные трудности. Он сидел на своей скамье развалясь, как зритель, кричал прокурору «браво», когда тот приводил какое-нибудь доказательство его социальной опасности, казавшееся ему, Моосбругеру, достойным его, и раздавал похвальные оценки свидетелям, которые заявляли, что никогда не замечали у него никаких признаков невменяемости. «Вы забавный субъект», — льстил ему время от времени руководивший слушанием дела судья и добросовестно стягивал петли, которыми обвиняемый себя опутал. Потом Моосбругер минуту стоял в удивлении, как затравленный на арене бык, скользил глазами по сторонам и видел по

лицам сидевших вокруг то, чего он понять не мог, — что он вогнал себя в свою вину на пласт глубже.

Ульриха особенно привлекало то, что в основе самозащиты Моосбругера несомненно лежал какой-то смутно вырисовывавшийся план. Ни намерения убивать у него первоначально не было, ни больным он, дорожа своим достоинством, не позволял себе быть; о наслаждении вообще не могло идти речи, речь могла идти только об отвращении и презрении; преступление оказывалось, таким образом, непредумышленным убийством, к которому его побудило подозрительное поведение женщины, «этой карикатуры на женщину», как он выразился. Пожалуй, он требовал даже, чтобы на совершенное им убийство смотрели как на политическое преступление, и порой складывалось такое впечатление, что борется он вовсе не за себя, а за эту юридическую конструкцию. Тактика, применявшаяся против этого судьей, была обычной — видеть во всем только неуклюже хитрые старания убийцы уйти от ответственности. «Почему вы вытерли окровавленные руки?» — «Почему выбросили нож?» — «Почему вы после убийства переменили платье и белье?» — «Потому что было воскресенье?

Не потому, что они были в крови?» — «Почему вы отправились развлекаться? Преступление, значит, не помешало вам? Чувствовали ли вы вообще раскаяние?»

Ульрих хорошо понимал глубокое смирение, с которым Моосбругер в такие минуты винил свое недостаточное образование, мешавшее ему распутать эту сплетенную из непонимания сеть, а на языке судьи это обозначалось иначе, и притом с уличающей интонацией: «Вы все время умудряетесь свалить вину на других!»

Этот судья сводил все воедино, исходя из полицейских протоколов и бродяжничества, и вменял это Моосбругеру в вину; а для Моосбругера все это состояло сплошь из отдельных случаев, ничего общего между собой не имевших и вызванных каждый своей причиной, которая находилась вне его, Моосбругера, где-то в самом устройстве мира. В глазах судьи его, Моосбругера, преступления исходили от него, а в его собственных они на него «находили», как налетают вдруг птицы. Для судьи Моосбругер был особым случаем; для себя же он был миром, а сказать что-либо убедительное о мире очень трудно. Было две тактики, которые боролись одна с другой, два единства и две последовательности, но Моосбругер был в невыгодном

положении, ибо его странных, смутных мотивов не смог бы выразить и человек более умный. Они шли непосредственно от смятенного одиночества его жизни, и если все другие жизни существуют стократно, если они видятся одинаково и тем, кто их ведет, и всем другим, кто их подтверждает, то его подлинная жизнь существовала лишь для него самого. Это было дуновение, которое непрестанно деформируется и меняет облик. Правда, он мог спросить своих судей — разве их жизнь по сути иная? Но этого у него и в мыслях не было. Все, что было так естественно в своей последовательности, лежало в нем перед правосудием в бессмысленном беспорядке, и он изо всех сил старался внести в это смысл, который ни в чем не уступал бы достоинству его благородных противников. Судья казался чуть ли не добрым в своих стараниях поддержать его в этом и предоставить в его распоряжение какие-то понятия, даже если то были понятия, которые оборачивались для Моосбругера самыми ужасными последствиями.

Это было как бой тени со стеной, и под конец тень Моосбругера только мучительно колыхалась. На этом последнем заседании Ульрих присутствовал. Когда председатель прочел заключение экспертизы, признавшее Моосбругера

вменяемым, тот поднялся и объявил суду:

— Я удовлетворен и достиг своей цели.

Ответом ему было насмешливее недоверие в глазах окружающих, и он со злостью прибавил:

— В силу того, что я добился обвинения, я удовлетворен порядком представления доказательств и их оценки судом!

Председатель, который стал теперь олицетворением строгости и возмездия, сделал ему за это замечание, сказав, что суд не интересует, удовлетворен он или нет, после чего прочитал ему смертный приговор, прочитал так, как если бы на вздор, который во время всего процесса говорил, к удовольствию публики, Моосбругер, надо было наконец ответить серьезно. На это Моосбругер ничего не сказал, чтобы не было впечатления, что он испугался. Затем заседание закрыли, и все кончилось. Но тут дух его все-таки дрогнул; он отшатнулся, бессильный перед высокомерием этих бестолковых людей; когда его уже выводили судебные надзиратели, он обернулся, начал искать слова, вытянул руки вверх и крикнул голосом, который стряхивал понуканья его сторожей:

— Я этим удовлетворен, хотя и должен признаться вам, что вы осудили сумасшедшего!

Это была непоследовательность, но Ульрих си-

дел не дыша. Это было явно сумасшествие, и столь же явно это была лишь искаженная связь наших собственных элементов бытия. Оно было разорвано на куски и пронизано мраком: но Ульриху почему-то подумалось: если бы человечество, как некое целое, могло видеть сны, возник бы, наверно, Моосбругер. Он отрезвел лишь тогда, когда «жалкий шут адвокатишка», как обозвал того однажды в ходе процесса неблагодарный Моосбругер, подал из-за каких-то частностей кассационную жалобу, а великана, его — и Ульриха — подзащитного, уже увели.

19
Увещевание письмом и случай приобрести свойства. Конкуренция двух вступлений на престол

Так проходило время, и однажды Ульрих получил письмо от отца.

> «Дорогой мой сын! Минуло уже опять несколько месяцев, а из твоих скупых сообщений по-прежнему не видно, чтобы ты сделал хоть небольшой шаг вперед в своей карьере или готовился таковой

сделать.

С радостью признаю, что в течение последних лет мне выпадало удовольствие слышать, как разные уважаемые лица хвалят твои успехи и прочат тебе, на их основании большое будущее. Но, с одной стороны, твоя, не от меня, конечно, унаследованная склонность сперва рьяно браться за решение привлекшей тебя задачи, а потом словно бы забывать свой долг перед собой и перед теми, кто возлагает на тебя надежды, с другой стороны, то обстоятельство, что в твоих сообщениях я не нахожу ни малейшего указания на какой-либо план твоих дальнейших действий, наполняют меня тяжкой тревогой.

Мало того, что ты уже в том возрасте, когда другие мужчины успевают создать себе прочное положение в жизни, я в любой час могу умереть, а состояние, которое я оставлю, разделив его поровну между тобой и сестрой, будут хоть и немалым, но не настолько по нынешним временам и большим, чтобы одно только обладание им обеспечило тебе какое-то

общественное положение, которого ты, стало быть, должен добиться наконец сам. Мысль, что с тех пор, как ты стал доктором, ты лишь в очень неясной форме говоришь о планах, простирающихся на самые разные области и тобою, вероятно, по твоему обыкновению, сильно переоцениваемых, но никогда не пишешь ни об удовлетворении, которое доставила бы тебе преподавательская деятельность, ни о вступлении ради подобных планов в контакт с каким-либо университетом, ни вообще о связях с влиятельными кругами, — вот что наполняет меня порою тяжкой тревогой. Меня, человека, который сорок семь лет назад в своем известном тебе и выходящем ныне двенадцатым изданием труде «Учение Самуэля Пуфендорфа о вменяемости и современное правоведение», выявив истинные связи вещей, первый порвал в этом вопросе с предрассудками старой школы уголовного права, — меня вряд ли можно заподозрить в недооценке научной самостоятельности, но в то же время, имея за собой опыт большой трудовой жизни, я

не могу согласиться с тем, кто рассчитывает лишь на себя самого, пренебрегая научными и светскими связями, которые только и вводят труд одиночки в плодотворную и полезную колею.

Поэтому я твердо надеюсь услышать о тебе вскорости и найти расходы, сделанные мною для твоего продвижения, вознагражденными тем, что теперь, по возвращении на родину, ты завяжешь такие связи и не будешь ими долее пренебрегать. Я написал в этом же смысле своему многолетнему верному другу и покровителю, бывшему президенту Счетной палаты и нынешнему председателю юридического августейшей фамилии партикуляритета при ведомстве гофмаршала его превосходительству графу Штальбургу и попросил его благосклонно отнестись к твоей просьбе, с которой ты в скором времени обратишься к нему. Мой высокопоставленный друг уже соблаговолил немедленно мне ответить, и, на твое счастье, он не только примет тебя, но и проявит живой интерес к твоим делам, как я описал их. Тем самым,

насколько это в моих силах и насколько я могу судить, твое будущее обеспечено — при условии, что ты сумеешь расположить к себе его превосходительство и одновременно укрепить свою репутацию во влиятельных академических кругах.

Что же касается просьбы, которую ты, конечно, с радостью доложишь его превосходительству, как только узнаешь, о чем идет речь, то суть ее такова.

В 1918 году, приблизительно 15.VI, в Германии должно состояться пышное, способное запечатлеть в памяти мира величие и мощь Германии празднование тридцатилетия правления императора Вильгельма II; хотя впереди еще несколько лет, из надежного источника известно, что готовятся к юбилею — пока, разумеется, совершенно неофициально — уже сегодня. Ты, вероятно, знаешь, что в том же году празднует семидесятилетие своего вступления на престол наш достопочтенный император и что дата эта приходится на 2-е декабря. При чрезмерной скромности, проявляемой нами, австрийцами, во всех вопросах, касаю-

щихся нашего собственного отечества, можно опасаться, что мы получим, позволю себе сказать, еще один Кениггрец,[6] то есть что немцы с их целенаправленной методичностью снова опередят нас, подобно тому как тогда они взяли на вооружение игольчатое оружье, прежде чем мы успели опомниться.

К счастью, опасение, мною только что высказанное, уже предвосхищено другими патриотически настроенными лицами с хорошими связями, и могу сказать тебе по секрету, что в Вене начата акция, имеющая целью помешать оправдаться этому опасению и выставить полновесность богатого успехами и заботами семидесятилетия в более выгодном свете, чем юбилей всего лишь тридцатилетний. Ввиду того, что 2.XII никак, естественно, нельзя поставить впереди 15.VI, возникла счастливая мысль сделать весь 1918 год юбилейным годом нашего императора-миротворца. Я, правда, информирован об этом лишь постольку, поскольку учре-

[6] Примечания: 6

В 1866 г. при Кёнигреце прусская армия одержала победу над австро-венгерской.

ждения, к которым я принадлежу, имели возможность высказать свою точку зрения на эту инициативу, подробности ты узнаешь сам, когда явишься к графу Штальбургу, который предназначил для тебя в подготовительном комитете почетное при твоей молодости место.

Настоятельно советую тебе также не избегать долее, как ты до сих пор это делал, к истинному моему огорчению, давно уже рекомендованного мною знакомства с семьей начальника отдела Туцци из министерства иностранных дел и императорского дома, а тотчас же засвидетельствовать свое почтение его супруге, доводящейся, как ты знаешь, дочерью двоюродному брату жены моего умершего брата и, стало быть, кузиной тебе, ибо она, по моим сведениям, занимает видное положение в проекте, который я тебе только что описал, а мой досточтимый друг, граф Штальбург, уже с чрезвычайной любезностью предупредил ее о твоем визите, в силу чего ты должен навестить его безотлагательно.

О себе ничего более сообщить не могу;

работа над переизданием моей вышеупомянутой книги отнимает помимо лекций все мое время и все силы, какие еще остаются на старости лет. Надо с пользой употреблять свое время, ибо оно коротко.

О твоей сестре знаю только, что она здорова; у нее есть деятельный и заботливый муж, хотя она никогда не признается, что довольна своим жребием и чувствует себя счастливой.

Тебя благословляет любящий тебя
Отец».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Происходит все то же
20
Соприкосновение с реальностью. Несмотря на отсутствие свойств, Ульрих действует энергично и пылко

Не последней среди причин, по которым он и в самом деле решил нанести визит графу Штальбургу, было охватившее Ульриха любопытство.

Граф Штальбург служил в кайзеровском и королевском дворце, а старый кайзер и король Какании был фигурой мифической. С тех пор-то о нем написано много книг, и теперь точно известно, что он сделал, чему помешал и чего не сделал, но тогда, в последнее десятилетие его жизни и жизни Какании, у людей молодых, не отставáвших от современного уровня наук и искусств, иногда возникало сомнение в том, что он вообще существует на свете. Число его вывешенных и выставленных повсюду портретов было почти столь же велико, как число жителей его владений; в его день рождения съедалось и выпивалось столько же, сколько в день рожде-

ния Спасителя, на горах пылали костры, и голоса миллионов людей уверяли, что они любят его как отца; песня, сложенная в его честь, была, наконец, единственным поэтическим и музыкальным произведением, одну строчку которого знал каждый каканец, — но эта популярность и слава была настолько сверхубедительна, что с верой в него дело обстояло примерно так же, как со звездами, которые видны и через тысячи лет после того, как перестали существовать.

Первым происшествием на пути Ульриха в императорский дворец было то, что экипаж, который должен был доставить его туда, остановился уже во внешнем дворе крепости и кучер потребовал, чтобы с ним здесь расплатились, ибо он, по его утверждению, имел лишь право сквозного проезда, но не имел права останавливаться во дворе внутреннем. Ульрих разозлился на кучера, приняв его за обманщика или за труса, и попытался заставить то поехать дальше; но, так и не сумев одолеть его боязливую непреклонность, он вдруг почувствовал в ней излучение силы, которая была могущественней, чем он. Когда он вступил во внутренний двор, в глаза ему сразу бросилось множество красных, синих, белых и желтых мундиров, штанов и султанов,

которые стояли там неподвижно на солнце, как птицы на песке отмели. До сих пор он считал «его величество» просто неотмененным словесным штампом, точно таким же, как «слава богу» в устах атеиста; а теперь взгляд его скользил вверх по высоким стенам, и он видел перед собой серый, замкнутый и вооруженный остров, мимо которого отрешенно мчался город на всех своих скоростях.

Его повели, после того как он изложил свое дело, по лестницам и коридорам, через комнаты и залы. Хотя одет он был очень хорошо, он чувствовал, что каждый встречный взгляд оценивает его совершенно правильно. Здесь никто, казалось, не мог спутать духовный аристократизм с аристократизмом истинным, и удовлетворяться Ульриху оставалось лишь ироническим протестом да буржуазной критикой. Он заметил, что проходит через большую коробку, почти ничем не наполненную; залы были почти без мебели, но во вкусе этой пустоты не было горечи грандиозности; он проходил мимо неплотной цепи стоявших порознь гвардейцев и слуг, составлявших скорее неуклюжую, чем пышную охрану, задачи которой выполнили бы с большим успехом полдюжины хорошо оплачиваемых и хорошо обученных

детективов; а разновидность слуг, слонявшихся между лакеями и стражами и совсем уж похожих своим серым платьем и серыми шапочками на рассыльных из банка, заставила его подумать об адвокате или зубном враче, живущем без достаточной изоляции между кабинетом и частной квартирой. «Ясно чувствуешь, — думал он, — как все это могло казаться роскошью в внушать робость человеку эпохи бидермейера, но сегодня это не выдерживает сравнения даже с красотой и удобством какого-нибудь отеля и потому прикидывается олицетворением аристократической сдержанности и чопорности».

Но когда он вошел к графу Штальбургу, его превосходительство принял его в большой пустой призме прекрасных пропорций, в середине которой этот невзрачный, лысоголовый человек, слегка наклонившись вперед и по-обезьяньи подогнув колени, стоял перед ним в таком виде, какой высокий придворный чин из аристократической семьи если и может принять, то никак не самопроизвольно, а только в подражанье чему-то; плечи свисали у него вперед, а губы вниз; он походил на старого служителя при каком-нибудь учреждении или на добропорядочного счетовода. И вдруг не осталось никакого сомнения в том,

кого он напоминал; граф Штальбург стал прозрачен, и Ульрих понял, что человек, являющий собой уже семьдесят лет Высочайшее Средоточие высшей власти, должен находить известное удовлетворение в том, чтобы прятаться за себя самого и выглядеть так, как нижайший из его подданных, вследствие чего становится просто правилом хорошего тона и естественной формой скромности вблизи этого высочайшего лица не иметь более личной наружности, чем оно. В этом, по-видимому, и состоял смысл того, что короли так любили называть себя первыми слугами своего государства, и, бросив быстрый взгляд, Ульрих убедился в том, что его превосходительство и впрямь носило те седые, короткие бакенбарды при выбритом подбородке, которые имелись в Какании у всех швейцаров и железнодорожных проводников. Считалось, что они подражали внешностью своему кайзеру и королю, но более глубокая потребность основана в таких случаях на взаимности.

Ульрих успел все это обдумать, потому что ему пришлось немного подождать, прежде чем его превосходительство обратилось к нему. Инстинктивная актерская страсть к переодеванию и перевоплощению, принадлежащая к радостям

жизни, предстала перед ним без малейшего привкуса, без всякой даже, пожалуй, мысли об актерстве — в настолько чистом виде, что буржуазный обычай строить театры и делать из лицедейства искусство, которое нанимают за почасовую плату, показался ему по сравнению с этим бессознательным, постоянным искусством самоизображения чем-то совершенно неестественным, поздним и раздвоенным. И когда его превосходительство отделило наконец одну губу от другой и сказало ему: «Ваш любезный батюшка…» — и тут же запнулось, а в голосе все-таки было что-то, заставившее заметить на редкость красивые желтоватые руки графа и почувствовать какую-то напряженную нравственность во всем его облике, Ульрих нашел это очаровательным и совершил ошибку, которую легко совершают люди умственные. Его превосходительство спросило его затем, кто он по образованию, и сказало: «Так, очень интересно, в какой школе?», когда Ульрих ответил, что он математик; а когда Ульрих заявил, что никакого отношения к школе он не имеет, его превосходительство сказало: «Так, очень интересно, понимаю, наука, университет». И это показалось Ульриху настолько знакомым, настолько соот-

ветствующим представлению о светской беседе, что он вдруг повел себя так, словно был здесь у себя дома, и повиновался своим мыслям, а не социальным требованиям данной ситуации. Он внезапно подумал о Моосбругере. Власть, нужная для помилования, была здесь рядом, и ему показалось, что нет ничего проще, чем попытаться ею воспользоваться.

— Ваше превосходительство, — спросил он, — нельзя ли мне обратить этот благоприятный случай на пользу человеку, который несправедливо приговорен к смертной казни?

При этом вопросе граф Штальбург вытаращил глаза.

— Правда, человек этот убийца-садист, — признал Ульрих, но в этот момент понял и сам, что ведет себя неподобающе. — Душевнобольной, конечно, — поспешил он поправиться и чуть было не прибавил: «Вы, ваше превосходительство, знаете, что в этом пункте наше законодательство осталось в середине прошлого века», — но осекся и застрял. Это был промах — навязывать этому человеку дискуссию, в какие часто совершенно без пользы пускаются люди, неравнодушные к умственным фокусам. Несколько таких слов, если их вставить умело, могут быть плодородны, как

рыхлая земля сада, но в этом месте они походили на кучку земли, оплошно оставленную в комнате чьими-то башмаками. Но тут, заметив его смущение, граф Штальбург проявил и в самом деле большую доброжелательность к нему.

— Да, да, припоминаю, — сказал он с некоторым усилием, после того как Ульрих назвал фамилию Моосбругера, — и вы, значит, говорите, что это душевнобольной, и хотели бы ему помочь?

— Он не виноват.

— Да, это всегда особенно неприятные дела. — Граф Штальбург, казалось, очень страдал от их трудности. Он бросил на Ульриха безнадежный взгляд и спросил его, словно ничего другого ожидать и нельзя было, окончательно ли уже осужден Моосбругер. Ульрику пришлось ответить, что нет.

— Ах, вот так, — продолжил граф облегченно, — тогда еще есть время, — и принялся говорить о «папе», оставив дело Моосбругера в приятной неясности.

Из-за своего промаха Ульрих на мгновение растерялся, но, как ни странно, эта ошибка не произвела на его превосходительство плохого впечатления. Сначала, правда, граф Штальбург чуть не потерял дар речи, как если бы в его

присутствии сняли пиджак; но затем эта непосредственность в человеке с такой хорошей рекомендацией показалась ему энергичной и пылкой, и он был рад, что нашел эти два слова, ибо ему хотелось составить себе хорошее впечатление. Он тотчас же вписал их («Мы смеем надеяться, что нашли энергичного и пылкого помощника») в рекомендательное письмо, адресованное главному лицу великой отечественной акции. Получив через несколько мгновений это послание, Ульрих показался себе ребенком, которому на прощанье суют шоколадку в ручку. Он действительно уходил не с пустыми руками и получил указания насчет следующего визита, которые могли быть в одинаковой мере поручением и просьбой, и не представлялось никакой возможности что-либо возразить. «Это же недоразумение, у меня же не было ни малейшего намерения…» — хотелось ему сказать, но он уже был на обратном пути через просторные коридоры и залы. Он вдруг остановился и подумал: «Меня ведь подняло, как пробку, и метнуло куда-то, куда меня совсем не тянуло!» И с любопытством окинул взглядом коварную простоту интерьера. Он мог спокойно сказать себе, что и теперь она не производит на него никакого впечатления; это был просто мир,

который не вымели прочь. Но какое сильное, странное свойство заставил он, этот мир, его почувствовать? Черт возьми, это нельзя было, пожалуй, выразить иначе: мир этот был просто на диво реален.

21
Истинное изобретение параллельной акции графом Лейнсдорфом

Подлинной движущей силой великой патриотической акции — которая впредь, сокращения ради и потому что она должна была «выставить полновесность богатого успехами и заботами семидесятилетия в более выгодном свете, чем юбилей всего лишь тридцатилетний», будет именоваться также параллельной акцией, — был, однако, не граф Штальбург, а друг Штальбурга, его сиятельство граф Лейнсдорф. В то время, как Ульрих совершал свой визит во дворец, в прекрасном, с высокими окнами кабинете этого вельможи — среди множества слоев тишины, подобострастия, золотых галунов и торжественности славы *стоял секретарь с книгой в руке и вычитывал оттуда его сиятельству место*, которое ему, секретарю, поручено было найти.

На сей раз это был пассаж из Иоганна Готлиба Фихте, добытый в «Речах к германской нации» и сочтенный весьма подходящим. «Для освобождения от первородного греха косности, — читал он, — и его последствий, трусости и лживости, люди нуждаются в моделях, демонстрирующих им загадку свободы, каковые и возникли у них в лице основателей религий. Необходимое согласие относительно нравственных убеждений достигается в церкви, в символах которой следует видеть не предмет изучения, а лишь средство обучения для провозглашения вечных истин». Он выделил голосом слова косности, демонстрирующих и церкви, его сиятельство слушало благосклонно, попросило показать ему книгу, но потом покачало головой.

— Нет, — сказал подчиненный непосредственно императору граф, — книга сошла бы, но этот протестантский пассаж с церковью не годится!

Секретарь пригорюнился, как мелкий чиновник, чей проект документа в пятый раз отвергает начальство, и осторожно ввернул:

— Но на национальные круги Фихте произвел бы отличное впечатление.

— Я думаю, — возразило его сиятельство, — что пока нам придется от этого отказаться.

Одновременно с книгой захлопнулось и его лицо, одновременно с этим безмолвно повелевавшим лицом захлопнулся, согнулся пополам в покорном поклоне и секретарь, после чего принял из рук его сиятельства Фихте, чтобы убрать его и поставить на место в соседнем библиотечном зале среди всех других философских систем мира; кухонными делами не занимаешься сам, а поручаешь их своим людям.

— Останемся, стало быть, пока, — сказал граф Лейнсдорф, — при наших четырех пунктах: император-миротворец, веха в истории Европы, истинная Австрия, а также собственность и образованность. Составляйте циркуляр по этим наметкам.

Его сиятельство осенила сейчас одна политическая мысль, и словами ее можно было выразить примерно так: они придут сами! Он имел в виду те круги своего отечества, которые чувствовали себя принадлежащими таковому меньше, чем германской нации. Они были ему неприятны. Найди секретарь более подходящую цитату, чтобы польстить их чувствам (для чего и понадобился Иоганн Готлиб Фихте), она была бы приведена; но сейчас, когда неудобная частность помешала этому, граф Лейнсдерф облегченно

вздохнул.

Его сиятельство был изобретателем великой отечественной акции. Когда из Германии пришли эти волнующие новости, у него прежде всего мелькнуло слово «миротворец». Он сразу связал с ним представление о восьмидесятивосьмилетнем властителе, подлинном отце своих народов, и о непрерывном семидесятилетнем правлении. Обе эти идеи были, конечно, отмечены знакомыми ему чертами его августейшего повелителя, но блеск славы исходил тут не от его величества, а от того гордого факта, что его, графа, отечество обладало старейшим и дольше всех в мире правившим государем. Люди недалекие поспешили бы усмотреть в этом лишь слабость к раритетам (как если бы, например, обладание куда более редкой поперечно-полосатой «сахарой» с водяным знаком и недостающим зубцом граф Лейнсдорф ставил выше, чем обладание подлинным Эль Греко, что он, кстати, и делал, хотя обладал тем и другим и не совсем пренебрегал знаменитым собранием картин в своем доме), но потому-то они и недалекие, что не понимают, насколько символ богаче и сильнее, чем даже самое большое богатство. Старый властитель символически заключал в себе для графа Лейнсдорфа одновре-

менно и его отечество, которое он любил, и мир, которому оно должно было служить примером. Большие и мучительные надежды обуревали графа Лейнсдорфа. Он не мог бы сказать, была ли это главным образом боль за отечество занимавшее, как он видел, не совсем то почетное место «в семье народов», что ему подобало, или же источником его волнений была ревность к Пруссии, столкнувшей с этого места Австрию (в 1866 году, вероломным образом!), или же он был просто полон гордости за аристократию старого государства и желания доказать ее образцовость; по его мнению, все народы Европы затягивало в пучину материалистической демократии, и ему мерещился некий величественный символ, который был бы для них одновременно напоминанием и предостережением. Ему было ясно, что должно что-то произойти, что поставило бы Австрию впереди всех, чтобы это «блестящее свидетельство жизненной силы Австрии» стало «вехой» для всего мира, помогло ему вновь обрести истинную свою сущность, и что все это связано с наличием восьмидесятивосьмилетнего императора-миротворца. Ничего больше, ни точней, ни подробнее, граф Лейнсдорф и в самом деле еще не знал. Но не подлежало сомнению, что его осенила великая

мысль. Она не только разожгла его страсть, — к чему христианин, воспитанный в строгости и чувстве ответственности, как-никак, не возымел бы доверия, — нет, эта мысль с полнейшей очевидностью вливалась непосредственно в такие величественные, сияющие идеи, как идея властителя, отечества и всемирного счастья. А если у этой мысли и были еще неясные, темные стороны, то они не тревожили его сиятельство. Его сиятельство прекрасно знал богословское учение о contemplatio in caligine divina, то есть о созерцании в божественной темноте, которая сама по себе бесконечно ясна, но для человеческого разума беспросветна и непроглядна, да и вообще он жил в убеждении, что человек, делающий великое дело, обычно не знает, почему он его делает; сказал ведь Кромвель: «Никогда человек не продвигается дальше, чем тогда, когда он не знает, куда идет!» Граф Лейнсдорф, таким образом, с удовлетворением наслаждался своим символом, неопределенность которого волновала его, как он чувствовал, сильнее, чем любые определенности.

Если же отвлечься от символов, то его политические взгляды отличались чрезвычайной твердостью и той свойственной широким на-

турам свободой, которая возможна лишь при полном отсутствии сомнений. Как владелец майората, он был членом Верхней палаты, но не проявлял политической активности и не занимал ни придворных, ни государственных постов; он был «всего лишь патриот». Но именно благодаря этому и благодаря своему независимому богатству он стал центральной фигурой среди всех других патриотов, озабоченно следивших за развитием империи и человечества. Жизнь его шла под знаком этического долга не быть равнодушным зрителем, а «подавать сверху руку помощи» процессу развития. Насчет «народа» он был убежден, что тот «добр»; поскольку от графа зависели не только многочисленные его служащие, работники и слуги, но и материальное положение бесчисленного множества людей, узнать о народе еще что-либо он не имел случая, кроме воскресений и праздников, когда народ валит из-за кулис приветливо-пестрой толпой, как оперный хор. Все, что не отвечало этому представлению, он возводил поэтому к «подстрекательским элементам» и считал делом безответственных, незрелых и жадных до сенсаций людишек. Воспитанный в религиозном и феодальном духе, надежно застрахованный

от всякого прекословия при общении с недворянами, довольно начитанный, но, по милости церковной педагогики, оберегавшей его юность, пожизненно неспособный найти в книге ничего, кроме совпадения со своими собственными принципами или ошибочного отступления от них, он знал мировосприятие людей современных только по парламентским и газетным баталиям; а так как у него хватало образованности, чтобы увидеть всю их поверхностность, он ежедневно утверждался в своем предрассудке, что истинный, глубоко понятый буржуазный мир есть не что иное, чем то, что он, граф Лейнсдорф, сам о нем думает. Словечко «истинный» в приложении к политическим убеждениям было вообще одним из его вспомогательных средств для ориентировки в созданном богом, но слишком уж часто отрекавшемся от него мире. Граф был твердо убежден, что даже истинный социализм согласуется с его взглядами; более того, изначально это было самой сокровенной его идеей, которую он даже от самого себя частично скрывал, — навести мост для перехода социалистов в его лагерь. Ясно ведь, что помогать бедным — задача рыцарская и что для истинной знати не так уж, собственно, велика разница между буржуа-фабрикантом и

его рабочим; «мы ведь все в глубине души социалисты» было его любимой фразой, а означало это примерно то же, не больше, как если бы сказать, что на том свете нет социальных различий. В мире, однако, он считал их необходимым фактом и ожидал от рабочего класса, что он, если только пойдут ему навстречу в вопросах материального благосостояния, откажется от неразумных, навязанных ему лозунгов и согласится с естественным мироустройством, где каждый находит свой долг и свое благо в назначенном ему кругу. Истинный дворянин представлялся ему поэтому столь же важной фигурой, как истинный ремесленник, и решение политических и экономических вопросов сводилось для него, собственно, к некоему гармоническому видению, которое он именовал отечеством.

Его сиятельство не смог бы назвать, о чем из этого думал он в ту четверть часа, что миновала после ухода его секретаря. Может быть, обо всем. Среднего роста человек лет шестидесяти сидел неподвижно за своим письменным столом, скрестив руки на животе, и не знал, что он улыбается. Он носил низкий воротничок, потому что у него намечался зоб, и бородку клином то ли по этой же причине, то ли потому, что так он немного

напоминал портреты богемских аристократов времен Валленштейна. Его обступала высокая комната, а ее, в свою очередь, окружали большие пустые помещения передней и библиотеки, вокруг которых, оболочка за оболочкой, располагались другие покои, тишина, подобострастие, торжественность и венец двух размашистых каменных лестниц; там, где эти последние втекали в подъезд, стоял в тяжелой, отягощенной галунами шинели, с жезлом в руке рослый привратник, он вглядывался сквозь проем арки в светлую жидкость дня, и пешеходы проплывали мимо словно в аквариуме. По границе двух этих миров вились вверх игривые лозы фасада рококо, знаменитого среди искусствоведов не только своей красотой, но и тем, что высота его была больше, чем ширина; он слывет ныне первой попыткой натянуть кожу широко и удобно раскинувшегося сельского замка на остов городского дома, вымахавший на утесненном по-бюргерски плане, и в силу этого одним из важнейших переходов от феодально-помещичьего размаха к буржуазному демократизму. Здесь, по свидетельству искусствоведения, бытие Лейнсдорфов переходило в мировой дух. Но кто этого не знал, тот видел это не в большей мере, чем видит стену

желоба скользящая по ней капля; он замечал только мягкий сероватый проем ворот в сплошняке улицы, неожиданное, почти волнующее углубление, в полости которого поблескивали золото галунов и большего набалдашника на жезле швейцара. В хорошую погоду этот швейцар выходил к воротам; тогда он стоял возле них как пестрый, издалека видный драгоценный камень, вкрапленный в шеренгу домов, которой никто не замечает, хотя только их стены и поднимают кишенье бесчисленной и безымянной толпы на уровень порядка. Можно держать пари, что изрядная часть «народа», чей порядок озабоченно и неусыпно оберегал граф Лейнсдорф, не связывала с его именем, если оно упоминалось, ничего, кроме воспоминания об этом швейцаре.

Но его сиятельство не усмотрел бы в этом никакого для себя ущемления; обладание подобными швейцарами представилось бы ему скорее уж той «истинной самоотверженностью», которая подобает аристократу.

22

Приняв обличье влиятельной дамы неописуемого интеллектуального обаяния, параллельная акция готова проглотить Ульриха

Этого графа Лейнсдорфа должен был, по желанию графа Штальбурга, посетить Ульрих, но он решил не посещать его; зато он положил себе нанести рекомендованный отцом визит своей «великой кузине», потому что ему важно было увидеть ее воочию. Он ее не знал, но уже некоторое время испытывал к ней какую-то особую неприязнь, потому что люди, знавшие об их родстве и желавшие ему добра, не раз советовали: «Именно вам следует познакомиться с этой женщиной!» При этом всегда делалось то особое ударение на слове «вам», которое, желая подчеркнуть, что данное лицо как нельзя более способно оценить такую жемчужину, может в равной мере означать искреннюю лесть и прятать убежденность, что ты-то как раз и подходящий для такого знакомства болван. Поэтому он уже неоднократно наводил справки об особых свойствах этой женщины, но никогда не получал удовлетворительного ответа. Отвечали либо: «В ней есть какое-то неописуемое интеллектуаль-

ное обаяние», либо: «Она у нас самая красивая и самая умная женщина», а иные говорили просто: «Она идеальная женщина!» «Сколько же лет этой особе?» — спрашивал Ульрих, но никто этого не знал, и спрошенный обычно удивлялся, что сам никогда не задавал себе такого вопроса. «А кто, собственно, ее возлюбленный? — нетерпеливо спросил наконец Ульрих. Известна ли за ней какая-нибудь связь?» Отнюдь не неопытный молодой человек, к которому он обратился с такими словами, был поражен. «Вы совершенно правы. Никто этого не мог бы предположить».

«Стало быть, высокоумная красавица, — сказал себе Ульрих, — вторая Диотима». И с этого дня он стал мысленно называть ее так, по имени знаменитой учительницы любви.

В действительности же ее звали Эрмелинда Туцци, а по правде и просто Гермина. «Эрмелинда», спору нет, вовсе даже не перевод «Гермины», но право на это красивое имя она получила однажды благодаря интуиции, ибо оно внезапно предстало высшей правдой внутреннему ее слуху, хотя супруг ее по-прежнему звался Гансом, а не Джованни и, несмотря на свою фамилию, выучил итальянский язык лишь в консульской академии. Против этого начальника отдела Туцци Ульрих

был не меньше предубежден, чем против его супруги. В министерстве, которое, именуясь министерством иностранных дел и императорского дома, отличалось еще более феодальными нравами, чем другие правительственные учреждения, Туцци был единственным высокопоставленным чиновником буржуазного происхождения, он заведовал там важным отделом, считался правой рукой, а по слухам, даже и головой своих министров и принадлежал к тем немногим, кто имел влияние на судьбы Европы. Но если в столь гордом соседстве буржуа достигает такого высокого положения, то это дает основания заключить, что он обладает свойствами, выгодно соединяющими личную незаменимость с умением скромно отступать на задний план, и Ульрих был недалек от того, чтобы представлять себе этого влиятельного начальника отдела подобием аккуратного кавалерийского унтера, которому приходится командовать высокородными одногодичниками. Подходящим дополнением к такому образу была спутница жизни, которую Ульрих, несмотря на дифирамбы ее красоте, рисовал себе немолодой, честолюбивой и затянутой в буржуазный корсет образованности.

Но Ульрих сильно обманулся в своих ожидани-

ях. Когда он явился с визитом, Диотима встретила его со снисходительной улыбкой значительной женщины, которая знает, что она к тому же красива и должна прощать поверхностным мужчинам тот факт, что они всегда думают об этом в первую очередь.

— Я ждала вас, — сказала она, и Ульрих не понял толком, любезность ли это или упрек. Рука, которую она ему подала, была полная и невесомая.

Он задержал ее чуть дольше, чем полагалось, его мысли не смогли сразу отделиться от этой руки. Как толстый лепесток лежала она в его руке; острые ногти, как надкрылья, способны были, казалось, в любой момент улететь вместе с ней в невероятное. Его потрясла экстравагантность женской руки, довольно, в сущности, бесстыдного органа человеческого тела, который ощупывает все; как собачья морда, но считается средоточием верности, благородства и нежности. В эти секунды он обнаружил, что шея Диотимы изобилует желваками, обтянутыми нежнейшей кожей: волосы ее были закручены в греческий узел, который упрямо оттопыривался и в своем совершенстве походил на осиное гнездо. Ульрих почувствовал, что его одолевает какая-то враж-

дебность, желание возмутить эту улыбающуюся женщину, но он не смог совсем отрешиться от красоты Диотимы.

Диотима тоже глядела на него долго и почти испытующе. Она кое-что слышала об этом кузене, что-то слегка отдававшее, на ее слух, скандалом в личных делах, и к тому же этот человек был с нею в родстве. Ульрих заметил, что и она не может вполне отрешиться от физического впечатления, которое он на нее произвел. Он к этому привык. Он был гладко выбрит, высокого роста, хорошо тренирован и гибко-мускулист, лицо его было ясно и непроницаемо; одним словом, он сам себе казался порой предрассудком, складывающимся насчет импозантного и еще совсем молодого человека у большинства женщин, только он не всегда находил в себе силу вовремя вывести их из заблуждения. Диотима, однако, защищалась тем, что умом жалела его. Ульрих видел, что она долго его разглядывала, явно не испытывая при этом неприятных чувств, но, возможно, говоря себе, что благородные свойства, которые в нем так заметно о себе заявляли, по всей вероятности, подавлены скверной жизнью и должны быть спасены. Хотя она была не намного моложе, чем Ульрих, и пребывала в полном физическом

расцвете, в духовном смысле от ее внешности исходило что-то незавершенно-девическое, странно противоречившее ее самоуверенности. Так продолжали они друг друга разглядывать, уже вступив, в разговор.

Диотима начала с того, что объявила параллельную акцию прямо-таки неповторимой возможностью осуществить то, что представляется самым важным и самым великим.

— Мы должны и хотим осуществить величайшую идею. У нас есть такая возможность, и мы не вправе ее упускать.

Ульрих наивно спросил:

— Вы имеете в виду что-то определенное?

Нет, Диотима не имела в виду чего-то определенного. Да и как она могла иметь! Никто ведь, когда говорит о самом великом и самом важном в мире, не думает, что оно действительно существует на свете. Но какому странному свойству мира это равносильно? Все сводится к тому, что что-то одно больше, важнее, или прекрасней, или печальнее, чем что-то другое, то есть к некоей иерархии, к некоей сравнительной степени — и при всем при том нет, значит, никакой вершины, никакого суперлатива? Если, однако, укажешь на это кому-нибудь, кому хочется говорить как раз о

самом важном и самом великом, то он заподозрит в тебе человека безчувственного и лишенного идеалов. Так оно и случилось с Диотимой, и таковы были слова Ульриха.

Как женщина, чьим умом восхищались, Диотима нашла, что возражение Ульриха непочтительно. Помедлив, она улыбнулась и ответила:

— Есть столько великих и добрых идей, еще не осуществленных, что выбор будет нелегким. Но мы создадим комитеты во всех слоях населения, которые окажут нам помощь. Или вы, господин фон ..., не считаете огромным преимуществом такой повод призвать нацию, да, собственно, и весь мир, вспомнить среди материалистической суеты о духовных ценностях? Не думайте, что мы стремимся к чему-то патриотическому в давно устаревшем смысле.

Ульрих отделался шуткой.

Диотима не стала смеяться; она только улыбнулась. Она привыкла к остроумным мужчинам; но те и вообще что-то собой представляли. Парадоксы ради парадоксов показались ей признаком незрелости и вызвали у нее потребность указать родственнику на серьезность обстановки, делавшую великую патриотическую акцию таким достойным и таким ответственным начинани-

ем. Теперь она говорила другим тоном, подводя итог и поверяя; Ульрих невольно искал между ее словами те черно-желтые связующие нити, которыми прошивались и сшивались в министерствах листы документов. Из уст Диотимы выходили, однако, отнюдь не только административные, но также и духовные термины, такие, как «бездушное, находящееся во власти лишь логики и психологии время» или «современность и вечность», и вдруг среди прочего зашла речь и о Берлине, и о «драгоценности чувства», которую австрийский дух, в отличие от Пруссии, еще хранит.

Ульрих несколько раз пытался прервать эту умственную тронную речь; но запах ризницы высшей бюрократии сразу же обволакивал каждое такое вторжение, тонко вуалируя его бестактность. Ульрих был поражен. Он поднялся, его первый визит явно подошел к концу.

В эти минуты его отступления Диотима обращалась с ним с той мягкой, из осторожности нарочито преувеличенной предупредительностью, которой научилась у своего мужа; тот проявлял ее, имея дело с молодыми дворянами, которые были его подчиненными, но могли в один прекрасный день стать его министрами. В

том, как она пригласила его прийти еще, было что-то от заносчивой неуверенности духа перед грубой жизненной силой. Когда он вновь держал ее мягкую, невесомую руку в своей, они посмотрели друг другу в глаза. Ульрих определенно почувствовал, что им суждено причинить друг другу большие неприятности на почве любви.

«Вот уж правда, — подумал он, — красавица-гидра!» Он собирался уклониться от участия в великой отечественной акции, но та, похоже, приняла облик Диотимы и была готова его проглотить. Это было полузабавное впечатление; несмотря на свои годы и опыт, он казался себе маленьким вредным червем, которого внимательно разглядывает большая курица. «Господи, — думал Ульрих, не позволить бы только этой великой душе спровоцировать себя на позорные делишки!» С него хватало связи с Бонадеей, и он положил себе быть предельно сдержанным.

Когда он покидал эту квартиру, его утешило одно впечатление, показавшееся ему приятным уже при приходе. Его провожала маленькая горничная с мечтательными глазами. В темноте передней, когда они первый раз вспорхнули к нему, глаза ее были как черная бабочка; теперь, при уходе, они опустились в темноту как черные

снежинки. Что-то арабско— или алжирско-еврейское, смутно почувствованное им тогда, было так неприметно-мило в этой малышке, что Ульрих и теперь забыл хорошенько разглядеть девушку; лишь выйдя на улицу, он почувствовал, что после общества Диотимы вид этой маленькой был чем-то необыкновенно живым и бодрящим.

23
Первое вмешательство великого человека

После ухода Ульриха Диотима и ее горничная остались в тихой взволнованности. Но если у черной белочки каждый раз, когда она провожала к дверям знатного гостя, бывало такое чувство, словно ей удалось молнией шмыгнуть вверх по большой блестящей стене, то Диотима разбирала воспоминание об Ульрихе с добросовестностью женщины, которая, пожалуй, даже не прочь увидеть себя неподобающе взволнованной, потому что чувствует в себе силу мягко одернуть. Ульрих не знал, что в этот же день в жизнь ее уже вошел другой мужчина, высившийся перед ней как огромная, открывающая широкий обзор гора.

Доктор Пауль Арнгейм нанес ей визит вскоре

после своего прибытия.

Он был безмерно богат. Его отец был могущественнейшим властителем «железной Германии», — даже начальник отдела Туцци снизошел до этой игры слов; Туцци держался правила, что в выражениях нужно быть бережливым и что игрой слов, хотя и в высокоумственном разговоре совсем без нее нельзя обойтись, не следует увлекаться, потому что это буржуазно. Он сам рекомендовал своей супруге принять этого гостя отличительно; ибо если люди этого рода и не были еще наверху в Германской империи и по своему влиянию при дворе не шли ни в какое сравнение с Круппами, то завтра, на его взгляд, такое могло случиться, и он присовокупил содержание неких конфиденциальных слухов, по которым этот сын — а ему, между прочим, было уже далеко за сорок — не только стремится занять положение отца, но и готовится, опираясь на тенденцию времени и на свои международные связи, стать германским министром. Правда, по мнению начальника отдела Туцци, это было совершенно исключено, разве что сперва случится конец света.

Он не подозревал, какую бурю вызвал он этим в воображении супруги. Разумеется, убеждения

ее круга велели не слишком высоко ценить «торгашей», но, как все люди буржуазного образа мыслей, она восхищалась богатством в той глубине души, которая совершенно не зависит от убеждений, и личная встреча с таким непомерно богатым человеком была для нее как золотые крылья ангела, вдруг к ней спустившиеся. За время карьеры своего супруга Эрмелинда Туцци привыкла, конечно, соприкасаться со славой и богатством; но слава, добытая духовными подвигами, тает удивительно быстро от общения с ее носителями, а феодальное богатство либо принимает форму дурацких долгов молодых атташе, либо привязано к традиционному стилю жизни и никогда не пышет таким сверхизобилием, как раскидистые горы денег, и не вызывает трепета искрами сыплющегося золота, которым крупные банки и мировая промышленность вершат свои операции. Единственным, что знала Диотима о банковском деле, было то, что даже средние служащие банков ездили в командировки в первом классе, тогда как ей всегда приходилось довольствоваться вторым, если она путешествовала не в обществе своего мужа, и на этом строилось ее представление о роскоши, окружающей высших владык такого левантийского предприятия.

Ее маленькая камеристка Рахиль — само собой разумеется, что Диотима, зовя ее, произносила это имя на французский манер — слышала фантастические вещи. Самой пустяковой из ее новостей была та, что набоб прибыл в собственном поезде, снял целую гостиницу и возит с собой раба-негритенка. Правда была гораздо скромнее, хотя бы потому, что Пауль Арнгейм всегда вел себя так, чтобы не обращать на себя внимания. Только арапчонок соответствовал действительности. Много лет назад, путешествуя по дальнему югу Италии, Арнгейм вытащил его из труппы плясунов и взял к себе, потому что вдруг одновременно пожелал украсить себя и поднять из бездны живое существо, чтобы, открыв ему жизнь духа, выполнить роль его творца. Вскоре, однако, Арнгейму миссия эта наскучила, и он пользовался мальчиком, которому было теперь шестнадцать лет, только уже как слугой, хотя до четырнадцатого его года давал ему читать Стендаля и Дюма. Но хотя слухи, приносимые домой ее камеристкой, были настолько ребяческими в своих преувеличениях, что Диотима не могла не посмеиваться, она заставляла ее все повторять слово в слово, находя в этом такую неиспорченность, какая возможна только в этом единственном городе,

который «до невинности напичкан культурой». И арапчонок, как ни странно, взволновал даже ее собственную фантазию.

Она была старшей из трех дочерей учителя средней школы, не имевшего никакого состояния, отчего ее супруг считался хорошей для нее партией уже и тогда, когда, он, никому не ведомый буржуа-вицеконсул, мало что собой представлял. В девические годы у нее не было ничего, кроме гордости, а так как у гордости, в свою очередь, не было ничего, чем она могла бы гордиться, то гордость эта была лишь свернутой в клубок корректностью с колючими щупальцами чувствительности. Но и такая корректность таит иногда честолюбие и мечтательность и может быть не поддающейся учету силой. Если вначале Диотиму манила перспектива далеко ведущих приключений в далеких странах, то вскоре пришло разочарование, ибо через несколько лет это стало преимуществом, да и то скромным, лишь перед подругами, завидовавшими ей из-за налета экзотики, в ней чувствовавшегося, но не могло заслонить от нее той истины, что в главном жизнь в посольствах остается жизнью, привезенной из дому вместе с другим багажом. Честолюбие Диотимы долгое время готовилось

умереть в благородной бесперспективности пятого класса табели о рангах, пока благодаря случаю восхождение ее мужа не началось вдруг с того, что один доброжелательный и «прогрессивно» настроенный министр взял этого буржуа в канцелярию президиума центрального аппарата. Когда Туцци занял это место, к нему стали во множестве приходить люди, чего-нибудь от него хотевшие, и с этой поры в Диотиме тоже, чуть ли не к собственному ее удивлению, ожили сокровища воспоминаний о «духовных красоте и величии», которые она узнала будто бы в высококультурном родительском доме и центрах мира, а на самом деле, наверно, в высшей женской школе, где примерно училась, и она осторожно приступила к реализации этих сокровищ. Деловой, но необыкновенно надежный ум ее мужа невольно направил внимание и на нее, и теперь она действовала совершенно бесхитростно, как влажная губка, выдающая то, что без особой пользы в себя вобрала; увидев, что ее духовные преимущества замечены, Диотима стала с великой радостью вплетать в свои беседы в подходящих местах маленькие «высокоумные» идеи. И постепенно, по мере того как муж ее шел в гору, появлялось все больше людей, искав-

ших его близости, и дом ее сделался «салоном», славившимся тем, что «общество и ум» здесь сходились. Теперь, общаясь с людьми, в разных областях что-то значившими, Диотима начала и всерьез открывать самое себя. Ее корректность, все еще полная внимания, как в школе, хорошо запоминавшая выученное и связывавшая это в некое приятное единство, превратилась в ум прямо-таки сама собой, просто расширившись, и дом Туцци получил признание.

24
Собственность и образованность; дружба Диотимы с графом Лейнсдорфом и служба приведения знаменитых гостей к единству с душой

Но определенным понятием он сделался только благодаря дружбе Диотимы с его сиятельством графом Лейнсдорфом.

Если именовать разновидности дружбы по частям тела, то дружеские чувства графа Лейнсдорфа находились в таком месте между головою и сердцем, что Диотиму можно было бы назвать не иначе как его задушевной подругой, если бы

это выражение было еще в ходу. Его сиятельство чтил ум и красоту Диотимы, не разрешая себе непозволительных намерений. Благодаря его благосклонности салон Диотимы не только приобрел нерушимое положение, но и нес, как он выражался, некую службу.

В плане личном его сиятельство граф, подчиненный непосредственно императору, был «всего лишь патриотом». Но государство состоит не только из короны, народа и администрации между ними, тут есть, кроме того, еще одно: мысль, мораль, идея!.. Сколь ни был его сиятельство религиозен, он, как человек с чувством ответственности, к тому же строивший фабрики в своих имениях, не закрывал глаза на тот факт, что дух ныне во многом вышел из под церковной опеки. Ибо граф не представлял себе, как можно по религиозным принципам управлять, например, фабрикой, смутой на хлебной бирже или сахарным бумом, тогда как, с другой стороны, без биржи и промышленности современное крупное землевладение немыслимо; и когда его сиятельство выслушивал доклад своего управляющего, который доказывал ему, что сообща с той или иной иностранной группой спекулянтов то или иное дело можно обделать лучше, чем

плечом к плечу с местной землевладельческой аристократией, его сиятельству в большинстве случаев приходилось склоняться в пользу первого, ибо объективные обстоятельства имеют свой резон, против которого нельзя идти в угоду собственным чувствам, если, возглавляя большое хозяйство, несешь ответственность не за одного себя, а за бесчисленное множество других жизней. Есть что-то вроде профессиональной совести, противоречащей подчас совести религиозной, и граф Лейнсдорф был убежден, что сам кардинал-архиепископ не смог бы тут поступить иначе, чем он. Правда, граф Лейнсдорф всегда был готов посетовать по этому поводу на открытых заседаниях Палаты и выразить надежду, что жизнь снова вернется к простоте, естественности, сверхъестественности, здоровью и обязательности христианских принципов. Когда он открывал рот для таких рассуждений, казалось, что выдернули штепсельную вилку и подключили графа к другой электрической цепи. Впрочем, так бывает с большинством людей, когда они говорят публично; и если бы кто-нибудь упрекнул его сиятельство в том, что сам же он делает то, против чего публично борется, граф Лейнсдорф со святой убежденностью заклеймил

бы подобные речи как демагогическую болтовню подрывных элементов, понятия не имеющих, сколь широка бывает в жизни ответственность. Тем не менее он сам признавал, что связь между вечными истинами и делами, которые куда запутаннее, чем прекрасная простота традиции, есть задача величайшей важности, и признавал также, что связь эту нужно искать не в чем ином, как в глубокой буржуазной образованности; своими великими идеями и идеалами в областях права, долга, нравственности и красоты она дотягивалась до насущных стычек и каждодневных противоречий и представлялась ему чем-то вроде моста, сплетенного из живых растений. Правда, мост этот не давал такой твердой и надежной опоры, как догматы церкви, но он был не менее необходимым и ответственным делом, и по этой причине граф Лейнсдорф был не только религиозным идеалистом, но и страстным идеалистом в делах мирских.

Этим убеждениям его сиятельства соответствовал состав салона Диотимы. Приемы Диотимы славились тем, что в большие дни там попадались люди, с которыми нельзя было и словом перекинуться, потому что они били слишком известны в какой-либо специальной области,

чтобы говорить с ними о последних новостях, не зная порой даже названия той сферы знаний, где они пользовались всемирной известностью. Там бывали кенцинисты[7] и канисисты,[8] случалось, что грамматик языка «бо»[9] сталкивался там с исследователем партигенов, а токонтолог — со специалистом по квантовой теории, не говоря уж о тех представителях новых направлений в искусстве и литературе, что каждый год меняли свое наименование и в ограниченной мере допускались туда вместе со своими преуспевшими собратьями по профессии. В общем, круг посетителей был таков, что все в нем перемешивалось и гармонически смешивалось; только молодые дарования Диотима обычно держала на некоторой дистанции, ограничиваясь отдельными приглашениями, а редких или особых гостей умела незаметно выделить и подать в нужном обрамлении. Впрочем, дом Диотимы отличался от всех ему подобных прежде всего, если можно

[7] Примечания: 7

Специалисты по африканскому диалекту кенци (Судан, Гвинея).

[8] Примечания: 8

Специалисты по одному из языков Хеттского царства (II тысячелетие до н. э.).

[9] Примечания: 9

Один из суданских языков.

Так выразиться, именно своей мирской стихией, той стихией практического применения идей, которая — говоря словами Диотимы — растекалась некогда вокруг богословского ядра толпой верующих деятелей, коллективом членов ордена, не принадлежащих к духовенству, короче, стихией действия; но сегодня, когда богословие вытеснено политической экономией и физикой, а перечень приглашаемых Диотимой правителей духа постепенно разросся до размеров каталога научных трудов Британского Королевского общества, эти принадлежащие к ордену миряне и мирянки состояли соответственно из директоров банков, техников, политиков, советников министерств, а также из представителей и представительниц высшего и примыкающего к нему общества. Особенно о женщинах пеклась Диотима, но при этом предпочитала «интеллектуалкам» «дам». «Жизнь сегодня слишком отягощена знанием, — говорила она, — чтобы мы могли отказаться от „цельной женщины“. Она была убеждена, что только цельная женщина еще обладает той фатальной властью, которая способна опутать интеллект силами бытия, в чем тот, на ее, Диотимы, взгляд, нуждался для своего спасения. Молодые аристократы мужского пола, бывавшие

у нее, потому что это вошло в обычай и не вызывало неодобрения начальника отдела Туцци, тоже, кстати сказать, ставили ей в большую заслугу эту теорию опутывающей женщины и сил бытия, ибо в нераздробленном бытии есть все-таки для аристократии что-то привлекательное, а вдобавок дом Туцци, где удавалось, не обращая на себя внимания, попарно углубляться в беседы, был, хотя Диотима этого и не подозревала, для любовных встреч и долгих объяснений наедине гораздо более удобным местом, чем какая-нибудь церковь.

В тех случаях, когда его сиятельство граф Лейнсдорф не называл эти два столь разнородных по сути элемента, смешивавшихся у Диотимы, «истинным благородством», он охватывал их определением «собственность и образованность»; но еще больше любил он прикладывать к ним ту идею «службы», которая занимала важнейшее место в его мышлении. Он держался взгляда, что всякий труд — не только чиновника, но в равной мере фабричного рабочего или концертного певца — представляет собой службу. «Каждый человек, — говорил он, — несет службу в государстве, рабочий, князь, ремесленник — все служащие!» Это вытекало из его всегда и при всех обстоятель-

ствах объективно-нелицеприятного мышления, которое не признавало никакой протекции, и на его взгляд великосветские господа и дамы, болтавшие с исследователями богазкёйских[10] текстов или проблемы пластинчатожаберных и разглядывавшие жен финансовых тузов, тоже несли важную, хотя и не поддающуюся точному описанию службу. Это понятие «служба» заменяло ему то, что Диотима определяла как утраченное со времен средневековья религиозное единство человеческих дел. Да и по сути всякое такое принудительное общение, как у нее, если оно не совсем уж наивно и грубо, действительно идет от потребности создать видимость человеческого единства, которое должно объять самые разные виды человеческой деятельности и которого не существует на свете. Эту видимость Диотима называла культурой и, как особо добавляла она, старой австрийской культурой.

С тех пор, как ее честолюбие, расширившись, превратилось в духовность, она научилась употреблять это слово все чаще. Подразумевала она под этим прекрасные картины Веласкеса и Рубенса, висевшие в императорских музеях. Тот

[10] Примечания: 10

Клинописные тексты, найденные в 1906 г. археологами в турецкой деревне Богазкёй близ Анкары.

факт, что Бетховен был, так сказать, австрийцем. Моцарта, Гайдна, собор св. Стефана, Бургтеатр. Полный традиций придворный церемониал. Первый квартал Вены, где сгрудились самые изысканные в пятидесятимиллионной державе магазины платья и белья. Сдержанность высших чиновников. Венскую кухню. Аристократию, которая считала себя самой благородной после английской, и ее старые дворцы. Общепринятый стиль поведения, проникнутый иногда подлинным, но чаще фальшивым эстетизмом. Подразумевала она под этим и тот факт, что такой вельможа, как граф Лейнсдорф, дарил ей в этой стране свое внимание и перенес свои собственные культурные усилия в ее дом. Она не знала, что его сиятельство сделал это и потому, что ему казалось нежелательным открывать свой собственный дворец новизне, надзор за которой легко потерять. Граф Лейнсдорф часто тайком ужасался свободе и снисходительности, с какой его красивая приятельница говорила о человеческих страстях и учиняемых ими смутах или о революционных идеях. Но Диотима этого не замечала. Она разграничивала, так сказать, служебную нецеломудренность и частное целомудрие, как медичка или сотрудница отдела

социального обеспечения; она содрогалась, как от удара по больному месту, если ее лично задевало какое-нибудь словцо, но в отвлечении от личного она могла говорить о чем угодно и притом чувствовала, что эта смесь очень привлекает графа Лейнсдорфа.

Жизнь, однако, ничего не строит, не выломав для этого камней в каком-нибудь другом месте. К обидному удивлению Диотимы, крошечная мечтательно-сладкая миндалинка фантазии, составлявшая прежде, когда оно еще ничего больше не содержало, ее бытие и сохранявшаяся даже тогда когда она решилась выйти замуж за выглядевшего как кожаный чемодан с двумя темными глазами вицеконсула Туцци, — миндалинка эта в годы успеха исчезла. Правда, многое из того, что она понимала под старой австрийской культурой, например Гайдн или Габсбурги, было раньше лишь нудным учебным заданием, а теперь сознание, что она живет в гуще всего этого, было полно для нее волшебной прелести, в которой столько же героического, сколько в гудении пчел в разгар лета; но со временем это стало чем-то не только однообразным, но и утомительным и даже безнадежным. С ее знаменитыми гостями у Диотимы получалось то же, что у графа Лейнсдор-

фа с его банковскими связями; как ни хотелось привести их в единство с душой, это не удавалось. Об автомобилях и рентгеновских лучах можно как-никак говорить, это еще вызывает какие-то чувства, но что остается делать со всеми другими бесчисленными изобретениями и открытиями, которые теперь приносит с собой каждый день, как в самой общей форме не восхищаться человеческой изобретательностью, а это постепенно надоедает! Его сиятельство приходил от случая к случаю и говорил с каким-нибудь политиком или позволял представить себе какого-нибудь нового гостя, ему было легко мечтать о глубокой образованности, но когда заниматься этой образованностью приходилось так детально, как Диотиме, то оказывалось, что непреодолима-то не ее глубина, а ее широта. Даже такие непосредственно касающиеся человека вопросы, как благородная простота Греции или смысл библейских пророчеств, распадались в разговоре со знатоками на необозримое множество сомнений и возможностей. Диотима обнаружила, что и знаменитые гости беседовали на ее вечерах всегда попарно, потому что говорить разумно и с толком человек уже тогда мог самое большее с одним человеком, а она, собственно, ни с кем не

могла. Но тем самым Диотима открыла у себя самой тот известный недуг современного человека, который называется цивилизацией. Это стеснительное состояние, полное мыла, радиоволн, самонадеянной тайнописи математических и химических формул, политической экономии, экспериментальных исследований и неспособности к простому, но высокому общению людей. И отношение присущего ей самой духовного аристократизма к аристократизму социальному, обязывавшее Диотиму к большой осторожности к приносившее ей несмотря на все успехи, немало разочарований, — оно тоже все больше и больше со временем представлялось ей именно таким, какое характерно не для эпохи культуры, а для эпохи цивилизации.

Цивилизацией было, таким образом, все, чего не мог объять ее ум. А потому цивилизацией давно уже и прежде всего был ее муж.

25
Недуг замужней души

Она много читала в своем недуге и открыла, что утратила нечто, об обладании чем мало что знала дотоле, — душу.

Что это такое?.. Легко дать отрицательное определение: это то, что прячется, когда тебе говорят об алгебраических рядах.

А положительное? Похоже, что понятие это успешно ускользает от всяких попыток его поймать. Возможно, что в свое время в Диотиме была какая-то самобытность, какая-то вещая чувствительность, закутанная тогда в потертое от частой чистки платье ее корректности, и это-то она теперь называла душой и вновь находила в цветастой метафизике Метерлинка, в Новалисе, но прежде всего в той безымянной волне худосочной романтики и тоски о боге, которую выплескивала некоторое время машинная эра как выражение духовного и художнического протеста против самой себя. Возможно также, что эту самобытность в Диотиме было бы точнее определить как некую тишину, нежность, благоговейность и доброту, которые так и не нашли верного пути и в той переплавке, что неизменно учиняет со всеми нами судьба, приняли смешную форму ее, Диотимы, идеализма. Может быть, это была фантазия; может быть, догадка о той инстинктивной вегетативной работе, что ежедневно совершается под телесным покровом, который предстает нам одухотворенным обли-

ком красивой женщины; может быть, выпадали лишь не поддающиеся обозначению часы, когда она ощущала себя широкой и теплой, когда чувства казались более проникновенными, чем обычно, когда честолюбие и воля молчали, когда ее охватывали тихое опьянение жизнью и полнота жизни, когда мысли уходили с поверхности далеко в глубину, даже если они относились к самым ничтожным вещам, а события мировой важности отступали вдаль, как шум перед садом. У Диотимы бывало тогда такое ощущение, что она видит в себе саму истину, не прилагая к тому никаких усилий; нежные эмоции, еще не имевшие имен, приподнимали тогда свой флер; и она чувствовала себя — пользуясь лишь некоторыми из многих определений, найденных ею для этого в литературе женщиной гармоничной, гуманной, религиозной, близкой к той глубине самобытности, которая освящает все, что из нее восходит, и делает греховным все, истоки чего не в ней. Но хотя думать обо всем этом было довольно приятно, не только Диотима никогда не выходила за пределы таких догадок и намеков насчет некоего особого состояния, не выходили за них и пророческие книги, к которым она обращалась и которые говорили об одном и том

же в одних и тех же таинственных и неточных словах. Диотиме ничего не оставалось, как счесть виноватой и в этом эпоху цивилизации, эпоху, когда доступ к душе как раз и отрезан.

Наверно, то, что она называла душой, было ни чем иным, как небольшим капитальцем способности любить, которым она обладала ко времени своего замужества. Начальник отдела Туцци не предоставлял наилучшей возможности его вложения. Его превосходство над Диотимой было поначалу и в течение долгого времени превосходством старшего по возрасту; позднее к этому прибавилось превосходство человека преуспевающего и занимающего таинственное положение, который не очень-то раскрывается перед женой и благодушно смотрит на пустяки, которыми она занята. И, кроме как в пору жениховских нежностей, начальник отдела Туцци всегда был человеком пользы и разума, никогда не теряющим равновесия. Тем не менее от спокойной ладности его поступков и его костюма, от вежливо строгого, можно сказать, запаха его тела и усов, от осторожно-твердого баритона его речи исходили токи, волновавшие душу девушки Диотимы так же, как близость хозяина — душу охотничьего пса, который кладет морду ему на

колени. И как пес чутко и безмятежно трусит за хозяином, так Диотима под строгим, деловым руководством вышла в бескрайнее поле любви.

Начальник отдела Туцци предпочитал тут прямые пути. Его привычки были привычками честолюбивого работника. Он вставал рано утром, чтобы либо покататься верхом, либо, еще лучше, часок прогуляться, что не только служило сохранению гибкости, но и представляло собой одну из тех педантично простых привычек, неукоснительное следование которым как нельзя лучше подходит к картине ответственного труда. И само собой разумеется, что вечером, если они не уходили в гости или не принимали гостей, он тотчас же удалялся в свой кабинет, потому что был вынужден держать свои большие деловые знания на той высоте, которая составляла его превосходство над коллегами и начальниками из дворян. Такая жизнь устанавливает твердые границы и подчиняет любовь остальной деятельности. Как все мужчины, чья фантазия не ранена эротикой, Туцци был в холостые годы — хотя ради своей репутации дипломата он нет-нет да показывался в обществе друзей с хористочками из театра — спокойным посетителем публичных домов и равномерное дыхание этой привычки

перенес в брак. Диотима поэтому познакомилась с любовью как с чем-то резким, похожим на припадок, бесцеремонным, чему еще более могучая сила дает волю лишь раз в неделю. Это изменение сущности двух людей, начинавшееся минута в минуту, чтобы через несколько минут перейти в короткий разговор о недообсужденных событиях дня, а затем в ровный сон, это нечто, о чем в промежутках никогда не говорили или говорили только обиняками и намеками (отпуская, например, дипломатическую шутку насчет «patrie honteuse»[11] тела), имело, однако, для Диотимы неожиданные и противоречивые последствия.

С одной стороны, это стало подоплекой ее гипертрофированного идеализма, той официозной, обращенной ко внешнему миру личности, чья душевная жажда простиралась на все великое и благородное, что появлялось в ее кругу, и участвовала в этом и связывала себя с этим так горячо, что Диотима производила то сбивавшее с толку мужчин впечатление мощно пылающего, но платонического солнца любви, после рассказов о котором Ульриху стало любопытно познакомиться с ней. А с другой стороны, широкий ритм

---

[11] Примечания: 11
"Позорная отчизна" (фр.).

супружеской близости превратился у нее чисто физиологически в привычку, имевшую свою особую колею и дававшую о себе знать без связи с более высокими частями ее натуры, как голод холопа, чьи трапезы бедны, но сытны. Со временем, когда на верхней губе Диотимы пробились маленькие волоски и в ее девичью стать вмешалась мужская самостоятельность созревшего существа женского пола, это дошло до ее сознания и ужаснуло ее. Она любила своего супруга, но к любви ее примешивалась все большая мера отвращения, какая-то даже ужасная обида души, сравнимая разве что с чувствами, которые испытал бы погруженным в свои великие замыслы Архимед, если бы чужеземный солдат не убил его, а поставил перед ним унизительной требование сексуального рода. И поскольку супруг ее этого не замечал и у него никогда не появилось бы подобных мыслей, а ее тело против ее воли в конце концов каждый раз предавало ее ему, она чувствовала себя бесправной рабой; рабство это, правда, не считалось недобродетельным, но отбывать его было совершенно так же мучительно, как, по ее представлению, страдать тиком или поддаться пороку. От этого Диотима, может быть, стала бы только немного грустнее и еще идеали-

стичнее, но пришлось это, к несчастью, как раз на то время, когда ее салон стал доставлять ей душевные неудобства. Начальник отдела Туцци самым естественным образом поощрял духовные усилия своей жены, быстро поняв, какая с ними связана выгода для его собственного положения, но он никогда в них не участвовал и, можно даже, пожалуй, сказать, не принимал их всерьез; ибо всерьез этот многоопытный человек принимал только власть, долг, высокое происхождение и на некотором расстоянии от этого разум. Он даже не раз советовал Диотиме не вкладывать слишком много честолюбия в свое руководство эстетическими делами, ибо, хотя культура и есть, так сказать, соль в кушанье жизни, великосветское общество не любит слишком соленой стряпни; говорил он это без всякой иронии, поскольку таково и было его убеждение, но Диотима чувствовала себя униженной. Ей упорно чудилась улыбка, которой супруг сопровождал ее усилия по части идей; и был ли он дома или его не было дома, и относилась ли эта улыбка — если он действительно улыбался, за что отнюдь нельзя было поручиться, — к ней в особенности или была просто свойственна выражению лица человека, по долгу службы обязанного иметь неизменно высо-

комерный вид, улыбка эта постепенно делалась для нее все нестерпимее, и она никак не могла отмахнуться от мелькавшей в ней наглой правды. Диотима винила в этом материалистический период истории, сделавший из мира жестокую, бессмысленную игру среди атеизма, социализма и позитивизма которой человек с душой не находит свободы, чтобы подняться к своей истинной сущности; но и это помогало нечасто.

Так обстояли дела в доме Туцци, когда великая патриотическая акция ускорила ход событий. С тех пор как граф Лейнсдорф, чтобы не выставлять вперед дворянство, перенес ее центр в дом своей приятельницы, там царила не облеченная в слово ответственность, ибо Диотима была полна решимости доказать своему супругу, теперь или никогда, что ее салон не игрушка. Его сиятельство поведал ей, что великой патриотической акции нужна венчающаяя идея, и все честолюбие Диотимы устремилось на то, чтобы таковую найти. Мысль, что средствами целой империи и на глазах всего мира нужно осуществить что-то такое, что будет одной из величайших культурных ценностей, или, ограничиваясь более скромной задачей, такое, пожалуй, что покажет австрийскую культуру в ее глубочайшей сути, — эта

мысль действовала на Диотиму так, как если бы двери ее салона вдруг распахнулись, а за порогом, продолжением пола, разливалось бескрайнее море… Нельзя было отрицать, что при этом первым ее ощущением было чувство неизмеримой, мгновенно отверзшейся пустоты.

Как часто в первых впечатлениях есть что-то верное! Диотима не сомневалась, что произойдет нечто ни с чем не сравнимое, и призвала на помощь все свои идеалы; она мобилизовала пафос школьных уроков истории, когда она училась считать царствами и столетиями; она вообще сделала все, что нужно сделать в такой ситуации, но после нескольких недель этой деятельности увидела, что ей ничего не пришло на ум. В этот миг Диотима почувствовала бы ненависть к своему супругу, если бы она вообще была способна испытывать ненависть — эту низменную эмоцию! Почувствовала она поэтому грусть, и в ней поднялась неведомая ей дотоле «злость на весь мир».

Это был тот момент, когда в сопровождении своего негритенка прибыл и вскоре нанес Диотиме чрезвычайно важный визит доктор Арнгейм.

26
Слияние души и экономики. Человек, способный соединить их, хочет насладиться барочным очарованием старой австрийской культуры. Благодаря этому рождается идея для параллельной акции

Диотима не знала ненадлежащих мыслей, но многое в этот день пряталось, наверно, за невинным арапчонком, которым она занялась, велев удалиться «Рашели». Она еще раз доброжелательно выслушала ее рассказ, после того как Ульрих покинул дом своей Великой Кузины, и теперь эта красивая, зрелая женщина чувствовала себя молодой и словно бы занятой какой-то звонкой игрушкой. Когда-то аристократия, знать держала арапов; Диотиме приходили на ум прелестные картины — катанье на санках, запряженных украшенными флажками лошадьми, лакеи с султанами на головах, припудренные инеем деревья; но эта будившая воображение сторона аристократизма давным-давно умерла. «Деловая жизнь стала сегодня бездушной», — думала

Диотима. В сердце ее было какое-то сочувствие этому смелому аутсайдеру, который еще дерзал держать арапа, этому неподобающе аристократичному буржуа, этому парвеню, который посрамлял потомственную привилегированность, как посрамлял некогда ученый греческий раб своих господ-римлян. Ее сдавленное всяческими предрассудками чувство собственного достоинства по-сестрински дезертировало ему навстречу, и чувство это, очень естественное по сравнению со всеми другими ее чувствами, заставило ее даже закрыть глаза на то, что доктор Арнгейм — хотя слухи противоречили один другому и надежных сведений еще не имелось — был происхождения еврейского; об отце его, во всяком случае, это говорилось с уверенностью, только мать умерла так давно, что требовалось некоторое время, чтобы узнать точно. Возможно, впрочем, что определенная доля жестокой мировой скорби в сердце Диотимы вовсе и не желала опровержения.

Диотима осторожно позволила своим мыслям покинуть арапа и приблизиться к его хозяину. Доктор Пауль Арнгейм был не только богатый человек, это был еще и выдающийся ум. Слава его не ограничивалась тем, что он был наслед-

ником охватывавших весь мир предприятий, на досуге он писал книги, считавшиеся в передовых кругах выдающимися. Люди, составляющие такие чисто духовные круги, стоят выше денег и буржуазных рангов; но нельзя забывать, что именно поэтому они бывают как-то особенно очарованы, когда богатый человек уподобляется им, а в своих программах и книгах Арнгейм к тому же провозглашал ни больше ни меньше, как именно слияние души и экономики, идеи и власти. Чуткие, улавливающие тончайшие веяния будущего умы распространяли мнение, что он соединяет в себе эти два обычно разделенных в мире полюса, и благоприятствовали слуху, что появилась новая сила, призванная направить к лучшему судьбы империи, а может быть, кто знает, и мира. Ибо давно ужа повсюду было распространено чувство, что принципы и методы старой политики и дипломатии сведут Европу в могилу, и вообще тогда уже начался повсеместно период отхода от специалистов.

Состояние Диотимы тоже можно было определить как протест против мышления старой дипломатической школы, поэтому она тотчас же уловила чудесное сходства между позицией этого гениального аутсайдера и своей. Вдобавок

знаменитый человек при первой же возможности нанес ей визит, ее дому эта честь выпала намного раньше, чем другим, а рекомендательное письмо их общей приятельницы говорило о старой культуре города Габсбургов и его жителей, которой этот труженик надеется насладиться среди неизбежных дел. Диотима почувствовала себя особо отмеченной, как писатель, которого впервые переводят на язык чужой страны, когда заключила из слов приятельницы, что этому знаменитому иностранцу известна репутация ее ума. Она заметила, что на вид в нем не было ничего еврейского, это был человек благородной наружности финикийско-античного типа. Но и Арнгейм пришел в восторг, встретив в Диотиме женщину, которая не только читала его книги, но и своим сходством с тучноватой античной статуей соответствовала его идеалу красоты, который был эллинским, но с небольшим добавлением плоти, чтобы классические формы не казались такими застывшими. Вскоре до Диотимы дошло, что впечатление, которое она способна была произвести в течение двадцатиминутного разговора на человека с действительно всемирными связями, начисто рассеяло все сомнения, какими ее собственный, но, видимо, привыкший к несколь-

ко устаревшим методам дипломатии муж умалял ее значительность.

С приятным чувством повторяла она про себя этот разговор. Не успел он начаться, как Аргейм уже сказал, что приехал он в этот старый город только затем, чтобы среди барочного очарования старой австрийской культуры немного отдохнуть от расчетов, от материализма, от унылой разумности нынешнего труженика цивилизации.

— В этом городе так много веселой душевности, — ответила Диотима, и она была довольна, что так ответила.

— Да, — сказал он, — у нас уже нет сегодня внутренних голосов; мы слишком много знаем, разум тиранит нашу жизнь.

Тогда она ответила:

— Я люблю общаться с женщинами, потому что они ничего не знают и не изломаны.

И Аргейм сказал:

— Тем не менее красивая женщина понимает куда больше, чем мужчина, который, при всей своей логике и психологии, совершенно ничего не знает о жизни.

И тут она рассказала ему, что сходной с освобождением души от цивилизации проблемой, только в ее высоком и государственном плане,

заняты здешние руководящие круги; «Надо…» — сказала она, и Арнгейм ее перебил: это просто замечательно; «надо знакомить с новыми идеями или, если позволено будет сказать (тут он слегка вздохнул), вообще знакомить с идеями сферы власти!» И Диотима продолжила: предполагается образовать комитеты из представителей всех слоев населения, чтобы определить эти идеи… Но как раз тут Арнгейм сказал нечто необыкновенно важное, сказал таким полным дружеской теплоты и внимания тоном, что это предостережение запало Диотиме в самое сердце: нелегко будет, воскликнул он, добиться таким способом чего-то великого; не демократия комитетов, а только отдельные сильные люди, имеющие опыт как в реальных делах, так и в области идей, могли бы управлять подобной акцией!

Досюда Диотима повторила про себя этот разговор дословно, а здесь он растворился в сиянии; она уже не могла вспомнить, что ответила сама. Неопределенное, захватывающее чувство счастья и ожидания непрестанно поднимало ее все выше и выше; дух ее походил сейчас на улетевший яркий воздушный шарик, который, великолепно светясь, плывет ввысь к солнцу. А в следующее мгновение он лопнул.

Тут для великой параллельной акции родилась идея, которой ей до тех пор не хватало.

27
Суть и содержание великой идеи

Легко, пожалуй, сказать, в чем состояла эта идея, но никто не сумел бы передать все значение того, в чем она состояла! Ведь тем-то и отличается подавляюще великая идея от ординарной, может быть, даже от непонятно-ординарной и нелепой, что она находится как бы в расплавленном состоянии, благодаря которому «я» оказывается в бесконечной дали, а дали миров, наоборот, входят в «я», причем уже нельзя различить, где тут личное и где бесконечное. Поэтому подавляюще великие идеи состоят из тела, которое, как человеческое тело, плотно, но бренно, и из вечной души, составляющей их значение, но не плотной, а сразу же распадающейся при всякой попытке схватить ее холодными словами.

После такого предварения надо сказать, что великая идея Диотимы состояла не в чем ином, как в том, чтобы пруссак Арнгейм взял на себя духовное руководство великой австрийской акцией, хотя ее острие было ревниво направлено

против пруссаческой Германии. Но это лишь мертвая словесная оболочка идеи, и кто находит ее непонятной или смешной, тот совершает надругательство над трупом. Что же касается души этой идеи, то надо сказать, что в ней не было ничего нецеломудренного и недозволенного, и к своему решению Диотима на всякий случай приложила, так сказать, оговорку в пользу Ульриха. Она не знала, что и ее родственник — хотя и на куда более низком уровне, чем Арнгейм, заслонивший его своей персоной, — тоже произвел на нее впечатление, и она бы, вероятно, презирала себя, если бы это стало ей ясно; но инстинктивно она все-таки приняла контрмеры, объявив его в своем сознании «незрелым», хотя Ульрих был старше ее самой. Она положила себе его жалеть, и это облегчало убежденность в том, что ее долг — избрать вместо него Арнгейма для руководства ответственной акцией; но, с другой стороны, после того как она родила это решение, заявила о себе и женская мысль, что отстраненный нуждается теперь в ее помощи и таковой достоин. Если ему чего-то недоставало, то у него не было лучшего способа это приобрести, чем участие в великой акции, дававшей ему возможность постоянного пребывания вблизи от нее и от Арнгейма. Таким

образом, Диотима решила еще и это, но это были, конечно, всего лишь добавочные соображения.

28
Глава, которую может пропустить всякий, кто не очень высокого мнения о занятости мыслями

Ульрих между тем сидел дома за своим письменным столом и работал. Он извлек исследование, прерванное им на середине несколько недель назад, когда он решил вернуться; он не собирался доводить его до конца, ему просто доставляло удовольствие, что у него все еще получаются такие вещи. Погода была хорошая, но в последние дни он покидал дом лишь ненадолго, он не выходил даже в сад и, задернув занавески, работал при мягком свете, как акробат, демонстрирующий в полутемном цирке, еще закрытом для зрителей, опасные новые прыжки сидящим в партере знатокам. Точность, сила и надежность этого мышления, не имеющего ничего равного себе в жизни, наполняла его чуть ли не грустью.

Он отодвинул испещренный формулами и знаками листок, где под конец, как пример из

физики, написал уравнение состояния воды, чтобы применить новый математический метод, который описывал; но мысли его уже, наверно, за несколько мгновений до этого ушли в сторону.

«Не рассказывал ли я Клариссе чего-то насчет воды?» — спросил он себя, однако же не сумел отчетливо вспомнить. Но это и не было важно, и мысли его праздно растеклись.

Увы, нет ничего более трудного для воспроизведения в художественной литературе, чем думающий человек. Когда одного великого первооткрывателя спросили, как это ему пришло в голову столько нового, он ответил: «Просто я непрестанно об этом думал». И правда, можно, наверно, сказать, что неожиданные идеи появляются не от чего другого, как от того, что их ждут. Они в немалой мере суть результат характера, постоянных склонностей, упорного честолюбия и неотступных занятий. Как, наверно, скучно это постоянство! Однако, с другой стороны, решение умственной задачи совершается почти таким же способом, каким собака, держащая в зубах палку, пытается пройти через узкую дверь: она мотает головой до тех пор, пока палка не пролезает, и точно так же поступаем мы, с той только разницей, что действуем не наобум, а уже

примерно зная по опыту, как это делается. И хотя умная голова, совершая эти движения, проявляет, конечно, гораздо больше ловкости и сноровки, чем глупая, проползание палки неожиданно и для нее, оно происходит внезапно, и в таких случаях ты отчетливо чувствуешь легкое смущение оттого, что мысли сделали себя сами, не дожидаясь своего творца. Смущенное это чувство многие называют сегодня интуицией — прежде его называли и вдохновением — и усматривают в нем нечто сверхличное; а оно есть лишь нечто безличное, а именно родство и единство самих вещей, которые сходятся в чьей-то голове.

Чем лучше голова, тем меньше при этом ощущаешь ее. Поэтому думанье, покуда оно не завершено, есть по сути весьма жалкое состояние, похожее на колику всех мозговых извилин, а когда оно завершено, оно имеет уже не ту форму, в какой оно происходит, не форму мысли, а форму продуманного, а это, увы, форма безличная, ибо теперь мысль направлена уже наружу и препарирована там, чтобы сообщить ее миру. Когда человек думает, нельзя уловить, так сказать, момент между личным и безличным, и поэтому, наверно, думать писателям так трудно, что они стараются этого избежать.

А человек без свойств сейчас размышлял, думал. Пусть отсюда сделают вывод, что это хотя бы отчасти не было делом, личным. Что же это тогда? Исходящий и входящий мир; стороны мира, складывающиеся воедино в чьей-либо голове. Решительно ничего важного ему на ум не пришло; после того как он занялся водой в виде примера, ему ничего не пришло на ум, кроме того, что вода — это субстанция, которая втрое больше суши, даже если принимать в расчет только то, что каждый признает водой — реки, моря, озера, родники. Долго думали, что она родственна воздуху. Так думал великий Ньютон, и все-таки в большинстве других своих мыслей он еще современен. По мнению греков, мир и жизнь произошли из воды. Она была богом — Океаном. Позднее придумали русалок, эльфов, ундин, нимф. На берегах возводились храмы и оглашалась пророчества. Но и соборы в Хильдесгейме, Падербоне, Бремене построены над родниками, и разве эти соборы все еще не стоят? Да ведь и крестят все еще тоже водой? И разве нет на свете всяких там водолюбов и поборников лечения природными факторами, и разве не дышит их душа каким-то странным, каким-то могильным здоровьем? Вот где, значит, было в мире место, подобное расплывшейся точ-

ке или вытоптанной траве. И, конечно, где-то в сознании у человека без свойств гнездилось еще и современное знание, думал ли он о том или нет. А там вода — это бесцветная, лишь в толстых слоях голубая, жидкость без запаха и без вкуса, о чем так часто твердили в школе, отвечая уроки, что этого нельзя позабыть, хотя с физиологической точки зрения к воде относятся также бактерии, растительные вещества, воздух, железо, серно-кислая и двууглекислая известь, а с физической — прообраз всех жидкостей в сущности вовсе не жидкость, в одних случаях это твердое тело, в других жидкость или газ. Все в конце концов растворяется в системах как-то взаимосвязанных формул, и в огромном мире есть лишь несколько десятков людей, которые думают одно и то же даже о такой простой вещи, как вода; все прочие говорят о ней на языках, родившихся где-то между днем нынешним и днями многотысячелетней давности. Надо, стало быть, признать, что стоит лишь человеку чуть-чуть задуматься, как он уже некоторым образом попадает в довольно-таки беспорядочную компанию!

И тут Ульрих вспомнил, что все это он действительно рассказывал Клариссе, а она была невежественна, как зверек. Но, несмотря на все

суеверие, из которого она состояла, нельзя было смутно не почувствовать единства с ней. Это кольнуло его, как теплая игла.

Ему стало досадно.

Известная, открытая врачами способность мыслей растворять и рассеивать разросшийся в глубину, мучительно запутанный конфликт, идущий из глухих областей личности, основана, вероятно, не на чем ином, как на их социальной, обращенной к внешнему миру природе, связывающей отдельного человека с другими людьми и вещами; но, к сожалению, то же, по-видимому, что дает мыслям их целебную силу, мешает отнестись к ним как к непосредственно личному впечатлению. Беглое упоминание о волоске на носу весит больше, чем самая значительная мысль, и когда повторяются даже самые обыкновенные и безличные поступки, чувства и ощущения, то кажется, что ты присутствовал при каком-то происшествии, при каком-то более или менее крупном личном событии.

«Глупо, — подумал Ульрих, — но это так». Он вспомнил то глупо-глубокое, волнующее, прямо касающееся твоего «я» впечатление, которое возникает, когда нюхаешь свою кожу. Он встал и раздвинул оконные занавески.

Кора деревьев была еще по-утреннему мокрой. По улице стелился фиолетовый бензиновый туман. Солнце светило, и люди двигались энергично. Была асфальтовая весна, был один из тех не относящихся ни к одному времени года весенних дней осени, какие выколдовывают города.

29
Объяснение и нарушения нормального режима сознания

У Ульриха был с Бонадеей условный знак, показывавший, что он один дома. Он всегда был один, но не подавал знака. Он уже давно был готов к тому, что Бонадея войдет без зова в шляпе с вуалью. Ибо Бонадея была сверх меры ревнива. И когда она приходила к мужчине, — хотя бы только с тем, чтобы сказать ему, что она его презирает, — то появлялась она всегда полная внутренней слабости, потому что полученные в пути впечатления и взгляды встречных мужчин кружили ей голову, как легкая морская болезнь. Но если мужчина об этом догадывался и направлялся к ней прямым курсом, хотя давно уже не проявлял ни любви к ней, ни интереса, то она оскорблялась, ссорилась с ним, осыпала его бранью, чего сама

никак уже не ждала, и смахивала при этом на утку; упавшую с простреленными крыльями в море любви и пытающуюся спастись вплавь.

И вот вдруг Бонадея действительно сидела здесь, плакала и чувствовала себя поруганной.

В такие моменты злости на любовника она страстно признавала свою вину перед супругом. По доброму старому правилу неверных жен, применяемому ими для того, чтобы не выдать себя опрометчивым словом, она рассказала ему о занятном ученом, которого иногда встречает в семье одной приятельницы, но не приглашает, потому что он слишком избалован своим положением в обществе, чтобы прийти из своего дома в их дом, а она не такого уж о нем высокого мнения, чтобы стараться его заполучить. Половина правды, здесь содержавшаяся, облегчала ей ложь, а за вторую половину она обижалась на своих любовников… Что подумает муж, вопрошала она, если она вдруг опять станет реже видеться с названной для прикрытия приятельницей?! Как ей объяснить ему эти колебания в привязанностях?! Она глубоко уважает правду, потому что глубоко уважает идеалы, а Ульрих бесчестит ее, заставляя отклоняться от них дальше, чем нужно!

Она устроила ему бурную сцену, а когда сцена

кончилась, в возникший вакуум посыпались упреки, клятвы, поцелуи. Когда кончились и они, все осталось по-прежнему; дотекшая вновь дежурная болтовня заполняла пустоту, и время пускало пузыри, как застоявшаяся в стакане вода.

«Насколько она красивее, когда бесится, — думал Ульрих, — и как машинально все совершилось потом опять». Ее вид соблазнил его и побудил к нежностям; теперь, когда это кончилось, он снова почувствовал, как мало это его касалось. Невероятная быстрота таких перемен, превращающих здорового человека в буйного безумца, стала сейчас предельно ясна. Но ему казалось, что эта любовная метаморфоза в сознании есть лишь частный случай чего-то гораздо более общего; ведь и вечер в театре, и концерт, и церковная служба, вообще всякое внешнее проявление внутреннего мира — это сегодня такие же недолговечные островки второго режима сознания, который временно вклинивается в обычный.

«Ведь еще недавно я работал, — думал он, — а до этого выходил на улицу и покупал бумагу. Я поздоровался с одним знакомым по Физическому обществу. Не так давно у меня была с

ним серьезная беседа. И теперь, если бы Бонадея немного поторопилась, я бы мог заглянуть вон в те книги, которые видны за приоткрытой дверью. В промежутке, однако, мы пролетели сквозь облако безумия, а теперь жуть берет от того, как серьезные мысли снова смыкаются над этим исчезающим разрывом, показывая свою упрямую силу».

Но Бонадея не торопилась, и Ульриху пришлось думать о чем-то другом. Друг его юности Вальтер, этот ставший немного странным супруг маленькой Клариссы, сказал как-то о нем: «С величайшей энергией Ульрих делает всегда только то, что не считает необходимым». Слова Вальтера пришли ему на ум как раз сейчас; «обо всех нас можно сказать это сегодня», — подумал он. Он помнил довольно хорошо: деревянный балкон опоясывал дачу. Ульрих был гостем родителей Клариссы; это было за несколько дней до свадьбы, и Вальтер ревновал к нему. Вальтер на диво умел ревновать. Ульрих стоял перед дверью на солнце, когда Кларисса и Вальтер вошли в комнату, находившуюся за балконом; он подслушивал их, не прячась. Впрочем, он помнил теперь одну только эту фразу. И потом картину: тенистая глубина комнаты висела как складчатый, чуть

приоткрытый кошелек на яркой солнечности наружной стены. В складках этого кошелька появились Вальтер и Кларисса; лицо Вальтера было скорбно вытянуто и выглядело так, словно на нем виднелись длинные, желтые зубы. Можно было сказать также, что в коробочке, обшитой внутри черным бархатом, лежала пара длинных желтых зубов, а рядом стояли, как призраки, эти два человека. Ревность была, конечно, нелепа; Ульриха не влекло к женам его друзей. Но у Вальтера всегда была необыкновенная способность к сильным переживаниям. Он никогда не достигал того, чего хотел, потому что так много чувствовал. Казалось, он носил в себе какой-то мелодичный звукоусилитель для всякого маленького счастья и несчастья. Он всегда тратил золотую и серебряную мелочь чувств, Ульрих же больше оперировал крупными суммами, чеками мыслей, так сказать, с внушительными цифрами; но в конце концов это была только бумага. Когда Ульрих представлял себе Вальтера в характерном для него виде, тот обычно лежал на опушке леса. На нем были короткие штанишки и почему-то черные чулки; ноги у него были не мужские, не мускулисто-крепкие и не тощие, жилистые, а как у девушки; как у не очень красивой девуш-

ки с мягкими некрасивыми ногами. Подложив руки под голову, он озирал окрестность, и небеса знали, что сейчас их тревожат. Ульрих не помнил, чтобы он видел Вальтера в этой позе при каких-то определенных, как-то запечатлевшихся обстоятельствах; нет, картина эта, как скрепляющая печать, вырисовалась после полутора десятилетий. И воспоминание, что Вальтер тогда ревновал к нему, очень приятно волновало. Все это происходило ведь в то время, когда еще была радость от самого себя. И Ульрнх подумал: «Я уже несколько раз навещал их, а Вальтер не отвечает на мои визиты. Но все-таки сегодня вечером я, пожалуй, съезжу опять; зачем мне придавать этому значение?»

Он решил послать им весточку, когда Бонадея наконец завершит одевание, делать это в присутствии Бонадеи было неблагоразумно из-за скучного перекрестного допроса, который непременно последовал бы.

И так как мысли быстры, а Бонадея была далеко не готова, ему пришло на ум еще кое-что. На сей раз это была маленькая теория, она была проста, убедительна и помогала убить время. «Молодой человек, если у него живой ум, — сказал Ульрих себе, имея в виду, вероятно, все еще своего

друга юности Вальтера, — непрерывно излучает идеи во все стороны. Но возвращается к нему рикошетом лишь то, что находит резонанс в его окружении, а все остальные лучи рассеиваются и пропадают в пространство!» Ульрих твердо полагал, что человек, наделенный умом, обладает всеми его видами, вследствие чего ум изначальнее, чем свойства; сам он был человеком со множеством противоречий и представлял себе, что его свойства, когда-либо проявлявшиеся в человечестве, заложены поблизости друг от друга в уме каждого человека, если у него вообще есть ум. Это, может быть, не совсем верно, но то, что мы знаем о возникновении добра и зла, заставляет полагать, что у каждого есть свой внутренний размер, но одежду этого размера он может носить любую, какую ни подкинет судьба. И поэтому то, о чем он только что думал, показалось Ульриху не совсем пустым. Ведь если в ходе времени обыкновенные и неличные мысли сами собой усиливаются, а необыкновенные пропадают, отчего почти каждый автоматически становится все посредственее, то вот и объяснение, почему, несмотря на тысячи возможностей, нам как будто открытых, обыкновенный человек и правда обыкновенен! Объясняется этим и то, что даже

среди привилегированных людей, которые пробиваются и достигают признания, наибольший успех выпадает на долго определенной смеси, состоящей примерно из 51 % глубины и 49 % банальности, а это давно уже казалось Ульриху таким непонятно-нелепым, таким нестерпимо печальным, что он с удовольствием подумал бы об этом еще.

Мешало ему то, что Бонадея все еще не подавала признаков своей готовности; осторожно заглянув в дверь, он увидел, что она прервала одевание. Она находила рассеянность неделикатной, когда дело касалось последних капель сладостной близости; обиженная его молчанием, она ждала, что он сделает. Она взяла книгу, и та оказалась, на счастье, историей искусства с прекрасными иллюстрациями.

Вернувшись к своим мыслям, Ульрих почувствовал, что его раздражает ее ожидание, и впал в смутное нетерпение.

30
Ульрих слышит голоса

И вдруг мысли его сжались, и, словно глядя в образовавшуюся щель, он увидел Кристиана

Моосбругера, плотника, и его судей. На муку и на смех человеку, который думает не так, судья говорил:

«Почему вы вытерли окровавленные руки? Почему выбросили нож? Почему вы после убийства переменили платье и белье? Потому что было воскресенье? Не потому, что они были в крови? Почему вы на следующий вечер пошли на танцы? Преступление, значит, не помешало вам это сделать? Чувствовали ли вы вообще раскаянье?»

В Моосбругере что-то шевелится: старый тюремный опыт, который учит, что надо симулировать раскаянье. От этого шевеленья рот Моосбругера перекашивается, и он говорит:

— Конечно!

— Но в полицейском участке вы сказали: я не чувствую никакого раскаянья, а только исступленную злость и ненависть! — сразу же врубается судья.

— Возможно, — говорит Моосбругер, снова обретая твердость и благородство. — Возможно, что тогда у меня не было других чувств.

— Вы рослый, сильный мужчина, — вторгается прокурор, — как же вы могли бояться этой Хедвиг!

— Господин советник юстиции, — отвечает

Моосбругер, улыбаясь, — она сделалась ласковой. Я представил себе ее еще более жестокой, чем обычно бывают, как я считаю, такие бабы. Верно, я кажусь сильным, да и правда силен…

— То-то и оно, — бурчит себе под нос председатель, листая дело.

— Но в определенных ситуациях, — говорит Моосбругер, — я бываю робок и даже труслив.

Глаза председателя выпархивают из бумаг; как две птицы на ветке, покидают они фразу, на которой только что сидели.

— Когда вы повздорили на стройке с товарищами, вы, однако, нисколько не трусили! — говорит председатель. Одного вы сбросили с третьего этажа, а другим перерезали ножом…

— Господин председательствующий, — кричит Моосбругер дурным голосом, — я и сегодня еще стою на той точке зрения…

Председатель отмахивается.

— Несправедливость, — говорит Моосбругер, — вот в чем основа моей жестокости. Представ перед судом, я наивно думал, что господа судьи и так все узнают. Но меня постигло разочарование!

Лицо судьи давно уже снова уткнулось в бумаги.

Прокурор улыбается и дружелюбно говорит:

— Но ведь эта Хедвиг была совершенно безобидная девушка!

— А мне она не показалась такой! — отвечает Моосбругер все еще раздраженно.

— А мне, — с ударением заключает председатель, — кажется, что вы все время сваливаете вину на других!

— *Так почему же вы пырнули ее*? — дружелюбно начинает прокурор все сначала.

31
На чьей ты стороне?

Было ли это на заседании, на котором Ульрих присутствовал, или он знал это из отчетов, которые прочитал? Он вспомнил сейчас все так живо, словно слышал эти голоса. Он еще никогда в жизни не «слыхал голосов»; но таков он был, бог свидетель. Но когда их слышишь, это опускается на тебя, как покой снегопада. Вдруг возникают стены, от земли до небес; где прежде был воздух, шагаешь через мягкие толстые стены, и все голоса, что прыгали в клетке воздуха с места на место, свободно ходят теперь в сросшихся до самой внутренности белых стенах.

Он, наверно, истомился от работы и скуки;

тогда такое порой случается; но слышать голоса ему вовсе не было неприятно. И вдруг он сказал вполголоса:

— У человека есть вторая родина, где все, что он делает, невинно.

Бонадея возилась с какой-то тесемкой. Она тем временем успела уже войти в его комнату. Разговор не понравился ей, она нашла его неделикатным; фамилию убийцы-маньяка, о котором столько писалось в газетах, она уже давно забыла, и когда Ульрих о нем заговорил, вспомнить его ей удалось лишь с усилием.

— Но если Моосбругер, — сказал он после паузы, — вызывает это тревожное впечатление невинности, то уж подавно ведь вызывает его эта бедная, несчастная, замерзшая особа с мышиными глазками под платком, эта Хедвиг, которая клянчила, чтобы он пустил ее в свою комнату, и потому была им убита?

— Перестань! — потребовала Бонадея и подняла белые плечи. Ибо это направление их разговору Ульрих придал как раз в тот коварно выбранный миг, когда наполовину уже натянутые одежды его обиженной и жаждущей примирения подруги снова образовали на ковре, после того как она вошла в комнату, тот маленький, прелестно-ми-

фологический кратер пены, из которого выходит Афродита. Бонадея была поэтому готова возненавидеть Моосбругера и, рассеянно ужаснувшись, отделаться от его жертвы. Но Ульрих этого не допустил и стал расписывать участь, ожидавшую Моосбругера.

— Два человека наденут петлю ему на шею, не питая к нему решительно никаких злых чувств, только по той причине, что им за это платят. Присутствовать будет какая-нибудь сотня людей, одни потому, что этого требует их служба, другие же — оттого, что каждому хочется раз в жизни увидеть казнь. Торжественный господин в цилиндре, фраке и черных перчатках натянет веревку, и в тот же миг двое его помощников повиснут на ногах Моосбругера, чтобы сломать ему шею. Затем человек в черных перчатках положит руку на сердце Моосбругера и с заботливой миной врача проверит, бьется ли оно еще, и если бьется, то все повторят еще раз, чуть потерпеливее и не столь торжественно. Ты-то за Моосбругера или против него? — спросил Ульрих.

Медленно и мучительно, как человек, разбуженный не вовремя, Бонадея потеряла «настроение» — так называла она свои прелюбодейные желания. Нерешительно придержав на несколь-

ко мгновений сползавшие одежды и открытый корсет, она вынуждена была наконец сесть. Как всякая женщина в подобной ситуации, она твердо уповала на общественный порядок, который так справедлив, что можно, выкинув его из головы, заниматься своими личными делами; теперь, когда ей напомнили об обратном, в ней сразу утвердилась сочувственная солидарность с Моосбругером-жертвой, исключив всякую мысль о Моосбругере-убийце.

— Значит, — заключил Ульрих, — ты всегда за жертву и против преступных действий.

Бонадея выразила естественное чувство, что в такой обстановке такой разговор неуместен.

— Но если ты такая последовательная противница преступных действий, — отвечал Ульрих, вместо того чтобы сразу же извиниться, — как ты оправдываешь свои измены, Бонадея?!

Множественное число особенно было неделикатно! Бонадея промолчала, села с презрительной миной в одно из мягких кресел и оскорбленно стала разглядывать пересечение стены с потолком.

32
Забытая, чрезвычайно важная история с супругой одного майора

Неблагоразумно чувствовать свое родство с явным психопатом, и Ульрих его и не чувствовал. Но почему один эксперт утверждал, что Моосбругер психопат, а другой — что он вовсе не психопат? Откуда взялась у репортеров та ловкая деловитость, с какой они описывали работу его ножа? И какими свойствами вызвал Моосбругер такую же сенсацию и примерно так же потряс половину тех двух миллионов людей, что жили в этом городе, как какая-нибудь семейная ссора или расстроившаяся помолвка; почему здесь его дело воспринималось с огромным личным участием, задевало дремлющие в иное время сферы души, а в провинциальных городах было не столь важной новостью и уж вовсе никого не трогало в Берлине или Бреславле, где время от времени появлялись свои собственные, свои местные Моосбругеры? Эта страшная игра общества с его жертвами занимала Ульриха. Он чувствовал ее повторение в самом себе. У него не было воли

ни для того, чтобы освободить Моосбругера, ни для того, чтобы помочь правосудию, а чувства его взъерошились, как шерсть кишки. Чем-то неведомым Моосбругер касался его больше, чем его, Ульриха, собственная жизнь, жизнь, которую он, Ульрих, вел; Моосбругер волновал его как темное стихотворение, где все немного искажено и смещено и являет какой-то раздробленный, таящийся в глубине души смысл.

«Романтика ужасов!» — возражал он себе. Восхищаться ужасным или недозволенным в узаконенной форме снов и неврозов было, казалось ему, вполне в духе людей буржуазной эпохи. «Либо — либо! — думал он. — Либо ты нравишься мне, либо нет! Либо я защищаю тебя во всей твоей чудовищности, либо я должен высечь себя, потопу что я с ней играю!» И даже холодное, но деятельное сожаление было бы, в конце концов, тоже уместно; уже сегодня можно было бы многое сделать, чтобы предотвратить такие случаи и появление таких фигур, если бы общество само затратило хоть половину тех нравственных усилий, которые оно требует от таких жертв. Но тут выплыла еще и совсем другая сторона, с какой можно было посмотреть на это дело, и удивительные воспоминания поднялись в Ульрихе.

Наше суждение о любом поступке никогда но бывает суждением о той его стороне, которую бог вознаграждает или наказывает; сказал это, как ни странно, Лютер. Вероятно, под влиянием кого-то из тех мистиков, с кем он одно время водился. Сказать это могли бы, конечно, и многие другие верующие. Все они были, в буржуазном смысле, имморалисты. Они отличали грехи от души, которая может остаться, несмотря на грехи, незапятнанной, почти так же, как Макиавелли отличал цель от средства. «Человечного сердца» они были «лишены». «В Христе тоже был внешний и внутренний человек, и все, что он делал в отношении внешних вещей, он делал в ипостаси внешнего человека, а внутренний человек стоял при этом в неподвижной отрешенности», — говорит Эккехарт.[12] Могли в конечном счете такие святые и верующие оправдать в конце концов даже Моосбругера?! Разумеется, человечество шагнуло с тех пор вперед; но если оно и убьет Моосбругера, то все-таки оно еще имеет слабость чтить тех мужей, которые, чего доброго, его оправдали бы.

И тут вслед за волной неприятного чувства на

---

[12] Примечания: 12
Немецкий священник и философ (1260–1328).

память Ульриху пришла одна фраза. Фраза эта гласила: «Душа содомита могла бы пройти сквозь толпу как ни в чем не бывало, и в глазах ее светилась бы прозрачная улыбка ребенка; ибо все зависит от невидимого принципа». Это немногим отличалось от тех первых фраз, но в легкой своей преувеличенности сладковато попахивало испорченностью. И как оказалось, фраза эта была неотделима от определенного пространства, от комнаты с желтыми французскими брошюрами на столах, с портьерами из стекляруса вместо дверей, — и в груди возникало такое чувство, словно запускаешь руку в распахнутую куриную тушку, чтобы вытащить сердце. Ибо эту фразу произнесла Диотима во время его визита. К тому же слова эти принадлежали одному современному писателю, которого Ульрих в юные годы любил, но потом привык считать салонным философом, а фразы, подобные этой, так же невкусны, как хлеб, если на него прольются духи, так что десятки лет ни с чем таким не хочется иметь дела.

Но как ни остро было отвращение, вызванное всем этим у Ульриха, сейчас ему все же показалось позорным, что он так и не возвращался ни разу в жизни к другим, настоящим фразам того таинственного языка. Ведь у него особое,

непосредственное понимание их, вернее сказать близость, которая перескакивала через разумение, но целиком присоединиться к ним он никогда не решился. Они, такие фразы, в которых ему слышалось что-то братское, какая-то мягкая, темная, неведомо в чем состоящая искренность, противоположная повелительному тону математического и научного языка, — такие фразы пребывали среди его занятий, как не связанные друг с другом и редко посещаемые острова; но когда он окидывал их взглядом, насколько это позволяло его знание, ему казалось, что между ними есть связь, словно эти острова, на небольшом расстоянии один от другого, лежали недалеко от берега, который скрывался за ними, или представляли собой остатки материка, погибшего в незапамятные времена. Он почувствовал мягкость моря, тумана и низких черных, спящих в желто-сером свете холмов. Он вспомнил одно маленькое морское путешествие, один побег по правилу «поезжайте куда-нибудь», «переключитесь-ка на другое», — и уже точно знал, какое странное, полное смешного колдовства впечатление раз навсегда оттеснило назад своей пугающей силой все прочие сходные. На один миг сердце двадцатилетнего забилось в его груди, во-

лосатая кожа которой стала толще и огрубела за истекшие годы. Биенье двадцатилетнего сердца в его тридцатидвухлетней груди показалось ему похожим на то, как если бы юноша вдруг непристойно поцеловал мужчину. И все-таки на сей раз он не уклонился от воспоминания. Это было воспоминание о странно кончившейся страсти, которую он в двадцать лет испытал к женщине, значительно старшей, чем он, по возрасту и, главное, по степени ее связанности домом.

Характерно, что он лишь едва помнил ее внешность; застывшая фотография и память о часах, когда он был один и думал о ней, вытеснила непосредственные воспоминания о лице, одежде, движениях и голосе этой женщины. Ее мир стал ему с тех пор настолько чужим, что тот факт, что она была женой майора, показался ему теперь забавно невероятным. «Ну, сейчас-то она уже, наверно, давно жена полковника в отставке и госпожа полковница», — подумал он. В полку рассказывали, что по образованию она артистка, пианистка, но никогда не выступала публично, сначала по воле семьи, а потом, в замужестве, это стало и вообще невозможно. На полковых праздниках она играла действительно прекрасно, с лучистым блеском хорошо позолоченного солн-

ца, парящего над ущельями эмоций, и с самого начала Ульрих влюбился не столько в чувственное присутствие этой женщины, сколько в ее идею. Лейтенант, носивший тогда его фамилию, не отличался робостью; его глаз был уже наметан по части, так сказать, женской мелкоты и даже угадывал, случалось, слегка вытоптанную воровскую тропинку, ведущую к иной порядочной женщине. Но «великая любовь» была для этих двадцатилетних офицеров, если они вообще томились по ней, чем-то другим, это была некая идея: находясь вне пределов их авантюр, она была так бедна практическим опытом, а потому-то как раз и так ослепительна, как могут быть только совсем уж великие идеи. И поэтому когда Ульрих впервые в жизни открыл в себе возможность осуществить эту идею, из этого ничего не вышло; майорше выпала тут роль последнего повода, провоцирующего вспышку болезни. Ульрих заболел любовью. А поскольку настоящая любовная болезнь есть не жажда обладания, а мягкое падение покровов с мира, его нежное самообнажение, ради которого охотно отказываешься от обладания возлюбленной, то лейтенант объяснял майорше мир так непривычно и так терпеливо, что ничего подобного

она еще не встречала. Небесные тела, бактерии, Бальзак и Ницше бурлили в воронке мыслей, острие которой, как она все яснее чувствовала, было направлено на неприличные по тогдашним понятиям различия, разделявшие ее тело и тело лейтенанта. Ее обескуражило это настойчивое связывание любви с вопросами, как она дотоле считала, никакого отношения к любви не имевшими; однажды на верховой прогулке, когда они шли рядом с лошадьми, она на мгновение задержала руку в руке Ульриха и с ужасом заметила, что рука ее как бы вдруг обессилела. В следующую секунду пламя побежало от их запястий к коленям, и молния ударила их, так что они чуть не рухнули на придорожный откос, где, усевшись на мох, они стали страстно целоваться и наконец смутились, потому что любовь была так велика и необыкновенна, что им, к их удивлению, не приходило на ум никаких других слов и действий, кроме обычных при таких объятиях. Забеспокоившиеся лошади высвободили наконец любящих из этой ситуации.

Любовь майорши и слишком юного лейтенанта так и осталась короткой и нереальной. Они оба были изумлены, они еще несколько раз прижимались друг к другу, они чувствовали оба, что

что-то не так, и это тогда не позволило бы им дойти в объятиях до полной телесной близости, даже если бы они избавились от всяких помех одежды и приличий. Майорша не хотела противиться страсти, о которой не знала, что и сказать, но втайне корила себя, думая о муже и о разнице в возрасте, и когда Ульрих однажды, выставив какую-то наспех придуманную причину, сообщил ей, что должен уйти в долгосрочный отпуск, офицерская жена облегченно вздохнула сквозь слезы. А в любви Ульриха не было уже никакого другого желания, кроме того, чтобы из одной лишь любви уйти как можно скорей и как можно дальше от источника этой любви. Он уехал и ехал куда глаза глядят, пока взморье не преградило путь рельсам, затем переправился еще на лодке на ближайший увиденный остров и остался там, в незнакомом, случайном месте, остался, не смущаясь убогим жильем и столом, и в первую же ночь написал первое из серии длинных, так и не отправленных никогда писем к возлюбленной.

Эти по-ночному тихие письма, заполнявшие его ум и днем, он потом потерял; да таково и было, вероятно, их назначение. Вначале он еще много писал в них о своей любви и всякого рода мыслях, ею внушаемых, но вскоре это стало

все больше вытесняться пейзажем. Солнце поднимало его по утрам, и когда рыбаки были в море, а женщины и дети возле домов, он и осел, ощипывавший кусты и мшистые склоны скал между двумя маленькими поселками острова, казались единственными высшими живыми существами на этом рискованно выпятившемся клочке земли. Он подражал своему товарищу и поднимался на какую-нибудь каменную гряду или располагался где-нибудь на кромке острова в обществе моря, скал и неба. Сказано это без всякой претенциозности, ибо разница в размерах пропадала, да, впрочем, и разница между духом, животной и мертвой природой тоже пропадала в таком единении и уменьшались всякого рода различия между вещами. Говоря совершенно трезво, эти различия, конечно, не пропадали и не уменьшались, но они теряли значение, ты не был больше «подчинен никаким установленным людьми разграничениям» — в точности так, как то описывали объятые мистикой любви верующие, о которых юный лейтенант-кавалерист ничего ровным счетом тогда не знал. Он и не задумывался об этих явлениях, — как иной раз, словно охотник, напавший на след дичи, идешь по следам какого-нибудь наблюдения и обдумы-

ваешь его, — он даже, пожалуй, не замечал их, но он вбирал их в себя. Он погружался в пейзаж, хотя это в равной мере было невыразимым парением, и если мир проникал в его глаза, то смысл мира пробивался к нему изнутри беззвучными волнами. Он оказался в сердце мира; от него до далекой возлюбленной расстояние было такое же, как до ближайшего дерева; внутреннее чувство соединяло существа без пространства — подобно тому как во сне два существа могут пройти одно сквозь другое, не смешиваясь, и меняло все их отношения. В остальном же это состояние ничего общего со сном не имело. Оно было ясным и переполнено ясными мыслями; только ничего в нем не направлялось причиной, целью, плотским желанием, а все расширялось кругами, снова и снова, как если бы бесконечная струя вливалась в бассейн с водой. И это-то он и описывал в своих письмах, ничего больше. Это был совершенно изменившийся облик жизни; все, составлявшее этот облик, не находилось в фокусе обычного внимания, теряло резкость контуров и виделось, пожалуй, немного расплывчато и туманно; но из других центров оно явно опять наполнялось нежной определенностью и ясностью, ибо все вопросы и факты жизни приобретали ни с чем

не сравнимую кротость, мягкость, покойность и одновременно совершенно иной смысл. Если, к примеру, мимо руки думавшего проползал жук, то это не было приближением, сближением и удалением и не было человеком и жуком, а было неописуемо трогавшим сердце событием; даже и не событием, а, хоть оно и протекало, состоянием. И с помощью таких тихих открытий все, что вообще составляет обычную жизнь, получало, где бы Ульрих с этим ни сталкивался, совершенно иной смысл. И в этом состоянии любовь его к майорше тоже быстро приняла предопределенный ей облик. Он иногда пытался представить себе эту женщину, о которой не переставал думать, и вообразить, чем занята она сию минуту, в чем ему сильно помогало точное знание ее быта; но как только это удавалось и он видел перед собой возлюбленную, его чувство, ставшее таким ясновидящим, слепло, и он поневоле старался поскорее свести ее образ к блаженной уверенности в существования для него где-то великой возлюбленной. Прошло немного времени, и она вовсе превратилась в безличный энергетический центр, в невидимый генератор его просветлений, и он написал ей последнее письмо, где объяснил, что жизнь ради великой любви не имеет, соб-

ственно, ничего общего с обладанием и желанием «будь моей», относящимися к области накопительства, приобретательства и обжорства. Это было единственное письмо, им отправленное, это, пожалуй, был апогей его любовной болезни, вскоре после которого она вдруг кончилась и прошла.

33
Разрыв с Бонадеей

Бонадея тем временем, устав глядеть в потолок, растянулась плашмя на диване, ее нежный материнский живот дышал в белом батисте, не стесненный корсетом и шнурками; она называла эту позу «собраться с мыслями». Ей подумалось, что ее муж не только судья, но и охотник и порой с блеском в глазах говорит о преследующих дичь мелких хищниках; ей почудилось, что из этого должно последовать что-то благоприятное и для Моосбругера, и для его судей. С другой стороны, однако, ей не хотелось давать мужа в обиду любовнику в чем-либо, кроме любви. Ее семейная честь требовала, чтобы глава дома представал человеком достойным и уважаемым. Поэтому она не пришла ни к какому решению. И пока это

противоречие, как две бесформенно слившиеся стаи туч, тоскливо омрачало ее горизонт, Ульрих наслаждался свободой следования за своими мыслями. Продолжалось это, однако, довольно долго, и поскольку Бонадея так и не придумала ничего, что могло бы повернуть дело, к ней снова вернулась досада на оскорбительную небрежность Ульриха, и время, которое он пропускал, не заглаживая своей вины, стало ее раздражающе тяготить.

— По-твоему, значит, я поступаю нехорошо, когда прихожу к тебе?

Вопрос этот она в конце концов медленно и отчетливо ему задала, с грустью, но не без боевого задора.

Ульрих промолчал и пожал плечами: он давно забыл, о чем она говорила, но нашел ее в эту минуту невыносимой.

— Ты действительно способен упрекать за нашу страсть меня?

— За каждый такой вопрос цепляется столько ответов, сколько пчел в улье, — ответил Ульрих. — Вся душевная неразбериха человечества с его нерешенными вопросами цепляется препротивным образом за каждый в отдельности.

Сказал он, собственно, только то, о чем думал

в этот день уже несколько раз, но Бонадея отнесла душевную неразбериху к себе и нашла, что это уж чересчур. Ей хотелось задернуть опять занавески, чтобы таким образом покончить с этой ссорой, но и зареветь от боли ей хотелось не меньше. И до нее вдруг дошло, что она надоела Ульриху. Благодаря своей природе она до сих пор теряла своих возлюбленных так, как это бывает с каким-нибудь предметом, который откладываешь и теряешь из виду, когда тебя привлекает что-то новое; или, бывало, разрыв с ними приходил так же скоропалительно, как союз, что, при всем личном огорчении, отдавало все-таки вмешательством высшей силы. Поэтому, когда она встретила спокойное сопротивление Ульриха, первым ее чувством было, что она постарела. Ей стало стыдно, что она беспомощно и непристойно лежит на диване и полураздетая сносит всякие оскорбления. Она, не раздумывая, выпрямилась и схватила свою одежду. Но шелестящие шорохи шелковых чаш, в которые она ускальзывала, не побуждали Ульриха к раскаянью. Острая боль бессилия затмила глаза Бонадеи. «Он грубиян, он нарочно меня обидел!» — твердила она себе. «Он не шевелится!» — установила она. И с каждой завязанной ею тесемкой, с каждым застегнутым

крючком она все глубже погружалась в черный, как бездна, колодец давно забытой детской боли — покинутости. Сгущались сумерки: лицо Ульриха виделось как бы в последнем свете, жестокое и грубое, пробивалось оно сквозь мрак горя. «Как я только могла любить это лицо?!» — спрашивала себя Бонадея; но одновременно фраза «Потерян навеки!» судорожно сжимала ей грудь.

Ульрих, догадывавшийся о ее решении не возвращаться, ей не мешал. Бонадея энергичным движением поправила волосы перед зеркалом, затем надела шляпу и опустила вуаль. Теперь, когда вуаль закрыла лицо, все ушло в прошлое; это было торжественно, как смертный приговор или как защелкивается замок чемодана. Он больше не сможет ее целовать и не подозревает, что упускает последнюю возможность!

От жалости она готова была броситься ему на шею и выплакаться.

34
Горячий луч и остывшие стены

Когда Ульрих проводил Бонадею вниз и снова остался один, у него уже не было желания продолжать работу. Он вышел на улицу с намерением

отправить к Вальтеру и Клариссе посыльного с несколькими строчками и сообщить им, что навестит их сегодня вечером. Проходя маленьким валом, он заметил на стене оленьи рога, в них было движение, похожее на то, каким Бонадея перед зеркалом опускала вуаль, только они не улыбались со сморенным видом. Он оглянулся, озирая свое окружение. Все эти линии, округлые, пересекающиеся, прямые, изгибы и сплетения, из которых состоит меблировка квартиры и которые скопились вокруг него, не были ни природой, ни внутренней необходимостью, нет, в них все, до последней мелочи, было полно витиеватой пышности. Ток и сердцебиенье, постоянно пронизывающие все предметы нашего окружения, на миг прекратились. «Я лишь случайна», — ухмыльнулась необходимость; «я не очень-то отличаюсь по виду от лица больного волчанкой, если глядеть на меня без предрассудков», — призналась красота. Ничего особенного для этого, в сущности, не требовалось; слетел лоск, исчезло внушение, ожидание и напряжение ушли, нарушилось на секунду подвижное, тайное равновесие между чувством и миром. Все, что ты чувствуешь и делаешь, идет как-то «в направлении жизни», и малейший отход от этого направления тяжел

или страшен. Это совершенно так же, как при простой ходьбе: поднимаешь центр тяжести, продвигаешь его вперед и опускаешь; но стоит лишь изменить в этом какую-нибудь мелочь, немножко испугаться этой готовности упасть в будущее или хотя бы удивиться ей — и уже невозможно держаться на ногах! Нельзя об этом задумываться. И у Ульриха мелькнула мысль, что во все решающие мгновения его жизни у него бывало чувство, подобное этому.

Он подозвал посыльного и передал ему записку. Было около четырех часов дня, и он решил медленно пройтись пешком. Весенне-осенний день привел его в восторг. Воздух бродил. В лицах людей было что-то от плавающей пены. После однообразного напряжения своих мыслей в последние дни он чувствовал себя перенесенным из темницы в мягкую ванну. Он старался шагать приветливо и раскованно. В натасканном гимнастикой теле столько готовности к движению и борьбе, что сегодня это показалось ему неприятным, как лицо старого комедианта, полное часто играемых ложных страстей. Точно так же стремление к правде наполнило его естество формами движения ума, разложило это естество на хорошо противоборствующие друг другу группы

мыслей и придало ему, строго говоря, ложное и комедиантское выражение, какое принимает все, даже сама искренность, как только делается привычкой. Так думал Ульрих. Он тек как волна сквозь волны-собратья, если так можно сказать; а почему нельзя так сказать, когда наработавшийся в одиночестве человек возвращается в общество и испытывает счастье оттого, что он течет туда же, куда и оно!

В такой миг нет, наверно, ничего более далекого, чем представление, что жизнь, которую они ведут и которая ведет их, затрагивает людей не сильно, не внутренне. Тем не менее каждый знает это, пока он юн. Ульрих вспомнил, как выглядел для него такой день на этих же улицах десяток или полтора десятка лет назад. Тогда все было вдвое великолепнее, и, однако, в этом кипении желаний очень явственным было мучительное предчувствие плена; беспокойное чувство: все, чего я, как мне думается, достигаю, достигает меня; гложущее предощущение, что в этом мире ложные, небрежные и не имеющие личной важности слова отзовутся сильнее, чем самые точные и самые истинные. Эта красота? — думалось тогда, — ну, что ж, превосходно, но разве она моя? Разве истина, которую я узнаю, моя истина?

Цели, голоса, реальность, все то соблазнительное, что манит и направляет, за чем следуешь и во что бросаешься — реальная ли это реальность или от нее виден всего только налет, неуловимо лежащий на предложенной нам реальности?! Готовые разряды и формы жизни — вот что так ощутимо для недоверия, это «все то же», эти созданные уже многими поколениями заготовки, готовый язык не только слов, но и ощущений и чувств. Ульрих остановился перед церковью. Боже мой, если бы здесь в тени сидела исполинская матрона с большим, ступенчато падающим животом, прислонив спину к стенам домов, а наверху, в тысяче складок, на бугорках и пупырышках ее лица, лежал свет заката — разве он с такой же легкостью не мог бы найти красивым и то? Бог мой, ведь как это было красиво! Ты же ведь отнюдь не отмахиваешься от того, что рожден с обязанностью восхищаться этим; но, как сказано уже, не было бы ничего невозможного и в том, чтобы найти красивыми широкие, спокойно свисающие формы и филигрань складок достопочтенной матроны, проще только сказать, что она древняя. А этот переход от признания мира древним к признанию его красивым таков же примерно, как переход от умонастроения мо-

лодых людей к более высокой морали взрослых, которая остается смешным назиданием до тех пор, пока вдруг сам не усвоишь ее, Ульрих стоял перед этой церковью всего несколько секунд, но они разрослись в глубину и сжали его сердце всей мощью инстинктивного первоначального сопротивления этому затвердевшему в миллионы центнеров камня миру, этому застывшему лунному ландшафту чувства, куда ты брошен помимо твоей воли.

Возможно, что большинству людей служит приятной поддержкой тот факт, что они настают мир уже готовым, за вычетом нескольких мелочей личного характера, и не подлежит никакому сомнению, что существующая во всем устойчивость не только консервативна, но и являет собой основу всяких прогрессов и революций, хотя нельзя не сказать и о смутном, но глубоком беспокойстве, испытываемом при этом людьми, живущими на свой риск. Когда Ульрих, с полным пониманием архитектурных тонкостей, рассматривал это священное здание, до его сознания вдруг поразительно живо дошло, что и людей пожирать можно было бы с точно такой же легкостью, как строить или сохранять подобные достопримечательности. Дома по соседству, пото-

лок неба над ними, вообще какое-то невыразимое согласие всех линий и пространств, встречавших и направлявших взгляд, вид и выражение лиц людей, проходивших мимо внизу, их книги и их мораль, деревья на улице… — ведь все это иногда такое же жесткое, как ширма, и такое же твердое, как штамп пресса, и такое — не скажешь иначе — завершенное, такое завершенное и готовое, что рядом с этим ты как ненужный туман, как вытолкнутый при выдохе воздух, до которого богу нет больше дела. В этот миг он пожелал себе быть человеком без свойств. Но совсем иначе не бывает, наверно, вообще ни с кем. В сущности, мало кто в середине жизни помнит, как, собственно, они пришли к самим себе, к своим радостям, к своему мировоззрению, к своей жене, к своему характеру, но у них есть чувство, что теперь изменится уже мало что. Можно даже утверждать, что их обманули, ибо нигде не видно достаточной причины, чтобы все вышло именно так, как вышло; могло выйти и по-другому: ведь события редко определялись ими самими, чаще они зависели от всяческих обстоятельств, от настроения, от жизни, от смерти совсем других людей, а на них как бы только налетали в тот или иной момент. В юности жизнь еще лежала перед

ними, как неистощимое утро, полная, куда ни взгляни, возможностей и пустоты, а уже в полдень вдруг появилось нечто смеющее притязать на то, чтобы быть отныне их жизнью, и в целом это так же удивительно, как если к тебе вдруг явится человек, с которым ты двадцать лет переписывался, не знал его, и ты представлял себе его совершенно иначе. Но куда более странно то, что большинство людей этого вовсе не замечает; они усыновляют явившегося к ним человека, чья жизнь в них вжилась, его былое кажется им теперь выражением их свойств, и его судьба — это их заслуга или беда. Нечто обошлось с ними как липучка с мухой, зацепило волосок, задержало в движении и постепенно обволокло, похоронило под толстой пленкой, которая соответствует их первоначальной форме лишь отдаленно. И лишь смутно вспоминают они уже юность, когда в них было что-то вроде силы противодействия, эта другая сила копошится и ерепенится, она никак не хочет угомониться и вызывает бурю бесцельных попыток бегства; насмешливость юности, ее бунт против существующего, готовность юности ко всему, что героично, к самопожертвованию и преступлению, ее пылкая серьезность и ее непостоянство — все это не что иное, как ее попытки

бегства. Выражают они по сути только то, что ни в одном начинании молодого человека нет внутренней необходимости и бесспорности, хотя и выражают это таким манером, словно все, на что он ни бросится, крайне необходимо и неотложно. Кто-нибудь изобретает какой-нибудь великолепный новый жест, внешний или внутренний… Как это объяснить? Позу, в которой живешь? Форму, в которую внутреннее содержание накачивается, как газ в баллон? Внешнее выражение того, что давит изнутри? Технику бытия? Это могут быть новые усы или новая мысль. Это лицедейство, но, как всякое лицедейство, оно, конечно, имеет смысл — и тут же, как воробьи с крыш, если насыпать им корму, бросаются на это юные души. Нужно только представить себе: если снаружи на язык, руки и глаза давит тяжелый мир, остывшая луна земли — домов, обычаев, картин и книг, а внутри — ничего, кроме никак не укладывающегося тумана, какое же это счастье увидеть чью-то ужимку, в которой, как тебе кажется, ты узнаешь самого себя. Есть ли что-либо естественнее, чем то, что всякий страстный человек овладевает этой новой формой раньше обыкновенных людей?! Она дарит ему мгновение бытия, равновесия между внутренним и внешним на-

пряжением, между тем, что его раздавливает, и тем, что его разрывает. Не на чем другом, — думал Ульрих, и, конечно, все это затрагивало и лично его, он держал руки в карманах, а лицо его выглядело таким тихим и сонносчастливым, словно он умирал сладостной смертью, замерзая в струившихся лучах солнца, — не на чем другом, как этом — думал он, — основан и тот вечный феномен, который называют новым поколением, отцами и детьми, духовным переворотом, переменой стиля, развитием, модой и обновлением. В перпетуум мобиле эту тягу существования к новизне превращает та беда, что между туманным собственным и уже застывшим в чужой панцирь «я» предшественников вставляется опять-таки лишь мнимое «я», лишь приблизительно подходящая групповая душа. И если только немного напрячь внимание, то, наверно, всегда можно увидеть в только что наступившем последнем будущем уже грядущее Старое Время. Новые идеи тогда только на тридцать лет старше, но удовлетворены и обросли жирком или отжили свое, — так рядом с сияющим лицом девочки видишь погасшее лицо ее матери; или же они не имели успеха, зачахли и скрючились и проект реформы, отстаиваемый каким-нибудь старым

болваном, которого пятьдесят его почитателей называют «великий Такой-то».

Он снова остановился, на сей раз на площади, где узнал несколько домов и вспомнил об общественных стычках и идейных волнениях, сопровождавших их строительство. Он подумал о друзьях своей юности; все они были друзьями его юности, знал ли он их лично или только по имени, были ли они одного с ним возраста или старше, бунтари, желавшие создать новые вещи и новых людей, и было ли это здесь или во всех других местах мира, которые он узнал. Теперь эти дома стояли в предвечернем, уже бледневшем свете, как добропорядочные тетушки в старомодных шляпах, мило, неприметно и уж никак не волнующе. Хотелось усмехнуться. Но люди, оставившие эти уже непритязательные реликты, сделались между тем профессорами, знаменитостями и именами, известной частью известного прогрессивного развития, они более или менее коротким путем перешли из туманного в застывшее состояние, и поэтому история когда-нибудь скажет о них по ходу описания их столетия: а жили в то время…

35
Директор Лео Фишель и принцип недостаточного основания

В этот миг Ульриха прервал один знакомый, который неожиданно к нему обратился. Как раз в тот день, открыв утром перед уходом из дому свой портфель, этот знакомый обнаружил в малоупотребительном его отделении, что стало для него неприятным сюрпризом, циркуляр графа Лейнсдорфа, на который давно забыл ответить, потому что его здоровый деловой ум не жаловал исходивших от высших кругов патриотических акций. «Пустое дело», — наверно, сказал он себе тогда; ни в коем случае он не сказал бы этого публично, но его память — так уж устроена память — сыграла с ним злую шутку, подчинившись первой, эмоциональной и неофициальной реакции и небрежно отмахнувшись от этого дела, вместо того чтобы дождаться продуманного решения, и поэтому в письме, когда он снова его открыл, оказалось нечто крайне ему неприятное, чего он раньше вообще не заметил: было это, собственно, только одно выражение, одно словечко, повто-

рявшееся в послании в разных местах, но оно стоило этому статному мужчине с портфелем в руке нескольких минут нерешительности перед уходом, и слово это было «истинный».

Директор Фишель — ибо так он именовался, директор Лео Фишель из Ллойд-банка, всего только, собственно, управляющий со званием директора; Ульрих мог считать себя его младшим другом в прошлом и в последний свой приезд был в довольно дружеских отношениях с его дочерью Гердой, но после возвращения посетил ее всего один раз, — директор Фишель знал его сиятельство как человека, заставляющего свои деньги работать и идущего в ногу со временем, более того, проверяя заметы своей памяти, он «котировал его» — таков деловой термин — как лицо очень важное, ибо Ллойд-банк был одним из тех учреждений, которым граф Лейнсдорф поручал свои биржевые дела. Поэтому Лео Фишель не мог понять небрежности, с какой он отнесся к столь трогательному приглашению его сиятельства, призывавшего избранный круг людей приготовиться к великому совместному труду. Сам он, собственно, вошел в этот круг лишь благодаря особым обстоятельствам, которые будут упомянуты позже, и все это объясняло, почему

он бросился к Ульриху, как только его увидел; он узнал, что Ульрих связан с этим делом, да еще к тому же «играет важную роль» — что было одним из тех непонятных, но нередких утверждений молвы, которые верно передают факты еще до того, как они стали фактами, — и теперь нацелил на него, как трехствольный пистолет, три вопроса — что, собственно, понимает он под «истинной любовью к отечеству», «истинным прогрессом» и «истинной Австрией»?!

Всполошенный, но еще пребывавший в прежнем своем настроении Ульрих ответил в той манере, в какой он всегда разговаривал с Фишелем:

— ПНО.

— Что? — Директор Фишель простодушно повторил это по буквам, не думая на сей раз ни о каких шутках, ибо хотя подобные сокращения тогда еще не были так распространены, как теперь, их знали по картелям и трестам, и они внушали большое доверие. Но потом он все-таки сказал: — Пожалуйста, без шуток; я тороплюсь, у меня совещание.

— Принцип недостаточного основания! — повторил Ульрих. — Вы же философ и, наверно, знаете, что понимают под принципом недоста-

точного основания. Человек делает исключение из этого правила только для самого себя: в нашей реальной, то есть в нашей личной и нашей общественно-исторической жизни всегда происходит то, на что, собственно, нет должного основания.

Лео Фишель поколебался — возразить или нет: директор Лео Фишель из Ллойд-банка любил пофилософствовать, есть еще такие люди на практическом поприще, но он действительно торопился; поэтому он ответил:

— Вы не хотите меня понять. Я знаю, что такое прогресс, я знаю, что такое Австрия, и, наверно, знаю также, что такое любовь к отечеству. Но я, пожалуй, не способен вполне ясно представить себе, что такое истинная любовь к отечеству, истинная Австрия и истинный прогресс. И об этом я вас и спрашиваю!

— Хорошо; знаете ли вы, что такое энзим или что такое катализатор?

Лео Фишель лишь отклоняюще поднял руку.

— Материально это ничего не привносит, но это приводит вещи в движение. Вы должны знать из истории, что никогда не было истинной веры, истинной нравственности и истинной философии; тем не менее развязанные из-за них войны, пакости и козни плодотворно преобразили мир.

— Другой раз! — взмолился Фишель и попытался сыграть в откровенность. — Поймите, мне приходится иметь с этим дело на бирже, и я действительно хочу знать настоящие намерения графа Лейнсдорфа: какую цель преследовал он этим добавлением слова «истинный»?

— Клянусь вам, — ответил Ульрих серьезно, — что ни я, ни кто-либо вообще не знает, что такое истинный, истинная, истинное; но могу вас заверить, — что оно собирается претвориться в действительность!

— Вы циник! — заявил директор Фишель и поспешил прочь, но, сделав шаг, обернулся и поправился: — Как раз недавно я говорил Герде, что из вас вышел бы великолепный дипломат. Надеюсь, вы скоро к нам заглянете.

36
Благодаря названному принципу параллельная акция осязаема еще до того, как становится известно, что же это такое

Директор Лео Фишель из Ллойд-банка, как все директора банков перед войной, верил в прогресс.

Как специалист своего дела, он знал, конечно, что убеждение, на которое ты сам рискнешь поставить, можно иметь только насчет того, в чем ты действительно хорошо разбираешься; невероятное размножение видов деятельности закрывает связанным с ними знаниям доступ к чему-либо другому. Поэтому у дельных и работящих людей нет, кроме как в их самой узкой специальной области, таких убеждений, которыми бы они тотчас не поступились, едва почувствовав нажим извне; впору даже сказать, что они просто по добросовестности вынуждены действовать иначе, чем думают. У директора Фишеля, к примеру, с истинной любовью к отечеству и с истинной Австрией не связывалось вообще никаких представлений, зато насчет истинного прогресса у него было личное мнение, и оно, конечно, отличалось от мнения графа Лейнсдорфа; замученный закладами и векселями или чем там он еще ведал, не зная другого отдыха, кроме как кресло в опере раз в неделю, он верил в общий прогресс, который должен был как-то походить на картину возрастающей прибыли его банка. Но когда граф Лейнсдорф, показывая, что и это он знает лучше, начал давить на совесть Лео Фишеля, тот почувствовал, что «знать никогда не дано» (кроме как

насчет закладов и векселей), а поскольку, хоть знать и не дано, оплошать, с другой стороны, тоже не хочется, он решил спросить невзначай своего генерального директора, что тот думает об этой затее.

Когда он, однако, исполнил свое намерение, генеральный директор успел уже по сходным причинам переговорить об этом с главой Государственного банка и был вполне в курсе дела. Ибо не только генеральный директор Ллойд-банка, но, разумеется, и глава Государственного банка получил приглашение от графа Лейнсдорфа, а Лео Фишель, всего-навсего заведующий отделом, получил приглашение вообще лишь благодаря семейным связям жены, которая была родом из высшей бюрократии и никогда не забывала этого факта, ни в светских своих отношениях, ни в домашних раздорах с Лео. Поэтому, говоря со своим начальником о параллельной акции, он ограничился тем, что многозначительно качал головой, что значило теперь «великое дело», но и «пустое дело» тоже сошло бы; покачивание головой не могло повредить ни при каких обстоятельствах, но из-за своей жены Фишель, пожалуй, обрадовался бы больше, если бы дело оказалось пустым.

Пока, однако, у самого фон Мейер-Баллота, того главы банка, с которым советовался генеральный директор, впечатление было прекрасное. Получив «обращение» графа Лейнсдорфа, он подошел к зеркалу, — хотя, вполне естественно, и не по этой причине, — и оттуда, поверх фрака и орденских ленточек, на него взглянуло благополучное лицо буржуазного министра, лицо, в котором разве что где-то в глубине глаз еще сохранилось что-то от жестокости денег, а пальцы его повисли на руках, как флаги в безветрие, словно им никогда в жизни не приходилось выполнять торопливых счетных движений банковского ученика. Этот финансовый туз, приобретший бюрократический лоск и уже почти ничего общего не имевший с голодными, повсюду рыщущими дикими псами биржевой игры, видел перед собой неопределенные, но хорошо темперированные возможности и уже в тот же вечер имел случай утвердиться в этом ощущении, поговорив в Промышленном клубе с бывшими министрами фон Гольцкопфом и бароном Виснечки.

Оба они были хорошо осведомленными, аристократичными и сдержанными обладателями каких-то высоких постов, на которые их отодвинули, когда снова отпала нужда в том промежу-

точном между двумя политическими кризисами правительстве, куда они входили; это были люди, прожившие жизнь на службе государству и королю и никогда не выступавшие на первый план, кроме как по призыву своего Высочайшего Повелителя. Они знали о слухе, что великая акция будет тонко направлена против Германии. И до, и после провала своей миссии они были убеждены, что огорчительные обстоятельства, уже тогда сделавшие политическую жизнь двуединой монархии очагом заразы для всей Европы, чрезвычайно запутанны. Но точно так же, как до провала, они, получив соответствующий приказ, чувствовали себя обязанными считать эти трудности разрешимыми, они и теперь не исключали, что средствами, которые предлагал граф Лейнсдорф, можно чего-то достигнуть: нет, они чувствовали, что «веха», «блестящее свидетельство жизненной силы», «мощное внешнеполитическое выступление, оказывающее благотворное действие на внутреннюю обстановку», что все эти пожелания сформулированы графом Лейнсдорфом настолько удачно, что не отозваться на них так же немыслимо, как если бы потребовали, чтобы откликнулся каждый, кто желает добра.

Возможно, конечно, что как у людей сведущих и опытных в делах общественных, кое-какие опасения у Гольцкопфа и у Виснечки все-таки были, тем более что можно было предположить, что какая-то роль в дальнейшем развитии этой акции назначена им самим. Но людям, никуда не поднявшимся, легко быть критичными и отклонять что-то, что им не подходит; если твоя гондола жизни вознесла тебя на трехсотметровую высоту, то из нее так просто не вылезешь, даже если ты не со всем согласен. А поскольку в этих кругах бывают действительно лояльны и, в отличие от вышеупомянутой буржуазной толпы, не любят поступать иначе, чем думают, то во многих случаях здесь довольствуются тем, что не задумываются о чем-либо слишком уж глубоко. Вот почему глава банка фон Мейер-Балдот еще более утвердился в своем благоприятном впечатлении от этого дела, выслушав рассуждения обоих сановников: и хотя он лично, да и в силу своей профессии, склонен был к известной осторожности, услышанного было все-таки достаточно, чтобы решить, что это одно из тех дел, при дальнейшем развитии которых надо во что бы то ни стало выжидательно присутствовать.

Между тем параллельной акции тогда, соб-

ственно, еще не существовало, и в чем она будет состоять, не знал еще даже граф Лейнсдорф. Во всяком случае, единственно определенным, что ему к тому времени пришло на ум, был, можно с уверенностью сказать, ряд имен.

Но и это необычайно много. Ведь, значит, уже тогда, не требуя ни от кого никаких конкретных представлений, существовала сеть готовности, охватывавшая большой круг связей; и можно, пожалуй, утверждать, что это правильная последовательность. Ведь сперва надо было изобрести нож и вилку, а уж потом человечество научилось пристойно есть; так выразил эту ситуацию граф Лейнсдорф.

37
Один публицист доставляет изобретением «австрийского года» большие неприятности графу Лейнсдорфу; его сиятельство крайне нуждается в Ульрихе

Хотя граф Лейнсдорф и направил свои призывы, которые должны были «будить мысль», в самые разные стороны, он все-таки не про-

двинулся бы вперед так скоро, если бы один влиятельный публицист, узнавший, что что-то носится в воздухе, быстро не напечатал в своей газете двух больших статей, где как собственную инициативу высказал все, что, по его предположению, сейчас заваривалось. Знал он немного — да и откуда ему было узнать? — но это не было заметно, более того, это как раз и дало обеим его статьям возможность увлечь читателей. Он-то и был изобретателем идеи «австрийский год», о которой он, сам не представляя себе, что под этим имелось в виду, строил все новые и новые фразы, благодаря чему это словосочетание связалось, как во сне, с другими словами, вошло в обиход и вызвало невероятный энтузиазм. Граф Лейнсдорф сначала ужасался, но напрасно. По словосочетанию «австрийский год» можно судить, что такое публицистический гений, ибо открыл эту формулу верный инстинкт. Она заставляла звучать чувства, которые идея австрийского века оставила бы немыми, а уж призыв начать таковой люди разумные сочли бы причудой, просто не заслуживающей серьезного к себе отношения. Почему это так, трудно сказать. Может быть, какая-то неточность и символичность, при которой о реальности думают меньше обычного,

окрыляла не только чувство графа Лейнсдорфа. Ибо неточность обладает возвышающей и увеличительной силой.

Похоже, что добропорядочно-практичный реалист реальность никогда всем сердцем не любит и не принимает. Ребенком он залезает под стол, чтобы этим гениально простым приемом придать комнате родителей, когда их нет дома, необычайный и фантастический вид; мальчиком он мечтает о часах; юношей с золотыми часами о подходящей к ним жене; мужчиной с часами и женой — о высоком положении; и когда он счастливо завершает этот малый круг желаний и спокойно качается в нем, как маятник, похоже, что его запас несбывшихся мечтаний так и не становится хоть сколько-то меньше. Ибо когда он хочет возвыситься, он прибегает к сравнению, символу. Явно по той причине, что снег иногда неприятен ему, он сравнивает его с белеющими женскими грудями, а как только ему наскучат груди его жены, он сравнивает их с белеющим снегом; он пришел бы в ужас, если бы ее губки оказались однажды роговидным голубиным клювом или вставными кораллами, но поэтически это его волнует. Он в состоянии превратить все во все — снег в кожу, кожу в лепестки, лепестки

в сахар, сахар в пудру, а пудру снова в сыплющийся снег, — ибо, кажется, ничего ему так не нужно, как превращать что-либо в то, чем оно не является, а это, пожалуй, доказывает, что, где бы он ни находился, ему нигде долго не выдержать. Но пуще всего не выдерживал внутренне настоящий каканец жизни в Какании. И если бы от него потребовали австрийского века, это показалось бы ему адской мукой, которой только в насмешку можно добровольно подвергнуть себя и мир. Совсем другое дело был австрийский год. Это значило: давайте-ка покажем, кем мы, собственно, можем быть; но, так сказать, временно, до отмены, максимум в течение года. Подразумевать под этим можно было что угодно, речь же не шла о вечности, а сердце от этого согревалось невыразимо. Это пробуждало глубочайшую любовь к отечеству.

Вот как вышло, что граф Лейнсдорф снискал неожиданный успех. Ведь и он первоначально напал на свою идею как на такой символ, но, кроме того, ему пришел на ум ряд имен, и его нравственная природа стремилась выйти из состояния нетвердости; он отчетливо сознавал, что фантазию народа, или, как он сказал теперь одному преданному ему журналисту, фантазию

публики надо направить на цель, которая была бы ясной, здоровой, разумной и согласной с истинными целями человечества и отечества. Журналист этот, подхлестнутый успехом своего коллеги, тотчас же все это накатал, а поскольку перед своим предшественником он обладал тем преимуществом, что узнал это из «первоисточника», то техника его ремесла потребовала, чтобы он крупным шрифтом сослался на эту «информацию, полученную из влиятельных кругов», а этого-то как раз и ждал от него граф Лейнсдорф, ибо его сиятельство считал очень важным для себя быть реалистическим политиком, а не идеологом, и хотел провести тонкую черту между австрийским годом гениального публицистического ума и рассудительностью ответственных кругов. Для этого он воспользовался техникой вообще-то не жалуемого им как образец Бисмарка — выражать истинные намерения устами газетных писак, чтобы иметь возможность в зависимости от обстановки признать эти свои намерения или отречься от них.

Но, действуя так умно, граф Лейнсдорф не учитывал одного. Не только такой человек, как он, видел то истинное что нам нужно, но и несметное множество других людей мнит, что они обладают

истиной. Это можно, пожалуй назвать отвердевшей формой того вышеупомянутого состояния, в котором еще прибегают к сравнениям. Раньше или позже пропадает радость и от них, и тогда многие, в ком застревает толика окончательно неудовлетворенных мечтаний, облюбовывают себе какую-то одну точку, в которую тайно вперяются, словно там начинается мир, недоданный им. Уже вскоре после распространения своей информации через газету его сиятельство, как ему показалось, заметил, что все, у кого нет денег, носят в себе взамен какого-то неприятного сектанта. Этот своенравный человек в человеке ходит с ним по утрам на службу и вообще никаким действенным образом не может протестовать против хода вещей, но зато он всю свою жизнь не отрывает глаз от одной тайной точки, никем другим упорно не замечаемой, хотя там-то явно и начинаются все беды мира, который не узнает своего спасителя. Такими облюбованными точками, где центр тяжести личности совпадает с центром тяжести мира, являются, например, плевательница, запирающаяся простым движением руки, или отмена в ресторанах солонок, в которые лезут ножами, благодаря чему одним махом приостанавливается распространение

бичующего человечество туберкулеза, или введение стенографической системы «Эль», решающей заодно, благодаря беспримерной экономии времени, и социальную проблему, или пропаганда естественного, останавливающего повсеместное опустошение земли образа жизни, но также и какая-нибудь метафизическая теория движения небесных тел, упрощение административного аппарата или какая-нибудь реформа половой жизни. Если обстоятельства благоприятствуют человеку, он ублажает себя тем, что в один прекрасный день пишет книгу о своем пунктике или брошюру или хотя бы газетную статью и этим как бы подшивает к делам человечества протокол своего протеста, что невероятно успокаивает, даже если написанного им никто не читает; но обычно это кого-нибудь да привлекает, и такие люди уверяют автора, что он новый Коперник, после чего представляют ему себя как непонятых Ньютонов. Этот обычай взаимовычесывания пунктиков очень благотворен и распространен, но действует недолго, потому что участники вскоре ссорятся и остаются опять совершенно одни; случается, однако, что тот или иной собирает вокруг себя небольшой круг поклонников, которые единодушно клянут небо за то, что оно не

оказывает достаточной поддержки помазанному своему сыну. И если на такие кучки с пунктиками вдруг упадет луч надежды с заоблачной высоты, как то случилось, когда граф Лейнсдорф позволил публично заявить, что австрийский год, если таковой действительно состоится, хотя последнее еще неизвестно, будет во всяком случае отвечать истинным целям бытия, — если на них вдруг упадет луч надежды, то они воспринимают это как святые, которым посылает видение бог.

Граф Лейнсдорф полагал, что его детище будет мощной демонстрацией, поднимающейся из самой гущи народа. Он думал при этом об университете, о духовенстве, о некоторых именах, всегда фигурировавших в отчетах о благотворительных начинаниях, думал даже о газетах; он принимал в расчет патриотические партии, «здравый смысл» буржуазии, вывешивающей флаги в день рождения кайзера, и поддержку финансовых тузов, принимал он в расчет и политику, втайне надеясь сделать именно ее, благодаря своему великому детищу, излишней, привести к общему знаменателю «отчая земля», который он намеревался позднее разделить на «землю», чтобы единственным итогом остался властитель-отец; но об одном его сиятельство не подумал, и он был

поражен широко распространенной потребностью улучшить мир, которая от тепла великого случая созревает, как яйца насекомых во время пожара. Этого его сиятельство не принял в расчет; он ожидал очень большого патриотизма, но он не был подготовлен к открытиям, теориям, системам мира и людям, требовавшим от него освобождения из духовных тюрем. Они осаждали его дворец, славили параллельную акцию как возможность помочь наконец прорваться правде, и граф Лейнсдорф не знал, что ему с ними делать. Сознавая свое общественное положение, он ведь не мог сесть со всеми этими людьми за один стол, а с другой стороны, как человек высоконравственного ума, не хотел их избегать, и поскольку образование у него было политическое и философское, но отнюдь не естественное и не техническое, он никак не мог разобраться, есть ли в этих предложениях что-то дельное или нет.

В этой ситуации он все сильней тосковал по Ульриху, рекомендованному ему как именно тот человек, в котором он нуждался, ибо его секретарю, да и вообще любому обыкновенному секретарю, такие задачи были, конечно, не по плечу. Один раз, очень уж рассердившись на своего служащего, он даже помолился богу, — хотя

на следующий день устыдился этого, — чтобы Ульрих наконец явился к нему. И когда этого не последовало, его сиятельство сам начал систематические розыски. Он велел заглянуть в адресный справочник, но Ульриха там еще не было. Затем он направился к своей приятельнице Диотиме, которая обычно знала, как быть, и в самом деле, эта восхитительная женщина уже успела поговорить с Ульрихом, но она забыла узнать, где он живет, или сослалась на это, чтобы воспользоваться случаем и предложить его сиятельству другую, куда лучшую кандидатуру на пост секретаря великой акции. Но граф Лейнсдорф был очень взволнован и решительно заявил, что уже привык к Ульриху, что ему не нужен пруссак, хотя бы и пруссак-реформатор, и что он вообще не хочет больше никаких осложнений. Он смутился, когда его приятельница показала ему, что обижена, и тут его осенила самостоятельная мысль; он объявил ей, что тотчас поедет прямо к своему другу, начальнику полиции, который в конце концов может добыть адрес любого подданного.

38

Кларисса и ее демоны

Когда пришло письмо Ульриха, Вальтер и Кларисса снова так бурно играли на рояле, что плясала тонконогая, фабричного производства художественная мебель и дрожали на стенах гравюры Данте Габриэля Россетти. Старику-посыльному, заставшему все двери открытыми и никем не задержанному, ударили в лицо громы и молнии, когда он пробрался к гостиной, и священный гул, в который он уступил, заставил его благоговейно прижаться к стене. Освободила его Кларисса, разрядив наконец двумя мощными ударами неунимавшийся музыкальный восторг. Пока она читала письмо, прерванный поток еще лился, извиваясь, из рук Вальтера; мелодия побежала, дергаясь, как аист, а потом расправила крылья. Кларисса недоверчиво следила за этим, разбирая записку Ульриха.

Когда она сообщила Вальтеру о предстоящем приходе их друга, он сказал: «Жаль!»

Она снова села с ним рядом на вращающийся табурет, и улыбка, которую Вальтер почему-то нашел жестокой, разомкнула ее чувственные с виду губы. Это был тот миг, когда играющие задерживают ток крови, чтобы начать в одном

ритме, и оси глаз торчат у них из голов, как четыре одинаково направленных длинных стержня, а седалищами они напряженно удерживают на месте всегда норовящий качнуться на длинной шее своего винта табурет.

В следующий миг Кларисса и Вальтер уже рвались вперед, как два несущихся рядом локомотива. Пьеса, которую они играли, летела им в глаза, как сверкающие полосы рельсов, исчезала в грохочущей машине и ложилась позади них звенящим, слышимым, никуда каким-то чудом не отступающим ландшафтом. Во время этой неистовой езды все, что чувствовали эти два человека, сжималось воедино; слух, кровь, мышцы безвольно отдавались одному и тому же ощущению; мерцающие, клонящиеся стены звуков направляли их тела в одну колею, сгибали их разом, расширяли и теснили грудь единым вздохом. В одни и те же доли секунды Вальтера и Клариссу пронзали веселье, грусть, злость и страх, любовь и ненависть, желанье и пресыщенье. Это было слияние воедино, похожее на слияние в великом ужасе, когда сотни людей, еще только что во всем различных, одинаково гребут воздух руками, пытаясь убежать, издают одинаковые нелепые крики, одинаково разевают

рты и таращат глаза, когда всех вместе бросает вперед и назад, влево и вправо бессмысленная сила, когда все вместе орут, трепещут, мечутся и дрожат. Но не было у этого слияния той тупой всеподавляющей силы, что есть у жизни, где подобное случается не с такой легкостью, но зато без сопротивления уничтожает все личное. Злость, любовь, счастье, веселье и грусть, которыми на лету проникались Кларисса и Вальтер, не были полными чувствами, а были только чуть большим, чем их взбудораженная до буйства телесная оболочка! Оцепенело и отрешенно сидели они на своих табуретах и не были ли на что злы, ни во что влюблены и ни о чем не грустили или же были злы, влюблены и грустили — каждый на что-то другое, во что-то другое и о чем-то другом, думали о разном и каждый о своем; веление музыки соединяло их в величайшей страсти и в то же время оставляло им что-то отсутствующее, как в насильственном сне под гипнозом.

Каждый из двоих ощущал это по-своему. Вальтер был счастлив и взволнован. Он, как большинство музыкальных людей, принимал эти бури, эти похожие на чувства внутренние волнения, то есть взбаламученную телесную подпочву души за простой, соединяющий всех

людей язык вечности. Он был в восторге оттого, что прижимал к себе Клариссу сильной рукой первозданного чувства. В этот день он пришел со службы домой раньше обычного. Он занимался каталогизацией произведений искусства, которые еще были отмечены печатью великих, цельных времен и излучали таинственную силу воли. Кларисса встретила его приветливо, теперь, в неистовом мире музыки, она была крепко привязана к нему. Все в этот день несло в себе тайную удачу, беззвучный марш, как бывает, когда боги в пути. «Может быть, сегодня как раз этот день?» — думал Вальтер. Он ведь не хотел возвращать себе Клариссу силой, а хотел, чтобы она по глубокому внутреннему пониманию ласково склонилась к нему.

Рояль вколачивал сверкавшие шляпками гвозди нот в стену из воздуха. Хотя по своему происхождению процесс этот был совершенно реален, стены комнаты исчезали, и на их месте поднимались золотые стены музыки, таинственное пространство, где «я» и мир, восприятие и чувство, внутреннее и внешнее смыкаются самым неопределенным образом, хотя само это пространство состоит сплошь из ощутимости, определенности, точности, даже, можно сказать,

из иерархии блеска подчиненных определенному порядку деталей. К этим-то ощутимым деталям и были прикреплены нити чувства, тянувшиеся из клубящегося марева душ; и марево это отражалось в точности стен и казалось ясным себе самому. Как куколки в коконах, висели на этих нитях и лучах души обоих. Чем толще они были закутаны и чем шире расходились лучи, тем больше блаженствовал Вальтер, и мечты его принимали настолько младенческую форму, что он то и дело фальшиво и сентиментально подчеркивал отдельные ноты.

Но до того как это началось и привело к тому, что пробивавшаяся сквозь золотой туман искра обыкновенного чувства восстановила их земное отношение друг к другу, мысли Клариссы по самому роду их были так отличны от его мыслей, как только возможно это у двух человек, бушующих рядом с одинаковыми, словно близнецы, жестами отчаяния и блаженства. В колышущихся туманах возникали картины, сливались, накладывались одна на другую, исчезали: таков был способ Клариссы думать; она думало на свой особый лад; порой было сразу много мыслей одна за другой, порой не было совсем никаких, но тогда чувствовалось, что мысли, как демоны, стоят за сценой,

и временная последовательность ощущений, которая служит другим людям верной опорой, превращалась у Клариссы в пелену, то собиравшуюся плотными складками, то рассеивавшуюся до почти невидимой дымки.

Три человека было на этот раз вокруг Клариссы — Вальтер, Ульрих и убийца женщин Моосбругер.

О Моосбругере ей рассказал Ульрих.

Притягательное и отталкивающее смешались тут в странном очаровании.

Кларисса грызла корень любви. Он раздвоен, с поцелуем и укусом, со сцеплением взглядов и страдальчески отведенными глазами в последний миг. «Неужели полюбовное сосуществование толкает к ненависти? — спрашивала она себя. — Неужели благопристойная жизнь хочет грубости? Неужели мирный покой нуждается в жестокости? Неужели порядок требует, чтобы его растерзали?» Вот это и в то же время не это вызывал Моосбругер. Под гром музыки вокруг нее витал мировой пожар, еще не вспыхнувший мировой пожар; он глодал балки внутри здания. Но это было и как в метафоре, где вещи одинаковы и все-таки совершенно различны, а из несходства сходного и из сходства несходного вырастают два

столба дыма со сказочным ароматом печеных яблок и брошенных и огонь сосновых веток.

«Надо бы играть без конца», — сказала себе Кларисса и, быстро перелистав ноты, начала пьесу сначала, когда та кончилась. Вальтер смущенно улыбнулся и присоединился к ней.

— Какие, собственно, у Ульриха дела с математикой? — спросила она.

Вальтер, продолжая играть, пожал плечами, словно он вел гоночный автомобиль.

«Играть бы и играть до самого конца, — думала Кларисса. — Если бы можно было непрерывно играть до конца жизни, кем был бы тогда Моосбругер? Чем-то ужасным? Идиотом? Черной птицей неба?» Она не знала этого.

Она вообще ничего не знала. Однажды — она могла бы высчитать с точностью до одного дня, когда это случилось, — она пробудилась ото сна детства, и уже сразу готово было убеждение, что она призвана что-то совершить, сыграть особую роль, может быть, даже избрана для чего-то великого. Тогда она еще ничего не знала о мире, и она не верила ничему из того, что ей о нем рассказывали — родители, старший брат: это были громкие слова, вполне милые и вполне прекрасные, но то, что они говорили, нельзя было

сделать своим; просто нельзя было, как не может одно химическое вещество вобрать в себя другое, которое ему не «подходит». Затем появился Вальтер, это и был тот день; с этого дня все стало «подходить». Вальтер носил усики щеточкой; он сказал ей: «фрейлейн»; мир вдруг перестал быть хаотической, неправильной, разломанной плоскостью, он стал сияющим кругом. Вальтер стал средоточием, она стала средоточием, они стали двумя совпадающими средоточиями. Земля, дома, опавшие и неподметенные листья, причиняющие боль воображаемые кратчайшие линии (как мучительнейшие в ее детство, вспоминала она минуты, когда однажды озирала с отцом «пейзаж» и он, живописец, бесконечно долго им восхищался, а ей было только больно глядеть на мир вдоль этих длинных кратчайших линий, как больно было бы провести пальцем по ребру линейки) — из таких вещей состояла жизнь прежде, а теперь она вдруг стала своей, как плоть от ее плоти.

Она знала с тех пор, что совершит что-то титаническое; что именно, она еще не могла сказать, но пока она ощущала это острее всего за музыкой и надеялась в такие минуты, что Вальтер будет даже большим гением, чем Ницше, и уж подавно

— чем Ульрих, который возник позднее и просто подарил ей сочинения Ницше.

С той поры все и пошло. Насколько быстро, сейчас уже нельзя было сказать. Как плохо играла она прежде на пианино, как мало понимала в музыке; теперь она играла лучше, чем Вальтер. А сколько книжек она прочла! Откуда они все взялись? Она представила себе все это в виде черных птиц, вьющихся стаями вокруг девочки, которая стоит на снегу. А немного позднее она увидела черную стену и белые пятна на ней; черным было все, чего она не знала, и хотя белое стекалось в островки и острова, черное оставалось неизменно бесконечным. От этой черноты исходили страх и волнение. «Это дьявол?» — подумала она. «Дьявол стал Моосбругером?» — подумала она. Между белыми пятнами она заметила теперь тонкие серые дорожки; так приходила она в своей жизни от одного к другому; это были события: отъезды, приезды, взволнованные объяснения, борьба с родителями, замужество, дом, неимоверная борьба с Вальтером. Тонкие серые дорожки змеились. «Змеи! — подумала она. — Заманивают!» Эти события обвивали ее, задерживали, не пускали туда, куда ей хотелось, они были скользкими и заставили ее внезапно метнуться к точке, кото-

рой она не желала.

Змеи, заманивающие, засасывающие: так бежала жизнь. Ее мысли побежали, как жизнь. Кончики ее пальцев окунались в водопад музыки. По руслу этого водопада спускались змеи и петли. И тут спасительно, как тихая заводь, открылась тюрьма, где был упрятан Моосбругер. Мысли Клариссы, содрогаясь, вошли в его камеру. «Надо играть и играть до конца!»— повторяла она себе в ободрение, но сердце ее трепетало. Когда она успокоилась, всю камеру заполнило ее «я». Это было чувство приятное, как болеутоляющая мазь, но когда она захотела закрепить его навсегда, оно стало раскрываться и раздвигаться, как сказка или как сон. Моосбругер сидел, подперев рукой — голову, и она, Кларисса, снимала с него оковы. Когда ее пальцы двигались, в камеру входили сила, мужество, добродетель, доброта, красота, богатство, словно вызванный ее пальцами ветер с разных лугов. «Совершенно безразлично, почему я могу это делать, — чувствовала Кларисса, — важно только, что я сейчас это делаю!» Она положила ему на глаза свои руки, часть собственного своего тела, и когда она отняла ладони, Моосбругер уже превратился в прекрасного юношу, а она стояла с ним рядом дивной красоты

женщиной, чье тело было сладким и мягким, как южное вино, и совсем не строптивым, каким тело маленькой Клариссы обычно бывало. «Это наш образ невинности!» — определила она думающим где-то далеко в глубине слоем сознания.

Но почему Вальтер не был таким?! Поднимаясь из глубин музыкального сна, она вспомнила, сколько в ней еще было ребяческого, когда она уже любила Вальтера, тогда, в пятнадцать лет, и хотела мужеством, силой и добротой спасти его от всех опасностей, грозивших его гению. И как было прекрасно, когда Вальтер везде замечал эти глубокие духовные опасности! И она спросила себя, было ли все это только ребячеством. Брак затмил это резким светом. Великое смущение для любви вышло вдруг из этого брака. Хотя этот последний период был, конечно, тоже чудесен, может быть, содержательней и насыщенней, чем предшествующий, все-таки гигантский пожар и сполохи на небе обернулись трудностями никак не разгорающегося очага. Кларисса была не вполне уверена в том, что ее сражения с Вальтером действительно еще величавы. А жизнь бежала, как эта музыка, которая исчезала под руками. Того и гляди, она пройдет. Постепенно Клариссу охватил отчаянный страх.

И в этот миг она заметила, какой неуверенной стала игра Вальтера. Как крупные капли дождя, шлепалось на клавиши его чувство. Она сразу угадала, о чем он думает: ребенок. Она знала, что он хочет привязать ее к себе ребенком. Это был их каждодневный спор. А музыка ни на секунду не останавливалась, музыка не знала никаких «нет». Как сеть, вокруг нее стягивавшаяся, это все опутало ее со страшной быстротой.

Кларисса вскочила среди игры и захлопнула рояль, так что Вальтер едва успел отдернуть пальцы.

О, до чего было больно! Еще не оправившись от страха, он все понял. Приход Ульриха, одно лишь оповещение о нем — вот что привело Клариссу в такое неуравновешенное состояние! Он причинял ей вред, грубо волнуя то, чего Вальтер сам едва осмеливался касаться, пагубную гениальность Клариссы, тайную каверну, где что-то зловещее натягивало цепи, которые когда-нибудь могут не выдержать.

Он не трогался с места и только растерянно смотрел на Клариссу.

А Кларисса не давала никаких объяснений, она просто стояла перед ним и учащенно дышала.

Она вовсе не любит Ульриха, заверила она

Вальтера, когда он заговорил об этом. Если бы она любила его, она бы это сразу сказала. Но она чувствует себя зажженной им, как свеча. Она каждый раз чувствует, что чуть больше светит и значит, когда он близко. А Вальтер всегда хочет только затворить ставни. А что она чувствует, до этого никому нет дела, ни Ульриху, ни Вальтеру!

Но Вальтеру все-таки показалось, что среди злости и негодования, которыми дышали ее слова, на него пахнуло дурманяще-гибельной крупицей чего-то, что не было злостью.

Наступил вечер. Комната была черная. Рояль был черный. Тени двух любивших друг друга людей были черные. Глаза Клариссы светились в темноте, загоревшись, как свечи, а во рту Вальтера, перекошенном болью, эмаль на одном зубе поблескивала, как слоновая кость. Какие бы великие государственные дела ни вершились где-то там в мире, это было, казалось, несмотря на все свои неприятие стороны, одно из тех мгновений, ради которых бог сотворил землю.

39

Человек без свойств состоит из свойств без человека

Однако Ульрих в этот вечер не пришел. После того как директор Фишель поспешно покинул его, он снова занялся вопросом своей юности — почему мир так зловеще благосклонен ко всяким ненастоящим и в высшем смысле неправдивым словам. «На шаг вперед продвигаешься всякий раз именно тогда, когда лжешь, — подумал он. — Надо было мне еще и это сказать ему».

Ульрих был страстным человеком, но под страстью не следует в данном случае подразумевать собирательное обозначение того, что называют страстями. Что-то, правда, было, по-видимому, такое, что вовлекало его в них снова и снова, и это, возможно, была страсть, но в состоянии волнения и даже взволнованных действий его поведение было одновременно страстным и безучастным. Он прошел чуть ли не через все, через что можно пройти, и чувствовал, что и теперь еще всегда готов кинуться во что-то, пусть даже ничего для него не значащее, лишь бы оно пробуждало его инстинкт действия. Поэтому с его стороны не было бы большим преувеличением, если бы он сказал о своей жизни, что все в ней совершалось

так, словно все соответствовало скорее друг другу, чем ему самому. За А всегда следовало Б, будь то в борьбе или в любви. И потому он должен был, верно, считать, что личные свойства, которые он при этом приобретал, соответствовали больше друг другу, чем ему самому, и правда, каждое из них, если он испытывал себя как следует, оказывалось связано с ним не глубже, чем с другими людьми, которые тоже могли обладать им.

Но, несомненно, определяют тебя все-таки они и состоишь ты из них, даже если ты не одно и то же с ними. И порой поэтому ты кажешься себе в спокойном состоянии таким же чужим, как в своем непокое. Если бы Ульриху надо было сказать, каков же он на самом деле, он пришел бы в замешательство, ибо, как и многие, никогда не испытывал себя иным способом, чем на какой-нибудь задаче и в своем отношении к ней. Его чувство собственного достоинства не было ущемлено, оно не было ни изнеженным, ни суетным и не знало потребности в том ремонте и той смазке, которые называют проверкой собственной совести. Был ли он сильным человеком? Этого он не знал; на этот счет он пребывал, может быть, в роковом заблуждении. Но наверняка он всегда был человеком, полагающимся на свою силу. Он

и теперь не сомневался, что эта разница между обладанием собственными опытом и свойствами и чуждостью им есть лишь разница в манере держаться, в каком-то смысле акт воли или некая выбранная ступень между всеобщим и личным, на которой живешь. Говоря совсем просто, к вещам, которые с тобой улучаются или которые ты делаешь, можно относиться более обще или более лично. Какой-нибудь удар можно воспринять не только как боль, но и как обиду, отчего он невыносимо усиливается; но можно посмотреть на него и со спортивной точки зрения, как на препятствие, которого не нужно страшиться и от которого нельзя приходить в слепую ярость, и тогда нередко его вообще не замечаешь. Но в этом втором случае ты просто-напросто отводишь этому удару место в какой-то общей системе, в данном случае в системе боя, а сущность удара зависит от задачи, которую он должен выполнить. И как раз этот феномен — что пережитое получает свое свечение, даже свое содержание лишь в зависимости от своего моста в цепи последовательных действий — демонстрирует каждый, кто смотрит на него, то есть на пережитое не как на событие чисто личное, а как на вызов своим духовным силам. Он тоже слабее ощущает тогда

то, что он делает; но удивительно: то самое, что в боксе считается превосходством духа, называют лишь холодностью и бесчувственностью, когда у людей, боксом не занимающихся, это возникает от интеллектуального подхода к жизни. Есть и всяческие разграничения, чтобы в зависимости от ситуаций проявлять и рекомендовать более общее или более личное отношение к чему-либо. Если убийца действует деловито, это квалифицируется как особая жестокость; если профессор продолжает свои вычисления в объятиях супруги, это толкуется как верх сухости; если политик идет в гору по трупам, это, в зависимости от успеха, именуют подлостью или величием; а от солдат, палачей и хирургов прямо-таки требуют, напротив, как раз этой самой непоколебимости, которую в других осуждают. Незачем пускаться в долгие рассуждения насчет моральной стороны этих примеров — и без того видна ненадежность, с какой каждый раз заключается компромисс между объективно правильным и лично правильным поведением.

Эта ненадежность создавала личному вопросу Ульриха широкий фон. Быть индивидуальностью раньше можно было с более чистой совестью, чем сегодня. Люди походили на колосья в поле:

бог, град, пожары, чума и войны шевелили их, вероятно, сильнее, чем теперь, но совокупно — городами, землями, как ниву, а если, кроме того, для отдельного колоска оставалось еще и какое-то индивидуальное шевеленье, то за него можно было отвечать и оно четко определялось. А сегодня главная тяжесть ответственности лежит не на человеке, а на взаимосвязи вещей. Разве незаметно, что переживания сделались независимы от человека? Они ушли в театр, в книги, в отчеты исследовательских центров и экспедиции, в идеологические и религиозные корпорации, развивающие определенные виды переживаний за счет других, как в социальном эксперименте, и переживания, не находящиеся в данный момент в работе, пребывают просто в пустоте; кто сегодня может еще сказать, что его злость — это действительно его злость, если его настропаляет так много людей и они смыслят больше, чем он? Возник мир свойств — без человека, мир переживаний — без переживающего, и похоже на то, что в идеальном случае человек уже вообще ничего не будет переживать в частном порядке и приятная тяжесть личной ответственности растворится в системе формул возможных значений. Распад антропоцентрического мировоззрения,

которое так долго считало человека центром вселенной, но уже несколько столетий идет на убыль, добрался, видимо, наконец до самого «я»; ибо вера, что в переживании самое важное — это переживать, а в действии — действовать, начинает большинству людей казаться наивной. Вероятно, есть еще люди, живущие совершенно индивидуально, они говорят: «Вчера мы были у того-то и того-то» или «мы делаем сегодня то-то и то-то» и радуются этому, не ища за этим никакого другого значения и содержания. Они любят все, что ни соприкасается с их пальцами, и являют собой частное лицо в столь чистом виде, сколь это возможно; при соприкосновении с ними мир становится чистым миром и светится как радуга. Может быть, они очень счастливы; но эта порода людей обычно уже кажется другим нелепой, хотя еще отнюдь не установлено — почему… И среди этих раздумий Ульрих вдруг должен был с улыбкой признать, что он при всем при том — некий характер, хотя характера у него нет.

40

Человек со всеми свойствами, но они ему безразличны. Князь духа попадает под арест, и параллельная акция получает почетного секретаря

Нетрудно описать в главных чертах этого тридцатидвухлетнего человека по имени Ульрих, даже если он знает о себе только то, что ему одинаково близко и одинаково далеко до всех свойств и что все они, приобрел он их или нет ему каким-то странным образом безразличны. С живостью ума, объясняющейся просто очень разнообразными задатками, у него соединяется и известная агрессивность. Склад ума у него мужской. Он не чувствителен, когда дело касается других людей, и редко вникал в их положение, если не хотел раскусить их для своих целей. Он не уважает права, если не уважает того, кто ими обладает, а это случается редко. Ибо со временем в нем развились известная готовность к отрицанию, гибкая диалектика чувства, легко подбивающая его находить какой-нибудь вред в чем-то, что все одобряют, а что-то запретное, наоборот, защищать и отвергать обязанности с тем раздражением, которое происходит от желания создать себе собственные обязанно-

сти. Но несмотря на это желание, нравственное руководство собой он предоставляет, допуская известные исключения из этого правила, просто тому рыцарскому кодексу приличий, которого в буржуазном обществе держатся почти все мужчины, пока живут в нормальных условиях, и с высокомерием, бесцеремонностью и небрежностью человека, призванного вершить свое дело, ведет жизнь некоего другого человека, находящего своим склонностям и способностям более или менее обычное полезное и рациональное применение. Он привык, по естественному побуждению и без тщеславия, считать себя орудием для какой-то немаловажной цели, узнать которую надеялся еще вовремя, и даже теперь, в этот начавшийся год ищущей чего-то тревоги, после того как он признал, что жизнь его течет без руля и ветрил, у него вскоре опять появилось чувство, что он на верном пути, и он не очень-то утруждал себя своими планами. Не так легко распознать движущую страсть в подобной натуре: задатки и обстоятельства сформировали ее многозначно, судьба ее еще не обнажена никаким действительно твердым противодействием, а главное — для решения еще недостает чего-то неизвестного ей. Ульрих — человек, которого что-то принуждает

жить наперекор себе самому, хотя с виду он живет очень непринужденно.

Сравнение мира с лабораторией вновь пробудило в нем один старый образ. Раньше он часто представлял себе жизнь, какой она нравилась бы ему, подобием опытной станции, где испытываются лучшие способы быть человеком и открываются новые. Что работала вся эта лаборатория довольно непланомерно и что не было тут ни заведующих, ни теоретиков — это был другой вопрос. Можно, пожалуй, сказать, что он сам был не прочь стать чем-то вроде князя и владыки духа — да и кто отказался бы?! Это так естественно, что дух считается самым высоким и надо всем главенствующим. Этому учат. Все, что может, украшает себя духом, прихорашивается. Дух в соединении с чем-то — это самая распространенная вещь на свете. Дух верности, дух любви, мужественный дух, просвещенный дух, величайший среди живущих титан духа, будем свято хранить дух того или иного дела и будем действовать в духе нашего движения — как твердо и безупречно звучит это и на самых низких уровнях. Все остальное, обыденные преступления или кропотливое приобретательство, кажется рядом с этим чем-то таким, в чем стыдно признаться, грязью,

которую бог удаляет из-под ногтей своих ног.

Но если дух оказывается в одиночестве, голым существительным, нагим, как призрак, которому хочется дать напрокат простыню, — что тогда? Можно читать поэтов, изучать философов, покупать картины и ночи напролет дискутировать — но то, что при этом приобретают, разве это дух? Допустим, ты и впрямь приобретаешь его — но разве потом ты им обладаешь? Очень уж прочно связан этот дух со случайной формой своего появления! Через человека, который хочет его вобрать, он проходит насквозь и оставляет лишь чуточку потрясения. Что нам делать со всем этим обилием духа? Он снова и снова производится в поистине астрономических количествах на грудах бумаги, камня, холста и столь же непрестанно, с гигантскими затратами нервной энергии, истребляется и вкушается. Но что происходит с ним потом? Исчезает, как мираж? Распадается на частицы? Не подчиняется земному закону сохранения вещества? Пылинки, оседающие в нас и медленно успокаивающиеся, не идут ни в какое сравнение с этим обилием. Куда он девается, где он, что он такое? Может быть, знай мы об этом побольше, вокруг этого существительного «дух» воцарилась бы гнетущая

тишина?!

Наступил вечер; дома, словно выломанные из пространства, асфальт, стальные рельсы составляли остывшую раковину города, материнскую раковину, полную ребяческого, радостного, злого человеческого движения. Где каждый начинает как капелька, как взбрызг; начинается с маленького взрыва, подхватывается стенами, охлаждается, становится мягче, неподвижнее, нежно лепится к чаше материнской раковины и наконец застывает в крупинку на ее стене. «Почему, — подумал вдруг Ульрих, — я не стал паломником?» Чистое, свободное от всяких условностей житье, изнуряюще свежее, как совсем чистый воздух, представилось ему; кто не хочет принять жизнь, должен бы по крайней мере сказать «нет», как святые. И все же было просто невозможно серьезно об этом подумать. Точно так же не мог бы он стать искателем приключений, хотя тут жизнь сулила что-то вроде непрестанного медового месяца, а его тело и его отвага чувствовали такое желанье. Он не мог стать ни поэтом, ни одним из тех разочарованных, что верят только в деньги да силу, хотя для всего этого у него были задатки. Он забыл свой возраст, он представил себе, что ему двадцать, —

все равно внутренне было так же решено, что никем из всех перечисленных ему не стать; ко всему на свете его что-то влекло, а что-то более сильное не давало ему туда идти. Почему же он жил так смутно и нерешительно? Несомненно, — сказал он себе, — на уединенную и безымянную форму существования обрекала его властная потребность в том умении разрешать и вязать мир, что одним словом, словом, которое неприятно встречать в одиночестве, — называется «дух». И, сам не зная почему, Ульрих вдруг опечалился и подумал: «Я просто не люблю самого себя». Он почувствовал, как в самой глубине замерзшего, окаменевшего тела города бьется его, Ульриха, сердце. Что-то в нем было такое, что нигде не хотело остаться, чувствовало себя скользящим вдоль стен мира и думало: ведь есть же еще миллионы других стен; эта медленно остывающая, смешная капля «я», которая не хотела отдавать свои огонь, свою крошечную частицу жара.

Дух узнал, что благодаря красоте можно стать добрым, плохим, глупым или очаровательным. Он анализирует овцу и кающегося грешника и находит в той и в другом смирение и терпение. Он исследует вещество и выясняет, что в больших дозах оно яд, а в малых — возбуждающее средство.

Он знает, что слизистая оболочка губ родственна слизистой оболочке кишки, но знает также, что смирение этих губ родственно смирению всего святого. Он смешивает, разбирает и складывает по-новому. Добро и зло, верх и низ для него не относительные, полные скепсиса понятия, а члены функции, величины, зависящие от связи, в которой они находятся. Столетия научили его, что пороки могут стать добродетелями, а добродетели пороками, и он считает это просто-напросто неумелостью, если еще не удается в течение одной жизни сделать из преступника полезного человека. Он не признает ничего недозволенного и ничего дозволенного, ибо все может обладать свойством, благодаря которому оно в один прекрасный день получит место в великой, новой системе связей. Он тайно ненавидит, как смерть, все, что притворяется установленным раз навсегда, великие идеалы и законы и их маленький окаменевший слепок — ограниченного человека. Он ничто не считает прочным — никакое «я», никакой порядок; поскольку знания наши меняются с каждым днем, он не верит ни в какие связи, и все обладает той ценностью, какую оно имеет лишь до следующего акта творения, подобно тому как лицо человека, к которому обращена

твоя речь, меняется с каждым твоим словом.

Таким образом, дух — это высокий приспособленец, но сам он неуловим, и впору поверить, что от его воздействия не остается ничего, кроме распада. Всякий прогресс — это выигрыш в чем-то отдельном и разъединение в целом; это прирост силы, переходящий в прогрессирующий прирост бессилия, и от этого никуда не уйти. Ульриху вспомнилось это растущее чуть ли не по часам тело фактов и открытий, из которого должен сегодня вынырнуть дух, если он хочет точно рассмотреть тот или иной вопрос. Плоть эта, вырастая, удаляется от сердцевины. Правда, бесчисленные концепции, мнения, классифицирующие идеи всех широт и времен, всех видов мозгов, здоровых и больных, бодрых и сонных, пронизывают ее как тысячи чувствительных нервных нитей, но центра, где все они сходились бы, нет. Человек чувствует, что ему грозит опасность разделить участь тех исполинских допотопных животных, что погибли из-за своей огромности; но отступиться он не может… Это снова напомнило Ульриху ту довольно сомнительную идею, в которую он долгое время верил и которую даже сегодня еще не совсем искоренил в себе, — что лучше всего миром управлял бы

сенат знающих и передовых людей. Ведь вполне естественно думать, что у человека, который, заболев, обращается к получившим специальное образование врачам, а не к пастухам, нет причин, когда он здоров, обращаться за помощью к сведущим не более, чем пастухи, болтунам, как он это делает в вопросах существенных, и молодые люди, которым важно в жизни действительно существенное, поначалу считают поэтому все на свете, что нельзя назвать ни истинным, ни добрым, ни прекрасным, например финансовые органы были еще ближе к теме, парламентские дебаты, второстепенным; по крайней мере тогда молодые люди так думали, ведь теперь, благодаря политическому и экономическому образованию, они, по слухам, другие. Но и тогда научались с возрастом и после более длительного знакомства с коптильней духа, где мир коптит свое деловое сало, приспособляться к реальности, и окончательное состояние духовно подкованного человека было примерно таково, что он ограничивался своей «специальностью» и на остаток жизни вооружался убеждением, что все должно было бы, пожалуй, быть другим, но нет никакого смысла об этом задумываться. Так примерно выглядит внутреннее равновесие людей, которые

достигают каких-то духовных успехов. И все это вдруг комичным образом предстало Ульриху в виде вопроса, не в том ли в конце концов вся беда — ведь духа-то наверняка хватает на свете, — что сам дух бездуховен?

Ему стало смешно. Он же сам был одним из этих отмахивающихся. Но разочарованное, еще живое честолюбие пронзило его как меч. Два Ульриха шли в этот миг по улице. Один, улыбаясь, озирался и думал: «Вот где я, значит, когда-то хотел сыграть роль, среди таких кулис как эти. В один прекрасный день я проснулся, не уютно, как в колыбельке, а с суровым убеждением, что должен что-то исполнить. Мне подбрасывали реплики, а я чувствовал, что они меня не касаются. Как волнением перед выходом на сцену, все было тогда заполнено моими собственными замыслами и ожиданиями. А площадка тем временем незаметно повернулась, я прошел кусок своего пути и, может быть, уже стою перед выходом. Скоро круг вынесет меня со сцены, а я только и скажу из всей своей великой роли: „Лошади оседланы“. Черт бы вас всех побрал!» Но в то время, как один Ульрих, улыбаясь, шел с этими мыслями сквозь плывший над землей вечер другой сжимал кулаки с болью и злостью; он был менее видимым, и

думал он о том, чтобы найти заклинание, рычаг, за который можно ухватиться, настоящий дух духа, недостающий, маленький, быть может, кусок, который замкнет сломанный круг. Этот второй Ульрих не находил надобных ему слов. Слова скачут, как обезьяны с дерева на дерево, но в той темной области, где прячутся твои корни, ты лишен дружественного посредничества слов. Почва уходила у него из-под ног. Ему трудно было открыть глаза. Может ли чувство выть, как буря, и быть, однако же, вовсе не бурным чувством? Когда говорят о буре чувств, имеют в виду такую бурю, при которой кора человека скрипит, а ветви человека качаются так, словно вот-вот обломятся. Но это была буря при полном спокойствии на поверхности. Не совсем даже состояние изменения, поворота; ни одна черточка в лице не дрогнула, а внутри, кажется, ни один атом не остался на месте. Сознание Ульриха было ясно, но иначе, чем обычно, воспринимался каждый встречный зрением, а каждый звук — слухом. Не то чтобы острее; в сущности, и не глубже, да и помягче, и не то чтобы естественней или неестественней. Ульрих ничего не мог сказать, но в эту минуту он думал о странной вещи «дух» как о любимой, которая всю жизнь тебя

обманывает, но не становится менее любимой, и это соединяло его со всем, что ему встречалось. Ведь когда любишь, то все любовь, даже если это боль и отвращение. Веточка на дереве и бледное оконное стекло в вечернем свете стали глубоко погруженным в его, Ульриха, собственную суть впечатлением, которое едва ли можно было передать словами. Вещи состояли, казалось, не из дерева и камня, а из грандиозной и бесконечно нежной безнравственности, которая в тот миг, когда она с ним соприкасалась, становилась глубоким нравственным потрясением.

Это длилось не долее, чем длится улыбка, и только Ульрих подумал: «Ну, что ж, останусь там, куда меня занесло», как эта напряженность, к несчастью, раскололась о помеху.

То, что произошло теперь, идет и правда совсем из другого мира, чем тот, где Ульрих только что пережил деревья и камень как чувствующее продолжение собственной жизни.

Одна рабочая газета огульно оплевала, как выразился бы граф Лейнсдорф, его Великую Идею, назвав ее всего лишь новой сенсацией для господ, стоящей в этом смысле в одном ряду с последними садистскими убийствами, чем и раззадорила одного рабочего парня, выпившего

несколько больше, чем следует. Он привязался к двум добропорядочным гражданам, довольным сделанными за день делами и, в сознании, что благонамеренность прятаться не должна, весьма громко обсуждавшим свою солидарность с отечественной акцией, о которой они прочли в своей газете. Возникла словесная перепалка, и поскольку близость полицейского ободряла благонамеренных в такой же мер», в какой она дразнила приставшего, спор принимал все более резкие формы. Полицейский следил за ним сперва через плечо, позднее — повернувшись к нему, потом — с близкого расстояния; он наблюдал за ним как выступ железного механизма «государство», оканчивающийся пуговицами и другими металлическими частями. Постоянная жизнь в благоустроенном государстве определенно содержит в себе что-то призрачное; нельзя ни выйти на улицу, ни выпить стакан воды, ни сесть в трамвай, не коснувшись хорошо сбалансированных рычагов гигантского аппарата законов и связей, не приведя их в движение или не позволив им поддерживать покой нашего существования; мы знаем лишь малую часть этих рычагов, уходящих глубоко в механизм и теряющихся другой своей стороной в сети, распутать всю сложность кото-

рой еще не удавалось вообще никому: поэтому их существование не признают, как не признает гражданин государства существования воздуха, утверждая, что он — пустота, но в том-то, видно, и состоит определенная призрачность жизни, что все, чего не признают, все лишенное цвета, запаха и вкуса, веса и морали, как вода, воздух, пространство, деньги и ход времени, на самом-то деле и есть самое важное; человека порой охватывает паника, как в безвольности сна, буйство, когда он мечется, как зверь, попавший в непонятный ему механизм сети. Такое воздействие оказали на рабочего пуговицы полицейского, и страж государства, почувствовав, что его не уважают, как то положено, в этот же миг приступил к аресту.

Прошел таковой не без сопротивления и повторных проявлений мятежного образа мыслей. Пьяному льстил вызванный им переполох, и утаиваемая дотоле полная неприязнь твари к сотвари живой сбросила оковы. Началась страстная борьба за самоутверждение. Высокое чувство собственного «я» спорило с жутковатым чувством неплотного прилегания собственной шкуры. Мир тоже не был прочен; он был чем-то эфемерным, то и дело менявшим форму и облик. Дома стояли

выломанные наискось из пространства; смешным, но родным дурачьем кишели среди них люди. Я призван навести у них порядок, чувствовал пьяный. Вся сцена была заполнена чем-то мерцающим, какой-то отрезок происходившего ясно приближался к нему, но потом стены опять закружились. Оси глаз торчали из головы, как рукоятки, а подошвы удерживали землю на месте. Начался поразительный излив изо рта; изнутри поднимались слова, непонятно как вошедшие туда прежде, возможно, это были ругательства. Так уж точно различить это нельзя было. Наружное и внутреннее свалились друг в друга. Злость была не внутренней злостью, а только взволнованным до неистовства плотским вместилищем злости, и лицо полицейского очень медленно приблизилось к сжатому кулаку, а потом стало; кровоточить.

Но и полицейский тем временем утроился; вместе с подоспевшими сотрудниками службы безопасности сбежались люди, пьяный бросился на землю и стал отбиваться. Тут Ульрих совершил неосторожность. Услышав в толпе слова «оскорбление величества», он заметил, что в таком: состоянии этот человек не способен нанести кому-либо оскорбление и что его нужно

отправить выспаться. Он сказал это невзначай, но напал не на тех. Пьяный закричал, что и Ульрих и его величество пусть катятся к...! — и полицейский, явно приписывая вину за этот рецидив вмешательству постороннего, грубо велел Ульриху уматываться. Тот, однако, не привык смотреть на государство иначе, чем на гостиницу, где обеспечено вежливое обслуживание, и возразил против тона, которым с ним говорили, а это неожиданно навело полицию на мысль, что одного пьяного для трех полицейских маловато, отчего они заодно прихватили и Ульриха.

Пальцы человека в военной форме сжали его руку. Его рука была куда сильнее, чем этот оскорбительный зажим, но он не смел разорвать его, если не хотел вступить в безнадежную драку с вооруженной государственной мощью, так что ему ничего не осталось, как вежливо попросить разрешения следовать добровольно. Караулка находилась в здании полицейского комиссариата, и как только Ульрих вошел туда, от пола и стен на него пахнуло казармой, здесь шла такая же мрачная борьба между упорно вносимой грязью и грубыми дезинфицирующими средствами. Затем он заметил здесь непременный символ гражданской власти, два письменных стола с

балюстрадой, в которой не хватало нескольких балясинок, немудреные ящики с разорванным и прожженным суконным покрытием покоившиеся на очень низких шарообразных ножках и покрытые во времена императора Фердинанда желто-корчневым лаком, уже почти совсем облупившимся. Третьим, что наполняло эту комнату, было железное чувство, что здесь надо ждать, не задавая вопросов. Доложив причину ареста, его полицейский стал рядом с ним как столб, Ульрих попытался сразу же что-то объяснить, унтер, командовавший этой крепостью, поднял один глаз, оторвав его от бланка, который он, когда конвой и арестованные вошли, уже заполнял, осмотрел Ульриха, а затем глаз опять опустился, и чин молча продолжал заполнение бланка. У Ульриха возникло ощущение бесконечности. Затем унтер отстранил от себя бланк, взял с полки какую-то книгу, что-то занес в нее, посыпал сверху песком, положил книгу на место, взял другую, занес, посыпал, извлек какую-то папку из кипы таких же и продолжил свою деятельность уже над ней. У Ульриха создалось впечатление, что разматывается вторая бесконечность, во время которой звезды ходят по своим кругам, а его самого нет на свете.

Открытая дверь вела из канцелярии в коридор, вдоль которого шли камеры. Туда сразу же отвели ульриховского подопечного, и, судя по тому, что больше его не было слышно, его хмель даровал ему благодать сна; но другие жутковатые действия давали о себе знать. Коридор с камерами имел, по всей вероятности, еще одни вход; Ульрих слышал тяжелые шаги входивших и выходивших, хлопанье дверей, приглушенные голоса, и вдруг, когда снова кого-то привели, один такой голос поднялся до высокой ноты, и Ульрих услышал, как он в отчаянье взмолился: «Если в вас есть хоть искорка человеческого чувства, не арестовывайте меня!» Голос упал куда-то, и странно неуместно, почти смехотворно прозвучал этот призыв к чувствам функционера, ведь функции исполняются только по-деловому. Унтер на миг поднял голову, не вполне оторвавшись от своих документов. Ульрих услышал грузное шарканье множества ног, чьи тела явно молча теснили какое-то сопротивляющееся тело. Затем шатнулся только звук двух ног, как после толчка. Затем с силой защелкнулась дверь, звякнула задвижка, сидевший за столом человек в форме снова уже склонил голову, и в воздухе повисло молчание точки, поставленной после фразы там,

где нужно.

Но Ульрих, видимо, ошибся, решив, что сам он еще не сотворен для полицейского космоса, ибо, подняв голову в следующий раз, унтер взглянул на него, написанные только что строчки остались непосыпанными и влажно блестели, и вдруг оказалось, что дело Ульриха давно уже вступило в здешнее официальное бытие. Имя и фамилия? Возраст? Занятие? Местожительство?.. Ульриха допрашивали.

Ему казалось, что он угодил в машину, которая стала расчленять его на безличные, общие составные части еще до того, как вообще зашла речь о его виновности или невиновности. Его имя и фамилия, эти два слова, по содержанию самые бедные, но эмоционально самые богатые слова языка, не говорили здесь ничего. Его работ, снискавших ему уважение в научном мире, который вообще-то считается солидным, в этом, здешнем мире не было вовсе; его ни разу о них не спросили. Его лицо имело значение только как совокупность примет; ему показалось, что никогда раньше он не думал о том, что глаза его были серыми глазами, одной из четырех официально признанных разновидностей глаз, имеющейся в миллионах экземпляров; волосы его были светло-

русыми, рост высоким, лицо овальным, а особых примет у него не было, хотя сам он держался другого мнения на этот счет. По собственному его чувству, он был крупного сложения, у него были широкие плечи, его грудная клетка выпирала, как надутый парус на мачте, а суставы его тела замыкали его мышцы, как узкие стальные звенья, когда он сердился, спорил или когда к нему льнула Бонадея; напротив, он был тонок, хрупок, темен и мягок, как висящая в воде медуза, когда читал книгу, которая его захватывала, или когда на него веяло дыханьем бесприютной великой любви, присутствия которой в мире ему никогда не удавалось понять. Вот почему даже в эту минуту он смог оценить статистическое развенчание своей персоны, и примененный к нему полицией способ измерения и описания воодушевил его, как любовное стихотворение, сочиненное сатаной. Замечательнее всего тут было то, что полиция может не только расчленить человека так, что от него ничего не останется, но что из этих ничтожных составных частей она безошибочно собирает его и по ним узнает. Чтобы совершить это, ей нужно только, чтобы, произошло нечто невесомое, именуемое ею подозрением.

Ульрих вдруг понял, что лишь хладнокровной

находчивостью сможет он выпутаться из этого положения, в которое попал из-за своей глупости. Его продолжали допрашивать. Он представил себе, какое это возымеет действие, если на вопрос о его местожительстве он ответит, что его адрес есть адрес незнакомого ему лица. Или если но вопрос, почему он сделал то, что сделал, заявит, что всегда делает не то, что для него действительно важно. Но во внешней реальности он невозмутимо назвал улицу и номер дома и попытался придумать оправдание своего поведения. Внутренний престиж духа был при этом удручающе бессилен против внешнего престижа унтера. Наконец Ульрих все-таки углядел спасительную лазейку. Отвечая на вопрос о роде занятий — «свободная профессия», — назваться «не состоящим на службе» у него не повернулся язык, он еще чувствовал на себе взгляд, меривший его в точности так, как если бы он сказал: «бездомный»; но когда в ходе допроса зашла речь о его отце и выяснилось, что тот член Верхней палаты, взгляд этот стал другим. Он был все еще недоверчив, но отчего-то у Ульриха появилось такое чувство, с каким человек, которого швыряли взад и вперед морские волны, касается дна большим пальцем ноги. С быстро вернувшимся к нему самооблада-

нием он это использовал. Он мгновенно смягчил все, что уже признал, противопоставил престижу верных присяге и находившихся на посту ушей настойчивое желание, чтобы его допросил сам комиссар, и, когда это вызвало только усмешку, соврал — со счастливой естественностью, походя и в готовности сразу же замять это утверждение, если из него ему скрутят петлю требующего точности вопросительного знака, — что он друг графа Лейнсдорфа и секретарь великой патриотической акции, о которой, наверно, все читали в газетах. Он сразу заметил, что вызвал этим ту более серьезную задумчивость по поводу своей персоны, в какой ему до сих пор отказывали, и закрепил свое преимущество. Следствием было то, что унтер стал глядеть на него со злостью, потому что ни отвечать за дальнейшее задержание этой добычи, ни отпускать ее на волю он не хотел: и поскольку никого из более высоких чиновников на месте в этот час не было, он нашел выход, как нельзя лучше свидетельствовавший о том, что по части решения неприятных вопросов этот простой унтер кое-чему научился у своего начальства. Он сделал важную мину и самым серьезным образом предположил, что Ульрих виновен но только в оскорблении стражей за-

кона и вмешательстве в действия должностных лиц, но как раз ввиду положения, которое он, по его словам, занимает, вероятно, еще и в каких-то невыясненных, может быть, политических махинациях, отчего и должен быть передан политическому отделу управления полиции.

И вот через несколько минут Ульрих ехал сквозь ночь в такси, которое ему позволили взять, а рядом сидел неразговорчивый чин в штатском. Когда они приблизились к управлению, арестованный увидел, что окна второго этажа празднично освещены, ибо, несмотря на позднее время у главного начальника происходило важное заседание дом этот не был темным сараем, а походил на какое-нибудь министерство, и Ульрих дышал уже более привычным воздухом. Вскоре он также заметил, что ночной дежурный, к которому его привели, в два счета распознал глупость, учиненную донесением раздраженного периферийного органа; тем не менее ему показалось чрезвычайно неблагоразумным выпускать из лап закона человека имевшего неосторожность самочинно в них угодить. Чиновник управления, чье лицо тоже носило железную машину, заверил задержанного, что из-за его опрометчивости взять на себя его освобождение крайне трудно.

Арестованный уже дважды выложил все, что так благоприятно подействовало раньше на унтера, но на вышестоящего чиновника это не произвело никакого впечатления, и Ульрих уже счел свое дело проигранным, как вдруг в лице того, в чьих руках он сейчас находился, произошла удивительная, почти счастливая перемена. Он еще раз хорошенько рассмотрел донесение, велел Ульриху еще раз назвать ему свою фамилию, проверил его адрес и, вежливо попросив его немного подождать, вышел из комнаты. Через десять минут он вернулся с видом человека, вспомнившего что-то приятное, и уже необыкновенно вежливо пригласил арестованного последовать за ним. У двери одной из освещенных комнат этажом выше он сказал только «Господин начальник полиции хочет поговорить с вами сам», а в следующий миг Ульрих стоял перед вышедшим из соседнего зала заседаний господином с бакенбардами который был ему уже знаком. Он хотел с мягким упреком объяснить свое появление здесь оплошностью участкового унтера, но начальник полиции опередил его, приветствуя Ульриха словами: «Недоразумение, дорогой доктор, коммиссар мне уже все рассказал. Однако мы должны будем немного вас наказать, поскольку…» При этих

словах он плутовато (если слово «плутовато» вообще применимо к высшему чину полиции) взглянул на Ульриха, словно предоставляя ему самому разрешить эту загадку.

Но Ульрих не сумел ее разрешить.

— Его сиятельство! — помог начальник полиции. — Его сиятельство граф Лейнсдорф, — прибавил он, — всего несколько часов назад справлялся у меня о вас с самым живым интересом.

Ульрих понял только наполовину.

— Вы не значитесь в адресной книге, господин доктор! — объяснил начальник полиции с шутливым упреком, словно только в этом и состояла провинность Ульриха.

Ульрих поклонился, сдержанно улыбаясь.

— Полагаю, что завтра вам надо будет наведаться к его сиятельству по делу большой общественной важности, и не решусь помешать этому, заключив вас в тюрьму.

Так владыка железной машины закончил свою маленькую шутку.

Можно предположить, что и в любом другом случае начальник полиции счел бы арест несправедливостью и что комиссар, случайно вспомнивший связь, в которой несколько часов назад в этом доме впервые прозвучала фамилия

Ульриха, представил бы начальнику дело в точности таким, каким тот должен был увидеть его, чтобы прийти к этому мнению, и, стало быть, в ход вещей никто произвольно не вмешивался. Его сиятельство, кстати сказать, обо всех этих совпадениях так и не узнал. Ульрих почувствовал себя обязанным нанести ему визит на следующий после оскорбления величества день и сразу же стал тогда почетным секретарем великой патриотической акции. Узнай граф Лейнсдорф, как это получилось, он не мог бы сказать ничего, кроме того, что все произошло просто чудом.

41
Рахиль и Диотима

Вскоре после этого у Диотимы состоялось первое большое заседание по поводу отечественной акции.

Столовая рядом с салоном была переоборудована в комнату для совещаний. Обеденный стол, раздвинутый и покрытый зеленым сукном, стоял посередине комнаты. Листы министерской, цвета слоновой кости, бумаги и карандаши разной твердости лежали у каждого места. Буфет вынесли. Углы комнаты были пусты и строги. Стены

были почтительно голые, если не считать повешенного Диотимой портрета его величества и портрета какой-то дамы в корсаже, откуда-то привезенного некогда господином Туцци в бытность его консулом, хотя этот портрет вполне мог сойти за изображение какой-нибудь прародительницы, а Диотима с удовольствием поставила бы еще во главе стола распятие, но начальник отдела Туцци высмеял ее, прежде чем, по соображениям такта, покинул дом.

Ибо параллельная акция должна была начаться совершенно неофициально. Ни министров, ни высоких чиновников не пригласили; отсутствовали и политики; так было задумано; сначала нужно было собрать лишь самоотверженных слуг идеи в самом узком кругу. Ожидались глава Государственного банка, господин фон Гольцкопф и барон Виснечки, несколько дам из высшей аристократии, известные деятели общественной благотворительности и, в соответствии с принципом графа Лейнсдорфа «собственность и образованность», представители высшей школы, артистических объединений, промышленности, крупного землевладения и церкви. Правительственные инстанции поручили представлять себя незаметным молодым чиновникам, под-

ходившим по светским меркам к этому кругу и пользовавшимся доверием своих начальников. Этот состав отвечал желаниям графа Лейнсдорфа, который хоть и помышлял о демонстрации, идущей без принужденья из гущи народа, но после опыта с четырьмя пунктами находил все-таки весьма успокоительным знать, с кем при этом имеешь дело.

Маленькая горничная Рахиль (ее госпожа несколько самовольно перевела это имя на французский и произносила «Рашель») была уже с шести часов утра на ногах. Она раздвинула большой обеденный стол, приставила к нему два ломберных стола, покрыла все зеленым сукном, особенно тщательно вытерла пыль и совершила все эти обременительные манипуляции со светлым восторгом. Накануне вечером Диотима сказала ей: «Завтра, возможно у нас будет твориться мировая история!» — и все тельце Рахили сгорало от счастья жить в доме, где происходили такого рода событие, что очень даже говорило в пользу события, ибо тело Рахили под черным платьицем было прелестно, как мейсенский фарфор.

Рахили было девятнадцать лет, и она верила в чудеса. Она родилась в Галиции, в безобразной лачуге, где на дверном косяке висела полоска бу-

маги с текстом из торы, а в полу были трещины, через которые пробивалась земля. Ее прокляли и выгнали из дому. Лицо матери выражало при этом беспомощность, а сестры и братья испуганно ухмылялись. Она, умоляя, ползала на коленях, и стыд разрывал ей сердце, но ничто ей не помогло. Ее совратил один бессовестный малый, она уже не помнила как. Ей пришлось родить у чужих людей, а потом покинуть родные места. И Рахиль уехала; под грязным деревянным ящиком вагона, в котором она ехала, с нею катилось отчаяние; выплакавшись до пустоты, она увидела перед собой столицу, куда ее погнал какой-то инстинкт, только как огромную огненную стену, на которую ей хотелось броситься, чтобы умереть. Но, диво дивное, эта стена разомкнулась и приняла ее; с тех пор у Рахили всегда было такое чувство, словно она живет внутри золотого пламени. Случай привел ее в дом Диотимы, и та нашла очень естественным убежать из родительского дома в Галиции, если благодаря этому попадаешь к ней. Она рассказывала малышке, когда они сошлись поближе, о знаменитых и высокопоставленных людях, бывавших в доме, где «Рашели» выпала честь им прислуживать; и даже насчет параллельной акции она уже кое-что поведала ей,

потому что это была сущая радость — глядеть на зрачки Рахили, вспыхивающие от каждой новости и похожие на золотые зеркала, которые лучились отражением госпожи.

Ибо хотя маленькую Рахиль и проклял отец из-за какого-то бессовестного парня, она была все-таки девушка порядочная и любила в Диотиме просто-напросто все: мягкие темные волосы, которые ей утром и вечером доводилось расчесывать, платья, которые она помогала ей надевать, китайские лакированные безделушки и разные индийские столики, разбросанные повсюду, книги на иностранных языках, в которых она не понимала ни слова; любила она и господина Туцци, а с недавних пор и набоба, навестившего уже на второй день после своего приезда — она сделала из второго дня первый — ее госпожу; Рахиль глядела на него в передней со светлым восторгом, как на христианского Спасителя, вышедшего из своей золотой раки, и огорчало ее единственно то, что он не взял с собой своего Солимана, чтобы вместе с ним засвидетельствовать почтение ее хозяйке.

Но сегодня, пребывая в соседстве с таким мировым событием, она была убеждена, что произойдет что-то, касающееся и ее самой, и полагала, что

на сей раз Солиман, наверно, прибудет в обществе своего господина, как того Требует торжественность случая. Ожидание это, однако, вовсе не было самым главным, а было только надлежащей завязкой, узлом или интригой, непременными во всех романах, на которых воспиталась Рахиль. Ибо Рахили разрешалось читать романы, брошенные Диотимой, как разрешалось ей перешивать для себя белье, когда Диотима переставала его носить. Рахиль шила и читала с легкостью, это было ее еврейское наследство, но когда в руках у нее оказывался роман, который Диотима называла великим произведением искусства, — а такие Рахиль любила больше всего, — то, конечно, описываемое в нем она воспринимала лишь так, как смотрят на какие-нибудь бурные события с большого расстояния или в чужой стране; ее занимало, даже захватывало непонятное ей движение, но вмешаться в него она не могла, и это-то она больше всего любила. Когда ее посылали за чем-нибудь на улицу или когда в доме бывали важные гости, она точно так же наслаждалась великой и волнующей атмосферой имперского города, не поддающимся пониманию обилием блестящих деталей, к которым она была причастна просто потому, что находилась на

привилегированном месте в их центре. Она вовсе и не хотела понимать это лучше; свое начальное еврейское образование, мудрость, услышанную в родительском доме, она забыла со злости и не нуждалась в них так же, как не нужны цветку ложка и вилка, чтобы питаться соками земли и воздуха.

И вот теперь она еще раз собрала все карандаши и стала осторожно всовывать блестящие их острия в стоявшую в углу стола машинку, которая, если покрутить ее за ручку, строгала дерево с таким совершенством, что при повторении этого процесса уже не отлетало ни волоконца; затем она опять положила карандаши к мягким, как бархат, листам бумаги, к каждому по три разных, думая о том, что совершенная эта машинка, которую ей довелось обслуживать, родом из министерства иностранных дел и императорского дома, ибо оттуда принес ее вчера вечером слуга вместе с карандашами и бумагой. Время между тем подошло к семи; Рахиль быстро окинула генеральским взглядом все мелочи и поспешно вышла из комнаты, чтобы разбудить Диотиму, ибо уже на четверть одиннадцатого было назначено заседание, а Диотима после ухода хозяина осталась еще ненадолго в постели.

Эти утренние часы с Диотимой были особой радостью для Рахили; слово «любовь» тут не годится: скорее подойдет слово «самозабвение», понимать которое нужно так, что человек настолько полон почтительности, что в нем уже не остается места ему самому. После того приключения на родине у Рахили была полуторагодовалая теперь девочка, чьей приемной матери она пунктуально каждые первое воскресенье месяца отдавала большую часть своего жалованья; по тем же дням она и видела свою дочь; но хотя она и не пренебрегала своими материнскими обязанностями, она видела в них только заслуженное в прошлом наказанье, и чувства ее стали снова чувствами девушки, чье невинное тело еще не открыто любовью. Она подошла к постели Диотимы, и с благоговением альпиниста, взирающего на снежную вершину, которая вздымается из утренней темноты в первую голубизну, взгляд ее скользнул по плечу госпожи, прежде чем она коснулась пальцами перламутрово-нежного тепла кожи. Затем она насладилась тонким и сложным благоуханием руки, сонно выпроставшейся из-под одеяла, чтобы дать поцеловать себя, и пахнувшей духами предыдущего дня, но также и испарениями ночного покоя; подала ищущей голой ступне

домашнюю туфлю и поймала пробуждающийся взгляд. Чувственное соприкосновение с этим великолепным женским телом было бы для нее, однако, вовсе не так прекрасно, если бы она не была вся проникнута сознанием нравственной значительности Диотимы.

— Ты поставила для его сиятельства стул с подлокотниками? У моего места серебряный колокольчик? Положила перед местом секретаря двенадцать листов бумаги? И шесть карандашей, Рашель, шесть, а не три, у места секретаря? — сказала Диотима на этот раз. При каждом из этих вопросов Рахиль мысленно еще раз пересчитывала по пальцам все, что она сделала, и от честолюбия пугалась так, словно для нее решался вопрос жизни. Госпожа ее накинула халат и направилась в комнату, где должно было происходить совещание. Ее способ воспитывать «Рашель» состоял в том, что какое бы дело ее горничная ни делала или оставляла несделанным, Диотима напоминала ей, что оно имеет не только личное, но и всеобщее значение. Если Рахиль разбивала стакан, то «Рашель» узнавала, что урон тут сам по себе совершенно ничтожен, но что прозрачное стекло есть символ маленьких повседневных обязанностей, которых глаз почти

не воспринимает, потому что рад устремиться ввысь, но которым именно поэтому следует уделять особое внимание… И при таком церемонно-вежливом отношении у Рахили увлажнялись глаза от раскаянья и счастья, когда она сметала в кучу осколки. Кухарки, от которых Диотима требовала корректности в мыслях и признания собственных ошибок, уже не раз менялись с тех пор, как Рахиль поступила на службу, но Рахиль любила эти дивные фразы всем сердцем, как любила императора, похороны и сверкающие свечи в сумраке католических церквей. От случая к случаю она лгала, чтобы выпутаться из какой-нибудь неприятности, но после этого она казалась себе очень скверной; она, может быть, даже и любила мелкую ложь, потому что благодаря ей чувствовала всю свою скверность по сравнению с Диотимой, но обычно позволяла себе врать только тогда, когда надеялась, что еще сумеет быстренько и тайком превратить ложь в правду.

Когда человек так во всем оглядывается на другого, то случается, что его тело от него прямо-таки улетает и, как маленький метеорит, падает на солнце другого тела. Диотима не нашла ни в чем непорядка и ласково похлопала по плечу свою маленькую служанку; затем она направилась

в ванную и приступила к туалету для великого дня. Когда Рахиль разбавляла воду, вспенивала мыло или вытирала мохнатым полотенцем тело Диотимы с такой смелостью, словно это было ее собственное тело, ей доставляло все это куда больше удовольствия, чем если бы то было и в самом деле всего-навсего ее собственное тело. Оно казалось ей ничтожным и недостойным доверия, о нем она даже и в порядке сравнения совершенно не думала, у нее, когда она дотрагивалась до скульптурной полноты Диотимы, было на душе так, как у рекрута из мужичья, который попал в блестящий красотой полк.

Так была оснащена Диотима для великого дня.

42
Великое заседание

Когда к назначенному часу скакнула последняя минута, появился граф Лейнсдорф в сопровождении Ульриха. Рахиль, уже пылавшая, потому что дотоле непрерывно прибывали гости, которым она отпирала дверь и помогала раздеться, узнала Ульриха сразу же и удовлетворенно приняла к сведению, что и он был не рядовым посетителем, а человеком, приведенным в дом ее госпожи важ-

ными обстоятельствами, как то обнаружилось теперь, когда он прибыл вторично в обществе его сиятельства. Она порхнула к той внутренней двери, которую торжественно отворяла, и примостилась перед замочной скважиной, чтобы узнать, что теперь будет. Скважина была широкая, и Рахиль увидела бритый подбородок главы банка, фиолетовый шейный платок прелата Недоманского, а также золотой темляк генерала Штумма фон Бордвера, делегированного военным министерством, хотя оно, собственно, не было приглашено; тем не менее в письме к графу Лейнсдорфу оно заявило, что не хочет оставаться в стороне от такого «высокопатриотического дела», хотя и не имеет непосредственного касательства к его истокам и его нынешней стадии. Диотима, однако, забыла сообщить это Рахили, а потому та была очень взволнована присутствием на совещании офицера, но пока не могла ничего больше выяснить насчет того, что происходило в комнате.

Диотима тем временем принимала его сиятельство и не оказывала Ульриху особого внимания, ибо представляла присутствующих и первым представила его сиятельству доктора Пауля Аргейма, заявив, что счастливая случайность

привела сюда этого знаменитого друга ее дома и что хотя он, как иностранец, не смеет притязать на участие в заседаниях но всей форме, она просит оставить его как ее личного консультанта, ибо — и тут она присовокупила мягкую угрозу — его большой опыт и контакты в области международной культуры и по части связей этих вопросов с вопросами экономики — неоценимая опора для нее, а заниматься всем этим ей до сих пор приходилось одной, да и в будущем заменить ее удастся, вероятно, не так скоро, хотя она слишком хорошо знает недостаточность своих сил.

Граф Лейнсдорф почувствовал, что его атакуют, и впервые с начала их отношений подивился бестактности своей буржуазной приятельницы. Арнгейм тоже почувствовал смущенье, как суверен, чье прибытие не подготовили подобающим образом, ибо был твердо убежден, что граф Лейнсдорф знает, что его, Арнгейма, пригласили, и это одобрил. Но Диотима, чье лицо в этот миг покраснело и приняло упрямое выражение, не отступила, и, как все женщины, у которых в вопросах супружеской нравственности совесть слишком чиста, она способна была проявить невыносимую женскую настырность, если речь шла о чем— то достопочтенном.

Она уже тогда была влюблена в Арнгейма, успевшего несколько раз у нее побывать, но по неопытности понятия не имела о природе своего чувства. Они обсуждали друг с другом все, что волнует душу, которая облагораживает плоть от пят до корней волос и превращает сумбурные впечатления цивилизованной жизни в гармоническую вибрацию духа. Но и это было уже много, а поскольку Диотима привыкла к осторожности и всю жизнь старалась ни в коем случае не скомпрометировать себя, эта доверительность показалась ей слишком внезапной, и она вынуждена была мобилизовать очень большие чувства, прямо-таки великие, а где найдешь таковые скорее всего? Там, где им все на свете отводят место — в истории. Параллельная акция была для Диотимы и Арнгейма, так сказать, островком безопасности среди усиливавшегося движения их душ друг к другу; в том, что свело их в такой важный момент, они усматривали особую судьбу и ни на йоту не расходились во мнении, что великое отечественное предприятие — это невероятный случай и невероятная ответственность для людей умных. Арнгейм тоже говорил это, хотя ни разу не забывал прибавить, что самое важное тут — сильные, опытные как

в области экономики, так и по части идей люди, а объем организации имеет второстепенное значение. Так параллельная акция неразделимо сплелась у Диотимы с Аргеймом и скудость представлений, связанная поначалу с этим предприятием, уступила место великому их обилию. Ожидание, что заключенное в австрийском духе богатство чувств: может быть усилено прусской дисциплиной мысли, оправдалось самым счастливым образом, и впечатления эти были настолько сильны, что эта корректная женщина оказалась нечувствительной к самоуправству, которое она совершила, пригласив Аргейма на учредительное заседание. Теперь уже поздно было передумывать; но Аргейм, интуитивно понимавший, как тут все связано, находил в этой связи что-то существенно примирительное, хоть и досадовал на положение, в которое его поставили, а его сиятельство был, в сущности, слишком благосклонен к своей приятельнице, чтобы выразить свое удивление резче, чем непроизвольно; он промолчал в ответ на объяснение Диотимы и после маленькой неловкой паузы милостиво протянул руку доктору Аргейму, самым вежливым и самым лестным образом назвав его при этом желанным гостем, каковым тот и был. Из прочих

собравшихся большинство, конечно, заметили эту сценку и если знали, кто такой Арнгейм, то удивлялись его присутствию, но в обществе благовоспитанных людей предполагается, что на все есть свои причины, и считается дурным тоном с любопытством до них доискиваться.

Между тем Диотима вновь обрела свое скульптурное спокойствие, открыла через несколько минут заседание и попросила его сиятельство оказать ее дому честь, взяв на себя обязанности председателя.

Его сиятельство произнес речь. Он уже не один день готовил ее, а характер его мышления был слишком тверд, чтобы он сумел изменить в ней что-либо в последний момент; он смог только смягчить самые явные намеки на прусское игольчатое ружье (коварно опередившее в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году австрийское дульнозарядное).

— Спасло нас, — сказал граф Лейнсдорф, — наше согласие в том, что могучая, идущая из гущи народа демонстрация не может быть отдана на волю случая, а требует прозорливого руководства со стороны инстанции с широким кругозором, то есть сверху. Его величество, наш любимый император и владыка, справит в 1918

году уникальнейший праздник семидесятилетнего благословенного правления — дай бог, в том добром здоровье и с той бодростью сил, какими мы привыкли в нем восхищаться. Мы уверены, что благодарные народы Австрии отметят этот праздник таким способом, который покажет миру не только нашу глубокую любовь, но и тот факт, что австро-венгерская монархия прочно, как скала, сплотилась вокруг своего властителя.

Тут граф Лейнсдорф заколебался, не зная, следует ли саму упомянуть о приметах распада, которому скала эта была подвержена даже при дружном чествовании императора и короля; ведь при этом приходилось считаться с сопротивлением Венгрии, признававшей только короля. Поэтому его сиятельство первоначально хотел говорить о двух скалах, стоявших в тесной сплоченности. Но и это еще не давало его чувству австро-венгерской государственности верного выражения.

Это чувство австро-венгерской государственности строилось настолько странно, что почти напрасный труд — объяснять его тому, кто сам с ним не сталкивался. Состояло оно вовсе не из австрийской и венгерской частей, которые, как следовало бы думать, дополняли друг друга, а из

целого и части, а именно из чувства венгерской и чувства австро-венгерской государственности, и это второе процветало в Австрии, отчего чувство австрийской государственности по сути не имело отечества. Австриец встречался только в Венгрии, да и там как объект неприязни; дома он называл себя подданным представленных в имперском совете королевств и земель австро-венгерской монархии, а это то же самое, что австриец плюс венгр минус этот венгр, и делал он это отнюдь не с восторгом, а в угоду идее, которая была ему противна, ибо он так же терпеть не мог венгров, как венгры его, отчего вся эта взаимосвязь делалась еще запутаннее. Многие называли себя поэтому просто чехом, поляком, словенцем или немцем, а отсюда начинались тот дальнейший распад и те известные «неприятные явления внутриполитического характера», как их называл граф Лейнсдорф, которые, по его словам, были «делом безответственных, незрелых, падких на сенсации элементов», не получивших должного отпора у политически отсталого населения. После этих намеков, о предмете которых с тех пор написано множество компетентных и умных книг, читатель будет рад принять заверение в том, что ни в данном месте, ни ниже не будет предпринято

серьезной попытки нарисовать историческую картину и вступить в состязанье с реальностью. Вполне достаточно замечания, что тайны дуализма (так звучал специальный термин) понять было по меньшей мере так же трудно, как тайны триединства; ведь более или менее везде исторический процесс походит на юридический — с сотнями оговорок, приложений, компромиссов и протестов, и обращать внимание следовало бы только на них. Обыкновенный человек живет и умирает среди них, ни о чем не подозревая, но только себе на благо, ибо, захоти он дать себе отчет в том, в какой процесс, с какими адвокатами, издержками и мотивами он впутался, его бы, наверно, охватила мания преследования в любом государстве. Понимание реальности — дело исключительно историко-политического мыслителя. Для него настоящее время следует за битвой при Мохаче или при Лютцене, как жаркое за супом, он знает все протоколы и обладает в любой момент чувством процессуально обоснованной необходимости; а уж если он, как граф Лейнсдорф, мыслитель-аристократ, прошедший политико-историческую школу, деды, родственники и свойственники которого сами участвовали в предварительных переговорах, то

обозреть результат ему так же легко, как плавно восходящую линию.

Поэтому его сиятельство граф Лейнсдорф сказал себе перед заседанием: «Мы не должны забывать, что великодушное решение его величества даровать народу известное право участия в собственных делах имеет не настолько большую давность, чтобы уже повсюду появилась та политическая зрелость, которая во всех отношениях достойна доверия, великодушно выраженного высочайшей инстанцией. Не следует, стало быть, как недоброжелательная заграница, видеть в вообще-то злосчастных явлениях, всеми, увы, наблюдаемых, признак одряхления: это скорее признак еще незрелой, а потому неистощимой юношеской силы австрийского народа!» Об этом же он хотел напомнить и на заседании, но ввиду присутствия Аргейма сказал не все, что держал в уме, а ограничился намеком на незнание за границей истинной обстановки в Австрии и на переоценку некоторых неприятных явлений. «Ибо, так заключил его сиятельство, — если мы хотим ясно указать на нашу силу и единство, то хотим этого безусловно и в международных интересах, поскольку счастливые отношения внутри европейской семьи государств основаны на вза-

имном респекте и на уважении к силе другого». Затем он только еще раз повторил, что такое стихийное проявление силы должно действительно идти из гущи народа и потому должно быть руководимо сверху, а изыскать соответствующие пути как раз и призвано это собрание. Если вспомнить, что еще недавно графу Лейнсдорфу ничего, кроме ряда имен, не приходило на ум, а извне он получил вдобавок только идею австрийского года, то нельзя не отметить большого прогресса, хотя его сиятельство высказал даже не все, что думал.

После этой речи взяла слово Диотима, чтобы разъяснить намерения председателя. Великая патриотическая акция, заявила она, должна найти великую цель, поднимающуюся, как сказал его сиятельство, из гущи народа. «Собравшись сегодня впервые, мы не чувствуем себя призванными определить эту цель уже сейчас, пока мы только встретились, чтобы создать организацию, которая положит начало подготовке предложений, к этой цели ведущих». Этими словами она открыла дискуссию.

Сперва наступило молчание. Запри в одну клетку птиц разного происхожденья и языка, не знающих, что им предстоит, и они в первый миг будут молчать точно так же.

Наконец попросил слова какой-то профессор. Ульрих его не знал, его сиятельство пригласил этого господина, видимо, в последний момент через своего личного секретаря. Он говорил о пути истории. Если мы поглядим вперед, — сказал он, — перед нами непроницаемая стена! Если поглядим налево и направо — избыток важных событий, но их направление нельзя распознать! Он приведет лишь кое-какие примеры. Нынешний конфликт с Черногорией. Тяжелые бои, которые должны вести в Марокко испанцы. Обструкция, устроенная украинцами в австрийском имперском совете. А если оглянуться назад, то все словно чудом обрело порядок и цель… Поэтому, если ему позволено так сказать: каждый миг мы сталкиваемся: с тайной чудесного промысла. И он приветствует как великую мысль намерение открыть, так сказать, глаза народу, заставить его сознательно взглянуть на Провидение, призвав этот народ по особо высокому поводу… Вот все, что он хотел сказать. Это ведь как в современной педагогике, требующей, чтобы ученик работал сообща с учителем, а не получал готовые результаты.

Собрание с любезным видом окаменело уставилось в зеленое сукно; даже прелат, представ-

лявший архиепископа, сохранял во время этой религиозной самодеятельности такую же вежливо-выжидательную осанку, как министерская братия, не выражая лицом ни малейшего сердечного согласия. Было, казалось, такое чувство, как если бы внезапно на улице кто-то громко и со всеми разом заговорил; все, даже те, кто только что ни о чем не думал, вдруг чувствуют тогда, что они идут по каким-то серьезным, конкретным делам или что улицей кто-то пользуется не так, как положено. Пока профессор говорил, он должен был бороться со смущением, через которое речь его пробивалась так отрывисто и так скромно, словно у него дух захватывало от ветра; теперь же он подождал, ответят ли ему, и не без достоинства убрал со своего лица выражение ожидания.

Для всех было спасением, когда после этого эпизода быстро взял слово представитель императорского казначейства и дал собранию отчет о пожертвованиях, предусматриваемых на юбилейный год личной казной его величества. Он начал с ассигнования средств на строительство церкви для паломничества и учреждения фонда вспомоществования неимущим священникам, затем последовали союзы ветеранов имени эрцгерцога Карла и имени Радецкого, вдовы и

сироты участников походов 66-го и 78-го годов, затем фонд помощи отставным унтер-офицерам и академия наук и так далее; в этих списках не было ничего волнующего, у них были твердая последовательность и привычное место во всех официальных свидетельствах высочайшего благоволения. Как только они были прочитаны, встала некая госпожа Вегхубер, жена фабриканта, дама по части благотворительности очень заслуженная и совершенно не способная представить себе что-либо более важное, чем предметы ее забот, и обратилась к собранию, которое одобрительно ее слушало, с предложением насчет «Великоавстрийской супораздаточной столовой имени Франца-Иосифа». Представитель министерства по делам культов и просвещения заметил только, что и в его ведомстве возникла более или менее сходная инициатива, а именно — издание монументального труда «Император Франц-Иосиф и его время». Но после этого счастливого разбега снова наступило молчанье, и большинство присутствующих почувствовало себя неловко.

Если бы у них, когда они направлялись сюда, спросили, знают ли они, что такое исторические, великие или тому подобные события, они бы,

конечно, ответили утвердительно, но перед лицом напряженного требования изобрести такое событие они постепенно увяли, и в них поднялось что-то вроде ропота самого естественного естества.

В этот опасный момент обладавшая безошибочным тактом Диотима, у которой было приготовлено легкое угощение, прервала заседание.

43
Первая встреча Ульриха с великим человеком. В мировой истории не происходит ничего неразумного, но Диотима выдвигает тезис, что истинная Австрия — это весь мир

В перерыве Арнгейм заметил: чем шире организация, тем сильнее будут различаться предложения. Это — характерная черта нынешнего развития, построенного только на разуме. Но именно поэтому задача огромнейшая — заставить целый народ вспомнить о воле, о вдохновении и о сути, лежащей глубже, чем разум.

Ульрих ответил вопросом, верит ли тот, что из этой акции что-то возникнет.

«Несомненно, — отвечал Аргейм. — Великие события всегда выражают общую ситуацию!» Эта ситуация, продолжал он, сегодня налицо; и самый факт, что такая встреча, как нынешняя, оказалась где-то возможна, доказывает ее глубокую необходимость.

Но тут кое-где трудно провести грань, полагал Ульрих.

— Предположим, композитор, автор последней снискавшей мировой успех оперетты, оказался бы интриганом и объявил себя президентом мира, что при огромной его популярности было бы в пределах возможного. Оказалось бы это скачком в истории или выражением духовной ситуации?

— Это совершенно невозможно! — сказал доктор Аргейм строго. — Такой композитор не может быть ни интриганом, ни политиком; иначе его комическо-музыкальная гениальность была бы немыслима, а в мировой истории не происходит ничего неразумного.

— Но в мире сколько угодно!

— В мировой истории — никогда!

Аргейм явно нервничал. Поблизости стояли, ведя оживленно-тихий разговор, Диотима и граф Лейнсдорф. Его сиятельство теперь все-таки выразил приятельнице свое удивление тем, что

встретил пруссака по этому сугубо австрийскому случаю. Хотя бы только по соображениям такта он считал совершенно недопустимым, чтобы иностранец играл ведущую роль в параллельной акции, а Диотима указывала на выгодное и успокоительное впечатление, которое произведет на заграницу такая свобода от политического своекорыстия. Но теперь она изменила способ борьбы и неожиданно расширила свой план. Она говорила о женском такте как об уверенности чувства, глубоко безразличной к предрассудкам общества. Пусть его сиятельство только послушает этот голос. Арнгейм — европеец, известное во всей Европе светило духа; и как раз потому, что он не австриец, его участие доказывает, что в Австрии дух как таковой у себя дома, и вдруг она выдвинула тезис, что истинная Австрия — это весь мир. Мир, пояснила она, не обретет покоя до тех пор, пока народы не будут жить в нем в высшем единстве так, как живут австрийские племена в своем отечестве. Сверхвеликая Австрия, всемирная Австрия — вот на что навел ее в эту счастливую минуту его сиятельство, вот она, та венчающая идея, которой до сих пор не хватало параллельной акции… Увлеченной повелительницей-пацифисткой стояла прекрасная

Диотима перед своим сиятельным другом. Граф Лейнсдорф еще не решился отказаться от своих доводов, но он снова восхищался пламенным идеализмом и широтой взгляда этой женщины и взвешивал, не выгоднее ли все-таки вовлечь Аргейма в разговор, чем сразу ответить на столь чреватую последствиями инициативу.

Аргейм был неспокоен, потому что чуял этот разговор, не имея возможности как-либо повлиять на него. Его и Ульриха обступили любопытные, которых привлекал к себе этот Крез, и Ульрих как раз сказал:

— Есть тысячи профессий, в которые люди уходят целиком; там весь их ум. Если же потребовать от них чего-то вообще человеческого и общего всем, то остаются, собственно, три вещи — глупость, деньги или, в лучшем случае, слабые воспоминания о религии!

— Совершенно верно, религия! — энергично вставил Аргейм и спросил Ульриха, считает ли тот, что она уже полностью и с корнями исчезла… Он так громко подчеркнул слово «религия», что этого не мог не услышать граф Лейнсдорф.

Его сиятельство в этот момент уже, по-видимому, заключил с Диотимой мировую, ибо теперь, ведомый своей приятельницей, приблизился к

группе, которая тактично рассыпалась, и заговорил с доктором Арнгеймом.

Ульрих вдруг увидел себя в одиночестве и стал кусать губы.

Он начал — бог весть зачем, чтобы убить время или чтобы не чувствовать себя таким заброшенным, — думать о том, как ему ехалось на это собрание. У графа Лейнсдорфа, который взял его с собой, были, как у человека, идущего в ногу со временем, автомобили, но поскольку он одновременно хранил верность традициям, то иногда пользовался парой роскошных гнедых, которых тоже держал вместе с кучером и коляской, и, отдавая распоряжения дворецкому, его сиятельство счел, что на учредительное заседание параллельной акции подобает ехать на таких двух красивых, почти уже исторических тварях. «Это Пепи, а это Ганс», — объяснил по пути граф Лейнсдорф; видны были пляшущие гнедые холмы крупов и временами одна из кивающих голов, которая ритмично поворачивалась в сторону, отчего с морды слетала пена. Трудно было понять, что происходило в животных; было прекрасное утро, и они бежали. Корм и бег — это, может быть, единственные большие лошадиные страсти, если учесть, что Пепи и Ганс были вы-

холощены и знали любовь не как конкретное желание, а лишь как тонкую светящуюся дымку, туманно заволакивавшую порой их образ мира. Страсть корма хранилась в мраморных яслях с лакомым овсяным зерном, в кормушке с зеленым сеном, в звуке трущегося о кольцо недоуздка и сосредоточивалась в квасном запахе теплой конюшни, пряный, густой дух которой пронизывало иглами насыщенное аммиаком чувство самих себя, чувство, что здесь лошади! Несколько иначе, вероятно, обстояло дело с бегом. Тут бедная душа еще связана с табуном, где на жеребца-вожака впереди или вдруг на всех сразу находит откуда-то прыть, и стая несется навстречу солнцу и ветру; ибо когда животное одиноко и все четыре стороны ему открыты, то часто через его череп проходит безумная дрожь, и оно мчится куда глаза глядят, бросается в страшную свободу, которая в любом направлении так же пуста, как в другом, и наконец останавливается в растерянности, и его можно приманить миской овса. Пепи и Ганс были хорошо объезженными лошадьми; они бежали, они били копытами освещенную солнцем, огражденную домами дорогу; люди были для них серой толпой, не распространявшей ни радости ни страха; пест-

рые витрины магазинов, красующиеся яркими красками женщины — несъедобными полосками лугов; шляпы, галстуки, книги, брильянты вдоль улицы — пустыней. Только два успокоительных острова — конюшня и рысь — поднимались из нее, и порой Ганс и Пепи пугались, как во сне или в игре, какой-нибудь тени, теснились к дышлу и, снова взбадриваясь, когда их вытягивали кнутом, благодарно повиновались поводьям.

И вдруг граф Лейнсдорф выпрямился на подушках спросил Ульриха:

— Штальбург рассказывал мне, господин доктор, что вы хлопочете за одного человека?

Ульрих от неожиданности не сразу уловил, о чем идет речь, и Лейнсдорф продолжал:

— Очень хорошо с вашей стороны. Я все знаю. Думаю, что сделать удастся немного, это же ужасный малый; не часто как раз в связи с такими субъектами и проявляет себя то непостижимо личное, взыскующее милости, что несет в себе каждая христианская душа, и если ты сам хочешь сделать что-то великое, ты должен думать о беспомощных с величайшим смирением. Может быть, его можно еще раз подвергнуть медицинскому освидетельствованию.

После того как граф Лейнсдорф, несмотря на

тряску экипажа, произнес эту длинную речь выпрямившись, он снова откинулся на подушки и прибавил:

— Но мы не вправе забывать, что в данный момент все наши силы должны быть отданы событию историческому.

Ульрих испытывал, в сущности, известную симпатию к этому наивному старому аристократу, который все еще беседовал с Диотимой и Арнгеймом, и чуть ли не ревность. Ибо разговор протекал, казалось, очень живо: Диотима улыбалась, граф Лейнсдорф стоял с озадаченным гидом, широко раскрыв глаза, чтобы лучше следить за мыслью, а Арнгейм говорил с благородным спокойствием. Ульрих уловил слова «нести идеи в сферы власти». Он терпеть не мог Арнгейма просто как форму бытия, в принципе, самый тип Арнгейма. Это сочетание ума, делячества, благополучия и начитанности было для него в высшей степени невыносимо. Он был убежден, что Арнгейм уже накануне вечером все рассчитал так, чтобы явиться утром на это заседание не первым и не последним, но что он тем не менее, безусловно, не взглянул на часы перед выходом из дому, а взглянул на них в последний раз, может быть, перед тем, как сел завтракать и выслушал доклад

принесшего почту секретаря: время, имевшееся в его распоряжении, он превратил во внутреннюю деятельность, которую собирался совершить до выхода из дому, и, непринужденно предаваясь затем этой деятельности, был уверен, что она займет ровно столько времени, сколько надо, ибо то, что надо, и его время были связаны таинственной силой, как скульптура и помещение, где она на своем месте, или как копьеметатель и цель, которую тот поражает не глядя. Ульрих уже многое слышал об Арнгейме и кое-что читал из написанного им. В одной из его книг сказано было, что человек, который тщательно рассматривает свой костюм в зеркале, неспособен действовать твердо. Ибо зеркало, созданное первоначально для радости, — так рассуждал он, — стало орудием страха, как часы, являющиеся компенсацией за то, что виды нашей деятельности уже не чередуются естественным образом.

Ульрих должен был отвлечься, чтобы не глазеть самым невежливым образом на соседнюю группу, и глаза его остановились на маленькой горничной, которая скользила между болтавшими группками и, благоговейно поднимая глаза, предлагала напитки. Но маленькая Рахиль его не заметила, она забыла его и даже не подошла

к нему со своим подносом. Она приблизилась к Арнгейму и предложила ему свои напитки как богу; она бы с радостью поцеловала его коротко-палую, спокойную руку, когда та брала лимонад и рассеянно держала стакан, ибо набоб пить не стал. После этой кульминации она выполняла свои обязанности как запутавшийся маленький автомат, спеша убраться из комнаты мировой истории, где все было заполнено ногами и разговорами, снова в переднюю.

44
Продолжение и конец великого заседания. Ульрих находит приятность в Рахили, Рахиль — в Солимане. Параллельная акция получает твердую организационную форму

Ульрих любил девушек этого рода, честолюбивых, строгого поведения и похожих в своей благовоспитанной робости на фруктовые деревца, чья сладкая спелость упадет когда-нибудь в рот какому-нибудь молодому бездельнику, если он соизволит разомкнуть губы. «Они, наверно, храбры и закалены, как женщины каменно-

го века, которые ночью делили ложе, а днем в походе носили оружие и утварь своего воина», — подумал он, хотя сам, кроме как в далекую первобытную пору пробуждавшейся мужественности, никогда не ходил по таким военным тропам. Он со вздохом сел на свое место, ибо совещание возобновилось.

Ему вдруг подумалось, что черно-белая одежда, в которую облачают этих девушек, тех же цветов, что одежда монахинь; он впервые это заметил и удивился этому. Но вот уже держала речь божественная Диотима; она говорила: вершиной параллельной акции должен быть некий великий знак. То есть не всякая отовсюду видная цель, пусть даже самая патриотическая, приемлема для нее нет, цель эта должна захватывать сердце мира. Она не смеет быть только практической, она должна быть поэзией. Она должна быть вехой. Она должна быть зеркалом взглянув в которое мир покраснел бы. Не только покраснел бы, но и, как в сказке, увидел бы истинное свое лицо и не мог бы уже забыть его. Его сиятельство выдвинул вдохновляющую идею: «император-миротворец».

В свете сказанного, продолжала она, нельзя не признать, что рассмотренные до сих пор

предложения не отвечают этому требованию. Когда она в первой части заседания говорила о символах, она имела в виду, конечно, не супораздаточные столовые; нет, речь идет не о меньшем, чем об обретении заново человеческого единства, утраченного из-за того, что так разошлись человеческие интересы. Тут, правда, напрашивается вопрос, способны ли вообще наше время и нынешние народы выработать такие великие общие идеи. Ведь все сделанные предложения превосходны, но они тянут в разные стороны, из чего уже видно, что ни одно из них не обладает той объединяющей силой, которая так нужна!

Ульрих наблюдал за Арнгеймом во время речи Диотимы. Неприятны в нем были не какие-то детали внешности, а просто-напросто все. Хотя детали эти — по-финикийски крепкий череп купца-хозяина, острое, но как бы вылепленное из слишком малого количества материала и потому плоское лицо, спокойствие английского покроя фигуры и, во втором месте, где человек выглядывает из костюма, руки с коротковатыми пальцами, — детали эти были достаточно примечательны. Раздражала Ульриха хорошая соразмеренность во всем. Этой уверенностью обладали и арнгеймовские книги; мир оказывал-

ся в порядке, когда рассматривал его Арнгейм. В Ульрихе пробуждалось достойное уличного мальчишки желание забросать этого человека, выросшего среди совершенства и богатства, камнями и мусором, когда он смотрел, с каким напускным вниманием наблюдает тот за дурацкой процедурой, при которой им довелось присутствовать; он смаковал ее поистине как знаток, чье лицо выражает: не хочу преувеличивать, на это вино действительно благороднейшее!

Диотима между тем кончила. Сразу после перерыва, когда они снова расселись по местам, по лицам всех присутствующих было видно, что теперь какой-то результат будет найден. Никто в промежутке об этом не думал, но все приняли такую позу, в какой ожидают чего-то важного. И вот Диотима заключила: если, стало быть, напрашивается вопрос, способно ли вообще наше время выработать великие общие идеи, то можно и даже нужно добавить: способно ли оно выработать спасительную силу! Ибо дело идет о спасении. О спасительном подъеме. Коротко говоря; хотя его и нельзя еще точно представить себе, Он должен прийти из всего в совокупности, или он вообще не придет. Поэтому, посоветовавшись с его сиятельством, она позволяет себе заключить

сегодняшнее заседание следующим предложением. Его сиятельство справедливо заметил, что высокие ведомства уже, собственно, олицетворяют собой разделение мира по таким его главным аспектам, как религия и просвещение, торговля, промышленность, право и так далее. Если поэтому будет решено учредить комитеты, каждый из которых возглавит уполномоченный этих правительственных инстанций, а в помощь ему изберут представителей соответствующих корпораций и слоев населения, то создастся структура, которая уже содержит в систематизированном виде главные нравственные силы мира и через которую они будут вливаться и фильтроваться. Окончательное обобщение последует затем в главном комитете, и эту структуру нужно лишь дополнить кое-какими особыми комитетами и подкомитетами, например, комиссией по пропаганде, по изысканию денежных средств и тому подобными, причем она лично хотела бы оставить за собой образование интеллектуального комитета для дальнейшей обработки основополагающих идей, разумеется, в согласии со всеми другими комитетами.

Снова все промолчали, но на этот раз облегченно. Граф Лейнсдорф несколько раз кивнул

головой. Кто-то для большей ясности спросил, как войдет в акцию, задуманную изложенным образом, специфически австрийский элемент.

Для ответа поднялся генерал Штумм фон Бордвер, хотя до него все ораторы говорили сидя. Он отлично знает, сказал он, что в совете солдату принадлежит скромная роль. Если он тем не менее берет слово, то не для того, чтобы вмешиваться в превосходную критику поступивших до сих пор предложений, которые все были бесподобны. Однако он хотел бы под конец представить на доброжелательное рассмотрение следующую мысль. Планируемая акция должна оказать воздействие за рубежом. А все, что оказывает воздействие за рубежом, есть мощь народа. Да и положение в европейской семье государств, как сказал его сиятельство, таково, что подобная демонстрация была бы наверняка не бесполезна. В конце концов идея государства есть идея мощи, как говорит Трейчке; государство — это мощь, нужная для того, чтобы уцелеть в борьбе народов. Он только бередит всем известную рану, на поминая о неудовлетворительном состоянии, в котором из-за безучастности парламента находятся развитие нашей артиллерии и развитие военно-морского флота. Он просит поэтому, если

не будет найдено другой цели, что пока неясно, учесть, что широкое, всенародное участие в делах армии и ее вооружения было бы очень достойной целью. Si vis pacern, para bellum![13]

Сила, демонстрируемая в мирное время, отдаляет войну или, по крайней мере, сокращает ее. Он может, стало быть, поручиться, что такое мероприятие примиряюще воздействует на народы и явится выразительной демонстрацией стремления к миру.

Сейчас в комнате происходило что-то странное. Поначалу у большинства присутствующих было такое впечатление, что эта речь не соответствует действительной задаче их встречи, но по мере того как генерал распространялся акустически все дальше и дальше, это все больше звучало как успокоительный походный шаг хорошо построенных батальонов. Первоначальный смысл параллельной акции — «лучше, чем Пруссия» — выплывал тихонько, словно где-то вдали полковой оркестр наигрывал марш принца Евгения, который пошел на турок, или «Храни, боже...». Впрочем, если бы сейчас его сиятельство, чего он вовсе не собирался делать, встал,

---

[13] Примечания: 13
Если, хочешь мира, готовься к войне! (лат.).

чтобы предложить поставить во главе полкового оркестра прусского брата Арнгейма, то в том неопределенно-приподнятом состоянии, в каком все находились, они подумали бы, что слышат «Славься в венце побед»,[14] и вряд ли могли бы против этого возразить.

У замочной скважины «Рашель» сигнализировала: «Заговорили о войне!»

В конце перерыва она устремилась назад в переднюю отчасти и потому, что на этот раз Арнгейм в самом деле притащил с собой своего Солимана. Погода ухудшилась, и маленький мавр последовал за своим господином с пальто. Он скорчил дерзкую гримасу, когда Рахиль отворила ему, ибо был испорченным юным берлинцем, которого женщины избаловали так, что он еще не знал, как ему вести себя с ними. А Рахиль подумала, что говорить с ним надо по-мавритански, и ей просто не пришло в голову попробовать по-немецки; поскольку объясниться ей было необходимо, она просто положила руку на плечо этому шестнадцатилетнему мальчику, указала ему на кухню, поставила ему стул и пододвинула находившиеся поблизости пирожные и напитки.

---

[14] Примечания: 14
Начало гимна кайзеровской Германии.

Ничего подобного ей еще не приходилось делать ни разу в жизни, и когда она выпрямилась у стола, сердце стучало у нее так, словно сахар толкли в ступке.

— Как вас зовут? — спросил Солиман; боже, он говорил по-немецки!

— Рашель! — сказала Рахиль и убежала.

Солиман тем временем угостился в кухне пирожными, вином и бутербродами, закурил и завел беседу с кухаркой. Когда Рахиль вернулась с подносом, это кольнуло ее. Она сказала: «Там сейчас опять обсуждают что-то очень важное!» Но на Солимана это не произвело никакого впечатления, и кухарка, особа немолодая, засмеялась. «Может и война получиться!»— взволнованно прибавила Рахиль, и уже, как кульминация, пришло теперь от замочной скважины ее сообщение, что дело близко к тому.

Солиман насторожился.

— Там есть австрийские генералы? — спросил он.

— Поглядите сами! — сказала Рахиль. — Один уж точно.

И они пошли вместе к замочной скважине.

Видны были то белый листок бумаги, то чей-то нос, то мелькала какая-нибудь большая тень, то

вспыхивало кольцо. Жизнь распалась на яркие детали; зеленое сукно простиралось как лужок; чья-то белая рука, восковая, как в паноптикуме, покоилась неведомо где, где-то, а совсем скосив глаз, можно было увидеть, как тлеет в углу золотой темляк генерала. Даже избалованный Солиман не мог скрыть свое волнение. Сказочно и жутковато ширилась жизнь, если глядеть на нее сквозь отверстие в двери и воображение. От согнутой позы кровь гудела в ушах, и голоса за дверью то бухали, как каменные глыбы, то скользили, как по намыленным половицам. Рахиль медленно выпрямилась. Пол, казалось, поднимался под ее ногами, и дух вершившегося окутывал ее, словно она сунула голову под один из тех черных платков, которыми пользуются фокусники и фотографы. Затем выпрямился и Солиман, в кровь, дрожа, отхлынула от их голов. Маленький негр улыбнулся, и за синими его губами блеснули ярко-красные десны.

В то время, как эта секунда медленно, словно ее играли на трубе, истекала в передней, среди висевшей по стенам верхней одежды влиятельных лиц, внутри комнаты принималась общая резолюция, ибо граф Лейнсдорф сказал там, что важная инициатива господина генерала заслу-

живает всяческой благодарности, но что пока еще не следует входить в существо дела, а нужно определить организационные основы. А для этого, кроме приспособления плана к запросам мира по их главным аспектам представленным министерствами, требовалась лишь заключительная резолюция, где было бы сказано, что присутствующие единодушно согласились, как только благодаря их акции выяснится воля народа, передать таковую его величеству с верноподданнейшей просьбой, чтобы его величество соблаговолило свободно располагать средствами для ее материального осуществления, которые должны быть к тому времени подготовлены… Это имело то преимущество, что народ мог сам, но все же через посредство высочайшей воли, ставить себе достойнейшую, по его мнению, цель, и резолюция эта была принята по особому желанию его сиятельства, ибо хотя дело тут шло только о форме, он считал важным, чтобы народ ничего не предпринимал по собственному почину и без второго конституционного фактора; не предпринимал даже в честь этого второго.

Остальные участники не придавали таким оттенкам особой важности, но именно поэтому они не возразили против формулировки его

сиятельства. А что заседание завершалось принятием резолюции, это было в порядке вещей. Ибо ставят ли при драке точку ножом, ударяют ли в конце музыкальной пьесы одновременно всеми десятью пальцами по клавишам раз-другой, отвешивает ли танцор поклон своей даме или принимают резолюцию, — мир был бы жуток, если бы события просто проходили, еще раз не заверив нас, как полагается, под конец, что они произошли; а поэтому и принято так поступать.

45
Молчаливая встреча двух горных вершин

Когда заседание окончилось, доктор Арнгейм незаметно устроил все так, чтобы остаться последним, побуждение к этому исходило от Диотимы; начальник отдела Туцци соблюдал определенный срок отсутствия, чтобы наверняка не вернуться домой до конца заседания.

В эти минуты между уходом гостей и закреплением итоговой ситуации, во время следования из одной комнаты в другую, прерывавшегося маленькими попутными распоряжениями, соображениями и беспокойством, которые остав-

ляет за собой, уходя, большое событие, Арнгейм, улыбаясь, наблюдал за Диотимой. Диотима чувствовала, что ее квартира дрожит и движется; все вещи, которые из-за этого события должны были покинуть свое место, возвращались теперь одна за другой назад, так по песку, бывает, откатывается большая волна, обнажая бесчисленные бороздки и ямки. И пока Арнгейм в благородном молчании ждал, чтобы она и это движение вокруг нее вновь успокоились, Диотима вспомнила, что, сколько ни бывало, у нее людей, ни разу еще ни один мужчина, кроме начальника отдела Туцци, не был с ней так по-домашнему наедине, что ощущалась эта немая жизнь пустой квартиры. И вдруг ее непорочность смутило одно совсем непривычное представление: ее опустевшая квартира, где не было даже мужа, показалась ей штанами, в которые влез Арнгейм. Бывают такие мгновения, они, как исчадия ночи, могут случиться у самых непорочных людей, и чудесный сон такой любви, где душа и тело совершенно едины, засиял в Диотиме.

Арнгейм ничего не подозревал об этом. Его штаны составляли безупречный перпендикуляр к зеркальному паркету, его визитка, его галстук, его спокойно улыбавшаяся благородная голова

не выражали ничего, так они был совершенны. Он собирался, собственно, упрекнуть Диотиму за инцидент при его появлении и принять меры предосторожности на будущее; но было что-то в эту минуту что заставило этого человека, который общался с американскими финансовыми магнатами как с равными, которого принимали императоры и короли, который любой женщине мог заплатить платиной, зачарованно глядеть вместо этого на Диотиму, которую на самом деле звали Эрмелинда, а то и вовсе уж Гермина Туцци и которая была всего-навсего женой какого-то высокого чиновника. Для обозначения этого «чего-то» здесь приходится еще раз употребить слово «душа».

Слово это фигурировало уже неоднократно, но отнюдь не в самых ясных связях. Например, как то, что утрачено нынешним временем и никак не соединяется с цивилизацией; как то, что идет вразрез с физическими нуждами и супружескими привычками; как то, в чем убийца пробудил не одно лишь негодование; как то, что должно была высвободить параллельная акция; как религиозное созерцание и contemplatio in caligine divina графа Лейнсдорфа; как любовь к символам у многих людей и так далее. Самая, однако,

замечательная из всех особенностей этого слова та, что молодые люди не могут произнести его без смеха. Даже Диотима и Арнгейм боялись, употреблять его без определений; ведь «большая, благородная, трусливая, смелая, низкая душа» — это еще куда ни шло, но сказать просто «моя душа» язык не повернется. Это слово создано для пожилого возраста, и понять это обстоятельство можно, только предположив, что в ходе жизни все ощутимее делается что-то, для чего настоятельно требуется наименование, а поскольку таковое никак не удается найти, то в конце концов с неудовольствием пользуются вместо него тем, которым первоначально пренебрегали.

Как же это описать? Можно стоять или идти, как угодно, существенное — это не то, что перед тобой, не то, что ты видишь, слышишь, не то, чего ты хочешь, за что берешься и чем овладеваешь. Оно как горизонт, как полукруг, лежит впереди; но концы этого полукруга соединяет хорда, плоскость которой проходит через центр мира. Спереди за эту плоскость заглядывают лицо и руки, за нее забегают чувства и стремления, и никто не сомневается: то, что мы тут делаем, всегда разумно или хотя бы исполнено страсти; то есть внешние обстоятельства требуют наших

действий так, что это понятно любому, а если мы в порыве страсти делаем непонятные вещи, то в конце концов и в этом есть свой толк и лад. Но хотя все кажется тут вполне понятным и самодовлеющим, никуда не деться от смутного чувства, что все это — только полдела. Чего-то не хватает для равновесия, и человек стремится вперед, чтобы не качаться, как канатоходец. А поскольку стремится он вперед через жизнь и оставляет позади себя прожитое, это прожитое и то, что еще предстоит прожить, образуют стену, и путь его в общем-то походит на путь червя в дереве, который может как угодно изворачиваться, даже поворачивать назад, но всегда оставляет позади себя пустое пространство. И по этому ужасному чувству, что за всем заполненным осталось слепое, отрезанное пространство, по этой половине, которой по-прежнему недостает, хотя все уже стало целым, замечают в конце концов то, что называют душой.

Мыслью, догадкой, чувством ее, конечно, всегда и во все привносят; в виде самых разных заменителей и в зависимости от темперамента. В юности как ясное чувство неуверенности во всем, что ни делаешь, даже если делаешь то, что нужно. В старости как удивленность тем, как

мало, в сущности, сделано из того, что ты собирался сделать. В промежутке как утешение, что ты, черт возьми, толковый и славный парень, хотя не все, что ты делаешь, можно оправдать порознь; или что и мир-то ведь тоже не таков, каким ему надо бы быть, так что в итоге все, в чем ты оплошал, представляет собой, как-никак, справедливый компромисс; и наконец, многие люди думают, даже помимо всего прочего, и о боге, который носит в кармане недостающую часть их самих. Особое положение занимает при этом только любовь, ибо в этом исключительном случае вторая половина прирастает. Кажется, что тот, кого любишь, стоит там, где обычно всегда чего, недостает. Души соединяются, так сказать, dos a dos[15] делаются при этом излишними. Отчего по прошествии первой большой юношеской любви большинство людей уже даже не чувствуют, что им недостает души, и эта так называемая глупость выполняет благодарную социальную задачу.

Ни Диотима, ни Арнгейм никогда не любили. О Диотиме это уже известно, но и у великого финансиста была в широком смысле девственная душа.

---

[15] Примечания: 15
Спиной к спине (фр.).

Он всегда боялся, что чувства, вызываемые им в женщинах, относятся не к нему, а к его деньгам, и водился поэтому только с женщинами, которым и он давал не чувства, а деньги. У него никогда не было друга, потому что он боялся быть для чего-то использованным, а были только деловые друзья, даже если деловое общение было духовным. Таким образом, он был богат житейским опытом, но девствен и рисковал остаться в одиночестве, когда ему встретилась Диотима, которую предназначила ему судьба. Таинственные силы в них столкнулись одна с другой. Сравнить это можно только с пассатными ветрами, с Гольфстримом, с вулканическим сотрясением земной коры; силы, чудовищно большие, чем силы человека, родственные звездам, пришли в движение, от одного к другому, вне пределов часа и дня; потоки, которые нельзя измерить. В такие мгновения совершенно неважно, что говорят. Поднимаясь из вертикальной складки брюк, тело Аргейма высилось, казалось, в божественном одиночестве гор-исполинов; соединенная с ним волной долины, стояла на другой стороне озаренная одиночеством Диотима — в платье тогдашней моды, образовывавшем у плеч небольшие буфы, отпускавшем грудь на искусно сглаженный

выточками простор над животом и снова прилегавшем к икрам ниже; подколенной ямки. Стеклярусные нити портьер блестели, как пруды, копья и стрелы на стенах дрожали от своей оперенной и смертельной страсти, а желтые тома Кальман-Леви на столах молчали, как лимонные рощи. Мы с благоговением пропускаем начало их разговора.

46
Идеалы и нравственность — лучшее средство, чтобы заполнить ту большую дыру, которую называют душой

Аргейм первым стряхнул чары. Ибо длить такое состояние было, на его взгляд, невозможно; это значило либо догрузиться в тупую, бессодержательную, сентиментальную задумчивость, либо подвести под благоговение прочный каркас мыслей и убеждений, который, однако, по своей сути уже не совсем тождествен с благоговением.

Таким средством, хоть и убивающим душу, но потом как бы консервирующим ее маленькими порциями для всеобщего употребления, испокон веков является ее связь с разумом, с убеждениями

и практическим действием, успешно устанавливавшаяся всеми нравственными учениями, философиями и религиями. Одному богу известно, как уже было сказано, что это вообще такое — душа! Не подлежит никакому сомнению, что пылкое желание слушаться только ее чревато безмерной свободой действий, настоящей анархией, и есть примеры тому, что, так сказать, химически чистые души совершают прямо-таки преступления. Но стоит душе обзавестись нравственностью и религией, философией, углубленным буржуазным образованием и идеалами в области долга и прекрасного, как ей даруется система предписаний, условий и указаний, которой она должна соответствовать, прежде чем помышлять о том, чтобы ее считали душой достойной внимания, и жар ее, как жар доменной печи, отводится в красивые прямоугольники из песка. Тогда остаются, в сущности, только логические проблемы толкования, вроде вопроса, подпадает ли то или иное действие под ту или иную заповедь, и душа приобретает спокойную обозримость поля после битвы, где мертвецы лежат смирно и сразу видно, где еще шевелится или стонет крупица жизни. Поэтому человек совершает этот переход как можно скорее. Если

его мучат религиозные сомнения, как то бывает иногда в юности, он вскоре переходит к преследованию неверующих; если его смущает любовь, он превращает ее в брак; а если его одолевает какое-либо другое воодушевление, то от невозможности жить постоянно в его пламени он спасается тем, что начинает жить ради этого пламени. То есть множество мгновений дня, каждое из которых нуждается в содержании и стимуле, он заполняет вместо своего идеального состояния деятельностью ради своего идеального состояния, то есть всяческими средствами, ведущими к цели, всяческими препятствиями инцидентами, надежно гарантирующими, что ему никогда не придется достигнуть ее. Ибо только дураки, душевнобольные и люди с навязчивыми идеями способны долго терпеть пламя воодушевления; здоровый человек должен удовлетворяться заявлением, что без искры этого таинственного пламени ему и жизнь не в жизнь.

Бытие Аргейма было заполнено деятельностью; он был человеком реальности и с доброжелательной усмешкой не без ощущения отличной социальной повадки староавстрийцев, слушал, как на заседании, свидетелем которого он был, говорили о супораздаточном заведении имени

императора Франца-Иосифа и о связи между чувством долга и военными походами; он был далек от того, чтобы потешаться над этим, как то делал Ульрих, ибо Арнгейм был убежден, что понимание великих идей свидетельствует о мужестве и превосходстве гораздо меньше, чем умение находить трогательное идеалистическое зерно в таких будничных и немного комичных в своем благобразье умах.

Но когда среди всего этого Диотима, эта античная статуя с венской примесью, произнесла слова «всемирная Австрия», слова, почти такие же жаркие и по-человечески непонятные, как пламя, — тут его что-то проняло.

О нем рассказывали одну историю. В его берлинское доме был зал, битком набитый скульптурами барокко готикой. А католическая церковь (у Арнгейма была великая к ней любовь) изображает своих святых и подвижников обычно в очень блаженных, даже восторженных позах. Святые умирали тут во всех положениях, и душа выкручивала тела, как белье, из которого выжимают воду. Скрещенные, как сабли, руки и перекошенные шеи, выхваченные из своего первоначального окружения собранные в чужой комнате, производили впечатление толпы ка-

татоников в сумасшедшем доме. Собрание это высоко ценилось и приводило к Аргейму многих специалистов по искусству, с которыми он вел ученые беседы, но часто он сиживал в своем зале в полном одиночестве и тогда ощущение у него бывало совсем другое: в нем появлялось тогда похожее на испуг удивление, словно перед ним представал какой-то полубезумный мир. Он ощущал, что в нравственности первоначально пылал несказанный огонь, после которого даже такому уму, как он, только, пожалуй, и оставалось, что пялиться на прогоревшие угли. Это темное проявление того, что все религии и мифы выражают через рассказ, будто первоначально законы были дарованы людям богами, ощущение, стало быть, некоего раннего состояния души, хоть и жутковатого, но, по-видимому, любезного богам, составляло тогда странную кромку тревоги вокруг его вообще-то самодовольно растекавшихся мыслей. Был у Аргейма младший садовник, глубоко простой, как он это называл, человек, с которым он часто беседовал о жизни цветов, потому что у таких людей можно научиться большему, чем у ученых. Пока однажды Аргейм не обнаружил, что этот младший садовник его обкрадывает. Он прямо-таки отчаянно,

можно сказать, уносил все, что мог ухватить, и копил выручку, чтобы стать независимым, это была единственная мысль, владевшая им денно и нощно; но как-то исчезла и одна небольшая скульптура, и призванная на помощь полиция раскрыла, в чем дело. В тот вечер, когда Аргейма известили об этом открытии, он велел позвать виновного и до ночи корил его за непутевость страстного приобретательства. Рассказывали, что сам он при этом очень волновался и временами чуть ли не плакал в темной смежной комнате. Ибо он завидовал этому человеку по причинам, которые не мог себе объяснить, а на следующее утро он передал его полиции.

Эта история подтверждалась одним из близких друзей Аргейма, и так же примерно было у него на душе и на сей раз, когда он стоял наедине с Диотимой в какой-то комнате и чувствовал что-то похожее на беззвучное полыхание мира вокруг ее четырех стен.

47

То, что все прочие представляют собой порознь, Арнгейм представляет собой в одном лице

В следующие недели салон Диотимы переживал новый мощный подъем. Туда приходили, чтобы получить последние сведения о параллельной акции и поглядеть на того нового человека, о котором говорили, что Диотима продала ему свою душу, на немецкого набоба, на богатого еврея, на оригинала, который писал стихи, диктовал цены на уголь и был личным другом германского императора. Являлись не только дамы и господа из кругов графа Лейнсдорфа и из дипломатической сферы, повышенный интерес выказывали и те, кто олицетворял экономическую и духовную жизнь буржуазии. Так сталкивались друг с другом специалисты по языку эве[16] и композиторы, дотоле ни звука друг от друга не слышавшие, кабинки грузовиков и кабинки исповедален, люди, которые, услыхав слово «курс», думали о курсе лечения, о биржевом курсе или о курсе учебном. Но теперь произошло нечто, чего еще никогда не было: явился человек, который мог

[16] Примечания: 16
Одни из африканских языков.

с каждым говорить на его языке, и это был Арнгейм. От официальных заседаний он держался в дальнейшем после неприятного впечатления, полученного им в начале первого из них, в стороне, да и в светских сборищах участвовал он тоже не всегда, ибо нередко уезжал из из города. О месте секретаря речи, само собой разумеется больше не было; он сам объяснил Диотиме, что эта идея неприемлема, неприемлема и для него тоже, и хотя Диотима не могла, глядя на Ульриха, не чувствовать в нем узурпатора, она подчинилась суждению Арнгейма. Он приезжал и уезжал; три дня или пять дней проходили совсем незаметно, а он успевал вернуться из Парижа, Рима, Берлина; то, что совершалось у Диотимы, было лишь маленьким кусочком его жизни. Но он оказывал ему предпочтение и отдавался ему всем своим существом.

Что он умел говорить с крупными промышленниками о промышленности, а с банкирами об экономике, это было понятно; но он был в состоянии столь же свободно болтать о молекулярной физике, мистике или о стендовой стрельбе. Он был незаурядный говорун; если уж он начинал, то не мог остановиться, как нельзя закончить книгу, пока в ней не сказано все, что просится на

бумагу, но манера говорить была у него благородно-тихая, плавная, почти грустящая о самой себе, как ручей, окаймленный темными кустами, и это придавало его многословью словно бы какую-то нужность. Его начитанность и его память были действительно необыкновенными; он способен был бросать специалистам тончайшие термины из их области знаний, но также хорошо был знаком с любым важным лицом из английской, французской или японской знати и был в курсе дел на ипподромах и площадках для гольфа не только Европы, но и Америки и Австралии.

Поэтому даже охотники на серн, укротители лошадей и владельцы лож в придворных театрах, приходившие поглядеть на сумасшедшего богача-еврея («Это, доложу я вам, из ряда вон», — как они выражались), покидали дом Диотимы, почтительно качая головами.

Однажды его сиятельство отвел Ульриха в сторону и сказал ему:

— Знаете, последние сто лет родовой знати не везло с гувернерами! Прежде это были люди, многие из которых оставляли потом свои имена в энциклопедическом словаре, а они в свою очередь приводили учителей музыки и рисования, и те в благодарность за это делали вещи, которые

сегодня называют нашей старой культурой. Но с тех пор, как существует новое всеобщее образование и люди моего круга приобретают, простите, докторскую степень, домашние учителя как-то ухудшились. Наша молодежь, конечно, совершенно права, когда палит в фазанов и кабанов, сидит верхом и ищет смазливых бабенок, тут ничего не возразишь, на то и молодость; но прежде-то домашние учителя направляли часть этой молодой силы на то, чтобы заботиться о духе и об искусстве так же, как о фазанах, а сегодня этого нет и в помине.

Так уж это пришло на ум его сиятельству, а ему иногда приходили на ум такие вещи; вдруг он совсем повернулся к Ульриху и заключил:

— Это, знаете ли, роковой сорок восьмой год разделил буржуазию и аристократию на беду обеим.

Он озабоченно поглядел на собравшихся. Он всегда злился; когда в парламентских речах ораторы оппозиции кичились буржуазной культурой, и порадовался бы, если бы истинную буржуазную культуру можно было бы найти у аристократии; бедная аристократия, однако, ничего не могла в ней найти, буржуазная культура была невидимым для аристократии оружием,

которым ее побивали, и поскольку в ходе этого процесса она все больше утрачивала власть, то в конце концов ты приходил к Диотиме и видел это воочию. Так огорчался иногда граф Лейнсдорф, наблюдая за происходившим в ее салоне; ему хотелось, чтобы к служению, возможность которого предоставлял этот дом, относились серьезнее.

— С интеллигентами, ваше сиятельство, у буржуазии сегодня точно такие же отношения, как в свое время у аристократии с гувернерами! — пытался утешить его Ульрих. — Это чужие ей люди. Поглядите, пожалуйста, как все дивятся этому доктору Арнгейму.

Но граф Лейнсдорф и без того глядел все время только на Арнгейма.

— Это, впрочем, уже не ум, — прибавил Ульрих по поводу объекта такого удивления, — это такой же феномен, как радуга, которую можно схватить за концы и ощутить осязанием. Он говорит о любви и экономике, о химии и плаванье на байдарках, он ученый, помещик и биржевик; короче говоря, то, что все мы представляем собой порознь, он представляет собой в одном лице; и мы удивляемся. Вы качаете головой, ваше сиятельство? Но я убежден, что поставило его вот здесь у нас на виду облако так называемого прогресса,

внутрь которого никому заглянуть не дано.

— Я качал головой не по поводу ваших слов, — поправил Ульриха его сиятельство, — я думал о докторе Аргейме. В общем нужно признать, что личность он интересная.

48
Три причины славы Аргейма и тайна целого

Но все это было лишь обычное воздействие личности доктора Аргейма.

Он был человек крупный.

Его деятельность распространялась по континентам земного шара и по континентам знания. Он знал все: философов, экономику, музыку, мир, спорт. Он свободно объяснялся на пяти языках. Самые знаменитые художники мира были его друзьями, а искусство завтрашнего дня он покупал на корню, по еще не установленным ценам. Он общался с императорским двором и беседовал с рабочими. Он владел виллой в стиле ультрамодерн, фотографии которой красовались во всех специальных журналах по современной архитектуре, и ветхим старым замком где-то в аристократическом медвежьем углу Бранден-

бурга, выглядевшим прямо-таки как трухлявая колыбель прусской идеи.

Такая широта и всеядность редко сопровождаются собственной продуктивностью; но и тут Арнгейм составлял исключение. Раз или два раза в году он удалялся в свое имение и записывал там заметы, опыты своего ума. Эти его книги и статьи, составлявшие уже внушительную серию, пользовались большим спросом, достигали больших тиражей и переводились на многие языки; ведь к больному врачу доверия нет, а в том, что может сказать человек, сумевший о себе позаботиться, должна же, наверно, быть какая-то истина. Это был первый источник его славы.

Второй вытекал из природы науки. Наука у нас в большой чести, и по праву; но хотя наверняка можно заполнить всю свою жизнь, посвятив себя изучению деятельности почек, выпадают все-таки при этом такие мгновения, гуманистические мгновения, можно сказать, когда ты чувствуешь необходимость напомнить о связи почек с народом в целом. Поэтому в Германии так часто цитируют Гете. Если же человек с университетским дипломом хочет особенно подчеркнуть, что он обладает не только ученостью, но и живым, устремленным в будущее умом, то для

этого нет лучшего способа, чем ссылка на труды, знакомство с которыми не только делает честь, но и сулит еще большую честь, как акция, курс которой повышается, и в таких случаях все возраставшей популярностью пользовались цитаты из Пауля Аргейма. Не всегда, правда, экскурсы в области наук, предпринимаемые им для подкрепления общих своих концепций, удовлетворяли строжайшим требованиям. Хотя они и свидетельствовали об огромной начитанности и об умении играючи пускать ее в ход, специалист непременно находил в них те маленькие неточности и ошибки, по которым работу дилетанта распознать так же легко, как отличить платье, сшитое домашней портнихой, от платья из настоящего ателье. Только отнюдь не следует думать, что то мешало специалистам восхищаться Аргеймом. Они самодовольно улыбались; он импонировал им как нечто в высшей степени современное, как человек, о котором кричали все газеты, король экономики, с чьими заслугами духовные заслуги прежних королей не шли ни в какое сравненье, а если им, специалистам, случалось заметить, что в своей области они представляют собой все-таки еще нечто совершенно иное, чем он, то за это они выражали ему благодарность, называя его

блестящим, гениальным или просто универсальным человеком, что в устах специалистов то же самое, как если бы в мужском обществе о какой-нибудь женщине сказали, что она красавица на женский вкус.

Третий источник славы Аргейма находился в сфере экономики. Ему не доставляли неприятностей ее старые, избороздившие все моря капитаны; если ему надо было согласовать с ними какое-нибудь большое дело, он обводил вокруг пальца и самых прожженных. Они, впрочем, были о нем как о коммерсанте невысокого мнения и называя его «наследным принцем» — в отличие от его отца, чей короткий, толстый язык не умел ловко болтать, но зато на большом расстоянии и по тончайшим признакам чуял дело действительно стоящее. Того они боялись и почитали, а когда они слышали о философских требованиях которые предъявлял их сословию и даже вплетал в самый деловые разговоры наследный принц, они посмеивались. Он стяжал дурную славу тем, что на заседаниях правлений цитировал поэтов и утверждал, что экономика есть нечто неотделимое от других видов человеческой деятельности и заниматься ею можно только с учетом широкой взаимосвязи всех во-

просов национальной, духовной и даже самой интимной жизни. Но и посмеиваясь над ним, они не могли не видеть, что именно этими приправами к коммерции Арнгейм-младший все больше и больше занимал общественное мнение. В больших газетах всех стран, то в экономическом, то в политическом отделе или в отделе культуры, время от времени появлялись какие-либо упоминания о нем, похвала ли его сочинению, отчет ли о замечательной речи, которую он где-то произнес, сообщение ли о приеме, оказанном ему тем или иным правителем или объединением деятелей искусства, и не было вскоре в кругу крупных предпринимателей, укрытом обычно от посторонних глаз и ушей двойными дверями, никого, о ком бы вне этого круга говорили столько, сколько о нем. Притом не следует думать, что президенты, члены наблюдательных советов, генеральные директора и директора банков, концернов, металлургических заводов, рудников и пароходств действительно такие злобные люди, какими их часто изображают. Если не считать их сильно развитых родственных чувств, внутренний смысл их жизни равнозначен смыслу денег, а это смысл с очень здоровыми зубами и немудрящим желудком. Все они были убежде-

ны, что мир был бы гораздо лучше, если бы его просто предоставили свободной игре спроса и предложения, а не броненосцам, штыкам, монархам и не сведущим в экономике дипломатам; но поскольку мир таков, каков он есть и жизнь, которая служит прежде всего своим собственным интересам и лишь через это общей выгоде, оценивается в угоду старым предрассудкам ниже, чем рыцарственность и государственный подход к любому вопросу, а государственные заказы морально котируются выше, частные, они с этим очень даже считались и, как известно вовсю пользовались теми выгодами, какие дают общему благу подкрепляемые оружием переговоры о пошлинах или пущенная в ход против бастующих военная сила. Однако этим путем коммерция ведет к философии, ибо без философии вредить другим людям отваживаются сегодня только преступники, и потому они привыкли видеть в Аргейме-младшем что-то вроде ватиканского представителя их интересов. При всей иронии, с какой они относились к его склонностям, им было приятно иметь в его лице человека, способного представлять их нужды на собрании епископов с таким же успехом, как на конгрессе социологов; более того, он в конце концов при-

обрел в их среде влияние, подобное тому, каким пользуется красивая и эстетствующая супруга, которая поносит вечную конторскую возню, но приносит пользу делу, потому что вызывает у всех восхищение. Достаточно представить себе еще эффект метерлинковской или бергсоновской философии в приложении к вопросам цен на уголь или политики картелирования, чтобы понять, как подавлял всех младший Арнгейм на собраниях промышленников или в кабинетах дирекции, в Париже ли, в Петербурге или Кейптауне, куда он прибывал посланником своего родителя и где его надлежало выслушивать от начала и до конца. Его деловые успехи были столь же значительны, сколь и таинственны, и из всего этого возникла общеизвестная легенда об из ряда вон выходящем значении этого человека и о его счастливой руке.

Многое еще можно было бы рассказать об успехах Арнгейма. О дипломатах, которые подходили к чуждой им по природе, но важной области экономики с осторожностью людей, вынужденных опекать не совсем покладистого слона, тогда как он проявлял в обращении с нею беспечность прирожденного сторожа зоопарка. О художниках, которым он редко приносил какую-либо пользу,

но у которых все-таки было чувство, что перед ними меценат. Наконец, о журналистах, которых, пожалуй, следовало бы упомянуть даже в первую очередь, потому что они-то своим восхищением и сделали из Арнгейма великого человека; но они не замечали, что на самом деле последовательность тут была обратная: им нашептывали, а они думали, что слышат, как растет трава времени. Схема его успеха была везде одна и та же; окруженный волшебным светом своего богатства и молвой о своем значении, он всегда имел дело с людьми, которые превосходили его в своей области, но он нравился им как неспециалист, обладавший поразительными знаниями по их специальности, и внушал им робость, олицетворяя связи их с другими мирами, им совершенно неведомыми. Так стало его второй натурой производить в обществе людей, замкнувшихся в определенной специальности, впечатление натуры цельной и широкой. Порой ему виделся этакий веймарский или флорентийский век промышленности и торговли, главенство сильных, умножающих благосостояние личностей, способных объединить в себе и направить с высокой позиции все, чего порознь достигли техника, наука и искусство. Способность к этому он в себе

чувствовал. У него был талант никогда не обладать превосходством в чем-либо доказуемом и частном, но зато выплывать наверх в любом положении благодаря какому-то своему подвижному и ежеминутно самообновляющемуся равновесию, что, возможно и есть главный дар политика, но Арнгейм был убежден, что это великая тайна. Он называл это «тайной целого». Ведь и красота человека не состоит почти ни в чем отдельно взятом и доказуемом, а состоит в том волшебном «что-то», которое даже маленькие уродства обращает себе на пользу; точно так же глубокая доброта и любовь, достоинство и величие человеческого существа почти не зависят от того, что оно делает, скорей уж они в состоянии облагородить все, что оно ни делает. Таинственным образом целое важнее в жизни, чем частности. Пускай себе, стало быть, маленькие люди состоят из своих добродетелей и недостатков важными свои свойства делает только большой человек; и если тайна его успеха заключена в том, что успех этот нельзя объяснить ни одной из его заслуг и ни одним из его свойств, то как раз это наличие силы, большей, чем каждое из ее проявлений, и есть тайна, на которой основано все великое в жизни. Так описывал это Арнгейм одной из своих

книг и, написав так, почти поверил, что схватил за складку плаща сверхъестественное, на что и прозрачно намекнул в тексте.

49
Начало разнобоя между старой и новой дипломатией

Контакт с людьми, чьей узкой специальностью была принадлежность к родовой знати, не составлял тут исключения. Аргейм приглушал свою утонченную светскость и так скромно довольствовался аристократизмом духовным, который знает свои преимущества и границы, что вскоре носители самых аристократических имен производили рядом с ним такое впечатление, будто от ношения этого груза у них навсегда согнулась натруженная спина. Пристальнее всех наблюдала за этим Диотима. Тайну целого она познала умом художника, видящего мечту своей жизни осуществленной в такой мере, что какие бы то ни было улучшения исключены.

Она теперь опять была в полном мире со своим салоном. Аргейм предостерегал от переоценки внешней организации; грубые материальные интересы могут захватить власть над чистым

намерением; он придавал большое значение салону.

Начальник отдела Туцци высказал, напротив, опасение, что этим путем никак не перейдешь через пропасть разговоров к делу.

Он закинул ногу на ногу и скрестил на колене жилистые, худые, смуглые руки; со своими усиками и южными глазами он выглядел рядом с Арнгеймом, который сидел выпрямившись, в безукоризненном костюме из мягкой ткани, как левантийский карманный вор рядом с главой ганзейской торговой фирмы. Здесь столкнулись два аристократизма, и австрийский, который в угоду некоему весьма сложному и изысканному вкусу напускал на себя небрежность, отнюдь не считал себя меньшим. У начальника отдела Туцци была милая манера справляться об успехах параллельной акции так, словно ему самому, без помощи посредников, не дано было знать, что происходит у него в доме. «Мы были бы рады как можно скорее узнать, что планируется», — сказал он и взглянул на свою супругу и Арнгейма с любезной улыбкой, которая должна была выразить, что я-то, мол, в данном случае здесь человек посторонний. Затем он рассказал, что общее дело его жены и его сиятельства уже

доставляет ведомствам немало тяжких забот. Во время последнего доклада его величеству министр попытался прощупать, какие внешние демонстрации по поводу юбилея могут при случае рассчитывать на высочайшее одобрение, насколько, в частности, приемлемо для высочайшей инстанции намерение предвосхитить тенденцию времени, возглавив международную пацифистскую акцию, — ибо это единственная возможность, объяснил Туцци, перевести на язык политики возникшую у его сиятельства идею всемирной Австрии. Но его величество, по своей высочайшей и всемирно известной совестливости и сдержанности, продолжал он, сразу же отмахнулся энергичным замечанием: «А, не хочу высовываться», — теперь неизвестно, надо ли считать это высочайшим, решительно отрицательным волеизъявлением или нет.

С маленькими тайнами своей службы Туцци деликатным образом, обращался так неделикатно, как это делают люди, умеющие в то же время хорошо хранить большие тайны. Он кончил тем, что посольства должны сейчас «выяснить настроение иностранных дворов, потому что относительно, настроения собственного двора нет уверенности, а какую-то опору где-то все-таки

нужно найти. Ведь в конце: концов чисто технических возможностей предостаточно — от созыва всеобщей мирной конференции до встречи двадцати правителей и дальше вниз — до украшения гаагского дворца стенной росписью австрийские художников или до пожертвования в пользу детей и сирот домашнего обслуживающего персонала в городе Гааге. К этому он привязал вопрос о том, что думают о юбилейном годе при прусском дворе. Арнгейм отвечал, что он не в курсе дела. Австрийский цинизм его отталкивал он, умевший сам так изящно болтать, чувствовал себя рядим с Туцци замкнутым, как человек, желающий подчеркнуть, что, когда речь идет о делах государственных должны царить серьезность и холод. Так, не без соперничества, проявились перед Диотимой два противоположных аристократизма, два государственных и жизненных стиля. Но поставь борзую рядом с мопсом, иву — рядом с тополем, рюмку — на вспаханное поле или портрет не в магазине художественных изделий, а на парусной лодке, короче, помести рядом две высокопородные и ярко выраженные формы жизни — и между ними возникнет пустота, взаимоуничтожение, злокачественный беспочвенный комизм. Диотима чувствовала это

зрением и слухом не понимая, что происходит, и в испуге дала разговору другое направление, с большой решительностью заявив мужу, что параллельной акцией она намеревается достичь, в первую очередь, чего-то духовно великого и при проведении ее будет учитывать лишь потребности действительно современных людей!

Арнгейм был благодарен за то, что идее, опять вернули ее достоинство, ибо именно потому, что в иные моменты ему приходилось силой удерживаться, на плаву, он так же не хотел шутить с вещами, грандиозно оправдывавшими его общение с Диотимой, как не хочет шутить со своим спасательным поясом утопающий. Но, к собственному удивлению, он не без сомнения в голосе спросил Диотиму кого же она тогда хочет избрать в духовную верхушку параллельной акции.

Диотиме это было, конечно, еще совершенно неясно; дни Общения с Арнгеймом одарили ее таким обилием стимулов и идей, что она пока не остановилась на чем-то определенном. Правда, Арнгейм несколько раз повторял ей что самое важное — это не демократия комитетов, а сильные и разносторонние личности, но тут у нее появлялось просто чувство: «ты и я» — а отнюдь

еще не решение и даже не понимание; именно об этом, вероятно, и напомнили ей пессимистические нотки в голосе Арнгейма, ибо она ответила:

— Существует ли сегодня вообще что-либо бесспорно великое и важное, чему стоило бы отдать все свои силы?

— Признак времени, утратившего внутреннюю уверенность здоровых времен, — заметил в ответ Арнгейм, — в том и состоит, что в такое время трудно признать что-либо самым важным и самым великим.

Начальник отдела Туцци опустил глаза к пылинке на своих брюках, отчего его улыбку можно было счесть знаком согласия.

— В самом деле, что бы это могло быть? — испытующе продолжал Арнгейм. — Религия?

Начальник отдела Туцци поднял теперь свою улыбку; Арнгейм произнес это слово хоть и не так настойчиво и непоколебимо, как в свое время в соседстве его сиятельства, но все-таки с благозвучной серьезностью.

Диотима отвергла улыбку супруга и бросила:

— Почему нет? И религия тоже!

— Конечно, но поскольку нам нужно принять практическое решение, то позвольте спросить: приходило ли вам когда-нибудь в голову выбрать

в комитет какого-нибудь епископа, чтобы он нашел для акции соответствующую духу времени цель? Бог глубоко несовременен: мы не в силах представить себе его во фраке, гладко выбритым и с пробором, а представляем себе его на патриархальный манер. А что имеется еще, кроме религии? Нация? Государство?

Тут Диотима порадовалась, потому что Туцци обычно смотрел на государство как на дело мужское, о котором с женщинами не говорят. А теперь он молчал и только глаза его показывали, что об этом можно было бы сказать и еще кое-что.

— Наука? — продолжал вопрошать Арнгейм. — Культура? Остается искусство. Оно в самом деле прежде всего должно было бы отражать единство бытия и внутренний его строй. Но мы же знаем картину, которую оно являет сегодня. Всеобщая разъединенность; крайности без связи, Эпос новой, механизированной социальной и эмоциональной жизни уже в начале ее создали Стендаль, Бальзак в Флобер, демонические глубины вскрыли Достоевский, Стриндберг и Фрейд. У нас, ныне живущих, есть глубокое чувство, что в этой области нам уже нечего делать.

Тут начальник отдела Туцци вставил, что он берет Гомера, когда ему хочется почитать что-ни-

будь добротное или Петера Розеггера.[17]

Аргейм тут же отозвался на эти слова:

— Вам следовало бы прибавить еще Библию. Библией, Гомером и Розеггером или Рейтером[18] можно обойтись и тут-то мы в самой сердцевине проблемы! Допустим у нас был бы новый Гомер, — спросим себя с предельное искренностью, были бы мы вообще способны слушать его. Думаю, ответить надо отрицательно. У нас его нет, потому что он нам не нужен! — Теперь Аргейм сидел в седле и гарцевал. — Если бы он был нам нужен, мы бы имели его! Ведь в конечном счете в мировой истории не происходит ничего негативного. Что же означает, что мы переносим в прошлое все воистину великое и существенное? Уровень Гомера и Христа не достигнут и уж подавно не превзойден; нет ничего прекраснее Песни Песней; готика и Ренессанс рядом с новым временем — как горная страна рядом с выходом на равнину; где сегодня великие властелины?! Какими жалкими кажутся даже деяния Наполеона

---

[17] Примечания: 17

Розеггер Петер (1843–1918) — австрийский писатель, идиллически изображавший народную жизнь.

[18] Примечания: 18

Рейтер Франц (1810–1874) — немецкий прозаик, писал преимущественно на северном диалекте.

по сравнению с деяниями фараонов, труд Канта — по сравнению с трудом Будды, творчество Гете — по сравнению с творчеством Гомера! Но в конце концов мы живем и должны для чего-то жить. Какой же вывод следует нам из этого сделать? Только один, а именно… Тут Аргейм, однако, запнулся и заверил, что у него не поворачивается язык: оставался ведь только вывод, что все, к чему относишься серьезно и что считаешь великим не имеет ничего общего с тем, что составляет внутренний стержень нашей жизни.

— Что же это за стержень? — спросил начальник отдела Туцци; против того, что к большинству вещей относишься слишком серьезно, у него не было возражений.

— Ни один человек не в состоянии сегодня это сказать, — отвечал Аргейм. — Проблему цивилизации можно решить только сердцем. Появлением новой личности. Внутренним зрением и чистой волей. Разум не добился ничего, кроме того, что низвел до либерализма великое прошлое. Но, может быть, мы видим недостаточно далеко и меряем слишком малыми мерками; каждый миг может быть поворотным моментом мировой истории!

Диотима хотела возразить, что тогда для парал-

лельной акции не остается вообще ничего. Но, как ни странно, темные видения Арнгейма захватили ее. Возможно, что в ней застрял какой-то остаток «нудных домашних заданий», который угнетал ее, когда ей то и дело приходилось читать новейшие книги и говорить о новейших картинах; пессимизм по отношению к искусству освобождал ее от многих красот, которые ей, в сущности, нисколько не нравились; а пессимизм в отношении науки облегчал ее страх перед цивилизацией, перед избытком достойного быть познанным и способного оказать влияние. Поэтому безнадежное суждение Арнгейма о времени было для нее благодеянием, которое она вдруг ощутила. И ее приятно щекотнула мысль, что меланхолия Арнгейма каким-то образом связана с ней.

50
Дальнейшее развитие. Начальник отдела Туцци решает получить ясное представление о личности Арнгейма

Диотима не ошиблась. С той минуты, как Арнгейм заметил, что грудь этой замечательной

женщины, читавшей его книги о душе, вздымается и колышется под действием силы, которую нельзя превратно истолковать, он впал в вообще-то несвойственное ему уныние. Говоря коротко и с учетом его собственного вывода, это было уныние моралиста, вдруг неожиданно встретившего небо на земле, а при желании проникнуться его чувством достаточно представить себе, каково было бы, если бы нас не окружало ничего, кроме этой тихой синей лужи с плавающими в ней мягкими, белыми воланами.

Сам по себе нравственный человек смешон и неприятен как учит запах тех смирившихся бедняг, у которых и ничего за душой, кроме их нравственности; нравственности нужны великие задачи, ибо благодаря им она обретает значение, и потому дополнения своей склонной к нравственности природы Аргейм всегда искал в мировых событиях, в мировой истории, в идеологической насыщенности своей деятельности. Это был его пунктик привносить мысль в сферы власти и вершить дела лишь в связи с духовными вопросами. Он любил подбирать себе аналогии в истории, чтобы наполнять их новой жизнью роль финансового капитала в современном мире казалась ему сходной с ролью

католической церкви — как силы, действующей из-за кулис, неуступчиво-уступчивой в контактах с властями предержащими, и порой он рассматривал себя в своей деятельности как некоего кардинала. Но на сей раз он отправился в поездку собственно больше из прихоти; и хотя даже поездок из прихоти он и предпринимал совсем уж без всяких намерений, он все таки никак не мог вспомнить, как первоначально возник у него этот план, план, кстати сказать, значительный. Было что-то от наития и внезапного решения в его поездке, и, наверно, из-за этой маленькой доли свободы даже каникулярное путешествие в Бомбей вряд ли произвело бы на него более экзотическое впечатление, чем этот лежащий на отшибе немецкий большой город, куда он попал. Совершенно невозможная в Пруссии мысль, что его пригласили, чтобы он играл какую-то роль в параллельной акции, довершила дело и настроила его на фантастически-нелогический лад, как сон, нелепость которого хоть и не ускользнула от его практической сметки, но сметка эта была не в силах рассеять очарование сказочности. Цели своего приезда он достиг бы, вероятно, куда проще прямым путем, но на свои все новые и новые возвращения сюда он смотрел как на каникуляр-

ный отдых от разума, и за такое бегство в сказку его деловитость наказывала его тем, что черную отметку по поведению, которую ему приходилось ставить себе, он размывал до серого налета на всем вообще.

До столь широких обобщений в мрачном ключе, как в тот раз в присутствии Туцци, дело, впрочем, больше не доходило; уже потому хотя бы, что начальник отдела Туцци показывался лишь мельком и Арнгейм должен был распределять свои высказывания между самыми различными лицами, которых он в этой прекрасной стране находил поразительно восприимчивыми. В присутствии его сиятельства он назвал критику неплодотворной, а современность лишенной богов, еще раз давая понять, что избавить человека от такого негативного существования может одно только сердце, и прибавив для Диотимы утверждение, что лишь высококультурный юг Германии способен еще очистить немецкую сущность, а тем самым, быть может, и мир от бесчинств рационализма и расчетливости. Окруженный дамами, он говорил, что необходимо мобилизовать весь запас внутренней нежности, чтобы спасти человечество от гонки вооружений и бездушия. Кружку деловых мужчин он разъ-

яснил гельдерлиновскую фразу, что в Германии нет больше людей, а есть только виды занятий. «И никто ничего не достигнет в своей профессии без чувства высшего единства — а уж финансист и вовсе!» — закончил он это рассуждение.

Его с удовольствием слушали, потому что было приятно, что человек, обладавший таким множеством мыслей, обладал и деньгами; а то обстоятельство, что каждый, поговорив с ним, уносил впечатление, что такое предприятие, как параллельная акция, дело весьма сомнительное, отягощенное опаснейшими духовными противоречиями, укрепляло всех во мнении, что никто другой так не подходит для руководства этой авантюрой, как он.

Однако начальник отдела Туцци не был бы втихомолку одним из ведущих дипломатов своей страны, если бы он совсем не заметил основательного присутствия Арнгейма в своем доме; он только никак не мог понять, что тут к чему. Но он этого не показывал, потому что дипломат никогда не показывает своих мыслей. Этот иностранец был ему в высшей степени неприятен — и лично, и, так сказать, в принципе; и то, что он явно избрал салон его жены плацдармом для осуществления каких-то тайных планов, Туц-

ци воспринял как вызов. Он ни на секунду не поверил заверениям Диотимы, что так часто императорскую столицу на Дунае набоб посещает лишь потому, что среди старинной культуры его дух чувствует себя лучше всего, и все-таки поначалу он, Туцци, стоял перед задачей, для решения которой у него не было никакой отправной точки, ибо по службе он с подобным человеком еще не сталкивался.

А с тех пор, как Диотима посвятила его в свой план — предоставить Арнгейму ведущее место в параллельной акции — и стала жаловаться на сопротивление его сиятельства, Туцци был не на шутку смущен. Ни о параллельной акции, ни о графе Лейнсдорфе он не был высокого мнения, но прихоть своей жены он нашел такой поразительной политической бестактностью, что в этот раз у него было чувство, что вся многолетняя супружеская и воспитательная работа, им, как он смел льстить себе, проделанная, рушится, как карточный домик. Даже это сравнение начальник отдела Туцци употребил про себя, он вообще никогда не позволял себе сравнений, потому что они слишком литературны и отдают дурным тоном; но на сей раз он был совершенно потрясен.

Впоследствии Диотима, впрочем, снова улуч-

шила свою позицию своим упрямством. Она стала мягко агрессивна и рассказала о новом типе людей, не желающем больше сложа руки уступать ответственность за судьбы мира профессиональным лидерам. Затем она заговорила о чуде женщины, равноценном порой дару провидения и способном, пожалуй, направить взгляд в более дальние дали, чем ежедневная профессиональная деятельность. Наконец она сказала, что Арнгейм — европеец, ум, известный всей Европе, что государственными делами в Европе вершат очень уж не по-европейски и очень уж бездуховно и мир не обретет покоя до тех пор, пока всемирно-австрийский дух не пронижет его так, как старая австрийская культура обвивает разноязычные племена на почве монархии… Она никогда еще не отваживалась так решительно противиться превосходству мужа, но начальника отдела Туцци это на какое-то время вновь успокоило, ибо стремлениям супруги он никогда не придавал больше важности, чем портняжным вопросам, был счастлив, когда ею восхищались другие, и стал теперь смотреть и на все эти новости снисходительнее, так примерно, как если бы любящая яркие краски женщина выбрала однажды слишком пестрое платье. Он ограничился

тем, что с серьезной вежливостью повторил ей причины, по которым в мире мужчин начисто исключалось, чтобы пруссаку открыто доверили решать дела Австрии, но в остальном согласился, что дружба с человеком такого уникального положения имеет свои преимущества, и заверил Диотиму, что та истолкует его возражения ложно, если заключит из них, что ему неприятно видеть Арнгейма в ее обществе сколь можно часто. Про себя он надеялся, что тут-то и выпадет случай поставить ловушку этому чужаку.

Лишь оказавшись вместе с другими свидетелем повсеместного успеха Арнгейма, Туцци снова вернулся к тому, что Диотима слишком занята этим человеком, но вновь обнаружил, что его, мужа, волю она не уважает, как прежде, перечит ему и объявляет его опасения блажью. Он решил было, что, как мужчина, не станет спорить с женской логикой, а дождется часа, когда его прозорливость восторжествует сама собой; но тут вышло так, что он получил мощный толчок. Однажды ночью его потревожило что-то, показавшееся ему бесконечно далеким плачем; сначала это ему не очень мешало, он просто не понимал этого, но время от времени душевное расстояние резко уменьшалось, и вдруг это угрожающее неспокой-

ствие достигло самых его ушей, и он так резко проснулся, что приподнялся в постели. Диотима лежала отвернувшись и ничем не выдавала себя, но он почему-то почувствовал, что она не спит. Он тихо назвал ее по имени, повторил этот вопрос и ласковыми пальцами попытался повернуть ее белое плечо к себе. Но когда он повернул его и в темноте над плечом стало различимо лицо, оно глядело на него зло, выражало строптивость и плакало. К сожалению, Туцци снова одолевал его крепкий сон, упрямо притягивая его сзади к подушкам, и лицо Диотимы виделось ему только сплошной светлой и совсем уже непонятной гримасой боли. «Что такое?» — пробормотал он тихим басом засыпающего и отчетливо услыхал ясный, раздраженный, неприятный ответ, который упал в его сонливость и остался лежать в ней, как поблескивающая монета в воде. «Ты спишь так беспокойно, что рядом с тобой невозможно спать!»— сказала Диотима твердо и четко; его слух вобрал это, но тут Туцци уже снова отключился от яви, не успев вникнуть в полученный упрек.

Он почувствовал только, что по отношению к нему совершена тяжкая несправедливость. Спокойный сон принадлежал, на его взгляд, к

главным достоинствам дипломата, ибо это было условием всякого успеха. На этом он стоял твердо, а в замечании Диотимы он почувствовал серьезную угрозу себе. Он понял, что с ней произошли какие-то перемены. Хотя ему даже во сне не приходило в голову подозревать жену в настоящей неверности, он ни секунды не сомневался в том, что личная обида, ему нанесенная, связана с Арнгеймом. Он гневно, так сказать, проспал до утра и проснулся с твердым решением добиться ясности насчет этого нарушителя спокойствия.

51
Фишель и его домочадцы

Директор Фишель из Ллойд-банка был тот директор банка или, вернее, управляющий с директорским званием, который сперва по непонятным причинам забыл ответить на приглашение графа Лейнсдорфа, а потом уже не был приглашен снова. Да и тем, первым, вызовом он обязан был только связям супруги своей Клементины. Клементина Фишель происходила из старой чиновничьей семьи, ее отец был президентом высшей счетной палаты, дед — камеральным советником, а три ее брата занимали

высокое положение в разных министерствах. Двадцать четыре года назад она вышла замуж за Лео по двум причинам: во-первых, оттого, что в семьях высоких чиновников бывает иногда больше детей, чем средств, а во-вторых, еще из романтических побуждений, оттого что по контрасту с мучительно бережливой ограниченностью родительского дома банковское дело представилось ей профессией вольнодумной, соответствующей духу времени, а в девятнадцатом веке человек просвещенный судит о другом человеке не по тому, иудей он или католик; больше того, по тем временам она видела чуть ли не какую-то особую просвещенность в умении стать выше наивного антисемитского предрассудка обыкновенного люда.

Бедняжке позднее пришлось стать свидетельницей того, как во всей Европе взыграл дух национализма, а с ним поднималась волна нападок на евреев, превращая ее мужа, так сказать, в ее объятиях из уважаемого вольнодумца в порицаемого за подрывной дух инородца. Сначала она бунтовала против этого со всей яростью «большого сердца», но с годами ее изнурила наивно жестокая, все шире распространявшаяся враждебность и запугало всеобщее предубеждение. Дошло даже

до того, что и себе самой при разногласиях между нею и ее мужем, — а они выявлялись все резче, когда он по причинам, излагать которые никогда не хотел, так и не поднялся со ступени управляющего и потерял всякую надежду стать однажды настоящим директором банка, — что и себе самой она многие свои обиды объясняла, пожимая плечами, тем, что характер Лео все-таки чужд ее характеру, хотя перед посторонними никогда не поступалась принципами своей юности.

Разногласия эти, впрочем, состояли, по сути, не в чем ином, как в отсутствии у них гармонии; во многих браках естественная, так сказать, беда выходит на поверхность, как только они перестают быть ослепленно счастливыми. С тех пор, как карьера Лео застопорилась и остановилась на должности банковского управляющего, Клементина уже не могла оправдывать определенные его свойства тем, что сидит-то он не в зеркальной тишине старого министерского кабинета, а у «стучащего ткацкого станка эпохи», а ведь, кто знает, не из-за этой ли цитаты из Гете она и вышла за него замуж?! Его бакенбарды, которые в сочетании с восседавшим на середине носа пенсне напоминали ей некогда английского лорда с бородой по щекам и выбритым подбород-

ком, наводили ее теперь на мысль о биржевом маклере, а отдельные привычки по части жестикуляции и оборотов речи стали казаться ей просто невыносимыми. Клементина сначала пыталась исправить своего супруга, но столкнулась тут с чрезвычайными трудностями, ибо оказалось, что нигде на свете нет мерки, позволяющей судить, кого напоминают бакенбарды — лорда или маклера, и сидит ли пенсне на таком месте носа, которое в сочетании с движением руки выражает энтузиазм или цинизм. Да и Лео Фишель отнюдь не был тем человеком, который дал бы исправить себя. Придирки, направленные на то, чтобы сделать из него христианско-германский идеал чиновничьей красоты, он объявил светской дурью и отказывался их обсуждать, считая это недостойным разумного человека, ибо чем больше раздражалась его супруга по поводу тех или иных частностей, тем больше напирал он на основополагающие веления разума. Из-за этого дом Фишелей постепенно превратился в арену борьбы двух мировоззрений.

Директор Ллойд-банка Фишель был охотник пофилософствовать, но не более десяти минут в день. Он любил считать человеческую жизнь разумно обоснованной, верил в ее духовную

рентабельность, которую представлял себе неким подобием порядка в благоустроенном большом банке, и ежедневно с удовольствием принимал к сведению все, что вычитывал о новых успехах в газете. Эта вера в непреложные веления разума и прогресса долго давала, ему возможность отделываться от нареканий жены пожатием плеч или хлестким словцом. Но так как в течение этого брака время, по несчастью, отвернулось от старых, благоприятных для Лео Фишеля принципов либерализма, от великих велений свободомыслия, человеческого достоинства и свободной торговли, а прогресс и разум были вытеснены в западном мире расовыми теориями и уличными лозунгами, то и его тоже это затронуло. Сначала он просто отрицал этот процесс, в точности так же, как граф Лейнсдорф обычно отрицал определенные «нежелательные явления общественного характера»; он ждал, что они исчезнут сами собой, а это ожидание есть первая, еще почти неощутимая степень той пытки недовольством, под знаком которой проходит жизнь людей с твердыми убеждениями. Вторую степень обычно называют — а потому она называлась так и у Фишеля — «отравой». Отрава — это такое постепенное, по капле, появление новых

взглядов в морали, искусстве, политике, семье, газетах, книгах и человеческих контактах, которое сопровождается уже бессильным чувством необратимости и возмущенным отрицанием, не могущим, однако, совсем не признать того, что налицо. Но директору Фишелю пришлось изведать и третью, последнюю степень, когда отдельные брызги и струи нового сливаются в затяжной дождь, а это со временем делается одной из ужаснейших мук, какие только может пережить человек, у которого времени на философию всего лишь десять минут в день.

Лео узнал, о сколь многих вещах у человека могут быть разные мнения. Стремление быть правым, потребность почти равнозначная человеческому достоинству, начало справлять оргии в доме Фишелей. За много тысячелетий это стремление родило тысячи замечательных философий, произведений искусства, книг, дел и приверженностей, и если это замечательное, хотя и фанатичное, и чудовищное, неотделимое от человеческой природы стремление должно довольствоваться десятью минутами философии жизни или дискуссии но принципиальным вопросам домашнего быта, то оно непременно, как капля раскаленного свинца, лопается, распада-

ется на бесчисленные острия и зубцы, которые могут пребольно ранить. Оно раздрызгивалось на вопросе, уволить или нет горничную и полагается ли, или нет держать на столе зубочистки; но на чем бы оно ни раздрызгивалось, оно обладало способностью тотчас же дорастать до двух, неисчерпаемо богатых деталями мировоззрений.

Днем это куда ни шло, ибо днем директор Фишель пребывал на службе, но ночью он был человеком, и это необычайно ухудшало отношения между ним и Клементиной. При нынешней сложности всех вещей человек может хорошо ориентироваться, в сущности, только в какой-то одной области, и у Лео этой областью были заклады и векселя, отчего он ночью склонялся к известной уступчивости. Клементина, напротив, и тогда оставалась колючей и неуступчивой, ибо она выросла в проникнутой чувством долга, устойчивой атмосфере чиновничьего дома, а к тому же ее сословное достоинство отвергало раздельные спальни, которые бы уменьшили и без того тесную квартиру. Общие же спальни, когда они затемнены, ставят мужчину в положение актера, который должен перед невидимым партером играть благодарную, но очень уже заигранную роль героя, перевоплощающегося в

разъяренного льва. Темный зрительный зал Лео годами при этом не отзывался ни самыми тихими хотя бы аплодисментами, ни самым скупым хотя бы знаком неприятия, а это в самом деле может расшатать и самые крепкие нервы. Утром за завтраком, — завтракали по почтенной традиции вместе, — Клементина бывала каменная, как застывший труп, а Лео весь дрожал от обиды. Даже их дочь Герда каждый раз что-то из этого замечала и с ужасом и отвращением рисовала себе супружескую жизнь как кошачью драку в ночной темноте.

Герде было двадцать три года, и она составляла предпочтительный объект борьбы между ее родителями. Лео Фишель находил, что ему пора подумать о подходящей для нее партии. Герда же говорила: «Ты старомоден, папочка», — и выбирала себе друзей в стае христианско-германских сверстников, не подававших ни малейшей надежды на обеспеченное существование, но зато презиравших капитал и учивших, что еще ни один еврей не доказал своей способности создать какой-либо великий символ человечества. Лео Фишель называл их олухами-антисемитами и хотел отказать им от дома, но Герда говорила: «Ты не понимаешь, папа, это ведь только сим-

волически», — а Герда была нервная, страдала малокровием и сразу начинала волноваться, когда с ней обходились неосторожно. И Фишель терпел это общество, как некогда Одиссей терпел в своем доме женихов Пенелопы, ибо Герда была лучом света в его жизни; но терпел не молча, ибо это было не в его натуре. Он считал, что сам знает, что такое нравственность и великие идеи, и повторял это при каждом удобном случае, чтобы оказывать благотворное влияние на Герду. А Герда каждый раз отвечала: «Да, ты был бы, конечно, прав, папа, если бы теперь на эти вещи не смотрели уже в корне иначе!» А что делала Клементина, когда Герда так говорила? Ничего! Она молчала при этом со смиренным видом, но Лео мог быть уверен, что за его спиной она поддержит Герду, как будто она понимает, что такое символы! У Лео всегда хватало причин полагать, что его хорошая еврейская голова превосходит голову его супруги, и ничто его так не возмущало, как наблюдение, что она извлекает пользу из помешательства Горды. Почему это вдруг именно он уже не в состоянии думать но-современному? Тут была какая-то система! Затем он припоминал ночь. Это было уже не просто оскорбление; это было надругательство над честью. Ночью на человеке

только ночная рубашка, а под ней уже сразу характер. Никакие специальные знания, никакая премудрость его не защищают. Ставишь на карту всего себя. Ни больше, ни меньше. Так как же это понимать, что, когда заходила речь о христианско-германской точке зрения, Клементина делала такое лицо, словно он дикарь? А человек — существо, которое не выносит пребывания под подозрением, как папиросная бумага — дождя. С тех пор, как Клементина перестала находить Лео красивым, она находила его невыносимым, а с тех пор, как Лео почувствовал, что Клементина подвергает его сомнению, он чуял при любом поводе заговор в своем доме. При этом Клементина и Лео, как все люди на свете, которым это внушается обычаем и литературой, жили в ложном убеждении, что они зависят друг от друга из-за своих страстей, характеров, судеб и действий. На самом же деле, конечно, жизнь больше чем наполовину состоит не из действий, а из готовых рассуждений, смысл которых вбираешь в себя, из мнений и соответствующих контрмнений и из накопленной безличности того, что ты слышал и знаешь. Судьба обоих эти супругов зависела главным образом от мутного, вязкого, беспорядочного наслоения мыслей, принадлежавших вовсе не

им, а общественному мнению и претерпевших вместе с ним перемену, от которой им не удалось уберечься. Рядом с этой зависимостью их личная зависимость друг от друга была крошечным, безумно переоцениваемым остатком. И в то время как они убеждали себя, что у них есть частная жизнь и подвергали сомнению характер и волю другой стороны, отчаянная трудность состояла в нереальности этого спора, которую они прикрывали всяческими неприятностями.

Беда Лео Фишеля была в том, что он не играл в карты и не находил удовольствия в развлечениях с красивыми девушками, а, измотанный службой, страдал от великой привязанности к семье, тогда как у его супруги, которой нечего, было делать, кроме как днем и ночью составлять лоно этой семьи, не было уже на ее счет никаких романтических заблуждений. Иногда Лео Фишеля охватывало чувство, что он задыхается, оно не сосредоточивалось в каком-то определенном месте, а давило его со всех сторон. Он был прилежной клеточкой социального организма, которая добросовестно делала свое дело, но отовсюду, получала ядовитые соки. И хотя это выходило далеко, за пределы его потребности в философии, он, когда его подвела спутница

жизни, стареющим уже человеком, не видевшим никаких, оснований отказываться от разумных, взглядов своей молодости, начал чувствовать глубокую ничтожность духовной жизни, ее вечно меняющую формы бесформенность, медленное, но непрестанное коловращение, которое захватывает всегда все.

В одно из таких утр, когда его мысли были заняты семейными проблемами, Фишель забыл ответить на письмо его сиятельства, а по утрам многих последующих дней; он получал описания событий в кругу начальника отдела Туцци, заставлявшие его сильно жалеть, что упущена такая возможность для Герды попасть в высшее общество. Даже у самого Фишеля совесть была не совсем чиста, поскольку его собственный генеральный директор и управляющий Государственного банка явились на зов, но, как известно, упреки отметаешь тем резче, чем больней разрываешься сам между виной и невиновностью. Но всякий раз, когда Фишель пытался с превосходством делового человека посмеяться над этим патриотическим делом, ему заявляли, что такой идущий в ногу со временем финансист, как Пауль Аргейм, совсем другого мнения. Приходилось только поражаться количеству сведений,

собранных об этом человеке Клементиной и Гердой, которая вообще-то, конечно, во всем перечила матери, и поскольку на бирже о нем тоже рассказывали удивительные вещи, Фишель почувствовал себя загнанным в угол, ибо, с одной стороны, он всего этого просто не понимал, а с другой — никак не мог утверждать о человеке с такими деловыми связями, что его нельзя принимать всерьез.

А когда Фишель чувствовал себя загнанным в угол, то это естественным образом принимало форму биржевого контрманевра, то есть он отвечал как можно, более непроницаемым молчанием на все намеки насчет дома Туцци, Арнгейма, параллельной акции и его собственной оплошности и втайне надеялся на какое-нибудь событие, которое одним махом обнаружит внутреннюю пустоту всего этого и покончит с высоким курсом этой затеи в его семье.

52
Начальник отдела Туцци отмечает пробел в работе своего министерства

Решив получить ясность относительно фигуры доктора Арнгейма, начальник отдела Туцци

вскоре, к своему удовлетворению, открыл существенный пробел в структуре составлявшего предмет его забот министерства иностранных дел императорского дома: оно не было готово к появлению таких людей, как Аргейм. Из изящной словесности сам он читал, кроме мемуаров, только Библию, Гомера и Розеггера и немало этим гордился, потому что это предохраняло его от внутреннего разлада; но что и во всем министерстве иностранных дел не было никого, кто прочел бы хоть одну книгу Аргейма, это он счел ошибкой.

Начальник отдела Туцци имел право вызывать к себе других руководящих чиновников, но в утро после той потревоженной слезами ночи он сам направился к начальнику департамента печати, движимый чувством, что поводу, заставившему его искать обмена мнениями, незачем придавать такой уж официальный вид. Начальник департамента печати восхитился обилием подробностей личного характера, известных начальнику отдела Туцци об Аргейме, признал, что и сам часто уже слышал это имя, но сразу отверг предположение, что этот человек фигурирует в документах его департамента, ибо Аргейм, насколько он помнит, никогда не составлял темы официаль-

ных реляций, а обработка газетного материала не распространяется, разумеется, на деятельность частных лиц. Туцци согласился, что ничего другого и не следовало ожидать, но заметил, что граница между официальным и частным значением людей и явлений сегодня не всегда отчетливо различима, это начальник департамента печати нашел весьма метким наблюдением, после чего оба начальника отделов сошлись во мнении, что налицо весьма интересный недочет системы.

То было явно утро, когда Европа жила более или менее спокойно, ибо оба начальника отделов пригласили управляющего канцелярией и велели ему завести папку, озаглавив ее «Арнгейм Пауль, доктор», хотя она пока и будет пуста. После управляющего канцелярией пришла очередь заведующих архивом документов и архивом газетных вырезок, и оба, сияя от усердия, смогли сказать по памяти, что в их реестрах никакого Арнгейма не значится. Наконец, призвали еще референтов, обязанных ежедневно обрабатывать газеты и представлять начальникам выдержки, и все они напустили на лица значительность, когда их спросили об Арнгейме, и заверили, что в их газетах он упоминается очень

часто и с благоприятным акцентом, но ничего не сумели сообщить о содержании его писаний, поскольку его деятельность, как они сразу смогли сказать, не входит в круг задач официального реферирования. Безупречная работа механизма министерства иностранных дел видна была, как только нажимали на кнопку, и все чиновники покидали комнату с чувством, что показали в самом лучшем свете свою надежность. «Все в точности так, как я вам сказал, — удовлетворенно повернулся к Туцци начальник департамента печати, — никто ничего не знает».

Оба начальника отделов выслушали доклады с полной достоинства улыбкой; сидя в роскошных кожаных креслах, стоявших на мягком красном ковре, за темно-красными высокими гардинами бело-золотой комнаты времен еще Марии-Терезии, словно бы для вечности, как муха в янтаре, препарированные окружавшей их обстановкой, они определили, что пробел в системе, теперь ими, по крайней мере, обнаруженный, трудно будет восполнить.

— В моем департаменте, — хвастался шеф по печати, — обрабатывается каждое публичное заявление; но за какие-то пределы понятие публичности не должно выходить. Я могу поручить-

ся, что любую реплику, брошенную депутатом в каком-либо ландтаге в текущем году, можно за десять минут найти в наших архивах, а реплику последних десяти лет, если она относится к внешней политике, самое большее за полчаса. Так же обстоит дело с любой политической газетной статьей; мои люди работают на совесть. Но это конкретные, ответственные, так сказать, высказывания, связанные с определенными условиями, силами и понятиями. И если посмотреть на вещи чисто технически, то в какую рубрику должен чиновник, делающий выписки или каталог, поместить эссе, автор которого лишь от своего имени… ну, кого бы тут назвать для примера?

Туцци пришел на помощь, назвав фамилию одного из самых молодых писателей, бывавших у Диотимы.

Начальник департамента печати встревоженно взглянул на него с видом тугого на ухо человека.

— Что ж, допустим, его; но где провести границу между тем, на что нужно обратить внимание, и тем, мимо чего можно пройти? Уже появлялись даже политические стихи. Так что же, каждого рифмоплета?.. Или, может быть, только авторов

Бургтеатра?

Оба засмеялись.

— Как вообще точно извлечь то, что такие люди имеют в виду, будь они хоть сами Шиллер и Гете?! Высший смысл есть в этом, конечно, всегда, но так, для практических целей, они противоречат себе через каждые два слева.

Обоим стало теперь ясно, что они рискуют взяться за что-то «невозможное», употребляя это слово и с тем привкусом комичного с точки зрения света, который так тонко чувствуют дипломаты.

— Нельзя присоединить к нашему министерству целый штаб литературных и театральных критиков, — с улыбкой заметил Туцци, — но, с другой стороны, обратив на это однажды внимание, нельзя отрицать, что такие люди очень даже влияют на формирование господствующих и мире взглядов, а через это и на политику.

— Ни в одном министерстве иностранных дел мира этого не делают, — помог ему начальник печати.

— Конечно. Но капля камень долбит. — Туцци нашел, что эта поговорка очень хорошо выражает известную долю опасности. — Может быть, следовало бы все-таки принять какие-нибудь

организационные меры?

— Не знаю, у меня есть на этот счет сомнения, — сказал другой начальник отдела.

— У меня тоже, конечно! — прибавил Туцци. К концу этой беседы ему стало не по себе, словно у него язык был обложен, и он не мог разобрать, чепуху ли он нес или же это еще оценят как проявление проницательности, которой он славился. Начальник департамента печати тоже не мог тут разобраться, и потому они заверили друг друга, что позднее еще раз обсудят этот вопрос. Начальник департамента печати распорядился приобрести для библиотеки министерства все труды Аргейма, чтобы как-то покончить с этим вопросом, а начальник отдела Туцци направился в политический отдел, где попросил поручить посольству в Берлине представить подробный доклад о личности Аргейма. Это было единственное, что ему в тот момент оставалось сделать, и до поступления доклада из Берлина он мог осведомляться об Аргейме только у своей жены, что было ему теперь весьма неприятно, Он вспомнил изречение Вольтера, что люди пользуются словами только для того, чтобы скрывать свои мысли, а мыслями только для того, чтобы обосновывать свои несправедливые поступки.

Конечно, дипломатия всегда в том и состояла. Но что кто-то мог столько, сколько Аргейм, говорить и писать, чтобы скрывать за словами истинные свои намерения, — это его тревожило: это было уже что-то новое, и он должен был разгадать, где тут собака зарыта.

53
Моосбругера переводят в новую тюрьму

О Кристиане Моосбругере, убийце проститутки, забыли через несколько дней после того, как газеты перестали печатать отчеты о его судебном процессе, и волнение публики переключилось на другие предметы. Им продолжал заниматься лишь узкий круг экспертов. Его защитник подал кассационную жалобу, потребовал новой проверки его психического состояния и сделал еще кое-что; казнь была отложена на неопределенный срок, и Моосбругера перевели в другую тюрьму.

Меры предосторожности, которые были при этом приняты, льстили ему; заряженные винтовки, множество людей, кандалы на руках и на ногах; ему оказывали внимание, его боялись,

а Моосбругер это любил. Перед тем как сесть в арестантский фургон, он стал искать восхищения, заглядывая в глаза удивленным прохожим. Холодный ветер, продувавший улицу, играл его волосами, воздух истощал его силы. Так прошли две секунды; затем судейский охранник подтолкнул его сзади в фургон…

Моосбругер был тщеславен; он не любил, чтобы его так подталкивали; он боялся, что охрана будет его бить, кричать на него или глумиться над ним; коварный великан не осмелился взглянуть ни на одного из своих конвоиров и добровольно прошел к передней стенке фургона.

Боялся он, однако, не смерти. В жизни приходится выносить многое, что наверняка больнее повешения, а проживешь ты на несколько лет больше или меньше — это уж и вовсе неважно. Пассивная гордость человеку, давно находящегося в заключении, запрещала ему бояться наказания; но он и вообще не был привязан к жизни. Что ему было любить в ней? Ведь не весенний же ветер, или широкие проселки, или солнце? От этого только усталость, жара да пыль. Никто этого не любит, если знаком с этим по-настоящему. «Возможность рассказать, — подумал Моосбругер, — что, мол, вчера в том трактире

на углу я ел отличную жареную свинину!» Это было уже побольше. Но от этого можно было отказаться. Порадовало бы его удовлетворение его честолюбия, на долю которого всегда выпадали лишь глупые обиды. Беспорядочная тряска колес передавалась через скамейку его телу; за прутьями решетки в дверце убегали назад булыжники, отставая, ломовые повозки, иногда сквозь прутья мелькали мужчины, женщины, дети, издалека сзади надвигался фиакр, приближался, разбрасывая брызги жизни, как разбрасывает искры железо на наковальне, лошадиные головы казалось, вот-вот пробьют дверь, затем стук подков и мягкий шелест резиновых шин проносились за стенкой мимо. Моосбругер медленно поворачивал голову назад и снова видел перед собой потолок в месте его пересечения с боковой стенкой. Шум снаружи журчал, грохотал; был натянут как полотно, по которому то и дело шмыгает тень чего-то происходящего. Моосбругер воспринимал эту поездку как новое впечатление после долгого однообразия и не очень-то задумывался об ее смысле. Между двумя темными неподвижными тюремными временами пронеслись четверть часа непрозрачно белого пенящегося времени. Такой он и воспринимал всегда свою свободу. Не

то чтобы прекрасной. «История с последней трапезой, — думал он, — с тюремным священником, с палачами и с пятнадцатью минутами до того, как все кончится, будет мало чем отличаться от нынешней поездки; она тоже проскачет вперед на своих колесах, все время надо будет что-то делать, как сейчас, чтобы при толчке не свалиться со скамейки, увидишь и услышишь мало что, потому что вокруг тебя будут все время мельтешить люди. Самое, наверно, милое дело — избавиться наконец от всего этого!»

Превосходство человека, освободившегося от желания жить, очень велико. Моосбругер вспомнил комиссара, который первым допрашивал его в полицейском участке. Это был человек благородный, он говорил тихо. «Послушайте, господин Моосбругер, — сказал он, — я вас просто очень прошу: дайте мне сейчас добиться успеха!» И Моосбругер ответил: «Ладно, если вам нужен сейчас успех, составим протокол». Судья потом не верил этому, но комиссар подтвердил это перед судом. «Раз уж вы не хотите сами облегчить свою совесть, то сделайте это ради меня, окажите услугу мне лично», — комиссар повторил это перед всем судом, даже председатель дружелюбно усмехнулся, и Моосбругер поднялся. «Я высоко

чту это заявление господина комиссара полиции! — громко провозгласил он и с элегантным поклоном прибавил: — Хотя господин комиссар отпустили меня со словами: „Мы, наверно, никогда больше не увидимся“, сегодня мне все-таки выпала честь и удовольствие увидеть господина комиссара опять».

Улыбка согласия с самим собой озарила лицо Моосбругера, и он забыл о солдатах, сидевших против него и точно так же, как он, трясшихся от толчков фургона.

54
Ульрих показывает себя реакционером в беседе с Вальтером и Клариссой

Кларисса сказала Ульриху: «Надо что-то сделать для Моосбругера, этот убийца музыкален!»

Наконец, в один из свободных дней, Ульрих нанес тот визит, который был сорван его имевшим столько последствий арестом.

Кларисса держала лацкан его пиджака на высоте груди, Вальтер стоял рядом с ее совсем искренним лицом.

— Как это понимать — музыкален? — спросил Ульрих с улыбкой.

Кларисса сделала весело сконфуженное лицо. Непроизвольно. Словно стыд прорывался наружу в каждой черточке и ей надо было весело напрягать лицо, чтобы он оставался внутри. Она пустила его на волю.

— А так, — сказала она. — Ты же стал теперь влиятельным человеком!

Разобраться в ней не всегда было легко.

Зима уже один раз начиналась, а потом опять кончилась. Здесь, за городом, был еще снег; белые поля, а в промежутках, как темная вода, черная земля. Солнце заливало все равномерно. На Клариссе были оранжевая куртка и синяя шерстяная шапочка. Они гуляли втроем, и среди беспорядка оголившейся природы Ульрих должен был объяснять ей писания Арнгейма. В них шла речь об алгебраических рядах и о бензоловых кольцах, о материалистическом и универсалистском подходе к истории, о мостовых опорах, о развитии музыки, о духе автомобиля, о гата-606,[19] теории относительности, атомистике Бора, автогенной сварке, флоре Гималаев, психоанализе, индивидуальной психологии, экспериментальной психологии, физиологической психологии,

[19] Примечания: 19

Гата-606, или сактварсан — лечебный препарат, открытый в 1912 г. японским бактериологом Гатой.

социальной психологии и обо всех других достижениях, мешавших богатому ими времени рождать добрых, цельных и целостных людей. Но все это излагалось в писаниях Арнгейма очень успокоительным образом, ибо он уверял, что все, что мы не понимаем, означает лишь невоздержность неплодотворных сил разума, тогда как истинное — это всегда простое, это человеческое достоинство и инстинктивное чувство сверхчеловеческих истин, доступное каждому, кто просто живет и находится в союзе со звездами.

— Многие утверждают сегодня нечто подобное, — пояснил Ульрих, — но Арнгейму верят, потому что его можно представить себе большим, богатым человеком, который наверняка точно знает все, о чем говорит, сам был на Гималаях, владеет автомобилями и носит столько бензоловых колец, сколько захочет.

Кларисса пожелала узнать, как выглядят бензоловые кольца; ею руководило неясное воспоминание о кольцах с карнеолами.

— Все равно ты очаровательна, Кларисса! — сказал Ульрих.

— Слава богу, ей незачем понимать всякий химический вздор! — защитил ее Вальтер; затем, однако, он стал защищать сочинения Арнгейма,

которые он читал. Он не хочет сказать, что Арнгейм — это лучшее, что можно себе представить, но все-таки это лучшее из того, что создано современностью; это новый дух! Хоть и чистейшая наука, но в то же время и выходит за пределы знания! Так прошла прогулка. Результатом для всех были мокрые ноги, раздраженный мозг, словно тонкие, блестевшие на зимнем солнце голые ветки занозами застряли в сетчатке, общее желание горячего кофе и чувство человеческой потерянности.

От таявшего на башмаках снега шел пар, Кларисса была рада, что в комнате наследили, а Вальтер все время надувал свои по-женски пухлые губы, потому что искал спора. Ульрих рассказывал о параллельной акции. Когда дело дошло до Арнгейма, они снова заспорили.

— Я скажу тебе, в чем я против него, — повторил Ульрих. — Научный человек — это сегодня совершенно неизбежное дело; нельзя не хотеть знать! И никогда разница между опытом специалиста и опытом профана не была так велика, как теперь. По мастерству массажиста или пианиста это видит любой; сегодня и лошадь уже не выпускают на беговую дорожку без специальной подготовки. Только насчет того, как быть человеком, каждый

еще считает себя вправе судить, и старый предрассудок утверждает, что человеком родишься и умираешь! Но хоть я и знаю, что пять тысяч лет назад женщины писали своим любовникам дословно такие же письма, как сегодня, я уже не могу читать такое письмо, не спрашивая себя, не должно ли и тут что-то измениться!

Кларисса показала, что склонна согласиться с ним. Зато Вальтер улыбался как факир, который старается и глазом не моргнуть, когда ему прокалывают щеки шляпной булавкой.

— Это означает не что иное, как то, что ты пока отказываешься быть человеком! — возразил он.

— Примерно. Это неотделимо от какого-то неприятного чувства дилетантства!

— Но я готов признать и нечто совсем другое, — продолжил Ульрих после некоторого размышления. — Специалисты никогда не доводят дело до конца. Не только сегодня; они вообще не в силах представить себе завершение своей деятельности. Не в силах, может быть, даже желать его. Можно ли, например, представить себе, что у человека останется еще душа, когда он научится полностью понимать ее биологически и психологически и с ней обращаться? Тем не менее мы стремимся к этому состоянию! Вот

в чем вся штука. Знание — это поведение, это страсть. Поведение по сути непозволительное; ведь так же, как алкоголизм, как сексуальная мания и садизм, неодолимая тяга к знанию создает неуравновешенный характер. Совершенно неверно, что исследователь гонится за истиной, она гонится за ним. Он ее претерпевает. Истинное истинно, а факт реален, и до исследователя им нет никакого дела; он одержим лишь страстью к ним, алкоголизмом в отношении фактов, накладывающим печать на его характер, и ему наплевать, получится ли из его определений нечто цельное, человечное, совершенное и вообще что-либо. Это противоречивое, страдающее и притом невероятно активное существо!

— Ну, и?.. — спросил Вальтер.

— Что: «ну, и»?

— Ты же не хочешь сказать, что на этом можно поставить точку?

— Я поставил бы на этом точку, — сказал Ульрих спокойно. — Наш взгляд на наше окружение, да и на самих, себя меняется с каждым днем. Мы живем в переходное, время. Если мы не будем решать наши глубочайшие проблемы лучше, чем до сих пор, оно продлится, может быть до конца света. И все равно, очутившись в темноте,

и надо, как ребенок, начинать петь от страха. А это и есть петь от страха, когда делают вид, что знают, как нужно вести себя здесь, на земле; можешь рыча ниспровергая что угодно — все равно это только страх! Впрочем, убежден: мы мчимся галопом! Мы еще далеки от своих целей, они не приближаются, мы их вообще не видим, и еще часто будем заезжать не туда и менять лошадей; но однажды — послезавтра или через две тысячи лет — горизонт потечет и с шумом ринется нам навстречу!

Стемнело. «Никто не может заглянуть мне в лицо, — додумал Ульрих. — Я и сам не знаю, лгу ли я». Он говорил так, как говорят, когда в какую-то минуту, которая не уверена в себе самой, подводят итог многолетней уверенности. Он вспомнил, что ведь эта юношеская мечта, которой он сейчас побивал Вальтера, давно стала пустой. Ему не хотелось больше говорить.

— И мы должны, — едко ответил Вальтер, — отказаться от всякого смысла жизни?!

Ульрих спросил его, зачем ему, собственно, нужен смысл. Ведь можно и так обойтись, заметил он.

Кларисса хихикнула. Без ехидства, просто вопрос Ульриха представился ей забавным.

Вальтер зажег свет, ибо счел ненужным, чтобы Ульрих пользовался при Клариссе преимуществом скрытого темнотой человека. Всех троих неприятно ослепило.

Ульрих, упорствуя, продолжал объяснять: — Единственное, что нужно в жизни, — это убежденность, что дело идет лучше, чем у соседа. То есть твои картины, моя математика, чьи-то дети и жена; все заверяющее человека, что хоть он отнюдь не есть нечто необыкновенное, но что, при его манере не быть необыкновенным, сравняться с ним не так-то легко!

Вальтер еще не успел сесть снова. В нем было беспокойство. Торжество. Он воскликнул:

— Знаешь, что ты говоришь? Тянуть тут же волынку! Ты просто австриец. Ты учишь австрийской государственной философии — тянуть волынку!

— Это, может быть, не так скверно, как ты думаешь, — сказал Ульрих в ответ. — Из страстной потребности в четкости, точности или красоте можно дойти до того, что тянуть волынку тебе станет милее, чем предпринимать какие бы то ни было усилия в новом духе. Поздравляю тебя с тем, что ты открыл всемирно-историческую миссию Австрии.

Вальтер хотел возразить. Но оказалось, что чувство, поднявшее его на ноги, было не только торжеством, но и — как бы сказать? — желанием на минутку выйти. Он колебался между двумя желаниями. Но совместить одно с другим нельзя было, и его взгляд соскользнул с лица Ульриха на путь к двери.

Когда они остались вдвоем, Кларисса сказала:

— Этот убийца музыкален. То есть. — Она запнулась, потом таинственно продолжила: — Сказать ничего нельзя, но ты должен что-то для него сделать.

— Что же я должен сделать?

— Освободить его.

— Ты с ума сошла!

— Ты ведь совсем не так обо всем думаешь, как говоришь Вальтеру?! — спросила Кларисса, и глаза ее, казалось, добивались от него ответа, смысла которого он не мог угадать.

— Не знаю, чего ты хочешь, — сказал он.

Кларисса упрямо посмотрела на его губы; потом повторила:

— Все равно тебе следовало бы сделать то, что я сказала; ты бы преобразился.

Ульрих глядел на нее. Он не понимал толком. Наверно, он что-то пропустил мимо ушей; какое-

нибудь сравнение или какое-нибудь «словно бы», придававшее смысл ее вдовам. Странно было слышать, что без этого смысла она говорила так естественно, как будто речь шла о чем-то обыкновенном и ею испытанном.

Но тут вернулся Вальтер.

— Могу согласиться с тобой… — начал он. Перерыв лишил этот разговор остроты.

Он снова сидел на своей табуретке у рояля и удовлетворением глядел на свои башмаки, к которым пристала земля. Он подумал: «Почему земля не пристает к башмакам Ульриха? Она — последнее спасение европейского человека».

А Ульрих глядел на ноги над башмаками Вальтера они были в черных хлопчатобумажных носках и имели некрасивую форму мягких девичьих ног.

— Надо ценить, если у человека сегодня есть еще стремление быть чем-то цельным, — сказал Вальтер.

— Этого больше нет, — ответил Ульрих. — Достаточно тебе заглянуть в газету. Она полна абсолютной непроницаемости. Там речь идет о стольких вещах, что это выше умственных способностей какого-нибудь Лейбница. Но этого даже не замечают; все стали другими. Нет больше

противостояния целостного человека целостному миру есть движение чего-то человеческого в общей питательной жидкости.

— Совершенно верно, — тотчас сказал Вальтер. — Нет больше универсального образования в гетевском смысле. Но поэтому на каждую мысль найдется сегодня противоположная мысль и на каждую тенденцию сразу же и обратная. Любое действие и противодействие находят сегодня в интеллекте хитроумнейшие причины, которыми можно и оправдать и осудить. Не понимаю, как ты можешь брать это под защиту!

Ульрих пожал плечами.

— Надо совсем устраниться, — тихо сказал Вальтер.

— Сойдет и так, — отвечал его друг. — Может быть, на пути к государству-муравейнику или к какому-нибудь другому нехристианскому разделению труда.

Про себя Ульрих отметил, что соглашаться и спорить одинаково легко. Презрение проглядывало в вежливости так же ясно, как лакомый кусок в желе. Он знал, что последние его слова рассердят Вальтера, но ему, Ульриху, отчаянно захотелось поговорить с человеком, с которым он мог бы целиком согласиться. Такие разговоры

у него с Вальтером когда-то бывали. Тут слова из груди вырывает какая-то тайная сила, и каждое попадает в самую точку. А когда говоришь неприязненно, они поднимаются как туман над плоскостью льда. Он поглядел на Вальтера без злобы. Ульрих был уверен, что и у того было чувство, что этот разговор, чем дальше он заходит, тем больше расшатывает его, Вальтера, внутреннюю убежденность, но что тот винит в этом его, Ульриха. «Все, что ни думаешь, есть либо симпатия, либо антипатия!» — подумал Ульрих. И мысль эта так живо представилась ему в тот миг верной, что он ощутил ее как физический толчок, подобный импульсу, шатающему сразу целую толпу тесно прижатых друг к другу людей. Он оглянулся на Клариссу.

Но Кларисса, по всей видимости, уже давно перестала слушать; в какой-то момент она взяла лежавшую перед ней на столе газету, потом стала копаться в себе, доискиваться, почему это доставляет ей такое глубокое удовольствие. Она чувствовала абсолютную непроницаемость, о которой говорил Ульрих, перед глазами и газету между кистями рук. Руки расправляли темноту и раскрывались сами. Руки составляли со стволом тела две поперечины, и между ними висела

газета. В этом состояло удовольствие, но слов, чтобы описать это, в Клариссе не оказалось. Она знала только, что смотрит на газету, не читая, и что ей кажется, будто в Ульрихе скрыто что-то варварски таинственное, какая-то родственная ей самой сила, но ничего более точного насчет этого ей не приходило на ум. Губы ее, правда, открылись, словно бы для улыбки, но это произошло безотчетно, в каком-то напряженно-вольном оцепенении.

Вальтер тихо продолжал:

— Ты прав, когда говоришь, что сегодня нет уже ничего серьезного, разумного или хотя бы прозрачного; но почему ты не хочешь понять, что виновата в этом как раз возрастающая разумность, которой заражено все на свете? Все мозги заражены желанием делаться все разумнее, более, чем когда-либо, рационализировать и специализировать жизнь, но одновременно и неспособностью вообразить, что из нас станет, когда мы все познаем, разложим, типизируем, превратим в машины и нормируем. Так продолжаться не может.

— Господи, — равнодушно отвечал Ульрих, — христианину монашеских времен приходилось верить, хотя он мог вообразить только небо, кото-

рое со своими облаками и арфами было довольно скучным; а мы боимся неба разума, которое напоминает нам линейки, прямые скамьи и ужасные, сделанные мелом чертежи школьных времен.

— У меня такое чувство, что следствием будет безудержный разгул фантазии, — прибавил Вальтер задумчиво. В этих словах была маленькая трусость и хитрость. Он думал о таинственной враждебности разуму в Клариссе, а говоря о разуме, доводящем эту враждебность до крайности, думал об Ульрихе. Те этого не ощущали, и это награждало его болью и торжеством человека непонятого. Охотней всего он попросил бы Ульриха не появляться больше до конца его пребывания в городе у них в доме, если бы только такая просьба не вызвала у Клариссы бунта.

Так оба молча наблюдали за Клариссой.

Кларисса заметила вдруг, что они уже не спорят, потерла глаза и приветливо подмигнула Ульриху и Вальтеру, которые под лучами желтого света сидели перед синими вечерними окнами как в стеклянном шкафу.

55

Солиман и Аргейм

У убийцы Кристиана Моосбругера была, однако, и вторая доброжелательница. Вопрос о его виновности или о его недуге взволновал несколько недель назад ее сердце столь же живо, как многие другие сердца, и у нее имелась своя концепция этого дела, несколько отличавшаяся от концепции суда. Ей нравилось имя Кристиан Моосбругер, оно вызывало у нее представление об одиноком мужчине высокого роста, который сидит у заросшей мхом мельницы и прислушивается к грохоту воды. Она была твердо убеждена, что выдвинутые против него обвинения объяснятся каким-то совершенно неожиданным образом. Когда она сидела в кухне или в столовой со своим рукодельем, случалось, что Моосбругер, сбросив с себя цепи, подходил к ней, и тогда начинались совсем уже безумные фантазии. В них отнюдь не исключалось, что если бы Кристиан познакомился с нею, Рахилью, вовремя, то он отказался бы от своей карьеры убийцы девушек и оказался разбойничьим атаманом с невероятным будущим.

Этот бедняга в своей тюрьме и не подозревал о сердце, которое билось для него, склонившись

над нуждавшимся в починке бельем Диотимы. От квартиры начальника отдела Туцци до окружного суда било совсем недалеко. Чтобы перелететь с одной крыши на другую, орлу понадобилось бы лишь раз-другой взмахнуть крыльями; но для современной души, играючи наводящей мосты через океаны и континенты, нет ничего столь невозможного, как найти связь с душами, живущими за ближайшим углом.

Поэтому магнетические токи сошли на нет, и с некоторых пор Рахиль любила вместо Моосбругера параллельную акцию. Даже сели во внутренних покоях дела налаживались не совсем так, как им следовало бы, в передних события обгоняли друг друга. Рахиль, прежде всегда находившая время читать газеты, попадавшие от хозяев в кухню, уже не успевала делать это с тех пор, как с утра до вечера стояла на страже параллельной акции маленьким часовым. Она любила Диотиму, начальника отдела Туцци, его сиятельство графа Лейнсдорфа, набоба, а с тех пор, как заметила, что Ульрих начинает играть какую-то роль в этом доме, и Ульриха тоже; так собака любит друзей своего дома: это одно чувство, а все-таки разные запахи, создающие волнующее разнообразие. Но Рахиль была умна. Что касается

Ульриха, например, то она прекрасно заметила, что он всегда немного противостоит другим, и ее фантазия начала приписывать ему особую, еще не выясненную роль в параллельной акции. Он всегда приветливо смотрел на нее, и маленькая Рахиль замечала, что особенно долго он разглядывает ее тогда, когда думает, что она этого не видит. Она не сомневалась, что он чего-то от нее хочет; вот и пускай бы; ее белая кожа съеживалась от ожидания, и из ее красивых черных глаз вылетала к нему время от времени крошечная золотая стрелка. Ульрих чувствовал искры этой малютки, когда она сновала вокруг монументальной мебели и посетителей, и это немного развлекало его.

Своей долей внимания со стороны Рахили он был в немалой мере обязан таинственным разговорам в передней, пошатнувшим господствующее положение Арнгейма; ибо этот блистательный человек имел, не зная того, кроме него и Туцци, еще и третьего врага в лице своего маленького слуги Солимана. Этот арапчонок был сверкающей пряжкой в том волшебном кушаке, которым опоясала Рахиль параллельная акция. Смешной малыш, пришедший вслед за своим господином из сказочной страны на улицу, где

служила Рахиль, он был просто принят ею во владение как часть сказки, предназначенная непосредственно ей; так было создано специально; набоб был солнцем и принадлежал Диотиме, Солиман принадлежал Рахили и был светящимся на солнце, восхитительно пестрым осколком, который она прибрала к рукам. Но мальчик был не совсем такого мнения. Несмотря на свою миниатюрность, он уже вступил в семнадцатый год жизни и был существом, полным романтики, злости и личных претензий. Арнгейм вытащил его когда-то на юге Италии из труппы плясунов и взял к себе; этот на редкость вертлявый малый с грустным обезьяньим взглядом тронул его сердце, и богач решал открыть ему более высокую жизнь. То была тоска по искренней, верной дружбе, нередко нападавшая на одинокого Арнгейма как приступ какой-то слабости, хотя он обычной прятал это чувство за усиленной деятельностью, и до того, как Солиман достиг четырнадцати лет, он обращался с ним как с равным с такой же примерно неосмотрительностью, с какой прежде в богатых домах воспитывали молочных братьев и сестер собственных детей, позволяя им участвовать во всех играх и увеселениях до того момента, когда нужно было показать, что мате-

ринская грудь вспаивает худшим молоком, чем грудь кормилицы. Днем и ночью, у письменного ли стола или во время многочасовых бесед со знаменитыми посетителями, Солиман торчал у ног, за спиной или на коленях своего господина. Он читал Скотта, Шекспира и Дюма, если именно Скотт, Шекспир и Дюма валялись на столах, и научился разбирать буквы по настольному словарю гуманитарных наук. Он ел конфеты своего господина и рано начал тайком курить его папиросы. Приходил частный учитель и давал ему — несколько нерегулярно из-за множества поездок — уроки по курсу начального обучения. При всем при том Солиман ужасно скучал и ничего не любил так горячо, как труды камердинера, в которых ему тоже разрешалось участвовать, ибо это была настоящая и взрослая деятельность, льстившая его рабочему рвению. Но однажды, и было это не так давно, его господин вызвал его к себе и дружески объяснил ему, что он, Солиман, не совсем оправдал его, господина, надежды, что он, Солиман, уже не ребенок и что он, Арнгейм, как его хозяин, отвечает за то, чтобы из Солимана, маленького слуги, вышел порядочный человек; отчего он решил обращаться с ним отныне только как с тем, кем он некогда станет, чтобы он,

Солиман, привык к этому вовремя. Многие из преуспевших в жизни людей, прибавил Аргейм, начинали чистильщиками сапог и мойщиками посуды, в чем как раз и заключалась их сила, ибо нет ничего важнее, как с самого начала целиком отдаться делу.

Этот час, когда из некоего одушевленного предмета роскоши Солиман был произведен в живущего на всем готовом слугу с небольшим жалованьем, учинил в его сердце опустошение, о котором Аргейм и не подозревал. Того, что ему изложил Аргейм, он вообще не понял, но чувством угадал смысл сказанного и с момента такой перемены в своем положении ненавидел своего господина. Он и в дальнейшем отнюдь не отказывался от книг, конфет и папирос, но если раньше он только брал то, что доставляло ему радость, то теперь он обкрадывал Аргейма вполне сознательно и, не в силах утолить эту жажду мести, иногда и просто ломал, прятал или выбрасывал вещи, которые потом, к удивлению Аргейма, смутно вспоминавшего их, никогда больше не обнаруживались. Мстя, так, по способу гнома из сказки, своему хозяину, Солиман в то же время не давал себе ни малейшей поблажки по части служебных обязанностей и приятных

манер. Он по-прежнему пользовался огромным успехом у всех поварих, горничных, у персонала гостиниц и визитерш женского пола, которые баловали его своими взглядами и улыбками, тогда как уличные мальчишки насмешливо на него глазели, и сохранил привычку чувствовать себя занимательным и важным лицом, хотя бы его и угнетали. Даже его господин дарил ему еще порой довольный и польщенный взгляд или приветливое и мудрое слово, его повсюду хвалили как милого, славного мальчика, и если случалось, что как раз недавно Солиман отяготил свою совесть чем-то особенно скверным, то, услужливо осклабливаясь, он наслаждался своим превосходством как проглоченным шариком обжигающе ледяного мороженого.

Доверие этого мальчика Рахиль завоевала в тот миг, когда сообщила ему, что в ее доме, может быть, готовится война, и с тех пор ей доводилось выслушивать от него скандальнейшие вещи об ее идоле Аргейме. Несмотря на его заносчивость, фантазия Солимана походила на подушечку для иголок, утыканную мечами и кинжалами, и во всем, что он рассказывал Рахили об Аргейме, раздавался гром подков, качались факелы и веревочные лестницы. Он доверил ей, что зовут его

вовсе не Солиманом, и назвал длинное, странно звучащее имя, которое произносил так быстро, что ей никогда не удавалось запомнить его. Позднее он прибавил тайну, что он сын негритянского князя и был украден у отца, владеющего тысячами воинов, голов скота, рабов и драгоценных камней; Аргейм купил его, чтобы потом когда-нибудь перепродать этому князю за бешеные деньги, но он, Солиман, хочет убежать и не сделал этого до сих пор только потому, что его отец живет так далеко.

Рахиль была не столь глупа, чтобы поверить этим историям; но она верила им, потому что в параллельной акции никакая мера невероятного не была для нее достаточно велика. Она бы и рада была запретить Солиману вести такие разговоры об Аргейме, но ей приходилось довольствоваться смешанным с ужасом недоверием к его, Солимана, наглости, ибо в утверждении, что его хозяину нельзя доверять, она, несмотря на все сомнения, чуяла какое-то огромное, приближающееся, увлекательное осложнение в параллельной акции.

Это были грозовые тучи, за которыми исчезал высокого роста мужчина на поросшей мхом мельнице, и мертвенно бледный свет собирал-

ся в морщинах гримас на обезьяньим личике Солимана.

56
Напряженная работа в комитетах параллельной акции. Кларисса пишет его сиятельству и предлагает год Ницше

В эту пору Ульриху приходилось бывать у его сиятельства два-три раза в неделю. Он заставал приготовленной к его приходу высокую, стройную, очаровательную уже одними своими пропорциями комнату. У окна стоял большой письменный стол времен Марии-Терезии. На стене висела темная картина с тускло светившимися красными, синими и желтыми пятнами, которая изображала каких-то всадников, протыкавших копьями другим всадникам, выбитым из седла, мягкие части тела; а на противоположной стене находилась одинокая дама, чьи мягкие части были тщательно защищены вышитым золотом осиным корсетом. Непонятно было, почему ее сослали на эту стену совершенно одну, ибо она явно принадлежала к семейству Лейнсдорфов, и ее юное напудренное лицо было так же похо-

же на лицо графа, как отпечаток ноги на сухом снегу похож на ее отпечаток в мокрой глине. Впрочем, Ульриху не часто представлялся случай разглядеть лицо графа. Со времени последнего заседания внешнее течение параллельной акции так оживилось, что его сиятельство никак не успевал посвятить себя великим идеям и должен был отдавать все свое время чтению прошений, посетителям, переговорам и выездам. Он провел уже разговор с премьер-министром, переговоры с архиепископом, совещание в дворцовой канцелярии и несколько раз в Верхней палате вступал в контакт с представителями родовое знати и одворянившейся буржуазии. Ульрих не присутствовал на этих собеседованиях и узнал лишь, что каждая сторона считалась с сильным политическим сопротивлением своей оппозиции, отчего все эти инстанции заявили, что смогут поддержать параллельную акцию тем энергичнее, чем меньше их будут упоминать в связи с ней, и пожелали, чтобы в комитетах их представляли покамест лишь наблюдатели.

К счастью, комитеты эти делали большие успехи от недели к неделе. Как было решено на учредительном заседании, они разделили мир по широким аспектам религии, образования,

торговли, сельского хозяйства и так далее, в каждом комитете сидел уже представитель соответствующего министерства, и все комитеты занимались теперь своим делом, состоявшим в том, что каждый комитет в полном согласии со всеми другими комитетами ждал представителей компетентных организаций и слоев населения, чтобы узнать и препроводить в главный комитет их пожелания, предложения и просьбы. Таким способом надеялись влить в него, предварительно систематизировав и синтезировав их, «основные» моральные силы страны и получали удовлетворение уже от того, что эта переписка все росла и росла. Письма комитетов в главный комитет могли уже вскоре ссылаться на другие письма, посланные в главный комитет ранее, и стали начинаться фразой, которая делалась с каждым разом все весомее и начиналась словами: «Ссылаясь на наше серия номер такой-то, соответственно номер такой-то дробь римская цифра…», после чего опять следовала цифра; и все эти цифры делались больше с каждым письмом. В этом было уже что-то от здорового роста, а вдобавок и посольства начали уже полуофициальными путями докладывать о впечатлении, производимом за границей этой демонстрацией

силы австрийского патриотизма; иностранные посланники уже осторожно искали случая получить информацию; насторожившиеся депутаты парламента осведомлялись о дальнейших намерениях; частная инициатива стала проявляться в запросах торговых домов, которые не стеснялись выступать с предложениями или домогались твердой основы для связи их фирмы с патриотизмом. Аппарат был налицо, и поскольку он был налицо, он должен был работать, и поскольку он работал, он начал двигаться, а если автомобиль начнет двигаться в чистом поле, то хоть и за рулем никого не будет, он все равно проделает определенный, даже очень внушительный и особенный путь.

Таким образом, возникло мощное движение вперед, и граф Лейнсдорф его чувствовал. Он надевал пенсне и с большой серьезностью читал от начала до конца все письма. То были уже не предложения и пожелания неизвестных энтузиастов, сыпавшиеся на него вначале, до того, как тут установили надлежащий порядок, и даже если эти ходатайства и запросы шли из гущи народа, то подписаны они бывали председателями альпинистских обществ, либеральных объединений, обществ попечения об одиноких девушках,

ремесленных союзов, клубов и корпораций и всех тех черновых группок, что мечутся перед переходом от индивидуализма к коллективизму, как кучки мусора перед вихревым ветром. И хотя его сиятельство соглашался не со всем, чего от него требовали, он отмечал в целом существенный прогресс. Он снимал пенсне, возвращал письмо министерскому советнику или секретарю, которым оно было передано ему, и удовлетворенно кивал головой, ни слова не проронив; у него было такое чувство, что параллельная акция находится на добром и достойном пути, а уж истинный путь приложится.

Министерский советник, получив письмо во второй раз, обычно клал его на кипу других писем, и когда последнее оказывалось сверху, читал написанное в глазах его сиятельства. Тогда уста его сиятельства обычно говорили: «Все это превосходно, но нельзя сказать ни „да“, ни „нет“, пока мы не знаем ничего основополагающего относительно средоточия наших усилий». Но именно это министерский советник читал уже в глазах его сиятельства по поводу каждого предшествующего письма, и в точности таково же было и собственное его мнение, и в руке он держал карманный карандаш в золотой оправе,

которым в конце каждого письма уже начертывал магическую формулу «рез.». Эта магическая формула «рез.», употребительная в каканских учреждениях, означала «резервировать», а в переводе «отложить для позднейшего решения», и была образцом осмотрительности, ничего не теряющей и ни в чем не проявляющей чрезмерной поспешности. Например, прошение мелкого чиновника об особом пособии по случаю родов у жены резервировалось до тех пор, пока ребенок не становился взрослым и трудоспособным, не по какой-либо другой причине, кроме как по той, что к тому времени вопрос мог ведь, чего доброго, и решиться законодательным путем, а сердце начальника не хотело преждевременно отклонять эту просьбу; но резервировалось и предложение какого-нибудь влиятельного лица или какой-нибудь инстанции, которую нельзя было обижать отказом, хотя знали, что другая влиятельная инстанция против этого предложения, и в принципе все, поступавшее в учреждение впервые, резервировалось до тех пор, пока какой-нибудь сходный случай не создавал прецедента.

Но было бы совершенно неверно смеяться над этой привычкой учреждений, ибо вне канцелярий резервирование практикуется в куда

большей мере. Даже тот факт, что в тронных присягах королей все еще встречается обещание пойти войной на турок или язычников, — это пустяк, если подумать, что в истории человечества еще ни одна фраза не была зачеркнута полностью или дописана до конца, из чего и возникает порой тот сбивающий с толку темп прогресса, который поразительно походит на крылатого вола. Притом в учреждениях ведь хоть что-то да пропадает, а в мире — ничего. Таким образом, резервирование есть одна из основных формул нашей структуры жизни. Если же что-либо казалось его сиятельству особенно срочным, он выбирал другой метод. Тогда он сперва посылал полученное предложение ко двору, своему другу графу Штальбургу, с запросом, можно ли полагать его, как он выражался, «временно окончательным». Через некоторый срок каждый раз приходил ответ, что по данному пункту в настоящий момент высочайшее соизволение передано быть не может, но представляется целесообразным дать сначала сформироваться общественному мнению и, позднее опять рассмотреть эту инициативу с учетом и того, как общественное мнение воспримет ее, и всего прочего, что потребуется впредь. Дело, в которое тем самым превращалось это предложение,

шло тогда в соответствующую министерскую инстанцию и возвращалось оттуда с пометкой, что там не считают себя достаточно компетентными для самостоятельного решения, а уж потом граф Лейнсдорф намечал себе предложить на одном из ближайших заседаний главного комитета, чтобы для изучения этого вопроса был образован межминистерский подкомитет.

Неумолимо решителен бывал он только в том единственном случае, когда поступало письмо, под которым не было подписи правления какого-либо общества или какой-нибудь официально признанной церковной, научной или художнической организации. Такое письмо пришло в эти дни от Клариссы, в нем она ссылалась на Ульриха и предлагала учредить австрийский год Ницше, а одновременно сделать что-то для убийцы женщин Моосбругера; предложить это, писала она, она чувствует себя обязанной как женщина, а также из-за знаменательного совпадения, состоящего в том, что Ницше был душевнобольным и Моосбругер тоже душевнобольной. Ульрих с трудом скрыл свою досаду за шуткой, когда граф Лейнсдорф показал ему это письмо, которое он сразу узнал по на редкость незрелому почерку с рубцами жирных горизонтальных линий и

подчеркиваний. Но граф Лейнсдорф, заметив, как ему показалось, смущение Ульриха, сказал серьезно и благосклонно:

— Это небезынтересно. Это, я сказал бы, пылко и энергично; но, к сожалению, все такие отдельные предложения мы должны отправлять ad acta,[20] иначе мы ничего не достигнем. Поскольку вы знаете даму, написавшую это письмо, вы, может быть, передадите его вашей кузине?

57
Великий подъем. Диотима делает странные открытия относительно сущности великих идей

Ульрих спрятал письмо у себя, чтобы убрать его с глаз долой, да и не так-то легко было бы заговорить об этом с Диотимой, ибо с тех пор, как вышла статья об австрийском годе, та чувствовала какой-то донельзя сумбурный подъем. Мало того что Ульрих передавал ей, до возможности непрочитанными, все дела, которые он получал от графа Лейнсдорфа, почта ежедневно доставляла кипи писем и газетных вырезок,

[20] Примечания: 20
К делам, в архив (лат.).

книготорговцы присылали на просмотр груды книг, суета в ее доме набухала, как набухает море, когда его сообща отсасывают ветер и луна, телефон тоже не умолкал ни на минуту, и если бы маленькая Рахиль не дежурила у аппарата с усердием архангела в не давала большей части справок сама, то Диотима рухнула бы под тяжестью навалившихся на нее дел.

Но этот нервный срыв, так и не наступивший, а лишь непрестанно заявлявший о своей близости дрожью каждой жилки, дарил Диотиме счастье, какого она еще не знала. Это был трепет, это была захлестывающая волна значительности, это был скрежет, как от давления на камень, венчающий мироздание, это было щекотно, как чувство пустоты, когда стоишь на возвышающейся надо всем верхушке горы. Одним словом, это было чувство своего положения, вдруг дошедшее до создания дочери скромного учителя средней школы и молодой супруги буржуа-вицеконсула, каковой она до сих пор все-таки, видимо, осталась в самых свежих сферах своего существа, несмотря ни на какие успехи в свете… Такое чувство своего положения принадлежит к незаметным, но столь же существенным элементам нашего бытия, как тот факт, что мы не замечаем вращения земли

или личного интереса, который мы вносим в свои ощущения. Поскольку человека учили, что тщеславие нельзя носить в сердце, он носит большую его часть под ногами, находясь на почве какого-нибудь великого отечества, какой-нибудь религии или какой-нибудь ступени подоходного налога, а при отсутствии такого положения он удовлетворяется тем, — и это доступно каждому, — что пребывает на высшей в данный момент точке встающей из пустоты колонны времени, то есть живет именно теперь, когда все, кто жил прежде, стали прахом, а из тех, кто будет жить позже, никого еще нет на свете. Если же это тщеславие, обычно безотчетное, вдруг по каким-либо причинам ударяет из ног в голову, то дело может дойти до легкого помешательства, похожего на блажь девственниц, воображающих, что они беременны земным шаром. Даже начальник отдела Туцци оказывал теперь Диотиме честь тем, что осведомлялся у нее о событиях и порой просил ее выполнять то или иное мелкое поручение, причем улыбка, с какой он обычно говорил о ее салоне, уступила место чинной серьезности. Все еще не было известно, насколько приемлема для высочайшей инстанции перспектива, например, оказаться во главе международной пацифистской

демонстрации, но в связи с этой возможностью Туцци озабоченно повторял свою просьбу, чтобы Диотима не вмешивалась ни в какой, пусть даже самый незначительный вопрос из области внешней политики, не посовещавшись предварительно с ним. Он даже сразу посоветовал немедленно позаботиться о том, чтобы не возникло никаких политических осложнений, если когда-либо всерьез зайдет речь о международной мирной акции. Такую прекрасную идею, объяснял он своей супруге, вовсе незачем отклонять, незачем даже в том случае, если представится возможность ее осуществить, но совершенно необходимо с самого начала держать в запасе все способы маневрирования и отступления. Затем он объяснил Диотиме различия между разоружением, мирной конференцией, встречей государей и так далее, вплоть до упомянутого уже пожертвования на украшение дворца мира в Гааге фресками местных художников. У него никогда еще не было таких деловых разговоров с супругой. Иногда он даже возвращался в спальню с кожаной папкой под мышкой, чтобы дополнить свои объяснения, например, когда забыл прибавить, что все связанное с термином «всемирная Австрия» он лично считает разумеется, лишь

применимым к какому-нибудь пацифистскому или гуманитарному мероприятию, не больше ибо большее отдавало бы опасной безответственностью, или по другому подобному поводу.

Диотима отвечала с терпеливой улыбкой:

— Я постараюсь учесть твои желания, но не преувеличивай значение для нас внешней политики. Сейчас наблюдается прямо-таки спасительный подъем внутри страны, и начало его — в безымянной гуще народа; ты не знаешь, каким количеством просьб и предложений засыпают меня каждодневно.

Она была достойна восхищения, ибо ей приходилось не подавая виду, бороться с огромными трудностями. На совещаниях большого, главного комитета, отражавшего в своей структуре такие области, как религия, правосудие сельское хозяйство, образование и так далее, всякие высокие соображения встречали ту ледяную и пугливую сдержанность, которую Диотима хорошо знала по мужу, по тем временам, когда он еще не стал так внимателен; и порой она совсем падала духом от нетерпения и не могла скрыть от себя, что это сопротивление косного мира сломить будет трудно. Насколько ясным для нее самой образом австрийский год являлся всемирно-австрий-

ским годом и должен был представлять народы Австрии прототипом всемирного содружества народов, для чего не требовалось, собственно, ничего другого, как доказать, что истинная родина духа — в Австрии, настолько же ясно обнаружилось, что для тяжелых на подъем тугодумов это нуждалось еще в каком-то особом содержании и дополнении какой-то удобопонятной, в силу своей более конкретной, чем отвлеченной природы, идеей. И Диотима часами изучала самые разные книги, чтобы найти такую идею, причем идея эта, конечно, должна была быть каким-то особым образом и символически австрийской; но Диотима делала; странные открытия относительно сущности великих идей.

Оказалось, что она живет в великое время, ибо это время полно великих идей; но осуществить самое великое и самое важное в них невероятно трудно, когда для этого даны все условия, кроме одного — что считать самым великим и самым важным! Всякий раз, когда Диотима почти уже решалась выбрать такую идею, она замечала, что осуществление прямо противоположного тоже было бы чем-то великим. Так уж устроено, и тут она ничего не могла поделать. Идеалы имеют любопытные свойства среди них и то, что они

обращаются в свою противоположность, когда их точно придерживаются. Вот, например, Толстой и Берта Зуттнер,[21] — два писателя, о чьих идеях говорили тогда примерно одинаково много, — но как же, думала Диотима, человечество добудет себе без насилия хотя бы только цыплят для жаркого? И как быть с солдатами, если, как учат эти писатели, нельзя убивать? Они, бедняги, окажутся безработными, а для преступников наступит золотая пора. А такие предложения вносились, и говорили, что уже идет сбор подписей. Диотима никогда не могла представить себе жизнь без вечных истин, а теперь она, к своему удивлению, заметила, что каждая вечная истина существует в двух и более видах. Поэтому человек разумный — а им в данном случае был начальник отдела Туцци, чью честь это даже в известной мере спасало, — питает глубоко укоренившееся недоверие к вечным истинам; он, правда, не станет оспаривать их необходимости, но он убежден, что люди, понимающие их буквально, — сумасшедшие. По его мнению, которым он рад был поделиться с женой, чтобы ей помочь, человеческие идеалы содержат некий

[21] Примечания: 21

Австрийская писательница-пацифистка, лауреат Нобелевской премии мира 1905 г.

избыток требовательности, который непременно приводит к гибели, если не принимать его уже наперед не совсем всерьез. В доказательство Туцци ссылался на то, что в учреждениях, где дело идет о серьезных вещах, таких слов, как «идеал» и «вечная истина», вообще не услышишь; референту, которому вздумалось бы употребить их в официальной бумаге, тут же предложили бы пройти медицинское освидетельствование для получения отпуска в оздоровительных целях. Но хотя и слушала его Диотима с грустью, в этих минутах слабости она в конце концов черпала и новую силу, чтобы опять уйти в свои изыскания.

Даже граф Лейнсдорф был поражен ее умственной энергией, когда он наконец нашел время заглянуть посоветоваться. Его сиятельству хотелось демонстрации, идущей из гущи народа. Он искренне желал узнать волю народа и облагородить ее осторожным влиянием сверху, ибо хотел передать ее некогда его величеству не как дар, отдающий византийством, а как знак сознательности народов, втянутых в водоворот демократии. Диотима знала, что его сиятельство все еще не отказался от идеи «императора-миротворца» и от блестящей манифестации истинной Австрии, хотя он и не отклонял в принципе пред-

ложения насчет всемирной Австрии, поскольку оно способно как следует выразить чувство сплоченной вокруг своего патриарха семьи народов. Из этой семьи, впрочем, его сиятельство украдкой и молча убирал Пруссию, хотя не находил никаких возражений против фигуры доктора Арнгейма и даже недвусмысленно определил ее как интересную.

— Нам ведь, конечно, не нужно ничего патриотического в устаревшем смысле, — напоминал он, — мы должна встряхнуть нацию, мир. Идею проведения австрийского года я нахожу очень хорошей, да и сам я, собственно, сказал журналистам, что к такой цели воображение публики направить следует. Но задумывались ли вы уже над тем, дорогая, что нам делать в этом австрийском году, если будет решено его провести? Вот видите! Знать это тоже нужно. Тут нужно немножко посодействовать сверху, не то ведь возобладают незрелые элементы. А я совершенно не нахожу времени придумать что-либо!

Диотима нашла его сиятельство озабоченным и с живостью ответила:

— Увенчать акцию можно только каким-то великим знаком! Это ясно. Она должна тронуть сердце мира, но требует и влияния сверху. Это

бесспорно. Австрийский год — великолепное предложение, но еще прекрасней, по-моему, был бы год всего мира; всемирно-австрийский год, когда европейский дух увидел бы в Австрии истинную свою родину!

— Осторожней! Осторожней! — предостерег граф Лейнсдорф, который часто уже приходил в испуг от духовной смелости своей приятельницы. — Ваши идеи, пожалуй, всегда немножко слишком велики, Диотима! Вы говорили об этом и раньше, знаю, но осторожность никогда не мешает. Так что же вы придумали, что мы, по-вашему, должны делать в этом австрийском году?

Но этим вопросом граф Лейнсдорф, движимый прямотой, которая придавала его уму такое своеобразие, угодил в самое больное место Диотимы.

— Ваше сиятельство, — сказала она, немного помедлив, — вы хотите получить у меня ответ на самый трудный в мире вопрос. Я намерена как можно скорее созвать у себя некий круг выдающихся людей, писателей и мыслителей, и хочу дождаться предложений этого собрания, прежде чем что-либо говорить.

— Превосходно! — воскликнул его сиятельство, сразу же склонившись к выжиданию. — Превосходно! Осторожность никогда не мешает? Если

бы вы знали, чего только мне не приходится теперь слышать каждый божий день!

58
Параллельная акция вызывает тревогу. Но в истории человечества не бывает добровольных поворотов назад

Однажды у его сиятельства нашлось также время подробнее поговорить с Ульрихом.

— Мне этот доктор Арнгейм не очень приятен, — доверился ему граф. — Спору нет, человек необычайного ума, не приходится удивляться вашей кузине; но в конце концов он пруссак. Он за всем так наблюдает. Знаете, когда я был маленьким мальчиком, в шестьдесят пятом году, мой покойный отец принимал в замке Хрудим какого-то приехавшего поохотиться гостя, и тот тоже все время так наблюдал за всем, а через год выяснилось, что ни одна душа не знала, кто его, собственно, ввел в наш дом и что он был майором прусского генерального штаба! Разумеется, я не хочу ничего этим сказать, но мне неприятно, что Арнгейм все о нас знает.

— Ваше сиятельство, — сказал Ульрих, — я рад, что вы предоставляете мне случай высказаться. Пора что-то предпринять; есть вещи, заставляющие меня задуматься и которых лучше бы не видеть иностранному наблюдателю. Ведь параллельная акция должна вызывать у всех счастливое волнение, ведь вы, ваше сиятельство, тоже хотите этого?

— Ну конечно!

— А получается как раз обратное! — воскликнул Ульрих. — У меня такое впечатление, что у всех образованных людей она вызывает явную тревогу и грусть!

Его сиятельство покачал головой и покрутил одним большим пальцем вокруг другого, как всегда делал, когда душу его омрачала задумчивость. И правда, у него тоже были наблюдения, сходные с теми, о которых ему сообщил Ульрих.

— С тех пор, как стало известно, что я имею какое-то отношение к параллельной акции, — продолжал тот, — стоит лишь кому-нибудь заговорить со мной на общие темы, как он заявляет мне: «Чего, собственно, вы хотите достичь этой параллельной акцией? Ведь на свете нет уже ни великих подвигов, ни великих людей!»

— Да, только самих себя они не имеют при

этом в виду! — вставил его сиятельство. — Знакомое дело, мне тоже случается слышать такое. Крупные промышленники ругают политику, от которой им перепадает мало протекционных пошлин, а политики ругают промышленность, отпускающую слишком мало средств на избирательную кампанию.

— Совершенно верно! — подхватил Ульрих. — Хирурги безусловно думают, что хирургия ушла вперед со времен Бильрота; они говорят только, что прочая медицина и все естествознание приносит хирургии слишком мало пользы. Я даже, с позволения вашего сиятельства, сказал бы, что и богословы убеждены, что со времен Христа богословие как-то продвинулось…

Граф Лейнсдорф поднял руку, мягко протестуя.

— Прошу прощения, если сказал что-то не к месту, да в этом и не было нужды; ведь то, к чему я клоню, означает, по-видимому, что-то весьма общее. Хирурги, как я сказал, утверждают, что естествознание выдает не совсем то, чего от него надо бы ждать. А если говоришь о современности, наоборот, с естествоиспытателем, то он жалуется на то, что вообще-то он не прочь бы заглянуть в сферы более высокие, но в театре скучает и не находит романа, который его занимал бы и

волновал. А поговори с писателем, он скажет, что нет веры. А заговорив, поскольку богословов я больше касаться не стану, с художником, можно быть почти уверенным, что он заявит, что в эпоху с такой убогой литературой и философией художники не могут проявить свой талант в полную меру. Последовательность, в какой один валит на другого, не всегда, конечно, одна и та же, но каждый раз есть в этом что-то от детской карточной игры в «дурачки», если вы, ваше сиятельство, ее знаете, или от игры в «соседи»; а вывести правило, лежащее в основе этого, или закон я не могу? Боюсь, что чем-то в отдельности и собою самим каждый человек еще как-то доволен, но в общем ему по какой-то универсальной причине не по себе в своей шкуре, и кажется, что назначение параллельной акции — выявить это.

— Господи, — отвечал на эти рассуждения его сиятельство, и было не вполне ясно, что он имеет в виду, — сплошная неблагодарность!

— Между прочим, — продолжал Ульрих, — у меня набралось уже две папки предложений общего характера, возвратить которые вашему сиятельству я еще не нашел случая. Одну из них я озаглавил «Назад к …!». Поразительное множество лиц сообщает нам, что в прежние

времена мир находился в лучшем, чем теперь, положении, к каковому параллельной акции достаточно его только вернуть. Помимо само собой разумеющегося желания «назад к вере», есть еще «назад к барокко», «к готике», «к природе», «к Гете», «к германскому праву», «к чистоте нравов» и всякое другое.

— Гм, да; но, может быть, во всем этом есть какая-нибудь истинная мысль и ее не следовало бы расхолаживать? — возразил граф Лейнсдорф.

— Возможно; но как отвечать? «Внимательно изучив Ваше многоуважаемое от такого-то числа, мы полагаем, что в данный момент еще не пришла пора…»? Или: «Прочитав с интересом, просим Вас сообщить детали, касающиеся Вашего пожелания относительно возврата мира к барокко, готике и так далее»?

Ульрих улыбнулся, но граф Лейнсдорф нашел, что тот в эту минуту несколько чересчур весел, и стал, протестуя, изо всей силы вращать один большой палец вокруг другого. Лицо его с толстыми прямыми усами напомнило, посуровев, времена Валленштейна, и он сделал одно очень примечательное заявление.

— Дорогой доктор, — сказал он, — в истории человечества не бывает добровольных поворотов

назад!

Это заявление поразило прежде всего самого графа Лейнсдорфа, ибо сказать он хотел, собственно, нечто совсем другое. Он был консервативен, он сердился на Ульриха и хотел заметить, что буржуазия отвергла универсальный дух католической церкви и сама же теперь страдает от последствий этого. Впору было также воздать хвалу абсолютному централизму, при котором мир управлялся еще сознающими свою ответственность людьми по каким-то единым принципам. Но пока он искал слов, ему вдруг пришло в голову, что он был бы действительно неприятно удивлен, если бы, проснувшись однажды утром, обнаружил, что нет ни теплой ванны, ни железных дорог, а вместо утренних газет по улицам скачет на коне императорский глашатай. И граф подумал: «Что было однажды, то никогда не повторится точно таким же образом», и, думая так, он очень удивлялся. Ведь при допущении, что в истории не бывает добровольных поворотов назад, человечество, походит на человека, которого ведет вперед жутковатая страсть к бродяжничеству, который не может ни вернуться назад, ни достигнуть какой-то цели, а это очень примечательное состояние.

Вообще-то его сиятельство обладал чрезвычайной способностью так удачно разъединять две противоречащие друг другу мысли, что они никогда не встречались в ее сознании, но эту мысль, направленную против всех его принципов, ему следовало отклонить. Однако он испытывал уже известную симпатию к Ульриху, и когда выдавалось свободное от дел время, графу доставляло большое удовольствие строго логично объяснять политические; предметы этому человеку живого ума и отличной рекомендации, который только как буржуа стоял несколько в стороне от действительно великих вопросов. Но уж когда пускаешь в ход логику, так что каждая мысль сама вытекает из предыдущей, то потом и сам не знаешь, чем все это кончится. Поэтому граф Лейнсдорф не взял своих слов обратно, а только молча и проникновенно взглянул на Ульриха.

Ульрих взял в руки еще одну, вторую папку и воспользовался паузой, чтобы передать его сиятельству обе.

— Вторую мне пришлось озаглавить «Вперед к ...!», — начал он объяснять, но его сиятельство встрепенулся и нашел, что время уже истекло. Он настойчиво попросил отложить продолжение до другого раза, когда будет больше времени на

раздумье.

— Кстати, ваша кузина соберет у себя для этих целей самые выдающиеся умы, — сообщил он уже стоя. — Сходите туда; сходите туда, пожалуйста, непременно; не знаю, дозволено ли будет присутствовать при этом мне самому.

Ульрих сложил папки, и уже в темноте дверного проема граф Лейнсдорф обернулся еще раз.

— Великий эксперимент, конечно, всех подавляет; ничего, мы их встряхнем!

Его чувство долга не позволяло оставить Ульриха без утешения.

59
Моосбругер размышляет

Тем временем Моосбругер обосновался, как мог, в своей новой тюрьме. Едва закрылись ворота, как на него прикрикнули. Когда он возмутился, ему, насколько он помнил, пригрозили побоями. Его сунули в камеру-одиночку. На прогулку по двору его выводили в наручниках, и сторожа в это время не спускали с него глаз. Его остригли, хотя приговор еще не вступил в силу, якобы для измерения роста. Его натерли вонючим серым мылом, под предлогом дезинфекции. Он был ста-

рый бродяга, он знал, что все это незаконно, но за железными воротами не так-то просто постоять за себя. Они делали с ним что хотели. Он потребовал, чтобы его отвели к начальнику тюрьмы, и пожаловался. Начальник должен был признать, что кое-что не соответствует инструкции, но это не наказание, сказал он, а мера предосторожности. Моосбругер пожаловался тюремному священнику; но это был добрый старик, чье ласковое попечение о душе имело ту устаревшую слабость, что оно пасовало перед сексуальными преступлениями. Он отшатывался от них со всем недоумением тела, никогда и стороной ими не задевавшегося, и даже испугался того, что своей честной наружностью Моосбругер вызвал в нем слабость личного сострадания; он направил его к тюремному врачу, а сам, как во всех таких случаях, только послал мольбу творцу, которая не входила ни в какие подробности и говорила о земных заблуждениях в столь общей форме, что в момент молитвы Моосбругер подразумевался в точно такой же мере, как вольнодумцы и атеисты. Врач же сказал Моосбругеру, что все, на что тот жалуется, не так уж и страшно, дал ему шлепка и не захотел вникать в его претензии, ибо, насколько понял Моосбругер, это было излишне, пока на

вопрос, болен он или симулирует, не ответила медицинская экспертиза. В ярости Моосбругер смутно чувствовал, что все они говорили так, как им было удобно, и что это-то говоренье и давало им силу обходиться с ним так, как они хотели. У него было свойственное простым людям чувство, что образованным следовало бы отрезать язык. Он глядел в докторское лицо со шрамами, в высохшее изнутри священническое лицо, в строго прибранное канцелярское лицо администратора, видел, как каждое смотрит в его лицо по-другому, и сквозило в этих лицах что-то недостижимое для него, но общее им всем, что всю жизнь было его врагом.

Та сжимающая сила, которая на воле втискивает каждого человека с его самомнением в массу всей другой плоти, была под крышей исправительного дома, несмотря на дисциплину, немного мягче, ведь здесь все жили ожиданием, и живое отношение людей друг к другу, даже если оно было грубым и резким, выхолащивалось тенью нереальности. На спад напряжения после борьбы судебного разбирательства Моосбругер реагировал всем своим сильным телом. Он казался себе шатающимся зубом. Кожа у него зудела. Он чувствовал себя зараженным и несчастным. То

была жалобная, нежно-нервная сверхчувствительность, иногда на него нападавшая; женщина которая лежала под землей и заварила ему эту кашу, виделась ему грубой, злой бабищей, а сам он казался ее ребенком по сравнению с ней. И все-таки в целом Моосбругер не был в обиде; по многим признакам он замечал что он здесь важная персона, и это льстило ему. Да довольствие, положенное всем без различия заключенным доставляло ему удовлетворение. Государство обязано было кормить их, купать, одевать и заботиться об их работе, книгах и об их пенье, с тех пор как они в чем-то провинились, а дотоле оно никогда не делало этого. Моосбругер наслаждался этим вниманием, хотя оно было и строгим, как ребенок, которому удалось заставить мать занимать им, пусть и со злостью; но он не хотел, чтобы оно длило долго; мысль, что его помилуют пожизненной тюрьме или снова передадут в психиатрическую лечебницу, вызывала в нем то сопротивление, какое мы чувствуем, когда все наши усилия уйти от своей жизни снова и снова возвращают нас в те же ненавистные ситуации. Он знал, что его защитник хлопочет о пересмотре дела и что его еще раз должны освидетельствовать, но он решил вовремя выступить против

этого и настоять на том, чтобы его убили.

В том, что его уход должен быть достойным его, он не сомневался, ибо его жизнь была борьбой за его право. В одиночке Моосбругер размышлял о том, что такое право. Сказать это он не мог. Но это было то, чего ему не давали всю жизнь. В тот миг, когда он об этом думал, чувство его набухало. Язык его изгибался и начинал двигаться, как жеребец, обученный церемониальному шагу; так изысканно пытался выразить это его язык. «Право, — думал он чрезвычайно медленно, чтобы определить это понятие, и думал так, словно говорил с кем-то, — право — это когда не поступаешь несправедливо, так ведь?» И вдруг его осенило: «Право — это закон». Вот оно что, его право было его законом! Он поглядел на свое деревянное ложе, чтобы сесть, неспеша повернулся, сделал безуспешную попытку подвинуть привинченный к полу топчан и медленно на него опустился. Ему не дали его закона! Он вспомнил хозяйку, которая была у него в шестнадцать лет. Ему приснилось, что у него вздувается на животе что-то холодное, потом оно исчезло в его теле, он закричал, упал с кровати, а на следующее утро чувствовал себя совсем разбитым. И вот другие подмастерья как-то сказали ему, что если пока-

зать женщине кулак, просунув большой палец между средним и указательным, то ей никак не устоять. Он был в смятении; они все уверяли, что уже это испробовали, но когда он думал об этом, земля уходила у него из-под ног или голова начинала держаться на шее как-то иначе, — словом, с ним происходило что-то, чуть-чуть отступавшее от естественного порядка и не совсем безопасное. «Хозяйка, — сказал он, — я хочу сделать вам приятное...» Они были одни, она посмотрела ему в глаза, прочла в них, по-видимому, что-то и ответила: «А ну вон из кухни!» Тогда он показал ей кулак с просунутым большим пальцем. Но колдовство подействовало только наполовину; хозяйка побагровела и быстро, так что он не успел увернуться, ударила его по лицу деревянной ложкой; он понял это лишь тогда, когда кровь полилась у него по губам. Но этот миг он прекрасно помнил, ибо кровь вдруг повернула, потекла вверх и поднялась выше глаз; он бросился на эту могучую бабу, которая его так мерзко обидела, прибежал хозяин, и все, что произошло с той минуты до той, когда он с подкашивающимися ногами стоял на улице, а ему вслед швырнули его пожитки, было как если бы рвали в клочья большую красную тряпку. Так высмеяли и побили его

закон, и он стал снова бродяжничать. Можно ли найти закон на дороге?! Все бабы уже были чьим-то законом, и все яблоки и места для ночлега; а жандармы и участковые судьи были хуже собак.

Но за что, собственно, надо было всегда хватать его людям и почему они бросали его в тюрьмы и сумасшедшие дома, этого Моосбругер так никогда и не мог толком узнать. Он долго пялился на пол и на углы своей камеры; он чувствовал себя как человек, уронивший на землю ключ. Но он не мог найти его; пол и углы опять становились при свете дня серыми и трезвыми, хотя еще только что они были как какая-то фантастическая почва, на которой вдруг вырастает вещь или человек, если упадет слово. Моосбругер напрягал всю свою логику. Точно вспомнить он способен был лишь все места, где это начиналось. Он мог бы перечесть их и описать. Один раз это было в Линце, а другой раз в Брайле. В промежутке прошло много лет. А последний раз здесь в городе. Он видел перед собой каждый камень. Так ясно, как это обычно не бывает с камнями. Он помнил также скверное настроение, которым каждый раз это сопровождалось. Словно у него в жилах был яд вместо крови, можно сказать, или что-то в этом роде. Он, например, работал под открытым

небом, а женщины проходили мимо; он не хотел глядеть на них, потому что они мешали ему, по проходили все новые и новые; в конце концов глаза его начинали с отвращеньем следить за ними, и опять это медленное поворачивание глаз туда и сюда было таким, словно они шевелились в смоле или в застывающем цементе. Затем он замечал, что мысли его тяжелеют. Думал он и так медленно, слова затрудняли его, ему всегда не хватало слов, и порой, когда он с кем-нибудь говорил, случалось, что тот вдруг удивленно глядел на него и не понимал, как много значило отдельное слово, медленно произнесенное Моосбругером. Он завидовал всем, кто уже смолоду научился легко говорить; когда он нуждался в словах больше всего, они, как назло, прилипали резиной к небу, и тогда, бывало, проходило безмерное время, прежде чем слог отрывался и снова продвигался вперед. Напрашивалось объяснение, что причины тому какие-то неестественные. Но когда он говорил на суде, что таким способом его преследуют масоны, или иезуиты, или социалисты, его не понимал никто. Говорить юристы умели, конечно, лучше, чем он, и они всячески ему возражали, но они понятия не имели, в чем тут дело.

И когда это длилось некоторое время, Моосбругера охватывал страх. Попробуй-ка выйти со связанными руками на улицу и поглядеть, как ведут себя люди! Сознание, что его язык или что-то находившееся внутри у него еще глубже как бы схвачено клеем, наполняло его жалкой неуверенностью, которую он целыми днями должен был стараться скрыть. Но потом появлялась вдруг резкая, можно даже сказать, беззвучная граница. Внезапно веяло холодом. Или в воздухе, вплотную перед ним, возникал большой шар и влетал ему в грудь. И в тот же миг он что-то чувствовал в себе, в глазах, на губах или в мышцах лица; все кругом исчезало, чернело, и когда дома ложились на деревья, из кустов выскакивала, может быть, кошка-другая и давала стрекача. Продолжалось это только одну секунду, а потом это состояние проходило.

И тут-то, собственно, и начиналось время, о котором они все хотели что-то узнать и без конца говорили. Они выдвигали против него самые нелепые возражения, а сам он, к сожалению, помнил испытанное им лишь смутно, только по общему смыслу. Ибо эти периоды бывали полны смысла! Длились они иногда минуты, но иногда затягивались и на целые дни, а иногда

переходили в другие, похожие, которые могли продолжаться месяцами. Если начать с этих, как с более простых, доступных я пониманию судьи, по мнению Моосбругера, то тогда он слышал голоса или музыку или же шорохи и жужжанье, а также гул и звон или стрельбу, гром, смех, крики, говор и шепот. Это надвигалось отовсюду; это было в стенах, в воздухе, в одежде и в его теле. Ему казалось, что он носит это в теле с собой, пока это молчало; а как только это выходило, оно пряталось в окружающем, но всегда не очень далеко от него. Когда он работал, голоса убеждали его большей частью очень отрывочными словами и короткими фразами, они ругали и критиковали его, а когда он что-то думал, они высказывали это, прежде чем успевал высказать он сам, или со зла говорили противоположное тому, что хотел сказать он. Моосбругеру было просто смешно, что из-за этого его хотели объявить больным; сам он обходился с этими голосами и видениями не иначе, чем с обезьянами. Ему было забавно слышать и видеть, что они вытворяют; это было несравненно прекраснее тягучих, тяжелых мыслей, которые были у него самого; но когда они очень досаждали ему, он впадал в гнев, это было в конце концов совершенно естественно.

Будучи очень внимателен ко всем словам, которые применялись к нему, Моосбругер знал, что это называют галлюцинациями, и соглашался с тем, что способность к галлюцинациям составляет его преимущество перед теми, кто ею не обладает; ибо он видел многое, чего другие не видят, красивые пейзажи и адских зверей, но важность, которую этому придавали, он находил сильно преувеличенной, а когда пребывание в психиатрических лечебницах делалось очень уж неприятным ему, он, не долго думая, утверждал, что все врет. Умники спрашивали его, насколько оно громко; толку в этом вопросе было мало: конечно, иной раз то, что он слышал, было громко, как удар грома, а иной раз это был тихий-претихий шепот. Также и боли, порой его мучившие, могли быть невыносимыми или совсем легкими, как что-то воображаемое. Не в этом была важность. Часто он не смог бы описать точно, что он видел, слышал и ощущал; однако он знал, что это было. Это бывало иногда очень неотчетливо; видения приходили извне, но проблеск наблюдательности говорил ему в то же время, что идут они все-таки из него самого. Важно было то что не составляет никакой важности, находится ли что-то снаружи или внутри; в его состоянии это

было как светлая вода по обе стороны прозрачной стеклянной стенки.

И в великие свои времена Моосбругер совсем не обращал внимания на голоса и видения, а думал. Он называл это так, потому что слово это всегда производило на него впечатление. Он думал лучше, чем другие, ибо думал снаружи и внутри. В нем думалось против его воли. Он говорил, что мысли в него закладываются. И хотя он не терял своей спокойной мужской медлительности, его волновал и малейший пустяк, как то бывает с женщиной, когда груди ее набухают от молока. Его мысли текли тогда как ручей, питаемый сотнями родников, через тучный луг.

Теперь Моосбругер опустил голову и глядел на дерево у него между пальцами. «Здесь люди называют белку кошкой-дубнячкой, — пришло ему в голову. — Но попробуй-ка всерьез и с серьезным видом сказать „дубняковая кошка“! Все удивленно подняли бы глаза, как если бы на маневрах среди перестрелки холостыми раздался вдруг настоящий выстрел! А в Гессене зато говорят „лиса-древесница“. Человек бывалый знает такие вещи». А психиатры изображали бог знает какое любопытство, когда они показывали Моосбругеру цветную картинку с белкой, а он

им отвечал: «Это, пожалуй, лиса или, возможно, заяц; а может быть, и кошка или что-нибудь такое». Тогда они каждый раз довольно быстро спрашивали его: «Сколько будет четырнадцать да четырнадцать?» И он отвечал им неторопливо: «Так, примерно, двадцать восемь — сорок». Это «примерно» вызывало у них затруднения, над которыми Моосбругер усмехался. Ведь это же совсем просто; он тоже знает, что дойдешь до двадцати восьми, если от четырнадцати пройти на четырнадцать дальше, но кто сказал, что там надо остановиться? Взгляд Моосбругера скользит еще немного дальше, как взгляд человека, который достиг гребня холма, вырисовывавшегося на фоне холма, и теперь видит, что за этим холмом много других таких же. И если кошка-дубнячка не кошка и не лиса и бывает такого цвета, как заяц, которого жрет лиса, то не надо так мелочно разбирать эту штуку, ведь она как-то сшита из всего этого и бегает по деревьям. По опыту и убеждению Моосбругера, ни одну вещь не следовало брать в отрыве от прочих, потому что одно цеплялось за другое. И в его жизни уже случалось, что он говорил какой-нибудь девушке «Ваш алый, как роза, ротик!», а слова эти рвались вдруг по швам, и возникало что-то очень неприятное:

лицо делалось серым, похожим на землю, по которой стелется туман, а на длинном стволе торчала роза; тогда искушение взять нож и отрезать ее или нанести ей удар, чтобы она вернулась на свое место в лице, бывало огромным. Конечно, Моосбругер не всегда брал сразу нож; он делал это только тогда, когда иначе не мог справиться. Обычно он как раз и пускал в ход всю свою исполинскую силу, чтобы не дать миру распасться.

При хорошем настроении он мог посмотреть человеку и лицо и увидеть в нем свое собственное лицо, как если бы оно меж рыбок и светлых камешков глядело назад из какого-нибудь ручейка; а в плохом настроении ему достаточно было лишь бегло взглянуть на лицо человека, чтобы узнать, что это тот самый, с кем он везде ссорился, хотя тот каждый раз притворялся другим. Что можно ему возразить?! Мы все почти всегда ссоримся с одним и тем же человеком. Если бы исследовать, кто те, к кому мы так нелепо привязаны, то оказалось бы, что это человек с ключом, к которому у нас есть замок. А в любви? Сколько людей изо дня в день глядят в одно и то же любимое лицо, а закрыв глаза, уже не могут сказать, как оно выглядит. Или даже без любви и ненависти: сколько перемен непрестанно претерпевают

вещи в зависимости от привычки, настроения и точки зрения! Как часто выгорает радость и показывается неразрушимое ядро печали?! Как часто человек равнодушно избивает другого, а мог бы точно так же оставить его в покое. Жизнь образует поверхность, прикидывающуюся, будто она должна быть такой, какова есть, но под ее кожей вещи толкаются и напирают. Моосбругер всегда стоял на земле обеими ногами, разумно стараясь избегать всего, что могло его смутить; но иногда слова разрывались у него на языке, и какая революция, какая фантасмагория вещей била тогда ключом из таких остывших, выгоревших слов, как «кошка-дубнячка» или «алые губки»!

Сидя в камере на скамье, которая была также его кроватью и его столом, он клял воспитание, не научившее его выражать свой опыт так, как то следовало бы. Та маленькая, с мышиными глазками, что и теперь, когда она давно уже лежала под землей, причиняла ему столько неприятностей, злила его. Все были на ее стороне. Он тяжело встал. Он чувствовал, что рассыпается, как обуглившееся дерево. Ему снова хотелось есть; тюремный рацион был слишком скуден для этого великана, а денег, чтобы улучшить его, у него не было. В таком состоянии он никак не мог припом-

нить все, что от него хотели узнать. Тогда просто наступила одна из таких перемен, на сколько-то дней, на сколько-то недель, как наступает март или апрель, а на поверхности-то и случилась эта история. Он не знал о ней больше, чем значилось в полицейском протоколе, и не знал даже, как она попала туда. Причины, соображения, которые он помнил, — их он и так изложит на суде; а то, что реально произошло, представлялось ему таким, словно он вдруг бегло сказал на чужом языке что-то, что сделало его очень счастливым, но чего он уже не мог повторить.

«Поскорее бы только все это кончилось!» — подумал Моосбругер.

60
Экскурсия в царство логики и морали

Все, что можно было сказать о Моосбругере с юридической точки зрения, уместилось бы в одной фразе. Моосбругер был одним из тех пограничных случаев, которые не профанам в юриспруденции и судебной медицине известны как случаи ограниченной вменяемости.

Характерно для этих несчастных, что у них не только неполноценное здоровье, но и неполно-

ценная болезнь. Природа обладает странным пристрастием — создавать таких людей в огромном количестве; natura non fecit saltus, природа не делает скачков, она любит переходы и, по большому счету, тоже держит мир в переходном состоянии между слабоумием и здоровьем. Но юриспруденция не принимает этого к сведению. Она говорит: non datar tertium sive medium inter duo contradictoria, то есть человек либо способен к противозаконным действиям, либо нет, ибо между двумя противоречиями нет третьего и среднего. В силу этой способности он становится наказуем, в силу этого своего свойства, наказуемости, он становится лицом юридическим, а как лицо юридическое он получает долю сверхличной благодати закона. Кому это невдомек, тот пусть подумает о кавалерии. Если при каждой попытке вскочить на нее лошадь ведет себя как бешеная, то за ней ухаживают с особой тщательностью, ей достаются самая мягкая сбруя, лучшие наездники, отборный корм и терпеливей всего обращаются именно с ней. Если же в чем-то провинится кавалерист, то его бросают в полную блох клетку, лишают пищи и надевают на него кандалы. Основано это различие на том, что лошадь принадлежит к эмпирическому животному

царству, а драгун причастен к царству логики и морали. В этом смысле человека от животного и, можно прибавить, от душевнобольного отличает то, что он по своим умственным и нравственным свойствам способен действовать наперекор закону и совершить преступление и поскольку, стало быть лишь наказуемость есть то свойство, которое возводит его в ранг человека нравственного, понятно, что юрист должен железно держаться за нее.

Вдобавок, увы, судебные психиатры, призванные, казалось бы, тому противиться, бывают обычно при исполнении своих профессиональных обязанностей гораздо трусливее, чем юристы; действительно больными они признают только тех, кого они не могут вылечить, что является огромным преувеличением, ибо вылечить других они тоже не могут. Они различают неизлечимые душевные болезни, затем такие, которые с божьей помощью сами собой пойдут со временем на поправку, и наконец такие, которых врач, правда, тоже не может вылечить, но пациент мог бы избежать, при условии, конечно, что волею небес на него вовремя подействовали бы надлежащие влиянии и соображения. Эта вторая и третья группы поставляют тех просто неполно-

ценных больных, с которыми ангел медицины, правда, обходится как с больными, когда принимает их в порядке частной практики, но которых он робко передает в ведение ангела права, когда сталкивается с ними в практике судебной.

Таким случаем был Моосбругер. В течение его честной жизни, прерывавшейся преступлениями ужасного кровавого хмеля, его столько же раз задерживали в сумасшедших домах, сколько выпускали оттуда, и признавали и паралитиком, и параноиком, и эпилептиком, и одержимым циркулярным психозом, пока в ходе последнего процесса два особенно добросовестных судебных врача не вернули ему здоровье. Конечно, в большом, набитом людьми зале не было тогда никого, включая и тех двоих, кто не считал бы, что Моосбругер в каком-то роде болен; но это был не тот род болезни, который отвечал поставленным законом условиям и мог быть признан добросовестными умами. Ведь кто частично болен, тот, на взгляд правоведов, частично и здоров; а кто частично здоров, тот хотя бы частично вменяем; а кто вменяем частично, тот вменяем вполне; ибо вменяемость — это, как они говорят, такое состояние человека, в котором у него есть сила самому независимо ни от какой принуждающей

его необходимости, определить для себя какую-то определенную цель, а такую определенность нельзя одновременно иметь и не иметь.

Это, правда, не исключает наличия лиц, чье состояние и чьи задатки мешают им противостоять «безнравственным побуждениям» и «склонить чашу весов к добру», как выражаются юристы, и таким лицом, в котором обстоятельства, другого человека вовсе не задевающие, уже вызывают «решимость» совершить наказуемое действие, был Моосбругер. Но, во-первых, его умственные способности были, на взгляд суда, настолько исправны, что, пусти он их в ход, преступление вполне могло бы остаться несовершенным, и, значит, не было оснований отнимать у него нравственное благо ответственности. Во-вторых, правовой порядок требует, чтобы каждое преступное действие было наказано, если оно было совершено сознательно и намеренно. А в-третьих, юридическая логика предполагает, что у всех душевнобольных — за исключением тех совсем уж несчастных, что высовывают язык, когда их спрашивают, сколько будет семью семь, или говорят «я», когда нужно назвать имя его кайзеровского и королевского величества, — есть еще какой-то минимум способности различать

и самоопределяться, и нужно только особое напряжение ума и силы воли, чтобы распознать преступный характер того или иного действия и воспротивиться преступным побуждениям. Но этого, пожалуй меньше всего можно требовать от столь опасных субъектов.

Суды похожи на погреба, где мудрость предков лежите в бутылках; их открываешь — и плакать хочется: до чего же негодным для употребления становится высший перебродивший градус человеческого стремления к точности, прежде чем он успевает достичь совершенства. Тем не менее он, видимо, опьяняет незакаленных людей. Общеизвестно, что, наслушавшись юристов, ангел медицины очень часто забывает собственную свою миссию. Тогда он со звоном складывает крылья и ведет себя в зале суда как запасной ангел юриспруденции.

61
Идеал трех статей, или Утопия точной жизни

Так пришел Моосбругер к своему смертному приговору, и только благодаря влиянию графа Лейнсдорфа и его расположению к Ульриху со-

хранились виды на еще одно психиатрическое освидетельствование. Ульрих, однако, вовсе не собирался тогда печься о судьбе Моосбругера и в дальнейшем. Унылая смесь жестокости и несчастности, составляющая естество таких людей, была ему так же неприятна, как смесь точности и небрежности, являющаяся признаком выносимых им приговоров. Он точно знал, что ему думать о Моосбругере, когда трезво рассматривал этот случай, и какие меры надо попробовать применить к таким людям, которым не место ни в тюрьме, ни на свободе, да и в сумасшедших домах тоже нечего делать. Но ему было столь же ясно, что это знали и тысячи других людей, что каждый такой вопрос они без конца разбирают, подходя к нему с тех сторон, которые им особенно интересны, и что государство в конце концов убьет Моосбругера, потому что при таком состоянии незрелости это просто яснее, дешевле и надежней всего. Может быть, оно и жестоко — примириться с этим, но и скоростные средства передвижения требуют больше жертв, чем все тигры Индии, а бессовестность и беспечность нашего к этому невозмутимого отношения есть, с другой стороны, явная причина наших неоспоримых успехов.

Самое знаменательное свое выражение этот склад ума, такой зоркий, когда речь идет о чем-то ближайшем, и такой слепой, когда речь идет обо всем в целом, получает в идеале, который можно назвать идеалом труда всей жизни, состоящего не больше, чем из трех статей. Есть виды умственной деятельности, где предмет гордости человека составляют не большие книги, а маленькие статьи. Если бы кто-нибудь, например, открыл, что при обстоятельствах доселе еще не наблюдавшихся, камни способны говорить, ему понадобилось бы всего несколько страниц, чтобы описать и объяснить такое сногсшибательное явление. Зато о благомыслии можно всегда написать еще одну книгу, и дело это отнюдь не узкоакадемическое, ибо это означает метод, которым никогда не удастся выяснить важнейшие вопросы жизни. Разновидности человеческой деятельности можно разделить по числу слов, которые им нужны: чем больше слов, тем хуже обстоит дело с характером деятельности. Все знания, доведшие наш биологический вид от меховой одежды до полета по воздуху, заполнили бы вместе с их готовыми доказательствами ни больше чем справочную библиотеку. Но и книжного шкафа величиной с Землю никак не хватило бы, чтобы поместить

все остальное, даже исключая весьма широкую дискуссию, которая велась не только пером, но и мечом и цепями. Напрашивается мысль, что свои человеческие дела мы ведем крайне нерационально, если вершим их по способу наук, столь образцово продвинувшихся в своей линии.

Таково и в самом деле было настроение и мнение эпохи, — скольких-то лет, вряд ли десятилетий, — которую еще успел застать Ульрих. Тогда об этом думали, но расплывчатость этого неопределенно-личного «думали» нарочита; нельзя сказать, кто и сколько людей так думали, и все же это носилось в воздухе, — что можно, вероятно, жить точно. Сегодня спросят: что это значит? Ответ, пожалуй, таков, что труд жизни может ведь так же, как из трех статей, состоять из трех стихотворений или из трех действий, в которых личная продуктивность повышена до предела. Это значило бы, следовательно, примерно то же, что молчать, когда тебе нечего сказать; делать только необходимое, когда тебе не надо добиваться чего-то особенного; а самое важное — оставаться бесчувственным, когда у тебя нет несказанного чувства, что ты распростер руки и поднят волной творчества. Нетрудно заметить, что тем «самым прекратилась бы большая часть

нашей психической жизни, но ведь это, может быть, и не такая уж страшная беда. Тезис, что большой сбыт мыла свидетельствует о большой чистоплотности, не нужно распространять на мораль, где справедливее более новое положение, что ярко выраженная потребность в мытье указывает на не совсем чистый внутренний уклад. Это был бы полезный эксперимент — свести к минимуму потребление морали, сопровождающее (какого бы рода она ни была) все наши действия, и быть нравственными лишь в тех исключительных случаях, когда это имеет смысл, а во всех других думать о своих действиях не иначе, чем о необходимой стандартизации карандашей и винтов. Хорошего, правда, произошло бы не бог весть как много, но что-то получше все-таки получилось бы; талантов не осталось бы, а только гений; из картины жизни ушли бы тусклые копии, возникающие из бледного сходства действий с добродетелями, а на их место пришло бы опьяняющее единство добродетелей в святости. Одним словом, от каждого центнера морали остался бы миллиграмм эссенции, которая и в количестве одной миллионной грамма волшебно отрадна.

Но возразят, что ведь это утопия! Конечно, утопия. Утопии примерно равнозначны воз-

можностям; если какая-то возможность не стала действительностью, то это означает только, что обстоятельства, с которыми она в данный момент сплетена, мешают ей это сделать, ведь иначе она была бы просто невозможностью; а если освободить ее от того, что ее связывает, и дать ей развиться, возникает утопия. Это процесс, сходный с тем, который происходит, когда исследователь наблюдает изменение какого-то элемента в сложном феномене и делает отсюда свои выводы; утопия означает эксперимент, где наблюдают возможное изменение какого-то элемента и воздействие, оказываемое этим изменением на тот сложный феномен, который мы называем жизнью. И если наблюдаемый элемент — это сама точность, то, выделив его и дав ему развиться, видя в нем привычку ума и манеру жить и предоставив ему распространять свою образцовую силу на все, что с ним ни соприкоснется, приходишь логически к такому человеку, в котором парадоксально сочетаются скрупулезность и неопределенность. Он обладает тем неподкупным намеренным хладнокровием, которое и есть темперамент точности: но все другое, не захватываемое этим свойством, определенности лишено. Прочный внутренний уклад, обеспечиваемый

моралью, не представляет собой большой ценности для человека, чье воображение направлено на перемены; а уж когда требование точнейшего и максимального осуществления переносится из интеллектуальной области в область страстей, то и вовсе обнаруживается, как было уже намеком сказано, тот удивительный результат, что страсти исчезают, а на их место выходит какая-то похожая на изначальный огонь доброта… Такова утопия точности. Неизвестно, как должен проводить этот человек свой день, ведь он же не может непрерывно пребывать в акте творчества и, наверно, жертвует печным огнем ограниченных чувств ради какого-то воображаемого пожара. Но этот точный человек существует сегодня! Как человек в человеке, он живет не только в исследователе, но и в коммерсанте, в организаторе, в спортсмене, в технике; хотя пока только в те главные часы дня, которые они называют не своей жизнью, а своей работой. Ибо его, так глубоко и непредубежденно во все вникающего, ничто так не отвращает, как идея глубокого проникновения в себя самого, и, увы, почти не приходится сомневаться, что утопию самого себя он сочтет безнравственным опытом, поставленным на людях, занятых серьезным делом.

Поэтому в вопросе, следует или нет подчинить наиболее мощной группе внутренних достижений все остальные, другими словами, можно или нельзя найти цель и смысл чему-либо происходящему и происшедшему с нами, — в этом вопросе Ульрих всю жизнь оставался довольнотаки одинок.

62
И земля, а Ульрих в особенности, преклоняется перед утопией эссеизма

Точность, как человеческая манера держать себя, требует и точных поступков и действий. Она требует максимально возможного в поступках и действиях. Однако тут нужно установить одно различие.

В действительности существует ведь не только фантастическая точность (которой в действительности вовсе еще нет), но и точность педантическая, и различаются они тем, что фантастическая придерживается фактов, а педантическая — плодов фантазии. Точность, например, с какой странный ум Моосбругера был введен в систему двухтысячелетних правовых понятий, походила на педантические попытки

идиота насадить на булавку летающую на воле птицу, но заботилась она совсем не о фактах, а о фантастическом понятии правопорядка. Точность зато, проявлявшаяся психиатрами в их отношении к великому вопросу, можно ли приговорить Моосбругера к смерти или нельзя, была совершенно безупречна, ибо она не осмеливалась сказать ничего больше, кроме того, что картина его болезни точно не соответствует ни одной доселе известной картине болезни, и предоставляла юристам решать дальнейшее. В этом случае картина зала суда являла собой картину жизни, ибо все деятельные люди жизни, которые считают совершенно невозможным пользоваться автомобилем, прослужившим больше пяти лет, или лечить болезнь по наилучшим десять лет назад принципам, люди, которые сверх того все свое время добровольно-недобровольно посвящают содействию таким нововведениям и заняты рационализацией всего, что попадает в их сферу, эти люди предпочитают, чтобы вопросы красоты, справедливости, любви и веры, короче, все гуманитарные вопросы, не затрагивающие их деловых интересов, решались не ими, а их женами, а пока таковым это еще не совсем по зубам, разновидностью мужчин, рассказывающих им

о чаше и мече жизни тысячелетними фигурами речи, которые они легкомысленно, досадливо и скептически слушают, не веря этим рассказам и не помышляя о возможности чего-то иного. В действительности есть, стало быть, два склада ума, и они не только борются друг с другом, но, что хуже, обычно существуют бок о бок, не обмениваясь ни словом, кроме взаимных уверений в том, что оба желательны, каждый на своем месте. Один удовлетворяется тем, что стремится к точности и придерживается фактов; другой не удовлетворяется этим, а охватывает всегда все и выводит свое знание из так называемых вечных и великих истин. Один выигрывает при этом в успехе, а другой в широте и достоинстве. Пессимист мог бы, разумеется, сказать, что результаты одного ничего не стоят, а результаты другого не в ладу с истиной. Ведь что тебе делать на Страшном суде, когда лягут на весы труды человеческие, с твоими тремя статьями о муравьиной кислоте, да хоть бы и с тридцатью?! С другой стороны, что ты знаешь о Страшном суде, если и того даже не знаешь, во что только дотоле не превратится муравьиная кислота?!

Между обоими полюсами этого «ни то, ни другое» и качалось развитие по прошествии

несколько более восемнадцати и несколько менее двадцати веков с той поры, когда человечество впервые узнало, что мир кончится таким духовным судом. Из опыта явствует, что за одним направлением всегда следует противоположное. И хотя мыслимо и желательно, чтобы такой поворот совершался по принципу спирали, поднимающейся с каждой переменой направления все выше, развитие почему-то редко выигрывает в этом процессе больше, чем проигрывает из-за окольных путей и разрушений. Доктор Пауль Аргейм был, следовательно, совершенно прав, когда сказал Ульриху, что мировая история никогда не позволяет себе ничего негативного; мировая история оптимистична, она всегда с воодушевлением делает выбор в пользу чего-то и лишь потом в пользу его противоположности! Так же и за первыми фантазиями точности отнюдь не последовала попытка осуществить их, о нет, их отдали в бескрылое пользование инженерам и ученым и вновь обратились к более достойному и более широкому складу ума.

Ульрих еще хорошо помнил, как неопределенность снова вошла в почет. Все больше накапливалось высказываний. где люди несколько неопределенного рода занятии, писатели,

критики, женщины и лица, сделавшие принадлежность к молодому поколению своей профессией, жаловались на то, что чистое знание есть нечто пагубное, раздирающее на части без надежды собрать их снова все высшие человеческие творения, и требовали для человечества новой веры, возврата к внутренней первоприроде, духовного подъема и тому подобных вещей. Сначала он наивно предполагал, что это люди, которые натерли себе седлом ягодицы и с трудом слезают с коня, крича, чтобы их смазали экстрактом души, но постепенно он убедился, что этот повторяющийся крик, казавшийся ему поначалу таким смешным, получает широкий резонанс, знание становилось несвоевременным, пробиваться начал тот расплывчатый тип человека, который ныне господствует.

Ульрих восстал против того, чтобы принять это всерьез, и продолжал развивать свои духовные склонности на собственный лад.

От первых проблесков юной самонадеянности, от поры, оглядка на которую бывает потом так трогательна и так потрясает, в памяти его и сегодня еще сохранялись иные, любимые когда-то представления, и среди них словосочетание «жить гипотетически». Оно все еще выражало

то мужество и то невольное незнание жизни, когда каждый шаг есть риск без опыта, и то желание великих взаимосвязей, то веяние перемен, которое чувствует молодой человек, когда он медлительно вступает в жизнь. Ульрих думал, что ничего из этого вернуть, в сущности, нельзя. Захватывающее чувство, что ты для чего-то предназначен, есть нечто прекрасное и единственно определенное в том, чей взгляд впервые окидывает мир. Следя за своими ощущениями, он ни с чем не может согласиться без оговорки; он ищет возможную возлюбленную, но не знает, та ли это, что нужна; он способен убить без уверенности в том, что он должен сделать это. Стремление его собственной природы развиваться запрещает ему верить в совершенство; но все, что выступает против него, притворяется совершенным. Он смутно чувствует: этот порядок не такой прочный, каким прикидывается; любая вещь, любое «я», любая форма, любой принцип — все ненадежно, все находится в невидимом, но никогда не прекращающемся изменении, в нетвердом — больше будущего, чем в твердом, и настоящее — не что иное, как гипотеза, которую ты еще не отбросил. Что может быть лучше для него, чем держаться за свою свободу от мира, свободу в том

хорошем смысле, в каком исследователь сохраняет ее по отношению к фактам, соблазняющим его преждевременно в них поверить! Поэтому он не торопится что-то из себя сделать; характер, профессия, определенный душевный склад — это все для него представления, где уже проглядывает костяк, который, в конце концов, от него останется. Он старается понять себя иначе; тяготея ко всему, от чего он внутренне растет, будь то даже морально или интеллектуально запретные вещи, он чувствует себя неким подобием шага, который может быть сделан в какую угодно сторону, но, чтобы сохранить равновесие, непременно ведет к следующему шагу и всегда вперед. А когда он полагает, что напал на то, что нужно, ему кажется, что на землю упала капля несказанного жара, придающего миру иной вид своим полыханьем.

Из этого позднее, когда умственные способности Ульриха выросли, у него возникло представление, которое он связывал уже не с неуверенным словом «гипотеза», а по определенным причинам со своеобразным понятием «эссе». Примерно так же, как эссе чередою своих разделов берет предмет со многих сторон, не охватывая его полностью, ибо предмет, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в понятие, —

примерно так же следовало, считал он, подходить к миру и к собственной жизни. Ценность какого-либо действия или какого-либо свойства, даже их сущность и природа зависят, казалось ему, от обстоятельств, которые их окружают, от целей, которым они служат, одним словом, от устройства целого, к которому они принадлежат. Это, кстати, лишь простое описание того факта, что убийство может представать нам преступлением или героическим подвигом, а час любви — пером, выпавшим из крыла ангела или из крыла гуся. Но Ульрих обобщал это. Все моральные события происходили, стало быть, в силовом поле, ситуация которого заряжала их смыслом, и добро и зло содержалось в них так, как содержатся в атоме возможности химического соединения. Они были в известной мере тем, чем они становились, и так же как слово «твердый» обозначает четыре совершенно разных сущности в зависимости от того, связывается ли твердость с любовью, грубостью, ретивостью или строгостью, все моральные факты казались ему в их значении зависимой функцией других фактов. Так возникала бесконечная система связей, где вообще уже не было тех независимых значений, какие в грубом первом приближении приписывает действиям

и свойствам обыкновенная жизнь; казавшееся плотным становилось здесь проницаемым предлогом для многих других значений, происходящее — символом чего-то, что, может быть, не происходило, но благодаря происходившему чувствовалось, и человек как высшее проявление своих возможностей, потенциальный человек, ненаписанная поэма своего бытия, выступал против человека как исписанной страницы, как реальности и характера. Глядя на вещи таким образом, Ульрих чувствовал себя способным, по сути, к любой добродетели и к любому пороку, и тот факт, что в уравновешенном обществе и добродетели и пороки воспринимаются всеми, хотя и втихую, как одинаковая докука, служил для него лишним доказательством тому повсюду в природе наблюдаемому явлению, что всякая игра сил стремится со временем к средней ценности и среднему состоянию, к равновесию и стабилизации. Мораль в обычном смысле была для Ульриха не более чем старческой формой системы сил, которую нельзя путать с моралью без ущерба для этической силы.

Возможно, что и в этих взглядах выражалась известная неуверенность в жизни; однако неуверенность есть порой не что иное, как

неудовлетворенность обычными уверениями и гарантиями, а к тому же позволительно, пожалуй, напомнить, что и такое опытное лицо, как человечество, действует, кажется, по очень похожим принципам. Оно, в конце концов, отменяет все, что им сделано, и заменяет другим, для него, человечества, преступления со временем тоже превращаются в добродетели и наоборот, оно выстраивает великие духовные взаимосвязи всего на свете и позволяет им рухнуть через несколько поколений; только происходит это последовательно, а не в силу какого-то единого восприятия жизни, и цепь его, человечества, опытов не обнаруживает никакого возрастания, тогда как сознательный человеческий эссеизм увидел бы чуть ли не свою задачу в том, чтобы эту беспечную несознательность мира превратить в волю. И множество отдельных линий развития указывает на то, что это может скоро случиться. Больничная лаборантка в лилейно-белой одежде, растирающая в белой фарфоровой мисочке кал пациента с помощью кислот в багровую массу, правильный цвет которой вознаграждает ее, лаборантки, внимательность, — она уже сейчас, хотя и не знает этого, находится в более удобоизменяемом мире, чем молодая дама, которая ужасается, увидев тот

же предмет на улице. Преступник, попавший в моральное силовое поле своего преступления, движется только как пловец, которого уносит мощный поток, и каждая мать, чье дитя попадало в такой поток, это знает; просто ей до сих пор не верили, потому что не было места для такой веры. Психиатрия, называющая большую веселость веселым расстройством, как если бы она была веселой тоской, установила, что все повышенное, будь то повышенное целомудрие или повышенная чувствительность, повышенная добросовестность или повышенное легкомыслие, жестокость или сострадание, переходит в нечто патологическое; как мало значила бы здоровая жизнь, имей она целью лишь середину между двумя крайностями! Как убога она была бы, если бы ее идеал действительно заключался лишь в отрицании преувеличения ее идеалов! Такие открытия заставляют видеть в моральной норме уже не покой застывших заповедей, а подвижное равновесие, требующее каждый миг усилий для его поддержания. Это все больше кажется ограниченностью — возводить в характер человека непроизвольно приобретенные им тенденции к тем или иным повторениям и потом возлагать ответственность за эти повторения на его ха-

рактер. Идет познание взаимодействия между внутренним миром и внешним, и как раз благодаря признанию в человеке безличного начала удалось найти новые ключи к личности, напасть на какие-то простейшие основные типы поведения, на инстинкт построения своего «я», который, как инстинкт гнездования у птиц, сооружает свое «я» из разных материалов всего несколькими способами. Люди уже настолько близки к тому, чтобы путем определенных воздействий ставить преграду всякому вырождению, как плотиной — потоку, что, если из преступников не делают своевременно настоящих архангелов, причина тут уже только, пожалуй, в социальной беспечности или в остатке нерасторопности. И можно привести очень много разрозненных, еще не соприкоснувшихся друг с другом причин, из-за совокупности которых люди устают от грубых приблизительностей, возникших и пущенных в ход при более простых условиях, и постепенно ощущают необходимость изменить в основных ее формах мораль, которая за две тысячи лет приспособилась к менявшемуся вкусу лишь в малом, и заменить ее другой, точнее подогнанной к подвижности фактов.

По убеждению Ульриха, для всего этого недоста-

вало, собственно, только формулы, выражения, которое в какой-то счастливый миг, еще до того, как цель движения достигнута, должно найти ее, чтобы можно было пройти последний отрезок пути, а выражение это — всегда рискованное, еще не оправдываемое положением вещей, — сочетает в себе аккуратность с неаккуратностью, точность — со страстью. Но как раз в те годы, что могли, казалось бы, раззадорить его, с ним произошло нечто странное. Он не был философом. Философы — это притеснители, не имеющие в своем распоряжении армии и потому подчиняющие себе мир путем заключения его в систему. Вот почему, наверно, во времена тирании и появлялись великие философские умы, а во времена развитой цивилизации и демократии не удается создать убедительную философию, судя хотя бы по сетованиям, которые обычно приходится слышать по этому поводу. Оттого сегодня ужасающе много философствуют малыми дозами, так что только в лавке и можно еще что-то получить без мировоззрения в придачу, а большие дозы философии вызывают явное недоверие. Их просто считают невозможными, и Ульрих тоже отнюдь не был свободен от этого, напротив, его научный опыт побуждал его думать о них

довольно насмешливо. Этим и определялось его поведение: все, что он видел, заставляло его задумываться, а слишком много думать он в то же время как-то побаивался. Но решающим для его поведения оказалось и нечто другое. Было в натуре Ульриха что-то, что с каким-то рассеянным, парализующим, обезоруживающим упорством противилось логическому порядку, однозначной воле, целеустремленным стимулам честолюбия, и это тоже было связано с выбранным им некогда словцом «эссеизм», хотя и содержало как раз те составные части, которые он со временем исключил из этого понятия с неосознанной тщательностью. Общепринятый перевод слова «эссе» как «опыт», «попытка» лишь примерно передает существеннейший намек на литературный образец, ведь эссе не есть предварительное и попутное выражение какого-то убеждения, которое при более удобном случае может быть либо возведено в истину, либо признано ошибочным (таковы только статьи и рефераты, публикуемые учеными лицами как «отходы их мастерской»); нет, эссе-это уникальный и неизменный облик, который принимает внутренняя жизнь человека в какой-то решающей мысли. Нет ничего более чуждого ей, чем именуемая субъективностью

безответственность фантазий, но и «верно», «неверно», «умно», «неумно» — понятия тоже неприложимые к таким мыслям, которые тем не менее подвластны законам столь же строгим, сколь тонкими и невыразимыми они кажутся. Было немало таких эссеистов и мастеров маячащей внутри жизни, но называть их незачем; их царство лежат между религией и знанием, между примером и учением, между amor mtehectualis[22] и поэзией, они святые — с религией и без оной, а иногда они просто мужчины, запутавшиеся в каком-нибудь приключении.

Нет, кстати сказать, ничего характернее того, в чем поневоле убеждаешься на примере ученых и разумных попыток истолковать таких великих эссеистов, превратить мудрость жизни в теорию жизни и извлечь из волнения взволнованных какое-то «содержание»; от мудрости и волнения остается после таких попыток примерно столько же, сколько от нежного, переливчатого тела медузы, когда ее вытащат из воды и положат на песок. Мудрость одержимых рассыпается в прах в разуме неодержимых, превращается в противоречия и вздор, и все-таки ее нельзя назвать

---

[22] Примечания: 22
Умственная любовь (лат.).

нежной и нежизнеспособной, а то ведь нежным пришлось бы назвать и слона, поскольку он тоже не выживет в безвоздушном, не соответствующем его жизненным потребностям помещении. Было бы очень жаль, если бы эти описания произвели впечатление тайны или хотя бы музыки, где преобладают звуки арфы и похожие на стоны глиссандо. Дело обстоит прямо противоположным образом, и лежащий в их основе вопрос представал Ульриху отнюдь не только как смутное ощущение, но и вполне членораздельно в следующей форме: человек, который хочет истины, становится ученым; человек, который хочет дать волю своей субъективности, становится, вероятно, писателем; а что делать человеку, который хочет чего-то промежуточного между тем и другим? Примеры же «промежуточного» дает каждое правило морали, хотя бы самое общеизвестное и простое: не убий. С первого взгляда видно, что оно не есть ни истина, ни субъективное утверждение. Все знают, что в одних отношениях мы строго его придерживаемся, а в других допускаются определенные и весьма многочисленные, однако точно ограниченные исключения, но в очень большом числе случаев третьего рода, скажем, в фантазии, в желаниях, на

спектакле в театре или наслаждаясь газетными новостями, мы совершенно беспорядочно блуждаем между отвращением и соблазном. Нечто, не являющееся ни истиной, ни субъективным утверждением, называют иногда постулатом. Этот постулат прикреплен к догмам религии и догмам закона, благодаря чему он получает характер производной истины, но романисты рассказывают нам об исключениях, от жертвы Авраама до недавней красивой женщины, застрелившей своего возлюбленного, и все опять растворяется в субъективности. Можно, стало быть, либо держаться за колышки, либо носиться между ними туда и сюда на вольной волне; но с каким чувством?! Чувство, испытываемое человеком к этому правилу, есть смесь тупого повиновения (включая «здоровую натуру», которая противится тому, чтобы даже помыслить о таких вещах, но, сдвинь ее хоть чуть-чуть с места алкоголь или страсть, делает их тотчас же) и бездумного плесканья в волне возможностей. Действительно ли следует понимать это правило только так? Это означало бы, чувствовал Ульрих, что человек, всей душою желающий что-то сделать, тем самым не знает, должен ли он это сделать или должен воздержаться от этого. И

все-таки Ульрих подозревал, что можно и сделать это, и воздержаться от этого всем своим существом. Ни прихоть, ни запрет ничего для него не значили. Ссылка на высший или внутренний закон вызывала критику со стороны его разума, больше того, было что-то обесценивающее в этой потребности облагородить уверенный в себе миг ссылкой на его родословную. Все это оставляло его сердце немым, и говорила только его голова; но он чувствовал, что каким-то другим образом его решение могло бы совпасть с его счастьем. Он мог бы быть счастлив, потому что не убивает, или счастлив, потому что убивает, но он никогда не мог бы быть равнодушным исполнителем поставленного перед ним постулата. То, что он сейчас чувствовал, было не заповедью, а заповедной областью, куда он вступил. Он понимал, что в ней все уже решено и успокоительно для сознания, как материнское молоко. Но говорили ему это уже не мысли, да и не чувства в их обычной бессвязности; это были уже не мысли и не чувства, а некое «сплошное понимание». И все же, опять-таки, только такое, как если бы ветер принес издалека весть, и весть эта не казалась ему ни верной, ни неверной, ни разумной, ни противоразумной, а захватывала его целиком,

словно какое-то тихое блаженное преувеличение запало в его сердце.

И как нельзя сделать, истину из настоящих частей эссе, так нельзя извлечь из такого состояния какое-то убеждение, во всяком случае не отказываясь от этого состояния; так любящий должен оставить свою любовь, чтобы ее описать. Безграничная растроганность, порой нецеленаправленно волновавшая Ульриха, противоречила его активному началу, настаивавшему на границах и формах. Оно ведь, наверно, правильно и естественно — хотеть знать, прежде чем позволишь говорить чувству, и он невольно представлял себе, что то, что он когда-то найдет, не уступит в прочности истине, даже и не будучи истиной; но в своем особом случае он походил из-за этого на человека, у которого, пока он снаряжается, умирает намерение. Если бы у него во время его работы над математическими или математическо-логическими проблемами или занятий естественными науками спросили, какая цель перед ним маячит, он ответил бы, что только один вопрос действительно стоит того, чтобы о нем думать, и это вопрос правильной жизни. Но когда долго ставишь какое-то требование, а с ним ничего не происходит, мозг немеет точно

так, как немеет рука, когда она слишком долго поднята вверх с каким-то предметом, и мысли наши так же не могут стоять все время на одном месте, как летом солдаты на параде; если им приходится ждать слишком долго, они просто падают в обморок. Поскольку Ульрих закончил набросок своего суждения о жизни примерно на двадцать шестом году, оно представлялось ему на тридцать втором уже не совсем искренним. Он не разрабатывал своих идей дальше, и если не считать какого-то неуверенного и напряженного чувства, вроде того, которое испытываешь, ожидая чего-то с закрытыми глазами, в нем мало давало себя знать личное волнение, с тех пор как дни трепетных первых открытий прошли. И все же, наверно, именно подспудное волнение такого рода замедлило со временем его научную работу и помешало ему сосредоточить на ней свою волю. Из-за него он оказался в своеобразном разладе с самим собой. Нельзя забывать, что разновидность ума, тяготеющая к точности, в сущности религиознее, чем эстетическая; ибо первая подчинилась бы Ему, соизволь он показаться при условиях, устанавливаемых ею для его признания, тогда как наши эстеты, если бы Он объявился, нашли бы только, что его талант недостаточно самобытен,

а его система мира недостаточно понятна, чтобы поставить его на одну ступень с дарованиями, где видна действительно искра божья. С такой же легкостью, как представители этой второй разновидности, Ульрих не мог, стало быть, предаваться смутным догадкам, но, с другой стороны, не мог закрывать глаза на то, что все эти годы сплошной точности жил только наперекор самому себе, и ему хотелось, чтобы с ним произошло что-нибудь непредвиденное, ибо, проделывая то, что он насмешливо называл своим «отпуском от жизни», он ни в том, ни в другом направлении не находил ничего, что его успокоило бы.

В его оправдание можно, пожалуй, заметить, что в определенные годы жизнь убегает невероятно быстро. Но день, когда нужно начать жить по своей последней воле, прежде чем ты завещаешь ее остаток, находится далеко впереди, и передвинуть его нельзя. Это стало Ульриху угрожающее ясно с тех пор, как прошло почти полгода, а ничего не изменилось. Пошевеливаясь в ходе маленькой и дурацкой деятельности, за которую он взялся, разговаривая, с удовольствием разговаривая слишком много, живя с отчаянным упорством рыбака, забрасывающего свои сети в пустую реку, не делая, однако, ничего, что соот-

ветствовало бы личности, каковую он все-таки представлял собой, причем нарочно не делая, Ульрих ждал. Он ждал позади своей личности, поскольку это слово обозначает часть человека, сформированную миром и жизненным путем, и его спокойное, отгороженное ее плотиной отчаяние поднималось все выше день ото дня. Он находился в самой бедственной поре своей жизни и презирал себя за свои упущения. Являются ли великие испытания привилегией великих натур? Он рад был бы поверить этому, но это неверно, ибо и у простейших нервных натур есть свои кризисы. Значит, единственным, с чем он, в сущности, оставался в этом великом смятении, была та доля невозмутимости, которой обладают все преступники и герои, это не мужество, не воля, не вера, а просто способность упрямо держаться за самого себя, которую так же трудно вытряхнуть, как жизнь из кошки, даже совсем уже растерзанной псами.

Если угодно представить себе, как живет такой человек, когда он один, то рассказать можно разве только, что ночью в комнату глядят освещенные окна, а мысли, побывав в употреблении, сидят вокруг, как клиенты в передней адвоката, которым они недовольны. Или, может быть, что

однажды в такую ночь Ульрих открыл окна и, глядя на по-змеиному голые стволы деревьев, на странную гладкость и черноту их изгибов между снежными одеялами макушек и земли, вдруг почувствовал желание спуститься в сад прямо в пижаме; ему хотелось ощутить холод всей кожей. Сойдя вниз, он выключил свет, чтобы не стоять перед освещенной дверью, и только из его кабинета свет крышей вдавался в темень. Одна дорожка вела к решетке выходивших на улицу ворот, эту дорожку различимо-темно пересекала другая. Ульрих медленно пошел ко второй. И вдруг высившаяся между кронами деревьев темнота фантастически напомнила ему исполинскую фигуру Моосбругера, а голые деревья показались ему на редкость телесными, безобразными и мокрыми, как черви, и все же такими, что хотелось обнять их и припасть к ним с залитым слезами лицом. Но он этого не сделал. Сентиментальность этого порыва оттолкнула его сразу же, как только коснулась его. Сквозь молочную пену тумана перед решеткой сада в этот миг проходили запоздалые прохожие, и он, наверно, показался им сумасшедшим, когда его фигура в красной пижаме выделилась вдруг среди черных стволов, но он твердо ступил на дорожку и пошел,

относительно удовлетворенный, обратно в дом, ибо если что-то было припасено для него, это должно было быть нечто совсем другое.

63
У Бонадеи видение

Когда утром, последовавшим за этой ночью, Ульрих поднялся поздно и очень разбитый, ему доложили о приходе Бонадеи; после ссоры они ни разу не виделись.

Во время разлуки Бонадея много плакала. В эту пору Бонадея часто чувствовала себя поруганной. Она часто вибрировала, как приглушенный барабан. У нее было много приключений и много разочарований за это время. И хотя воспоминание об Ульрихе тонуло при каждом приключении в глубоком колодце, оно после каждого разочарования снова выплывало оттуда; беспомощное и укоризненное, как одинокая боль на лице ребенка. Мысленно Бонадея уже сто раз просила у него прощения за свою ревность, «наказывая», как она это называла, свою «злую гордыню», и наконец она решилась предложить ему заключить мир.

Когда она сидела перед ним, она была мила, грустна и красива и чувствовала какую-то муть

в животе. Он стоял перед ней «как юноша». Его кожа мраморно отполирована, думалось ей, великими событиями и дипломатией. Она никогда еще не замечала, как много силы и решительности в его лице. Она с удовольствием капитулировала бы всем своим существом, но она не осмеливалась заходить так далеко, а он не делал никаких попыток призвать ее к этому. Такая холодность была несказанно печальна для нее, но огромна, как статуя. Бонадея внезапно взяла его опущенную руку и поцеловала ее. Ульрих задумчиво погладил ее по волосам. Ее ноги самым женственным на свете образом ослабели, и она готова была упасть на колени. Ульрих мягко прижал ее к стулу, принес виски с содовой и закурил.

— Дамы не пьют по утрам виски! — запротестовала Бонадея; на миг она снова обрела силу обидеться, и кровь ударила ей в голову, ибо ей показалось, что простота, с какой Ульрих предложил ей такой грубый и, как она считала, распутный напиток, содержит жестокий намек.

Но Ульрих добродушно сказал:

— Это пойдет тебе на пользу; все женщины, занимавшиеся большой политикой, тоже пили виски.

Ибо для объяснения своего прихода к Ульриху Бонадея сказала, что восхищается великой патриотической акцией и хотела бы предложить свою помощь по этой части.

Таков был ее план. Она всегда верила во многое одновременно, и полуправда облегчала ей ложь.

Виски было золотистое и грело, как майское солнце.

Бонадее почудилось, что ей семьдесят лет и она сидит перед домом на садовой скамейке. Она старела. Дети ее вырастали. Старшему исполнилось уже двенадцать лет. Было, несомненно, позорно следовать за мужчиной, которого толком даже не знаешь, в его квартиру только потому, что у него такие глаза, что он глядит на тебя, словно через окно. Прекрасно видишь, думала она, в этом мужчине отдельные черточки, которые тебе не нравятся и могли бы тебя предостеречь; впору бы вообще, — если бы только что-то могло задержать тебя в такие мгновения, порвать со всем этим, запылав краской стыда и даже, может быть, гнева; но поскольку этого не происходит, мужчина вживается в свою роль все более страстно. А сама при этом совершенно отчетливо чувствуешь себя какой-то искусственно освещенной декорацией; перед тобой театральные глаза, театральные

усы, расстегивающиеся пуговицы театрального костюма, и секунды — от той, когда входишь в комнату, до ужасного первого снова трезвого движения — разыгрываются в сознании, которое вышло из головы наружу и покрыло стены обоями иллюзии. Бонадея употребляла не совсем эти же слова, она вообще думала об этом лишь частично словами, но, пытаясь представить себе это, сразу же чувствовала себя отданной на произвол такому изменению сознания. «Кто сумел бы описать это, был бы большим художником; нет, он был бы порнографистом!» — думала она, глядя на Ульриха. Ибо благих намерений и твердой воли к порядочности она и в минуты такого состояния ни на миг не теряла; только они тогда стояли снаружи и ждали, им просто нечего было сказать по поводу этого измененного желаниями мира. Когда возвращался разум Бонадеи, это бывала ее величайшая мука. Изменение сознания половым опьянением, переносимое другими людьми как нечто естественное, приобретало у нее из-за глубины и внезапности хмеля и раскаяния силу, которая пугала ее, как только она возвращалась в мирный круг семьи. Тогда она казалась себе безумной. Она не решалась глядеть на детей из страха повредить им своим порочным

взглядом. Она вздрагивала, когда ее муж смотрел на нее чуть приветливее, и боялась непринужденности одиночества. Поэтому за эти недели разлуки в ней созрело намерение не иметь больше другого возлюбленного, кроме Ульриха; он должен был дать ей опору и уберечь ее от чуждого ей распутства. «Как это я могла позволить себе его осуждать. — думала она теперь, в первый раз сидя перед ним снова, — он же намного совершеннее, чем я». Бонадея приписывала ему ту заслугу, что в пору его объятий она и сама лучше; думала она, вероятно, и о том, что на ближайшем же благотворительном празднестве он должен ввести ее в свое новое общество. Бонадея беззвучно дала присягу, и глаза ее увлажнились слезами растроганности, когда она все это обдумала.

Но Ульрих допивал виски с медлительностью человека, который должен подтвердить нелегкое решение… Сейчас еще невозможно ввести ее в дом Диотимы, заявил он ей.

Бонадея захотела, разумеется, точно знать, почему это невозможно, а потом точно узнать, когда это станет возможно.

Ульриху пришлось объяснить ей, что она не отличилась ни в искусстве, ни в науке, ни на ниве благотворительности и что поэтому пона-

добится очень много времени, чтобы сделать понятной Диотиме необходимость ее, Бонадеи, сотрудничества.

Бонадея же за это время прониклась к Диотиме странными чувствами. Она была достаточно наслышана о ее добродетелях, чтобы не ревновать; скорее уж зависть и восхищение вызывала у нее эта женщина, которая привязала к себе ее возлюбленного, не делая ему безнравственных уступок. Невозмутимость статуи, замеченную ею, как ей показалось, в Ульрихе, она приписала этому влиянию. Себя самое она называла «страстной», подразумевая под этим в равной мере и свою бесчестность, и ее все-таки почетное оправдание; но она восхищалась холодными женщинами с таким же чувством, с каким несчастные обладатели вечно влажных рук кладут свою руку и чью-то особенно сухую и красивую руку. «Это все она! — думала Бонадея. — Она так изменила Ульриха!» Жестокий бурав в ее сердце, сладкий бурав в ее коленях — два эти одновременно и противоположно друг другу вращавшихся бурава чуть не довели Бонадею до обморока, когда она встретила в Ульрихе сопротивление. Она пустила в игру последний свой козырь: Моосбругер!

В ходе мучительных размышлений ей стало

ясно, что Ульрих питает странное пристрастие к этой ужасной фигуре. У нее самой «грубая чувственность», выражавшаяся, по ее мнению, в злодеяниях Моосбругера, вызывала просто отвращение; в этом вопросе она, разумеется, не зная того, была совершенно заодно с проститутками, которые без всяких смешанных чувств и без всякой мещанской романтики видят в убийце-садисте просто угрозу своей профессии. Но ей, даже при неизбежных ее провинностях, нужен был какой-то упорядоченный и правильный мир, и Моосбругер должен был послужить ей средством его восстановления. Поскольку у Ульриха была к Моосбругеру слабость, а у нее был муж-судья, способный дать полезную информацию, в ее покинутости совершенно сама собой созрела мысль соединить собственную слабость со слабостью Ульриха через посредство супруга, и эта томительная идея обладала утешительной силой благословленной правосознанием чувственности. Но когда она обратилась с этим к своему доброму супругу, тот удивился ее юридическому пылу, хотя и знал, что она легко воодушевлялась всем по-человечески высоким и добрым, а поскольку он был не только судьей, но и охотником, он добродушно отделался ответом,

что единственно правильное — это повсеместно истреблять мелких хищников без сантиментов, и никакой больше информации не дал. При второй попытке, предпринятой ею через некоторое время, Бонадея узнала от него дополнительно только то, что женское дело — это, по его мнению, рожать, а убивать — дело мужское, и поскольку в этом опасном вопросе ей не следовало навлекать на себя подозрение чрезмерным усердием, то путь правовой для нее пока что закрылся. Поэтому она вступила на путь милосердия, единственно остававшийся, если она хотела сделать на радость Ульриху что-нибудь для Моосбругера, а этот путь вел — нельзя даже сказать поразительным, скорее уж притягательным образом — через Диотиму.

Мысленно видя себя подругой Диотимы, она оправдывала это свое желание необходимостью познакомиться с восхитительной соперницей ради неотложного дела, даже если она, Бонадея, слишком горда, чтобы сделать это из личной потребности. Она задалась целью расположить Диотиму к Моосбругеру, что Ульриху, как она сразу догадалась, не удалось, и в ее фантазии рисовались прекрасные картины. Мраморная, высокая Диотима клала руку на теплые, согнутые

грехом плечи Бонадеи, а роль, отводимая Бонадеей себе, заключалась примерно в том, чтобы помазать это небесно-невинное сердце каплей податливости. Таков был план, который она изложила своему потерянному другу.

Но мыслью о спасении Моосбругера Ульриха в этот день никак нельзя было увлечь. Он хорошо знал благородные чувства Бонадеи, знал, как легко у нее вспышка какого-то отдельного прекрасного побуждения превращается в панику охватывающего все тело пожара. Он сказал ей, что не имеет ни малейшего намерения вмешиваться в дело Моосбругера.

Бонадея взглянула на него обиженными красивыми глазами, в которых вода плавала надо льдом, как на границе между весной и зимой.

Ульрих же так и не потерял целиком известной благодарности за их ребячески прекрасную первую встречу, когда он лежал без чувств на мостовой, а Бонадея склонилась над ним и из глаз этой молодой женщины в его пробуждавшееся сознание потекла каплями ненадежная, авантюрная неопределенность мира, молодости и чувств. Поэтому он попытался смягчить обидный отказ и растворить его в долгом разговоре.

— Представь себе, — предложил он, — ты идешь

ночью по пустынному парку и к тебе пристают два хулигана; станешь ли ты думать о том, что это достойные сожаления люди и что общество виновно в их хулиганстве?

— Но я никогда не хожу ночью по паркам, — ответила Бонадея тотчас же.

— Но окажись рядом полицейский, ты все-таки велела бы ему арестовать их?

— Я попросила бы его меня защитить!

— А это ведь и значит арестовать их??

— Что он потом с ними сделает, этого я не знаю. Кстати, Моосбругер не хулиган.

— Тогда представь себе, что он работает как столяр у тебя в квартире. Ты с ним одна в доме, и он начинает вот так вращать глазами.

Бонадея запротестовала.

— Это же отвратительно, то, чего ты от меня требуешь!

— Конечно, — сказал Ульрих. — Но ведь я и хочу показать тебе, что такие легко выходящие из равновесия люди крайне неприятны. Позволить себе быть беспристрастным по отношению к ним можно, в сущности, только тогда, когда удары достаются другому. Тогда, конечно, эти люди вызывают у нас величайшую нежность и оказываются жертвами общественного строя или

судьбы. Признай, что никто не виноват в своих недостатках, если смотреть на них его собственными глазами; для него они в худшем случае заблуждения или скверные свойства, из-за которых он в целом не становится менее добрым, и, конечно, он совершенно прав!

Поправляя чулок, Бонадея почувствовала необходимость поглядеть на Ульриха с чуть запрокинутой головой, и в области ее колена, вне ее наблюдения, началась полная контрастов жизнь зубчатых оборок, гладкого чулка, напряженных пальцев и ненапряженного, мягкого, жемчужного блеска кожи.

Ульрих быстро закурил и продолжал:

— Человек не добр, а всегда добр; это огромная разница, понимаешь? Эта софистика себялюбия кажется смешной, а из нее надо бы вывести заключение, что человек вообще не может сделать ничего злого; он может только казаться злым. Признав это, мы нашли бы надлежащую отправную точку для социальной морали.

Бонадея со вздохом пригладила юбку, выпрямилась и попыталась успокоить себя глотком тускло-золотого огня.

— А теперь я тебе объясню, — прибавил Ульрих с улыбкой, — почему можно питать к Моосбру-

геру всевозможные чувства, а сделать для него все равно нельзя ничего. По сути, все эти дела похожи на торчащий конец нитки, и если потянуть за него, то расползается вся ткань общества. Я продемонстрирую это тебе сперва на чисто умозрительных вопросах.

Бонадея необъяснимым образом потеряла туфлю. Ульрих наклонился, чтобы ее поднять, и стопа с теплыми пальцами потянулась навстречу его руке с туфлей, как малый ребенок.

— Оставь, оставь, я сама! — сказала Бонадея, протягивая к нему стопу.

— Первым делом психиатрически-юридические вопросы, — неумолимо продолжал объяснять Ульрих, а от ее ноги на него веяло ограниченной вменяемостью. — Это вопросы, о которых мы знаем, что чуть ли не сейчас уже врачи могли бы предотвратить большинство таких преступлений, согласись мы только затратить нужные для этого средства. Это, стало быть, всего лишь социальный вопрос.

— Ах, пожалуйста, оставь это! — попросила Бонадея, когда он теперь уже второй раз произнес слово «социальный». — Дома я выхожу из комнаты, как только начинают об этом говорить; мне это смертельно скучно.

— Ну, ладно, — уступил Ульрих, — я хотел сказать, что если техника давно уже делает из трупов, нечистот, отбросов и ядов полезные вещи, то и психологической технике это уже почти по силам. Но мир нисколько не торопится с решением этих вопросов. Государство швыряет деньги на любую глупость, а на решение важнейших вопросов у него не находится и гроша. Это заложено в его природе, ибо государство есть самое глупое и самое злобное существо в роду человеческом.

Он сказал это с убежденностью; но Бонадея попыталась вернуть его к сути дела.

— Милый, — сказала она, изнемогая, — но ведь это же как раз очень хорошо для Моосбругера, что он безответствен?!

— Важнее было бы, наверно, отправить на тот свет несколько отвечающих за свои поступки людей, чем защитить от смерти одного безответственного! — парировал Ульрих.

Он ходил теперь близко от нее взад и вперед. Бонадея нашла в нем революционность и зажигательность; ей удалось поймать его руку, и она положила ее себе на грудь.

— Ладно, — сказал он, — теперь я объясню тебе вопросы эмоциональные.

Бонадея растопырила его пальцы и расправила

его руку у себя на груди. Взгляд, которым это сопровождалось, тронул бы и каменное сердце; в следующие мгновенья Ульриху казалось, что он чувствует в груди у себя два сердца; так в мастерской часовщика тикают, перебивая друг друга, часы. Собрав всю свою волю, он навел порядок в груди и мягко сказал:

— Нет, Бонадея!

Бонадея была теперь близка к слезам, и Ульрих стал уговаривать ее:

— Разве нет противоречия в том, что ты волнуешься из-за этого дела, потому что я тебе случайно о нем рассказал, а миллионы не меньших несправедливостей, творящихся ежедневно, просто не замечаешь?

— Но это же тут совершенно ни при чем, — возразила Бонадея. — В том-то и штука, что это я знаю. И я была бы плохим человеком, если бы оставалась спокойной!

Ульрих полагал, что надо оставаться спокойной; прямо-таки бурно спокойной, — прибавил он. Он освободился и сел на некотором расстоянии от Бонадеи.

— Все делается сегодня «временно» и «пока что», — заметил он, — так и должно быть. Добросовестность нашего разума вынуждает нас быть

чудовищно недобросовестными в движениях души. — Налив себе еще виски, он положил ноги на диван. Он начинал уставать, — Каждый человек задумывается поначалу о жизни в целом, — принялся объяснять он, — но чем точнее он думает, тем уже круг его мыслей. Когда он созревает, то перед тобой человек, который на каком-то определенном квадратном миллиметре ориентируется так великолепно, как от силы еще два десятка людей на свете, но который, прекрасно видя, как все, кто не так хорошо ориентируется, говорят о его деле вздор, не смеет и пошевелиться, ибо стоит ему сдвинуться со своего места хотя бы на микромиллиметр, он сам будет говорить вздор.

Его усталость была теперь золотистая, как напиток, стоявший на столе. «Вот и я болтаю вздор уже полчаса», — подумал он, но эта расслабленность была приятна. Он боялся лишь одного — что Бонадее вздумается сесть рядом с ним. Против этого было только одно средство — говорить. Он запрокинул руки под голову и возлежал вытянувшись, как надгробные фигуры в капелле Медичи. Ему вдруг это подумалось, и действительно, когда он принял эту позу, по его телу разлилась величественность, он предался ее

спокойствию и показался себе могущественнее, чем был; он впервые почувствовал, несмотря на расстояние, что понимает эти произведения искусства, на которые до сих пор смотрел только как на что-то чужое. И, вместо того чтобы говорить, он замолчал. Бонадея тоже что-то почувствовала. Это было неким «мгновением», как называют то, что не могут определить. Что-то театрально торжественное соединило их, внезапно умолкнувших.

«Что от меня осталось? — думал Ульрих горько. — Может быть, храбрый и непродажный человек, воображающий, что ради внутренней свободы он считается лишь с немногими внешними законами. Но эта внутренняя свобода состоит в возможности думать что угодно, в том, что в любой человеческой ситуация знаешь, почему не надо привязывать себя к ней, и никогда не знаешь, чем бы тебе хотелось себя связать!» В это не очень счастливое мгновение, когда странная маленькая волна чувств, охватившая его на секунду, схлынула, он готов был бы признать, что не обладает ничем, кроме способности усматривать в каждом деле две стороны, кроме той моральной двойственности, что отличала почти всех его современников и составляла врожденную черту

его поколения или даже его судьбу. Его, Ульриха, отношение к миру стало бледным, призрачным и негативным. Какое он имел право обращаться с Бонадеей дурно? Между ними повторялся всегда один и тот же неприятный разговор. Он возникал из внутренней акустики пустоты, где выстрел отдается вдвое громче и с долгим раскатом; его угнетало, что он уже никак не мог говорить с нею иначе, чем в этой манере, доставлявшей им особую муку, для которой ему пришло в голову славное полуосмысленное название — «барокко пустоты». И он выпрямился, чтобы сказать ей что-нибудь приятное.

— Я сейчас заметил одну вещь, — повернулся он к Бонадее, сидевшей все еще в исполненной достоинства позе. — Смешная штука. Есть одно любопытное различие: человек, находящийся в здравом уме, всегда может поступить и иначе, а невменяемый — нет!

Бонадея сказала в ответ нечто очень значительное, "Ах, Ульрих!" — сказала она в ответ. Это было единственное нарушение тишины, и молчание сомкнулось опять.

Ей понравилось, когда Ульрих говорил при ней на общие темы. При всех своих проступках она все же по праву ощущала себя находящейся среди по-

хожих на нее людей и верно чувствовала всю его необщительность, чрезмерность и одинокость в том, как он потчевал ее мыслями вместо чувств. Тем не менее преступление, любовь и печаль соединились у нее теперь в круг идей, который был крайне опасен. Ульрих уже совсем не внушал ей такой робости и не казался таким совершенным, как в начале этой их встречи; но взамен он приобрел что-то мальчишеское, волновавшее ее идеализм, как ребенок, не осмеливающийся пробежать мимо чего-то, чтобы броситься в объятия матери. Она уже очень долгое время чувствовала расслабившуюся, давшую себе волю нежность к нему. Но после того как первый намек на нее Ульрих отверг, Бонадея взяла себя в руки. Она еще не преодолела воспоминания о том, как в свой последний приход сюда лежала, раздетая и беспомощная, на его диване, и вознамерилась, если понадобится, так и просидеть до конца в шляпе и под вуалью на своем стуле, чтобы он понял, что перед ним человек, умеющий, когда нужно, владеть собой не хуже, чем соперница Диотима. Для великого волнения, в которое ее приводила близость любовника, Бонадее всегда недоставало великой идеи; то же самое, правда, можно, увы, сказать и о жизни в целом, ибо и в ней много

волнения и мало смысла; но Бонадея не знала этого и пыталась высказать хоть какую-нибудь идею. В идеях Ульриха ей не хватало достоинства, в котором она нуждалась, и весьма вероятно, что она искала идеи более красивой и более эмоциональной. Но идеалистическая нерешительность и низменное влечение, такое низменное влечение и ужасный страх оказаться преждевременно увлеченной смешивались при этом с порывом к молчанию, в котором трепетали несостоявшиеся действия, и с воспоминанием о великом покое, связавшем ее на секунду с ее возлюбленным. В общем это было так, как если бы дождь висел в воздухе и не мог разразиться. Это было какое-то оцепенение, распространявшееся по всей коже и пугавшее Бонадею мыслью, что она может потерять самообладание, не заметив того.

И вдруг из всего этого выскочила какая-то физическая иллюзия, какая-то блошка. Бонадея не знала, реальность это или фантазия. Она почувствовала мурашки в мозгу, неправдоподобное впечатление, будто какой-то один образ освободился там от призрачной связанности с другими, но все же был только фантазией; и одновременно несомненные, совсем по-настоящему бегущие по коже мурашки. Она задержала дыхание. Так

бывает, когда что-то топочет, поднимаясь к тебе по лестнице, топ-топ-топ, а ты знаешь, что лестница пуста, и все-таки совершенно отчетливо слышишь: тот-топ-топ. Бонадея, словно ее озарило молнией, поняла, что это недобровольное продолжение потерянной туфли. Для дамы это означало отчаянный паллиатив. Однако в тот миг, когда она хотела прогнать наваждение, она почувствовала, как ее что-то резко кольнуло. Она тихонько взвизгнула, залилась румянцем и призвала Ульриха помочь ей искать. Блоха отдает предпочтение тем же местам, что и любовник; чулок был обследован до туфли, блузку пришлось расстегнуть на груди. Бонадея объявила, что подхватила ее в трамвае или у Ульриха. Но найти ее не удалось, и никаких следов она не оставила.

— Не знаю, что это было! — сказала Бонадея.

Ульрих улыбнулся неожиданно приветливо.

Тут Бонадея расплакалась, как маленькая девочка, которая плохо вела себя.

64

Генерал Штумм фон Бордвер навещает Диотиму

Генерал Штумм фон Бордвер нанес Диотиме визит. Это был тот офицер, которого военное министерство направило на большое учредительное заседание, где он произнес речь, произведшую на всех немалое впечатление, но не помешавшую, когда для великой акции мира составлялись комитеты по образцу министерств, обойти по вполне понятным причинам министерство войны… Он был не очень осанистый генерал с брюшком и маленькой щеточкой вместо настоящих усов. Лицо его было круглое, и было в этом лице что-то от семейного уюта при отсутствии какого бы то ни было состояния сверх требуемого уставом от вступающего в брак армейского офицера. Он сказал Диотиме, что солдату подобает в совете скромная роль. Кроме того, само собой разумеется, что по политическим соображениям нельзя было при образовании комитетов принимать в расчет военное министерство. Тем не менее он осмеливается утверждать, что планируемая акция должна воздействовать на заграницу, а то, что воздействует на заграницу, есть мощь народа. Он повторил, что знаменитый фило-

соф Трейчке сказал, что государство — это сила, нужная, чтобы выжить в борьбе народов. Сила, накапливаемая в мирное время, отдаляет войну или по меньшей мере уменьшает ее жестокость. Он говорил еще четверть часа, привел несколько классических цитат, которые, как он прибавил, любовно хранил в памяти еще с гимназических времен, и заявил, что эти годы гуманитарных занятий были лучшими в его жизни; он старался дать Диотиме почувствовать, что он от нее в восторге и был восхищен тем, как она руководила большим заседанием; он только еще раз пожелал повторить, что при правильном понимании совершенствование вооруженных сил, сильно отстающих от вооруженных сил других великих держав, означает выразительнейшую демонстрацию миролюбия, и заявил о своей твердой, впрочем, надежде на то, что широкое, всенародное участие в делах армии возникнет само собой.

Этот милый генерал до смерти напугал Диотиму. В Какании были тогда семьи, где появлялись офицеры, потому что дочери выходили замуж за офицеров, и семьи, где дочери не выходили замуж за офицеров либо из-за отсутствия денег для брачного залога, либо из принципа, так что

офицеры там и не появлялись; семья Диотимы принадлежала по обеим причинам ко второй категории, вследствие чего у этой совестливо красивой женщины сложилось о военных такое примерно представление, словно это сама смерть, увешанная пестрыми тряпками. На свете, отвечала она, так много великого и доброго, что выбор нелегко сделать. Это великая привилегия — дать среди материалистической суеты мира великий знак, — сказала она, — но это и тяжкая обязанность. И в конце концов демонстрация должна сама собой вырасти из гущи народа, отчего ей, Диотиме, следует несколько отодвинуть назад собственные желания. Она тщательно выбирала слова, как бы сшивая их черно-желтым шнуром и сжигая на губах легкие благовония лексикона высшей бюрократии.

Но когда генерал удалился, душа этой величавой женщины обессилела. Будь Диотима способна на столь низкое чувство, как ненависть, она возненавидела бы этого округлого человечка с бегающими глазками и золотыми пуговицами на животе, но поскольку это не было ей дано, она чувствовала какую-то тупую боль обиды и не могла сказать почему. Несмотря на зимний холод, она отворила окна и несколько раз про-

шелестела по комнате взад и вперед. Когда она снова закрыла окна, на глазах у нее были слезы. Она очень удивилась. Уже второй раз она плакала без причины. Она вспомнила ночь, когда проливала слезы рядом с супругом, не зная, как их объяснить. На сей раз чисто нервный характер этого явления, которому никакое содержание не соответствовало, был еще яснее; этот толстый офицер вызвал у нее слезы, как луковица, без участия какого-либо разумного чувства. Она по праву встревожилась: вещий страх говорил ей, что какой-то невидимый волк рыщет возле ее загонов и что пора прогнать его силой идеи. Вот почему после визита генерала она решила как можно скорее устроить намеченную встречу великих умов, которая должна была помочь ей обеспечить патриотическую акцию каким-то содержанием.

65
Из разговоров Аргейма и Диотимы

У Диотимы стало легче на сердце, оттого что Аргейм как раз вернулся из поездки и был к ее услугам.

— Всего несколько дней назад мне довелось

беседовать о генералах с вашим кузеном, — ответил он тотчас, сделав это сообщение с видом человека, намекающего на какую-то щекотливую связь, но не желающего выдать, о чем идет речь. У Диотимы создалось впечатление, что ее полный противоречий, не очень-то воодушевленный великой идеей акции кузен еще к тому же играет на руку неясным опасностям, исходившим от того генерала.

— Я не хотел бы касаться этого при вашем кузене и выставлять это на смех, — продолжал Арнгейм, давая новый поворот разговору, — но мне важно, чтобы вы немного почувствовали то, на что сами, будучи далеки от этих вещей, вряд ли обратите внимание: связь между предпринимательством и поэзией. Я имею в виду, конечно, предпринимательство в широком смысле слова, то предпринимательство в мировом масштабе, которым мне, по моему наследственному положению, суждено заниматься; оно в родстве с поэзией, оно имеет иррациональные, прямо-таки мистические стороны; я даже сказал бы, что именно предпринимательство ими и обладает. Деньги, знаете ли, — это чрезвычайно нетерпимая власть.

— Во всем, чем люди занимаются, вкладывая

в это себя целиком, есть, вероятно, известная нетерпимость, — ответила с некоторым промедлением Диотима, еще державшаяся мыслями за незавершенную первую часть разговора.

— Особенно в деньгах! — быстро сказал Арнгейм. — Дураки воображают, что обладать деньгами — это наслаждение! На самом деле это ужасная ответственность. Не стану говорить о бесчисленных жизнях, зависящих от меня, для которых я олицетворяю чуть ли не судьбу; позвольте мне сказать только о том, что мой дед начал с мусороуборочного предприятия в одном рейнском городе средней величины.

При этих словах Диотима и в самом деле почувствовала внезапный ужас перед чем-то, что она приняла за экономический империализм; но она спутала разные вещи; она была не вполне лишена предрассудков своего общественного круга, и так как при упоминании мусороуборочного предприятия она подумала о пахнущих навозом крестьянах, отважное признание ее друга заставило ее покраснеть.

— Этим процессом переработки отбросов, — продолжал он свое признание, мой дед заложил основу влияния Арнгеймов. Но даже и мой отец покажется человеком самостоятельно выбив-

шимся в люди, если учесть, что за сорок лет он расширил эту фирму до всемирного концерна. Он кончил не больше двух классов торгового училища, но с первого взгляда видит насквозь любую сложнейшую мировую ситуацию и знает все, что ему надо знать, прежде, чем это узнают другие. Я изучал политическую экономию и все мыслимые науки, а ему они совершенно неведомы, и нельзя объяснить, как это у него получается, но неудач у него не бывает ни в чем, даже в пустяках. Это тайна могучей, простой, великой и здоровой жизни!

Голос Арнгейма, когда он говорил об отце, приобрел необычное, благоговейное звучание, словно его наставническое спокойствие дало где-то трещинку. Это тем более поразило Диотиму, что Ульрих рассказывал ей, будто старик Арнгейм, по описаниям, просто широкоплечий коротышка с костлявым лицом и носом пуговкой, который всегда носит широко распахнутый фрак и орудует своими акциями так же неуступчиво и осмотрительно, как шахматист — пешками. И, не дожидаясь ее ответа, Арнгейм продолжал после маленькой паузы:

— Когда предприятие расширяется так, как те немногие, о которых я сейчас говорю, то нет, пожалуй, такой области жизни, с которой бы оно

не сплелось. Это космос в миниатюре. Вы удивились бы, узнав, каких совсем не коммерческих с виду проблем — художественных, моральных, политических — приходится мне касаться в беседах со старшим главой фирмы. Но фирма уже не растет так стремительно, как в начальные времена, которые я бы назвал героическими. Для предприятий, несмотря на все процветание, тоже существует какой-то таинственный предел роста, как для всего органического. Задавались ли вы когда-либо вопросом, почему сегодня ни одно животное не перерастает слона? Эту же тайну вы найдете в истории искусства и в странных соотношениях в жизни народов, культур и эпох.

Диотима раскаивалась теперь в том, что ужаснулась процессу переработки отбросов, и была в смятении.

— Жизнь полна таких тайн. Существует что-то, против чего разум совершенно бессилен. Мой отец с этим в союзе. А человек типа вашего кузена, — сказал Арнгейм, — активист, чья голова всегда забита тем, как устроить все иначе и лучше, к этому нечувствителен.

Когда имя Ульриха было упомянуто вновь, Диотима показала улыбкой, что такой человек, как ее кузен, отнюдь не стремится влиять на нее.

Одноцветная, несколько желтоватая кожа Арнгейма, гладкая на лице, как груша, покраснела на скулах. Он поддался удивительной потребности, которую давно уже будила в нем Диотима, незащищенно довериться ей целиком, до последних неизвестных подробностей. И вот он снова замкнулся, взял со стола какую-то книгу, прочел ее заглавие, не вникая в него, нетерпеливо положил ее на место и сказал обычным своим голосом, который в этот миг поразил Диотиму так, как движение человека, хватающего свою одежду, почему она и узнала, что он был гол:

— Я ушел далеко в сторону. По поводу вашего генерала скажу вам, что самое лучшее, что вы можете сделать, это как можно скорее осуществить ваш план и возвысить нашу акцию влиянием гуманного духа и его признанных представителей. Но и генерала незачем отвергать в принципе. Сам он, может быть, полон доброй воли, а вы ведь знаете мое правило, что никогда не следует упускать возможность внести дух в сферу сплошной силы.

Диотима схватила его руку и резюмировала эту беседу, простившись словами: «Благодарю вас за откровенность».

Арнгейм несколько мгновений нерешительно подержал мягкую руку, задумчиво уставившись

на нее, словно он забыл что-то сказать.

66
Между Ульрихом и Арнгеймом не все гладко

Ее кузен нередко доставлял себе тогда удовольствие описывать Диотиме служебные впечатления, которых он набирался возле его сиятельства, особенно любил он показывать ей время от времени папки с предложениями, поступавшими к графу Лейнсдорфу.

— Могущественная кузина, — докладывал он с толстой кипой документов в руке, — мне самому уже не справиться; похоже, что весь мир ждет от нас усовершенствовании, и одна половина их начинается словами «Освободимся от…», а другая словами «Вперед к …!». У меня здесь призывы в диапазоне от «Освободимся от Рима!» до «Вперед к огородничеству!». Что вы выберете?

Нелегко было внести порядок в пожелания, адресованные современниками графу Лейнсдорфу, но две группы писем выделялись в его почте своим объемом. Одна возлагала вину за неурядицы времени на какую-нибудь определенную частность и требовала ее устранения, а

такими частностями были ни больше ни меньше как евреи или римская церковь, социализм или капитализм, механистическое мышление или пренебрежение к развитию техники, смешение рас или его отсутствие, крупные землевладельцы или большие города, интеллектуализация или недостаточность народного образования. Другая группа, напротив, обозначала какую-нибудь лежащую впереди цель, достижением которой вполне можно было бы удовлетвориться, и они, эти достойные осуществления цели второй группы, не отличались обычно от достойных уничтожения частностей первой ничем, кроме эмоционального ключа, в каком их формулировали, — потому, видимо, что есть на свете натуры критические и есть покладистые. Так, письма второй группы сообщали, например, с радостью отрицания, что надо покончить наконец со смехотворным культом искусств, поскольку-де жизнь — больший поэт, чем все писаки, и требовали издания сборников судебных отчетов и путевых очерков для всеобщего употребления; а письма первой группы заявляли в этом же случае с радостью утверждения, что чувство, испытываемое при покорении горной вершины, выше всех взлетов искусства, философии и религии, отчего

лучше было бы поощрять вместо них альпинизм. Таким двояким манером требование замедлить темп времени выдвигалось наряду с требованием объявить конкурс на лучшую газетную статью, поскольку жизнь несносно или восхитительно коротка, а освободить человечество предлагали как с помощью, так и от: дачных поселков, раскрепощения женщины, танцев, спорта или культуры жилья, равно как с помощью несметного множества и от несметного множества других вещей.

Ульрих захлопнул папку и начал частный разговор,

— Могущественная кузина, — сказал он, — это удивительный феномен, что одна половина ищет благо в будущем, а другая — в прошлом. Не знаю, какой вывод надо из этого сделать. Его сиятельство сказал бы, что настоящее ужасно.

— Есть ли у его сиятельства какие-либо намерения, касающиеся церкви? — спросила Диотима.

— В данный момент он пришел к убеждению, что в истории человечества не бывает добровольных поворотов назад. Но трудность состоит в том, что у нас нет ведь и какого-то полезного движения вперед. Позвольте мне назвать удивительной ситуацию, когда нет движения ни

вперед, ни назад, а настоящий момент кажется невыносимым.

Диотима пряталась, когда Ульрих так говорил, в своей высокой фигуре, как в башне, отмеченной в туристских справочниках тремя звездочками.

— Считаете ли вы, сударыня, — спросил Ульрих, — что, если бы человек, борющийся сегодня — за что-то или против чего-то, чудом стал завтра неограниченным властителем мира, он в тот же день сделал бы то, чего требовал всю свою жизнь? Я убежден, что он дал бы себе отсрочку на несколько дней.

Поскольку Ульрих сделал затем небольшую паузу, Диотима, не ответив, неожиданно повернулась к нему и строго спросила:

— По какой причине вы внушили генералу надежду на нашу акцию?

— Какому генералу?

— Генералу фон Штумму!

— Это тот круглый, маленький генерал, что был на большом заседании? — С тех пор я его в глаза не видел, а не то что внушал ему какие-либо надежды!

Удивление Ульриха было убедительно и требовало, чтобы она объяснилась. Но поскольку такой человек, как Арнгейм, тоже не мог говорить

неправду, то произошло, по-видимому, недоразумение, и Диотима пояснила, на чем основано ее предположение.

— Так я, выходит, говорил с Арнгеймом о генерале фон Штумме? И этого не было! — заверил ее Ульрих. Я с Арнгеймом… минутку… — Он задумался и вдруг рассмеялся. — Было бы, право, очень лестно, если бы Арнгейм придавал такой вес каждому моему слову! В последнее время я много раз с ним беседовал, если вам угодно так назвать наши разногласия, и однажды я действительно говорил при этом о генерале, но не о каком-то определенном генерале, а лишь вскользь, для примера. Я утверждал, что генерал, по стратегическим соображениям посылающий батальоны на верную гибель, есть убийца, если связать его с тем фактом, что это тысячи сыновей своих матерей; но что он сразу делается чем-то другим, если поставить его в связь с другими мыслями, например, с необходимостью жертв или маловажностью короткой жизни. Я приводил также множество других примеров. Но позвольте мне тут отклониться. По очень понятным причинам каждое поколение обращается с жизнью, которую застает, как с чем-то незыблемым, кроме того немногого, в изменении чего оно заинтере-

совано. Это полезно, но неверно. Ведь каждый миг мир можно изменить и сразу во всех направлениях или хотя бы решительно в любом; этим он, так сказать, болен. Жить самобытно значило бы поэтому попробовать вести себя не так, как определенный человек в определенном мире, в котором надо, я сказал бы, всего только передвинуть несколько пуговиц, что именуют развитием, а с самого начала как человек, рожденный для изменений и окруженный созданным для изменений миром, то есть примерно так, как капля воды в облаке. Вы презираете меня за то, что я снова выражаюсь неясно?

— Я вас не презираю, но понять вас не могу; расскажите-ка мне весь разговор! — приказала Диотима.

— Ну, затеял-то его Арнгейм; он задержал меня и буквально втравил в разговор, — начал Ульрих. — «Мы, коммерсанты, — сказал он мне с очень непроизвольной улыбкой, которая немного не вязалась с его обычным внешним спокойствием, но все же была очень величественна, — мы, коммерсанты, не калькулируем, как вы, может быть, думаете. Нет, мы — я говорю, конечно, о ведущих людях; маленькие, спору нет, иногда только и делают, что калькулируют, —

мы учимся рассматривать наши действительно успешные затеи как нечто, глумящееся над всякой калькуляцией, подобно тому как глумится над ней личный успех политика, да и художника тоже в конце концов». Затем он попросил меня отнестись к тому, что он теперь скажет, со снисходительностью, на которую вправе претендовать нечто иррациональное. С первого же дня, как он увидел меня, он не перестает обо мне размышлять, поведал он мне, и вы, любезнейшая кузина, тоже рассказывали ему обо мне, но ему, заверил он, не нужно было никаких рассказов, чтобы составить насчет меня мнение, и он заявил мне, что это странно, что я избрал совершенно отвлеченное, чисто умственное занятие, ибо, как бы я ни был к нему способен, я ошибся, став ученым, и главный мой талант, хоть это меня, наверно, удивит, находится в области действия и личного воздействия!

— Вот как? — сказала Диотима.

— Я совершенно с вами согласен, — поспешил ответить Ульрих, — ни для чего я не гожусь меньше, чем для себя самого.

— Вы все посмеиваетесь, вместо того чтобы посвятить себя жизни, — заметила Диотима, сердясь на него еще из-за папок с предложениями.

— Арнгейм утверждает обратное. У меня, утверждает он, есть потребность делать слишком фундаментальные выводы о жизни из своих мыслей.

— Вы насмешничаете и любите отрицать; вы всегда сбиваетесь в сторону невозможного и уклоняетесь от какого бы то ни было реального решения, определила Диотима.

— Я просто убежден, — отвечал Ульрих, — что мысли — это одно дело, а реальная жизнь — другое. Ведь слишком велика нынче разница между ступенями, на которых они находятся. Нашему мозгу несколько тысяч лет, но если бы он продумывал все только наполовину, а другую половину забывал, то реальность была бы точным его отражением. Ей можно только отказать в духовном участии.

— Не значит ли это слишком облегчить себе задачу? — спросила Диотима без намерения обидеть, глядя на него так, как глядит гора в ручеек у ее подножья. — Арнгейм тоже любит теории, но, полагаю, он мало с чем согласится, не проверив этого по всем статьям. Не кажется ли вам, что смысл всякого думанья в сосредоточенности на его практическом применении?

— Нет, — сказал Ульрих.

— Любопытно, что вам ответил на это Арнгейм?

— Он сказал мне, что дух глядит сегодня на реальный ход вещей бессильным зрителем, потому что он отлынивает от великих задач, которые ставит жизнь. Он призвал меня приглядеться к тому, о чем толкуют искусства, какая мелочность царит в церквах, как узок даже кругозор учености! И посоветовал мне подумать о том, что землю тем временем буквально делят. Затем он заявил мне, что именно об этом он и хотел со мною поговорить!

— И что же вы ответили? — спросила Диотима с интересом, угадав, как ей казалось, что Арнгейм хотел упрекнуть ее кузена за его безучастное отношение к вопросам параллельной акции.

— Я ответил ему, что реализация всегда привлекает меня меньше, чем нереализуемое, причем я имею в виду не только нереализуемое в будущем, но в такой же мере и то, что прошло и упущено. Мне кажется, наша история состоит в том, что каждый раз, реализовав малую долю какой-нибудь идеи, мы на радостях оставляем незавершенной большую ее часть. Великолепные установления — это обычно испорченные наброски идей; впрочем, и великолепные лично-

сти тоже; так я ему и сказал. Мы по-разному, так сказать, смотрели на вещи.

— Вы проявили задиристость! — сказала Диотима обиженно.

— Зато он сообщил мне, кем я кажусь ему, когда отказываюсь от активности ради какого-то незавершенного упорядочения мысли в общем виде. Хотите узнать? Человеком, который ложится на землю рядом с приготовленной для него постелью. Это растрата энергии, то есть даже нечто физически аморальное, прибавил он специально для меня. Он донимал меня, чтобы я понял наконец, что большие духовные цели могут быть достигнуты лишь при использовании существующего сегодня соотношения экономических, политических и, не в последнюю очередь, духовных сил. Сам он считает более нравственным пользоваться им, чем пренебрегать. Он очень меня донимал. Он назвал меня активнейшим человеком в оборонительной позиции, в судорожной обороне. Думаю, что у него есть какая-то не совсем благовидная причина добиваться моего уважения!

— Он хочет помочь вам! — воскликнула Диотима осуждающе.

— О нет, — отвечал Ульрих. — Я, может быть,

только простой камешек, а он похож на роскошный выпуклый стеклянный шар. Но у меня такое впечатление, что он боится меня.

Диотима на это ничего не ответила. То, что говорил Ульрих, было, возможно, дерзко, но ей пришло на ум, что переданный Ульрихом разговор был не совсем таким, каким он показался ей со слов Арнгейма. Это ее даже встревожило. Хотя она считала Арнгейма совершенно неспособным к каким-то интригам, Ульрих приобрел у нее большее доверие, и она обратилась к нему с вопросом, что же посоветует он предпринять с генералом Штуммом.

— Держать его подальше! — ответил Ульрих, и Диотима не смогла не упрекнуть себя за то, что ей это понравилось.

67
Диотима и Ульрих

Благодаря вошедшим в привычку встречам отношение Диотимы к Ульриху в это время заметно улучшилось. Они часто выезжали вместе для нанесения визитов, и он приходил к ней по нескольку раз в неделю, причем нередко без предупреждения и в неурочное время. В этих об-

стоятельствах им было удобно извлекать пользу из своего родства и смягчать по-семейному строгости светского этикета. Диотима принимала его не всегда в гостиной и в полном, от узла волос до подола, броневом покрытии, а порой и в легком домашнем беспорядке, что, впрочем, означало беспорядок весьма осторожный. Между ними возникло своего рода товарищество, заключавшееся главным образом в форме общения; но воздействие форм простирается внутрь, и чувства, их образующие, могут быть и разбужены ими.

Иногда Ульрих со всей остротой чувствовал, что Диотима очень красива. Тогда она ему виделась молодой, высокой, полной, породистой коровой, твердо шагающей и разглядывающей глубоким взглядом сухие травы, которые щиплет. Даже тогда, стало быть, он смотрел на нее не без той ехидной иронии, что, мстя духовному благородству Диотимы сравнениями из животного царства, шла от глубокой злости, направленной не столько на эту глупую пай-девочку, сколько на школу, где ее старания имели успех. «Какой приятной могла бы она быть, думал он, — окажись она необразованна, небрежна и так добродушна, как это свойственно большому теплому женскому телу, когда оно не вбивает себе в голову

никаких особых идей!» И тогда знаменитая супруга вызывавшего множество пересудов начальника отдела Туцци улетучивалась из своего тела, и оставалось только оно само, как сновидение, превращающееся вместе с подушками, постелью и сновидцем в белое облако, которое совершенно одиноко на свете со своей нежностью.

Но возвращаясь из таких экскурсий воображения, Ульрих видел перед собой целеустремленный буржуазный ум, искавший контактов с аристократическими мыслями. При резкой противоположности натур физическое родство вызывает, кстати сказать, беспокойство, и для этого достаточно даже самой идеи родства, просто сознания своего «я»; братья и сестры порой не выносят друг друга без какой бы то ни было оправдывающей это причины, лишь оттого, что самим фактом своего существования они уже ставят друг друга под сомнение и служат друг другу слегка искажающим зеркалом. Того, что Диотима была приблизительно одного роста с Ульрихом, оказывалось иногда достаточно, чтобы пробудить мысль, что она с ним в родстве, и заставить его почувствовать отвращение к ее телу. Тут он, хотя и с некоторыми изменениями, возложил на нее функцию, вообще-то принадлежавшую другу

его юности Вальтеру; заключалась эта функция в том, чтобы унижать и раздражать его гордость, подобно тому как старые неудачные фотографии, на которых мы себя узнаем, унижают нас в наших собственных глазах и одновременно бросают вызов нашей гордости. Получалось, что и в недоверии, испытываемом к Диотиме Ульрихом, непременно присутствовало что-то связующее и сближающее, короче, дыхание настоящей приязни, точно так же, как былая сердечная привязанность к Вальтеру сохранялась еще в форме недоверия к нему.

Ульриха это, поскольку Диотиму он недолюбливал, долгое время очень удивляло, а разобрать, в чем тут дело, он не мог. Они иногда совершали вместе небольшие экскурсии; с благословения Туцци Диотима пользовалась хорошей погодой, чтобы, несмотря на неблагоприятное время года, показать Аргейму «красоты окрестностей Вены» — Диотима не употребляла в данном случае никаких других выражений, кроме этого штампа, — и каждый раз Ульрих оказывался взятым на роль старшей родственницы, охраняющей честь младшей, потому что начальник отдела Туцци был занят на службе, а потом случалось так, что Ульрих выезжал и один с Диотимой, когда Аргейм

отсутствовал. Для таких экскурсий, как потом и для непосредственных нужд акции, Аргейм предоставлял автомобили в любом количестве, ибо украшенный гербами выезд его сиятельства был слишком известен в городе и обращал на себя внимание; собственностью Аргейма автомобили, впрочем, тоже не были, поскольку богатые люди всегда находят других, для которых одно удовольствие оказать им услугу. Такие поездки предпринимались не только для удовольствия, но имели целью и привлечь к участию в отечественной акции влиятельных или состоятельных лиц и совершались внутри города еще чаще, чем за его пределы. Родственники покидали вдвоем много красивого: мебель эпохи Марии-Терезии, дворцы в стиле барокко, людей, которых их слуги все еще носили по миру на руках, современные дома с большими анфиладами комнат, дворцы банков и смесь испанской строгости с бытовыми привычками среднего сословия в квартирах высоких служителей государства. В общем, если речь шла об аристократии, это были остатки роскошного стиля жизни без водопровода, а в домах и конференц-залах богатой буржуазии этот стиль повторялся гигиенически улучшенной, исполненной с большим вкусом, но более блед-

ной копией. Каста бар и господ всегда остается немного варварской: шлак и остатки, которых не сожгло дальнейшее тление времени, лежали в аристократических замках на прежних своих местах, с великолепной лестницей соседствовала трухлявая половица, а отвратительная новая мебель беззаботно стояла среди чудесных старинных вещей. Напротив, класс выбившихся в люди, влюбленный в импозантные и великие эпохи своих предшественников, невольно производил придирчивый и утончающий отбор. Если замок принадлежал буржуа, то он оказывался не только снабженным современными удобствами, как наследственная люстра электрической проводкой, но и в меблировке кое-что менее красивое было убрано и прибавлено кое-что ценное — либо по собственному усмотрению, либо по непререкаемому совету экспертов. Заметнее всего, впрочем, был этот процесс утончения даже не в замках, а в городских квартирах, обставленных в духе времени с безличной роскошью океанского парохода, но благодаря какому-нибудь непередаваемому штриху, какому-нибудь едва заметному просвету между предметами мебели или господству на какой-то стене какой-то картины хранивших в этой стране утонченного социального честолюбия

нежно-отчетливый отзвук отшумевшей славы.

Диотима была в восторге от такого количества «культуры»; она всегда знала, что ее родина таит такие сокровища, но размеры их поражали даже ее. Они бывали вместе в гостях за городом, и Ульрих замечал, что фрукты здесь нередко ели нечищеными, беря их прямо рукой, или отмечал еще что-нибудь в этом роде, тогда как в домах крупной буржуазии строго соблюдался церемониал ножа и вилки; сходное наблюдение можно было сделать и относительно беседы, которая почти только в буржуазных домах отличалась совершенным изяществом, в то время как в аристократических кругах преобладал язык ходовой, непринужденный, похожий на кучерской. Диотима с энтузиазмом защищала это от своего кузена. Буржуазные поместья, признавала она, оборудованы более гигиенично и разумно. В аристократических замках мерзнешь зимой; узкие, стертые лестницы там не редкость, и затхлые, низкие спальни находятся рядом с ослепительными гостиными. Нет ни подъемника для блюд, ни ванной для прислуги. Но эта унаследованность, эта великолепная небрежность — они-то как раз и более героичны в известном смысле! — заключала она восторженно.

Ульрих пользовался такими поездками, чтобы разобраться в чувстве, связывавшем его с Диотимой. Но поскольку все при этом было полно отклонений в сторону, нужно немного последовать за ними, прежде чем подходить к решающему моменту.

Тогда женщины носили одежду, закрывавшую их от шеи до щиколоток, а мужчинам, хотя они и сегодня носят такую же одежду, как тогда, она подходила в то время больше, будучи внешним выражением еще живой связи безупречной закрытости и строгой сдержанности, считавшихся тогда признаком светскости. Прозрачно-откровенное оголение напоказ представилось бы тогда даже человеку без особых предрассудков и не скованному стыдом, мешающим признать достоинства обнаженного тела, возвратом в животное состояние, причем не из-за наготы, а из-за отказа от такого цивилизованного средства эротического воздействия, как одежда. В то время, пожалуй, сказали бы даже: в состояние более низкое, чем животное; ибо трехлетний конь хороших кровей или играющая борзая гораздо выразительнее в своей наготе, чем того может достичь человеческое тело. Зато они не могут носить одежду; у них есть только одна кожа, а у людей тогда было еще

множество кож. Большим платьем, его рюшами, буфами, клешем, каскадом раструбов, кружевами и сборками они создавали себе поверхность, которая была в пять раз больше подлинной и представляла собой складчатую, труднодоступную, заряженную эротикой чашу, таившую внутри узкого белого зверя, заставлявшего искать себя и делавшегося страшно желанным. То был предначертанный процесс, применяемый самой природой, когда она заставляет свои создания распушивать перья или изливать облако мрака, чтобы любовью и страхом возвысить трезвые действия, в которых тут все дело, до неземного безумия.

Диотима впервые в жизни почувствовала, что эта игра глубоко, хотя и самым пристойным образом, ее трогает. Кокетство не было ей чуждо, ибо оно принадлежало к светский искусствам, которыми дама должна владеть; и от нее никогда не ускользало, если взгляды молодых людей выражали в ответ на ее кокетство нечто иное, чем почтение к ней, она даже любила это, потому что чувствовала силу мягкого, женственного одергиванья, принуждая направленный на нее, как рога быка, взгляд мужчины обратиться к идеальным предметам, которыми его отвлекали

ее уста. Но Ульрих, прикрытый родственной близостью и самоотверженностью своего участия в параллельной акции, да и защищенный составленным в его пользу завещанием, позволял себе вольности, которые напрямик пробивались сквозь ветви ее развесистого идеализма. Так, однажды во время загородной поездки машина мчалась мимо прелестных долин, между которыми к самой дороге подступали поросшие темным сосновым лесом склоны гор, и Диотима указала на это стихами: «Кто взрастил тебя, о лес, на вершинах недоступных…»; она процитировала эти строки, разумеется, как стихотворение, не намекнув даже на связанную с ними мелодию, ибо это показалось бы ей избитым и пустым. Но Ульрих ответил:

— Нижнеавстрийский поземельный банк. Разве вы не знаете, кузина, что все леса здесь принадлежат поземельному банку? А творец, которому вы хотите воздать хвалу, — это главный лесничий, состоящий там на службе. Здесь природа — плановый продукт лесной промышленности; выстроенный рядами склад для производства целлюлозы, что, кстати, сразу и видно.

Ответы его очень часто бывали такого рода. Когда она говорила о красоте, он говорил о жи-

ровой ткани, поддерживающей кожу. Когда она говорила о любви, он говорил о годичной кривой, указывающей на автоматическое увеличение и уменьшение рождаемости. Когда она говорила о великих людях искусства, он заводил речь о цепи заимствований, соединяющей этих людей друг с другом. В сущности, Диотима всегда начинала говорить так, словно на седьмой день бог, как жемчужину, вложил человека в раковину мира, а Ульрих потом как бы напоминал, что человек — это небольшая толика точечек на самой поверхности коры карликового шарика. Не совсем просто было понять, чего добивался этим Ульрих; это были явные нападки на ту сферу великого, союзницей которой чувствовала себя Диотима, и она воспринимала их прежде всего как оскорбительную самонадеянность. Она не могла примириться с тем, чтобы ее кузен, на ее взгляд, enfant terrible, знал что-либо лучше, чем она, и его материалистические доводы, совершенно непонятные ей, потому что он черпал их из низшей цивилизации счета и точности, сердили ее жестоко.

— Слава богу, есть еще люди, — резко возразила она ему однажды, которые, несмотря на большой опыт, способны верить в простые вещи!

— Например, ваш супруг, — ответил Ульрих. — Я уже давно хотел вам сказать, что решительно предпочитаю его Арнгейму!

Тогда у них вошло в привычку обмениваться мыслями в форме разговоров об Арнгейме. Ибо, как всем влюбленным, Диотиме доставляло удовольствие говорить о предмете своей любви, не выдавая себя — как она, по крайней мере, думала; а поскольку Ульрих находил это невыносимым, — оно и правда невыносимо для любого мужчины, не связывающего с собственным уходом в тень никакого тайного намерения, — то в таких случаях он часто делал выпады против Арнгейма. Возникли особого рода отношения, соединявшие его с ним. Они встречались, когда Арнгейм не был в отъезде, почти ежедневно. Ульрих, наблюдавший его воздействие на Диотиму с первого дня, знал, что начальник отдела Туцци смотрит на этого иностранца с подозрением. Между Диотимой и Арнгеймом, правда, еще не было, кажется, ничего некорректного, насколько может судить о таких вещах третий, которого сильно укрепляло в этом предположении то обстоятельство, что между влюбленными было невыносимо много корректного, явно равнявшегося на высшие образцы платонического союза

душ. Причем Арнгейм проявлял поразительную склонность втягивать в эти близкие отношения кузена своей приятельницы (или, может быть, все-таки возлюбленной? — спрашивал себя Ульрих; наиболее вероятным он считал что-то вроде среднего арифметического возлюбленной и приятельницы). Арнгейм часто обращался к Ульриху тоном старшего друга, позволительным благодаря разнице в возрасте, но приобретавшим из-за разницы в положении неприятный снисходительный оттенок. Ульрих отвечал на это почти всегда отпором и в довольно вызывающей манере, словно нисколько не ценил общения с человеком, который мог бы беседовать о своих идеях не с ним, а с королями и канцлерами. Он возражал ему часто невежливо и неподобающе иронично и сам досадовал на себя за этот недостаток выдержки, который лучше было бы заменить удовольствием молчаливого наблюдения. Но, к его собственному удивлению, Арнгейм его раздражал. Он видел в нем раскормленный милостью обстоятельств классический образец ненавистного ему, Ульриху, интеллектуального развития. Этот знаменитый писатель был достаточно умен, чтобы понимать, в какое сомнительное положение поставил себя человек

с тех пор, как ищет свой образ уже не в зеркале ручьев, а в острых, ломаных плоскостях своего интеллекта; но этот пишущий железный король считал, что виной тому выход интеллекта на сцену, а не его, интеллекта, несовершенство. Было какое-то жульничество в этом соединении цены на уголь и души, которое одновременно было целесообразным отъединенном того, что Арнгейм с ясным знанием делал, от того, о чем он со смутным чутьем говорил и писал. Сюда, к еще большему неудовольствию Ульриха, прибавлялось нечто для него новое, сочетание ума с богатством; ибо когда Арнгейм, говоря о каком-нибудь частном вопросе более или менее как специалист, вдруг с небрежным жестом отметал частности и заставлял их исчезнуть в свете какой-нибудь «великой мысли», то даже если это и вытекало из вполне правомерной потребности, все же такое свободное манипулирование в двух направлениях напоминало одновременно богача, позволяющего себе все, что хорошо и дорого. Он был богат умом в каком-то всегда немного напоминающем реальное богатство значении слова «богатый». И даже не это, возможно, больше всего подстрекало Ульриха создавать трудности знаменитому иностранцу, а, может быть, явная тяга

его ума к достоинству придворного и домашнего обихода, сама собой ведущая к союзу с лучшими сортами и традиционного, и необычного; ибо в зеркале этой смакующей осведомленности Ульрих видел ту гримасу искусственного возбуждения, которая есть физиономия времени, если отнять от нее немногие действительно сильные черты страсти и интеллекта, и из-за этого не находил случая вникнуть получше в человека, имевшего, вероятно, и немало всяких заслуг. Совершенно бессмысленной, конечно, была борьба, которую он тут вел — в окружении, заранее признававшем правоту Арнгейма, и за лишенное всякой важности дело; в лучшем случае можно было бы сказать, что эта бессмыслепность имела смысл полной самоотдачи. Но борьба эта была и совершенно безнадежна, ибо если Ульриху иногда действительно удавалось ранить своего противника, то оказывалось, что попал он не в тот бок; когда интеллектуал Арнгейм лежал, казалось, вконец поверженный, поднимался, как некое крылатое существо, снисходительно улыбающийся реалист Арнгейм и, спеша перейти от праздности таких разговоров к действиям, отправлялся в Багдад или Мадрид.

Эта неуязвимость позволяла ему противопо-

ставлять резкости младшего товарищескую приветливость, в происхождении которой тот не мог разобраться. Правда, Ульриху самому важно было не очень дискредитировать своего противника, ибо он, Ульрих, положил себе не начинать больше с такой легкостью тех половинчатых и недостойных приключений, которыми было слишком богато его прошлое, и прогресс, замечаемый им в отношениях Арнгейма с Диотимой, придавал этому намерению большую твердость. Поэтому он обычно старался, чтобы острие его нападок походило на упругое и гибкое острие рапиры с дружески смягчающим удар маленьким наконечником. Сравнение это придумала, кстати сказать, Диотима. Ее кузен ее удивлял. Его открытое лицо с ясным лбом, его спокойно дышавшая грудь, свободная подвижность всех его членов говорили ей, что этому телу не могут быть свойственны злые, коварные, извращенно-сладострастные побуждения; она отчасти даже гордилась такой приятной внешностью представителя ее семьи и уже в самом начале знакомства приняла решение взять его под свое руководство. Будь у него черные волосы, кривые плечи, нечистая кожа и низкий лоб, она сказала бы, что его взгляды этому соответствуют; но при

той наружности, какая у него на самом деле была, она отмечала лишь известное несоответствие его воззрениям, и это необъяснимо тревожило ее. Щупальца ее знаменитой интуиции тщетно доискивались до причины, но на других концах щупальцев эти поиски доставляли ей удовольствие. Беседовать с Ульрихом ей порою было в известном смысле, смысле, разумеется, не вполне серьезном, даже приятней, чем с Арнгеймом. Ее потребность в превосходстве утолялась с ним лучше, она увереннее владела собой, а то, что она считала его фривольностью, экстравагантностью или незрелостью, наполняло ее известным удовлетворением, уравновешивавшим ее все более с каждым днем опасный идеализм, который, как она видела, стихийно возрастал в ее чувствах к Арнгейму. Душа — дело ужасно трудное, а материализм, следовательно, веселое. Регламентация ее отношений с Арнгеймом требовала от нее порой такого же напряжения, как ее салон, и пренебрежение к Ульриху облегчало ей жизнь. Она не понимала себя, но этот эффект заметила и потому способна была, сердясь на кузена за какое-нибудь его замечание, бросить на него искоса взгляд, который был лишь крошечной улыбкой в уголках глаз, тогда как сами глаза идеалистиче-

ски невозмутимо и даже чуть-чуть презрительно глядели прямо вперед.

Во всяком случае, какие бы ни были на то причины, Диотима и Арнгейм относились к Ульриху так, как двое дерущихся, которые, держась за третьего, от страха попеременно втискивают его в промежуток между собой, и такое положение не было для него безопасным, ибо из-за Диотимы при этом живо вставал вопрос: должны люди быть в согласии со своим телом или нет?

68
Отклонение в сторону: должны ли люди быть в согласии со своим телом?

Независимо от того, о чем говорили лица, во время долгой езды движение машины покачивало кузину с кузеном, отчего их одежды соприкасались, немного покрывали друг друга и разъединялись опять; заметно это было только по плечам, поскольку остальное было закутано общей полостью, но тела чувствовали эти смягченные одеждой прикосновения так же смутно, как видишь предметы в лунную ночь. Ульрих не был нечувствителен к этому изощрению любви, хотя относился к нему без особой серьезности.

Сверхутонченный перенос желания с тела на одежду, с объятия на препятствия — словом, с цели на путь к ней, отвечал его натуре; чувственность этой натуры влекла ее к женщине, но высшие ее силы удерживали ее от чужого, не подходящего ей человека, которого она вдруг видела перед собой с неумолимой ясностью, отчего всегда и разрывалась между тяготением и отталкиванием. Но это значит, что высокая, человечная красота тела, миг, когда мелодия духа поднимается из инструмента природы, или тот другой миг, когда тело подобно чаше, наполненной мистическим зельем, оставались неведомы ему всю его жизнь, если не считать грез, обращенных когда-то к майорше и надолго избавивших его от таких склонностей.

Все его отношения с женщинами были с тех пор неправильны, а при некоторой доброй воле обеих сторон это получается, к сожалению, очень просто. Есть схема чувств, действий и осложнений, которую мужчина и женщина находят готовой овладеть ими, как только обратят к ней первую мысль, а это последовательность, по сути обратная, то, что должно быть в конце, проталкивается вперед, это уже не струя, бьющая из родника; чистая радость двух людей друг от

друга, простое и самое глубокое из любовных чувств, естественное начало всяких других, при такой психологической перестановке вообще не имеет места. И вот во время своих поездок с Диотимой Ульрих нередко вспоминал их прощание при первом его визите. Он тогда держал ее мягкую руку в своей, искусственно усовершенствованную и облагороженную руку без тяжести, и при этом они глядели друг другу в глаза; и он, и она наверняка чувствовали тогда неприязнь, но думали о том, что могли бы вконец изойти друг в друге. Что-то от этого видения между ними осталось. Так наверху две головы обдают друг друга ужасным холодом, а внизу два тела, не сопротивляясь и пылая, вливаются друг в друга. Есть в этом что-то злобно-мифическое, как в двухголовом боге или копыте черта, сильно сбивавшее с толку Ульриха в юности, когда он встречался с этим чаще, но с годами выяснилось, что это всего-навсего очень цивилизованный стимул любви, совершенно такой же, как замена наготы неодетостью. Ничто не распаляет цивилизованной любви так, как лестное открытие, что ты обладаешь силой привести человека в такой восторг, довести до такого безумства, что надо было бы стать прямо-таки убийцей, для

того чтобы вызвать другим способом подобные перемены… И правда, подумать только, что такие перемены возможны с цивилизованными людьми, что такое воздействие способны оказать мы! — разве не этот удивленный вопрос стоит в смелых и остекленевших глазах всех тех, кто пристает к одинокому острову сладострастья, где они — и убийцы, и бог, и судьба и крайне удобным способом достигают предельной для них степени иррациональности и авантюризма?

Неприязнь, со временем приобретенная им к этому роду любви, распространилась в конце концов и на собственное его тело, всегда потворствовавшее установлению таких вывернутых наизнанку связей тем, что морочило женщин расхожей мужественностью, для которой, однако, у Ульриха было слишком много ума и внутренних противоречий. Порой он испытывал прямо-таки ревность к своей внешности, как к сопернику, действующему дешевыми и не совсем чистыми средствами, и в этом проявлялось противоречие, присущее и другим, которые его не чувствуют. Ведь сам же он ублажал это тело гимнастикой и придавал ему тот вид, то выражение, ту собранность, внутреннее воздействие которых не так уж незначительно, чтобы нельзя было сравнить

его с влиянием вечно улыбающегося или вечно сурового лица на расположение духа; и у большинства людей, странным образом, тело либо не ухожено, вылеплено и обезображено случайностями и почти как бы не имеет отношения к их уму и натуре, либо покрыто маской спорта, придающей ему такой вид, как в часы, когда оно в отпуску от самого себя. Ведь это часы, когда человек предается сну наяву, той мечте о желанной внешности, которую он нечаянно заимствовал в журналах большого и прекрасного мира. Все эти загорелые и мускулистые теннисисты, всадники и автомобилисты, выглядящие величайшими рекордсменами, хотя обычно они просто хорошо делают свое дело, эти великолепно одетые или великолепно раздетые дамы не кто иные, как фантазеры, и отличаются от обычных мечтателей только тем, что мечта их не остается в мозгу, а физически, драматически, — памятуя о более чем сомнительных оккультных явлениях, хочется сказать: идеопластически, — осуществляется совместно, на вольном воздухе, как творение массовой души. Но что решительно одинаково у них с обычными фантазерами, так это определенная неглубокость их сна наяву, неглубокость и по близости его к пробуждению, и по его содержанию.

Проблема собирательной физиономии сегодня еще, кажется, не раскрыта; хотя мы научились делать заключения о характере людей по почерку, голосу, позе во время сна и бог весть по чему, заключения иной раз даже поразительно верные, для тела как целого существуют только образцы моды, по которым оно себя лепит, или, самое большое, некая моральная философия лечения природными факторами.

Но тело ли это нашего духа, наших идей, догадок и планов или тело наших глупостей, включая красивые? Тот факт, что Ульрих любил эти глупости и отчасти еще обладал ими, не мешал ему чувствовать себя в созданном ими теле неловко.

69
Диотима и Ульрих. Продолжение

И по-новому укрепила в нем это чувство, что поверхность и глубина его жизни не едины, прежде всего Диотима. Оно ясно заявляло о себе во время поездок с нею, которые походили порой на езду сквозь лунный свет, когда красота этой молодой женщины отделялась от всей ее личности и на какие-то мгновения застилала ему глаза, как марево. Он знал, что все, что он говорит, Диотима

сравнивала с тем, что вообще принято — хотя и на известной высоте общепринятого — говорить, и ему было приятно, что она находила его «незрелым», отчего он всегда сидел как бы под направленным на него перевернутым биноклем. Он становился все меньше, и ему казалось, когда он с ней говорил, или, по крайней мере, почти казалось, что, беря сторону всего злого и трезвого, он слышит в собственных словах разговоры своей последней школьной поры, когда он со своими товарищами восторгался всякими злодеями и извергами мировой истории именно потому, что так, с идеалистическим отвращением, их именовали учителя. И когда Диотима глядела на него с досадой, он делался еще меньше и с морали героизма и экспансивности сбивался на упрямо ложную, грубо и неуверенно разнузданную мораль отроческих лет — конечно, выражаясь лишь очень метафорически, как в каком-нибудь жесте, каком-нибудь слове можно обнаружить отдаленное сходство с жестами или словами, которые давно вышли из твоего обихода, и жестами даже, которые ты видел только во сне или с неудовольствием наблюдал у других; и все-таки в его стремлении шокировать Диотиму эта нотка была. Ум этой женщины, которая была бы без

своего ума так прекрасна, вызывал в нем какое-то бесчеловечное чувство, страх, может быть, перед умом, неприязнь ко всем великим вещам, очень слабое, едва различимое чувство — «чувство» было, возможно, чересчур даже претенциозным словом для такой мимолетности! Но если увеличить его словами, то они, пожалуй, гласили бы, что не только идеализм этой женщины, но и весь, во всей его разветвленности и широте, идеализм мира он физически видел подчас перед собой в каких-либо двух вершках над этой греческою прической; еще бы чуть-чуть, и перед ним были бы рога черта! Тогда он становился еще меньше и возвращался, выражаясь и дальше метафорически, в страстную первую мораль детства, в чьих глазах стоят соблазн и страх, как во взгляде газели. Нежные ощущения этой поры могут в один-единственный миг одержимости воспламенить весь тогда еще маленький мир, ибо у них нет ни цели, ни возможности добиться чего-нибудь и они сплошь — беспредельный огонь; это не очень-то подходило Ульриху, но тосковал он в конце концов в обществе Диотимы по этим чувствам детства, хотя и с трудом представлял их себе, потому что у них уже так мало общего с условиями, в которых живет взрослый.

И однажды он чуть было не признался ей в этом. В одну из поездок они вышли из машины и вошли пешком в маленькую долину, походившую на речное устье из лугов с крутыми лесистыми берегами и представлявшую собой кривой треугольник, в середине которого змеился схваченный морозцем ручей. Склоны были частично вырублены, оставленные одиночные деревья на проплешинах и на гребнях холмов выглядели воткнутыми султанчиками из перьев. Эта местность соблазняла их пройтись; был один из тех трогательных бесснежных дней, которые смотрятся среди зимы как выцветшее, вышедшее из моды летнее платье. Диотима внезапно спросила своего кузена:

— Почему, собственно, Арнгейм называет вас активистом? Он говорит, что голова у вас всегда занята тем, как все изменить и улучшить. — Она вдруг вспомнила, что ее разговор с Арнгеймом об Ульрихе и генерале кончился, ничем не завершившись. — Я этого не понимаю, — продолжала она, — ведь мне кажется, что вы редко говорите что-либо всерьез. Но я должна вас спросить, поскольку у нас есть общая ответственная задача! Помните ли вы последний наш разговор? Вы тогда сказали одну вещь, вы заявили, что никто,

будь это в полной его власти, не осуществил бы того, чего он хочет. Мне любопытно, что вы имели в виду. Разве это была не ужасная мысль?

Ульрих сперва промолчал. И во время этой тишины, после того как она постаралась произнести свою речь как можно бойчее, ей стало ясно, сколь живо волнует ее недозволенный вопрос, осуществили ли бы Арнгейм и она то, чего каждый из них втайне желал. Она вдруг подумала, что выдала себя Ульриху. Она покраснела, попыталась воспрепятствовать этому, покраснела еще больше и постаралась глядеть в сторону от него, на долину, с как можно более безучастным видом.

Ульрих наблюдал этот процесс.

— Очень боюсь, что Арнгейм называет меня, как вы говорите, активистом по той единственной причине, что переоценивает мое влияние в доме Туцци, ответил он. Вы сами знаете, как мало веса придаете моим словам. Но сию минуту, когда вы спросили меня, мне стало ясно, какое влияние на вас следовало бы мне иметь. Можно мне сказать это вам при условии, что вы сразу не станете снова меня бранить?

Диотима молча кивнула в знак согласия и постаралась под видом рассеянности собраться с

мыслями.

— Итак, я утверждал, — начал Ульрих, — что никто, даже если бы он и мог, не осуществил бы того, чего он хочет. Помните наши папки, набитые предложениями? И вот я спрашиваю вас: разве любой не растерялся бы, случись вдруг то, чего он всю свою жизнь страстно требовал? Если бы, например, на католиков обрушилось вдруг царство божие, а на социалистов — государство будущего? Но, может быть, это ничего не доказывает; человек привыкает требовать и совсем не готов к тому, чтобы приступить к осуществлению; многие, может быть, найдут это вполне естественным. Итак, спрашиваю дальше. Музыкант, несомненно, считает самым важным на свете музыку, живописец — живопись; возможно даже, что специалист по бетону считает самым важным строительство бетонных домов. Думаете ли вы, что поэтому один представляет себе господа бога сверхспециалистом по железобетону, а другие предпочтут реальному миру мир, написанный красками или протрубленный на трубе? Вы найдете этот вопрос нелепым, но вся штука в том, что нам следовало бы требовать этой нелепости!

— А теперь не думайте, пожалуйста, — обра-

тился он к ней совершенно серьезно, — что я не хочу этим сказать ничего другого, кроме того, что каждого привлекает трудноосуществимое и что он пренебрегает тем, что можно осуществить. Я хочу сказать, что в реальности таится нелепая жажда нереальности!

Он завел Диотиму далеко в эту долинку, не заботясь о своей спутнице; земля была, вероятно из-за снега, таявшего на склонах, чем выше, тем мокрее, и им приходилось прыгать с кочки на кочку, что расчленяло речь и позволяло Ульриху продолжать ее все время рывками. Поэтому и против того, что он говорил, набиралось так много доводов, что Диотима не могла выбрать ни одного. Она промочила ноги и остановилась с приподнятыми юбками на бугорке, заблудившаяся и испуганная.

Ульрих обернулся и засмеялся:

— Вы затеяли нечто невероятно опасное, великая кузина. Люди бесконечно рады, когда их оставляют в таком положении, что они не могут осуществить свои идеи!

— А вы-то что сделали бы, — спросила Диотима сердито, — если бы вам дано было один день управлять миром??

— Мне, пожалуй, не осталось бы ничего другого,

как отменить реальность!

— Хотела бы знать, как бы вы это сделали!

— Этого я и сам не знаю. Я даже толком не знаю, что я подразумеваю под этим. Мы непомерно переоцениваем сиюминутное, чувство сиюминутности, то, что налицо; я хочу сказать, налицо так, как вы сейчас со мной в этой долине, словно нас запихнули в корзину и крышка мгновения захлопнулась. Мы это переоцениваем. Мы это запомним. Мы, может быть, и через год еще сможем рассказать, как мы здесь стояли. Но то, что нас вправду волнует, меня по крайней мере, всегда находится — говоря осторожно; не стану искать этому ни объяснения, ни названия — в известном противоречии с таким способом переживать что-либо. Оно вытеснено сиюминутным; оно не может поэтому пробиться в сиюминутность!

То, что говорил Ульрих, звучало в тесноте долины громко и сбивчиво. Диотиме вдруг стало не по себе, и она устремилась назад к машине. Но Ульрих задержал ее и указал ей на окружавшую их местность.

— Несколько тысяч лет назад это был ледник. Мир тоже не всею душою то, за что он выдает себя сию минуту, — объяснил он. — У этого округлого существа характер истерический. Сегодня оно

разыгрывает из себя буржуазную мамашу-кормилицу. Тогда мир был холодным и ледяным, как злая девица. А еще за несколько тысяч лет до того он красовался знойными папоротниковыми лесами, горячими болотами и демоническими зверями. Нельзя сказать, что в ходе развития он совершенствовался, или сказать, каково истинное его состояние. И это же относится к его детищу — человечеству. Представьте себе только одежды, в которых здесь, где мы теперь стоим, стояли в ходе времен люди. Если пользоваться терминологией сумасшедшего дома, то все это похоже на навязчивые идеи с внезапно наступающим бредовым состоянием, по выходе из которого налицо новое представление о мире. Видите, реальность сама себя отменяет!

— Хочу сказать вам еще кое-что, — начал Ульрих через некоторое время все сначала. — Чувство твердой почвы под ногами и прочной кожи на теле, такое для большинства людей естественное, развито у меня не очень сильно. Вспомните, как вы были ребенком: сплошь мягкое пламя. А потом девочка-подросток, у которой жгло губы томление. Во мне, по крайней мере, что-то противится тому, чтобы считать так называемый зрелый возраст вершиной такого развития. В каком-то

смысле он вершина, а в каком-то — нет. Будь я мирмелеонихой, похожей на стрекозу личинкой муравьиного льва, меня донельзя ужасало бы, что год назад я был широким, серым, пятящимся мирмелеоном, муравьиным львом, который живет на лесной опушке, зарывшись в ямку под песчаной воронкой, и своими невидимыми щипцами хватает за талию муравьев, доведя их сначала до изнеможения путем таинственного обстрела песчинками. И совершенно так же меня действительно берет иногда ужас перед моей юностью, хотя скорей уж тогда я был стрекозой, а теперь чудовище.

Он сам не знал, чего он хотел. О мирмелеоне и мирмелеонихе он упомянул не без подражания просвещенному всезнайству Арнгейма. А на языке у него вертелось: «Подарите мне объятие, просто из любезности. Мы родственники; не совсем разобщены, отнюдь не одно целое; во всяком случае, это полная противоположность достойным и строгим отношениям».

Но Ульрих ошибался. Диотима принадлежала к людям, которые довольны собой и потому смотрят на свои возрастные ступени как на лестницу, ведущую снизу вверх. То, что сказал Ульрих, было ей, следовательно, совершенно непонятно,

тем более что она не знала, чего он не стал говорить; но тем временем они дошли до машины, отчего она почувствовала успокоение и опять принимала его речь как знакомую ей, полузанятную-полудосадную болтовню, которую она не удостаивала большего, чем взгляд искоса. В этот миг он и в самом деле не имел на нее никакого влияния, кроме отрезвляющего. Легкое облачко смущения, поднявшееся из какого-то уголка ее сердца, растаяло и превратилось в сухую пустоту. Впервые, может быть, она ясно и твердо взглянула на тот факт, что ее отношения с Арнгеймом рано или поздно поставят ее перед выбором, который может изменить всю ее жизнь. Нельзя было сказать, что это делало ее теперь счастливой; но это имело весомость реально высящихся гор. Слабость прошла. Слова «не делать того, что хочется» на мгновение сверкнули совершенно нелепым блеском, которого она уже не понимала.

— Арнгейм — полная противоположность мне; он всегда переоценивает счастье, выпадающее времени и пространству, когда они встречаются с ним в сиюминутности! — вздохнул Ульрих с улыбкой, чувствуя добросовестную потребность как-то заключить сказанное; но о детстве он тоже не стал больше говорить, и Диотиме поэтому не

довелось узнать его с сентиментальной стороны.

70
Кларисса навещает Ульриха, чтобы рассказать ему одну историю

Переделка интерьеров старых замков стала специальностью известного художника ван Гельмонда, чьим гениальнейшим творением была его дочь Кларисса, и она-то однажды неожиданно явилась к Ульриху.

— Папа послал меня узнать, — сообщила она, — не можешь ли ты использовать свои великолепные аристократические связи немножко и в его интересах.

Она с любопытством оглядела комнату, быстро села на стул и бросила на другой свою шляпу. Затем протянула Ульриху руку.

— Твой папа меня переоценивает, — начал было он, но она уже продолжала:

— Ах, глупости! Ты же знаешь, старику всегда нужны деньги. Дела уже не идут так, как раньше! — Она засмеялась. — У тебя очень элегантно. Красиво! — Она снова все осмотрела, а потом взглянула на Ульриха; в том, как она держалась, было что-то от милой неуверенности провинив-

шегося щенка. — Ну, ладно, — сказала она. — Если сможешь, то сделаешь это! А нет — так нет! Я, конечно, обещала ему. Но я пришла по другой причине; своей просьбой он навел меня на одну мысль. Дело в том, что у нас в семье произошло кое-что. Мне хотелось бы услыхать твое мнение об этом. — Ее рот и глаза, вздрогнув, помедлили один миг, затем она рывком преодолела первое препятствие. — Поймешь ли ты, если я скажу «врач по красоте»? Художник — это врач по красоте.

Ульрих понял; он знал дом ее родителей.

— Итак, темно, благородно, роскошно, пышно, мягко, в кисточках и оборочках! — продолжала она. — Папа художник, художник — это своего рода врач по красоте, и знаться с нами всегда считалось в свете таким же шиком, как отправиться на курорт. Ты понимаешь. И давно уже главная статья дохода отца — это декорирование дворцов и загородных замков. Ты знаешь Паххофенов?

Это была патрицианская семья, но Ульрих ее не знал; только некую фрейлейн Паххофен видел он однажды в обществе Клариссы много лет назад.

— Это была моя подруга, — объяснила Кларисса. — Тогда ей было семнадцать лет, а мне пятнадцать; папа собирался декорировать и пе-

рестраивать замок.

— ?

— Ну, ясно, паххофеновский. Нас всех пригласили в гости. И Вальтер тоже был в первый раз с нами. И Мейнгаст.

— Мейнгаст? — Ульрих не знал, кто такой Мейнгаст.

— Ну, как же, ты его тоже знаешь; Мейнгаст, который потом уехал в Швейцарию. Тогда он еще не был философом, а пасся во всех семьях, где были дочери.

— Я никогда не встречался с ним, — определил Ульрих, — но теперь я, кажется, знаю, кого ты имеешь в виду.

— Ну, вот, — Кларисса напряженно считала в уме, — погоди. Вальтеру было тогда двадцать три года, а Мейнгасту немного больше. Вальтер, я думаю, втайне очень восхищался папой. Он был впервые в гостях в замке. Папа часто как бы облекался внутренне в королевскую мантию. Я думаю, Вальтер сначала был влюблен больше в папу, чем в меня. А Люси…

— Бога ради, Кларисса, не торопись! — попросил Ульрих. — Кажется, я потерял нить.

— Люси, — сказала Кларисса, — это ведь и есть фрейлейн Паххофен, дочь Паххофенов, у которых

мы все были в гостях. Теперь понятно? Значит, понятно; когда папа закутывал Люси в бархат или парчу с длинным шлейфом и сажал ее на одну из ее лошадей, она воображала, будто он какой-нибудь Тициан или Тинторетто. Они были без ума друг от друга.

— То есть папа от Люси, а Вальтер от папы?

— Подожди! Тогда был в ходу импрессионизм. Папа писал старомодно-музыкально, как еще и сегодня пишет, коричневый соус с павлиньими хвостами. А Вальтер был за вольный воздух, за чистые линии английских прикладных форм, за новое и честное. Папа втайне его терпеть не мог, как протестантскую проповедь; Мейнгаста, кстати, он тоже терпеть не мог, но ему нужно было выдать замуж двух дочерей, а денег он всегда тратил больше, чем добывал, и он терпимо относился к настроениям обоих молодых людей. Вальтер, напротив, папу втайне любил, это я уже сказала; но он должен был публично его презирать, из-за нового направления в искусстве, а Люси вообще никогда ничего не понимала в искусстве, но она боялась ударить лицом в грязь перед Вальтером и опасалась, что если Вальтер окажется прав, то папа будет выглядеть всего-навсего смешным стариком. Теперь ты в курсе дела?

Ульриху понадобилось для этого узнать еще, где была мама.

— Мама, конечно, тоже была там. Они целыми днями спорили, как всегда, не больше и не меньше. Ты понимаешь, что при этих обстоятельствах Вальтер был в выгодном положении. Он стал для всех нас как бы точкой пересечения, папа боялся его, мама его подстрекала, а я начала влюбляться в него. Люси же подлаживалась к нему. Так Вальтер приобрел известную власть над папой и начал с осторожным сладострастием ее смаковать. Тогда, думаю, ему открылось его собственное значение; без папы и без меня он не стал бы ничем. Понимаешь, как тут все связано?

Ульрих полагал, что может утвердительно ответить на этот вопрос.

— Но я хотела рассказать что-то другое! — заверила его Кларисса. Она подумала и через несколько мгновений сказала: — Погоди! Подумай прежде всего только обо мне и Люси, — это были волнующе запутанные отношения! Конечно, я боялась за отца, который, влюбившись, готов был разрушить семью. А при этом мне, конечно, было и любопытно, как происходят такие вещи. Они оба совсем потеряли голову. У Люси дружеское отношение ко мне смешивалось, разумеется,

с чувством, что возлюбленный ее тот самый человек, которого я должна была еще послушно называть папой. Она немало этим кичилась, но ей было и очень совестно передо мной. Наверно, никогда еще этот старый замок не видел в своих стенах таких сложностей! Целыми днями Люси слонялась с папой где попало, а ночью приходила ко мне в башню исповедоваться. Я ведь спала в башне, и почти всю ночь мы не гасили свет.

— Как далеко зашла Люси с твоим отцом?

— Это единственное, чего мне так и не удалось узнать. Но представь себе такие летние ночи! Совы ухали, ночь стонала, и когда нам становилось очень уж жутко, мы обе ложились в мою постель, чтобы там болтать дальше. Мы не могли представить себе, чтобы мужчина, охваченный такой несчастной страстью, не застрелился. Мы просто ждали этого со дня на день…

— У меня все же такое впечатление, — прервал ее Ульрих, — что между ними произошло не столь уж многое.

— Я думаю тоже — не все. Но все-таки кое-что. Сейчас увидишь. Люси пришлось внезапно покинуть замок, потому что неожиданно прибыл ее отец и повез ее путешествовать по Испании. Поглядел бы ты на папу, когда он остался один!

Думаю, еще немного — и он задушил бы маму. Со складным мольбертом, притороченным сзади к седлу, он с утра до вечера скакал по окрестностям, не делая ни одного мазка, и когда оставался дома, тоже не брался за кисть. Вообще-то, знаешь, он пишет как машина, но тогда я часто видела, как он сидит в одном из больших пустых залов за книгой, ее не раскрыв. Так он, бывало, часами предавался своим мыслям, потом вставал, и в другой комнате или в саду продолжалось то же самое; иногда весь день напролет. В конце концов он был старый человек, и юность бросила его на произвол судьбы; это ведь можно понять, правда?! И мне думается, что картина, которую ему часто являли Люси и я, две подружки, обнимающие друг друга за талию и доверительно болтающие, пустила в нем тогда росток, как дикое семя. Может быть, он и знал, что Люси всегда приходила ко мне в башню. Короче, однажды, часов в одиннадцать ночи — все огни в замке уже погасили, — он явился! Это, знаешь ли… — Кларисса была теперь целиком поглощена значительностью собственной истории. — Ты слышишь эти шорохи и шаги на лестнице и не знаешь, что это; слышишь потом, как неловко нажимают на ручку двери и дверь, словно в сказ-

ке, открывается…

— Почему ты не позвала на помощь?

— Вот это и странно. Я с первого же звука поняла, кто это. Он, по-видимому, неподвижно стоял в дверях, потому что какое-то время ничего не было слышно. Он тоже, наверно, был испуган. Затем он осторожно затворил дверь и тихо позвал меня. Я была сама не своя. Я совсем не хотела ему отвечать, но вот это и странно: из самого моего нутра, словно я глубокий колодец, вырвался какой-то хнычущий звук. Тебе это знакомо?

— Нет, Продолжай!

— Ну, так вот, а в следующий миг он вцепился в меня в бесконечном отчаянье; он чуть не упал на мою постель, и его голова лежала на подушках рядом с моей.

— Слезы?

— Конвульсии без слез! Старое, покинутое тело! Я поняла это мгновенно. О, скажу я тебе, если бы можно было потом сказать, что думаешь в такие мгновения, это было бы что-то великое! Наверно, из-за упущенного его охватила дикая злость на всякие приличия. Вдруг я, значит, замечаю, что он очнулся, и, хотя было темным-темно, сразу понимаю что теперь он содрогается от беспощадной жажды меня. Я знаю, теперь не будет ни пощады,

ни жалости; после моего стона все еще стояла полная тишина; мое тело было пылающе сухим, а его — как листок бумаги, который поднесли к краю пламени. Он стал каким-то легким; я почувствовала, как его рука отпускает мое плечо и спускается, извиваясь, по моему телу. И тут я хотела спросить у тебя одну вещь. Поэтому я и пришла…

Кларисса запнулась.

— Что? Ты же ничего не спросила! — помог ей Ульрих после короткой паузы.

— Нет. Сначала я должна сказать еще что-то: я чувствовала отвращение к себе при мысли, что мою неподвижность он примет за знак согласия; но я лежала в полной растерянности, придавленная страхом, как камнем. Что ты об этом думаешь?

— Ничего не могу сказать.

— Одной рукой он все время гладил мое лицо, другая блуждала. Дрожа, с наигранной безобидностью, знаешь ли, скользнула, как поцелуй, по моей груди, потом остановилась, словно ждала и прислушивалась к ответу. И наконец хотела… ну, ты понимаешь, и одновременно лицо его искало мое лицо. Но тут я собрала все свои силы и, выкрутившись из его объятий, повернулась

на бок; и опять из груди у меня вырвался этот звук, которого я вообще никогда не издаю, что-то среднее между просьбой и стоном. У меня есть родинка, черный медальон…

— А как повел себя твой отец? — холодно прервал ее Ульрих.

Но Кларисса не дала прервать себя.

— Вот! — Она напряженно улыбнулась и через платье указала точку на внутренней стороне бедра. — Вот до сих пор он добрался, где медальон. Этот медальон обладает чудесной силой. Или тут какая-то странность!

Кровь ударила ей внезапно в лицо. Молчание Ульриха отрезвило ее и ослабило мысль, которая держала ее в плену. Она смущенно улыбнулась и закончила скороговоркой:

— Мой отец? Он тут же приподнялся. Я не видела, что было написано у него на лице; вероятно, смущение. Может быть, благодарность. Я ведь спасла его в последний миг. Представь себе: старый человек, а у девушки хватает силы на это! Должно быть, я показалась ему удивительной, потому что он очень нежно пожал мне руку, а другой рукой два раза погладил по голове, потом он ушел, ничего не сказав. Так ты сделаешь для него что сможешь?! Должна же я была объяснить

тебе это в конце концов.

Подтянутая и корректная, в сшитом на заказ платье, которое надевала, только когда ездила в город, она стояла, собираясь уйти и протянув на прощанье руку.

71
Комитет по выработке директив в связи с семидесятилетием правления его величества начинает заседать

О своем письме графу Лейнсдорфу и о своем требовании, чтобы Ульрих спас Моосбругера, Кларисса не сказала ни слова; все это она, казалось, забыла. Но и Ульрих не так-то скоро об этом вспомнил. Ибо Диотима закончила наконец все приготовления к тому, чтобы в рамках «Референдума по выработке директив и учету пожеланий заинтересованных слоев населения в связи с семидесятилетием правления его величества» созвать особый «Комитет по выработке директив в связи с семидесятилетием правления его величества», руководство которым Диотима оставила за собой. Его сиятельство сам сочинил приглашение, Туцци поправил его, и поправки Туцци

были приняты после того, как Диотима показала их Аргейму. Тем не менее в этом документе фигурировало все, что занимало ум его сиятельства. «Приводит нас к этой встрече, — сказано было там, — согласие насчет того, что могучая, идущая из гущи народа демонстрация не может быть предоставлена воле случая, а требует очень прозорливого руководства, которое исходило бы от инстанции с широким кругозором, а стало быть, сверху». Далее следовали «редчайший праздник благодатного семидесятилетнего пребывания на престоле», «благодарно сплотившиеся» народы, император-миротворец, недостаточная политическая зрелость, всемирно-австрийский год и наконец призыв к «собственности и образованности» превратить все это в блестящую демонстрацию «истинно» австрийского духа, но самым осторожным образом взвесив.

Из списков Диотимы были выделены и всесторонними усилиями тщательно дополнены группы искусства, литературы и науки, а из лиц, которым, не ожидая от них деятельности, позволили присутствовать при этом событии, остались, напротив, после строжайшего отсева лишь очень немногие; тем не менее число приглашенных так возросло, что в буквальном

смысле о сидении за зеленым столом не могло быть речи, и пришлось избрать свободную форму вечернего приема с холодными закусками. Сидели и стояли как попало, и комнаты Диотимы походили на лагерь армии духа, снабженный бутербродами, тортами, винами, ликерами и чаем в таких количествах, которые были возможны лишь благодаря особым бюджетным уступкам, сделанным Туцци своей супруге; сделанным, надо добавить, беспрекословно, из чего можно заключить, что он старался пользоваться новыми, интеллектуальными методами дипломатии.

Роль светской распорядительницы этого сборища предъявляла к Диотиме большие требования, и многое, наверно, ее раздражало бы, не будь ее голова похожа на роскошную фруктовую вазу, так переполненную, что из нее то и дело высыпались слова; слова, которыми хозяйка дома приветствовала каждого, кто появлялся, и приводила в восторг, показывая точное знание последнего его труда. Подготовительная работа для этого была проделана чрезвычайная, и справиться с ней удалось лишь с помощью Арнгейма, передавшего в распоряжение Диотимы своего личного секретаря, чтобы привести в порядок материал и собрать в сокращенном виде важнейшие данные. Чудес-

ный шлак этого пламенного рвения составил большую библиотеку, купленную на средства, ассигнованные графом Лейнсдорфом на начало параллельной акции, и вместе с собственными книгами Диотимы помещенную как единственное украшение в последней из освобожденных от мебели комнат, цветастые обои которой, насколько они вообще были видны, выдавали будуар, а эта связь побуждала к лестным размышлениям об ее обитательнице. Но и в другом плане эта библиотека тоже оказалась выгодным приобретением; получив свою долю любезностей у Диотимы при входе, каждый из приглашенных нерешительно следовал затем через комнаты, где его непременно, как только он замечал ее, притягивала уставленная книгами стена в самом конце; перед ней, совершая осмотр, все время поднималась и опускалась толпа спин, как пчелы перед цветущей живой изгородью, и хотя причиной было только то благородное любопытство, которое испытывает каждый творческий человек к собраниям книг, смотрящего разбирало сладкое удовлетворение, когда он наконец обнаруживал свои собственные произведения, а это шло на пользу патриотической акции.

В духовном руководстве собранием Диотима

сперва предоставила события их прекрасному стихийному ходу, хотя и сочла нужным сразу заверить, в первую очередь поэтов, что вся жизнь основана, в сущности, на внутренней поэзии, даже деловая жизнь, если «взглянуть на нее широко». Это никого не удивило, только оказалось, что большинство тех, кто был отмечен такими обращениями, явилось в уверенности, что их пригласили сюда для того, чтобы они сами коротко, то есть в пределах примерно от пяти до сорока пяти минут, дали параллельной акции совет, следуя которому она уже не собьется с пути, на какие бы пустые и неверные предложения ни тратили время последующие ораторы. Поначалу Диотима пришла из-за этого прямо-таки в плаксивое настроение и лишь с трудом сохранила внешнюю непринужденность, ибо ей казалось, что каждый говорит что-то свое, а она не в состоянии привести это к общему знаменателю. С такими степенями концентрации эстетического ума она еще не сталкивалась, да и столь универсальные встречи великих людей случаются тоже не каждый день, а потому разобраться во всем можно было лишь шаг за шагом, с большими и методичными усилиями. На свете, кстати сказать, есть много вещей, которые порознь

означают для человека нечто совсем другое, чем вместе; вода, например, в слишком больших количествах доставляет меньшее удовольствие, ровно на разницу между утолением жажды и утопанием, — чем то, которое она доставляет в количествах малых, и сходно обстоит дело с ядами, развлечениями, досугом, фортепьянной игрой, идеалами, да и вообще, наверно, со всем на свете, так что то, чем является вещь, целиком зависит от ее насыщенности и других обстоятельств. Прибавить, стало быть, надо только, что и гений не составляет тут исключения, чтобы никто не усмотрел в нижеследующих впечатлениях попытки обесценить великих людей, самоотверженно отдавших себя в распоряжение Диотимы.

Ибо даже во время этой первой встречи складывалось впечатление, что каждый великий ум чувствует себя крайне неуверенно, как только выходит из-под защиты своего свитого на вершине гнезда и должен объясняться на обычной почве. Необыкновенное красноречие, поражавшее Диотиму как какое-то небесное явление, пока она вела беседу с кем-нибудь из великих одна, сменялось, как только к ним присоединялся третий или четвертый и несколько речей шли друг другу наперерез, мучительной неспособностью

добраться до темы, и кто не шарахается от таких сравнений, мог бы представить себе лебедя, который после гордого полета передвигается по земле. Однако после более длительного знакомства и это становится очень понятным. В наши дни жизнь великих умов основана на принципе «неизвестно зачем». Они пользуются большим почтением, каковое им и свидетельствуется в дни их рождения от пятидесятого до сотого или на праздновании десятилетия какого-нибудь сельскохозяйственного училища, украшающего себя почетными докторами, а также в других многоразличных случаях, когда пристало говорить о немецком духовном богатстве. У нас в истории были великие люди, и мы смотрим на это как на положенный нам институт, так же точно, как на тюрьмы или на армию; раз он существует, значит, надо кого-то туда сунуть. Поэтому с известным автоматизмом, свойственным таким социальным потребностям, берут всегда того, кто как раз на очереди, и оказывают ему почести, созревшие для того, чтобы их отдавать. Но это почтение не совсем реальное; на дне его зевает общеизвестная убежденность, что, в сущности, ни один ничего подобного не заслуживает, и трудно различить, от восторга ли раскрывается рот или от зевоты. Когда сегодня

называют кого-нибудь гениальным, добавляя про себя, что нынче такого вообще уже не бывает, в этом есть что-то от культа мертвых, что-то от той истерической любви, которая устраивает сцены не по какой иной причине, как по той, что чувства-то в ней как раз и нет.

Такое состояние, разумеется, неприятно для чутких умов, и они стараются по-разному от него избавиться. Одни от отчаяния делаются состоятельными людьми, учась извлекать пользу из спроса, существующего не только на великие умы, но и на неистовых мужчин, остроумных романистов, ярко выраженных детей природы и вождей молодого поколения: другие носят на голове невидимую корону, не снимая ее ни при каких обстоятельствах, и с горькой скромностью уверяют, что хотят, чтобы о ценности созданного ими судили лишь через три или через десять столетий; но все ощущают как ужасную трагедию немецкого народа тот факт, что действительно великие никогда не становятся его живым культурным богатством, потому что они слишком далеко уходят вперед. Надо, однако, подчеркнуть, что до сих пор речь шла об умах, так сказать, артистических, ибо в отношениях духа с миром есть одно очень примечательнее различие. В то

время как артистический ум хочет, чтобы им восхищались так же, как Гете и Микеланджело, Наполеоном и Лютером, вряд ли сегодня кто-либо знает имя человека, подарившего людям несказанное благо наркоза, никто не доискивается до какой-нибудь госпожи фон Штейн в жизни Гауса, Эйлера или Максвелла и мало кого заботит, где родились и умерли Лавуазье и Кардапо. Вместо этого изучают, как были их мысли и открытия развиты другими, столь же неинтересными лицами, и непрестанно занимаются тем, что ими достигнуто и продолжает жить в других достижениях, после того как короткий огонь личности давно отгорел. В первый момент удивляешься, увидев, как резко разделяет это различие два типа человеческого поведения, но на ум тут же приходят другие подобные примеры, и различие это уже кажется самым естественным из всех рубежей. Привычность заверяет нас в том, что это рубеж между личностью и трудом, между величием человека и величием дела, между образованием и знанием, между гуманностью и природой. Труд и промышленный гений не умножают нравственного величия, способности быть человеком под оком неба, той неразложимой мудрости жизни, что передается по наследству

лишь в виде примеров-политиков, героев, святых, певцов, даже, если угодно, киноактеров; не умножают именно той великой, иррациональной власти, причастным к которой чувствует себя и поэт, пока он верит в свое слово и стоит на том, что его устами, в зависимости от обстоятельств его жизни, говорит голос нутра, крови, сердца, нации, Европы или человечества. Он чувствует себя орудием таинственной целокупности, тогда как другие просто копаются в элементарно понятном, и в эту миссию нужно сперва поверить, а уж потом можно научиться видеть ее! Заверяет нас в этом, несомненно, голос истины, но нет ли у этой истины одной странности? Ведь где меньше смотрят на личность, чем на дело, там примечательным образом всегда появляется заново личность, которая движет дело вперед; а там, где обращают внимание на личность, по достижении известной высоты появляется чувство, что нет уже достаточно крупной личности и что истинно великое принадлежит прошлому!

У Диотимы собрались сплошь целые величины, и все сразу — это многовато. Сочинять и думать так же свойственно каждому человеку, как плавать утенку, а собравшиеся занимались этим профессионально и делали это действи-

тельно лучше, чем прочие. Но зачем? Их труд был прекрасен, был велик, был уникален, но от такого обилия уникального веяло кладбищенским настроением, густым дыханием бренности, ибо прямой смысл и цель, истоки и продолжение отсутствовали. Бесчисленные воспоминания о пережитом, мириады взаимопересекающихся вибраций духа были собраны в этих головах, торчавших как иглы ковровщика в ткани, которая простиралась вокруг них, впереди их и сзади без шва и без кромки, а они в каком-то месте ткали узор, повторявшийся где-то совсем похоже и все-таки немножко иначе. Но разве это верное употребление самого себя — изображать такую точечку на ткани вечности?

Было бы, вероятно, преувеличением сказать, что Диотима это понимала, но кладбищенский ветер над нивами духа она чувствовала, и чем ближе подходил к концу этот первый день, тем глубже погружалась она в уныние. На свое счастье, она вспоминала при этом какую-то безнадежность, которую Арнгейм, что тогда было не совсем ей понятно, выразил по другому поводу, когда речь шла о сходных вопросах; ее друг был в отъезде, но она думала о том, что он предостерегал ее от слишком больших надежд на эту

встречу. И, значит, погружалась она, по сути, в эту аргеймовскую грусть, что, в конечном счете, и доставляло ей высокую, почти ощутимо печальную, лестную радость. «Разве по сути это не тот пессимизм, — спрашивала она себя, размышляя о его предсказании, — который всегда чувствуют люди действия, когда соприкасаются с людьми, чье дело — слова?!»

72
Наука улыбается в бороду, или первая обстоятельная встреча со злом

Теперь надо сказать несколько слов об улыбке, притом мужской, и с участием бороды, пригодной для такого мужского занятия, как улыбаться в бороду; речь идет об улыбке ученых, явившихся на зов Диотимы и слушавших знаменитых людей искусства. Хотя они улыбались, ни в коем случае не нужно думать, что они это делали иронически. Напротив, так они выражали свою почтительность и некомпетентность, о чем ведь уже говорилось. Но впадать из-за этого в заблуждение тоже не надо. В их сознании так оно и было, однако в своем подсознании, пользуясь этим ходким словом, или, вернее сказать,

в суммарном своем состоянии, это были люди, в которых склонность ко злу потрескивала, как огонь под котлом.

Это, конечно, звучит парадоксально, и услышь это какой-нибудь ординарный профессор, он, вероятно, возразил бы, что скромно служит истине и прогрессу и других забот у него нет, ибо такова его профессиональная идеология. Но все профессиональные идеологии благородны, и охотники, например, очень далеки от того, чтобы называть себя лесными мясниками, они называют себя опытными в отстреле друзьями животных и природы, точно так же как торговцы отстаивают принцип честной прибыли, а воры называют бога торговцев, аристократа и поборника тесных международных связей Меркурия и своим богом. Таким образом, на картину какой-либо деятельности, рисующуюся в сознании тех, кто ею занимается, особенно полагаться не стоит.

Если непредвзято спросить себя, как получила наука свой нынешний облик — что само по себе важно, поскольку она нами владеет и от нее не защищен даже неграмотный человек, ибо он учится сожительствовать с бесчисленным множеством научно рожденных вещей, — то картина получится уже другая. По достоверным преданиям,

началось это в шестнадцатом веке, в эпоху сильнейшей душевной взволнованности, — началось с того, что перестали пытаться, как пытались дотоле, в течение двух тысячелетий религиозной и философской спекуляции, проникнуть в тайны природы и поверхностно — иначе это не назовешь — удовлетворились исследованием ее поверхности. Великий Галилео Галилей, упоминаемый тут всегда первым, отставил, например, вопрос, по какой заложенной в ее сути причине природа боится пустых пространств и заставляет падающее тело проходить пространство за пространством и заполнять их, пока оно не доберется до твердой почвы, и удовлетворился выяснением куда более простой вещи: он просто определил, сколь быстро падает такое тело, какой путь оно проделывает и как возрастает его скорость. Католическая церковь совершила тягчайшую ошибку, пригрозив этому человеку смертью и вынудив его отречься от своего учения, вместо того чтобы без долгих церемоний его убить; ибо из его и его единомышленников подхода к вещам возникли затем — в кратчайший срок по историческим меркам — железнодорожные расписания, фабричные машины, физиологическая психология и моральное разложение современ-

ности, с которыми ей уже не сладить. Совершила церковь эту ошибку, вероятно, от слишком большого ума, ибо Галилей ведь не только открыл закон падения и движения Земли, он был также изобретателем, интересовавшим, как сказали бы сегодня, крупный капитал, а кроме того, он был не единственным, кем тогда овладел этот новый дух; напротив, исторические факты показывают, что трезвость, его воодушевлявшая, распространялась буйно и широко, как зараза, и как ни предосудительно воодушевляться трезвостью сегодня, когда у нас ее уже предостаточно, тогда пробуждение от метафизики к суровому исследованию было, судя по всевозможным свидетельствам, прямо-таки хмелем и пламенем трезвости! Но если задаться вопросом, почему, собственно, человечеству вздумалось так измениться, то ответить можно, что поступило оно в точности так же, как поступает всякий разумный ребенок, слишком рано попытавшись ходить; оно село на землю и прикоснулось к ней надежной и не очень благородной частью тела, то есть как раз той самой, на которой сидят. Ибо самое замечательное состоит в том, что земля оказалась чрезвычайно предрасположенной к этому и со времен упомянутого прикосновения позволяет

выманивать у себя изобретения, удобства и научные выводы в граничащем с чудом изобилии.

После этой предыстории можно не совсем без основания подумать, что мы находимся внутри чуда Антихриста; ибо употребленную выше метафору насчет прикосновения следует истолковывать не только в аспекте надежности, но равным образом и в аспекте непристойного и запретного. И в самом деле, прежде чем вкус к фактам приобрели люди умственные, им обладали лишь воины, охотники и торговцы, то есть натуры как раз каверзные и жестокие. В борьбе за жизнь нет места философическим сантиментам, а есть лишь желание погубить противника самым коротким и самым реалистическим путем, тут позитивист каждый; и в торговле тоже никакая но добродетель давать себя обманывать, вместо того чтобы смотреть фактам в лицо, а прибыль означает в конечном счете психологическую и вытекающую из обстоятельств победу над партнером. Если, с другой стороны, приглядеться, какие свойства ведут к открытиям, то видишь, что это свобода от традиционной почтительности и скованности, мужество, в такой же мере предприимчивость, как и жажда разрушать, умение отметать моральные соображения,

терпеливо торговаться из-за малейшей выгоды, упрямо выжидать на пути к цели, если понадобится, и уважение к мере и числу, являющееся наиболее ярким выражением недоверия ко всему неопределенному; другими словами, обнаруживаешь не что иное, как старые охотничьи, солдатские и торгашеские пороки, которые только перенесены в духовный план и перетолкованы в добродетели. И хотя тем самым они отрешены от стремления к личной и относительно низкой выгоде, элемент изначального зла, так сказать, не утрачен ими и при таком превращении, ибо он, видимо, нерушим и вечен, по крайней мере так же вечен, как все человечески высокое, поскольку состоит он не в чем другом, как в страсти подставить этой высоте ножку и посмотреть, как она шлепнется носом об землю. Кому неведом злой соблазн, таящийся при любовании великолепной глазурованной вазой в мысли, что одним лишь ударом палки ее можно разбить в черепки? Возведенный в героизм горечи по поводу того, что положиться в жизни нельзя ни на что, кроме крепко-накрепко приделанного, соблазн этот есть основное чувство, заложенное в трезвость науки, и если его из почтительности не решаются называть чертом, то все-таки серным дымком от

него чуточку тянет.

Взять хотя бы своеобразное пристрастие научной мысли к механическим, статистическим, вещественным объяснениям, у которых словно бы вырезали сердце. Видеть в доброте лишь особую форму эгоизма; связывать эмоции с железами внутренней секреции, констатировать, что человек на восемь или девять десятых состоит из воды; объяснять знаменитую нравственную свободу характера как автоматически возникший умственный придаток к свободной торговле; возводить красоту к хорошему пищеварению или здоровой жировой ткани; сводить зачатия и самоубийства к ежегодным кривым, показывающим вынужденность того, что представляется самым свободным волевым актом; усматривать родство между опьянением и душевной болезнью; приравнивать друг к другу задний проход и рот как ректальный и оральный концы одного и того же — такого рода идеи, как бы раскрывающие уловку, на которой строится волшебный фокус человеческих иллюзий, всегда находят какую-то благоприятную предрасположенность, чтобы считаться особо научными. Любовь к истине тут, спору нет, налицо; но вокруг этой светлой любви есть еще пристрастие к отказу от иллюзий, к

необходимости, к неумолимости, к охлаждению и отрезвлению, коварное пристрастие или, по меньшей мере, недобровольная эманация чувств такого рода.

Другими словами, голос истины сопровождается подозрительными побочными шумами, но наиболее заинтересованные слышать их не хотят. А ведь психология знает сегодня много таких подавленных побочных шумов и советует извлекать их и уяснять себе как можно полнее, чтобы предотвратить вредные их последствия. Так что было бы, пожелай мы проделать подобный опыт и почувствуй искушение выставить напоказ, доверчиво, так сказать, пустить в мир этот двусмысленный вкус к истине и к ее злобным обертонам дьявольской пакостности? Что ж, получился бы примерно тот недостаток идеализма, который был уже описан под именем утопии точной жизни, система взглядов пробная и временная, но подвластная железным законам военного времени, действующим при всяком духовном завоевании. Такой подход к жизни, конечно, не назовешь ни охранительным, ни умиротворяющим; на все удостоенное жизни смотришь при этом не только с благоговением, а скорее как на демаркационную линию, кото-

рую борьба за внутреннюю истину постоянно перемещает. Такой подход подверг бы сомнению святость сиюминутного состояния мира, но не от скепсиса, а в умонастроении подъема, когда нога, стоящая твердо, оказывается каждый раз ниже. И в огне такой ecclesia militans,[23] ненавидящей учение ради еще не открывшегося и попирающей закон и обычай во имя требовательной любви к следующей их ипостаси, дьявол вернулся бы к богу или, говоря проще, истина стала бы там снова сестрой добродетели и перестала бы тайком пакостить ей, как молодая племянница состарившейся в девичестве тетке.

Все это, более или менее сознательно, вбирает в себя молодой человек в аудиториях знания, знакомясь вдобавок с элементами великого конструктивного мировоззрения, которое играючи связывает такие далекие друг от друга вещи, как падающий камень и вращающаяся звезда, а вещь на вид единую и неделимую, как возникновение простого действия в центрах сознания, разлагает на потоки, разделенные в своих истоках тысячелетиями. Но вздумай кто-нибудь применить приобретенное таким образом мировоззрение

---

[23] Примечания: 23
Воинствующей церкви (лат.).

за пределами каких-то частных, специальных задач, ему тут же дали бы понять, что у жизни иные потребности, чем у мысли. В жизни происходит противоположное чуть ли не всему, к чему привык тренированный ум. Природные различия и сходства котируются здесь очень высоко; существующее, каким бы оно ни было, воспринимается до известной степени как нечто естественное, и посягать на него не любят; перемены, делающиеся необходимыми, совершаются замедленно и как бы перекатыванием туда-сюда. И если бы кто-нибудь, например, из чисто вегетарианских убеждений обратился к корове на «вы» (справедливо учитывая, что с существом, которому говорят «ты», легче обходиться бесцеремонно), его обозвали бы шутом, а то и болваном; но не из-за его любви к животным или вегетарианских убеждений, — их находят высокогуманными, — а из-за того, что он переносит их в действительность напрямик. Одним словом, между умом и жизнью существуют сложные счеты, при которых уму оплачивается максимум половина из тысячи его требований, но зато его украшают званием почетного кредитора.

Но если ум, в том могучем виде, какой он под конец обрел, есть и сам, как было предположено

выше, очень мужественный святой с побочными — воинскими и охотничьими — недобродетелями, то из обрисованных обстоятельств впору заключить, что заложенная в нем склонность к порочности нигде не может выйти наружу в своей великолепной, что ни говори, полноте и не находит случая очиститься соприкосновением с действительностью, а потому с наибольшей вероятностью встречается на всяких довольно странных, неконтролируемых дорогах, по которым она убегает из своего бесплодного плена. Независимо от того, было ли все до сих пор игрой, иллюзиями или нет, нельзя отрицать, что это последнее предположение своеобразным способом подтверждается. Есть некое безымянное настроение, которое сегодня у многих в крови, ожидание большего зла, готовность к бунту, недоверие ко всему, что пользуется почтением. Есть люди, жалующиеся на отсутствие идеалов у молодежи, но в момент, когда им надо действовать, поступающие совершенно автоматически в точности так же, как человек, который из самого здорового недоверия к идее подкрепляет ее мягкую силу дубинкой. Есть ли, говоря иначе, какая-нибудь благочестивая цель, которая не должна была бы запастись долей испорченности

и принять в расчет низменные людские свойства, чтобы считаться в этом мире серьезной и всерьез намеченной? Такие слова, как «связать», «вынудить», «взять в оборот», «не бояться наступить на мозоль», «крутые меры», приятны слуху звуком надежности. Идеи вроде той, что величайший ум, если его отправить на казарменный двор, за неделю обучается прыгать по команде фельдфебеля или что одного лейтенанта и восьми солдат достаточно, чтобы взять под арест любую парламентскую говорильню мира, нашли, правда лишь позднее, свое классическое выражение в открытии, что, влив несколько ложек касторки в глотку идеалиста, можно сделать смешными самые твердые убеждения, но они, эти идеи, издавна, хотя их возмущенно гнали прочь, возвращались с диким упорством кошмарных снов. Так уж повелось, что сегодня у каждого, кто видит перед собой какое-нибудь потрясающее явление, даже если оно потрясает его своей красотой, — что у каждого сегодня вторая мысль во всяком случае такова: меня не проведешь, я-то уж поставлю тебя на место! И эта ярость, с которой эпоха, не только затравленная, но и затравливающая, стремится все умалить, не есть уже, наверно, естественное для жизни разделение на низменное и высокое,

а есть скорее самоистязательная тенденция духа, его невыразимое удовольствие от зрелища, что добро можно унизить и на диво легко разрушить. Это смахивает на страстное желание изобличить во лжи себя самого, и, может быть, вовсе не самое безотрадное — верить в эпоху, которая появилась на свет задом наперед и нуждается только в том, чтобы ее повернули руки творца.

Многое из этого должна, следовательно, выражать мужская улыбка, даже если она ускользает от самонаблюдения или вообще никогда еще не доходила до сознания, и такова была улыбка, с которой большинство приглашенных знаменитых специалистов подчинялось похвальным усилиям Диотимы. Улыбка эта щекоткой поднималась по ногам, не знавшим толком, куда здесь направился, и финишировала на лице доброжелательным удивлением. Радовались, встречая знакомого или близкою коллегу и получая возможность заговорить с ним. У каждого было такое чувство, что на обратном пути, едва выйдя за дверь, он сделает шаг-другой на пробу, чтобы удостовериться в своей способности сохранять равновесие. Но вообще-то все было устроено очень мило. Такие предприятия общего характера никогда, конечно, не обретают настоящего содержания, как вооб-

ще все самые общие и самые высокие понятия; даже понятие «собака» вы не можете представить себе, это лишь указание на определенных собак и определенные собачьи свойства, а уж патриотизм и прекраснейшую отечественную акцию вы и подавно не можете представить себе. Но если содержания тут и нет, то какой-то смысл все-таки есть, и наверняка хорошо время от времени смысл этот будить! Так говорило большинство друг другу, преимущественно, правда, молча и неосознанно; а Диотима, все еще стоявшая в главной приемной и оказывавшая приветливое внимание запоздавшим, удивленно и смутно слышала, что вокруг нее завязывались оживленные разговоры, из которых, если она не ошибалась, до слуха ее нередко доносились даже замечания насчет разницы между чешским и баварским пивом или по поводу издательских гонораров.

Жаль, что за собравшимся у нее обществом она не могла наблюдать и с улицы. Оттуда оно выглядело замечательно. Свет ярко мерцал за гардинами высокого фронта окон, усиливаемый ореолом авторитета и знатности вокруг стоявших в ожидании экипажей и взглядами зевак, которые, проходя мимо, останавливались

и некоторое время глядели вверх, не зная толком почему. Диотима порадовалась бы, увидь она это. В сумеречном свете, который праздник бросал на улицу, все время стояли люди, а за их спинами начиналась великая темень, быстро делавшаяся чуть дальше совсем непроглядной.

73
Дочь Лео Фишеля Герда

В этой суете Ульрих долго не находил времени сдержать обещание, данное директору Фишелю, и навестить его дом. Точнее говоря, он вообще не нашел его, пока не произошло нечто неожиданное — визит супруги Фишеля Клементины.

Она предварительно позвонила по телефону, и Ульрих ждал ее не без тревоги. Он часто бывал в ее доме три года назад, когда прожил в этом городе несколько месяцев; а в этот раз он заглянул туда лишь однажды, потому что не хотел возобновлять старый флирт и побаивался материнского разочарования Клементины. Однако Клементина Фишель была женщина с «большим сердцем», а в каждодневных мелких стычках с ее супругом Лео у нее было так мало возможностей пустить это качество в ход, что в особых случаях,

выдававшихся, к сожалению, редко, в ее распоряжении была прямо-таки героическая высота чувств. Тем не менее эта худая женщина с суровым, несколько скорбным лицом была немного смущена, когда оказалась напротив Ульриха и попросила его о беседе с глазу на глаз, хотя они и так были одни. Он единственный человек, с чьим мнением Герда еще станет считаться, сказала она, и пусть он не поймет ее просьбу превратно, добавила она тут же.

Ульрих знал обстановку в семье Фишелей. Мало того что отец и мать постоянно вели войну, Герда, их уже двадцатитрехлетняя дочь, окружила себя толпой странных молодых людей, которые делали скрежетавшего зубами папу Лео, совершенно против его воли, меценатом и покровителем их «нового духа», потому что нигде не было так удобно собираться, как у него. Герда такая нервная и малокровная и страшно волнуется при малейшей попытке ограничить это общение, рассказывала Клементина, это в конце концов просто глупые, не умеющие вести себя мальчишки, но их усердно выставляемый напоказ антисемитизм не только бестактен, но и свидетельствует о внутренней грубости. Нет, добавила она, она пришла не для того, чтобы

жаловаться на антисемитизм, это примета времени, и тут ничего не поделаешь; можно даже признать, что в некоторых отношениях в нем что-то есть. Клементина сделала паузу и вытерла бы слезу носовым платком, если бы не носила вуали; но сейчас она не стала пускать слезу и удовлетворилась тем, что просто извлекла из сумочки белый платочек.

— Вы знаете Герду, — сказала она, — это красивая и способная девочка, но…

— Немножко резкая, — дополнил Ульрих.

— Да, видит бог, она всегда ударяется в крайности.

— И, значит, все еще германствует?

Клементина стала говорить о чувствах родителей. «Хождением матери» назвала она несколько патетически свой визит, имевший побочной целью снова привадить к их дому Ульриха, после того как он, по слухам, так преуспел в параллельной акции.

— Я сама виновата, — продолжала она, — потому что в последние годы поощряла наперекор Лео эти знакомства. Я не находила в них ничего такого; эти молодые люди на свой лад идеалисты; а если ты человек широких взглядов, то умей выслушать и неприятное. Но Лео — вы же его знаете

— волнуется из-за антисемитизма, независимо от того, настоящий ли он или только мистический и символический.

— А Герда с ее свободным, белокуро-немецким нравом не хочет эту проблему признать? — дополнил Ульрих.

— Она в этих делах такая же, какой я сама была в молодости. Кстати, как вы думаете, есть у Ганса Зеппа будущее?

— Герда обручена с ним? — осторожно спросил Ульрих.

— У этого мальчика нет ведь никаких видов на то, чтобы обеспечить жену! — вздохнула Клементина. — Как же можно говорить об обручении; но когда Лео отказал ему от дома, Герда три недели ела так мало, что от нее остались только кожа да кости. — И вдруг она со злостью сказала: — Знаете, это, по-моему, как гипноз, как умственная инфекция! Да, иногда мне кажется, что Герда загипнотизирована! Мальчишка все время разъясняет в нашем доме свои взгляды, а Герда не замечает, как это постоянно обижает ее родителей, хотя вообще-то она всегда была добрым и душевным ребенком. И стоит мне что-нибудь ей сказать, она отвечает: «Ты старомодна, мама». Я подумала, — вы единственный, кто для нее что-то

значит, и Лео очень высокого о вас мнения! — не могли бы вы как-нибудь прийти к нам и немного открыть Герде глаза на незрелость Ганса и его приятелей?

Поскольку Клементина отличалась корректностью, а это был акт насилия, то, видимо, заботы у нее были очень серьезные. Несмотря на все раздоры, она в этой ситуации чувствовала что-то вроде солидарности со своим супругом и общей ответственности. Ульрих встревоженно поднял брови.

— Боюсь, Герда скажет, что и я старомоден. Эти новые молодые люди не слушаются нас, старших, а тут допросы принципиальные.

— Я уж думала, что, найдись у вас для Герды какое-нибудь дело в этой великой кампании, о которой столько говорят, то это скорее всего навело бы ее на другие мысли, — вплела Клементина, и Ульрих поспешил пообещать, что придет, но заверил ее, что параллельная акция еще не созрела для такого применения.

Когда через несколько дней Герда увидела его в своем доме, на щеках у нее появились круглые красные пятна, но она крепко пожала ему руку. Она была из тех очаровательно целеустремленных нынешних девушек, которые тут же стали

бы автобусными кондукторшами, если бы какая-то общая идея потребовала этого.

Ульрих не ошибся, предположив, что застанет ее одну; мама занималась в эти часы покупками, а папа был еще на службе. И едва Ульрих шагнул в комнату, как все поразительно напомнило ему один день из времен их прежних встреч. Год, правда, тогда продвинулся уже на несколько недель дальше; была весна, но стоял один из тех отчаянно жарких дней, что порой летят впереди лета, как хлопья огня, и плохо переносятся еще не закалившимся телом. Лицо Герды выглядело осунувшимся и узким. Она была одета в белое и пахла белым, как высушенное на лугу полотно. Маркизы были во всех комнатах спущены, и вся квартира была полна капризным сумеречным светом и стрелами тепла, проникавшими с обломанными остриями сквозь серую преграду. У Ульриха было такое чувство, что вся Герда, как ее платье, состоит из свежевымытых полотняных завес. Это было совершенно объективное чувство, и он мог бы спокойно снять их с нее одну за другой, нисколько не нуждаясь для этого в любовном импульсе. И в точности это же чувство было у него и сейчас. То была как бы вполне естественная, но бесцельная близость, и они боялись ее.

— Почему вы так долго не появлялись у нас? — спросила Герда.

Ульрих сказал ей напрямик, что, по его впечатлению, ее родители не хотят такого близкого знакомства, если оно не имеет целью женитьбу.

— Ах, мама, — сказала Герда, — мама смешна. Нам, значит, нельзя быть друзьями, не вызывая сразу таких мыслей?! Но папа хочет, чтобы вы приходили почаще; вы ведь, говорят, стали важной персоной в этой великой истории!

Она совершенно открыто, откровенно сказала об этом, об этой глупости стариков, уверенная в естественном союзе, объединяющем против них его и ее.

— Я буду приходить, — ответил Ульрих, — но только скажите мне, Герда, куда это нас заведет?

Дело было в том, что они не любили друг друга. Раньше они часто вдвоем играли в теннис или встречались в обществе, ходили вместе, принимали друг в друге участие и таким образом незаметно перешли границу, отделяющую близкого человека, которому можно показаться и в беспорядке чувств, от всех, перед кем прихорашиваются. Они неожиданно так сблизились, как сближаются два человека, давно любящие друг друга, даже почти уже переставшие любить, но

при этом обошлись без любви. Они бранились так, что казалось — они терпеть не могут друг друга, но это одновременно было препятствием и соединяло. Они знали, что не хватает лишь искорки, чтобы разжечь из этого пламя. Будь разница в возрасте между ними меньше или будь Герда замужем, то из случайности, вероятно, получилась бы кража, а из кражи, хотя бы и задним числом, страсть, ибо в любовь вгоняют себя словами, как в гнев, делая ее жесты. Но именно потому, что они это знали, они удержались от этого. Герда осталась девушкой и страстно на это досадовала.

Вместо того чтобы ответить на вопрос Ульриха, она чем-то занялась в комнате, и вдруг Ульрих оказался возле нее. Это было очень опрометчиво, ибо нельзя в такой момент стоять возле девушки и начинать о чем-нибудь говорить. Они последовали путем наименьшего сопротивления, как ручей, который течет лугом, обходя препятствия, и Ульрих охватил рукой бедро Герды, доставая кончиком пальца до той линии, по которой уходит вниз внутренняя подвязка. Он повернул к себе растерянное и вспотевшее лицо Герды и поцеловал ее в губы. Потом они стояли и не могли высвободиться или соединиться. Пальцы его попали на широкую резинку ее подвязки и

легонько стегнули ею несколько раз по бедру. Но вот он оторвался от нее и, пожимая плечами, повторил свой вопрос:

— Куда это заведет, Герда?

Герда поборола свое волнение и сказала:

— Неужели должно быть непременно так?

Она позвонила и велела принести какой-то напиток; она привела в движение дом.

— Расскажите мне что-нибудь о Гансе! — мягко попросил Ульрих, когда они сели и должны были начать новый разговор. Герда, еще не совсем оправившаяся, сперва не ответила, но через несколько мгновений сказала:

— Вы тщеславный человек, вы нас, молодых, никогда не поймете!

— Меня не запугаете! — отпарировал Ульрих. — Я думаю, Герда, что я теперь откажусь от науки. Я перейду таким образом к новому поколению. Достаточно ли вам, если я торжественно заявлю, что знание сродни корысти; что оно представляет собой жалкое накопительство; что это чванливый внутренний капитализм? Чувства у меня больше, чем вы думаете. Но я хочу уберечь вас от болтовни, где все только слова!

— Вам надо лучше узнать Ганса, — ответила Герда вяло, но вдруг резко прибавила: — Впрочем,

вы все равно не поймете, что можно без эгоизма слиться с другими людьми в каком-то единстве!

— Ганс все еще так же часто приходит к вам? — осторожно упорствовал Ульрих. Герда пожала плечами.

Ее умные родители не отказали Гансу Зеппу от дома, а уступили ему несколько дней в месяц. За это Ганс Зепп, студент, ничего собою не представлявший и еще не имевший видов чем-либо стать, должен был дать им честное слово, что впредь не будет подбивать Герду ни на что дурное и прекратит пропаганду мистического германского «дела». Они надеялись лишить его этим очарования запретности. И Ганс Зепп по своему целомудрию (ибо только чувственность хочет обладания, а это черта еврейско-капиталистическая) спокойно дал потребованное от него честное слово, подразумевая, однако, под этим, что он не перестанет тайно появляться в доме и воздержится не от пылких речей, восторженных пожиманий рук и даже не от поцелуев, ибо все это атрибуты естественной жизни дружественных душ, а лишь от теоретической пропаганды союза, не легализованного ни священнослужителями, ни государством, которую он дотоле вел. Честное слово он дал тем охотнее, что считал себя и Герду

внутренне еще не созревшими для осуществления своих принципов, и заслон нашептываниям низменной природы вполне его устраивал.

Но, конечно, молодые люди страдали от этого нажима, устанавливавшего для них границу извне, когда они еще не нашли внутренней, настоящей. Уж Герда-то не примирилась бы с этим вмешательством своих родителей, если бы в ней самой не было неуверенности, но тем большую горечь вызывало оно у нее. Она не очень, в сущности, любила своего юного друга; в привязанность к нему она преобразовала скорее несогласие с родителями. Родись Герда на несколько лет позже, ее папа был бы одним из самых богатых людей в городе, хотя как раз поэтому не очень-то уважаемым человеком, и ее мать снова восхищалась бы им, прежде чем Герде пришлось бы воспринимать раздоры между родителями как разлад в себе самой. Тогда, вероятно, она с гордостью чувствовала бы себя существом смешанной расы; при обстоятельствах же, сложившихся на самом деле, она восставала против своих родителей и их жизненных проблем, не хотела быть отягощенной наследственностью и была такая белокурая, свободная, немецкая и энергичная, словно у нее не было с ними ничего общего. Выглядело это пре-

красно, но имело тот недостаток, что ей никак не удавалось вытащить на свет точившего ее червя. Дома у нее к факту существования национализма и расовой идеологии, хотя они втянули в свою истерию половину Европы и в фишелевских стенах все вертелось именно вокруг них, относились так, как будто его не было. Все, что Герда знала об этом, проникло к ней извне, в неясных формах молвы, в виде намеков и преувеличений. Ей рано запало в душу противоречие, заключавшееся в том, что ее родители, вообще-то очень чуткие ко всему, что говорили люди, делали в данном случае странное исключение; и не находя в этой призрачной проблеме определенного и трезвого смысла, она, особенно в годы отрочества, связывала с нею все, что было ей неприятно и тревожило ее в родительском доме.

Однажды она познакомилась с христианско-германским кружком молодых людей, к которому принадлежал Ганс Зепп, и сразу почувствовала себя в истинной своей стихии. Трудно сказать, во что верили эти молодые люди; они составляли одну из тех бесчисленных маленьких, нечетко очерченных свободных духовных сект, которыми, с тех пор как рухнул гуманистический идеал, кишит немецкая молодежь. Они не были

антисемитами-расистами, а были противниками «еврейского образа мыслей», подразумевая под этим капитализм и социализм, науку, разум, власть и деспотизм родителей, психологию и скепсис. Главным их тезисом был «символ»; насколько понимал Ульрих, а он кое-что смыслил в таких вещах, символом они называли великие проявления благодати, через которые все смутное и мелкое в жизни, как говорил Ганс Зепп, делается ясным и крупным, которые заглушают шум чувств и увлажняют лоб в потоках потустороннего. Таковыми они называли Изенгеймский алтарь, египетские пирамиды и Новалиса; Бетховена и Стефана Георге они признавали как намеки, а что такое символ в переводе на трезвый язык — этого они не говорили, во-первых, потому, что символы нельзя выразить трезвым языком, во-вторых, потому, что арийцы не смеют быть трезвыми, отчего им в последнее столетие удавались лишь намеки на символы, а в-третьих, потому что есть такие столетия, которые куда как редко родят далекий от людей миг благодати в далеком от людей человеке.

Герда, девушка умная, втайне испытывала немалое недоверие к этим гиперболам, но она не доверяла и этому недоверию, усматривая в

нем унаследованный родительский разум. При всей своей напускной независимости, она педантично старалась не слушаться родителей и страдала от страха, что ее происхождение мешает ей следовать за мыслями Ганса. Она всей душой восставала против запретов, устанавливаемых моралью так называемой хорошей семьи, против деспотического и удушающего вторжения в личность родительской власти, в то время как Ганс, который был «из никакой семьи», — так выражала это ее мать, — страдал куда меньше; выделившись из круга товарищей как «духовный руководитель» Герды, он вел с подругой-ровесницей страстные беседы и пытался увлечь ее своими сопровождавшимися поцелуями разглагольствованиями в «область безусловного», но на практике ловко приноравливался к условностям дома Фишелей, коль скоро ему разрешали отвергать их «по убеждению», что, правда, то и дело давало повод к ссорам с папой Лео.

— Милая Герда, — сказал Ульрих через несколько мгновений, — ваши друзья мучат вас вашим отцом, это самые ужасные вымогатели, каких я знаю.

Герда побледнела и покраснела.

— Вы сами человек уже не молодой, — возра-

зила она, — вы думаете иначе, чем мы! — Она знала, что задела тщеславие Ульриха, и прибавила примирительно: — Я вообще не рисую себе любовь чем-то особенным. Может быть, я теряю время с Гансом, как вы говорите; может быть, я вообще должна поставить на любви крест и никогда никого не полюблю так, чтобы открывать ему каждый уголок души в мыслях и чувствах, в труде и мечтах. Мне это даже не кажется таким уж страшным.

— Вы не по годам назидательны, Герда, когда говорите, как ваши друзья! — прервал ее Ульрих.

Герда вспылила.

— Когда я говорю со своими друзьями, — воскликнула она, — то мысли идут от одного к другому, и мы знаем, что говорим и живем среди своих людей; понимаете ли вы это вообще? Мы находимся среди бесчисленных родственных душ и чувствуем их; это чувство психофизическое в том смысле, который вы наверняка… нет, который вы наверняка и представить себе не можете; потому что вы всегда желали только кого-то одного; вы думаете как хищный зверь!

Почему как хищный зверь? Фраза, предательски повисшая в воздухе, показалась нелепой ей самой, и она устыдилась своих глаз, которые

испуганно таращились на Ульриха.

— Не стану на это отвечать, — мягко сказал Ульрих. — Лучше, чтобы переменить разговор, расскажу вам одну историю. Знаете ли вы, — и он притянул ее к себе рукой, в которой ее запястье исчезло, как дитя среди утесов, волнующую историю о захвате луны? Вы ведь знаете, что прежде у нашей земли было несколько лун? И есть теория, имеющая много сторонников, по которой такие луны представляют собой не то, за что мы их принимаем, не охладившиеся небесные тела, вроде самой земли, а большие, носящиеся в космосе ледяные шары, подошедшие к земле слишком близко и ею задержанные. Наша луна будто бы последняя из них. Взгляните-ка на нее!

Герда повиновалась ему и отыскала на солнечном небе бледную луну.

— Разве она не похожа на ледяной диск? — спросил Ульрих. — Дело не в освещении! Вы когда-нибудь задумывались, почему так получается, что лик луны всегда обращен к нам одной и той же стороной? Она ведь уже не вертится, последняя наша луна, она уже схвачена! Понимаете, попав под власть земли, луна не только кружится вокруг нее, но и все ближе притягивается к ней. Мы просто этого не замечаем, потому

что эта спираль закручивается сотни тысяч лет или еще дольше. Но от этого никуда не уйти, и в истории земли бывали, наверно, тысячелетия, когда прежние луны притягивались к ней совсем близко и носились вокруг земли с чудовищной скоростью. И так же, как сегодня луна тянет за собой приливную волну высотой в метр или два, тогда она, кружа над землей, волочила за собой гору воды и ила высотой с какой-нибудь огромный хребет. Нельзя и представить себе страх, в каком, наверно, жили в такие тысячелетия поколения за поколениями на безумной земле…

— А разве тогда уже были люди? — спросила Герда.

— Конечно. Ведь в итоге такая ледяная луна разрывается на куски, с шумом падает, и волна высотой с гору собранная ею под своей орбитой, с невероятной силой затопляет весь шар, пока опять не распределится заново. Это не что иное, как потоп, то есть великое всеобщее наводнение! Как могли бы все предания так согласно об этом повествовать, если бы люди этого действительно не изведали? А поскольку одна луна у нас еще есть, такие тысячелетия наступят еще раз. Это странная мысль…

Герда, затаив дыхание, посмотрела в окно на

луну; ее рука все еще лежала в его руке, луна виднелась на небе бледным некрасивым пятном, и как раз эта невзрачность придавала фантастической вселенской авантюре, жертвой которой Герда по какой-то ассоциации чувств ощущала себя, простую будничную правдивость.

— Но эта история сплошная неправда, — сказал Ульрих. — Специалисты называют ее сумасшедшей теорией, и луна в действительности вовсе не приближается к земле, а даже дальше от нее, чем то следовало бы по расчетам, на тридцать два километра, насколько я помню.

— Зачем же вы рассказали мне эту историю? — спросила Герда, пытаясь высвободить свою руку. Однако ее протест совсем обессилел; так с ней бывало всегда, когда она говорила с каким-нибудь мужчиной, который отнюдь не был глупее Ганса, но отличался от него умеренностью во взглядах, ухоженными ногтями и причесанными волосами. Ульрих смотрел на тонкий черный пушок, так не вязавшийся с золотистой кожей Герды; вся многообразная сложность бедных людей нынешнего дня словно бы пробивалась из плоти с этими волосками.

— Не знаю, — ответил он. — Прийти мне снова?

Герда вылила волнение своей освободившейся руки на разные мелкие предметы, которые стала передвигать, и промолчала.

— Значит, я скоро приду опять, — пообещал Ульрих, хотя до этого свидания у него не было такого намерения.

74
Четвертый век до Р. Х. против 1797 года. Ульрих снова получает письмо от отца

Быстро распространился слух, что встречи у Диотимы проходят с огромным успехом. В это время Ульрих получил необычно длинное письмо от отца с приложением толстой кипы брошюр и отдельных оттисков. Письмо было примерно такое: «Дорогой сын мой! Твое долгое молчание… Однако от третьего лица я с удовольствием узнал, что мои хлопоты о тебе… мой доброжелательный друг граф Штальбург… Его сиятельство граф Лейнсдорф… Наша родственница, супруга начальника отдела Туцци… Дело, ради которого я теперь прошу тебя пустить в ход все твое влияние в твоем новом кругу, состоит в следующем.

Мир рухнул бы, если бы истинным считалось все, что принимают за истину, а позволитель-

ным — любое намерение, которое кажется тебе таковым. Поэтому наш общий долг — определять единственную истину и верные намерения и, по мере того как мы в этом преуспеваем, с неумолимым чувством долга бдительно следить за тем, чтобы это было запечатлено и в ясной форме научного утверждения. Из сказанного ты можешь заключить, что это значит, если я сообщаю тебе, что не только в дилетантских, но, увы, довольно широко и в научных кругах, поддающихся внушениям смутной эпохи, давно уже распространилось весьма опасное движение за то, чтобы в новой редакции нашего уголовного кодекса добиться каких-то мнимых улучшений и послаблений. Должен предварить, что для выработки этой новой редакции уже несколько лет существует созванный министром комитет известных экспертов, к которому я имею честь принадлежать — равно как и мой университетский коллега профессор Швунг, — его ты, может быть, помнишь по прежним временам, когда я еще не раскусил его, благодаря чему он долгие годы считался лучшим моим другом. Что же касается упомянутых мною послаблений, то пока в форме слухов, — хотя само по себе это, увы, слишком вероятно, — я узнал, что в предстоящем

юбилейном году нашего достопочтенного и кроткого правителя, то есть, так сказать, под флагом всяческого великодушия, следует ждать особых усилий, направленных на то, чтобы проложить у нас дорогу этому злополучному ослаблению правосудия. Разумеется, профессор Швунг и я одинаково полны твердой решимости воспрепятствовать подобным попыткам.

Я учитываю твою юридическую неосведомленность, но тебе, наверно, известно, что излюбленной лазейкой для этой правовой ненадежности, лживо именующейся гуманностью, является стремление распространить исключающее наказание понятие невменяемости, придав ему неясную форму ограниченной вменяемости, и на тех многочисленных индивидуумов, которые, не будучи ни душевнобольными, ни морально нормальными, образуют те полчища неполноценных, морально слабоумных, что, увы, все больше заражают нашу культуру. Ты сам понимаешь, что понятие такой ограниченной вменяемости — если это вообще можно назвать понятием, что я оспариваю! — должно быть теснейшим образом связано с тем, как мы формулируем свое толкование полной вменяемости или невменяемости, и тут я подхожу к существу дела.

Исходя из уже имеющегося законоположения и ввиду изложенных обстоятельств, я предложил в упомянутом комитете предварительного обсуждения дать соотв. параграфу 318 будущего уголовного кодекса следующую формулировку:

«Наказуемого действия нет в том случае, если лицо, его совершившее, находилось в момент его совершения в бессознательном состоянии или в состоянии болезненного нарушения умственной деятельности, в силу чего…» — и профессор Швунг внес предложение, начинавшееся в точности этими же словами.

Но далее в его предложении говорилось: «… в силу чего свобода воли этого лица исключалась», а мое гласило так: «…в силу чего это лицо не было способно понять неправомерность своего действия». Должен признаться, что поначалу я и сам не заметил в этом расхождении ничего злостного. Я лично всегда держался такого взгляда, что с развитием ума и разума воля побеждает вожделение или инстинкт путем размышления и вытекающего из него решения. Волевое действие тем самым всегда связано с мышлением не инстинктивно. Человек свободен в той мере, в какой выбирает свою волю; если у него есть человеческие вожделения, то есть вожделе-

ния соответствующие чувственной стороне его природы, если, следовательно, его мышление нарушено, он не свободен. Волевой акт именно не есть что-то случайное, а есть самоопределение, неизбежно вытекающее из нашего «я», и воля, таким образом, определяется мышлением, и если мышление нарушено, то воля уже не есть воля и человек действует лишь согласно природе своего вожделения! Но мне, конечно, известно, что в литературе представлена и противоположная точка зрения, по которой, наоборот, мышление определяется волей. Эта концепция имеет приверженцев среди современных юристов, правда, только с 1797 года, тогда как первая, разделяемая мною, противостояла всяким нападкам с IV века до Р.Х, но я хотел доказать свою уступчивость и предложил поэтому объединяющую оба предложения формулировку, которая, стало быть, звучала бы так:

> «Наказуемого действия нет в том случае, если лицо, его совершившее, находилось в момент его совершения в бессознательном состоянии или в состоянии болезненного нарушения умственной деятельности, в силу чего это лицо не было

способно понять неправомерность своего действия и свобода воли этого лица исключалась».

Но тут профессор Швунг показал себя в своем истинном виде! Он пренебрег моей уступчивостью и надменно заявил, что вместо «и» в этом предложении нужно поставить «или». Тебе понятно его намерение. Тем-то и отличается человек мыслящий от профана, что всегда различит «или» там, где тот скажет просто «и», и Швунг сделал попытку уличить меня в поверхностном мышлении, заподозрив меня на основании моей выразившейся в «и» готовности к соглашению в том, что я будто бы не понял, как велико и важно противоречие, которое нужно преодолеть!

Само собой разумеется, что с этого момента я выступал против него со всей непреклонностью.

Я снял свое компромиссное предложение, почувствовав себя вынужденным настаивать на принятии моей первой редакции без всяких поправок; Швунг же с коварной изощренностью старается с тех пор чинить мне всякие трудности. Так, он приводит тот довод, что, согласно моему предложению, берущему за основу способность понять неправомерность действия, лицо, стра-

дающее, как это бывает, особого рода бредовыми идеями, но в остальном здоровое, может быть оправдано ввиду душевной болезни только в том случае, если удастся доказать, что оно вследствие своих особых бредовых идей предполагало наличие обстоятельств, оправдывающих его действие или отменяющих наказуемость такового, а стало быть, вело себя, хотя и в неверно представляемом себе мире, совершенно корректно. Но это довод совершенно неубедительный, ибо хотя эмпирической логике известны лица, которые частично больны, а частично здоровы, логика юридическая не вправе, когда речь идет об одном и том же преступлении, признавать смешанность двух юридических состояний, для нее лицо либо вменяемо, либо нет, и мы вправе предполагать, что и у лиц, страдающих бредовыми идеями особого рода, сохраняется в общем способность отличать правомерное от неправомерного. Если она в особом случае затемнялась у них бредовыми идеями то потребовалось бы только особое напряжение их умственных способностей, чтобы согласовать это с остальным содержанием их личности, и нет никаких причин видеть в этом особую трудность.

Я сразу же и возразил профессору Швунгу,

что поскольку состояние вменяемости и невменяемости логически не могут существовать одновременно, то надо предположить, что у таких индивидуумов они быстро чередуются, а это как раз для его теории и неудобно, ибо при каждом отдельном преступлении следовало бы отвечать на вопрос, каким из этих чередующихся состояний оно вызвано; ведь для этой цели приходилось бы приводить все причины, влиявшие на обвиняемого с момента его рождения, и все причины, влиявшие на его предков, наделивших его добрыми и скверными свойствами… Ты, наверно, не поверишь, но у Швунга хватило наглости ответить мне, что так оно и должно быть, ибо юридическая логика не вправе, когда речь идет об одном и том же преступлении, признавать возможность смешения двух юридических состояний, а потому относительно проявления каждой отдельной воли нужно решать, мог ли обвиняемый по своему психическому развитию совладать с этой волей или не мог. Мы, смеет он утверждать, знаем гораздо четче, что наша воля свободна, чем то, что все происходящее имеет причину, и пока, дескать, мы свободны в основе, мы свободны и по частным основаниям, отчего следует предположить, что в таком случае нужно

только особое напряжение силы воли, чтобы воспротивиться причинно обусловленным преступным импульсам».

На этом месте Ульрих отказался от дальнейшего выяснения отцовских планов и задумчиво взвесил в руке многочисленные приложения к письму, ссылки на которые давались на его полях. Он только бросил взгляд на последние строки письма и узнал из них, что отец ждет от него «объективного воздействия» на графов Лейнсдорфа и Штальбурга и настоятельно рекомендует ему своевременно указать в соответствующих комитетах параллельной акции на те опасности, которые могут возникнуть для духа целостной государственности, если столь важный вопрос будет неверно поставлен и решен в юбилейном году.

75
Генерал Штумм фон Бордвер смотрит на визиты к Диотиме как на приятное разнообразие в служебных обязанностях

Маленький, толстый генерал снова засвиде-

тельствовал Диотиме свое почтение. Хотя солдату в совете подобает скромная роль, начал он, он все же осмеливается пророчить, что государство — это сила самоутверждения в борьбе народов и что военная мощь, продемонстрированная в мирное время, отдаляет войну. Но Диотима сразу же перебила его.

— Господин генерал! — сказала она, дрожа от гнева. — Всяческая жизнь основана на мирных силах; даже деловая жизнь, если найти верный взгляд на нее, — это поэзия.

Маленький генерал озадаченно взглянул было на свою собеседницу, но тотчас приосанился.

— Ваше превосходительство, — согласился он (а чтобы понять это обращение, надо напомнить, что супруг Диотимы был начальником отдела, что начальник отдела в Какании был равен по рангу командиру дивизии, но что право на обращение «ваше превосходительство» имели только командиры дивизий, да и то лишь при исполнении служебных обязанностей; но поскольку солдат — это профессия рыцарская, в ней далеко не уйдешь, не называя их и вне службы «ваше превосходительство», и в духе рыцарского рвения «превосходительствами» именовали заодно уж и их супруг, не очень-то задумываясь

над вопросом, когда же находятся на службе эти последние) — вот какие сложные ходы проделал в уме одним махом маленький генерал, чтобы первым же словом заверить Диотиму в том, что он безоговорочно с нею согласен и предан ей, и сказал: — Ваше превосходительство, вы предвосхитили мою мысль. При образовании комитетов военное министерство, само собой разумеется, нельзя было по политическим причинам принимать во внимание, но мы слышали, что это великое движение должно получить какую-то пацифистскую цель, — то ли, говорят, стать международной кампанией мира, то ли увенчаться дарованием дворцу в Гааге фресок нашей отечественной кисти? — и я могу заверить ваше превосходительство что нам это в высшей степени приятно. Военных обычно ведь представляют себе неверно; не стану, конечно, утверждать, что какой-нибудь молоденький лейтенант не хочет войны, но все ответственные инстанции глубочайше убеждены в том, что сферу насилия, которую мы, увы, олицетворяем, следует соединить с духовными благами именно так, как это вы только что сказали, ваше превосходительство.

Он извлек из кармана брюк маленькую щеточку и несколько раз провел ею по своим усикам;

то была скверная привычка, оставшаяся у него с кадетских времен, когда усы составляют еще долгожданную великую надежду, и сделал он это безотчетно. Уставившись своими большими карими глазами в лицо Диотиме, он пытался определить, какое действие произвели его слова. Диотима показала, что смягчилась, хотя никогда в его присутствии не смягчалась вполне, и соблаговолила проинформировать генерала о том, что произошло со дня великого заседания. Генерал выказал особый энтузиазм по поводу великого Собора, выразил свое восхищение Арнгеймом и высказал убежденность в том, что такая встреча окажет чрезвычайно благотворное действие.

— Ведь множество людей понятия не имеет, как мало порядка в делах духовных, — развил он свою мысль. — Я даже, с позволения вашего превосходительства, убежден, что большинство людей думает, будто всеобщий порядок день ото дня прогрессирует. Они видят порядок везде — на фабриках, в конторах, в железнодорожных расписаниях, в учебных заведениях; тут можно, пожалуй, с гордостью упомянуть и наши казармы, прямо-таки напоминающие на свой скромный лад дисциплину хорошего оркестра; словом, куда ни посмотришь, видишь порядок, порядок в

движении пешеходов, транспорта, порядок налогового обложения, порядок церковный, порядок в делах коммерции, в чинах, правила поведения на балу, правила нравственности и так далее. Я, стало быть, убежден, что сегодня чуть ли не каждый считает нашу эпоху вершиной порядка. Нет ли и у вашего превосходительства в глубине души этого чувства? У меня, по крайней мере, оно есть. У меня, стало быть, стоит мне только ослабить внимание, сразу появляется чувство, что дух нового времени заключен именно в этом большем порядке и что империи Ниневии я Рима погибли, должно быть, из-за какой-то безалаберности. Думаю, что большинство людей так считает, предполагая про себя, будто прошлое стало прошлым в наказание, в отместку за что-то, что было не в порядке. Но это представление, конечно, обман, которому люди образованные не должны поддаваться. И в этом заложена, увы, необходимость силы и профессии солдата!

Генерал испытывал глубокое удовлетворение от такой беседы с этой умной молодой женщиной; это вносило приятное разнообразие в служебные обязанности. Но Диотима не знала, что ответить ему; наудачу она повторила:

— Мы ведь в самом деле надеемся собрать

самых значительных людей, но и тогда задача останется трудной. Вы не представляете себе, как разнообразны предложения, которыми нас осаждают, а выбрать хочется лучшее. Но вы, генерал, сказали «порядок». Соблюдая порядок, трезво взвешивая, сравнивая и проверяя, никогда ничего не добьешься; решение должно быть молнией, пламенем, интуицией, синтезом! Если взглянуть на историю человечества, то она не являет нам логического развития, а напоминает поэзию своими озарениями, смысл которых выясняется лишь задним числом!

— Не обессудьте, ваше превосходительство, — отвечал генерал, — солдат мало что смыслит в поэзии; но если кто-либо может дать движению пламя и молнию, то это вы, ваше превосходительство, и старый офицер это понимает!

76
Граф Лейнсдорф проявляет сдержанность

В общем-то этот толстый генерал был человек вполне светский, хотя и наносил визиты без приглашения, и Диотима поведала ему больше, чем собиралась. Если тем не менее в нем что-то пугало

и заставляло ее потом сожалеть о своей любезности, то причиной тому был, собственно, не он сам, а, как объясняла себе Диотима, ее старый друг граф Лейнсдорф. Уж не ревновал ли его сиятельство? А если да, то кого? Хотя Лейнсдорф каждый раз удостаивал Собор своего кратковременного присутствия, он явно не благоволил к нему так, как того ждала Диотима. Его сиятельство питал резко выраженную неприязнь к чему-то, что он называл «сплошной литературой». Это было понятие, связывавшееся для него с евреями, газетами, охочими до сенсаций книготорговцами и либеральным, бессильно болтливым, творящим за деньги буржуазным духом, и словосочетание «сплошная литература» стало прямо-таки любимым его речением. Каждый раз, когда Ульрих готовился прочесть ему поступавшие с почтой предложения, среди которых находились всевозможные призывы двинуть мир вперед или назад, он теперь отбивался теми словами, что употребляет всякий, когда узнает о существовании наряду с его собственными намерениями намерений всех прочих людей, он говорил: «Нет, нет, на сегодня у меня намечено кое-что важное, а это ведь все сплошная литература!» Он думал тогда о полях, о крестьянах, о сельских церковках

и о том прочно, как снопы на жнивье, связанном рукою божьей порядке, в котором столько прекрасного, здорового и полезного, хотя он порой и мирится с винокурнями в поместьях, чтобы идти в ногу со временем. А при этой спокойной широте взгляда стрелковые кружки и молочно-производственные товарищества кажутся, несмотря на всю их неуместность, ячейками твердого порядка и прочной связи; и если они находят нужным выдвинуть на мировоззренческой основе какое-то требование, то оно, так сказать, имеет преимущество зарегистрированной в поземельном кадастре духовной собственности перед требованиями, рожденными умом какого-либо частного лица. Вот почему, когда Диотима хотела серьезно поговорить с графом Лейнсдорфом о том, что она узнала от великих умов, тот обыкновенно держал в руке или извлекал из портфеля петицию какого-нибудь союза из семи болванов и заявлял, что в мире реальных забот эта бумажка весит больше, чем выдумки гениев.

Это был дух, подобный тому, за какой начальник отдела Туцци хвалил архивы своего министерства, которые официально не признавали существования Собора, но самым серьезным образом относились к любому блошиному укусу

последней провинциальной газетки; и в таких заботах у Диотимы не было никого, кому бы она могла довериться, кроме Арнгейма. Но как раз Арнгейм брал его сиятельство под защиту. Это он, Арнгейм, объяснял ей спокойную широту взглядов этого вельможи, когда она жаловалась на проявляемое графом Лейнсдорфом пристрастие к стендовым стрелкам и молочно-производственным товариществам.

— Его сиятельство верит в направляющую силу почвы и времени, растолковывал он серьезно. — Поверьте мне, это идет от владения землей. Почва упрощает, подобно тому как она очищает воду. Даже я, находясь в своем очень скромном имении, каждый раз ощущаю это воздействие. Подлинная жизнь дает простоту. — И, немного помедлив, прибавлял: — Его сиятельство в своей немелочности еще крайне терпим, чтобы не сказать рискованно снисходителен…

Поскольку эта сторона ее сиятельного покровителя была для Диотимы новостью, взгляд ее оживился.

— Не стану с уверенностью утверждать, — продолжал Арнгейм многозначительно, — что граф Лейнсдорф замечает, как ваш кузен в роли секретаря посрамляет его доверие — конечно, только

в идеологическом смысле, добавлю сразу — своим скепсисом в отношении великих планов и насмешливым саботажем. Я опасался бы, что его влияние на графа Лейнсдорфа неблагоприятно, если бы этот истинный пэр не сжился с великими традиционными чувствами и идеями настолько прочно, что, вероятно, может позволить себе такое доверие.

Это была сильная и заслуженная аттестация Ульриха, но Диотима не обратила на нее особого внимания, находясь под впечатлением другой части аргеймовского высказывания, по смыслу которой поместьями можно было владеть не как помещик, а для психического массажа; она нашла это великолепным и дала волю воображению, представив себя супругой в таком поместье.

— Я иногда восхищаюсь тем, — сказала она, — с какой снисходительностью судите вы о его сиятельстве! Ведь это же в конце концов уходящий в прошлое период истории?

— Да, конечно, — отвечал Аргейм, — но простые добродетели, которые так образцово развила эта каста, мужество, рыцарственность и самодисциплина, всегда сохранят свою ценность. Одним словом, аристократ! Я научился все больше ценить аристократизм и в деловой жизни.

— Значит, аристократ — это почти как стихи? — спросила Диотима задумчиво.

— Вы сказали замечательную вещь! — подтвердил ее друг. — В этом тайна полнокровной жизни. Руководствуясь одним только разумом, нельзя ни быть нравственным, ни заниматься политикой. Разума недостаточно, решающие дела творятся помимо него. Люди, достигшие чего-то великого, всегда любили музыку, стихи, форму, дисциплину, религию и рыцарственность. Я даже осмелюсь утверждать, что только люди, которые это любят, знают счастье! Ибо это и есть те, не поддающиеся, как говорится, учету факторы, что составляют настоящего аристократа, настоящего мужчину, и даже в восхищении толпы актером можно различить непонятный остаток всего этого. Но возвращаюсь к вашему кузену. Неверно, конечно, что люди делаются консервативнее, когда они просто слишком разленятся для разгула, нет, все мы рождаемся революционерами, но в один прекрасный день замечаешь, что просто хороший человек, каковы бы ни были его умственные способности, человек, стало быть, надежный, веселый, храбрый, верный, не только доставляет тебе неслыханное наслаждение, но и есть то реальное земное вещество, в котором

заключена жизнь. Это мудрость подержанная, но она означает решающее изменение вкуса, переход от вкуса юности, направленного, разумеется, на экзотику, к вкусу зрелого человека. Я многим восхищаюсь в вашем кузене, а если это сказано слишком сильно, ибо отвечать можно далеко не за все, что он говорит, то я, пожалуй, сказал бы, что люблю его, ибо в нем есть что-то необычайно свободное и независимое при всей его внутренней жесткости и странности; этим-то сочетанием свободы и внутренней жесткости он, может быть, и обаятелен, но человек он опасный из-за своей инфантильной моральной экзотичности и своего развитого ума, который всегда ищет приключений, не зная, что, собственно, толкает его к ним.

77
Аргейм как друг журналистов

Диотиме то и дело представлялся случай наблюдать на примере Аргейма не поддающиеся учету факторы поведения.

Так, в частности, по его совету на заседания Собора (как несколько глумливо окрестил «Комитет по выработке директив в связи с семидесятилетием правления его величества» начальник отдела

Туцци) иногда приглашались и представители крупных газет, и Арнгейм, хотя он присутствовал только в качестве неофициального гостя, пользовался у них таким вниманием, что всякая другая знаменитость оставалась в тени. Ибо по какой-то не поддающейся учету причине газеты — это не лаборатории и опытные станции духа, чем они, ко всеобщему благу, могли бы быть, а обычно склады и биржи. Платон — возьмем его для примера, поскольку его наряду с десятком других называют величайшим мыслителем, — Платон, если бы он еще жил, наверняка был бы в восторге от мира газет, где каждый день можно сотворить какую-нибудь новую идею, заменить ее другой или утончить, где со всех концов света со скоростью, о какой он понятия не имел, стекаются новости и штаб демиургов готов тотчас же проверить, сколько содержится в них ума и реальности. Редакцию газеты он принял бы за тот «топос ураниос», небесное место идей, наличие которого он описал так убедительно, что и поныне все лучшие люди, когда они говорят со своими детьми или служащими, — идеалисты. И конечно, появись вдруг Платон сегодня в какой-нибудь редакции и докажи, что он действительно тот великий писатель, который умер больше

чем две тысячи лет назад, он вызвал бы этим сенсацию и получил бы самые выгодные предложения. Окажись он потом в состоянии написать за три недели целый том философских путевых заметок и еще несколько тысяч своих широкоизвестных коротких рассказов, кое-что из своих старых произведений экранизировать, то ему, несомненно, долгое время жилось бы отлично. Но как только злободневность его возвращения прошла бы, а господин Платон все-таки пожелал бы реализовать одну из своих известных идей, которые целиком так и не осуществились, главный редактор предложил бы ему разве что писать иногда статеечки об этом для литературного приложения газеты (но как можно свободнее и живее, не таким тяжеловесным стилем, учитывая круг читателей), а заведующий литературным отделом прибавил бы, что такой материал он сможет печатать, увы, не чаще, чем раз в месяц, потому что надо ведь считаться и со множеством других талантов. И у обоих редакторов было бы потом чувство, что они очень много сделали для человека, который хоть и является Нестором европейских публицистов, но все-таки поотстал и по актуальности не идет ни в какое сравнение с таким, например, автором, как Пауль Аргейм.

Что же касается Аргейма, то он, конечно, никогда бы с этим не согласился, потому что тем самым было бы оскорблено его благоговение перед всем великим, но во многих отношениях он нашел бы это очень понятным. Сегодня, когда говорят наперебой все, что угодно, когда пророки и жулики употребляют одинаковые выражения, разве что с маленькими различиями, вникать в которые ни у одного занятого человека нет времени, когда редакциям все время надоедают какими-то гениями, очень трудно верно определить ценность человека или идеи; полагаться можно, собственно, только на слух, чтобы судить, когда бормотанье, верещанье и шарканье перед дверью редакции достаточно громки, чтобы впустить их внутрь как голос общественности. С этого момента, правда, гений вступает в другое состояние. Он уже не пустяк, занимающий литературную или театральную критику, чьи противоречия читатель, какого желает себе газета, принимает всерьез не больше, чем детскую болтовню, нет, он переходит в ранг факта со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Глупые энтузиасты не видят отчаянной потребности в идеализме, за этим таящейся. Мир пишущих и обязанных писать полон великих

слов и понятий, которые потеряли свои предметы. Эпитеты великих людей и восторги живут дольше, чем поводы к ним, и поэтому множество эпитетов остается в излишке. Когда-то один значительный человек создал их для другого значительного человека, но оба давно мертвы, а пережившие их понятия надо как-то применять. Поэтому к определениям все время подыскивают человека. «Могучая полнота» Шекспира, «универсальность» Гете, «психологическая глубина» Достоевского и всякие другие понятия, оставленные долгим развитием литературы, сотнями застревают в головах пишущей братии, и та просто из-за затоваривания эпитетов называет сегодня уже какого-нибудь теннисного стратега «глубоким» или какого-нибудь модного стихотворца «великим». Понятно, что она благодарна, когда может пристроить к кому-нибудь без потерь накопившиеся у нее слова. Но этот кто-нибудь должен быть человеком, чье значение есть уже факт, благодаря чему всем понятно, что слова эти приложить к нему можно, неважно, к какому именно месту. И таким человеком был Арнгейм; ибо Арнгейм был Арнгеймом, в Арнгейме присутствовал Арнгейм, будучи наследником своего отца, он уже родился как событие, и не

могло быть сомнения в актуальности того, что он говорил. Ему достаточно было сделать лишь небольшое усилие и сказать что-нибудь, что при наличии доброй воли можно было найти значительным. И Арнгейм сам сформулировал это в виде очень верного правила. «Большая часть реального значения человека заключена в его способности сделать себя понятным своим современникам», — говорил он.

Итак, он и на сей раз отлично поладил с газетами, им завладевшими. Он только посмеивался над честолюбивыми финансистами и политиками, предпочитавшими покупать целые леса газет, чтобы держать прессу в своих руках; эта попытка влиять на общественное мнение казалась ему такой же грубой и малодушной, как мужчина, который предлагает женщине за ее любовь деньги, хотя все может получить гораздо дешевле, разволновав ее воображение. Он ответил журналистам, расспрашивавшим его насчет Собора, что самый факт такой встречи доказывает ее глубокую необходимость, ибо в мировой истории не происходит ничего неразумного, и этим он так угодил их профессиональному вкусу, что его слова были приведены во многих газетах. Это, если присмотреться получше, было и правда

хорошее изречение. Ведь людям, которые придают важность всему, что происходит, непременно стало бы очень не по себе, если бы они не были убеждены, что на свете не происходит ничего неразумного; но, с другой стороны, они, как известно, скорее прикусят себе язык, чем придадут чему-либо слишком большую важность, если даже это как раз сама значительность. Щепотка пессимизма в заявлении Аргейма очень помогла придать этому предприятию солидное достоинство, а то обстоятельство, что он иностранец, можно было теперь истолковать как интерес всей заграницы к невероятно любопытным духовным процессам в Австрии.

Другие знаменитости, участвовавшие в Соборе, не обладали таким же бессознательным даром нравиться прессе, но этот эффект они заметили; а поскольку друг о друге знаменитости вообще знают мало и в поезде вечности, везущем их всех вместе, видят друг друга по большей части лишь в вагоне-ресторане, то особый общественный вес, приобретенный Аргеймом, подействовал без проверки и на них, и хотя он по-прежнему не появлялся на заседаниях всех назначенных комитетов, в Соборе ему сама собой досталась роль центральной фигуры. Чем дальше продвигалась

эта ассамблея, тем ясней становилось, что он подлинная ее сенсация, хотя для этого он ничего, по сути, не делал, кроме того, может быть, что и в беседах со знаменитыми сорадетелями выражал мнение, которое можно было истолковать как великодушный пессимизм, в том смысле, что от Собора вряд ли следует чего-либо ждать, но, с другой стороны, такая благородная задача сама по себе уже требует от тебя всей отпущенной тебе веры и самоотверженности. Такой деликатный пессимизм завоевывает доверие и среди великих умов; ибо по каким-то причинам представление, что ум сегодня вообще никогда не добивается настоящего успеха, приятнее, чем представление, что ум одного из коллег такого успеха добился, и сдержанный отзыв Аргейма о Соборе можно было понимать как согласие с более приятным.

78
Превращения Диотимы

Чувства Диотимы развивались не совсем по такой же восходящей прямой, как успех Аргейма.

Бывало, что среди гостей и в ее изменившейся, оголенной во всех комнатах квартире ей казалось, будто она проснулась в стране, которая

ей снилась. Она стояла тогда, окруженная пространством и людьми, свет люстры стекал по ее волосам на плечи и бедра, она почти чувствовала на себе его светлые струи, и вся она была статуей, ей впору было застыть фонтанной фигурой в самом центре самого центра мира, купаясь в величайшей духовной прелести. Она считала это положение неповторимой возможностью осуществить все, что казалось ей в жизни самым важным и самым великим, и уже не очень-то беспокоилась о том, что никаких определенных мыслей на этот счет у нее не было. Сама квартира, присутствие в ней людей, сам вечер окутывали ее, как желто-шелковое изнутри платье; она чувствовала его кожей, но не видела. Время от времени взгляд ее обращался к Арнгейму, который обычно стоял где-нибудь в группе мужчин и разговаривал; но потом она замечала, что ее взгляд уже все время на нем покоился, и теперь к нему оборачивалось только ее пробуждение. Хотя она и не глядела на него, на лице его непрестанно покоились, если так можно сказать, и сообщали ей, что в нем происходило, самые кончики крыльев ее души.

И если уж зашла речь о перьях, то можно прибавить, что и в его облике было что-то из области

сновидений — этакий торговец с золотыми ангельскими крыльями, спустившийся сюда в собрание. Грохот экспрессов и курьерских поездов, гуденье автомобилей, тишина охотничьих домиков, плескание парусов на яхтах были в этих невидимых, сложенных, тихо шелестевших, когда рука его делала объясняющий жест, крыльях, которыми наделяло его ее чувство. Арнгейм попрежнему часто бывал в отъезде, и от этого в его присутствии всегда было что-то выходившее за пределы момента и местных событий, весьма уже важных для Диотимы. Она знала, что в то время, как он находился здесь, тайно прибывали и отбывали телеграммы, посетители и его собственные эмиссары. Постепенно у нее сложилось представление, возможно даже преувеличенное, о значении всемирной фирмы и ее сплетенности с событиями большого мира. Арнгейм порой захватывающе интересно рассказывал об отношениях международного капитала, о заокеанских сделках и политических подоплеках; совершенно новые горизонты, впервые вообще горизонты открылись перед Диотимой; надо было только хоть раз послушать, как он говорит, например, о франко-германских противоречиях, о которых Диотима знала немногим больше того, что

все в ее окружении питали к Германии легкую антипатию, смешанную с каким-то тягостным чувством братского долга; в его освещении это становилось галльско-кельтско-остео-эндокринологической проблемой, связанной с проблемой лотарингского угля и далее мексиканской нефти, а также с противоречиями между англосаксонской и Латинской Америкой. О таких подоплеках начальник отдела Туцци не имел представления или, по крайней мере, не показывал, что оно есть у него. Он довольствовался тем, что время от времени напоминал Диотиме, что, по его мнению, присутствие Арнгейма и арнгеймовское пристрастие к их дому никак нельзя понять, не предположив каких-то скрытых целей, но насчет возможного их характера он помалкивал, да и сам ничего об этом не знал.

Вот почему супруга его глубоко чувствовала превосходство новых людей над методами устаревшей дипломатии. Она не забывала той минуты, когда приняла решение поставить Арнгейма во главе параллельной акции. Это была первая великая идея ее жизни, и она, Диотима, находилась тогда в удивительном состоянии; на нее нашла какая-то мечтательная истома, идею занесло в какую-то дивную даль, и все, что со-

ставляло дотоле мир Диотимы, потекло в истоме навстречу этой идее. То, что из всего этого можно было облечь в слова, значило, прямо сказать, куда как мало; это было сверканье, сиянье, это была странная пустота и быстрая смена идей, и можно было даже спокойно признать, — думала Диотима, — что суть всего этого, мысль поставить Аргейма во главе небывалой патриотической акции, не лезла ни в какие ворота. Аргейм был иностранец, это оставалось в силе. Значит, осуществить этот замысел с такой же простотой, с какой она изложила его некогда графу Лейнсдорфу и своему супругу, нельзя было. Но тем не менее все вышло так, как ее осенило тогда, в этом состоянии. Ведь и все другие усилия наполнить акцию действительно возвышенным содержанием оказывались до сих пор тщетными; большое первое заседание, работа комитетов, даже этот частный конгресс, от которого, кстати, Аргейм, повинуясь какой-то удивительной иронии судьбы, предостерегал, не произвели до сих пор ничего другого, кроме как опять-таки Аргейма, вокруг которого все толпились, который должен был говорить без умолку и составлял тайное средоточие всех надежд. То был новый тип человека, призванный сменить старые силы в руководстве

судьбами. Она вправе была гордиться тем, что это она сразу же открыла его, поговорила с ним о проникновении нового человека в сферы власти и помогла ему идти здесь своим путем, несмотря на сопротивление всех других. И если бы Арнгейм действительно замышлял при этом что-то особое, то и тогда Диотима была бы почти заранее готова поддерживать его всеми средствами, ибо великий час не терпит мелочной проверки, а она ясно чувствовала, что жизнь ее находится на вершине.

Если не считать неудачников и счастливчиков, все люди живут одинаково плохо, но живут они плохо на разных этажах. Это этажное самолюбие представляет собой сегодня для человека, которому в общем не очень-то виден смысл его жизни, чрезвычайно заманчивый заменитель. В исключительных случаях оно может вырасти в опьянение высотой и властью, ведь есть же люди, у которых на верхних этажах кружится голова, даже если они знают, что стоят в центре комнаты и окна закрыты. (Стоило Диотиме подумать, что один из влиятельнейших людей Европы работает вместе с нею над тем, чтобы внести духовность в сферы власти, и как ее свело с ним прямо-таки рукою судьбы, и что происходит, даже если

на высоком этаже всемирно-австрийского механизма человечества в этот день как раз и не происходило ничего особенного, — стоило ей об этом подумать, как развязывались, распускались узлы, скреплявшие ее мысли, скорость их возрастала, ход их делался легче, они сопровождались необыкновенным чувством удачи и счастья, и в наплыве их приходили озарения, которые поражали ее самое. Ее чувство собственного достоинства выросло; успехи, в какие она раньше и верить-то не осмелилась бы, находились в непосредственной близости, она чувствовала себя более веселой, чем то было привычно ей, иногда ей «приходили в голову даже рискованные шутки, и что-то такое, чего она не замечала за собой никогда в жизни — волны веселья, даже распущенности, — пронизывало ее насквозь. Она чувствовала себя как в башенной комнате со множеством окон. Но была в этом и своя жутковатость. Ее мучило неопределенное, общее, невыразимое чувство благополучия, рвавшееся к каким-нибудь действиям, к какой-то всесторонней деятельности, представления о которой не удавалось составить себе. Можно, пожалуй, сказать, что до ее сознания вдруг дошло вращение земного шара у нее под ногами, и перестать

сознавать это она не могла; или что эти бурные процессы без конкретного содержания были такой же помехой, как прыгающая у ног собака, которая вдруг неведомо откуда взялась. Поэтому Диотиму пугала порой эта перемена, происшедшая с ней без ее несомненного одобрения, и в общем ее состояние походило больше всего на ту светлую нервную серость, которая составляет цвет нежного, лишенного всякой тяжести неба в унылый час величайшего зноя.

Стремление Диотимы к идеалу претерпело при этом важную эволюцию. Стремление это никогда вполне четко не отличалось от корректного восхищения великими вещами, то был благородный идеализм, сдержанная восторженность, и поскольку в наше более закаленное время мало кто помнит, что это такое, придется вкратце еще раз кое-что об этом сказать. Он не был конкретен, этот идеализм, потому что конкретность ремесленна, а ремесло всегда неопрятно; скорее в нем было что-то от цветов в живописи эрцгерцогинь, которым никакие другие, кроме цветов, модели не приличествовали, и очень характерно для этого идеализма было понятие «культура», он чувствовал себя исполненным культуры. Но и гармоническим его тоже можно было назвать,

потому что он терпеть не мог всякой неуравновешенности и видел задачу образования в том, чтобы привести к гармонии существующие, увы, в мире грубые противоречия; одним словом, он, может быть, не так уж отличался от того, что еще и сегодня — правда, лишь там, где держатся великих буржуазных традиций, — понимают под доброкачественным и опрятным идеализмом, который ведь очень четко отличает предметы его достойные от не достойных его и но причинам высшей гуманности совершенно не разделяет убеждения святых (а также врачей и инженеров) в том, что и в моральных отбросах есть неиспользованная небесная теплотворность. Если бы раньше Диотиму, разбудив среди ночи, спросили, чего она хочет, то она, не задумываясь, ответила бы, что присущая живой душе любовная сила испытывает потребность приобщиться ко всему миру; но немного пободрствовав, она уточнила бы это замечанием, что в нынешнем мире, каким он стал из-за гипертрофии цивилизации и разума, даже когда дело касается высших натур, говорить можно осторожности ради только о каком-то аналогичном любовной силе стремлении. И она действительно так думала бы. Есть и сегодня еще тысячи таких людей,

похожих на распылители любовной силы. Когда Диотима садилась за книги, она откидывала со лба свои прекрасные волосы, что придавало ей сосредоточенный вид, и читала с сознанием ответственности и стремлением сделать себе из того, что она называла культурой, помощницу в своем нелегком общественном положении; так она и жила, по капелькам тончайшей любви раздавая себя всем предметам, которые этого заслуживали, оседая на них, как налет от дыхания, в некотором отдалении от самой себя, а ей самой оставалась, собственно, лишь пустая бутылка тела, входившая в домашний инвентарь начальника отдела Туцци. Перед появлением Арнгейма это привело наконец к приступам тяжелой меланхолии, когда между своим супругом и ярчайшим лучом своей жизни, параллельной акцией, Диотима стояла еще одна, но с тех пор ее состояние очень естественным образом переформировалось. Любовная сила мощно сгустилась и, так сказать, вернулась в тело, а из «аналогичного» стремления получилось стремление очень эгоистичное и однозначное. То, впервые вызванное кузеном представление, что она находится в преддверии какого-то поступка и нечто, чего представлять себе ей еще не хотелось, должно

произойти между нею и Аргеймом, стало настолько концентрированнее всех представлений, занимавших ее дотоле, что у нее было совершенно такое чувство, словно она перешла от сна к бодрствованию. И пустота, свойственная в первые мгновения такому переходу, тоже возникла поэтому в Диотиме, а по описаниям она помнила, что это признак начала больших страстей. Она полагала, что многое из того, что говорил Аргейм в последнее время, можно понять в этом смысле. Его отчеты о его позиции, о необходимых для его жизни добродетелях и обязанностях были подготовкой к чему-то неотвратимому, и, оглядывая все, что было до сих пор ее идеалом, Диотима чувствовала духовный пессимизм действия; так человек, чьи чемоданы уложены, бросает последний взгляд на полуусопшие комнаты, которые годами были его пристанищем. Неожиданным следствием этого оказалось то, что душа Диотимы, временно уйдя из-под надзора высших сил, вела себя, как расшалившийся школьник, который резвится до тех пор, пока на него не найдет грусть от его нелепой свободы, и благодаря этому примечательному обстоятельству в ее отношения с супругом, несмотря на возраставшую отчужденность, вошло на короткое время что-то

странно похожее если не на позднюю весну любви, то на смесь всех ее времен года. Начальник отдела, этот миниатюрный человек с приятным запахом смуглой, сухой кожи, не понимал, что происходит. Он уже несколько раз замечал, что при гостях жена его производит впечатление какой-то странной рассеянности, погруженности в себя, далекости и крайней нервности, да она и была в каком-то нервном состоянии и в то же время как-то отрешенно отсутствовала; но когда они оставались одни и он, несколько робко и растерянно, приближался к ней, чтобы спросить ее об этом, она с беспричинной веселостью бросалась вдруг ему на шею и прижималась к его лбу чрезвычайно горячими губами, которые напоминали ему щипцы парикмахера, когда те почти касаются кожи при завивке усов. Она была неприятна, такая неожиданная нежность, и он тайком стирал следы ее, когда Диотима отворачивалась. Но когда он хотел обнять ее или, что было еще досаднее, обнимал, она взволнованно упрекала его в том, что он никогда ее не любил, а только набрасывается на нее, как животное. Что ж, известная мера чувствительности и капризности была неотъемлема от рисовавшегося ему с юности образа желанной, дополняющей мужское

естество женщины, и одухотворенное изящество, с каким Диотима протягивала чашку чая, брала в руки новую книгу или судила о том или ином вопросе, в котором, по убеждению супруга, ничего не способна была понять, всегда восхищало его своей совершенной формой. Это действовало на него как ненавязчивая застольная музыка, а ее он любил донельзя; однако Туцци придерживался и того мнения, что отрыв музыки от принятия пищи (или от посещения церкви) и культивирование ее ради нее самой есть уже буржуазное чванство, хотя и знал, что говорить это вслух нельзя, да и вообще не очень-то задавался такими мыслями. Что же было делать ему, если Диотима то обнимала его, то раздраженно заявляла, что рядом с ним человек с душой на находит свободы, чтобы подняться к своей истинной сущности? Что можно было ответить на требования вроде того, чтобы он больше думал о глубоком море внутренней красоты, чем занимался ее, Диотимы, телом? Ему, оказывается, следовало уяснить себе разницу между эротикой, где свободно парящий дух любви не отягощен вожделением, и сексуальностью. Конечно, это были книжные благоглупости, над которыми можно смеяться; но когда их изрекает женщина, раздеваясь при

этом, — с такими-то поучениями на устах! — думал Туцци, — они становятся обидными. Ведь от него не ускользнуло, что нижнее белье Диотимы прогрессировало в сторону известной светской фривольности. Она и всегда, конечно, одевалась тщательно и обдуманно, поскольку ее общественное положение требовало от нее в равной мере, чтобы она была элегантна и чтобы не конкурировала с вельможными дамами; но в лежащей между почтенной неснашиваемостыо и сладострастной паутинностью гамме белья она делала теперь уступки красоте, которую прежде назвала бы недостойной интеллигентной женщины. Стоило, однако, отметить это Джованни (Туцци звали Ганс, но по стилистическим соображениям он был переименован созвучно его фамилии), как она краснела до плеч и что-то рассказывала о госпоже фон Штейн, которая не уступала даже такому человеку, как Гете! Начальнику отдела Туцци не доводилось уже, таким образом, в надлежащее, на его взгляд, время отвлекаться от важных, отмежеванных от частной жизни государственных дел и находить успокоение в лоне семьи, теперь он чувствовал себя отданным на произвол Диотиме, и то, что было чистоплотно разделено, напряжение ума и отдохновенную

уверенность при ублажении тела, приходилось опять приводить к утомительному и немного смешному единству домогающейся жениховской поры, что напоминало глухаря на току или пишущего стихи юнца.

Не будет преувеличением сказать, что в глубине души он порой испытывал к этому самое настоящее отвращение, и потому общественный успех, которого добилась в ту пору его супруга, причинял ему чуть ли не боль. Диотима пользовалась всеобщим расположением, а это начальник отдела Туцци при всех обстоятельствах уважал настолько, что боялся показаться человеком тупым, если ответит на непонятные ему капризы жены окриком или слишком резкой насмешкой. Постепенно ему стало ясно, что это мука мученическая, которую притом надо тщательно скрывать, — быть супругом выдающейся женщины, что это в известном смысле похоже на кастрацию в результате несчастного случая. Он всячески старался, чтобы этого не замечали, бесшумно и незаметно появлялся и исчезал, закутавшись в облако официально любезной непроницаемости, когда у Диотимы бывали гости или происходили совещания, делал при случае вежливо-полезные или отпускал утешительно-

иронические замечания по их поводу, проводил свою жизнь как бы в замкнутом, но дружественном соседнем мире, был всегда как бы в полном согласии с Диотимой, время от времени давал даже ей с глазу на глаз мелкие поручения, открыто показывал свое благосклонное отношение к частым в его доме визитам Арнгейма, изучал в свободные от важных забот службы часы сочинения Арнгейма и ненавидел пишущих мужчин как причину своей муки.

Ибо это был вопрос, к которому главный вопрос, по какой причине Арнгейм бывает у него в доме, теперь порою сводился: почему Арнгейм писал? Писание — особая форма болтовни, а мужчин-болтунов Туцци терпеть не мог. У него они вызывали энергичное желание сомкнуть по-матросски челюсти и сплюнуть сквозь сжатые зубы. Тут были, конечно, исключения, с которыми он считался. Он знал нескольких высокопоставленных чиновников, опубликовавших по выходе на пенсию свои воспоминания, да и таких, что пописывали в газетах; Туцци объяснял это тем, что чиновник пишет, только если он недоволен или если он еврей, ибо евреи были, по его убеждению, честолюбивы и всегда недовольны. Еще писали книги о пережитом крупные практические дея-

тели; но на закате жизни и в Америке или разве что в Англии. Кроме того, Туцци и вообще был литературно образованным человеком и, как все дипломаты, предпочитал мемуары, где можно было набраться умных суждений и знания людей; но ведь неспроста, видимо, таковых сегодня не пишут, и, вероятно, это какая-то устаревшая потребность, отставшая от эпохи новой деловитости. Пишут наконец и потому, что это профессия; это Туцци признавал целиком и полностью, если ты хорошо этим зарабатываешь или подходишь под как-никак существующее понятие «поэт»; он чувствовал себя даже несколько польщенным, видя у себя тузов этой профессии, к которой до сих пор относил писателей, кормящихся из секретного фонда министерства иностранных дел, хотя и «Илиаду», и Нагорную проповедь, высоко им ценимые, он тоже, не долго думая, причислил бы к этим достижениям, возможность которых объясняется добровольным или вынужденным профессиональным трудом. Только с чего бы такой человек, как Аргейм, совершенно не нуждавшийся в этом, стал так много писать — вот где, как особенно теперь подозревал Туцци, таилось что-то, до чего он никак не мог докопаться.

79
Солиман любит

Солиман, маленький раб-негр, а то и негритянский принц, убедил за это время Рахиль, маленькую камеристку, а то и подругу Диотимы, что за происходящим в доме надо следить, чтобы сорвать какой-то темный замысел Арнгейма, когда наступит надлежащий момент. Точней говоря, убедить он ее не убедил, но они были настороже, как два заговорщика, и подслушивали каждый раз у двери, когда кто-нибудь приходил. Солиман страшно много рассказывал о ездивших взад и вперед курьерах и таинственных лицах, вертевшихся в отеле вокруг его господина, и изъявил готовность поклясться африканской княжеской клятвой, что раскроет тайный смысл всего этого; африканская княжеская клятва состояла в том, что Рахиль должна была положить свою руку между пуговицами его куртки и его рубашки на его голую грудь, когда он станет произносить торжественное обещание и таким же манером положит свою руку на грудь Рахили; но Рахиль не захотела. И все-таки маленькая

Рахиль, имевшая счастье одевать и раздевать свою госпожу и звонить по телефону от ее имени, Рахиль, через чьи руки каждое утро и каждый вечер текли черные волосы Диотимы, а в уши лились ее золотые речи, эта маленькая честолюбка, жившая на верхушке столпа, с тех пор как существовала параллельная акция, и ежедневно сотрясаемая токами обожания, летевшими от ее глаз к богоравной женщине, Рахиль с некоторых пор находила удовольствие в том, чтобы за этой женщиной просто-напросто шпионить.

Через открытые двери из смежных комнат, или через щель медлительно притворяемой двери, или просто медленно делая что-нибудь поблизости, она подслушивала Диотиму и Арнгейма, Туцци и Ульриха и брала под свой надзор взгляды, вздохи, целования рук, слова, смех, движения, и они были как клочки разорванного документа, составить который она не могла. Но больше всего ощущений, довольно занятно напоминавших Рахили то давно забытое время, когда она потеряла честь, дарило ей главным образом маленькое отверстие замочной скважины. Взгляд проникал далеко в глубь комнаты; люди плавали там, распавшись на двухмерные части, и голоса не были оправлены в тесную рамку слов, а разрастались

бессмысленным шумом; робость, почтение и восторг, которыми Рахиль была привязана к этим людям, претерпевали тогда буйный распад, и волновало это так же, как когда любимый вдруг всем своим существом проникнет в любимую до того глубоко, что темнеет в глазах и за задернутым занавесом кожи загорается свет. Маленькая Рахиль сидела на корточках перед замочной скважиной, ее черное платье натягивалось на коленях, на шее и на плечах, Солиман сидел на корточках рядом с ней — он был в своей ливрее как горячий шоколад в темно-зеленой чашке — и время от времени быстрым движением руки, которая на миг замирала, потом расслаблялась до кончиков пальцев и наконец, нежно помедлив, отпускала на волю и их, хватал Рахиль за плечо, за колено или за юбку, когда терял равновесие. Он не удерживался от хихиканья, и Рахиль прикладывала свои маленькие мягкие пальцы к туго набитым подушечкам его губ.

В отличие, кстати сказать, от Рахили, Солиман находил Собор неинтересным и всячески уклонялся от того, чтобы обслуживать гостей вместе с ней. Он предпочитал сопровождать Арнгейма, когда тот наносил визиты один. Тогда, правда, ему, Солиману, приходилось сидеть в кухне и

ждать, когда освободится Рахиль, и кухарка, так славно беседовавшая с ним в первый день, злилась, потому что с тех пор он почти онемел. Но Рахили всегда было некогда рассиживаться в кухне, и когда она опять уходила, кухарка, которой уже перевалило за тридцать, оказывала Солиману материнское внимание. Он терпел это некоторое время с надменнейшим выражением своего шоколадного лица, потом обычно вставал и, делая вид, будто что-то забыл или ищет, задумчиво возводил глаза к потолку, поворачивался спиной к двери и начинал пятиться, словно бы только затем, чтобы видеть потолок лучше; кухарка распознавала уже эту неуклюжую игру, как только он вставал и выкатывал белки глаз, но от досады и ревности притворялась, что ни о чем не догадывается, и Солиман в конце концов перестал усердствовать в этом ставшем уже как бы сокращенной формулой лицедействе, после которого он оказывался на пороге светлой кухни и еще немного медлил с как можно более непринужденным видом. Кухарка нарочно не глядела уже в его сторону. Как темная тень в темную воду, Солиман выскальзывал спиной вперед в сумрачную переднюю, прислушивался еще секунду без всякой нужды и вдруг начинал с

фантастическими прыжками рыскать в поисках Рахили по чужому дому.

Начальника отдела Туцци дома никогда не бывало, а Аргейма и Диотимы Солиман не боялся, зная, что они слышат только друг друга. Он даже несколько раз в виде опыта что-то опрокидывал, но этого никто не заметил. Он был хозяин во всех комнатах, как олень в лесу. Кровь перла из его головы, как рога с восемнадцатью острыми, как кинжал, отростками. Острия этих рогов задевали стены и потолок. В доме было принято задергивать занавески во всех комнатах, когда ими не пользовались, чтобы мебель не выцветала на солнце, и Солиман, размахивая руками, пробирался сквозь полумрак, как сквозь густую листву. Ему доставляло радость делать это с преувеличенными телодвижениями. Его стремлением было насилие. Этот избалованный женским любопытством мальчик в действительности еще не имел дела с женщиной, а только узнал пороки европейских мальчишек, и ею желания были еще настолько не смягчены опытом, настолько необузданны и нецеленаправленны в своем горении, что когда он видел свою любимую, похоть его не знала, утолить ли ей себя кровью Рахили, ее поцелуями или оцепенением каждой жилки

собственного его тела.

Где бы Рахиль ни пряталась, он неожиданно возникал там и улыбался по поводу своей удавшейся хитрости. Он отрезал ей путь, и ни кабинет хозяина, ни спальня Диотимы не были для него священны; он появлялся из-за гардин, письменного стола, шкафов и кроватей, и у Рахили каждый раз замирало сердце от такой дерзости и от опасности, им грозившей, как только полумрак сгущался вдруг где-нибудь в черное лицо с двумя светящимися белизной рядами зубов. Но как только Солиман оказывался перед реальной Рахилью, приличия одерживали над ним верх. Эта девушка была ведь гораздо старше его и так хороша, как тонкая рубашка, которую при всем желании нельзя сразу испортить, когда она приходит свежей из стирки, и вообще Рахиль была просто настолько реальна, что всякие фантазии меркли в ее присутствии. Она упрекала его за скверное поведение и хвалила Диотиму, Аргейма и почетную возможность участвовать в параллельной акции; а у Солимана всегда бывал для нее какой-нибудь небольшой подарок, он приносил ей то цветок, выдернув его из букета, посланного его хозяином Диотиме, то украденную дома папироску, то горсть конфет,

вытащенных мимоходом из вазы; вручая Рахили свой презент, он только сжимал ей пальцы и прижимал ее руку к своему сердцу, горевшему в его черном теле как красный факел в темной ночи.

А однажды Солиман проник даже в каморку к Рахили, куда ей пришлось удалиться с каким-то шитьем по строгому приказанию Диотимы, которой накануне во время визита Аргейма мешал шум в передней. Прежде чем сесть под домашний арест, Рахиль поспешно поискала Солимана, но нигде не нашла, а когда она печально вошла в свою комнатушку, он, сияя, сидел на ее кровати и глядел на нее. Рахиль не решилась затворить дверь, но Солиман вскочил и сделал это. Затем он порылся у себя в карманах, что-то извлек, сдул с этого пыль и приблизился к девушке, как горячий утюг.

— Дай руку! — приказал он.

Рахиль протянула ее. У него в руке было несколько сверкающих запонок, и он попытался прикрепить их к манжете ее платья. Рахиль подумала, что они стеклянные.

— Драгоценные камни! — объяснил он гордо.

Девушка, у которой эти слова вызвали дурное предчувствие, отдернула руку. Она не имела в виду ничего определенного; у сына африканского

князя, даже если он и был похищен, могло быть еще несколько тайком зашитых в рубашку драгоценных камней, о таких вещах ничего не знаешь наверняка; но она невольно испугалась этих запонок, как будто Солиман протягивал ей яд, и какими-то странными показались ей вдруг все цветы и конфеты, которые он ей дарил. Она прижала руки к своему телу и растерянно взглянула на Солимана. Она чувствовала, что должна сказать ему что-то серьезное; она была старше, чем он, и служила у добрых господ. Но в этот миг в голову ей приходили только такие сентенции, как «Честность — самое надежное дело» или «Всегда будь верен и правдив». Она побледнела; это показалось ей слишком простым. Свою житейскую мудрость она приобрела в родительском доме, и это была строгая мудрость, такая же красивая и простая, как старая домашняя утварь, но толку от нее было мало, ибо в таких сентенциях после одной-единственной фразы всегда ставилась точка. И такой детской мудрости она стыдилась сейчас, как стыдятся старых, затасканных вещей. Что старый сундук, стоящий на чердаке у бедняков, становится через сто лет украшением в салона богачей, этого она не знала и, как все честные простые люди, восхищалась новым плетеным

стулом. Поэтому она искала у себя в памяти уроки своей новой жизни. Но сколько ни вспоминалось ей замечательных сцен любви и ужасов в книгах, которые она получала от Диотимы, ни одна из них не была именно такой, какая здесь пригодилась бы, все прекрасные слова и чувства имели свою собственную ситуацию и не подходили к ее ситуации, как не подходит ключ к чужому замку. То же самое было с великолепными афоризмами и наставлениями, услышанными ею от Диотимы. Рахиль чувствовала, как вокруг нее кружится пылающий туман, и готова была расплакаться. Наконец она резко сказала:

— Я не краду у своих хозяев!

— Почему? — показал зубы Солиман.

— Я этого делать не стану!

— Я не крал. Это мое! — воскликнул Солиман.

«Добрые хозяева заботятся о нас, бедных», — чувствовала Рахиль. Любовь к Диотиме чувствовала она. Беспредельное уважение к Аргейму. Глубокое отвращение к тем подстрекателям и смутьянам, которых славная полиция называет подрывными элементами; но для всего этого у нее не было слов. Как огромный, перегруженный плодами и сеном воз, у которого тормоза отказали, вся эта кипа чувств в ней пришла в

движение.

— Это мое! Возьми! — повторил Солиман, снова схватив руку Рахили. Она рванула ее назад, он хотел задержать ее, постепенно стал разъяряться и, когда должен был вот-вот выпустить ее, потому что его мальчишеской силы не хватало на то, чтобы справиться с сопротивлением Рахили, вырывавшейся всем весом своего тела, остервенело нагнулся и, как зверек, укусил девушку в руку.

Рахиль вскрикнула, тут же сдавила крик и ударила Солимана по лицу.

Но в этот миг на глазах у него уже были слезы, он бросился на колени, прижался губами к платью Рахили и зарыдал с такой страстью, что Рахиль почувствовала, как горячая влага орошает ей бедра.

Она беспомощно стояла перед мальчиком, который, не поднимаясь с колен, цеплялся за ее юбку и зарывался головой в ее тело. Она еще никогда в жизни не испытывала такого чувства, и она тихо гладила Солимана, пропуская сквозь пальцы мягкую проволоку его вихров.

80
Более близкое знакомство с генералом Штуммом, который неожиданно появляется на Соборе

Тем временем Собор получил примечательное пополнение: несмотря на строгое просеивание тех, кого приглашали, однажды вечером там появился этот генерал, не преминувший горячо поблагодарить Диотиму за честь, оказанную ему ее приглашением. Солдату подобает в совете скромная роль, заявил он, но присутствовать на таком высоком собрании хотя бы безмолвным слушателем было с юности сокровенной его мечтой. Диотима молча глядела мимо него, ища виновника; Арнгейм говорил с его сиятельством как политический деятель с другим политическим деятелем, Ульрих с несказанно скучающим видом смотрел на буфет и, казалось, считал выставленные тем пирожные; привычное зрелище являло плотно сомкнутый фронт, не оставляя ни малейшей лазейки столь необычному подозрению. С другой стороны, Диотима знала как нельзя точнее, что сама она генерала не приглашала, ей

оставалось только предположить, что она страдает сомнамбулизмом или провалами памяти. Это была жутковатая минута. Перед ней стоял этот маленький генерал, и в нагрудном кармане его голубого, как незабудки, мундира, несомненно, лежало приглашение, ибо такой наглости, какого был бы его приход иначе, от человека в его положении нельзя было ждать; с другой стороны, там, в библиотеке, стоял грациозный письменный стол Диотимы, и в ящике его были заперты лишние печатные пригласительные билеты, к которым вряд ли кто-либо, кроме самой Диотимы, имел доступ. Туцци? — мелькнуло у нее в голове, однако и это было маловероятно. Оставалось спиритической, можно сказать, загадкой, как соединились приглашение и генерал, и поскольку Диотима, когда речь шла о ее частных делах, была слегка склонна верить в сверхъестественные силы, она почувствовала пробежавшую по ней от головы до ног дрожь. Но ей ничего не оставалось, как приветствовать приход генерала.

Впрочем, и он несколько удивился этому приглашению; тот факт, что оно в итоге пришло, его поразил, потому что во время двух его визитов Диотима ничем, увы, не выдавала такого намерения, и он обратил внимание на то, что адрес,

написанный явно наемной рукой, содержал в обозначении его звания и должности неточности, которые даме, занимавшей такое общественное положение, как Диотима, не подобали. Но генерал был человек благодушный и не в его праве было воображать что-то необыкновенное, не говоря уж о сверхъестественном. Он решил, что тут вышел какой-то маленький промах, а это не должно было мешать ему наслаждаться своим успехом.

Ибо генерал-майор Штумм фон Бордвер, заведующий отделом армейского образования и воспитания в военном министерстве, был искренне рад этой официальной миссии, ему доставшейся.

Когда большое учредительное заседание параллельной акции только еще предстояло, начальник управления вызвал его к себе и сказал ему:

— Ты, Штумм, такой ученый малый, мы напишем тебе рекомендательное письмо, и ты сходишь туда. Погляди и расскажи нам, куда они гнут.

И как бы он потом ни оправдывался, тот факт, что ему не удалось закрепиться в параллельной акции, означал пятно в его послужном списке,

которое он своими визитами к Диотиме тщетно пытался смыть. Поэтому, когда приглашение все же пришло, он сразу побежал в управление и, запыхавшись, но с изяществом и не без нагловатой небрежности выставив под животиком одну ногу вперед, доложил, что подготовленное и ожидаемое им событие в конце концов, конечно, произошло.

— Ну, вот, — сказал генерал-лейтенант Фрост фон Ауфбрух, — другого я и не ждал.

Он предложил Штумму сесть и закурить, переключил световой сигнал у двери на «Вход воспрещен, важное совещание» и ознакомил Штумма с его миссией, сводившейся в основном к тому, чтобы наблюдать и докладывать.

— Понимаешь, ничего особенного нам не нужно, но ты будешь ходить туда как можно чаще, чтобы показать, что мы существуем; если нас нет в комитетах, то это пока, пожалуй, в порядке вещей, но нет никаких причин отстранять нас, когда обсуждается, так сказать, духовный подарок ко дню рождения нашего верховного главнокомандующего. Поэтому я тебя-то и предложил его превосходительству господину министру, тут никто ничего возразить не может; ну, бывай, желаю успеха!

Генерал-лейтенант Фрост фон Ауфбрух любезно кивнул головой, и генерал Штумм фон Бордвер, забыв, что солдату не полагается выказывать эмоции, щелкнул, если можно так выразиться, от всей души каблуками со шпорами и сказал:

— Рад стараться, большое тебе спасибо, ваше превосходительство!

Если есть штатские, которые воинственны, то почему не должно быть офицеров, которые любят мирные искусства? В Какании таких было сколько угодно. Они занимались живописью, собирали жуков, заводили альбомы для почтовых марок или изучали всемирную историю. Крошечность многих гарнизонов и то обстоятельство, что офицеру запрещалось выходить со своими духовными свершениями на публику без ведома начальства, придавали обычно этим усилиям какой-то особенно личный характер, и в прежние годы генерал Штумм тоже отдавал дань таким увлечениям. Сначала он служил в кавалерии, но всадник он был никудышный; его маленькие руки и короткие ноги не годились для того, чтобы седлать и взнуздывать такое глупое животное, как лошадь, да и властности ему не хватало, отчего его начальники обычно говорили о нем в те времена, что если построить

эскадрон во дворе казармы головами, а не, как это водится, хвостами к стене конюшни, он, Штумм, уже не сумеет вывести его за ворота. В отместку маленький Штумм отрастил себе окладистую бороду, черно-каштановую и округлую; он был единственным офицером в императорской кавалерии, который носил окладистую бороду, но формально это запрещено не было. И он начал научно коллекционировать перочинные ножи; на коллекционирование оружия доходов его не хватало, но перочинных ножей, классифицированных в зависимости от их конструкции, от того, со штопором ли они и пилочкой для ногтей или без оных, от сорта стали, происхождения, материала черенка и так далее, стало у него вскоре великое множество, и комната его была уставлена высокими комодами с плоскими выдвижными ящиками и надписями на них, что создало ему славу человека ученого. Стихи он тоже умел писать, еще кадетом всегда получал по закону божьему и за сочинения отметки «отлично», и вот однажды полковник вызвал его в канцелярию.

— Приличным кавалерийским офицером вы никогда не станете, — сказал он ему. — Если посадить на коня и поставить перед строем грудного

младенца, он будет выглядеть нисколько не хуже, чем вы. Но полк давно никого не посылал в академию, и ты вполне мог бы подать рапорт, Штумм!

Так Штумму достались два чудесных года в академии генерального штаба в столице. Там у него и в интеллектуальном отношении обнаружился недостаток четкости, которая нужна для верховой езды, но он не пропускал ни одного военного концерта, посещал музеи и собирал театральные программы. Он подумывал о том, чтобы перейти на гражданское положение, но не знал, как это сделать. В результате учения он не был признан ни способным, ни совершенно негодным к службе в генеральном штабе; слывя человеком неловким и нечестолюбивым, но философом, он был еще на два года в виде опыта прикомандирован от генерального штаба к командованию пехотной дивизии и по истечении этого срока принадлежал как ротмистр к большому числу тех, кто, числясь в резерве генерального штаба, никогда уже не расстанется с армией, если ничего совсем уж необыкновенного не стрясется. Ротмистр Штумм служил теперь в другом полку, считался ныне офицером с военным образованием, но уже вскоре и новое его начальство могло по достоинству оценить аналогию с практиче-

скими способностями грудного младенца. Он как мученик дослужился до подполковника, но уже майором мечтал только о долгосрочном, с половинным окладом отпуске, чтобы дождаться момента, когда сможет выйти в отставку почетным полковником, то есть со званием и мундиром полковника, но без полковничьей пенсии. Ему осточертели разговоры о повышении в чине, которое в частях шло по списку командного состава как несказанно медленные часы; осточертела утренняя тоска, когда с восходом солнца, уже обруганный сверху донизу, возвращаешься с учебного плаца и входишь в запыленных кавалерийских сапогах в казино, чтобы умножить пустоту еще такого долгого впереди дня пустыми бутылками; осточертели армейская общительность, полковые анекдоты и те полковые амазонки, что проводят свою жизнь рядом со своими мужьями, повторяя градацию их чинов серебристо точной, неумолимо нежной, еле слышной, но все же слышимой гаммой; осточертели и те ночи, когда пыль, вино, скука, простор полей, пронесшихся под копытами, гнали женатых и неженатых мужчин в те занавешенные сборища, где девок ставили на голову и лили им в юбки шампанское, осточертел универсальный

еврей проклятых галицийских гарнизонных дыр, похожий на маленькую покосившуюся лавку, где в долг с процентами можно было приобрести все — от любви до седельной мази, куда доставляли девочек, дрожавших от почтительности, страха и любопытства. Единственной его отрадой в эти времена было дальнейшее разборчивое коллекционирование ножей и штопоров, и многие из них приносил ему в дом опять-таки тот самый еврей, который, прежде чем положить их на стол малохольного подполковника, чистил их о рукав с таким благоговейным лицом, словно это были доисторические, найденные при раскопках реликвии.

Неожиданный поворот произошел тогда, когда один одногодок из академии вспомнил о Штумме и предложил откомандировать его в военное министерство, где в отделе образования искали для заведующего помощника с недюжинным пониманием гражданской жизни. Два года спустя Штумму, который тем временем стал полковником, доверили уже этот отдел. Он был другим человеком, с тех пор как вместо священного животного кавалерии под ним оказалось кресло. Он стал генералом и мог довольно уверенно ждать, что станет и генерал-лейтенан-

том. Бороду он, конечно, давно уже сбрил, но с возрастом у него увеличился лоб, и его склонность к полноте придавала ему вид человека всесторонне образованного. Счастлив он тоже теперь стал, а счастье-то как раз и умножает работоспособность. Он принадлежал к высшим слоям общества, и это сказывалось во всем. В платье какой-нибудь необыкновенно одетой женщины, в смелой безвкусице нового тогда венского архитектурного стиля, в море красок какого-нибудь большого овощного рынка, в серо-буром асфальтовом воздухе улиц, в этом мягком воздушном асфальте, полном миазмов, запахов и благоухания, в лопавшемся на несколько секунд, чтобы выпустить какой-то отдельный звук, шуме, в беспредельном разнообразии штатских и даже в белых ресторанных столиках, которые так неслыханно индивидуальны, хотя, бесспорно, на вид одинаковы, — во всем этом было счастье, звеневшее в голове, как звон шпор. Это было счастье, какое люди штатские испытывают лишь при поездке на поезде за город; не знаешь как, но проведешь день среди зелени, счастливо и под каким-нибудь сводом над головой! Внутри этого чувства ощущалась собственная важность, важность военного министерства, образования,

всякого другого человека, и ощущалось все это с такой силой, что с тех пор, как Штумм прибыл сюда, ему еще ни разу не приходило в голову снова побывать в музеях или в театре. Это било нечто такое, что редко доходит до сознания, но, проникая во все, от генеральских нашивок до голосов башенных колоколов, становится равнозначным музыке, без которой мгновенно прекратилась бы пляска жизни.

Черт возьми, он своего добился! Так думал Штумм о себе, вдобавок ко всему прочему стоя теперь еще и здесь, в таком знаменитом собрании, среди этих комнат… Он стоял-таки здесь! Он был единственным мундиром в этом проникнутом духовностью окружении! И еще одна вещь поражала его. Надо представить себе земной шар небесной голубизны с оттенком штуммовского, цвета незабудок мундира, сплошь состоящий из счастья, из важности, из таинственного мозгового фосфора внутренней просветленности, а внутри этого земного шара генеральское сердце, а на этом сердце, как деву Марию, попирающую голову змия, божественную женщину, чья улыбка слита со всеми вещами на свете и составляет их тайную тяжесть, — надо представить себе это, чтобы примерно вообразить впечатление, которое в

первый же час, когда ее образ наполнил его медленно двигавшиеся глаза, произвела Диотима на Штумма фон Бордвера. Женщин генерал Штумм любил, собственно, не больше, чем лошадей. Его округлые, коротковатые ноги чувствовали себя в седле неуютно, и когда ему еще и в свободное от службы время приходилось вести разговоры о лошадях, ему потом снилось ночью, что он уже до костей протер себе ягодицы, а слезть не может; в точности так же его любовь к покою никогда но одобряла и любовных излишеств, а поскольку служба и так достаточно утомляла его, ему незачем было источать свои силы еще и через ночные клапаны. Некомпанейским занудой он, правда, в свое время тоже не был, но, проводя вечера не со своими ножами, а со своими товарищами, обычно прибегал к мудрому паллиативу, ибо его чувство физической гармонии скоро научило его, что сквозь бурную стадию можно быстро пропиться к сонной, а это было ему куда удобнее опасностей и разочарований любви. Только когда он позднее женился и вскоре должен был содержать двух детей вместе с их честолюбивой родительницей, он впервые вполне осознал, как разумны были его привычки прежде, до того, как он поддался соблазну вступить в брак, к чему его,

несомненно, побудило лишь что-то невоенное, присущее идее женатого воина. С той поры в нем энергично развивался внебрачный идеал женственности, который он безотчетно носил в себе, по-видимому, и раньше, и заключался этот идеал в легком увлечении женщинами, внушавшими ему робость и тем избавлявшими его от всяких усилий. Когда он рассматривал портреты женщин, вырезанные им в холостые годы из иллюстрированных журналов, — что было, однако, всегда лишь, побочной ветвью его коллекционерской деятельности, — то у всех у них была эта черта; но раньше он этого не понимал, а в могучее увлечение это превратилось лишь благодаря встрече с Диотимой. Совершенно независимо от впечатления, произведенного ее красотой, он уже в самом начале, услыхав, что она вторая Диотима, должен был заглянуть в энциклопедический словарь, чтобы узнать, что это такое вообще — Диотима; прозвище это, однако, он не вполне понял и отметил лишь, что оно связано с широким кругом гражданской образованности, все еще, увы, слишком чуждой ему, несмотря на его положение, — и духовное превосходство мира сплавилось с физической прелестью этой женщины. Сегодня, когда отношения полов так

упрощены, надо, пожалуй, подчеркнуть, что ничего более высокого мужчина изведать не может. Руки генерала Штумма мысленно чувствовали себя слишком короткими, чтобы охватить величественную полноту Диотимы, а ум его одновременно испытывал это же чувство перед миром и перед культурой мира, вследствие чего все происходившее на свете проникалось любовью, а круглое тело генерала — чем-то похожим на плавную округлость земного шара.

Это-то увлечение и возвратило Штумма фон Бордвера в окружение Диотимы, вскоре после того как она удалила его оттуда. Стоя вблизи этой восхищавшей его женщины, тем более что он никого больше не знал, он слушал ее разговоры. Он охотно делал бы заметки, ибо никогда не подумал бы, если бы не слышал собственными ушами речей, которыми Диотима приветствовала всяческих знаменитостей, что таким духовным богатством можно с улыбкой играть, как ниткой жемчуга. Только ее взгляд, когда она несколько раз немилостиво повернулась в его сторону, дал ему понять, что генералу не подобает подслушивать, и прогнал его прочь. Он несколько раз одиноко прошелся по переполненной квартире, выпил стакан вина и как раз хотел найти себе

декоративную позицию где-нибудь у стены, когда вдруг обнаружил Ульриха, которого видел уже на первом заседании, и миг этот озарил его память, ибо Ульрих был некогда смышленым, беспокойным лейтенантом в одном из тех двух эскадронов, которыми в свое время, будучи подполковником, мягко командовал генерал Штумм. «Одного со мной поля ягода, — подумал Штумм, — а уже в молодом возрасте достиг такого высокого положения!» Он направился к нему, и после того как старые знакомые немного поболтали о происшедших переменах, Штумм указал на окружавшую их толпу и сказал:

— Великолепная для меня возможность познакомиться с важнейшими штатскими проблемами мира!

— Тебя ждет много сюрпризов, генерал, — ответил Ульрих.

Генерал, искавший себе союзника, тепло пожал ему руку.

— Ты был лейтенантом в девятом уланском полку, — сказал он со значением, — и это будет для нас когда-нибудь большой честью, хотя другие еще не понимают это сейчас так, как я!

81
Граф Лейнсдорф высказывается о реалистической политике. Ульрих учреждает союзы

В то время как на Соборе не замечалось ни малейшего сдвига, во дворце графа Лейнсдорфа параллельная акция делала стремительные успехи. Туда сбегались нити реальности, и Ульрих появлялся там дважды в неделю.

Ничто так не удивляло его, как число имеющихся на свете союзов. Объявлялись союзы, связанные с землей, и союзы, связанные с водой, союзы трезвенников и союзы пьяниц, короче — союзы и антисоюзы. Эти союзы содействовали стараниям своих членов и противодействовали стараниям членов других союзов. Создавалось впечатление, что каждый человек состоит по меньшей мере в одном союзе.

— Ваше сиятельство, — удивленно сказал Ульрих, — это уже нельзя назвать по невинной привычке союзоманией; возникло чудовищное положение, когда по принципу высокоорганизованного государства, нами придуманному,

каждый человек принадлежит еще к какой-нибудь разбойничьей банде!..

Граф Лейнсдорф, однако, питал слабость к союзам.

— Учтите, — отвечал он, — что идеологическая политика еще никогда ни к чему хорошему не приводила; мы должны заниматься реалистической политикой. Скажу даже, что усматриваю известную опасность в слишком умственных устремлениях в кругу вашей кузины!

— Не дадите ли вы мне директив, ваше сиятельство? — попросил Ульрих.

Граф Лейнсдорф поглядел на него. Он думал, не слишком ли все-таки смело то, что ему хотелось сообщить, для этого неопытного и еще молодого человека. Но потом он решился.

— Да, видите ли, — начал он осторожно, — сейчас я вам что-то скажу, чего вы, может быть, еще не знаете, потому что вы молоды; реалистическая политика — это не делать именно того, что тебе хочется сделать; зато можно расположить к себе людей, выполняя их маленькие желания!

Его слушатель озадаченно вытаращил на него глаза. Граф Лейнсдорф польщенно улыбнулся.

— Так вот — пояснил он, — я только что сказал, что реалистическая политика не должна

отдавать себя во власть идеи, а должна руководствоваться практической потребностью. Прекрасные идеи рад был бы, конечно, осуществить каждый, это понятно само собой. Значит, именно то, что тебе хочется сделать, делать не надо. Это сказал уже Кант.

— В самом деле! — удивленно воскликнул, услыхав это, Ульрих. — Но цель-то все-таки надо иметь?!

— Цель? Бисмарк хотел видеть величие прусского короля; это была его цель. Он не знал с самого начала, что для этого он будет воевать с Австрией и Францией и станет основателем Германской империи.

— Вы, значит, хотите сказать, ваше сиятельство, что мы должны желать, чтобы Австрия была великой и могучей, и ничего больше?

— Времени у нас еще четыре года. За эти четыре года может произойти все, что угодно. Народ можно поставить на ноги, но идти должен он потом сам. Вы меня понимаете? Поставить на ноги — вот что мы должны сделать! А ноги народа — это его твердые установления, его партии, его союзы и так далее, а не разговоры.

— Ваше сиятельство! Это же, хотя звучит оно не совсем так, поистине демократическая мысль!

— Ну, аристократическая, может быть, тоже, хотя люди моего сословия не понимают меня. Старик Генненштейн и Тюркгейм-старший ответили мне, что из всего этого выйдет одно безобразие. Давайте, значит, действовать осторожно. Не станем замахиваться на большое. Будьте приветливы с людьми, которые к нам приходят.

Поэтому в последующие дни Ульрих никому не отказывал в приеме. Один посетитель долго рассказывал ему о собирании марок. Во-первых, оно сближает народы; во-вторых, удовлетворяет желание собственности и славы, каковое, нельзя отрицать, составляет основу общества; в-третьих, оно требует не только знаний, но прямо-таки художественных решений. Ульрих поглядел на просителя, вид у того был унылый и бедноватый; но он, казалось, уловил скрытый в этом взгляде вопрос, ибо возразил, что марки представляют собой и выгодный товар, этого нельзя недооценивать, тут бывают миллионные обороты; на большие филателистические биржи съезжаются торговцы и коллекционеры со всех концов земли. Можно разбогатеть. Но он лично идеалист; он завершает особую коллекцию, которая в настоящее время ни у кого интереса не вызывает. Он хочет только, чтобы в юбилейном году была открыта

большая выставка марок, где он уж постарался бы привлечь внимание к своей особой области!

Вслед за ним пришел другой и рассказал следующее. Когда он идет по улице, — но еще больше это волнует, когда едешь на трамвае, — он уже много лет считает линии, образующие большие латинские буквы на вывесках магазинов (А, например, состоит из трех, М — из четырех линий) и делит их число на количество букв. До сих пор средний результат все время был два с половиной; но цифра эта, конечно, отнюдь не обязательна, она может на каждой новой улице измениться. Поэтому отклонения от нее внушают большую тревогу, а совпадения с ней — большую радость, что походит на эффект очищения, приписываемый трагедии. Если же, с другой стороны, считать сами буквы, то, как Ульрих может убедиться, делимость на три — это редкая удача, отчего большинство надписей оставляет прямо-таки чувство неудовлетворенности, которое отчетливо замечаешь; исключением тут оказываются те, которые состоят из множественных, то есть четырехлинейпых букв, например WEM — они при всех обстоятельствах наполняют тебя совершенно особым счастьем. Что же из этого следует, спросил посетитель. Не что иное, как

необходимость, чтобы министерство здравоохранения издало предписание, которое поощряло бы при обозначении фирм выбор четырехлинейных букв и всячески препятствовало бы применению однолинейных, как O, S, I, C, ибо они навевают грусть своей бесплодностью!

Ульрих поглядел на этого посетителя, держась на некотором от него расстоянии; но тот, в сущности, не производил впечатления душевнобольного, это был явно принадлежащий к «порядочному обществу» человек лет тридцати с приветливым и смышленым выражением лица. Он спокойно объяснял дальше, что устный счет есть способность, необходимая в любой профессии, что облекать учение в форму игры требует современная педагогика, что статистика уже часто обнаруживала глубокие связи задолго до того, как появлялось их объяснение, что общеизвестен великий вред, приносимый книжным образованием, и что, наконец, великое волнение, в которое его опыты приводили всякого, кто решался их повторить, говорит само за себя. Если бы министерство здравоохранения воспользовалось его открытием, то этому примеру вскоре последовали бы другие государства, и юбилейный год мог бы стать благословением для человечества.

Всем таким людям Ульрих советовал:

— Учредите союз; времени у вас на это еще почти четыре года, и если вам это удастся, его сиятельство, конечно, употребит в вашу пользу все свое влияние!

Но у большинства уже имелся союз, и тогда дело обстояло иначе. Оно решалось относительно просто, если какой-нибудь футбольный клуб ходатайствовал, чтобы его правому крайнему присвоили звание профессора, засвидетельствовав тем самым важность новейшей физической культуры; ибо тут можно было все-таки пообещать содействие. Но дело оказывалось трудным в таких случаях, как нижеследующий, когда пришлось принять одного субъекта лет пятидесяти, представившегося обер-официалом некоей канцелярии; лоб его светился мученичеством, и он заявил, что, являясь основателем и председателем стенографического союза «Эль», позволит себе обратить внимание секретаря великой патриотической акции на одноименную систему скорописи.

Система скорописи «Эль», — сказал он, — изобретение австрийское, чем, пожалуй, в достаточной мере и объясняется тот факт, что она не получает распространения и поддержки. Он поз-

волит себе спросить господина секретаря, знает ли тот стенографию; господин секретарь отвечал отрицательно, и поэтому ему были объяснены духовные преимущества скорописи. Экономия времени, экономия умственной энергии; представляет ли он себе, какая масса умственных сил ежедневно тратится на все это финтифлюшки, длинноты, неточности, на сбивающие с толку повторения сходных элементов, на загромождения действительно что-то выражающих и значащих компонентов письма орнаментально-пустыми и произвольными, чисто личными?.. К своему изумлению, Ульрих познакомился с человеком, который преследовал невинное, казалось бы, обыденное письмо с лютой ненавистью. С точки зрения экономии умственного труда скоропись была вопросом жизни развивающегося под знаком спешки человечества. Но и с точки зрения нравственности вопрос «краткость или долгота» оказывался решающим. По-ослиному длинноухое письмо, как его, пользуясь горьким выражением обер-официала, справедливо можно назвать за бессмысленные завитки, склоняет к неточности, произволу, расточительности и безалаберному времяпрепровождению, тогда как скоропись — это школа точности, сильной

воли и мужественности. Скоропись учит делать то, что необходимо, и не заниматься ненужным, никчемным. Не думает ли господин секретарь, что в этом есть какая-то практическая мораль, имеющая величайшее значение, особенно для австрийца? Но к проблеме этой можно подойти и с эстетической стороны. Разве растянутость не по праву считается безобразной? Разве не объявляли уже великие классики выражение наибольшей целесообразности существенным компонентом прекрасного? Но и с точки зрения социальной гигиены, продолжал обер-официал, чрезвычайно важно сократить время согбенного сидения за письменными столами. Только после того как проблема скорописи была, к изумлению Ульриха, разобрана в этой же манере и со стороны других наук, его посетитель стал объяснять ему бесконечное превосходство системы «Эль» над всеми другими системами. Он показал ему, что со всех изложенных точек зрения всякая другая стенографическая система — это надругательство над идеей скорописи. А затем он развернул перед ним историю своих страданий. Существовали более старые, более могущественные системы, успевшие уже связать себя со всевозможными материальными интересами. Коммерческие

училища преподавали систему Фогельбауха и оказывали сопротивление любому новшеству, в чем к ним, по закону косности, конечно, присоединялось купечество. Газеты, которые на объявлениях коммерческих училищ зарабатывают, понятно, кучу денег, глухи к каким бы то ни было предложениям реформаторского характера. А министерство просвещения? Это просто издевательство! — сказал господин Эль. Пять лет назад, когда постановили ввести в средней школе обязательное преподавание стенографии, была создана комиссия по определению рекомендуемой системы, и, конечно, в комиссии этой оказались представители коммерческих училищ, купечества, парламентских стенографов, которые неразрывно связаны с газетными репортерами, и больше никто! Ясно, что принята будет система Фогельбауха. Стенографический союз «Эль» предостерегал от этого преступного обращения с национальным богатством и выражал протест! Но представителей союза даже не принимают уже в министерстве!

О таких делах Ульрих докладывал его сиятельству.

— Эль? — спросил граф Лейнсдорф. — И он чиновник? — Его сиятельство долго тер себе нос, но

ни к какому решению не пришел. — Может быть, вам следовало бы поговорить с надворным советником, которому он подчинен, — не водится ли за ним… — сказал он через некоторое время, но, находясь в творческом настроении, отменил это указание. — Нет, вот что, давайте-ка лучше составим акт. Пускай они выскажутся! — И он добавил несколько доверительных фраз, чтобы Ульрих понял ход его мысли. — Ведь во всех этих делах никогда неизвестно, — сказал он, — не вздор ли это. Но знаете, доктор, что-то важное возникает обычно как раз тогда, когда чему-то придаешь важность! Я снова убеждаюсь в этом на примере доктора Арнгейма, за которым гоняются газеты. Газеты могли бы ведь заняться и чем-нибудь другим. Но коль скоро они гоняются за доктором Арнгеймом, доктор Арнгейм становится важен. Вы говорите, у Эля есть союз? Это, конечно, тоже ничего не доказывает. Но с другой стороны, как известно, надо идти в ногу со временем; и если много людей выступает за что-то, то можно с довольно большой уверенностью сказать, что из этого что-то выйдет!

82
Кларисса требует года Ульриха

Ее друг отправился к ней, разумеется, не по какой-либо иной причине, а лишь потому, что должен был хорошенько отчитать ее за письмо, написанное ею графу Лейнсдорфу; когда она недавно была у него, он начисто об этом забыл. Тем не менее на пути к ней ему подумалось, что Вальтер наверняка ревнует к нему Клариссу и этот визит встревожит Вальтера, как только он узнает о нем; но Вальтер просто не мог ничего против этого предпринять, и такое положение, в котором находится большинство мужей, было, в сущности, довольно смешным: только после службы у них есть время, если они ревнивы, охранять своих жен.

Время суток, когда Ульрих решил поехать туда, было такое, что он вряд ли застал бы Вальтера дома. Это было чуть за полдень. Он предупредил, что приедет, по телефону. На окнах, казалось, не было занавесок — так била сквозь стекла белизна снегов. В этом беспощадном свете, окружавшем каждый предмет, стояла Кларисса и, смеясь, гля-

дела из середины комнаты на своего друга. Со стороны окна легкая выпуклость ее узкого тела светилась яркими красками, а теневая сторона была синевато-коричневым туманом, из которого лоб, нос и подбородок выступали как сглаженный ветром и солнцем гребень сугроба. Она меньше походила на человека, чем на встречу льда и света в призрачной пустынности высокогорной зимы. Ульрих понял, как должна была она очаровывать Вальтера в иные минуты, и на короткое время его смешанные чувства к другу юности сменились способностью вглядеться в зрелище, являемое друг другу двумя людьми, чьей жизни он все-таки, возможно, не представлял себе.

— Не знаю, рассказывала ли ты Вальтеру о своем письме графу Лейнсдорфу, — начал он, — но я пришел поговорить с тобой наедине и предостеречь тебя от таких поступков на будущее.

Кларисса сдвинула два стула и заставила его сесть.

— Не говори об этом с Вальтером, — попросила она, — но скажи мне, какие у тебя возражения. Ты ведь имеешь в виду год Ницше? Что сказал твой граф по этому поводу?

— А что он, по-твоему, мог сказать?! Связь, в которую ты поставила это с Моосбругером, была

ведь чистейшим безумием. Да он и без того отбросил бы, наверное, твое письмо.

— Вот как? — Кларисса была очень разочарована. Затем она заявила: — Но, к счастью, слово и за тобой!

— Я уже сказал тебе, что ты просто сумасшедшая.

Кларисса улыбнулась и приняла это как лесть. Положив ладонь на предплечье Ульриха, она спросила:

— Австрийский год — это же, по-твоему, чепуха?

— Конечно.

— А год Ницше мог бы быть недурен; так почему же нельзя хотеть чего-то только потому, что это и по нашему разумению недурно?!

— Как, собственно, ты представляешь себе год Ницше? — спросил он.

— Это твое дело!

— Ты смешная!

— Нисколько. Скажи, почему тебе кажется это смешным — осуществить то, что умом принимаешь всерьез?!

— Изволь, — ответил Ульрих, освобождаясь от ее руки. — Это ведь не должен быть непременно Ницше, речь могла бы идти также о Христе или

о Будде.

— Или о тебе. Возьми да придумай год Ульриха!

Она сказала это с таким же спокойствием, с каким призвала его освободить Моосбругера. Но на сей раз он не был рассеян, а глядел ей в лицо, слушая ее. На лице этом была только обычная улыбка Клариссы, всегда против ее воли проступавшая как веселая, выдавленная напряжением гримаска.

«Что ж, прекрасно, — подумал он, — она не хочет сказать ничего обидного».

Но Кларисса приблизилась к нему снова.

— Почему ты не устраиваешь года Себя Самого? Ведь сейчас это, наверно, в твоей власти. Пожалуйста, повторяю, ничего не рассказывай Вальтеру, ни об этом, ни о письме насчет Моосбругера. И вообще что я об этих вещах с тобой говорю! Но поверь мне, этот убийца музыкален; он только не может сочинять музыку. Ты еще не замечал, что каждый человек находится в центре небесной сферы? Когда он уходит со своего места, она идет с ним. Так надо делать музыку — без участия совести, просто как будто это небесная сфера, что над тобой.

— И что-то подобное мне следовало бы, по-тво-

ему, придумать в виде моего года?

— Нет, — ответила Кларисса на всякий случай. Ее узкие губы хотели что-то сказать, но промолчали, и пламя безмолвно вышмыгнуло из глаз. Нельзя было определить, что от нее исходило в такие. мгновения. Оно обжигало, как если бы ты подошел слишком близко к чему-то раскаленному. Теперь она улыбалась, но улыбка вилась у нее на губах, как оставшийся пепел, когда потухло вспорхнувшее в ее глазах.

— Но как раз что-нибудь такое я, на худой конец, мог бы еще придумать, — повторил Ульрих. — Только боюсь, что, по-твоему, я должен совершить государственный переворот?!

Кларисса подумала.

— Ну, скажем, год Будды, — предложила она, не отвечая на его возражение. — Я не знаю, чего требовал Будда; знаю лишь так, в общих чертах; но возьмем это просто предположительно, и если это найдут важным, то, значит, и надо бы это осуществить! Ведь всякая вещь либо заслуживает того, чтобы в нее верили, либо нет.

— Прекрасно, но вот смотри, ты сказала: год Ницше. Но чего же, собственно, требовал Ницше?

Кларисса подумала.

— Ну, конечно, я не имею в виду памятник Ницше или улицу Ницше, сказала она смущенно. — Но надо бы научить людей жить так, как…

— Как он того требовал?! — прервал ее Ульрих. — Но чего он требовал?

Кларисса попыталась ответить, подождала, наконец возразила:

— Ну, ты же сам знаешь…

— Ничего я не знаю, — поддразаил он ее. — Но скажу тебе одно. Можно осуществить требования супораздаточной столовой имени юбилея императора Франца-Иосифа или требования союза защиты владельцев домашних кошек, но осуществить хорошие мысли так же нельзя, как музыку. Что это означает? Не знаю. Но это так.

Он наконец нашел себе место на маленьком диване, позади столика; это место было удобнее для сопротивления, чем место на стульчике. В пустой середине комнаты, как бы на другом берегу продлевавшего доску стола марева, все еще стояла Кларисса и говорила. Ее узкое тело тихо говорило и думало вместе с ней; все, в сущности, что она хотела сказать, она ощущала сперва всем своим телом и постоянно испытывала потребность что-то с ним сделать. Ее друг всегда считал ее тело твердым и мальчишеским, но сейчас, ко-

гда она мягко покачивалась на сомкнутых ногах, Кларисса вдруг представилась ему яванской танцовщицей. И он вдруг подумал, что не удивился бы, если бы она впала в транс. Или он сам был в трансе? Он произнес длинную речь.

— Ты хочешь жить по своей идее, — начал он, — и хочешь знать, как это сделать. Но идея — это самая парадоксальная вещь на свете. Плоть соединяется с идеями, как фетиш. Она становится волшебной, если в ней участвует идея. Простая пощечина может из-за идеи чести, кары и тому подобного стать смертельной. И все же идеи никогда не могут сохраниться в том состоянии, в котором они всего сильнее; они подобны веществам, тотчас же принимающим на воздухе другую, более прочную, но испорченную форму. Это часто бывало и с тобой. Ведь идея — это ты, в определенном состоянии. На тебя что-то дохнуло; словно вдруг из рокота струн родилась нота; что-то встало перед тобой, как марево; из сумятицы твоей души образовалась какая-то бесконечная вереница, и все красоты мира, кажется, лежат на ее пути. Такое действие часто оказывает одна-единственная идея. Но через некоторое время она делается похожей на все другие идеи, которые у тебя уже были, она подчиняется им, она стано-

вится частью твоих взглядов и твоего характера, твоих принципов или твоих настроений, она теряет крылья и приобретает нетаинственную прочность.

Кларисса ответила:

— Вальтер относится к тебе ревниво. Вовсе не из-за меня. А потому, что у тебя такой вид, словно ты можешь сделать то, что ему хотелось бы сделать. Понимаешь? В тебе есть что-то такое, что отнимает у него его самого. Не знаю, как это выразить.

Она испытующе посмотрела на него.

Обе эти речи сплелись.

Вальтер всегда был нежным любимчиком жизни, он сидел у нее на коленях. Что бы с ним ни случалось, он превращал это в нежную оживленность. Вальтер всегда был тем, кто испытывал больше. «Но способность испытывать больше есть один из самых ранних и самых тонких признаков посредственности, — думал Ульрих. — Связи отнимают у того, что ты испытываешь, личную горечь или сладость!» Так примерно обстояло дело… И сама эта убежденность, что обстоит оно так, была связью, и за это тебя не целовали и не порывали с тобой. И все-таки Вальтер относился к нему ревниво? Это его обрадовало.

— Я сказала ему, что он должен тебя умертвить, — сообщила Кларисса.

— Что?

— «Убить», — сказала я. Если ты не так замечателен, как воображаешь, или если он лучше тебя и успокоиться может лишь таким способом, то это же совершенно верная мысль? А кроме того, ты ведь можешь защищаться.

— Ничего себе!.. — ответил неуверенно Ульрих.

— Ну, мы ведь только так, к слову. Кстати, а ты что скажешь? Вальтер говорит, что о таком и думать нельзя.

— Отчего же? Думать — пожалуйста, — ответил он, помедлив, и внимательно поглядел на Клариссу. В ней было странное очарование. Можно сказать, что она как бы стояла рядом с собой. Она отсутствовала и присутствовала, одно было совсем рядом с другим.

— Ах, думать, велика важность! — прервала она его. Она говорила в сторону стены, перед которой он сидел, как если бы взгляд ее был устремлен в какую-то промежуточную между ними точку. — Ты так же пассивен, как Вальтер! — Эта фраза тоже упала в промежуток; она, как оскорбление, устанавливала дистанцию и все же примиряла

предположением какой-то доверительной близости. А я говорю: если можешь что-то подумать, то уж смоги это и сделать, повторила она сухо.

Затем она покинула свое место, подошла к окну и заложила руки за спину. Ульрих быстро встал, пошел за ней и обнял ее за плечи.

— Кларисса, маленькая, ты вела себя сейчас довольно странно. Но я должен замолвить за себя слово; тебе ведь, в сущности, нет до меня никакого дела, по-моему, — сказал он.

Кларисса глядела в окно. Но теперь пристально; она уставилась взглядом во что-то снаружи, чтобы держаться за это. У нее было впечатление, что ее мысли побывали где-то вне ее, а теперь вернулись назад. Это ощущение своего сходства с комнатой, где еще чувствуется, что дверь захлопнули только что, не было для нее новым. Случались у нее порой дни и недели, когда все, что ее окружало, было светлее и легче, чем обычно, так, словно не составляло особой трудности проскользнуть туда и погулять вне себя самой по миру; а затем, бывало, опять наступали тяжелые времена, в которые она чувствовала себя узницей, они, правда, обычно длились недолго, но она боялась их как кары, потому что тогда все делалось тесным и грустным. И сейчас, в этот миг,

отличавшийся ясным, трезвым спокойствием, в ней жила неуверенность; она уже толком не знала, чего еще только что хотела, а такая свинцовая ясность и спокойное с виду самообладание часто предваряли собой время кары. Кларисса напряглась с таким чувством, что она спасет себя самое, если сумеет убедительно продолжить этот разговор.

— Не называй меня маленькой, — надулась она, — а то я в конце концов сама тебя убью!

Это прозвучало у нее теперь чистой шуткой; значит, получилось как нужно. Она осторожно повернула голову, чтобы взглянуть на него.

— Я, конечно, просто выразилась так, — продолжала она, — но пойми, что я что-то имею в виду. На чем мы остановились? Ты сказал, что нельзя жить по идее. У вас нет настоящей энергии, ни у тебя, ни у Вальтера!

— Ты меня ужасно назвала — пассивистом. Но есть две разновидности: пассивная пассивность, вальтеровская, и активная!

— Что это такое — активная пассивность? — спросила Кларисса с любопытством.

— Это когда пленник ждет случая вырваться на волю.

— Фи! — сказала Кларисса. — Увертки!

— Ну да, — уступил он, — наверно.

Кларисса все еще держала руки за спиной и стояла, расставив ноги, словно была в ботфортах.

— Знаешь, что говорит Ницше? Хотеть знать наверняка — такая же трусость, как хотеть действовать без всякого риска. Где-то надо начать делать свое дело, нельзя только говорить о нем! Как раз от тебя я ожидала, что ты когда-нибудь совершишь что-то особое!

Она вдруг нащупала пуговицу на его жилете и стала вертеть ее с поднятым к нему лицом. Он непроизвольно положил руку на ее руку, чтобы защитить свою пуговицу.

— Я долго думала об одной вещи, — продолжала она нерешительно, величайшая подлость возникает сегодня не оттого, что ее делают, а оттого, что ее позволяют делать. Она разрастается в пустоте. — Кларисса поглядела на него после этого достижения. Затем горячо продолжила: — Позволять делать в десять раз опасней, чем делать. Ты понимаешь меня? — Она боролась с собой, не зная, не описать ли ей это еще точнее. Но прибавила: — Ведь ты же прекрасно понимаешь меня, мой милый? Ты, правда, говоришь всегда, что пускай себе все идет как идет. Но я-то уж знаю, что ты имеешь в виду. Я уже иногда

думала, что ты дьявол!

Эта фраза опять соскочила с языка Клариссы, как белка. Она испугалась. Ведь сначала она думала только о просьбах Вальтера по поводу ребенка. Ее друг заметил дрожь в ее глазах, глядевших на него жадно. Но ее поднятое к нему лицо было чем-то залито. Не чем-то красивым, а скорее чем-то безобразно-трогательным. Словно обильный пот расплылся по лицу. Но залито не физически, а только в воображении. Он почувствовал себя зараженным вопреки своей воле и во власти какой-то легкой бездумности. Не в силах больше по-настоящему сопротивляться этим сумасбродным речам, он схватил в конце концов Клариссу за руку, посадил ее на диван и сел рядом с ней.

— Теперь, значит, я расскажу тебе, почему я ничего не делаю, — начал он и умолк.

Кларисса, которая в момент этого прикосновения снова вернулась в свое обычное состояние, поощрила его намерение.

— Можно ничего не делать, потому что… Но ты ведь этого не поймешь…. — заговорил он, но достал папиросу и занялся закуриванием.

— Ну? — помогла Кларисса. — Что ты хочешь сказать?

Но он продолжал молчать. Тогда она закинула руку ему за спину и тряхнула его как мальчик, показывающий свою силу. Мило в ней было то, что не надо было решительно ничего говорить, достаточно было только жеста экстраординарности, и ее воображение уже работало.

— Ты великий преступник! — воскликнула она и безуспешно попыталась причинить ему боль.

Однако в эту минуту их разговор неприятно прервало возвращение Вальтера.

83
Происходит все то же, или Почему не придумывают историю?

Что мог бы, собственно, Ульрих сказать Клариссе?

Он промолчал, потому что она вызывала в нем странное желание произнести слове «бог». Сказать он хотел примерно так; бог понимает мир совсем не буквально; мир — его образ, аналогия, выражение, которыми он по каким-то причинам вынужден пользоваться, а этого, конечно, всегда недостаточно; мы не должны ловить его на слове, а должны сама доискиваться до решения, которое он нам задает. Он спросил себя, согласилась ли

бы Кларисса смотреть на это как на игру в индейцев или в разбойников. Наверняка согласилась бы. Если бы кто-нибудь сделал первый шаг, она прижалась бы к нему, как волчица, и глядела бы во все глаза.

Но на языке у него вертелось еще что-то; что-то о математических задачах, не допускающих общего решения, но допускающих разные частные решения, через совокупность которых можно приблизиться к решению общему. Он мог бы прибавить, что задачу человеческой жизни он считал такой задачей. То, что называют эпохой, — не зная, надо ли понимать под этим столетия, тысячелетия или, отрезок между школой и внуком, — этот широкий, беспорядочный поток состояний представлял бы тогда собою примерно то же, что хаотическая череда неудовлетворительных и неверных, если брать их в отдельности, попыток решения, из которых лишь при условии, что человечество ухитрится их обобщить, могло бы возникнуть верное и всеохватывающее решение. Вспомнил он об этом в трамвае, по дороге домой; несколько человек ехали с ним в сторону города, и он немного стыдился таких мыслей перед этими людьми. По ним было видно, что они возвращались после определенных занятий или

устремлялись к определенным развлечениям, даже по их одежде уже видно было, что осталось у них позади и что предстояло им. Он стал разглядывать свою соседку; она была, несомненно, женой, матерью, лет сорока, весьма вероятно — супругой какого-нибудь университетского служащего, на коленях у нее лежал маленький театральный бинокль. Из-за своих мыслей он казался себе рядом с нею играющим мальчиком; даже не совсем пристойно играющим.

Ведь мысль, не имеющая практической цели, — это, пожалуй, не очень пристойное тайное занятие; а уж мысли, ходящие как на ходулях и лишь краешком пятки прикасающиеся к опыту, заподозрить в непорядочном происхождении ничего не стоит. Прежде говорили, бывало, о полете мысли, и во времена Шиллера человек с такими смелыми вопросами в груди пользовался бы очень большим уважением; сегодня, напротив, кажется, что с ним что-то не в порядке, если это случайно не его как раз профессия и его источник дохода. За дело взялись явно иначе. Определенные вопросы забрали у человека из сердца. Для мыслей высокого полета создали своего рода птицеферму, именуемую философией, богословием или литературой, и там они на свой лад все

необозримее размножаются, и это очень удобно, ибо при таком их распространении никому уже не нужно упрекать себя за то, что сам он не может о них заботиться. Уважая профессионализм и специализацию, Ульрих, в сущности, ничего не имел против такого распределения обязанностей. Но он все-таки позволял себе думать самостоятельно, хотя и не был профессиональным философом, и сейчас ему рисовалось, что это поведет к государству пчелиного типа. Матка будет класть яйца, трутни вести жизнь, посвященную наслаждению физическому и умственному, а специалисты — работать. Такое человечество тоже мыслимо; общая производительность, пожалуй, даже поднялась бы. Сейчас в каждом человеке есть еще, так сказать, и все человечество, но это явно уже чрезмерно и совершенно себя не оправдывает; в результате человечность стала почти сплошным обманом. Для успеха было бы, вероятно, важно принять при таком разделении труда новые меры к тому, чтобы в какой-то особой рабочей группе достигался и духовный синтез. Ибо без участия духа… Ульрих хотел сказать, что это его не радовало бы. Но, конечно, это был предрассудок. Ведь неизвестно, что важно. Он переменил позу и стал разглядывать свое лицо в стекле напротив его

сиденья, чтобы отвлечься. Но вскоре голова его на диво настойчиво поплыла в жидком стекле между внутренностью вагона и улицей, требуя какого-то дополнения.

Шла, собственно. Балканская война или нет? Какая-то интервенция, конечно, имела место; но была ли это война, он точно не знал. Столько вещей волновало человечество. Опять был побит рекорд высоты полета — как не гордиться. Если Ульрих не ошибался, он составлял теперь 3700 метров, а фамилия авиатора была Жуу. Боксер-негр побил белого чемпиона и завоевал мировое первенство; Джонсон была его фамилия. Президент Франции поехал в Россию; говорили об угрозе миру во всем мире. Новооткрытый тенор зарабатывал в Южной Америке деньги, каких даже в Северной Америке еще не знали. Ужасное землетрясение случилось в Японии — бедные японцы. Одним словом, происходило многое, это было бурное время — конец 1913 и начало 1914 года. Но и за два года или за пять лет до того время тоже было бурное, каждый день приносил свои волнения, а что, собственно, происходило тогда, помнилось уже плохо или вовсе забылось. Это можно было сократить. Новое лекарство от люэса произвело… В исследовании обмена

веществ у растений были… Покорение Южного полюса казалось… Опыты Штейнаха вызвали… Таким способом вполне можно было опустить половину определенности, это мало что значило. Какая все-таки странная штука история! О том или ином событии можно было с уверенностью утверждать, что оно уже нашло в ней свое место или еще безусловно найдет, но в том, что это событие вообще имело место, вообще состоялось, никакой уверенности не было. Ведь чтобы что-то состоялось, оно должно состояться еще и в каком-то определенном году, а не в каком-то другом или совсем никогда; и еще нужно, чтобы состоялось оно само, а не в общем что-то похожее или в том же роде. Но именно этого никто не может утверждать об истории, разве что у него все записано, как в газете, или речь идет о делах профессиональных или имущественных: ведь через сколько лет поручишь право на пенсию или накопишь или истратишь определенную сумму, это, конечно, важно, и в такой связи войны тоже могут стать достопамятными. Она выглядит ненадежной и кочковатой, наша история, если смотреть на нее с близкого расстояния, как лишь наполовину утрамбованная топь, а потом, как ни странно, оказывается, что по ней проходит

дорога, та самая «дорога истории», о которой никто не знает, откуда она взялась. Эта обязанность служить материалом для истории возмущала Ульриха. Светящаяся, качающаяся коробка, в которой он ехал, казалась ему машиной, где протряхивают по нескольку сот килограммов людей, чтобы сделать из них будущее. Сто лет назад они с похожими на эти лицами сидели в какой-нибудь почтовой карете, и бог знает что случится с ними через сто лет, но и новыми людьми в новых аппаратах будущего они будут сидеть в точности так же, — почувствовал он и возмутился этим беззащитным приятием изменений и состояний, беспомощным современничеством, безалаберно-покорным, недостойным, в сущности, человека мотанием от столетия к столетию; это было так, словно он вдруг восстал против шляпы какого-то странного фасона, напяленной ему на голову, Он непроизвольно поднялся и прошел пешком остаток пути. В том большем людском резервуаре, каким был город и где он оказался, его подавленность сменилась хорошим настроением. Сумасшедшая мысль осенила маленькую Клариссу — устроить духовный год. Он сосредоточился на этом пункте. Почему это было так нелепо? Впрочем, с таким же основанием можно

было спросить, почему нелепа отечественная акция Диотимы.

Ответ номер один. Потому что мировая история возникает, несомненно, так же, как все другие истории. Ничего нового авторам в голову не приходит, и они списывают друг у друга. Это причина, по которой все политические деятели изучают историю, а не биологию или что-нибудь подобное. Так обстоит дело с авторами.

Номер два. По большей части, однако, история возникает без авторов. Возникает она не из какого-то центра, а с периферии. Из маленьких стимулов. Наверно, совсем не так трудно, как думают, сделать из человека готики или античной Греции современного цивилизованного человека. Ибо человеческое существо одинаково способно на людоедство и на критику чистого разума; с одинаковыми убеждениями и свойствами оно может, если этому благоприятствуют обстоятельства, совершать то и другое, и очень большим внешним различиям соответствуют тут очень маленькие внутренние.

Отступление номер один. Ульрих вспомнил одно свое аналогичное впечатление времен военной службы. Эскадрон скачет в две шеренги, и отрабатывается команда «передать приказ»,

при которой приказ тихим голосом передается от конника к коннику; если впереди прикажут: «Вахмистру возглавить строй», то сзади выходит «Восьмерых расстрелять» или что-нибудь подобное. Таким же образом возникает мировая история.

Ответ номер три: если бы поэтому какое-нибудь поколение нынешних европейцев в самом раннем детстве перенесли в Египет пятитысячного года до Р. Х. и там оставили, то мировая история снова началась бы пятитысячным годом, сперва некоторое время повторялась бы, а потом по причинам, никому на свете не ведомым, постепенно начала бы отклоняться от курса.

Отступление второе: закон мировой истории, подумалось ему при этом, не что иное, как государственный принцип старой Какании — «тянуть дальше ту же волынку». Какания была необычайно умным государством.

Отступление третье или ответ номер четыре? Путь истории не похож, значит, на путь бильярдного шара, который, получив удар, катится в определенном направлении, а похож на путь облаков, на путь человека, слоняющегося по улицам, отвлекаемого то какой-нибудь тенью, то группой людей, то странно изломанной линией

домов и в конце концов оказывающегося в таком месте, которого он вовсе не знал и достичь не хотел. Мировая история идет своим путем, непременно как бы сбиваясь с пути. Настоящее всегда как последний дом в городе, как-то уже не совсем принадлежащий к городским домам. Каждое поколение удивленно спрашивает: кто я и кем были мои предшественники? Лучше бы оно спрашивало: где я, предполагая, что его предшественники были не какими-то другими, а только где-то в другом месте; это уже что-то дало бы, подумал он.

Он сам так нумеровал до сих пор свои ответы и отступления, заглядывая то в проплывавшее мимо лицо, то в витрину магазина, чтобы не дать мыслям совсем убежать от себя; и все-таки он при этом чуть-чуть заблудился и должен был на минуту остановиться, чтобы понять, где он находится, и найти кратчайший путь домой. Прежде чем свернуть на него, он постарался еще раз уточнить свой вопрос. Значит, маленькая сумасшедшая Кларисса совершенно права, историю следует делать, ее надо придумывать, хотя в споре с Клариссой он это отрицал; но почему так не поступают? В эту минуту ему в ответ не пришло на ум ничего, кроме директора Фишеля

из Ллойдбанка, его друга Лео Фишеля, с которым он в прежние годы сиживал, бывало, летом на террасах кафе; тот в эту минуту, если бы Ульрих разговаривал с ним, а не с самим собой, ответил бы: «Мне бы ваши заботы!» Ульрих был благодарен ему за этот освежающий ответ, который он дал бы. «Милый Фишель, — тотчас ответил он ему мысленно, — это не так просто. Я говорю „история“, но имею в виду, если вы помните, нашу жизнь. И ведь я же с самого начала признал, что это будет очень неприлично, если я спрошу: почему человек не делает историю, то есть почему он атакует ее только как животное, когда он ранен, когда уж допечет, почему, словом, он делает историю только в случае крайней необходимости? Так вот, почему это звучит неприлично? Какие у нас против этого возражения, хотя это только и значит, что человеку не следует пускать человеческую жизнь на самотек?» «Известно же, — отпарировал бы директор Фишель, — как это получается. Радоваться надо, если политики, духовенство и важные шишки, которым делать нечего, и все прочие, кто носится с какой-нибудь навязчивой идеей, не вмешиваются в обыденную жизнь. А кроме того, существует образование. Если бы только так много людей не вело себя

сегодня так невежественно!» И директор Фишель, конечно, прав. Радоваться надо, если ты достаточно хорошо разбираешься в ссудах и векселях, а другие не очень-то занимаются историей, на том основании, что, мол, разбираются в ней. Нельзя, боже упаси, жить без идей, но самое правильное — это известное равновесие между ними, некий balance of power, вооруженный мир между идеями, когда ни одна сторона особенно не развернется. У него успокоительным средством было образование. Это главное чувство цивилизации. И все-таки, что ни говори, существует и становится все живее противоположное чувство — что эпоха героическо-политической истории, творимой случаем и его рыцарями, отчасти отжила свое и должна быть заменена планомерным решением проблем, в котором участвуют все, кого это касается.

Но тут год Ульриха кончился тем, что Ульрих оказался у себя дома.

84

Утверждение, что и обыкновенная жизнь по природе своей утопична

Там он застал обычную кипу корреспонденции, присылаемой ему графом Лейнсдорфом. Один промышленник предлагал установить премию необычайно большого размера за выдающиеся достижения в военном воспитании гражданской молодежи. Архиепископское епархиальное управление высказывалось по поводу предложения о крупном пожертвовании на сиротские дома, заявляя, что вынуждено возражать против какого бы то ни было смешения вероисповеданий. Комитет по делам культов и просвещения докладывал об успехе окончательно объявленного предварительного предложения насчет большого памятника императору-миротворцу и народам Австрии вблизи резиденции; после запроса в и. к. министерстве культов и просвещения и опроса ведущих ассоциаций художников, а также объединений инженеров и архитекторов выявились такие расхождения во мнениях, что комитет вынужден был, не в ущерб требованиям, которые определятся впредь, и с согласия главного комитета объявить конкурс на лучшую идею конкурса в связи с возможностью воздвижения

памятника. Канцелярия двора возвращала по ознакомлении главному комитету поступившие для ознакомления три недели назад предложения, уведомляя, что в данный момент не может сообщить высочайшего волеизъявления по этим вопросам, но считает желательным, чтобы и по этим вопросам общественное мнение сначала сложилось непроизвольно. К. к. министерство культов и просвещения отвечало на запрос комитета за номером таким-то, что не может высказаться за оказание особой поддержки стенографическому союзу «Эль»; социально-гигиенический союз «Линейная буква» оповещал о том, что он основан, и ходатайствовал о денежном вспомоществовании.

И в таком духе было все прочее. Ульрих оттолкнул эту пачку реального мира и задумался. Вдруг он встал, велел подать ему шляпу и трость и сказал, что вернется домой через час-полтора. Он подозвал такси и поехал назад к Клариссе.

Стемнело, дом только из одного окна бросал на улицу немного света, следы в снегу схватило морозом, и они превратились в ямы, где легко было споткнуться, наружная дверь была заперта, никого не ждали, и поэтому на крики, стук, хлопанье в ладоши долго не отзывались. Когда

Ульрих вошел наконец в комнату, казалось, что это не та комната, которую он только недавно покинул, а чужой, удивленный мир с незатейливо накрытым на двоих столом, стульями, на каждом из которых что-то лежало, устроившись по-домашиему, и стенами, которые открывались непрошеному пришельцу с известным сопротивлением.

Кларисса, одетая в простой шерстяной халат, засмеялась. Вальтер, впустивший позднего гостя, зажмурился на свету и положил большой ключ от дома в ящик стола. Ульрих сказал без обиняков:

— Я вернулся, потому что за мной остался ответ, которого я еще не дал Клариссе.

Затем он начал с середины, с того места, где их беседа была прервана приходом Вальтера. Вскоре исчезли комната, дом, чувство времени, и разговор повис где-то над синим пространством в сети звезд. Ульрих развивал программу жизни историей идей, а не мировой историей. Разница, предварял он, заключается тут не столько в том, что происходит, сколько прежде всего в значении, которое этому придают, в намерении, которое с этим связывают, в системе, которая охватывает отдельное событие. Ныне действующая система — это система реальности,

и похожа она на плохой спектакль. Недаром говорят: «Театр мировых событий», ведь в жизни всегда возникают одни и те же роли, интриги и фабулы. Люди любят потому, что существует любовь, и любят так, как того захочет любовь; люди бывают горды, как индейцы, как испанцы, как девственницы или как лев; даже убивают люди в девяноста случаях из ста только потому, что это считается трагичным и великолепным. Удачливые политические творцы реальности, за исключением совсем уж великих, чрезвычайно схожи с авторами кассовых пьес; бурные события, ими учиняемые, нагоняют скуку отсутствием в них духовности и новизны, но именно этим-то и приводят нас в то пассивно-сонное состояние, когда мы миримся с любой переменой. С такой точки зрения, история возникает из рутинных идей и из материала идейно индифферентного, а реальность возникает главным образом из того, что ради идей ничего не делается. Коротко, утверждал он, это «можно выразить так: нам слишком неважно то, что происходит, и слишком важно, с кем, где и когда это происходит, и, стало быть, важны нам не дух событий, а их фабула, не открытие какого-то нового содержания жизни… а распределение уже имеющегося, а это и впрямь

точно соответствует разнице между хорошими пьесами и пьесами, просто делающими полные сборы. Но из этого вытекает, что надо, наоборот, прежде всего отказаться от подхода к событиям с позиции личной корысти. Надо рассматривать их, значит, не столько как нечто личное и реальное, сколько как нечто общее и отвлеченное, или, иначе говоря, с такой личной свободой, как если бы они были написаны кистью или пропеты. Не к себе надо их поворачивать, а вверх и наружу. И если это верная линия личного поведения, то, кроме того, надо и коллективно предпринять что-то, чего Ульрих не мог толком описать и что он назвал неким выжиманием из гроздьев, заготавливанием впрок и сгущением духовного сока, необходимым для того, чтобы отдельный человек не чувствовал себя бессильным и предоставленным собственному разумению. И говоря так, он вспомнил ту минуту, когда сказал Диотиме, что надо отменить реальность.

Чуть ли не само собой было ясно, что Вальтер первым делом объявил все это совершенно банальным утверждением. Как будто весь мир, литература, искусство, наука, религия, и так не «выжимает» и не «заготавливает»! Как будто какой-нибудь образованный человек оспаривает

ценность идей или не чтит ума, красоты и доброты! Как будто всякое воспитание не есть введение в какую-то духовную систему!

Ульрих для ясности заметил, что воспитание есть лишь введение в то, что в данный момент налицо и господствует, возникнув по случайному стечению обстоятельств, и, значит, чтобы обрести духовность, надо прежде всего быть убежденным, что у тебя ее еще нет! Он назвал это совершенной открытой, по большому счету экспериментальной, нравственной и творческой позицией.

Теперь Вальтер объявил это утверждение невозможным.

— Как пикантно у тебя все получается, — сказал он, — можно подумать, что нам вообще вольно выбирать — жить идеями или жить своей жизнью! Но, может быть, ты вспомнишь цитату «Я человек, а не ученый труд, противоречия во мне живут»?[24] Почему ты не идешь еще дальше? Почему не требуешь, чтобы ради своих идей мы отменили уж и собственное брюхо? А я отвечу тебе: «Человек из подлой персти создан»! То, что мы протягиваем и прижимаем к себе руку, не знаем,

[24] Примечания: 24

Цитата из стихотворения швейцарского поэта К.-Ф. Мейера (1825–1898).

повернуть нам направо или налево, что состоим из привычек, предрассудков и праха и все-таки по мере сил идем своей дорогое — это-то как раз и гуманно! Стоит лишь то, что ты говоришь, слегка примерить к реальности, как оно оказывается в лучшем случае литературой!

Ульрих уступил:

— Если ты позволишь мне понимать под этим и все другие искусства, всяческие учения, религии и так далее, то я готов утверждать что-то подобное тому, что паша жизнь состоит целиком из литературы!

— Ах, вот как? По-твоему, доброта Спасителя или жизнь Наполеона — это литература?! — воскликнул Вальтер. Но потом ему пришло в голову кое-что получше, он повернулся к своему другу с тем спокойствием, какое дает хороший козырь, и заявил: — Ты человек, утверждающий, что смысл свежих овощей в овощных консервах!

— Ты, конечно, прав. Ты мог бы также сказать, что я хочу стряпать только с солью, — спокойно признал Ульрих. Ему расхотелось продолжать этот разговор.

Но тут вмешалась Кларисса, обратившись к Вальтеру:

— Не знаю, почему ты возражаешь ему! Разве

ты сам не говорил каждый раз, когда с нами случалось что-нибудь особенное: хорошо бы сейчас разыграть это на сцене при всех, чтобы люди увидели это и поняли!.. В сущности, надо бы петь! — повернулась она к Ульриху в знак согласия. — Петь надо бы себя!

Она встала и вошла в маленький круг, образованный стульями. Ее поза была несколько неловким выражением ее желаний, она словно бы готовилась к танцу, и Ульрих, которого коробило безвкусное обнажение эмоций, вспомнил в эту минуту, что большинство людей, то есть говоря напрямик — люди средние, чей ум возбужден, а создать ничего не может, испытывают это желание — выставиться. В них-то с такой легкостью и происходит «что-то невыразимое» — это и впрямь любимое их словцо, туманный фон, на котором то, что они выражают членораздельно, предстает неопределенно увеличенным, отчего истинная ценность этого так и остается неведомой им. Чтобы положить этому конец, он сказал:

— Я не имел этого в виду, но Кларисса права: театр доказывает, что личные аффекты могут служить безличной цели, такой связи значений и образов, которая наполовину отделяет эти аффекты от конкретного лица.

— Я очень хорошо понимаю Ульриха! — снова заговорила Кларисса. — Не помню, чтобы мне что-либо доставляло особую радость, потому что это случилось со мною лично; главное, что это вообще случилось! Музыку ведь ты тоже не захочешь «иметь», — обратилась она к супругу, — нет другого счастья, кроме того, что она есть. Переживания притягиваешь к себе и тут же распространяешь их дальше, хочешь себя, но ведь не хочешь владеть собой, как мелкий лавочник своим барахлом!

Вальтер схватился за виски, но ради Клариссы он перешел к новому возражению. Он старался, чтобы его слова лились спокойной холодной струей.

— Если ценность того или иного поведения ты усматриваешь лишь в излучении духовной силы, — обратился он к Ульриху, — то мне хочется спросить тебя: ведь возможно это было бы только в такой жизни, у которой нет другой цели, кроме как создавать духовную силу и мощь? — Это жизнь, к которой, по их утверждению, стремятся все существующие государства! — возразил тот.

— Значит, в таком государстве люди жили бы великими чувствами и идеями, по философским системам и романам? — продолжал Вальтер. —

Так вот, я спрашиваю тебя: жили бы они так, чтобы великая философия и поэзия возникали, или так, чтобы все, чем они жили, уже было, так сказать, философией и поэзией во плоти? У меня нет сомнений насчет того, что ты имеешь в виду, ведь первое было бы не чем иным, как то, что ныне и так понимают под культурным государством; но поскольку ты имеешь в виду второе, ты упускаешь из виду, что философия и поэзия были бы там излишни. Мало того что твою жизнь по образу и подобию искусства, или как там ты это назовешь, вообще нельзя представить себе, так еще и означает она не что иное, как конец искусства!

Так заключил он, пустив в ход этот козырь в расчете на Клариссу с особой энергией.

Это оказало свое действие. Даже Ульриху понадобилось несколько мгновений, чтобы оправиться. Но затем он засмеялся и спросил:

— Разве ты не знаешь, что всякая совершенная жизнь — это конец искусства? Мне кажется, ты сам на пути к тому, чтобы ради совершенства своей жизни покончить с искусством?

Он сказал это без злого умысла, но Кларисса насторожилась.

И Ульрих продолжал:

— Всякая великая книга дышит этим духом любви к судьбам отдельных людей, которые не в ладу с формами, навязываемыми им обществом. Она ведет к решениям, решению не поддающимся; можно только воспроизводить жизнь этих людей. Извлеки смысл из всех поэтических произведений, и ты получишь хоть и не полное, но основанное на опыте и бесконечное отрицание всех действующих правил, принципов и предписаний, на которых зиждется общество, любящее эти поэтические произведения! Даже ведь какое-нибудь стихотворение с его тайной отсекает привязанный к тысячам обыденных слов смысл мира, превращая его в улетающий воздушный шар. Если это называть, как принято, красотой, то красота есть переворот несравненно более жестокий и беспощадный, чем любая политическая революция когда бы то ни было!

У Вальтера побледнели даже губы. Это отношение к искусству как к отрицанию жизни, как к чему-то враждебному жизни он ненавидел. Это было, на его взгляд, богемой, остатком устаревшего желания позлить «буржуа». Ироническую самоочевидность того факта, что в совершенном мире уже не может быть красоты, поскольку она становится там излишеством, он заметил,

но невысказанного вопроса своего друга он не услышал. Ведь и Ульриху была совершенно ясна односторонность того, что он утверждал. Он мог бы с таким же правом сказать прямо противоположное тому, что искусство — это отрицание, ибо искусство — это любовь; любя, оно делает прекрасным, и нет, может быть, на свете другого средства сделать прекрасным что-либо или кого-либо, кроме как полюбить их. И только потому, что даже любовь наша состоит лишь из частиц, красота есть что-то вроде усиления и контраста. И только в море любви не способное уже ни к какому усилению понятие совершенства едино с основанным на усилении понятием красоты! Снова мысли Ульриха коснулись «Царства», и он недовольно остановился. Вальтер тем временем тоже собрался с силами и, объявив намек своего друга на то, что жить надо примерно так, как читаешь, сперва банальным, а потом и невозможным утверждениям, он принялся теперь доказывать, что оно греховно и подло.

— Если бы кто-то, — начал он в прежнем нарочито сдержанном тоне, положил в основу своей жизни твое предложение, ему пришлось бы, пожалуй, не говоря уж о других нелепостях, одобрять все, что вызывает у него некую прекрасную

идею, даже все, что несет в себе возможность за таковую сойти. Это означало бы, конечно, всеобщий упадок, но поскольку эта сторона тебе, надо полагать, безразлична — или, может быть, ты думаешь о тех неясных общих мерах предосторожности, о которых ты никаких подробностей не сказал, — то я хочу справиться только о личных последствиях. Мне кажется, что во всех случаях, когда человек как раз не является поэтом — сочинителем своей жизни, такому человеку будет хуже, чем животному; если у него не возникает идеи, у него не возникнет и решения, большую часть своей жизни он будет просто во власти своих инстинктов, капризов, заурядных страстей — словом, всего самого безличного, из чего состоит человек, и должен будет, пока длится эта закупорка, так сказать, верхней системы, стойко сносить все, что ни взбредет ему в голову?!

— Тогда он должен будет отказаться что-либо делать! — ответила вместо Ульриха Кларисса. — Это активная пассивность, к которой надо быть способным, когда того требуют обстоятельства!

У Вальтера не хватило мужества взглянуть на нее. Способность к отказу играла ведь в их отношениях большую роль: это Кларисса, похожая в длинной, до пят ночной рубашке на маленького

ангела, стояла, вскочив, на кровати и, сверкая зубами, декламировала в манере Ницше: «Как лот, бросаю я свой вопрос в твою душу! Ты хочешь ребенка и брака, но я тебя спрашиваю: тот ли ты человек, который вправе желать ребенка?! Победитель ли ты, повелитель ли своих доблестей? Или твоими устами говорит животная потребность…?!» В полумраке спальни это бывало жутковатым зрелищем, и Вальтер тщетно старался заманить ее под одеяло. А впредь, значит, к ее услугам будет новый девиз; активная пассивность, к которой в данном случае следовало быть способным, очень отдавала человеком без свойств. Доверилась ли она ему? Но не он ли поощрил ее в ее странностях? Эти вопросы копошились, как черви, в груди Вальтера, и ему стало почти дурно. Он посерел, лицо его увяло и сморщилось.

Ульрих заметил это и участливо спросил его, не заболел ли он.

Вальтер с усилием произнес «нет» и, молодцевато улыбнувшись, сказал, чтобы Ульрих спокойно довел свой вздор до конца.

— Ах, господи, — уступчиво согласился Ульрих, — ты ведь не то что не прав. Но очень часто мы в угоду какому-то спортивному духу бываем

снисходительны к действиям, которые наносят ущерб нам самим, — лишь бы противник исполнял их в красивой манере; тогда цена исполнения конкурирует с ценой ущерба. И очень часто у нас есть идея, сообразно с которой мы какое-то время действуем, но потом она сменяется привычкой, инерцией, корыстью, насущными нуждами, потому что иначе нельзя. Я, таким образом, описал, может быть, состояние, которое осуществить до конца вообще невозможно, но одного отнять у него нельзя: это и есть то действительно существующее состояние, в каком мы живем.

Вальтер опять успокоился.

— Если вывернуть правду наизнанку, всегда можно что-то сказать, что и правдиво, и в то же время извращено, — заметил он мягко, не скрывая, что его не интересует дальнейший спор. — Это в твоем вкусе — утверждать о чем-то, что оно невозможно, но реально.

Кларисса, однако, очень энергично потерла свой нос.

— Я нахожу это как раз очень важным, — сказала она, — что во всех нас есть что-то невозможное. Этим многое объясняется. Когда я слушала, у меня было такое впечатление, что если бы нас можно было вскрыть, то вся наша жизнь оказалась бы,

пожалуй, похожа на кольцо — что-то такое круглое вокруг чего-то. — Она уже раньше сняла свое обручальное кольцо и поглядела теперь сквозь него на освещенную стену. — Я хочу сказать: в середине-то ведь у него и нет ничего, а выглядит оно в точности так, словно только это ему и важно. Ульрих просто тоже не может полностью выразить это в один прием!

Таким образом, дискуссия эта кончилась все-таки, к сожалению, огорчительно для Вальтера.

85
Старания генерала Штумма внести порядок в штатский ум

Ульрих отсутствовал примерно на час дольше, чем о том предупредил при уходе, и когда он вернулся домой, ему доложили, что его давно уже ждет какой-то офицер. Наверху, к своему удивлению, он застал генерала фон Штумма, который приветствовал его как старый товарищ.

— Дорогой друг, — воскликнул тот, когда Ульрих вошел, — извини, что врываюсь к тебе так поздно, но я не мог раньше уйти со службы, да и здесь я уже добрых два часа сижу среди твоих книг, собрание которых внушает прямо-таки

страх!

После короткого обмена любезностями выяснилось, что Штумма привело сюда срочное дело. Он бойко закинул ногу на ногу, что при его комплекции было трудновато, простер вперед руку с маленькой кистью и сказал:

— Срочное? Я обычно говорю своим референтам, когда они приносят мне какую-нибудь срочную бумагу: на свете нет ничего срочного, кроме отлучки в одно место. Но если говорить серьезно, то причина, приведшая меня к тебе, чрезвычайно важна. Я уже говорил тебе, что смотрю на дом твоей кузины как на особую для себя возможность познакомиться с важнейшими в мире проблемами гражданской жизни. Это, как ни верти, что-то невоенное и, смею тебя уверить, страшно мне импонирует. Но с другой стороны, мы, военные, при всех своих слабостях, далеко не такие дураки, как принято думать. Надеюсь, ты согласишься со мной, что если уж мы что-нибудь делаем, то делаем это основательно и как следует. Итак, ты согласен? Другого я и не ждал, и, значит, я могу говорить с тобой откровенно, хотя и признаюсь тебе, что стыжусь нашего воинского духа. Стыжусь, я сказал! Если не считать армейского епископа, то я сегодня,

пожалуй, в армии тот человек, который больше всего занимается духом. Но могу тебе сказать, что если приглядеться к нашему воинскому духу, то, как он ни замечателен, он походит на утреннюю поверку. Надеюсь, ты еще помнишь, что такое утренняя поверка? Дежурный офицер, значит, записывает: столько-то человек и лошадей налицо, столько-то человек и лошадей отсутствует по болезни или еще почему-либо, улан Лейтомышль просрочил увольнительную и так далее. Но почему столько-то человек и лошадей налицо или больны и так далее, этого он не записывает. А это как раз то, что всегда надо знать, когда имеешь дело с чинами гражданскими. Речь солдата коротка, проста и конкретна, но мне очень часто приходится совещаться с представителями гражданских министерств, и они по каждому поводу спрашивают, почему нужно сделать так, как я предлагаю, и ссылаются на соображения и сложности высшего порядка. Так вот, — дай. честное слово, что то, что я сейчас скажу, останется между нами, — я предложил своему шефу, его превосходительству Фросту, или, вернее, удивил его своим предложением воспользоваться домом твоей кузины, чтобы как следует познакомиться с этими соображениями

и сложностями высшего порядка и, если можно так выразиться, не показавшись нескромным, поставить их на службу воинскому духу. Есть же у нас в армии врачи, ветеринары, аптекари, священники, судьи, интенданты, инженеры и капельмейстеры, а центрального ведомства по делам гражданского духа еще нет!

Лишь теперь Ульрих заметил, что Штумм фон Бордвер принес с собой сумку для бумаг; она была прислонена к ножке письменного стола и принадлежала к тем большим, с крепким наплечным ремнем сумкам воловьей кожи, что служат для переноски документов в громадных зданиях министерств или через улицу, от одной инстанции к другой. Генерал явно прибыл с ожидавшим теперь, вероятно, внизу и ускользнувшим от внимания Ульриха ординарцем, ибо Штумм с большим трудом взгромоздил себе на колени тяжелую сумку, прежде чем щелкнул ее стальным замочком, у которого был невероятно военно-технический вид.

— Я не бил баклуши, с тех пор как приобщился к вашему предприятию, улыбнулся он, нагибаясь, отчего его голубой мундир натянулся у золотых пуговиц, — но есть, знаешь, вещи, с которыми я не совсем справляюсь. — Он извлек из сумки кипу

нескрепленных листков с какими-то странными надписями и графами. — Твоей кузине, — начал он объяснять, — я подробно обсудил это с твоей кузиной — ей, понятно, хочется, чтобы из ее стараний воздвигнуть нашему высочайшему повелителю духовный памятник родилась идея, которая стала бы, так сказать, первостепенной среди всех имеющихся ныне идей; но я уже успел заметить, — при всем моем восхищении людьми, которых она для этого пригласила, — что это дьявольски трудно. Если один скажет одно, то другой утверждает другое, прямо противоположное, — ты тоже, наверно, замечал это? Но гораздо хуже еще, на мой, во всяком случае, взгляд, вот что. Штатский ум смахивает на то, что называют, когда говорят о лошади, прорвой. Надеюсь, ты еще не забыл? Скармливай такой твари хоть двойной рацион — все равно толще не станет! Или скажем даже, — поправился он в ответ на короткое возражение хозяина дома, — допускаю даже, что она с каждым днем толстеет, но кости у нее не растут и шерсть не блестит; только живот ей разносит. Вот это меня, знаешь, интересует, и я решил заняться вопросом, почему, собственно, нельзя внести сюда какой-то порядок.

Штумм, улыбаясь, протянул своему бывшему

лейтенанту первый листок.

— Пусть поносят нас как угодно, — пояснил он, — но порядок у нас, военных, всегда был в чести. Это вот спецификация главных идей, выжатых мною из участников сборищ у твоей кузины. Видишь, если спрашивать с глазу на глаз, то каждый, оказывается, считает самым важным что-то другое.

Ульрих смотрел на листок с изумлением. По образцу бланка или какой-нибудь армейской ведомости он был разделен продольными и поперечными линиями на графы, заполненные словами, как-то противившимися такому обрамлению; Ульрих прочел выведенные писарским каллиграфическим почерком имена: Иисус Христос; Будда, Гаутама, он же Сиддхартха; Лао-цзы; Лютер, Мартин; Гете, Вольфганг; Гангхофер, Людвиг; Чемберлен и много других, продолжение явно следовало на другом листке; затем, во втором столбце, слова «христианство», «империализм», «век коммуникаций» и так далее, к которым в других столбцах примыкали другие колонки слов.

— Я мог бы назвать это и страницами кадастра современной культуры, пояснил он, — ведь мы это потом дополнили, и здесь теперь собраны

названия идей, волновавших нас в последние двадцать пять лет, и имена их авторов. Я не представлял себе, какого это стоит труда!

Поскольку Ульрих пожелал узнать, как составил он свою ведомость, генерал охотно объяснил процедуру, которой потребовала его система.

— Мне понадобились один капитан, два лейтенанта и пять унтер-офицеров, чтобы сделать это в такой короткий срок! Если бы мы могли действовать современным методом, то разослали бы по всем полкам вопрос: «Кого вы считаете величайшим человеком?» — как это сегодня делается, знаешь, во всяких там газетных анкетах и викторинах, — с приказом доложить о результатах в процентах; но в армии так делать нельзя, потому что ни одна часть не посмеет, конечно, доложить ничего другого, кроме как «его величество». Тогда я решил выяснить, какие книги больше всего читаются и выходят самыми большими тиражами, но тут сразу обнаружилось, что, кроме Библии, это новогодние буклеты с почтовыми тарифами и старыми анекдотами, которые каждый адресат получает за свои чаевые от своего почтальона, что снова обратило наше внимание на то, какая это трудная вещь — штатский ум, ведь лучшими считаются вообще-то те книги, которые годят-

ся для любого читателя, или, по крайней мере, сказали мне, автору надо иметь очень много единомышленников в Германии, чтобы его считали обладателем необыкновенного: ума. Значит, и этим путем тоже идти нам нельзя было, и как мы в конце концов сделали дело, этого я тебе сейчас сказать не могу, то была идея капрала Хирша и лейтенанта Мелихара, но дело мы сделали.

Генерал Штумм отложил этот листок в сторону и с миной, предвещающей серьезные разочарования, взял другой. Произведя учет среднеевропейского запаса идей, он не только установил, к своему огорчению, что тот состоит из сплошных противоречий, но и, к удивлению своему, обнаружил, что эти противоречия, если поглубже в них вникнуть, начинают переходить друг в друга.

— Что у твоей кузины каждый из знаменитых людей говорит мне что-то другое, когда я прошу его меня просветить, к этому я уже привык, — сказал он. — Но что после того, как поговоришь с ними подольше, мне все-таки кажется, будто все они твердят одно и то же, — вот чего я никак не могу понять, и, наверно, моего солдатского разума на это просто-напросто не хватает!

То, что так тревожило разум генерала Штумма,

не было мелочью, и решение этой проблемы не следовало, в сущности, возлагать только на военное министерство, хотя и можно доказать, что к войне она имеет самое близкое отношение. Нынешнему веку даровано некое количество великих идей и к каждой идее, по особой милости судьбы, сразу и ее антиидея, так что индивидуализм и коллективизм, национализм и интернационализм, империализм и пацифизм, рационализм и суеверие чувствуют себя в нем одинаково хорошо, а к этому еще прибавляются неизрасходованные остатки бесчисленных других противоречий, имеющих для современности такую же или меньшую ценность. Это уже кажется столь же естественным, как то, что существует день и ночь, жар и холод, любовь и ненависть, а на каждую сгибающую мышцу в человеческом теле есть своя противоположно настроенная разгибающая, и генералу Штумму, как любому другому, никогда не пришло бы в голову усматривать тут что-то необыкновенное, если бы его честолюбие не бросила в эту авантюру любовь к Диотиме. Ибо любовь не довольствуется тем, что единство природы основано на противоположностях, в своей жажде нежного настроения она хочет единства без противоречий, и генерал

всячески пытался это единство добыть.

— Я велел, — рассказывал он Ульриху, одновременно предъявляя соответствующие листки, — составить указатель полководцев идей, то есть перечень всех имен, приводивших в последнее время к победе, так сказать, крупные соединения идей; а это вот ordre de bataille;[25] а это план стратегического сосредоточения и развертывания; это попытка засечь склады и базы, откуда идет подвоз мыслей. Но ты, верно, заметишь, — я велел ясно выделить это на чертеже, — если взглянешь на ту или иную группу мыслей, ведущую сегодня бои, что живой силой и идейным материалом ее пополняют не только собственные ее базы, но и базы противника; ты видишь, что она то и дело меняет свои позиции и вдруг без всяких причин поворачивает фронт в обратную сторону и сражается с собственными тылами; ты видишь опять-таки, что идеи непрестанно перебегают туда и обратно, и поэтому ты находишь их то в одной боевой линии, то в другой. Одним словом, нельзя ни составить приличную схему коммуникаций, ни провести демаркационную линию, ни вообще определить что-либо, и все это, не говоря

---

[25] Примечания: 25
Расстановка сил перед боем (фр.).

худого слова, — хотя как-то даже не верится! — похоже на то, что у нас любой командир назвал бы бардаком!

Штумм сунул Ульриху в руку сразу несколько десятков листков. Они были испещрены стратегическими планами, железнодорожными линиями, сетями дорог, схемами дальнобойности, обозначениями разных групп войск и командных пунктов, кружками, прямоугольниками, заштрихованными участками; как в настоящей разработке генерального штаба, змеились красные, зеленые, желтые, синие линии, и повсюду красовались флажки самого разного вида и значения, которым суждено было стать такими популярными год спустя.

— Все без толку! — вздохнул Штумм. — Я изменил принцип изображения и пытался подойти к делу не со стратегической, а с военно-географической точки зрения, надеясь таким образом получить хотя бы четко расчлененное поле операции, но это тоже не помогло. Вот попытки оро— и гидрографического изображения!

Ульрих увидел знаки горных вершин, откуда шли разветвления, снова сбегавшиеся в другом месте, источники, сети рек и озера.

— Я делал также, — сказал генерал, и в его

бодром взгляде мелькнула раздраженность, даже затравленность, — всяческие попытки привести все к какому-то единству, но знаешь, каково это? Это как ехать вторым классом в Галиции и набраться вшей! Не знаю более гнусного чувства полной беспомощности. Когда долго находишься среди идей, все тело начинает зудеть, и чешись хоть до крови, покоя тебе не будет!

Ульриха рассмешило столь энергичное описание. Но генерал попросил:

— Нет, не смейся! Я думал так: ты стал в штатской жизни выдающимся человеком; занимая такое положение, ты поймешь эти дела, но ты поймешь и меня. Я пришел к тебе, чтобы ты мне помог. Я слишком уважаю всякую умственность, чтобы считать себя правым!

— Ты слишком серьезно относишься к думанью, подполковник, — утешил его Ульрих. Он непроизвольно сказал «подполковник» и извинился: — Ты так славно перенес меня в прошлое, генерал Штумм, когда ты, бывало, в офицерском клубе приказывал мне пофилософствовать с тобой где-нибудь в уголке. Но, повторяю тебе, нельзя относиться к думанью так серьезно, как ты сейчас.

— Не относиться серьезно?! — простонал

Штумм. — Но я уже не могу жить без высшего порядка у себя в голове! Неужели ты этого не понимаешь? Меня просто ужас берет, как вспомню, сколько времени я жил без него на плацу и в казарме, среди офицерских анекдотов и историй с бабьем!

Они сели за стол; Ульрих был тронут ребяческими затеями, которые генерал выполнял с мужской отвагой, и несокрушимой моложавостью, которую дает своевременное пребывание в маленьких гарнизонах. Он пригласил товарища минувших лет разделить с ним ужин, и генерал был так поглощен желанием приобщиться к его, Ульриха, тайнам, что даже каждый ломтик колбасы насаживал на вилку очень внимательно.

— Твоя кузина, — сказал он, поднимая рюмку, — самая восхитительная женщина, которую я знаю. По праву говорят, что она вторая Диотима, ничего подобного я еще не видел. Понимаешь, моя жена… ты с ней не знаком… я никак не могу жаловаться, и дети у нас есть… но такая женщина, как Диотима, — это ведь что-то совсем другое! На приемах я иногда становлюсь позади нее — какая импозантная женственность форм! А одновременно спереди она ведет с каким-нибудь светилом из штатских такой ученый разговор,

что хочется просто делать заметки! А этот начальник отдела, за которым она замужем, понятия не имеет, какое она сокровище. Прошу прощения, если вдруг этот Туцци тебе особенно симпатичен, но я его терпеть не могу! Он только расхаживает да улыбается с таким видом, словно он-то уж знает, что к чему, а нам не скажет. Но пусть он мне пыль в глаза не пускает, ведь при всем моем почтении к штатским правительственные чиновники занимают среди них последнее место; они всего лишь как бы штатские солдаты, которые при любой возможности стараются нас переплюнуть, а сами при этом бессовестно вежливы, как кошка, когда она глядит на собаку с высокого дерева. Вот доктор Арнгейм — это уже другой калибр, — продолжал болтать Штумм. — Тоже, может быть, много мнит о себе, но такого превосходства нельзя не признать! — Он явно поторопился выпить, после того как столько времени говорил, ибо стал непринужденно-доверителен. — Не знаю, в чем тут дело, — продолжал он, — наверно, я потому этого не понимаю, что и сам уже мудрю, но хотя я от твоей кузины в таком восторге, словно — скажу без церемоний, — словно у меня застрял в глотке слишком большой кусок, мне все-таки как-то легче оттого, что она

влюблена в Аргейма.

— Что? Ты уверен, что между ними что-то есть? — спросил Ульрих несколько пылко, хотя, собственно, не должен был принимать это близко к сердцу; Штумм недоверчиво вытаращил на него свои близорукие, еще затуманенные волнением глаза и надел пенсне.

— Я не утверждаю, что он с ней спал, — возразил он с офицерской прямотой, снова спрятал пенсне и прибавил совсем не по-солдатски: — Но я против этого ничего не имел бы; черт меня побери, я же сказал тебе, что в этом обществе начинаешь мудрить, я, конечно, не баба, но как представлю себе нежность, которую Диотима могла бы надарить этому человеку, так сам чувствую нежность к нему, и, наоборот, мне кажется, что это я целую Диотиму, когда он целует ее.

— Он целует ее?

— Ну, этого я не знаю, я же не шпионю за вами. Я только думаю так: если бы он ее целовал… То-то и оно, что я сам себя не понимаю. Впрочем, как-то раз я видел, как он схватил ее руку, когда они думали, что никто не смотрит, и на миг они так притихли, словно им скомандовали «К молитве, кивера долой, на колени!», а потом она очень тихо о чем-то попросила его, и он что-то на это

ответил, то и другое я запомнил почти дословно, потому что понять это трудно. Она сказала: «Ах, если бы только найти эту спасительную идею!», а он ответил: «Дать вам избавление может только чистая, неискаженная идея любви!» Он понял это, конечно, слишком лично, ведь она, безусловно, имела в виду спасительную идею, которая нужна ей для ее великого предприятия… Почему ты смеешься? Смейся на здоровье, у меня всегда были свои пунктики, и теперь мне втемяшилось ей помочь! Это наверняка возможно, ведь идей на свете так много, и одна-то уж окажется избавительной! Только ты должен оказать мне содействие!

— Дорогой генерал, — повторил Ульрих, — могу только еще раз сказать тебе, что ты относишься к думанью слишком серьезно. Но раз уж тебе это так важно, я попытаюсь в меру своих сил объяснить тебе, как думает человек штатский. Они взялись за сигары, и он начал. — Во-первых, ты на неверном пути, генерал. Неверно, что духовное начало кроется в штатской жизни, а телесное в армии, как ты считаешь, нет, как раз наоборот! Ведь ум — это порядок, а где больше порядка, чем в армии? Все воротнички высотой там в четыре сантиметра, число пуговиц точно установлено, и

даже в самые богатые сновидениями ночи койки стоят по стенкам как по линейке! Построение эскадрона развернутым строем, сосредоточение полка, надлежащее положение пряжки оглавля — это, стало быть, духовные ценности высокого смысла, или духовных ценностей не существует вообще!

— Морочь голову кому-нибудь другому! — осторожно проворчал генерал, не зная, чему не доверять — своим ушам или выпитому вину.

— Ты опрометчив, — настаивал Ульрих. — Наука возможна только там, где события повторяются или хотя бы поддаются контролю, а где больше повторения и контроля, чем в армии? Кубик не был бы кубиком, не будь он в девять часов таким же прямоугольным, как в семь. Законы орбит, по которым движутся планеты, — это своего рода баллистика. И мы вообще ни о чем не могли бы составить себе понятие или суждение, если бы все мелькало мимо только однажды. То, что хочет чего-то стоить и носить какое-то название, должно повторяться, должно существовать во множестве экземпляров, и если бы ты ни разу прежде не видел луны, ты принял бы ее за карманный фонарик; между прочим, великое замешательство, в которое приводит науку бог, состоит в том, что

его видели только один-единственный раз, да и то при сотворении мира, когда еще не было квалифицированных наблюдателей.

Надо представить себя на месте Штумма фон Бордвера; со времен кадетского корпуса его жизнь регламентировалась во всем, от формы фуражки до условий его вступления в брак, и он был не очень-то склонен открывать свой ум таким объяснениям.

— Дорогой друг, — возразил он лукаво, — все это превосходно, но меня это, собственно, не касается; ты удачно остришь, говоря, что науку изобрели мы, армейцы, но я толкую не о науке, а, как выражается твоя кузина, о душе, а когда она говорит о душе, мне хочется раздеться догола, настолько это не вяжется с мундиром!

— Дорогой Штумм, — непоколебимо продолжал Ульрих, — очень многие люди упрекают науку в том, что она бездушна и механична и делает все, к чему ни прикоснется, таким же; но они удивительным образом не замечают, что в делах души царит еще куда более удручающая регулярность, чем в делах разума! Ведь когда чувство вполне естественно и просто? Когда у всех людей в одинаковой ситуации надо прямо-таки автоматически ждать его появления! Как можно

было бы требовать от всех людей добродетели, если бы добродетельный поступок не был таким, который можно повторять сколь угодно часто?! Я мог бы привести тебе еще много других подобных примеров. А убежав от этой унылой регулярности в самые темные глубины своего естества, где вольготно неконтролируемым инстинктам, в эту влажную животную глубь, которая защищает нас от растворения в разуме, что ты находишь? Раздражители и колеи рефлексов, введенные в колею привычки и навыки, повторение, фиксацию, отшлифованность, серийность, монотонность! Это мундир, казарма, устав, дорогой Штумм, и штатская душа удивительно родственна военному быту. Впору сказать, что она где только можно цепляется за этот образец, с которым ей никогда не удается вполне сравняться. А когда цепляться за него невозможно, она как ребенок, оставленный в одиночестве. Возьми для примера хотя бы женскую красоту: то, что поражает и покоряет тебя в красоте, то, о чем ты думаешь, что видишь это впервые в жизни, ты это внутренне давно уже знал и искал, это всегда маячило перед тобой бледным виденьем, которое только становится теперь ярким, как дневной свет; напротив, если дело идет о любви с первого взгляда, о красоте,

какой ты еще не видел, ты просто не знаешь, как с ними быть; ЭТОМУ ничего похожего не предшествовало, у тебя нет для этого названия, нет чувства для ответа, ты просто беспредельно смущен, ослеплен, повергнут в слепое изумление, в идиотское тупоумие, не имеющее со счастьем уже, кажется, ничего общего…

Тут генерал энергично перебил своего друга. До сих пор он слушал его с той натренированностью, какую приобретаешь на плацу, где на тебя сыплются замечания и поучения твоих начальников, слова, которые ты, если надо, должен уметь повторить, но которые нельзя впускать в себя, потому что это все равно что поехать домой верхом на неоседланном еже; но сейчас Ульрих задел его за живое, и он с жаром воскликнул:

— Что правда, то правда, ты описываешь это на редкость верно! Когда я по-настоящему предаюсь восхищению твоей кузиной, во мне все сходит на нет, начисто исчезает. И даже если я напряженно сосредоточусь, чтобы меня наконец осенила идея, которой я мог бы принести ей пользу, во мне все равно возникает крайне неприятная пустота; идиотизмом это, пожалуй, нельзя назвать, но сходство с ним тут, безусловно, очень большое. И если я правильно тебя понял, ты, значит,

считаешь, что мы, военные, умеем думать; что штатский ум… — ну, что мы должны служить ему примером, это я отметаю, это ты, конечно, просто пошутил! — но что ум у нас одинаковый, это я тоже думаю иногда; а все прочее, по-твоему, ну, все эти вещи, которые кажутся нам, солдатам, очень уж штатскими, душа, знаешь, добродетель, сердечность, задушевность, — Арнгейм орудует этим невероятно ловко, — но по-твоему, хотя это и есть духовность… да, конечно, ты ведь говоришь, что это и есть так называемые соображения высшего свойства… но ведь ты же и говоришь, что от этого глупеют, и все это совершенно верно, но вообще-то штатский ум все-таки выше, и этого ты, конечно, не станешь оспаривать, и вот я спрашиваю тебя, как же это согласовать?

— Я сказал прежде всего, ты это забыл, — я сказал прежде всего, что духовному началу вольготно в армии, а теперь, во-вторых, скажу: а в штатской жизни — началу телесному…

— Но это же вздор? — недоверчиво запротестовал Штумм. Физическое превосходство военных было такой же догмой, как убежденность, что офицерство ближе всего к трону; и хотя Штумм никогда не считал себя атлетом, в тот момент, когда в такой возможности возникало сомнение,

все-таки давала себя знать уверенность, что при одинаковом наличии животика животик штатский должен быть все-таки помягче, чем его, штуммовский.

— Не больший и не меньший вздор, чем все другое, — защитился Ульрих. — Но дай мне договорить. Понимаешь, лет сто назад ведущие умы немецкой штатской жизни полагали, что мыслящий гражданин выведет мировые законы, сидя за письменным столом, из собственной головы, так, как доказываются теоремы о треугольниках; а мыслителем был тогда человек в нанковых штанах, который смахивал со лба непокорную прядь и не знал еще керосиновой лампы, не то что электричества или звукозаписи. С тех пор это зазнайство из нас основательно выбили; за эти сто лет мы узнали себя и природу и все на свете гораздо лучше, но с тем, так сказать, результатом, что мера порядка, приобретаемого в частных областях, равна мере его утраты в целом. У нас становится все больше порядков и все меньше порядка.

— Это совпадает с моими выводами, — подтвердил Штумм.

— Только все не так ретивы, как ты, чтобы искать обобщения, — продолжал Ульрих. — По-

сле прошлых усилий мы попали в полосу спада. Представь себе только, как это происходит сегодня. Когда выдающийся человек приносит в мир какую-нибудь идею, ее сразу захватывает процесс разделения, состоящий из симпатии и антипатии; сначала поклонники выхватывают из нее большие лоскутья, какие для них удобны, и разрывают своего учителя на куски, как лисы падаль, затем слабые места уничтожаются противниками, и вскоре ни от какого достижения не остается ничего, кроме запаса афоризмов, которым и друзья и враги пользуются по своему усмотрению. Результат — всеобщая многозначность. Нет такого «да», чтобы на нем не висело «нет». Делай что хочешь, и ты найдешь два десятка отличных идей, которые за это, и, если пожелаешь, два десятка таких, которые против этого. Можно даже подумать, что дело тут обстоит так же, как с любовью, ненавистью и голодом, где вкусы должны быть различны, чтобы досталось на всех.

— Отлично! — воскликнул Штумм, завоеванный снова. — Что-то похожее я сам уже говорил Диотиме! Но не находишь ли ты, что в этом беспорядке следовало бы усмотреть оправдание военной службы? А я все-таки стыжусь поверить

в это хоть на минуту!

— Я посоветовал бы тебе, — сказал Ульрих, — навести Диотиму на мысль, что по причинам, нам еще неизвестным, бог, кажется, устанавливает на земле эпоху физической культуры; ведь единственное, что дает какую-то опору идеям, это тело, к которому они принадлежат, а кроме того, ты, как офицер, получил бы тогда известное преимущество.

Маленький толстый генерал отпрянул.

— Что касается физической культуры, то тут я ничем не лучше, чем очищенный персик, — сказал он после паузы с горьким удовлетворением. — И еще скажу тебе, что о Диотиме я думаю только порядочно и хочу оставаться в ее глазах порядочным человеком.

— Жаль, — сказал Ульрих, — твои намерения достойны Наполеона, но эпоха, которую ты застал, для них не подходит!

Генерал принял насмешку с достоинством, которое дала ему мысль пострадать за даму своего сердца, и сказал после некоторого раздумья:

— Во всяком случае благодарю тебя за твои интересные советы.

86
Король от коммерции и слияние интересов души и тела, а также: Все дороги к уму идут от души, но ни одна не ведет назад

К тому времени, когда любовь генерала отступила перед его восхищением Диотимой и Аргеймом, Аргейму давно уже следовало принять решение больше не возвращаться. Вместо этого он делал все, чтобы задержаться надолго; он удерживал за собой комнаты, которые занимал в отеле, и было такое впечатление, что в его беспокойной жизни наступило затишье.

Мир потрясало тогда многое, и тот, кто к концу тысяча девятьсот тринадцатого года был хорошо информирован, видел перед собой клокочущий вулкан, хотя внушаемое мирным трудом убеждение, что этот вулкан никогда не извергнет лавы, царило везде. Оно было не везде одинаково сильным. Окна прекрасного старого дворца на Бальхаусплац, где исполнял свои обязанности начальник отдела Туцци, часто и поздно вечером бросали свет на голые деревья противоположно-

го сада, и образованных гуляк, когда им случалось ночью проходить мимо, била нервная дрожь. Ибо так же, как святой Иосиф наполняет собой обыкновенного плотника Иосифа, название «Бальхаусплац» наполняло находившийся там дворец великой таинственностью, означавшей, что это одна из тех пяти-шести загадочных кухонь, где за занавешенными окнами вершится судьба человечества. Доктор Аргейм был довольно хорошо осведомлен об этих процессах. Он получал шифрованные телеграммы, и время от времени к нему приезжал с доверительной информацией из правления фирмы кто-нибудь из его служащих, фасадные окна его апартаментов в отеле тоже часто бывали освещены, и наблюдатель с богатым воображением мог бы подумать, что здесь бодрствует второе, противоборствующее правительство, новейший, тайный оплот экономической дипломатии.

Аргейм, кстати, и сам никогда не упускал случая создать такое впечатление; ведь без того, что внушает окружающим его внешняя сторона, человек — это только водянистый плод без кожуры. Уже за завтраком, каковой он по этой причине съедал не в одиночество, а в открытом для всех зале отеля, он с административным искусством

опытного правителя и тихой вежливостью человека, знающего, что за ним наблюдают, отдавал ежедневные распоряжения стенографировавшему их секретарю; ни одного из них не хватило бы на то, чтобы доставить радость Аргейму, но деля место в его сознании не только между собой, но еще и с утеснявшими их там стимулами завтрака, они невольно вырастали в высоту. Вероятно, человеческий талант вообще — и это была одна из его любимых мыслей — нуждается в известном стеснении, чтобы развернуться вовсю; действительно, плодотворная полоса между озорной свободой мысли и малодушной неспособностью сосредоточиться, полоса эта, как известно каждому, кто знает жизнь, чрезвычайно узка. Но кроме того, Аргейм был убежден еще, что очень важно, кого именно осеняет мысль; ведь известно, что на новые и значительные мысли редко нападает кто-то один, а с другой стороны, мозг человека, привыкшего думать, непрестанно родит мысли различной ценности; поэтому законченность, действенную, успешную форму идеи должны всегда получать извне, не только из мышления, а из всей совокупности личных обстоятельств. Вопрос ли секретаря, взгляд ли на соседний столик, приветствие ли вошедшего — но что-нибудь в этом

роде каждый раз вовремя напоминало Арнгейму о необходимости делать из себя импозантную фигуру, и эта цельность облика тотчас же передавалась его мышлению. Этот жизненный опыт он обобщил в отвечавшей его потребности убежденности, что думающий человек всегда должен быть одновременно человеком действия.

Несмотря, впрочем, на такую убежденность, теперешней своей деятельности он очень уж большого значения не придавал; хотя он и преследовал ею цель, которая при известных обстоятельствах могла оказаться поразительно выгодной, он боялся, что тратит на пребывание здесь неоправданно много времени. Он снова и снова напоминал себе старую холодную мудрость «divide et impera»;[26] она применима к любому контакту с людьми и вещами и требует известного обесценивания каждой отдельной связи совокупностью всех, ибо тайна этого настроения, в котором ты хочешь успешно действовать, тождественна тайне мужчины, любимого многими женщинами, но не отдающего исключительного предпочтения ни одной. Но это не помогало; его память ставила перед ним те требования, какие

[26] Примечания: 26
Разделяй и властвуй (лат.).

предъявляет мир человеку, рожденному для великих дел, а он, сколько ни копался в своей душе, никак не мог уйти от того факта, что полюбил. А это была странная штука, ибо сердце, которому около пятидесяти, — мышца упрямая, уже не растягивающаяся так просто, как мышца двадцатилетнего в пору расцвета любви, и это доставляло ему немалые неудобства.

Прежде всего он с тревогой констатировал, что его широкие международные интересы увяли, как лишившийся корня цветок, а незначительно-обыденные впечатления, вплоть до воробья у окна или до радушной улыбки официанта, прямо-таки расцвели. Что касается его моральных понятий, представлявших собой дотоле большую, ничего не упускавшую из виду систему обеспечения собственной правоты, то он заметил, что они стали беднее связями, но зато приобрели какую-то телесность. Это можно было назвать преданностью, но слово это вообще-то имело гораздо более широкий и, во всяком случае, еще и другой смысл, ибо без нее не обойтись нигде; преданность долгу, кому-то, кто выше тебя, вождю, да и самой жизни с ее богатством и многообразием была для него вообще-то, как мужская добродетель, идеалом прямодушия, в

котором, сколь оно ни отзывчиво, больше сдержанности, чем экспансивности. И то же самое можно сказать о верности, в которой, если она ограничивается одной женщиной, есть какая-то узость; о рыцарственности и кротости, о самоотверженности и нежности, все добродетелях, хоть и ассоциируемых обычно с женщиной, но теряющих при этом главное свое богатство, так что трудно сказать, подобна ли любовь только к ней воде, стекающейся в самое низкое и обычно не безупречное место, или же любовь к женщине есть то вулканическое место, теплом которого живет все, что цветет на земной поверхности. Очень высокая степень мужского тщеславия чувствует себя поэтому в обществе мужчин лучше, чем в обществе женщин, и, сравнивая богатство идей, вносимых им в сферы власти, с состоянием блаженства, вызываемым у него Диотимой, Арнгейм никак не мог избавиться от впечатления регресса, им проделанного.

Порой он испытывал потребность в объятиях и поцелуях, как мальчик, который, если его желание не исполняется, самозабвенно падает к ногам отказывающей, или ловил себя на готовности рыдать, выкрикивать бросающие вызов миру слова и, наконец, даже собственноручно

похитить любимую. Известно ведь, что на безответственной кромке сознательной личности, откуда родом стихи и сказки, обитают и всякие ребяческие воспоминания, которые становятся зримыми, если вдруг легкий хмель усталости, безудержная игра алкоголя или какое-нибудь потрясение озарит светом эти обычно окутанные темнотой области; и более телесными, чем такие фантомы, порывы Аргейма не были, так что у него не было бы причины из-за них волноваться (весомо усиливая таким волнением волнение первоначальное), если бы эти рецидивы инфантильности настойчиво не убеждали его в том, что его душа полна поблекших моральных образчиков. Общезначимость, которую он, как человек, живущий на виду у всей Европы, всегда старался придавать своим действиям, предстала ему вдруг чем-то далеким от внутренней жизни. Вероятно, это вполне естественно, если что-то имеет значение для всех; но поражало обратное следствие из этого заключения, тоже — и Аргейм тут ничего не мог наделать — напрашивавшееся; ведь если общезначимое не связано с внутренней жизнью, то внутреннее состояние человека, наоборот, ничего не значит, и Аргейма преследовало теперь на каждом шагу не только стремление совершить

что-то неправильное, опрокидывающее все вверх дном, но и обременительное сознание, что это-то в каком-то сверхразумном смысле и правильно. С тех пор как он снова узнал огонь, от которого у всех отсыхал язык, его не отпускало чувство, что он забыл путь, каким поначалу шел, и что вся идеология великого человека, его наполнявшая, есть лишь плохонький заменитель чего-то, что он утратил.

Вот почему было естественно, что он вспоминал свое детство. На портретах юной поры у него были большие, черные, круглые глаза, как у мальчика Иисуса на картинах, где тот спорит в храме с книжниками, и он видел, как все его воспитательницы и воспитатели толпились вокруг него, дивясь его одаренности, ибо ребенок он был умный и воспитатели были у него всегда умные. Но он показал себя еще и пылким, чувствительным ребенком, не терпящим несправедливости; поскольку сам он был от таковой вполне огражден, он на улице не проходил мимо чужой обиды и вступал из-за нее в бой. Это было очень важное достижение, если учесть, как ему в этом мешали, ведь не позднее, чем через минуту, кто-нибудь прибегал, чтобы разнять его и его противника. И поскольку такие бои длились все же достаточно

долго, чтобы накопить кое-какой плачевный опыт, но прерывались достаточно своевременно, чтобы оставить у него впечатление несгибаемой храбрости, Арнгейм поныне думал о них одобрительно, и эта барственность неустрашимого мужества перешла позднее в его книги и убеждения, как то и нужно человеку, который должен сказать своим современникам, как надлежит им вести себя, чтобы жить достойной и счастливой жизнью.

Это состояние детства сохранилось у него, таким образом, в относительно живом виде, но другое, возникшее несколько позднее и отчасти как преобразующее продолжение первого, представало ему уснувшим или, вернее, окаменевшим, если позволительно подразумевать тут под камнями брильянты. Это было состояние любви, пробудившееся при соприкосновении с Диотимой к новой жизни, и характерно для него было то, что в юную свою пору Арнгейм изведал его поначалу совсем без женщин, вообще без каких-то определенных лиц, и в этом было что-то обескураживающее, с чем он всю свою жизнь никак не мог справиться, хотя со временем узнал новейшие объяснения этого феномена. «То, что он имел в виду, было, может быть, только непо-

нятным явлением чего-то еще отсутствующего, подобием тех редких выражений на лицах, которые связаны вовсе не с этими, а с какими-то другими лицами, внезапно угадываемыми, но таящимися по ту сторону всего увиденного, это было как тихие мелодии среди шумов, как чувства в людях; ведь жили же в нем чувства, которые, когда их искали его слова, еще не были чувствами, просто в нем словно бы что-то удлинялось, уже погружаясь кончиками и увлажняясь, как порой, в лихорадочно-ясные весенние дни, удлиняются предметы, когда их тени выползают за их пределы и неподвижно движутся в одну сторону, словно отражения в ручье». Так — гораздо, правда, позднее и с другим акцентом — выразил это один писатель, которого Арнгейм ценил, поскольку считалось признаком посвященности знать об этом скрытом от глаз публики, таинственном человеке; сам он, впрочем, не понимал его, ибо такие намеки Арнгейм связывал с речами о пробуждении новой души, ходкими во времена его юности, или с длинными, тощими девичьими телами, которые любило тогда изобразительное искусство, подчеркивавшее их худобу похожим на мясистую чашечку цветка ртом.

Тогда, году примерно в тысяча восемьсот во-

семьдесят седьмом, — «боже мой, значит, почти целый человеческий век тому назад!» — думал Арнгейм, — его собственные фотографии показывали современного, «нового» человека, как это в те времена называли, то есть на нем были закрытый черный атласный жилет и широкий, тяжелого шелка галстук, следовавший моде эпохи бидермейер, но призванный напоминать Бодлера, что подкреплялось орхидеей, которая со всей волшебной порочностью нововведения торчала в петлице, когда Арнгейму-младшему приходилось идти к столу и внедрять свою молодую персону в общество крепко сшитых купцов и друзей отца. Зато фотографии будничных дней щедро показывали дюймовую линейку, выглядывавшую в виде украшения из мягкого английского рабочего костюма, в сочетании с которым, что было довольно комично, но повышало значение головы, носили чрезмерно высокий крахмальный стоячий воротничок. Так выглядел тогда Арнгейм, и даже сегодня он не мог отказать своим изображениям в известной мере доброжелательности. Он хорошо и со рвением еще необычной страсти играл в теннис, площадками для которого в то первое время служили газоны; посещал, к удивлению отца и у всех на глазах,

собрания рабочих, ибо за год учения в Цюрихе свел предосудительное знакомство с социалистическими идеями; но и вполне мог на другой день бесцеремонно промчаться верхом через рабочий поселок. Короче, все это была сумятица противоречивых, но новых духовных веяний, создававших обворожительную иллюзию, что ты родился в надлежащее время, иллюзию, которая так важна, хотя позднее, конечно, понимаешь, что ценность ее отнюдь не в ее редкости. Все более впоследствии считаясь с консервативными тенденциями, Арнгейм даже подозревал, что это постоянно возобновляющееся чувство, что ты пришел в мир последним, есть некое расточительство природы; но от чувства этого он не отказывался, потому что вообще очень не любил отказываться от чего-либо, чем уже обладал, и его коллекционерская натура тщательно хранила в себе все, что имелось тогда на свете. Но сколь ни разнообразной и ни завершенной рисовалась ему его жизнь, сегодня ему казалось, что из всего, что в ней было, совершенно иное и сильное влияние оказывало на него теперь все-таки как раз то одно, что представлялось сперва самым нереальным, — то романтически вещее чувство, которое внушало ему, что он принадлежит не

только деятельному и кипучему миру, но еще и другому, витающему в первом как задержанное дыхание.

Это мечтательное чувство, снова возвращавшееся к нему благодаря Диотиме во всей своей первоначальной интенсивности, велело всякой деятельности утихомириться, сумятица юношеских противоречий и меняющиеся радужные надежды уступали место сну наяву, ощущению, что все слова, события и требования суть одно и то же в своей отвернувшейся от поверхности глубине. В такие мгновения молчало даже честолюбие, события действительности бывали далеки, как шум перед садом, ему казалось, что душа вышла из своих берегов и наконец-то воистину вот она. Хочется всячески подчеркнуть, что это была никакая не философия, а ощущение такое же физическое, как когда видишь тусклую по сравнению с дневным светом луну, безмолвно висящую на утреннем небе. В этом состоянии, правда, уже и юный Пауль Аргейм спокойно обедал в фешенебельных ресторанах, выезжал, тщательно одетый, в свет и везде делал то, что делать следовало, но можно сказать, что при этом от него до него было так же далеко, как до следующего человека или предмета, что внешний мир не

прекращался у его кожи, а внутренний изливал свет не только через его размышления, нет, оба они соединялись в нераздельную уединенность и данность, ласковую, спокойную и высокую, как сон без сновидений. В моральном отношения обнаруживалась тогда поистине великая равнозначность и равноценность; ничто не было ни малым, ни большим, стихотворение и поцелуй в женскую руку весили столько же, сколько многотомное сочинение или политический подвиг, а всякое зло было столь же бессмысленно, сколь излишним по сути становилось и всякое добро в этой объятости нежным изначальным родством всего сущего. Таким образом, Арнгейм вел себя совсем как обычно, только совершалось это словно бы с каким-то неуловимым значением, за дрожащим пламенем которого неподвижно стоял внутренний человек и глядел, как человек внешний ел при нем яблоко или, скажем, примерял у портного костюм.

Было ли все это фантазией или тенью действительности, которую никогда не удастся понять целиком? На это только и можно ответить, что все религии на известных стадиях своего развития утверждали, что это — действительность, а также все влюбленные, все романтики и все, кто

питает слабость к луне, к весне и блаженному увяданию первых осенних дней. Впоследствии, однако, это снова утрачивается; оно улетучивается или засыхает, различить нельзя, только в один прекрасный день оказывается, что на месте этого находится уже что-то другое, и забываешь это так, как забываешь лишь нереальные события, мечты и фантазии. Поскольку это чувство изначальной и вселенской любви возникает по большей части одновременно с первой собственной влюбленностью, то позднее вдобавок успокоенно думаешь, что знаешь ему цену, и причисляешь его к глупостям, позволительным лишь до получения политического избирательного права. Вот какова была, значит, природа этого, но поскольку у Аргейма это никогда не связывалось с женщиной, то оно и не могло уйти с нею из его сердца естественным образом; зато это было перекрыто впечатлениями, которые сказались на нем, как только он по завершении поры студенчества и досуга вошел в дела своего отца. Ничего не делая наполовину, он там вскоре открыл, что созидательная и правильная жизнь — поэма куда более великая, чем все, что насочиняли поэты за письменными столами, а это было уже нечто совсем другое.

Тут впервые обнаружился его талант служить образцом. Ведь у поэмы жизни есть перед всеми остальными поэмами то преимущество, что она как бы набрана заглавными буквами, совершенно независимо от своего содержания. Вокруг самого маленького стажера, который трудится во всемирной фирме, кружится мир, и части света заглядывают ему за плечо, отчего ни одно из его действий не лишено значения; а вокруг одинокого автора, сидящего в своем кабинете, кружатся разве что мухи, хотя бы он из кожи вон лез. Это настолько очевидно, что многим в тот миг, когда они начинают творить в материале жизни, все, что волновало их прежде, кажется «сплошной литературой», то есть оно оказывает в лучшем случае слабое и смутное действие, но чаще противоречивое, уничтожающее себя же, совершенно не соответствующее шуму, поднимаемому вокруг всего этого. Не совсем так, конечно, происходило это у Арнгейма, не отрекавшегося от прекрасных порывов, связанных с искусством, и не способного смотреть на то, что некогда горячо волновало его, как на глупость или блажь; признав превосходство своего взрослого уклада над мечтательно-юношеским, он сразу же стал добиваться, чтобы, руководствуясь

опытом взрослой поры, сплавить обе эти группы пережитого в нечто единое. Фактически же он делал именно то, что делает множество людей, составляющих большинство образованной части общества, которые, вступив в трудовую жизнь, не хотят начисто отрекаться от прежних своих интересов, больше того, только теперь и обретают спокойное, зрелое отношение к мечтательным побуждениям своей молодости. Открытие великого стихотворения жизни, поэмы, в работе над которой они, как им известно, участвуют, снова наделяет их мужеством дилетантов, потерянным ими в ту пору, когда они сжигали собственные стихи; сочиняя жизнь, они вправе смотреть на себя действительно как на прирожденных специалистов, они стараются пронизать свое каждодневное дело духовной ответственностью, чувствуют себя обязанными принимать тысячи маленьких решений, чтобы жизнь была нравственна и прекрасна, берут за образец представление, что так жил Гете, и заявляют, что без музыки, без природы, без созерцания невинной игры детей и животных и без хорошей книги жизнь их не радовала бы. Этот настроенный так средний слой общества является у немцев все еще главным потребителем искусств и всякой не

слишком трудной литературы, но на искусство и литературу, казавшиеся им раньше пределом их желаний, представители этого слоя смотрят, понятно, но крайней мере одним глазом, сверху вниз, как на пройденную ступень, — даже если она в своем роде совершенное того, чем выпало быть им, — или держатся об этом такого же мнения, какого держался бы фабрикант листовой стали о ваятеле гипсовых фигур, если бы имел слабость находить его изделия прекрасными.

На этот средний слой образованного общества Аргейм походил так, как махровая, пышная гвоздика садовая походит на убогую, выросшую на краю дороги гвоздику-травянку. Он никогда не помышлял о духовном перевороте, о принципиальном обновлении, у него речь шла всегда только о том, чтобы увязать с существующим, принять во владение, мягко поправить, морально оживить поблекшую привилегию имеющих авторитет сил. Он не был снобом, не преклонялся перед занимавшей более высокое, чем он, положение частью аристократии; будучи представлен при дворе и поддерживая контакты с высшей знатью, а также с главами бюрократии, он старался приладиться к этому окружению отнюдь не как подражатель, а лишь

как любитель консервативно-феодальных привычек, который не забывает и не хочет заставить забыть свое буржуазное, так сказать, франкфуртско-гетеанское происхождение. Но этим усилием его оппозиционность исчерпывалась, и большее противоречие показалось бы ему уже неправомерным. Он был, пожалуй, в глубине души убежден, что люди деятельные — во главе с коммерсантами, хозяевами жизни, объединяющими их на заре новой эры, — призваны сменить когда-нибудь у власти старые силы, и это вселяло в него какое-то тихое высокомерие, оправданность которого засвидетельствована последующим развитием; но если и предположить, что деньгам свойственно притязать на господство, открытым оставался еще вопрос о том, как правильно употребить эту вожделенную власть. Предшественникам директоров банков и крупных промышленников жилось легко, они были рыцарями и делали из своих противников отбивную, предоставляя церкви распоряжаться духовным оружием; современный же человек, как понимал это Арнгейм, владеет в форме денег надежнейшим ныне методом обращения со всем на свете, однако метод этот может быть не только твердым и точным, как топор гильотины, но и

чувствительным, как ревматик, — взять хотя бы лихорадочные колебания биржевого курса по малейшему поводу! — и тончайше связан со всем, что находится в его власти. Благодаря этой тонкой связи всех структур жизни, связи, забыть о которой способно лишь слепое высокомерие идеологов, Арнгейм стал видеть в царственном коммерсанте синтез революционности и постоянства, силы и буржуазной цивилизованности, разумного риска и убежденного знания, но главное — символический образ рождающейся демократии; неутомимой и строгой работой над собой, духовной организацией доступных ему экономических и социальных связей и мыслями о руководстве всем государством и о его строительстве он старался идти навстречу новому времени, когда неравные от природы и по воле судьбы силы общества распределены верно и плодотворно и идеал не разбивается о неизбежно ограничивающую реальность, а очищается и укрепляется ею. Выражаясь на языке, отдающем деловым жаргоном, он осуществил, стало бить, слияние интересов души и коммерции, выработав всевенчающее понятие «король коммерции», а чувство любви, внушавшее ему некогда, что все в сущности едино, стало теперь ядром его

убежденности в единстве и гармонии культуры и человеческих интересов.

Примерно в эту же пору Арнгейм начал публиковать свои сочинения, и слово «душа» в них попадалось нередко. Можно полагать, что он пользовался им как методом, как почином, как ключевым словом, ибо точно известно, что у князей и генералов души нет, а среди финансистов он был первым, кто обладал ею. Несомненно также, что тут играла роль потребность защитить себя недоступным деловому уму способом от весьма разумного ближайшего окружения, особенно от обладавшего лучшей, чем он, деловой хваткой и властного по натуре отца. И столь же несомненно, что его честолюбивое стремление овладеть всем достойным знания — его страсти к всезнайству и удовлетворил бы некто на свете — нашло в душе средство обесценивать все, чем разум его не мог овладеть. Ибо в этом он не отличался от всей своей эпохи, которая заново потянулась к религии — не по призванию к ней, а только, кажется, из протеста, по-женски обидчивого протеста против денег, знания и расчетливости, перед которыми ей, эпохе, никак не устоять. Но было неясно и неизвестно, верил ли в душу, когда он говорил о ней, сам Арнгейм и приписывал ли

он обладанию душой такую же реальность, как обладанию акциями. Он пользовался ею как термином для выражения чего-то, что нельзя было выразить по-другому. Повинуясь внутренней потребности — ведь он был оратор, не любивший предоставлять слово другим; а позднее, когда узнал, какое он способен производить впечатление, все чаще и в своих книгах, он заводил речь о душе так, словно ее существование было не менее несомненно, чем существование спины, каковой ведь тоже не видишь воочию. Его охватывала истинная страсть писать таким манером о чем-то ясном и в то же время многозначительном, вплетенном в дела мирские, как глубокое молчание в оживленный говор; он не отрицал пользы знаний, напротив, он сам производил сильное впечатление тем, что накапливал их так старательно, как только может накапливать их человек, обладающий всеми необходимыми для этого средствами, но, произведя такое впечатление, он заявлял, что за пределами острого ума и точности находится царство мудрости, познать которое можно только ясновидением; он описывал волю, создающую государства и мировую историю, чтобы дать понять, что при всем своем величии он не более чем рука, движимая

каким-то неведомо где бьющимся сердцем; он объяснял своим слушателям успехи техники или ценность добродетелей самым привычным образом, как то представляет себе любой буржуа, но присовокуплял, что такое употребление сил природы и умственных сил остается все же роковым невежеством, если не чувствовать, что они суть шевеления океана, который лежит глубоко под ними и которого никакие волны не баламутят. И высказывал он такие вещи в стиле указаний наместника изгнанной королевы, устанавливающего в мире порядок согласно полученным лично от нее указаниям.

Быть может, это установление порядка было его истинной и сильнейшей страстью, стремлением к власти, которое, далеко превосходя все, что можно позволить себе даже в его положении, непосредственно и приводило ж тому, что этот столь могущественный в сфере реальности человек минимум раз в году удалялся в свой бранденбургский замок и диктовал книгу стенографировавшему секретарю. То странное чувство, что впервые и мощнее всего вспыхнуло в мечтательные часы его юности, проложило себе теперь эту дорогу, но порой оно овладевало им и непосредственно, хотя и с меньшей силой. Среди

дел мирового размаха оно вдруг находило на него сладостной расслабленностью, тоской по уединению, которая нашептывала ему, что все противоречия, все великие идеи, мировые события и усилия едины не только в том неточном смысле, какой вкладывается в понятия «культура» «гуманность», но еще и в каком-то дико-буквальном, неуловимо-пассивном; так в болезненно прекрасный день скрещиваешь на груди руки, глядишь через реку и луга вдаль и не можешь отделить себя от всего, что видишь. С этой точки зрения его описания были компромиссом. И поскольку душа есть только одна и она неосязаема, поскольку она пребывает в изгнании и заявляет оттуда о себе лишь одним-единственным, таким странно неявным или многозначительным способом, а мировых вопросов, к которым приложима эта королевская воля, несметное, просто бесконечное множество, — ведь приложима она к ним ко всем, — то с годами он оказался в том не на шутку затруднительном положении, в какое попадают все легитимисты и пророки, когда дело затягивается. Стоило Аргейму засесть в одиночестве за писание, как перо с прямо-таки сверхъестественной продуктивностью уводило его мысли от души к проблемам ума, добродетелей, науки

и политики, проблемам, которые, озарившись лучами из невидимого источника, представали в ясном и магически целостном освещении. В этом стремлении распространиться вширь было что-то пьянящее, но зато оно было неотделимо от того расщепления сознания, которое у многих является предпосылкой литературного творчества: ум исключает и забывает все, что его не устраивает; говори Аргейм с каким-нибудь собеседником, чье присутствие связывало бы его с земной обстановкой, он никогда бы так не разошелся, но, склонившись над бумагой, лежавшей наготове, чтобы отражать его взгляды, он с радостью удовлетворялся метафорическим выражением убеждений, твердых лишь в крошечной своей части, а а большей представлявших собой словесный туман, единственная связь которого с реальностью, впрочем немаловажная, состояла в том, что он сам собой поднимался всегда на одних и тех же местах.

Кто станет порицать за это Аргейма, пусть учтет, что обладание в духовном плане двойной личностью давно уже не фокус, удающийся лишь идиотам, что при современных темпах возможность политического благоразумия, способность написать газетную статью, поверить в новые

направления искусства и литературы и бесчисленное множество прочего целиком и полностью основаны на умении быть на определенные часы убежденным вопреки своей убежденности, отщеплять от всей совокупности сознания какую-то часть и расширять ее до нового полномерного убеждения. Это было, таким образом, даже преимуществом, что Арнгейм никогда не был вполне честно убежден в том, что он говорил. Находясь в расцвете лет, он уже высказался обо всем на свете, обладал весьма широкими убеждениями и не видел рубежа, где он, продолжая дальше в том же духе, перестанет приобретать и впредь новые убеждения, гармонически развитые из старых. От столь эффективно думающего человека, который при других состояниях своего сознания просматривал расчеты рентабельности и балансы, не могло ускользнуть, что это деятельность весьма неопределенная и расплывчатая, как бы бескрайне она ни расширялась; единственный свой предел она обретала в целостности его личности, и хотя у Арнгейма хватало сил на весьма высокое о себе мнение, удовлетвориться этим состоянием его разум не мог. Он, правда, сваливал все на иррациональный остаток, который жизнь повсюду демонстрирует осведомленному наблюдателю;

пожимая плечами, он пытался также успокоить себя тем, что нынче все уходит в безбрежность, а поскольку полностью подняться над слабостями своего века никто не может, он даже видел в этом ценную возможность проявлять свойственную всем великим людям добродетель скромности, без зависти ставя выше себя феномены вроде Гомера или Будды, потому что те жили в более благоприятные эпохи. Но со временем, когда его литературный успех достиг вершины, а в его жизни наследного принца решительных перемен не произошло, этот иррациональный остаток, нехватка осязаемых результатов и неприятное чувство, что он не достиг своей цели и позабыл свою первоначальную волю, угнетающе разрослись. Он оглядывал свое творчество, и, хотя он мог быть им доволен, ему иногда казалось, что все эти мысли только отделяют его от какого-то ностальгически напоминающего о себе истока, словно стена из бриллиантов, которая с каждым днем становится толще.

Как раз в последнее время с ним произошел один неприятный случай такого рода, глубоко его задевший. Досуг, который он устраивал себе теперь чаще обычного, он использовал однажды для того, чтобы продиктовать своему секретарю

на машинку статью о соответствии между государственной архитектурой и государственной мыслью, и прервал фразу «Мы видим молчание стен, когда смотрим на эту постройку» после слова «молчание», чтобы один миг насладиться картиной римской Канчеллериа,[27] непроизвольно вдруг представшей внутреннему его взору; но, заглянув потом в напечатанный текст, он заметил, что секретарь, по привычке забегая вперед, уже написал: «Мы видим молчание души, когда…» В тот день Арнгейм не стал больше диктовать, а на следующий день велел зачеркнуть эту фразу.

При переживаниях со столь широкой и глубокой подоплекой много ли весило такое довольно заурядное, как физически связанная с женщиной любовь? Арнгейм должен был, увы, признаться себе, что весило оно ровно столько, сколько суммирующий его жизнь вывод, что все дороги к уму идут от души, но обратно не ведет ни одна! Конечно, уже много женщин имело счастье находиться с ним в близких отношениях, но если это не были натуры паразитические, это были женщины деятельные, с университетским образованием

[27] Примечания: 27

Палаццо делла Канчеллериа — памятник итальянской архитектуры XVI века.

или труженицы искусства, ибо с состоящей на содержании и самостоятельно зарабатывающей на жизнь разновидностями женщин можно было найти общий язык на основе ясных условий; моральные запросы его натуры всегда приводили его к связям, где инстинкт и сопровождающие его неизбежные выяснения отношений с женщинами находили известную опору в разуме. Но Диотима была первой женщиной, захватившей его скрытую позади морали, более тайную жизнь, и поэтому он иной раз глядел на нее прямо-таки с неприязнью. Она была, в конце концов, всегонавсего супругой чиновника, самого высокого, правда, пошиба, однако без того лоска, который может дать только власть, и захоти он связать себя полностью, он мог бы претендовать на девушку из американской денежной аристократии или из английской знати. У него бывали мгновения, когда изначальная разница в воспитании проявлялась в нем наивным детским высокомерием или ужасом выхоленного ребенка, которого впервые привели в общедоступную школу, и тогда его возраставшая влюбленность казалась ему позорной. И когда он с холодным превосходством умершего было для мира и вновь вернувшегося в него духа опять принимался в такие мгновения

за дела, прохладный разум денег, которого ничто замарать не может, казался ему чрезвычайно чистой по сравнению с любовью силой.

Но это не означало ничего, кроме того, что для него настала пора, когда пленник не понимает, как он позволил лишить себя свободы, не защищая ее хотя бы и ценой жизни. Ибо когда Диотима говорила: «Что такое события мировой важности? Un peu de bruit autour de notro amel»[28] — он чувствовал, как здание его жизни дрожит.

87
Моосбругер пляшет

Тем временем Моосбругер все еще сидел в камере для подследственных окружного суда. Его адвокат получил новую поддержку и вовсю старался в инстанциях не дать подвести черту под делом так скоро.

Моосбругер улыбался по этому поводу. Он улыбался от скуки.

Скука убаюкивала его мысли. Обычно-то она их гасит; но его мысли она убаюкивала; на сей раз это было такое состояние, как когда актер сидит

---

[28] Примечания: 28
Немножко шума вокруг нашей души (фр.).

у себя в уборной и ждет выхода.

Будь у Моосбругера большая сабля, он бы сейчас взял ее и отрубил голову стулу. Он отрубил бы голову столу и окну, параше и двери. Потом ко всему, что он обезглавил, он приставил бы собственную голову, ибо в этой камере имелась лишь его собственная голова, и это было хорошо. Он мог себе представить ее надетой на эти предметы, с широким черепом, с волосами, которые, как мех, сбегали с макушки на лоб. Тогда эти предметы ему нравились.

Если бы только камера была побольше и еда получше!

Он был рад, что не мог видеть людей. Выносить людей ему было трудно. У них часто бывала манера так сплевывать или пожимать плечами, что не оставалось никакой надежды и хотелось стукнуть их кулаком в спину, да так, словно надо было пробить дыру в стене. Моосбругер верил не в бога, а в собственный разум. Вечные истины носили у него презрительные наименования: суд, поп, жандарм. Он должен был делать свое дело один, а в таких случаях часто создается впечатление, что все ставят тебе палки в колеса! Он видел перед собой то, что видел часто: чернильницы, зеленое сукно, карандаши; затем портрет

императора на стене и как они все сидели; в его расстановке это представлялось ему капканом, прикрытым, вместо травы и листьев, чувством, что так надо. Затем ему обычно приходило на ум, как на воле стоит куст у излучины реки, приходили на ум скрип колодца, смешавшиеся части ландшафтов, бесконечный запас воспоминаний, о которых он вовсе не знал, что они когда-то были ему приятны. И он мечтал: «Я мог бы вам кое-что рассказать!» Как мечтает молодой человек. А этого молодого человека так часто сажали в тюрьму, что он совсем не старел. «Надо будет мне в следующий раз рассмотреть это получше, — думал Моосбругер, — а то ведь они меня не поймут». А потом он сурово улыбался и говорил о себе с судьями как отец, который говорит о своем сыне: он никуда не РОДИТСЯ, засудите его как следует, может быть, он тогда возьмет себя в руки!

Конечно, его теперь иногда злили тюремные порядки. Или у него что-нибудь болело. Но тогда он мог потребовать, чтобы его отвели к тюремному врачу или к директору, и все опять приходило в какой-то порядок и успокаивалось, как вода над дохлой крысой, упавшей в нее. Представлял он себе это, правда, не в таком именно виде, но ощущение, что он простерся, как большая, блестящая

вода, — оно было у него теперь почти все время, хотя слов для этого у него не было.

Слова у него были такие: гм-гм, так-так.

Стол был Моосбругером.

Стул был Моосбругером.

Окно с решеткой и запертая дверь были им самим.

Он вовсе не находил это безумным и необычным. Просто не стало резиновых тесемок. Позади каждой вещи или твари, когда она хочет вплотную приблизиться к другой, есть резинка, которая натягивается. А то бы вещи стали проходить друг через друга. И в каждом движении есть резинка, мешающая человеку сделать целиком то, что ему хочется. И вот этих резинок вдруг не стало. Или не стало только стесняющего чувства как бы от резинок?

Наверно, так уж точно различить это нельзя? «Например, у женщин чулки держатся на резинках. Вот в чем штука! — думал Моосбругер. — Они носят как амулет резинки, охватывающие бедро. Под юбками. Как кольца, которые малюют на фруктовых деревьях, чтобы черви не лезли вверх».

Но это лишь так, к слову. Чтобы не думали, что у Моосбругера была потребность называть всех и

вся братьями. Он был как раз не таков. Он просто был внутри и снаружи.

Он теперь всем владел и на все покрикивал. Он все приводил в порядок до того, как его убьют. Он мог думать о чем угодно, оно сразу же делалось покорным, как хорошо натасканная собака, которой говорят «Куш!». У него, хотя его засадили в тюрьму, было огромное чувство власти.

Вовремя подавали суп. Вовремя будили и водили гулять. Все в камере совершалось строго вовремя и неукоснительно. Иногда это казалось ему просто невероятным. У него было странно превратное впечатление, что этот порядок идет от него, хотя он и знал, что порядок этот ему навязан.

У других людей бывают такие ощущения, когда они летом лежат в тени изгороди, пчелы жужжат, маленькое и четкое солнце ползет по молочному небу; мир вертится тогда, как механизм курантов, вокруг таких людей. Моосбругеру достаточно было для этого геометрического зрелища, какое являла его камера.

Он замечал при этом, что, как сумасшедший, тоскует о хорошей еде; он мечтал о ней, и средь бела дня перед взором его с почти жутким упорством возникали очертания хорошей порции

жареной свинины, как только мысли его, покончив с другими занятиями, возвращались назад.

«Две порции! — приказывал тогда Моосбругер. — Или три!» Он думал об этом с такой силой и так жадно увеличивая эту воображаемую картину, что мгновенно чувствовал пресыщение и тошноту, мысленно обжирался. «Почему, — размышлял он, качая головой, — за охотой поесть так скоро приходит страх, что ты вот-вот лопнешь?» Между едой и страхом лопнуть лежат все радости мира; ах, что за мир, на сотне примеров можно доказать, как узко это пространство! Вот только один из них. Женщина, когда она не твоя, такая, словно ночью луна поднимается все выше и выше и сосет, и сосет сердце; а когда она была твоей, хочется топтать ее лицо сапогом. Почему это так? Он вспомнил, что его часто об этом спрашивали. Можно было, значит, ответить, что женщины — это женщины и мужчины, потому что мужчины за ними гоняются. Но и этого те, кто его спрашивал, толком не понимали. Они хотели знать, почему он воображает, что люди в заговоре против него. Как будто даже его собственное тело не было с ними в заговоре! В отношении женщин это ведь яснее ясного. Но и с мужчинами тело его лучше находило общий язык, чем он сам; одно

слово тянет за собой другое, известно, как полагается вести себя, крутишься день-деньской друг возле друга, и глядь, в один миг оказываешься за пределами той узкой полоски, где неопасно общаться друг с другом; но если это навлекает на него его тело, то пусть бы оно и освобождало его от этого! Насколько Моосбругер помнил, он всегда сердился или боялся, и его грудь с руками бросалась вперед, как большой пес, которому так велели. Больше этого не понимал и сам Моосбругер; то-то и оно, что пространство между дружелюбием и пресыщенностью узко, а уж когда дело на то пойдет, оно быстро становится узким до ужаса.

Он очень хорошо помнил, что люди, умеющие объясняться иностранными словами и постоянно восседавшие над ним в суде, часто говорили ему в укор: «Но ведь из-за этого не убивают же человека на месте?!» Моосбругер пожимал плечами. Людей убивали, случалось, из-за нескольких крейцеров или ни за что, потому что кому-то так вздумалось. Но он держал себя в руках, он был не из таких. Упрек этот со временем стал задевать его за живое; он рад был бы узнать, отчего ему время от времени становилось до того тесно или как там это назвать, что он должен был силой

освобождать себе место, чтобы кровь отлила у него от головы. Он размышлял. Но разве и с размышлением дело не обстояло именно так же? Когда начиналось хорошее для этого время, хотелось только улыбаться от удовольствия. Тогда мысли уже не гудели в башке, тогда оставалась вдруг одна-единственная мысль. Разница была так же велика, как между хныканьем младенца и плясом красивой бабы. Просто как колдовство. Играет гармошка, свеча стоит на столе, бабочки налетают из летней ночи — так теперь все мысли падали в свет одной, или Моосбругер хватал их, когда они подлетали, своими большими пальцами и раздавливал, и между его пальцами они миг-другой были странно похожи на каких-то дракончиков. Капля моосбругеровской крови упала в мир. Этого нельзя было видеть, потому что было темно, но он чувствовал, что происходило в невидимом. Запутанное выравнивалось там, снаружи. Всклокоченное сглаживалось. Беззвучный танец сменял невыносимое жужжанье, которым его обычно донимал мир. Все, что происходило, было теперь красиво; так становится красивой некрасивая девка, когда она не стоит одна, а, взявшись с другими за руки, кружится в хороводе и лицо поднимается лестницей, откуда глядят

вниз уже другие. Это было поразительно, и как только Моосбругер открывал глаза и смотрел на людей, случавшихся поблизости в такую минуту, когда все повиновалось ему, отплясывая, они тоже казались ему красивыми. Тогда они не были в заговоре против него, не составляли стены, и оказывалось, что искажала лицо людей и вещей, как бремя, только потуга его перещеголять. И тогда Моосбругер плясал перед ними. Плясал с достоинством, невидимо, он, который в жизни ни с кем не плясал, плясал, повинуясь музыке, все более превращавшейся в самоуглубление и сон, в лоно богоматери и наконец в покой самого бога, в дивно невероятное и смертельно раскованное состояние; плясал целыми днями, не видимый никем, пока все не выходило из него наружу, не прилеплялось к вещам, ломкое и тонкое, как паутина, прихваченная морозом.

Не изведав вместе с ним этого, как же можно судить обо всем другом?! За легкими днями и неделями, когда Моосбругер почти вылезал из своей кожи, снова и снова приходили долгие времена заточения. Государственные тюрьмы были ничто в сравнении с этим. Когда он в такие времена пытался думать, все сжималось в нем, горькое и пустое. Рабочие клубы и просве-

тительные кружки, где ему хотели сказать, как надлежит ему думать, он ненавидел, помня, какими гигантскими, словно на ходулях, шагами могли в нем двигаться мысли! Тогда он тащился по миру на налитых свинцом ногах, надеясь найти такое место, где снова все будет иначе.

Сегодня он только снисходительно улыбался, вспоминая об этой надежде. Ему так и не удалось найти ту середину между своими двумя состояниями, где он, может быть, и остался бы. С него было довольно. Он величественно улыбался приближавшейся смерти.

Повидал он, во всяком случае, многое. Баварию и Австрию до самой Турции. И много произошло такого, о чем он читал в газетах, пока он жил. Это было бурное время, в общем. И втайне он был, собственно, даже горд тем, что жил в нем. Если брать каждую часть прожитого им в отдельности, штука получалась запутанная и унылая, но в итоге путь его шел прямо насквозь и виден был потом совершенно ясно, от рождения до смерти. У Моосбругера отнюдь не было чувства, что его казнят; он казнил себя сам, с помощью других людей, — так видел он предстоявшее. И все както складывалось в нечто целое: проселочные дороги, города, жандармы и птицы, мертвые тела

и его смерть. Он сам понимал это не вполне, а другие и того меньше, хотя умели говорить об этом больше.

Он сплюнул и подумал о небе, которое с виду как мышеловка голубого цвета. «В Словакии делают такие круглые, высокие мышеловки», — подумал он.

88
Связь с великими вещами

Давно уже следовало бы упомянуть одно обстоятельство, затрагивавшееся в разных связях; сформулировать его можно примерно так: нет ничего столь опасного для духа, как его связь с великими вещами.

Человек идет по лесу, взбирается на гору и видит мир распростертым внизу, глядит на своего ребенка, которого ему первый раз дают взять на руки, или имеет счастье занимать какое-то положение, которому все завидуют; мы спрашиваем: что происходит в нем при этом? Конечно, так ему кажется, что-то очень многообразное, глубокое и важное; только у него не хватает духу поймать это, так сказать, на слове. Замечательное перед ним и вне его заключает его как магнитная обо-

лочка и вытягивает из него его мысли. Его взоры застревают на тысяче частностей, но втайне у него такое чувство, словно он израсходовал все свои боеприпасы. Снаружи этот озаренный душой, озаренный солнцем, глубокий или великий час покрывает мир до последнего листочка, до последней жилки своим гальваническим серебром; но на другом, личном конце вскоре ощущается какой-то внутренний недостаток вещества, там возникает, так сказать, большой, пустой, круглый нуль. Это состояние — классический симптом соприкосновения со всем вечным и великим, как и пребывания на вершинах человечности и природы. У лиц, предпочитающих общество великих вещей, — а к ним принадлежат прежде всего великие души, для которых малых вещей вообще не существует, — у лиц этих внутренний их мир невольно оказывается вытянутым наружу и расширенным до поверхностности.

Опасность связи с великими вещами можно поэтому назвать и законом сохранения духовного вещества, и закон этот, кажется, довольно-таки общий. Речи высокопоставленных, занятых великими делами людей обычно бессодержательнее, чем наши собственные. Мысли, находящиеся в особенно близком отношении к особенно достой-

ным предметам, выглядят обычно так, что без этого преимущества их сочли бы очень отсталыми. Самые дорогие для нас задачи — нации, мира, человечества, добродетели и прочие столь же дорогие — несут на своей спине самую дешевую духовную флору. При таком положении мир кажется весьма извращенным; но если допустить, что разработка темы может быть тем незначительнее, чем значительней сама тема, то это и есть мир порядка.

Однако закон этот, сильно способствующий пониманию европейской духовной жизни, не всегда одинаково очевиден, и во времена перехода от какой-то группы великих предметов в какой-то новой дух, ищущий служения великим предметам, может показаться даже подрывным и бунтарским, хотя он только меняет ливрею. Такой переход был заметен уже тогда, когда люди, о которых здесь повествуется, жили своими заботами и триумфами. Так, например, чтобы начать с предмета, особенно много значившего для Аргейма, уже были книги, продававшиеся очень большими тиражами, но им еще не оказывали очень большого уважения, хотя большое уважение оказывали уже только книгам, перевалившим за определенный тираж. Имея

такие влиятельные виды промышленности, как футбол или теннис, еще медлили с созданием соответствующих кафедр при высших технических училищах. В общем, ввез ли в свое время картофель из Америки, с чего начался конец периодического голода в Европе, блаженный задира и адмирал Дрейк, сделал ли это менее блаженный, очень образованный и столь же задиристый адмирал Рейли, или то были безымянные испанские солдаты, а то и вовсе славный мошенник и работорговец Гокинс, — долгое время никому не приходило в голову считать из-за картофеля этих людей более значительными, чем, скажем, физика Аль-Ширази, о котором известно только, что он верно объяснил радугу; но с буржуазной эпохой началась переоценка таких свершений, а во времена Аргейма она продвинулась уже далеко, и задерживали ее только старые предрассудки. Количество эффекта и эффект количества, как новый, предельно ясный предмет почитания, боролись еще с устаревающим и слепым аристократическим почтением к великому качеству, но в мире общих представлений из этого уже возникли самые нелепые компромиссы, такие, например, как само представление о великом уме, которое, судя по нашему знакомству с ним

за последний человеческий век, было синтезом собственного и картофельного значения этого ума, ибо ждали человека одинокого, как гений, но при этом общепонятного, как соловей.

Трудно было сказать наперед, что таким путем выйдет, поскольку опасность связи с великими вещами становится видна обычно только тогда, когда величие этих вещей уже наполовину в прошлом. Нет ничего проще, чем посмеяться над чинушей, который от имени его величества унизил ту или иную появившуюся партию, но является или нет чинушей тот, кто от имени завтрашнего дня возвеличивает сегодняшний, — это обычно никому неизвестно, пока не придет послезавтра. Опасность связи с великими вещами имеет то очень неприятное свойство, что вещи эти меняются, а опасность остается всегда одинакова.

89
Надо идти в ногу со временем

Доктор Аргейм принял по предварительной договоренности двух важных служащих своей фирмы и долго совещался с ними; утром в гостиной, ожидая секретаря, валялись в беспо-

рядке документы и сметы. Арнгейм должен был вынести какие-то решения, делегаты собирались уехать назад с послеполуденным поездом, и сегодня он, как всегда, наслаждался такой ситуацией, ибо при любых условиях она обеспечивала известное напряжение. «Через десять лет, размышлял он, — техника дойдет до того, что у фирмы будут собственные самолеты; тогда я смогу управлять своими людьми даже с летней дачи на Гималаях». Поскольку решения он уже принял за ночь и должен был при свете дня только еще раз проверить их и одобрить, он был сейчас свободен; он велел принести завтрак в комнату и дал за сигарой роздых своему уму, вспоминая сборище у Диотимы, которое накануне вечером ему пришлось покинуть несколько преждевременно.

На сей раз общество было весьма занятное: очень много людей моложе тридцати, максимум тридцати пяти лет, почти еще богема, но уже известные и замеченные газетами; не только местные жители, но и гости со всего мира, привлеченные слухом, что в Какании одна женщина из высшего круга протаптывает духу тропинку в мир. Порой все это походило на кафе, и Арнгейм улыбался, вспоминая Диотиму, которая, казалось,

испытывала страх в собственных стенах; но в целом это был, по его мнению, очень интересный и во всяком случае необычный эксперимент. Разочарованная безрезультатными встречами совсем великих людей, его приятельница сделала решительную попытку влить в параллельную акцию новейший дух, и связи Аргейма пошли ей при этом на пользу. Он только качал головой, вспоминая разговоры, которые ему довелось слышать; он находил их довольно-таки сумасшедшими, но надо уступать молодежи, — говорил он себе, — человек становится невозможен, если просто отвергает ее. Итак, он чувствовал, что все это его, если можно так выразиться, всерьез позабавило, ибо впечатлений было для одного раза многовато.

Что там они посылали к черту? Ощущение. Они имели в виду то личное ощущение, о земном тепле которого, о близости его к действительности пятнадцать лет назад мечтал импрессионизм, как о чудесном растении. Импрессионизм они называли теперь изнеженным и безголовым. Они требовали контроля над чувственностью и интеллектуального синтеза.

А синтез, он означал в общем, по-видимому, нечто противоположное скепсису, психологии,

исследованиям и анализу, литературным склонностям века отцов?

Насколько можно было понять, они вкладывали в это не очень философский смысл; то, что они понимали под синтезом, было скорее потребностью молодых костей и мышц в нестесненном движении, прыганьем и пляской, когда никому не позволяешь мешать себе критикой. Если бы это устроило их, они не постеснялись бы послать и черту и синтез заодно с анализом и мышлением вообще. Затем они утверждали, что сок ощущения должен устремлять дух ввысь. Утверждали это обычно, разумеется, члены другой группы; но иногда в пылу и те же самые.

Какие у них были замечательные слова! Интеллектуального темперамента требовали они. Стремительного стиля мышления, бросающегося миру на грудь. Отточенного мозга космического человека. Что же он там еще слышал?

Преобразование человека на основе американского плана всемирного труда, через посредство механизированной силы.

Лиризм, связанный с энергичнейшим драматизмом жизни.

Техницизм; дух, достойный эпохи машины.

— Блерио, — воскликнул один из них, — летит

сейчас над Ла-Маншем со скоростью пятьдесят километров в час! Надо бы написать поэму этих пятидесяти километров в час и выбросить всю остальную трухлявую литературу на свалку!

Акселеризма требовали они, то есть максимального повышения скорости ощущений на основе спортивной биомеханики и акробатической точности!

Фотогенического обновления через кинематограф.

Затем кто-то сказал, что человек есть таинственная полость, отчего его следует приобщить к космосу конусом, шаром, цилиндром и кубом. Но утверждалось и обратное — что лежащее в основе этого мнения индивидуалистическое восприятие искусства идет к концу; что грядущему человеку надо дать новое чувство жилья с помощью общественных зданий и поселков. И когда так образовались индивидуалистическая и социальная партии, вмешалась третья, заявив, что только религиозные художники социальны в подлинном смысле слова. Затем группа новых архитекторов потребовала, чтобы ей предоставили руководство, ибо цель архитектуры и есть религия; к тому же с побочным эффектом любви к родине и оседлости. Религиозная группа,

усиленная кубической, заметила, что искусство — это дело не зависящее от чего-то, а главное, что это исполнение космических законов; в дальнейшем, однако, религиозная группа была снова покинута кубической, которая присоединилась к архитекторам, утверждая, что лучше всего приобщают к космосу все-таки формы пространства, делающие индивидуальное законным и типичным. Была брошена фраза, что нужно вглядеться в душу человека и потом запечатлеть ее в трех измерениях. Потом кто-то запальчиво и эффектно поставил вопрос, что, собственно, по их мнению, важнее — десять тысяч голодающих или произведение искусства?! И правда, почти все они, будучи в каком-то роде художниками, считали, что духовное выздоровление человечества заключено только в искусстве, и не могли столковаться лишь относительно природы этого выздоровления и требований, которые надо ради него предъявить к параллельной акции. Но затем первоначальная социальная группа опять захватила инициативу и заговорила новыми голосами. Вопрос, важнее ли произведение искусства или беда десятков тысяч людей, превратился в вопрос, стоят ли десять тысяч произведений искусства беды одного единственного человека. Некото-

рые из тех, что покрепче, потребовали, чтобы художник не придавал себе такого уж большого значения; долой самопрославление, требовали они, пусть он будет голоден и социален! Жизнь — величайшее и единственное произведение искусства, сказал кто-то. Чей-то могучий голос вставил: объединяет не искусство, а голод! Чей-то компромиссный голос напомнил, что лучшее средство против переоценки в искусстве себя самого — это здоровая ремесленная основа. И после этого компромиссного высказывания, воспользовавшись паузой, возникшей то ли от переутомления, то ли от взаимного отвращения, кто-то снова спокойно спросил, можно ли надеяться добиться чего-либо до тех пор, пока даже контакт человека с пространством не установлен?! Это послужило сигналом для того, чтобы техницизм, акселеризм и так далее опять попросили слова, и дискуссия еще долго вертелась туда и сюда. Наконец, однако, пришли к единому мнению, потому что хотелось уйти домой с каким-то результатом; поэтому стороны сошлись на утверждении, выглядевшем примерно так: нынешнее время полно надежд, нетерпеливо, неистово и злополучно; но Мессии, которого оно с надеждой ждет, пока еще не видать.

Арнгейм на минуту задумался.

Вокруг него все время собирался кружок; когда от кучки отделялись люди, которые плохо слышали или не могли проявить себя, их место тотчас же занимали другие; он явно стал центром и этого нового собрания, даже если это не всегда находило выражение в несколько невежливой дискуссии. Да и в том, что их занимало, он уже давно хорошо разбирался. Он знал о соотношениях в кубе; он строил садовые поселки для своих служащих; машины с их разумом и темпом были ему знакомы; он умел говорить о проникновении в душу и уже вложил капитал в возникавшую кинопромышленность. Восстанавливая содержание этой дискуссии, он вспомнил, кроме того, что протекала она далеко не так упорядоченно, как это невольно представляла его память. Ход у таких разговоров своеобычный — словно расставленным по разным углам многоугольника и вооруженным палками спорщикам приказали идти вперед с завязанными глазами; это сумбурное и утомительное действо без логики. Но не отражение ли это хода вещей вообще? Он тоже определяется не запретами и законами логики, которым достается разве что роль полиции, а беспорядочными движущими силами духа. Вот о чем

спросил себя Аргейм, вспоминая оказанное ему внимание, и нашел возможным сказать также, что новая манера думать похожа на свободную игру ассоциациями при попустительстве разума, игру, нельзя отрицать, весьма увлекательную.

В порядке исключения он закурил вторую сигару, хотя вообще-то не позволял себе таких чувственных слабостей. И еще держа зажженную спичку и делая мышцами лица сосательные движения, он вдруг невольно улыбнулся, потому что вспомнил о маленьком генерале, заговорившем с ним на вчерашнем приеме. Поскольку Аргеймы владели фабрикой пушек и броневых плит и были готовы к массовому производству боеприпасов в случае войны, он очень хорошо понял его, когда этот немного смешной, но симпатичный генерал (он говорил совсем не так, как прусские генералы; ленивее, конечно, но с ароматом, можно сказать, старой культуры, — правда, следовало бы уж, наверно, прибавить: культуры гибнущей!) доверительно — и со вздохами, прямо-таки философски! — высказал ему свое мнение о разговорах, которые велись вокруг них в этот вечер и отчасти, по крайней мере, надо было признать, носили и радикально пацифистский характер.

Генерал, как единственный здесь офицер, чув-

ствовал себя явно не совсем уютно и жаловался на изменчивость общественного мнения, потому что некоторые речи о священности человеческой жизни имели успех.

— Я не понимаю этих людей, — с такими словами обратился он к Аргейму как к человеку всемирно признанного ума за разъяснением. — Я не понимаю, почему эти новые люди так невежественно толкуют о каких-то «кровавых генералах». У меня такое чувство, что людей постарше, которые обычно бывают здесь, я понимаю прекрасно, хотя в них ведь, конечно, тоже нет ничего воинского. Например, если этот знаменитый поэт — не знаю его фамилии, такой высокий, пожилой, с брюшком, что написал, говорят, стихи о греческих богах, звездах и вечных человеческих чувствах; хозяйка дома сказала мне, что он настоящий поэт, причем в эпоху, рождающую обычно разве что интеллектуалов, так вот, повторяю, я его не читал, но я наверняка понял бы его, если действительно его значение состоит главным образом в том, что он не занимается мелочами, ведь в конце концов у нас, у военных, такого называют стратегом. Фельдфебель, если вы позволите мне привести этот низкий пример, должен, конечно, заботиться о благополучии каждого отдельного

солдата в своей роте; стратег же счет людям ведет на тысячи — это для него самая малая единица — и должен уметь пожертвовать хоть десятью такими единицами сразу, если того потребует высшая цель. Я нахожу совершенно нелогичным, что в одном случае толкуют о кровавом генерале, а в другом — о вечных ценностях, и прошу вас объяснить мне это, если возможно!

Особое положение Аргейма в этом городе и этом обществе пробудило в нем известную насмешливость, которую он обычно тщательно сдерживал. Он знал, кого имел в виду маленький генерал, хотя и не показал, что знает; да и не в этом было дело, он сам мог бы привести ему в пример не одну разновидность этого сорта величия. Выглядели все они в тот вечер неважно, этого не заметить нельзя было.

Неприятно на миг задумавшись, Аргейм задержал дым сигары между раскрытыми губами. Его собственное положение в этом кругу тоже было не совсем легким. Несмотря на весь его авторитет, ему случалось выслушивать и злые замечания, направленные словно бы против него самого, и проклятию часто предавалось то самое, что он в юности любил совершенно так же, как любили эти молодые люди идеи своего

поколения. Он испытывал странное, чуть ли не жутковатое ощущение, когда его чествовали молодые люди, на том же дыхании беспощадно глумившиеся над прошлым, к которому он сам был втайне причастен; Аргейм чувствовал в себе при этом гибкость, способность преображаться, предприимчивость, даже, пожалуй, дерзкую беспардонность хорошо скрытой нечистой совести. Он мгновенно сообразил, что отделяет его от этого нового поколения. Эти молодые люди перечили друг другу во всем решительно, несомненно общим у них было только то, что замахивались они на объективность, на интеллектуальную ответственность, на уравновешенную личность.

Одно особое обстоятельство позволяло Аргейму испытывать при этом чуть ли не злорадство. Слишком высокая оценка иных его сверстников, у которых личное начало проступало особенно сильно, была ему всегда неприятна. Имен такой аристократический противник, как он, конечно, не называл даже мысленно, но он точно знал, кого он имел в виду. «Здравомыслящий, скромный мальчик, жаждущий блестящих услад», — говоря словами Гейне, которого Аргейм скрытно любил и в этот миг про себя процитировал. «Надо воздать хвалу его усилиям и его усердию в поэзии…

жестокому труду, несказанному упорству, яростному напряжению, с которыми он отделывает свои стихи…» «Музы не благосклонны к нему, но гений языка ему подвластен». «Страшное принуждение, которому он должен себя подвергать, он называет подвигом в слове». У Аргейма была превосходная память, и цитировать он мог наизусть целыми страницами. Он отклонился от темы. Он восхитился тем, как Гейне, борясь с одним из своих современников, предвосхитил тип людей, сложившийся вполне только теперь, и это вдохновило его на собственные усилия, когда он опять обратился ко второму представителю великой немецкой идеалистической мысли, поэту генерала. После тощей разновидности духа это была тучная. Его торжественный идеализм соответствовал тем большим, глубоким духовым инструментам в оркестре, что похожи на поставленные стоймя паровозные котлы и издают нескладные, хрюкающие и громыхающие звуки. Одной нотой они покрывают тысячу возможностей. Они выдувают целые тюки вечных чувств. Кто умеет в какой-нибудь такой манере трубить стихами, — подумал Аргейм не совсем без горечи, — тот у нас считается сегодня поэтом, в отличие от литератора. Так почему не

сразу уж и генералом? Ведь со смертью такие люди на дружеской ноге, и им постоянно нужна тысяча-другая умерших, чтобы с достоинством насладиться мгновением жизни.

Но тут кто-то заметил, что даже собака генерала, воющая в благоухающую розами ночь на луну, могла бы, если бы ее призвали к ответу, сказать: «Что вы хотите, это же луна, и это вечные чувства моей породы», — точно так же, как какой-нибудь господин из тех, кого за это славят! Да, такой господин мог бы еще прибавить, что его чувство, без сомнения, сильно своей подлинностью, его выразительные средства богаты эмоциями и все же так просты, что его понимает публика, а что касается его мыслей, то они, спору нет, отступают на задний план перед его чувством, но это целиком соответствует общепринятым требованиям и никогда еще не было помехой в литературе.

Неприятно озадаченный Арнгейм еще раз задержал дым сигары между губами, которые остались на миг открыты, как полуподнятый шлагбаум между личностью и внешним миром. Иных из этих особенно чистых поэтов он, потому что так полагается, при каждом случае хвалил, а в некоторых случаях поддерживал и деньгами; но, по сути, как он теперь увидел, он их вместе с

их напыщенными стихами терпеть не мог. «Этим геральдическим господам, которые и прокормить-то себя не могут, — подумал он, — место, в сущности, в каком-нибудь заповеднике, в обществе последних зубров и орлов!» И поскольку, следовательно, как показал прошлый вечер, поддерживать их было не в духе времени, рассуждение Арнгейма закончилось не без выгоды для него.

90
Низложение идеократии

Это феномен, вероятно, вполне объяснимый, что во времена, дух которых похож на рынок, настоящей противоположностью им считаются поэты, ничего общего со своим временем не имеющие. Не марая себя современными мыслями, они поставляют, так сказать, чистую поэзию и говорят с верующими в них на вымерших диалектах величия, словно они только что ненадолго вернулись на землю из вечности, — совершенно так же, как человек, который три года назад эмигрировал в Америку и, приехав на родину погостить, говорит по-немецки уже нечисто. Феномен это примерно такой же, как если бы

пустую яму прикрыли для компенсации пустым же куполом, а поскольку обыкновенную пустоту пустота величавая лишь увеличивает, то в общем вполне естественно, что за эпохой такого поклонения личности следует другая, решительно отметающая всю эту шумиху по поводу ответственности и величия.

Осторожно, в виде пробы и с приятным чувством личной застрахованности от урона, Арнгейм пытался приспособиться к этому неминуемому, как он предполагал, ходу событий. Он думал при этом обо всем, что видел за последние годы в Америке и Европе; о новом помешательстве на танцах, будь то танцевально синкопированный Бетховен или ритмы новой чувственности; о живописи, где максимум духовных связей надлежало выразить минимумом линий и красок; о кинематографе, где жест, значение которого известно всему миру, покорял весь мир маленьким новшеством в его показе; и, наконец, просто об обыкновенном человеке, который уже тогда, уверовав в спорт, надеялся средствами сучащего руками и ногами младенца овладеть великой грудью природы. Во всех этих явлениях бросается в глаза известная склонность к аллегории, если понимать под этим такие духовные отношения,

когда все значит больше, чем ему по-честному причиталось бы. Ведь как шлем и несколько скрещенных мечей напоминали обществу времен барокко обо всех богах и об их историях и не кавалер Икс целовал графиню Игрек, а бог войны богиню целомудрия, — так и сегодня, тиская друг друга, Икс и Игрек ощущают темп времени или еще что-нибудь из доброй сотни новых расхожих шаблонов, которые образуют, правда, уже не Олимп, маячащий над тисовыми аллеями, а всю современную неразбериху как таковую. В кино, в театре, на площадке для танцев, на концерте, в автомобиле, самолете, на воде, на солнце, в швейных мастерских и коммерческих конторах непрестанно возникает огромная поверхность, состоящая из впечатлений, выражений, жестов, манер и переживаний. Внешне и в частностях очень четкий, этот процесс походит на быстро вращающееся тело, где все стремится к поверхности и там взаимосвязывается, а внутри царят сумятица, хаос и неразбериха. И будь Арнгейм в силах заглянуть на несколько лет вперед, он уже увидел бы, что тысяча девятьсот двадцать лет европейской морали, миллион жертв ужасной войны и немецкий лес поэзии, шумевший над женской стыдливостью, не смогли отсрочить

хотя бы на час тот день, когда юбки и волосы женщин начали укорачиваться и девушки Европы на какое-то время вышли нагишом из тысячелетних запретов, сняв их с себя, словно кожуру с банана. Он увидел бы и другие перемены, которые раньше едва ли счел бы возможными, и совершенно неважно, что из этого удержится, а что снова исчезнет, как подумаешь, сколь великие и, вероятно, напрасные усилия понадобились бы, чтобы прийти к таким революциям в быту ответственным путем умственного развития, через философов, художников и поэтов, а не через портных, капризы моды и всяческие случайности; ведь из этого видно, какой творческой силой наделена поверхность вещей по сравнению с бесплодным упрямством мозга.

Это — низложение идеократии, мозга, оттеснение духа на периферию, самая конечная, как Аргейму казалось, проблема. Конечно, жизнь всегда шла этим путем, она неизменно перестраивала человека сначала снаружи, потом внутри; но прежде с той разницей, что ты чувствовал себя обязанным выдавать что-то и изнутри наружу. Даже генеральская собака, о которой он в этот момент с теплотой вспомнил, никак не поняла бы другого хода вещей, ибо этого верного

спутника человечества сформировал еще стабильный, послушный человек прошлого века по своему подобию; но ее кузен тетерев, который часами пляшет, понял бы все отлично. Когда он, распушив перья, роет когтями землю, души тут, наверно, больше, чем когда ученый за своим письменным столом связывает одну мысль с другой. Ведь в конечной счете все мысли идут от суставов, мышц, желез, глаз, ушей и от смутных общих впечатлений кожаного мешка, куда все это помещено, от самого себя в целом. Прошлые века совершали, вероятно, тяжелую ошибку, придавая слишком большую важность рассудку и разуму, убеждению, понятию и характеру; это все равно что считать регистратуру и архив важнейшей частью учреждения, потому что они расположены в главном здании, хотя они суть лишь подсобные отделы, получающие директивы извне.

И вдруг — возможно, под действием слабых симптомов разложения, вызванных у него любовью, — Арнгейм нашел область, где следует искать спасительную и улаживающую эти сложности мысль; мысль эта каким-то приятным образом была связана с представлением о повышенном обороте. Нельзя было отрицать, что этой новой эпохе свойствен повышенный оборот

мыслей и впечатлений, он должен был возникнуть как естественное следствие уклонения от их кропотливой интеллектуальной переработки. Представив себе, что мозг эпохи заменен предложением и спросом, а дотошный мыслитель — регулирующим их коммерсантом, он невольно насладился волнующим зрелищем огромного производства впечатлений, которые свободно соединяются и разъединяются, этакого нервного желе, дрожащего при любой тряске всеми своими частями, гигантского тамтама, оглушительно гремящего при малейшем прикосновении. Тот факт, что картины эти не совсем подходили друг к другу, был уже следствием мечтательного состояния, в которое они привели Арнгейма; ибо ему казалось, что именно такую жизнь можно сравнить со сном, когда одновременно находишься снаружи, участвуя в удивительнейших событиях, и тихо лежишь среди них разреженным «я», в вакууме которого все чувства сияют, как трубки неоновых ламп. Это думает жизнь вокруг человека и, танцуя, рождает для него связи, которые он лишь с трудом и далеко не так калейдоскопично сочленяет, если прибегает для этого к разуму. Так, на коммерсантский лад и в то же время волнуясь каждой клеткой своего тела, размышлял

Арнгейм о свободном духовно-физическом взаимодействии предстоящей эпохи, и ему казалось вполне вероятным, что возникает нечто коллективное, панлогическое и что теперь, отбросив устаревший индивидуализм и проявляя все превосходство и всю изобретательность белой расы, люди находятся на возвратном пути к реформе рая, чтобы внести современное разнообразие в по-деревенски отсталую программу сада Эдема.

Одно лишь мешало. Ведь такой же, как во сне, способностью вкладывать в то или иное событие некое необъяснимое, пронизывающее всего тебя чувство, такой же способностью ты обладаешь и в бодрствовании, но только если тебе пятнадцать или шестнадцать лет и ты еще школьник. Тогда тоже, как известно, в человеке все бурлит, ему неймется, он в каком-то томлении; его чувства очень интенсивны, но еще не очень расчленены, любовь и гнев, счастье и сарказм, короче, все моральные отвлеченности — это судорожные события, то захватывающие весь мир, то сжимающиеся в ничто; печаль, нежность, величие и благородство образуют своды пустых высоких небес. А что происходит? Извне, из расчлененного мира приходит готовая форма, слово, стих, демонический смех, приходят Наполеон, Цезарь,

Христос или, чего доброго, лишь слеза над могилой родимой — и по молниеносной ассоциации возникает произведение. Слишком легко не заметить, что это произведение старшеклассника есть последовательное и завершенное выражение чувства, точнейшее соответствие замысла и реализации, совершенное слияние переживаний молодого человека с жизнью великого Наполеона. Только вот, кажется, связь, ведущая от великого к малому, почему-то необратима. И во сне так бывает, и в юности — произносишь великую речь, а когда проснешься, успев, на свою беду, поймать последние ее слова, оказывается, что они вовсе и не так прекрасны, как тебе представлялось. И тогда уже не кажешься себе таким невесомо-радужным, как пляшущий тетерев, а знаешь, что ты просто с большим чувством выл на луну, как тот не раз уже фигурировавший фокстерьер генерала.

Значит, что-то тут не так, — подумал, отрезвляя себя, Арнгейм, — но, конечно, надо всерьез идти в ногу со временем, — прибавил он бдительно; ведь что, в конце концов, было для него естественней, чем применить этот испытанный принцип промышленности и к производству самой жизни?

91
Игра a la baisse и a la hausse[29] на бирже духа

Встречи в доме Туцци происходили теперь регулярно и участились.

Начальник отдела Туцци сказал на Соборе «кузену»;

— Знаете ли вы, что все это уже бывало?

Он указал глазами на многолюдство в своей отчужденной от него квартире.

— В начале христианства; во времена, когда родился Христос. В христианско-левантийско-эллинистическо-иудейской плавильне образовалось тогда бесчисленное множество сект.

И он начал перечислять:

— Адамиты, каиниты, эбиониты, коллиридиане, архонтики, эвкратиты, офиты…

Со странной, торопливой замедленностью, возникающей, когда кто-то хочет умерить и скрыть привычную быстроту своих действий, он привел длинный перечень раннехристианских и дохристианских религиозных сект — это созда-

---

[29] Примечания: 29
На понижение и на повышение (фр.).

вало впечатление, что он осторожно дает понять кузену жены, что знает о происходящем в его, Туцци, доме больше, чем то обычно, по особым причинам, показывает.

Затем, объясняя приведенные названия, он рассказал, что одна из сект выступала против брака, требуя целомудрия, а другая требовала целомудрия, но, как ни смешно, хотела достичь этой цели ритуальным распутством. Члены одной секты калечили себя, считая женскую плоть изобретением дьявола, в других мужчины и женщины собирались в храмах нагишом. Верующие мечтатели, пришедшие к выводу, что змей, совративший Еву в раю, был существом божественным, предавались содомскому греху; а другие не терпели существования девственниц, потому что, по их ученому мнению, у богоматери были, кроме Иисуса, другие дети, вследствие чего девственность — это опасное заблуждение. Всегда одни делали что-то, противоположное чему делали другие, но делали примерно по тем же причинам и убеждениям… Туцци рассказывал это с причитающейся историческим фактам, даже если они странны, серьезностью и с нотками шутки не для дамских ушей. Они стояли у стены; с кривой улыбкой бросив окурок в пепельницу и

продолжая рассеянно глядеть на толпу, начальник отдела заключил свою речь так, словно не хотел сказать больше, чем того требовала длительность папиросы:

— Я нахожу, что разнобой во мнениях и субъективность взглядов, тогда царившие, очень смахивают на разногласия наших литераторов. Завтра эти споры забудутся. Если бы в силу разных исторических обстоятельств вовремя не возникла политически эффективная система церковной бюрократии, то сегодня от христианской веры, пожалуй, и следа не осталось бы.

Ульрих с ним согласился.

— Чиновники от веры, исправно оплачиваемые паствой, не позволят шутить с официальными правилами. Я вообще нахожу, что мы несправедливы к нашим низменным свойствам. Без их надежности истории вообще не было бы, ибо духовные усилия всегда спорны и эфемерны.

Начальник отдела недоверчиво поднял и тут же отвел глаза. Замечания такого рода были, на его вкус, слишком вольными. Тем не менее он держался с этим кузеном своей жены, хоть и познакомился с ним недавно, очень приветливо и по-родственному. Он, Туцци, появлялся и исчезал, создавая впечатление, что среди всего

происходящего в его доме он жил в другом, замкнутом мире, высокого значения которого не открывал никому; порой, однако, он, казалось, не мог дольше сопротивляться и должен был хоть на минуту, хоть мельком кому-нибудь показаться, и тогда он завязывал разговор не с кем иным, как с кузеном. Это было понятным по-человечески следствием утраты признания в отношениях с супругой, а его он утратил, несмотря на наплывы нежности от случая к случаю. Тогда Диотима целовала его как девочка — девочка лет, может быть, четырнадцати, бог весть от какой возбужденности осыпающая поцелуями еще меньшего мальчика. Непроизвольно верхняя губа Туцци с завитыми усиками стыдливо поджалась. Новые обстоятельства, возникшие в его доме, ставили его жену и его в невозможные положения. Он отнюдь не забыл жалобы Диотимы на его храп, да и прочел также за это время сочинения Арнгейма и был готов говорить о них; кое-что он признавал, очень многое находил неверным, а иного не понимал, не понимал с тем уверенным спокойствием, которое предполагает, что это вина автора; но в таких вопросах он привык просто высказывать уважаемое мнение опытного человека, и на появившуюся теперь перспективу

непременных возражений со стороны Диотимы, на необходимость, другими словами, вступать с ней в мягкотелую дискуссию, он смотрел как на до того несправедливую перемену в своей частной жизни, что никак не решался объясниться и в полуосознанных мечтах предпочел бы даже стреляться с Арнгеймом. Туцци вдруг сердито сузил красивые карие глаза и сказал себе, что должен строже следить за своими настроениями. Стоявший рядом с ним кузен (отнюдь, на его взгляд, не тот человек, с которым следовало так уж сближаться!) напоминал ему жену только, собственно, лишенными какого-либо реального содержания мыслями о родстве; кроме того, он давно уже заметил, что Арнгейм как-то осторожно баловал более молодого Ульриха, а тот явно его недолюбливал; оба эти наблюдения содержательностью не блистали, и все-таки их хватало, чтобы тревожить Туцци какой-то необъяснимой симпатией к Ульриху. Он открыл свои карие глаза и, по-совиному округлив их, несколько мгновений глядел на комнату невидящим взглядом.

Впрочем, кузен его жены, точно так же как он, глядел куда-то вперед со скучающим видом обжившегося уже здесь человека и даже не замечал паузы в разговоре. Туцци чувствовал, что

надо что-то сказать; ему было не по себе, словно молчание могло выдать, что у него больное воображение.

— Вам нравится думать обо всем плохо, — сказал он улыбнувшись, словно замечание о чиновниках от веры до сих пор дожидалось в приемной его слуха, и, наверно, моя жена права, что при всей родственной симпатии к вам побаивается вашей помощи. Если можно так сказать, ваши мысли о сочеловеке склонны к игре a la baisse.

— Это великолепное выражение, — обрадованно ответил Ульрих, — хотя такой чести я не заслуживаю! Ведь это мировая история всегда играет людьми a la baisse или a la hausse. На понижение она делает ставку хитростью и насилием, на повышение — примерно так, как то пытается сделать ваша супруга, — верой в силу идей. Да и доктор Арнгейм, если полагаться на его слова, тоже haussier. А вы, как профессиональный baissier, испытываете, наверно, в этом хоре ангелов чувства, которые мне было бы любопытно узнать.

Он посмотрел на начальника отдела с участием. Туцци вынул из кармана портсигар и пожал плечами.

— Почему вы полагаете, что я думаю об этом

иначе, чем моя жена? — ответил он. Он хотел избежать возникшей в разговоре личной темы, а своим ответом усилил ее; Ульрих, к счастью, не заметил этого и продолжал:

— Мы масса, принимающая любую форму, в которую она тем или иным путем угодит!

— Это выше моего понимания, — ответил Туцци уклончиво.

Ульрих обрадовался. Это было противоположностью ему самому; он просто наслаждался, беседуя с человеком, не отвечавшим на умственное раздражение и не имевшим или не признававшим другого средства защиты, кроме ссылки сразу на всего себя целиком. Его первоначальная неприязнь к Туцци давно перешла в симпатию под давлением куда большей неприязни к суете в его доме; он не понимал только, почему Туцци это терпит, и строил всяческие догадки на этот счет. Он знакомился с ним очень медленно, и только, как с подопытным животным, извне, без того облегчающего знакомство проникновения внутрь, которое возможно благодаря речи людей, говорящих потому, что они не могут не говорить. Сначала понравились ему сухощавость этого невысокого человека и его темный, яркий, выдававший много неуверен-

ных чувств взгляд, отнюдь не чиновничий, но и никак не вязавшийся с тем обликом Туцци, который вырисовывался в разговорах; оставалось лишь предположить, — такое ведь нередко случается, — что это был мальчишеский взгляд, просвечивавший среди инородных черт взрослого, как окно в заброшенную, запертую и давно забытую часть помещения. Следующим, что поразило кузена, был запах его, Туцци, тела. От него пахло не то Китаем, не то сухими деревянными шкатулками — смесью солнца, моря, экзотики, вялости кишечника и чуть-чуть парикмахерской. Этот запах наводил его на размышления; он знал только двух человек с персональным запахом — Туцци и Моосбругера; представляя себе резко-нежный запах Туцци и одновременно думая о Диотиме, над чьей большой поверхностью витал слабый аромат пудры, ничего, казалось, не скрывавший, нельзя было не прийти к мысли о противоположностях страсти, которым немного смешное реальное сожительство этих двух людей, кажется, совсем не соответствовало. Ульриху пришлось сначала вернуть свои мысли назад, чтобы они снова соответствовали той дистанции от вещей, которая считается допустимой, а уж потом возразить на оборонительный ответ Туцци.

— Это наглость с моей стороны, — начал он снова тем скучноватым, но решительным тоном, который в светской беседе выражает сожаление, что приходится нагонять скуку и на другого, поскольку ситуация, в которой они сейчас находятся, не допускает ничего лучшего, это, конечно, наглость, если я при вас попытаюсь определить, что такое дипломатия. Но я хочу, чтобы вы меня поправили. Итак, попытаюсь. Дипломатия предполагает, что надежного порядка можно достичь только использованием лживости, трусости, каннибальства — словом, фундаментальных гнусностей человечества. Дипломатия — это идеализм a la baisse, прибегая еще раз к вашему превосходному словцу. И я нахожу, что это очаровательно грустно, потому что это предполагает, что ненадежность наших высших сил делает для нас путь к людоедству таким же возможным, как путь к критике чистого разума.

— К сожалению, — возразил начальник отдела, — вы думаете о дипломатии романтически и, как многие, путаете политику с интригой. В этом еще была какая-то доля истины, когда политику делали любители-князья. Но во времена, когда все зависит от буржуазных представлений о такте, это неверно. Мы не меланхолики, мы

оптимисты. Мы должны верить в счастливое будущее, иначе нам не устоять перед нашей совестью, а она устроена в точности так же, как у других людей. Если уж вам хочется непременно употребить слово «людоедство», то могу только сказать, что как раз дипломатия-то и удерживает мир от каннибализма, что это ее заслуга. А чтобы добиться этого, надо верить во что-то высшее.

— Во что же вы верите? — прервал его кузен без околичностей.

— Ну, знаете ли! — сказал Туцци. — Я ведь уже не мальчик, чтобы ответить на это так с ходу! Я хотел только сказать, что чем больше причастен дипломат к духовным течениям своего времени, тем легче для него его профессия. И наоборот: последние поколения показали, что дипломатия тем нужнее, чем больше успехи духа во всех областях; но это в общем естественно!

— Естественно?! Но тем самым вы говорите то же, что я! — воскликнул Ульрих так пылко, как только позволяла картина двух сдержанно беседующих господ, которую они являли. — Я с сожалением подчеркнул, что духовное и доброе не способны долго существовать без помощи злого и материального, а вы отвечаете мне — примерно, — что чем больше на свете духовности, тем

большая нужна осторожность. Скажем, значит, так: с человеком можно обращаться как с подлецом и все-таки чего-то от него не добиться; но можно и воодушевить его и этим все-таки тоже чего-то от него не добиться. Мы колеблемся поэтому между обоими методами, мешаем их; вот и вся штука. Мне кажется, что я имею удовольствие быть в куда более глубоком согласии с вами, чем вы хотите признать.

Начальник отдела Туцци повернулся к докучливому вопрошателю; улыбочка приподняла его усики, его блестящие глаза глядели с насмешливо-уступчивым выражением; ему хотелось закончить беседу этого рода, она была небезопасна, как гололед, и ребячливо-бесцельна, как скольжение мальчишек по льду.

— Знаете, вы сочтете это, наверно, варварством, — возразил он, — но я вам это объясню: право философствовать надо бы, собственно, давать только профессорам! Разумеется, я делаю исключение для наших общепризнанных великих философов, я ценю их очень высоко и всех их читал; но они есть, так сказать, данность. А наши профессора к этому приставлены, это профессия, и ничего больше; нужны же в конце концов и учителя, чтобы все не повымерло. Но вообще-то

справедливо было староавстрийское правило, что подданный не должен обо всем думать. Из этого редко выходит что-нибудь путное, а какая-то дерзость в этом есть.

Начальниц отдела умолк, сворачивая папиросу: у него не было больше потребности извиняться за «варварство». Ульрих глядел на его тонкие, смуглые пальцы и был в восторге от бесстыдного полуидиотизма, который напустил на себя Туцци.

— Вы высказались за тот же, очень современный принцип, что тысячелетиями применяют к своим приверженцам церкви, а ныне социализм, заметил он вежливо. Туцци бегло взглянул на него, чтобы понять, куда метит кузен своим сопоставлением. Он ждал, что тот снова пустится в длинные рассуждения, и заранее злился на такую упорную интеллектуальную нескромность. Но кузен молчал и только благосклонно рассматривал стоявшего рядом человека с идеями, которые были в ходу до революции 1848 года. Он уже давно полагал, что у Туцци есть причины терпеть отношения своей жены с Арнгеймом в известных пределах, и рад был бы узнать, чего тот хочет этим достигнуть. Это оставалось неясным. Может быть, Туцци просто вел себя так, как банки в от-

ношении параллельной акции, от которой они до сих пор держались по возможности в стороне, не отрешаясь, однако, от нее целиком, и не замечал при этом второй, такой уже явственной весны любви у Диотимы. Вряд ли. Ульриху доставляло удовольствие рассматривать глубокие складки и морщины на лице своего соседа и смотреть, как твердеют у того мышцы челюсти, когда зубы его вонзаются в мундштук. Этот человек вызывал у него представление о чистой мужественности. Ульриху порядком надоели долгие разговоры с самим собой, и рисовать себе образ скупого на слова человека было ему очень отрадно. Он представлял себе, что Туцци, конечно, еще мальчиком терпеть не мог других мальчиков, когда они много говорили; из таких потом получаются эстетствующие мужчины, а мальчики, которым легче сплюнуть сквозь зубы, чем рот раскрыть, становятся мужчинами, не любящими думать без толку и ищущими в поступке, в интриге, в простом повиновении или сопротивлении обстоятельствам компенсации за то неминуемое состояние чувствованья и думанья, которое почему-то их так смущает, что мыслями и чувствами они предпочитают пользоваться только для того, чтобы вводить в заблуждение других

людей. Конечно, если бы кто-нибудь сделал при нем подобное замечание, Туцци отверг бы его в точности так же, как замечание слишком эмоциональное; ибо таков был его принцип — никаких преувеличений и необычностей ни в том, ни в другом направлении. О том, что он, как фигура, так отлично собой представлял, с ним вообще нельзя было говорить, как нельзя спрашивать у музыканта, актера или танцовщика, что он, собственно, хочет сказать, и в эту минуту Ульрих с удовольствием хлопнул бы начальника отдела по плечу или легонько потрепал его за волосы, чтобы без слов, пантомимой, сыграть их согласие.

Не представлял себе Ульрих как следует лишь одного — что не только мальчиком, но и сейчас, в эту минуту, Туцци испытывал потребность по-мужски смачно сплюнуть сквозь зубы. Ибо он ощущал что-то от неясной доброжелательности рядом с собой, а ситуация была ему неприятна. Он и сам знал, что в сделанном им замечании о философии прозвучали вещи, чужим ушам не очень-то милые, черт дернул его дать «кузену» (по каким-то причинам он называл всегда Ульриха только так) это грубоватое доказательство своего доверия. Он терпеть не мог болтливых мужчин и озадаченно спрашивал себя, уж не хотел ли он,

не зная того, найти в Ульрихе союзника в своем конфликте с женой; при этой мысли кожа его потемнела от стыда, ибо такую помощь он отвергал, и он невольно отошел подальше от Ульриха, сделав несколько плохо замаскированных каким-то случайным предлогом шагов.

Но потом он передумал, вернулся и спросил:

— Задумывались ли вы, собственно, когда-либо о том, почему доктор Арнгейм так долго у нас гостит?

Он вдруг вообразил, что этим вопросом яснее всего покажет, что исключает какую бы то ни было связь со своей женой.

Кузен поглядел на него откровенно растерянно. Верный ответ так напрашивался, что трудно было найти другой.

— Вы думаете, — спросил он, запинаясь, — что на то есть действительно особая причина? Тогда, значит, только деловая?

— Ничего не могу утверждать, — ответил Туцци, который теперь снова почувствовал себя дипломатом. — Но разве может быть какая-нибудь другая причина?

— Конечно, никакой другой причины, собственно, и быть не может, вежливо согласился Ульрих. — Вы сделали великолепное наблюде-

ние. Должен признаться, что я вообще об этом не задумывался; я смутно предполагал, что это связано с его литературными интересами. Впрочем, это, пожалуй, тоже возможно.

Начальник отдела удостоил его лишь рассеянной улыбкой.

— Тогда вам следовало бы объяснить мне, по какой причине у такого человека, как Арнгейм, есть литературные интересы? — сказал он; но тут же пожалел об этом, ибо кузен снова уже настроился на пространный ответ.

— Вы не замечали, — сказал он, — что в наши дни поразительно много людей на улице говорят сами с собой?

Туцци равнодушно пожал плечами.

— С ними что-то неладно. Они явно не могут пережить свои впечатления целиком или сжиться с ними и должны избавляться от их остатков. И так же, по-моему, возникает преувеличенная потребность писать. Может быть, по самому письму это не так заметно, ибо тут в зависимости от таланта и опыта получается что-то такое, что сильно перерастает свою первопричину, но на чтении это сказывается совершенно явственно; сегодня уже почти никто не читает, каждый только пользуется писателем, чтобы в форме

одобрения или хулы извращенно выпустить с его помощью собственные пары.

— По-вашему, значит, в жизни Аргейма что-то неладно? — спросил Туцци, на этот раз весь внимание. — В последнее время я читал его книги, из чистого любопытства, потому что многие люди предрекают ему большую политическую будущность. Должен, однако, признаться, что не понимаю, зачем эти книги нужны и какова их цель.

— Вопрос можно поставить в куда более общей форме, — заметил кузен. Если человек так богат и так влиятелен, что ему воистину все доступно, зачем он тогда пишет? Мне следовало бы, собственно, спросить, зачем пишут все профессиональные писатели. Они повествуют о чем-то, чего не было, так, словно это было. Это очевидно. Но значит ли это, что они восхищаются жизнью, как богачом бедняки, не устающие рассказывать о том, что ему на них наплевать? Или они знай себе жуют свою жвачку? Или занимаются воровством, крадут счастье, творя в воображении то, чего им не достигнуть или не вынести?

— Вы сами никогда не писали? — прервал его Туцци.

— К моему беспокойству, никогда. Ведь я от-

нюдь не настолько счастлив, чтобы мне это не было нужно. Я решил, что если у меня вскоре не возникнет такая потребность, то я из-за полной своей ненормальности покончу с собой!

Он сказал это с такой серьезной любезностью, что помимо его желания шутка эта выделилась в потоке беседы, как вылезает из воды затопленный камень.

Туцци заметил это, и его такт заставил его быстро вернуться к теме.

— В общем, значит, — констатировал он, — вы говорите то же, что я, когда утверждаю, что чиновники начинают писать, лишь уйдя на пенсию. Но как применить это к доктору Аргейму?

Кузен промолчал.

— Знаете ли вы, что Аргейм предельно пессимистичен и никаких надежд a la hausse с этим здешним предприятием не связывает, хотя так самоотверженно в нем участвует? — сказал вдруг Туцци, понизив голос. Он внезапно вспомнил, как в самом начале Аргейм в беседе с ним и с его супругой высказался о перспективах параллельной акции очень скептически, и то, что это через столько времени вспомнилось ему именно сейчас, показалось ему, он сам не знал почему, но показалось успехом его дипломатии, хотя

относительно причин задержки Арнгейма он так и не выяснил до сих пор почти ничего.

Кузен и в самом деле сделал удивленное лицо.

Может быть, только из любезности, потому что промолчал снова. Но во всяком случае благодаря этому у обоих, когда их сразу затем разлучили приблизившиеся к ним гости, осталось впечатление интересного разговора.

92
Из правил поведения богатых людей

Такое внимание и восхищение, какое встретил Арнгейм, сделало бы другого человека, может быть, недоверчивым и неуверенным; он мог бы вообразить, что обязан ими своим деньгам. Арнгейм же считал недоверие признаком Неблагородных мыслей, которые человек его уровня вправе позволить себе только на основании недвусмысленной коммерческой информации, а кроме того, он был убежден, что богатство — это свойство характера. Каждый богач считает богатство свойством характера. Каждый бедняк тоже. Все на свете втихомолку в этом убеждены. Только логика доставляет некоторые затруднения, утверждая, что обладание деньгами, возможно, и

дает определенные свойства, но само оно никак не может быть человеческим свойством. То, что мы видим, уличает логику во лжи. Любой человеческий нос непременно и сразу же чувствует тот нежный аромат независимости, привычки повелевать, привычки выбирать всюду самое лучшее, легкого презрения к миру и постоянного сознания неотъемлемой от власти ответственности, который идет от большого и верного дохода. По внешности такого человека видно, что его питают и ежедневно обновляют отборные силы мира. Деньги циркулируют у его поверхности, как сок в цветке; тут нет никакого заимствования свойств, никакого приобретения привычек, ничего косвенного, полученного из вторых рук: лиши его текущего счета и кредита — и у богатого человека не просто не будет денег, а сам он станет в тот день, когда это поймет, увядшим цветком. Так же непосредственно, как прежде свойство богатства, в нем станет видно теперь любому неописуемое свойство ничтожности, пахнущее гарью неуверенности, ненадежности, беспомощности и бедности. Богатство есть, стало быть, личное и простое свойство, которое нельзя разложить, не уничтожив его.

Но следствия и функции этого редкого свой-

ства чрезвычайно запутанны, и нужна большая душевная сила, чтобы овладеть ими. Только те, у кого нет денег, представляют себе богатство мечтой; те, кто им обладает, твердят, наоборот, при каждой возможности, когда встречаются с людьми, которые не обладают им, что это большая обуза. Арнгейм, например, часто размышлял о том, что, в сущности, любой заведующий техническим или коммерческим отделом его фирмы куда как превосходит его специальными знаниями, и ему каждый раз приходилось уверять себя, что мысли, знание, верность, талант, осмотрительность и тому подобное — это, если взглянуть с точки зрения достаточно высокой, свойства такие, которые можно купить, потому что их на свете сколько угодно, тогда как способность пользоваться ими предполагает свойства, имеющиеся лишь у тех немногих, кому уж выпало родиться и вырасти наверху. Другая, не меньшая, трудность для богатых людей состоит в том, что все хотят от них денег. Деньги не имеют значения, верно, и тысяча-другая или десять тысяч марок — это такая вещь, наличия или отсутствия которой человек богатый не ощущает. И богатые люди любят при каждой возможности уверять, что деньги не меняют ценности человека; они хотят этим

сказать, что они и без денег стоили бы того же, что и теперь, и всегда обижаются, когда их не так понимают. К сожалению, это нередко случается с ними как раз при общении с людьми одухотворенными. У таких удивительно часто нет денег, а есть только планы и талант, но они не чувствуют из-за этого никакой своей неполноценности и находят самым естественным попросить богатого друга, для которого деньги не имеют значения, поддержать их для какой-нибудь хорошей цели своим избытком. Они не понимают, что этот богатый друг хочет поддержать их своими идеями, своим умением и личной своей привлекательностью. Кроме того, такой просьбой его заставляют идти против природы денег, ибо она требует умножения в точности так же, как природа животного стремится к продолжению рода. Можно вложить деньги в скверное предприятие, тогда они погибнут на поле денежной чести; можно купить на них новый автомобиль, хотя старый еще почти новехонек, можно останавливаться вместе со своими лошадьми для игры в поло в самых дорогих отелях международных курортов, учреждать скаковые призы и премии за произведения искусства, можно истратить на сотню гостей за один вечер сумму, на которую

сто семей могли бы жить целый год, делая все это, ты швыряешь деньги в окно, как бросает сеятель семя, и они возвращаются через дверь умножившись. Но раздавать их потихоньку на такие цели и таким людям, от которых им не будет никакой пользы, — это можно сравнить только с вероломным убийством денег. Вполне возможно, что цели эти хороши, а люди эти ни с кем не сравнимы; тогда следует содействовать им всеми средствами, только не денежными. Таково было правило Аргейма, и, твердо ему следуя, он снискал себе славу творческого и деятельного участия в духовном развитии своего времени.

Аргейм мог также сказать о себе, что он думает как социалист. И многие богатые люди думают как социалисты. То, чему они обязаны своим капиталом, они вполне согласны признать законом природы и твердо убеждены, что не собственность придает значение человеку, а человек — собственности. Они спокойно дискутируют о том, что в будущем, когда их не станет, собственность исчезнет, и во мнении, что они близки к социализму, утверждаются еще и благодаря тому, что в убежденном ожидании все равно неминуемого переворота многие ярко выраженные социалисты якшаются, пока суд

да дело, больше с богатыми, чем с бедными. Так можно продолжать долго, если описывать все функции денег, подвластные Арнгейму. То-то и оно, что экономическую деятельность нельзя отделить от других видов умственной деятельности, и, естественно, он, кроме советов, давал и деньги своим друзьям-интеллектуалам и художникам, если они настоятельно просили об этом; но давал не всегда и никогда не давал много. Они уверяли его, что ни к кому в мире, кроме него, не смогли бы обратиться с такой просьбой, потому что только он обладает еще и нужными для этого свойствами ума, и он верил им, будучи убежден, что потребность в капитале пронизывает все человеческие отношения и так же естественна, как потребность в воздухе. С другой стороны, он потрафлял и их мнению, что деньги — это духовная сила, применяя таковую лишь с деликатной сдержанностью.

И почему вообще тобой восхищаются и тебя любят? Не есть ли это почти неразрешимая тайна, круглая и хрупкая, как яйцо? Истиннее ли любят тебя, если любят за усы, чем если тебя любят за автомобиль? Более ли личный характер носит любовь, которую ты вызываешь как загорелый сын юга, чем любовь, которую вызываешь тем,

что ты сын крупнейшего предпринимателя? В те времена, когда почти все следовавшие за модой мужчины гладко брились, Арнгейм, совсем как прежде, носил маленькую острую бородку и коротко остриженные усы: слабое, внешнее и все же неотъемлемое от него ощущение их на его лице по каким-то ему самому неясным причинам всегда, когда он слишком самозабвенно витийствовал перед увлеченными слушателями, приятно напоминало ему о его деньгах.

93
Даже с помощью физической культуры к штатскому уму подступиться трудно

Генерал уже долгое время сидел на одном из стульев, подвинутых к стенам вокруг площадки для интеллектуальных состязаний, рядом находился его «покровитель», как он любил называть Ульриха, а между ними был незанятый стул, на котором стояли два освежающих бокала, захваченных ими в буфете. Из-за сидячего положения голубой мундир генерала топорщился, морщась над животом, как нахмуренный лоб. Оба молчали и слушали разговор, который шел перед ними.

— Игра Бонре, — сказал кто-то, — просто ге-

ниальна. Я видел его игру летом здесь, а до того зимой на Ривьере. Когда он делает ошибку, его выручает счастье. Он даже часто делает ошибки, его игра по своей структуре противоречит настоящей теории тенниса. Но этому игроку милостью божией обычные законы не писаны.

— Я предпочитаю научный теннис интуитивному, — возразил кто-то. — Вот, например, Брэддок. Совершенства, может быть, вообще нет на свете, но Брэддок близок к нему.

Первый собеседник ответил:

— Гениальность Бопре, его сумбурность, его гениальная хаотичность достигают вершин, когда теория не срабатывает!

Третий:

— «Гениальность», может быть, слишком сильное слово.

— А как вы это назовете? Это гениальность в самый невероятный момент внушает человеку, как правильно поступить с мячом.

— Я сказал бы даже, — пришел на помощь брэддокианец, — что личность непременно дает себя знать, держит ли рука ракетку или судьбы народов.

— Нет, нет, «гениальность» — это чересчур! — протестовал третий.

Четвертый был музыкант. Он сказал:

— Вы совершенно неправы. Вы не учитываете прагматического мышления, заключенного в спорте, потому что явно привыкли переоценивать логическо-систематическое. Это устарело примерно так же, как предрассудок, будто музыка эмоционально обогащает, а спорт воспитывает волю. Но всякое свершение в сфере чистого движения настолько магично, что человек не может вынести его, если он не защищен; вы можете наблюдать это в кино, когда нет музыки. А музыка — это внутреннее движение, она стимулирует кинетическое воображение. Кто уловил магическую сторону музыки, тот, ни на секунду не задумавшись, признает за спортом гениальность. Только наука лишена гениальности, это акробатика ума!

— Значит, я прав, — сказал приверженец Бопре, — если отказываю в гениальности научной игре Брэддока.

— Вы не учитываете, — защитил Брэддока его приверженец, — что исходить тут нужно из обновленного, пересмотренного понятия «наука»!

— Кто из них, собственно, побивает другого? — спросил кто-то.

Никто этого не знал; они уже не раз побеждали

друг друга, но точных цифр никто не помнил.

— Спросим-ка Аргейма! — предложил кто-то.

Группа разбрелась. Молчание на трех стульях продолжалось. Наконец генерал Штумм задумчиво сказал:

— Прости, я все время слушал, но ведь все это, за исключением музыки, можно, наверно, сказать и о полководце, на счету которого много побед? Почему, собственно, теннисиста они считают гением, а полководца варваром?

С тех пор, как его покровитель посоветовал ему подействовать на Диотиму физической культурой, он неоднократно размышлял о том, как воспользоваться, несмотря на свою органическую антипатию к ней, этим многообещающим подступом к штатскому комплексу идей, но трудности, как он, увы, каждый раз убеждался, были и на этом пути необычайно велики.

94
Ночи Диотимы

Диотима удивлялась явной расположенности Аргейма ко всем этим людям, ибо состояние ее чувств очень уж соответствовало тому, что она несколько раз выражала замечанием, что

мировые дела не более, чем un peu de bruit autour de notre ame.

Ей становилось порой не по себе, когда она оглядывалась вокруг и видела свой дом наполненным аристократией мирской и духовной. От истории ее жизни остался только величайший контраст между низким и высоким, между ее положением девушки, в котором было так много рабской мелкобуржуазной ограниченности, и теперешним, ослепляющим душу успехом. И, стоя уже на головокружительно узкой ступеньке, она чувствовала потребность сделать еще один шаг в ожидании, что поднимется еще выше. Неопределенность привлекала ее. Она боролась с решением вступить в жизнь, где деятельность, ум, душа и мечта едины. Она, в сущности, уже не беспокоилась о том, что идея, которая увенчала бы параллельную акцию, так и не показывается; всемирная Австрия тоже стала ей безразличнее; даже тот факт, что, оказывается, на каждый великий проект, рожденный человеческим умом, найдется свой контрпроект, уже не приводил ее в ужас. Ход вещей там, где они обретают важность, перестает быть логичным; скорей он напоминает молнию и огонь, и Диотима привыкла к тому, что не способна что-либо думать о величии, окру-

женной которым она себя чувствовала. Ее бы воля — она отставила бы свою акцию и вышла замуж за Аргейма; так маленькой девочке все трудности нипочем, когда она отмахивается от них и бросается на грудь отцу. Но ее удерживал несказанный внешний рост ее деятельности. Она не находила времени решиться. Внешняя цепь событий и внутренняя тянулись бок о бок по-прежнему двумя независимыми рядами, и попытки связать их были тщетны. Это было так же, как в ее браке, который продолжал тянуться даже как бы счастливее, чем прежде, а духовная его сторона сходила на нет.

По ее характеру Диотиме надо было бы откровенно поговорить с супругом; но ей было нечего сказать ему. Любила ли она Аргейма? Ее отношению к нему можно было дать столько названий, что и это, весьма тривиальное, тоже, в виде исключения, попадалось среди ее мыслей. Они еще даже не целовались, а предельного слияния душ Туцци не понял бы, даже если бы ему признались в нем. Диотима порой сама удивлялась тому, что больше ничего такого, о чем можно было бы рассказать, между нею и Аргеймом не происходило. Но она так и не избавилась полностью от привычки порядочной девушки честолюбиво

взирать снизу вверх на старших мужчин, и нечто, если не в буквальном, то хоть в повествовательном смысле, осязаемое она могла представить себе скорей уж с кузеном, казавшимся ей моложе ее самой и немного презираемым ею, чем с человеком, которого она любила и который так умел это ценить, когда она находила выход своим чувствам в общих замечаниях высокого духовного уровня. Диотима знала, что надо упасть, потеряв голову, в измененный до основания уклад жизни и проснуться в новых своих четырех стенах, не помня толком, как ты в них очутилась, но она чувствовала себя подверженной влияниям, сохранявшим ее бдительность. Она была не совсем свободна от неприязни, которую средний австриец ее времени питал к брату германцу. Неприязнь эта в своей классической, теперь уже редкой форме примерно соответствовала представлению, наивно прикреплявшему почитаемые головы Гете и Шиллера к телам, которые, питаясь клейкими пудингами и подливками, усвоили что-то от их бесчеловечного естества. И как ни велик был успех Арнгейма в ее кругу, от нее не ускользнуло, что после первой поры удивленности возникло и какое-то сопротивление, не принимавшее, правда, никакой четкой формы

и не заявлявшее о себе открыто, но подспудно делавшее ее неуверенной и заставлявшее ее сознавать разницу между ее собственной позицией и сдержанностью многих, на кого она вообще-то привыкла ориентироваться в своем поведении. Национальные же антипатии представляют собой обычно не что иное, как антипатию к себе самому, извлеченную из темных глубин собственных противоречий и прикрепленную к подходящей жертве, а это дело старое, и идет оно еще от тех древних времен, когда врач палочкой, которую он объявил местопребыванием демона, вынимал болезнь из тела больного. То обстоятельство, что ее любимый — пруссак, смущало, стало быть, вдобавок ко всему прочему, сердце Диотимы еще и такими страхами, которых она толком и вообразить себе не могла, и на то были, пожалуй, резоны, если она называла страстью это неопределенное состояние, так резко отличавшееся от немудреной грубости супружеской жизни.

У Диотимы были бессонные ночи; в эти ночи она колебалась между прусским магнатом промышленности и австрийским начальником отдела. Преображенная полусном, проходила мимо нее великая, блистательная жизнь Аргейма. Рядом с любимым человеком летела она по небу

новых почестей, но небо это было неприятной прусской голубизны. Тем временем желтое тело начальника отдела Туцци лежало еще среди черной ночи рядом с ее телом. Она чувствовала это лишь смутно, как некий черно-желтый символ старой каканской культуры, хотя таковой у него было немного. За этим был барочный фасад дворца графа Лейнсдорфа, ее сиятельного друга, близость Бетховена, Моцарта, Гайдна, принца Евгения витала вокруг этого, как ностальгия, которой уже томишься, еще не убежав из дому. Диотима не могла так сразу решиться выйти вон из этого мира, хотя она чуть ли не ненавидела своего супруга поэтому. В ее красивом, большом теле душа была беспомощна, как в широкой цветущей стране.

«Я не должна быть несправедлива, — говорила себе Диотима. — Службист и работник, наверно, уже не может быть чутким, широким и восприимчивым человеком, но в молодости у него, вероятно, была такая возможность. — Она вспоминала часы досвадебной поры, хотя и тогда начальник отдела Туцци уже не был юнцом. — Усердием и верностью долгу добился он своего положения, — думала она добродушно, — ему-то ведь невдомек, что платой за это была жизнь его

личности».

После своей победы в свете она думала о своем супруге снисходительнее, и поэтому мысли ее сделали еще одну уступку. «Нет чистых рационалистов и утилитаристов; каждый начинает с того, что живет живой душой, — размышляла она. — Но повседневность засасывает его, обыденные страсти сжигают его, как пожар, а холодный мир вызывает в нем тот холод, в котором замерзает его душа». Может быть, она была слишком скромна, чтобы вовремя упрекнуть его за это построже. Это было так грустно. Ей казалось, что она никогда не отважится вовлечь начальника отдела Туцци в скандал развода, скандал, который для человека, так слившегося со своей службой, был бы величайшим ударом.

«Уж лучше неверность!» — сказала она вдруг.

Неверность — с этой мыслью Диотима уже некоторое время жила.

Это неплодотворное понятие — исполнять свой долг там, куда ты поставлен; тратишь огромные силы ни на что; подлинный долг — найти свое место и сознательно создавать обстоятельства! Если уж она обрекла себя на то, чтобы не покидать своего супруга, то ее несчастье могло быть бесполезным, а могло быть и плодотворным, и

ее долгом было решиться. До сих пор, однако, Диотима никогда не забывала о том неблаговидном потаскушестве и некрасивом легкомыслии, которым отдавали все известные ей по рассказам супружеские измены. Она никак не могла представить себя самое в таком положении. Дотронуться до дверной ручки снятой для свиданий квартиры — это было для нее все равно что погрузиться в помойную яму. Шурша юбками, прошмыгивать вверх по чужим лестницам — против этого протестовало какое-то нравственное спокойствие ее тела. Поцелуи наспех претили ее натуре в точности так же, как мимолетные, порхающие слова любви. Скорее она была за катастрофы. Последние встречи, застревающие в горле прощальные слова, глубокие конфликты между долгом возлюбленной и матери — это куда больше отвечало ее задаткам. Но из-за бережливости супруга детей у нее не было, а трагедии надлежало как раз избегнуть. Поэтому она решила, если дело дойдет до того, следовать образцу Ренессанса. Любовь, которая живет с кинжалом в сердце. Точно она этого себе не представляла, но это было, несомненно, что-то величавое; с разрушенными колоннами, над которыми летят тучи, на заднем плане. Вина и преодоление чувства

вины, радость, искупленная страданием, — вот чем дышала эта картина, наполняя Диотиму неслыханным, благоговейным восторгом. «Где человек находит высочайшие свои возможности, где силы его разворачиваются полнее всего, там его место, — думала она, — ибо там он одновременно способствует глубочайшему усилению жизни вообще!»

Она смотрела, насколько это позволяла ночь, на своего супруга. Как глаз не воспринимает ультрафиолетовых лучей спектра, так этот рассудочный человек вообще не заметил бы иных духовных реальностей!

Начальник отдела Туцци дышал, ничего не подозревая, спокойно и безмятежно, убаюканный мыслью, что за восемь часов его заслуженной умственной отключенности в Европе не может произойти ничего важного. Это спокойствие неизменно производило впечатление и на Диотиму, и тогда она не раз думала: отказаться! Прощание с Аргеймом, великие, благородные слова страдания, потрясающее небеса смирение, бетховенская разлука — сильная мышца ее сердца напрягалась от таких требований. Трепетные, по-осеннему блестящие беседы, полные печали далеких синих гор, наполняли будущее. Но отказ

и двуспальная супружеская кровать?! Диотима приподнялась с подушек, ее черные волосы взлохматились. Сон начальника отдела Туцци больше уже не был сном невинности, а был сном змеи, в утробе которой — проглоченный кролик. Еще немного — и Диотима разбудила бы его и ввиду этого нового вопроса крикнула бы ему в лицо, что она должна, должна, что она хочет уйти от него! Такое бегство в истерику можно было бы при ее двойственном положении легко понять; но ее тело было слишком здоровым для этого, она чувствовала, что на близость Туцци оно просто не отвечало крайним возмущением. Перед этим отсутствием возмущения она испытывала тихий ужас. Тщетно пытались тогда потечь по ее щеке слезы, но, как ни странно, именно в этом состоянии мысль об Ульрихе бывала для все известным утешением. Вообще-то она никогда не думала о нем в это время, но в его странных словах о желании отменить реальность и о том, что Арнгейм переоценивает таковую, был какой-то непонятный, какой-то смутный дополнительный тон, который Диотима в свое время пропустила мимо ушей, но который снова всплывал в эти ночи. «Ведь это не означает ничего другого, кроме того, что не надо так уж беспокоиться о том, что

будет, — говорила она себе с досадой. — Это самое обычное дело на свете!» И, переводя эту мысль так плохо и просто, она знала, что чего-то в ней не понимала, и отсюда-то и шло успокоение, которое, как снотворное, парализовало ее отчаяние вместе с ее сознанием. Время отлетало как темная тень, она утешалась тем, что отсутствие у нее длительного отчаяния можно каким-то образом найти и похвальным, но более ясным это уже не становилось.

Ночью мысли текут то на свету, то сквозь сон, как вода в карсте, и когда они через какое-то время опять спокойно выходили наружу, у Диотимы бывало впечатление, что предшествующее их бурленье ей просто приснилось. Речушка, кипевшая за темным горным массивом, была не той же рекой, что тихий поток, в который Диотима в конце концов вплывала. Гнев, отвращение, отвагу, страх уносило течением, таких чувств не должно было быть, их не было: в битвах душ виноватых нет! Ульрих тоже оказывался тогда снова забыт. Ибо теперь налицо были только последние тайны, вечная тоска души. Их нравственность не заключена в наших поступках. Не заключена она ни в движениях сознания, ни в движениях страсти. Страсти тоже только un peu

de bruit autour de notre ame. Можно завоевывать и терять целые царства, а душа не пошевелится, и можешь ничего не делать, чтобы достичь своей судьбы, а она порой растет из глубины твоего естества, тихо и ежедневно, как песня сфер. Диотима лежала тогда без сна, с ясной, как ни в какой другой час, головой, но полная доверия. Эти мысли с их ускользавшей от глаз конечной точкой имели то преимущество, что очень скоро усыпляли ее даже в самые бессонные ночи. Бархатным видением, чувствовала она, сливалась ее любовь с бесконечной, уходящей за звезды, неотделимой от нее, неотделимой от Пауля Арнгейма темнотой, к которой никакими планами и намерениями прикоснуться нельзя. Она едва успевала потянуться к стакану с подслащенной водой, всегда стоявшему наготове на ночном столике для преодоления бессонницы, хотя Диотима всегда прибегала к нему лишь в эту последнюю минуту, потому что в минуты волнения забывала о нем. Тихий звук глотков искрился, как шепот влюбленных за стенкой, рядом со сном ее ничего не слышавшего супруга; затем Диотима благоговейно откидывалась на подушки и погружалась в молчание бытия.

95
Сверхлитератор, вид сзади

Это уж слишком известное, пожалуй, явление, чтобы о нем говорить: убедившись, что серьезность предприятия не требует от них больших усилий, ее знаменитые гости вели себя просто как люди, и Диотима, видевшая свой дом полным духовности и шума, была разочарована. Возвышенная душа, она не знала закона осторожности, по которому твое поведение как частного лица противоположно твоему профессиональному поведению. Она не знала, что политики, обозвав друг друга в зале заседаний жуликами и обманщиками, затем мирно завтракают рядом в зале буфетном. Что судьи, которые как юристы приговорили какого-нибудь несчастного к тяжкому наказанию, после процесса участливо жмут ему руку, она, пожалуй, знала, но никогда не усматривала в этом ничего плохого. Что вне своей двусмысленной профессии танцовщицы часто ведут безупречную жизнь матерей семейств и хозяек дома, она не раз слышала и находила это даже трогательным. И красивым символом каза-

лось ей то, что князь временами снимает корону, чтобы не быть ничем, кроме как человеком. Но когда она увидела, что и князья духа прогуливаются инкогнито, это двойственное поведение показалось ей странным. Какая страсть и какой закон лежит в основе этой всеобщей тенденции и приводит к тому, что вне своего занятия люди делают вид, что ничего не знают о людях, которыми они являются внутри его? По окончании своей работы, приведя себя в порядок, они выглядят совершенно так же, как прибранная контора, где письменные принадлежности упрятаны в ящики, а стулья взгромождены на столы. Они состоят из двух человек, и неизвестно, когда они, собственно, возвращаются к себе — вечером или утром?

Поэтому как ни льстило ей, что возлюбленный ее души нравился всем, кого она собирала вокруг него, и активно общался особенно с молодыми, ей бывало порой огорчительно видеть его увязшим в этой суете, и она находила, что князь духа не должен ни дорожить общением с обычной духовной знатью, ни снисходить до ярмарочного копошения мыслей.

Причина заключалась в том, что Арнгейм был не князем духа, а сверхлитератором.

Сверхлитератор — это преемник князя духа, и соответствует он в мире духовном той замене владетельного князя богатыми людьми, которая совершилась в политическом мире. Так же, как князь духа неотделим от эпохи владетельных князей, сверхлитератор неотделим от эпохи сверхдредноутов и сверхунивермагов. Он есть особая форма связи духа с вещами сверхбольшого размера. Поэтому сверхлитератор обязан как минимум владеть автомобилем. Он должен много путешествовать, получать аудиенции у министров, выступать с докладами; создавать у тех, кто руководит общественным мнением, впечатление, что он есть некая совестливая сила, которой нельзя недооценивать; он charge d'affaires[30] духа нации, когда надо продемонстрировать за границей ее гуманность; находясь дома, он принимает именитых гостей и при всем том должен думать о своем деле и делать его с ловкостью циркача, чтобы никакого напряжения никто не заметил. Ибо сверхлитератор — совсем не то же, что просто литератор, который зарабатывает много денег. Ему совершенно незачем самому писать «самую читаемую книгу» года или месяца, достаточно

[30] Примечания: 30
Поверенный в делах (фр.).

того, что он не возражает против этого способа оценки. Ибо он сидит во всех жюри, подписывает все обращения, пишет все предисловия, держит все речи на днях рождения, высказывается по поводу всех важных событий и призывается на помощь всегда, когда нужно показать, какой достигнут успех. Ибо в любой своей функции сверхлитератор никогда не представляет всю нацию, а представляет только ее передовую часть, широкую, составляющую уже чуть ли не большинство элиту, и это создает вокруг него постоянное духовное напряжение. Это, конечно, жизнь в нынешней фазе своего развития ведет к крупной промышленности духа и точно так же, наоборот, толкает промышленность к духовности, к политике, к контролированию общественной совести; оба процесса идут друг другу навстречу и на середине пути смыкаются. Поэтому и роль сверхлитератора не указывает на определенное лицо, а представляет собой такую фигуру на шахматной доске общества, ходы которой подчинены выработанным временем правилам. Стремящиеся к добру люди этого времени стоят на той точке зрения, что им мало пользы от того, что у кого-то есть ум (его на свете столько, что чуть большее или чуть меньшее ко-

личество не имеет значения, каждый, во всяком случае, считает, что у него лично достаточно), но что надлежит бороться с неумностью, для чего нужно этот самый ум показать, сделать его зримым и действенным, а поскольку сверхлитератор подходит для этого больше, чем литератор даже более крупный, понятный, может быть, уже не столь многим, то все в меру своих сил стараются раздуть сколько-нибудь крупное явление в очень большое.

При таком понимании ситуации нельзя было ставить Аргейму в тяжкий упрек тот факт, что он был одним из первых, пробных, хотя уже и очень совершенных воплощений этих тенденций, однако известное предрасположение тут все же требовалось. Ведь большинство литераторов с удовольствием стали бы сверхлитераторами, если бы только могли ими стать, но это как с горами: между Грацем и Санкт-Пельтеном многие могли бы выглядеть точно так же, как Монте Роза, только они стоят слишком низко. Непременным условием для того, чтобы стать сверхлитератором, остается, таким образом, писание книг или пьес, рассчитанных и на высшие, и на низшие круги публики. Надо заявлять о себе миру, прежде чем сможешь заявить ему о себе добром, — это

правило есть почва всякого сверхлитераторского существования. И это великолепный, направленный против искушений одиночества, прямо-таки гетевский принцип творчества: надо только не сидеть сложа руки в приветливом мире, а все остальное приложится само собой. Ведь стоит литератору заявить о себе миру, как в его жизни происходит важная перемена. Его издатель перестает замечать, что купец, который становится издателем, походит на трагического идеалиста, поскольку на сукне или на неиспорченной бумаге он мог бы заработать совсем по-другому. Критика открывает в нем достойный предмет для своего творчества, ибо критики очень часто не злодеи, а — в силу неблагоприятных обстоятельств эпохи — бывшие поэты, которым нужно прилепиться к чему-то душой, чтобы выговориться; они поэты войны или любви, в зависимости от нажитого ими внутреннего капитала, который они должны выгодно поместить, и понятно, что для этой цели они выберут скорее книгу сверхлитератора, чем книгу обыкновенного литератора. Ведь каждый человек обладает лишь ограниченной работоспособностью, и лучшие плоды ее легко распределяются между новинками, ежегодно выходящими из-под пера сверхлитераторов,

благодаря чему книги эти становятся сберегательными кассами национального духовного богатства: каждая из них тянет за собой критические толкования, представляющие собой не столько выкладки, сколько прямо-таки вклады, а на прочее остается соответственно мало сил. Но совсем уж донельзя раздувают это эссеисты, биографы и историки-скорописцы, отправляющие с помощью великого человека свою естественную потребность. Собаки, с позволения сказать, предпочитают для своих довольно низменных целей бойкий угол одинокой скале; как же людям, одержимым высоким стремлением оставить у всех в памяти свое имя, не выбрать скалу, явно находящуюся в одиночестве?! И вот, не успев сообразить, что к чему, сверхлитератор перестает быть существом самостоятельным, становится симбиозом, результатом национального трудового содружества, его, в нежнейшем смысле слова, продуктом и проникается самой прекрасной, какую только способна дать жизнь, верой — что его процветание теснейше связано с процветанием бесчисленного множества других людей.

И по этой, наверно, причине общей чертой в характере сверхлитераторов часто оказывается ярко выраженное чувство пребывания в хорошей

форме. К боевым средствам письма они прибегают только тогда, когда чуют угрозу своему авторитету; во всех остальных случаях поведение их отличается спокойствием и доброжелательностью. Они абсолютно терпимы к банальностям, которые говорятся им в похвалу. Они нелегко снисходят до обсуждения других авторов; но если снисходят, то редко льстят человеку высокого ранга, предпочитая поощрять один из тех ненавязчивых талантов, которые состоят на сорок девять процентов из дарования и на пятьдесят один из бездарности, и благодаря этому сочетанию так ловки во всем, где нужна сила, но где сильный человек наделал бы вреда, что рано или поздно каждый из них занимает влиятельное положение в литературе. Но не вышло ли уже это описание за пределы того, что свойственно только сверхлитератору? Говорят: галье все в стаю сбивается, и трудно представить себе, какая возня идет нынче уже вокруг обыкновенного литератора, не то что там сверхлитератора, а просто рецензента, редактора Отдела искусств, радиожурналиста, киношника или издателя литературной газетки; многие из них похожи на резиновых осликов и свинок с дырочкой сзади для надувания. Видя, как тщательно учитывают

эту ситуацию сверхлитераторы, как стараются создать из нее картину трудолюбивого народа, который чтит своих великих людей, не надо ли благодарить их за это? Они облагораживают своим участием жизнь, которая есть. Представьте себе противоположное — пишущего человека, всего этого не делающего. Он должен был бы отклонять сердечные приглашения, отталкивать людей, оценивать похвалы не как хвалимый, а как судья, разрывать естественные связи вещей, относиться к огромным возможностям влияния с подозрением только потому, что они огромны, а со своей стороны не мог бы предложить ничего, кроме неких процессов в своей голове, выразить и оценить которые трудно, да еще продукции литератора, а этому эпоха, уже обладающая сверхлитераторами, и впрямь может не придавать большого значения! Разве не оказался бы такой человек вне общества и не ушел от действительности со всеми последствиями, из этого вытекающими?! Такого, во всяком случае, мнения был Аргейм.

96

Сверхлитератор, вид спереди

Настоящая трудность в существовании сверхлитератора создается тем, что в духовной жизни действуют хоть и по-купечески, но говорят, по старой традиции, на идеалистическом языке, и это-то сочетание коммерции с идеализмом занимало в насущных усилиях Аргейма важнейшее место.

Такие несовременные сочетания можно сегодня найти везде. Хотя, например, покойников препровождают на кладбище уже бензиновой рысью, до сих пор все-таки принято украшать крышу изящного моторизованного катафалка шлемом и двумя скрещенными рыцарскими мечами, и так обстоит дело во всех областях; человеческое развитие — это сильно растянувшееся в длину шествие, и так же, как еще два примерно поколения назад деловые письма украшались голубыми цветочками риторики, сегодня уже можно было бы все на свете, от любви до чистой логики, выражать языком спроса и предложения, дебета и кредита, во всяком случае, с таким же успехом, как на языке психологии или религии, но этого все же не делают. Причина в том, что новый язык еще слишком неуверен в себе. Часто-

любивый воротила находится сегодня в трудном положении. Если он хочет быть ровней более старым силам бытия, он должен привязать свою деятельность к великим идеям; а великих мыслей, которым бы беспрекословно верили, сегодня уже нет, ибо эта скептическая современность не верит ни в бога, ни в гуманность, ни в корону, ни в нравственность — или верит во все сразу, что на круг одно и то же. Поэтому купцу, нуждающемуся в великом как в компасе, пришлось пойти на демократическую уловку замены неизмеримого влияния величия измеримой величиной влияния. Велико нынче то, что считается великим; но это значит, что, в конце концов, велико и то, что разрекламировано как великое, а проглотить без затруднений эту косточку эпохи дано не каждому, и Арнгейм проделал множество опытов, чтобы узнать, как это сделать.

Образованный человек может тут подумать, например, об отношении науки и церкви в средние века. Тогда философ должен был ладить с церковью, если он хотел иметь успех и влиять на мышление своих современников, и вульгарное вольнодумство решит, пожалуй, что эти оковы мешали ему подняться к величию; на самом деле все было наоборот. По Компетентному Мнению,

из этого вышла лишь несравненная готическая красота мысли, и если с церковью можно было так считаться без ущерба для духа, почему нельзя считаться с рекламой? Разве тот, кто хочет оказывать влияние, не может оказывать его и при этом условии? Арнгейм был убежден, что это признак величия — не слишком критиковать свое собственное время! Лучший всадник на лучшей лошади, если он с ней не в ладах, преодолевает препятствия хуже, чем всадник, приспособляющийся к движениям своей клячи. Другой пример: Гете!.. Он был гений, второго такого земле нелегко родить, но он был и возведенным в дворянство немецким купеческим сыном и, в восприятии Арнгейма, самым первым сверхлитератором, которого родила эта нация. Арнгейм брал во многом с него пример. Но любимой его историей был известный случай с бедным Иоганном Готлибом Фихте, которого Гете, хотя втайне ему симпатизировал, бросил в беде, когда у того отняли кафедру философии в Йене за то, что он «грандиозно, но, может быть, не совсем подобающе» говорил о боге и о делах божественных и, защищаясь, «дал волю страсти», вместо того чтобы «держаться помягче» и выйти сухим из воды, как замечает в своих мемуарах хорошо знающий мир поэт-муд-

рец. Аргейм не только повел бы себя так же, как Гете, но попытался бы даже, сославшись на него, убедить мир, что только такое поведение и есть знаменательно-гетеанское. Он, пожалуй, не удовлетворился бы той истиной, что, когда большой человек делает что-то плохое, это, как ни странно, вызывает больше симпатии, чем когда человек поменьше ведет себя хорошо, а перешел бы к тому, что безоговорочная борьба за свои убеждения не только неплодотворна, но и свидетельствует о недостатке глубины и исторической иронии, а что касается последней, то и ее он назвал бы гетеанской, то есть иронией серьезного приспособления к обстоятельствам, приспособленчества с реалистическим юмором, который ретроспективно всегда прав. Как подумаешь, что сегодня, через от силы два поколения, несправедливость, совершенная в отношении славного, прямого и немного неумеренного Фихте, давно уже стала частным делом, ничего не прибавляющим к его значению, а значение Гете, хотя он вел себя плохо, в итоге ничего существенного не потеряло, то приходится признать, что мудрость времени и впрямь была заодно с мудростью Аргейма.

Третий пример, который вдобавок — Аргейм всегда был окружен хорошими примерами

— открывает глубокий смысл первых двух, — Наполеон. Гейне рисует его в «Путевых картинах» в настолько отвечающей представлениям Арнгейма манере, что лучше всего передать это его, Гейне, собственными словами, которые Арнгейм знал наизусть. «Такой ум, — сказал Гейне, говоря, стало быть, о Наполеоне, но он мог бы с таким же успехом отнести это к Гете, чью дипломатичность он всегда защищал с остроумием поклонника, втайне знающего, что он не согласен с предметом своего восхищения, — такой ум имеет в виду Кант, когда говорит, что мы можем представить себе разум отличный от нашего, интуитивный. То, что мы познаем путем медленного аналитического размышления и долгих выводов, этот ум увидел — и глубоко понял в один присест. Отсюда его талант постигать эпоху, современность, обхаживать ее дух, никогда не оскорблять его и всегда им пользоваться… А поскольку этот дух эпохи не только революционен, но образован слиянием двух взглядов, революционного и контрреволюционного, то действия Наполеона никогда не были ни вполне революционны, ни вполне контрреволюционны, а отвечали всегда обоим взглядам, обоим принципам, обоим стремлениям, которые в нем-то

и объединялись, и потому в своих действиях он неизменно бывал естествен, прост, широк, совершенно чужд судорожной резкости, всегда спокойно-мягок. Поэтому он никогда не плел мелких интриг… К сложной, медленной интриге склоняется небольшой аналитический ум, ум же синтетический, интуитивный каким-то гениально чудесным образом умудряется соединить средства, предоставляемые ему эпохой, так, чтобы быстро использовать их для своих целей».

Гейне, возможно, вкладывал в это немного другой смысл, чем его почитатель Арнгейм, но Арнгейм прямо-таки чувствовал, что это описание применимо и к нему.

97
Таинственные силы и предназначения Клариссы

Кларисса в комнате; Вальтер куда-то запропастился, у нее есть яблоко и халат. Это, яблоко и халат, два источника, из которых в ее сознание течет незаметная, тонкая струя реальности. Почему Моосбругер показался ей музыкальным? Она этого не знала. Может быть, все убийцы музыкальны. Она знает, что написала письмо его

сиятельству графу Лейнсдорфу по этому поводу; она и содержание смутно помнит, однако это где-то далеко. А человек без свойств был немузыкален?

Поскольку подходящего ответа у нее не нашлось, она отставила эту мысль и пошла дальше.

Через несколько мгновений, однако, ее осенило: Ульрих — это человек без свойств. Человек без свойств, конечно, и музыкальным не может быть. Но быть и немузыкальным он тоже не может?

Она пошла дальше.

Он сказал о ней: в тебе есть что-то девчоночье и геройское.

Она повторила: «что-то девчоночье и геройское!» Жар ударил ей в щеки. Из этого вытекал долг, который не становился ей ясен.

Ее мысли теснились в двух направлениях, как при драке. Она чувствовала, что ее что-то притягивает и куда-то толкает, но не знала, куда и что; в конце концов какая-то тихая нежность, которая неведомо как осталась от этого, поманила ее пойти поискать Вальтера. Она встала и отложила яблоко.

Ей было жаль, что она всегда мучила Вальтера. Ей было всего пятнадцать лет, а она уже замети-

ла, что способна мучить его. Стоило ей только решительно воскликнуть, что что-то на самом деле обстоит не так, как он утверждает, — и он уже вздрагивал, даже если то, что он сказал, было как нельзя более правильно! Она знала, что он страшился ее. Он страшился, что она может сойти с ума. Один раз это у него сорвалось с языка, он тут же поправился; но с тех пор она знала, что он об этом думает. Ей казалось это прекрасным. Ницше говорит: «Существует ли такая вещь, как пессимизм силы? Умственная склонность к жестокому, страшному, злому? Глубина аморального влечения? Потребность в ужасном, как в достойном враге?..» Такие слова, когда она ими думала, наполняли ее рот таким же мягким и сильным ощущением, как молоко, ей трудно было глотать.

Она думала о ребенке, которого хотел от нее Вальтер. Этого он тоже страшился. Понятно, если он думал, что она может когда-нибудь сойти с ума. Это вселяло в нее нежность к нему, даже если она решительно отказывала ему в близости. Она забыла, однако, что собралась поискать Вальтера. В ее теле сейчас что-то происходило. Груди налились, по жилам рук и ног кровь струилась мощнее, она чувствовала какое-то теснение в

области мочевого пузыря и кишечника. Ее узкое тело становилось внутри глубоким, чувствительным, живым, чужим, часть за частью; дитя, светлое, улыбающееся, лежало на руках у нее, с ее плеч ниспадала, сияя, золотая мантия богородицы, а молящиеся пели. Это было вне ее, господь родился у мира!

Но едва это случилось, тело ее тотчас сомкнулось над отверстой картиной, так дерево выталкивает из себя клин; она была снова стройна, была снова самой собой, ей было противно, она чувствовала жестокую веселость. Она не допустит, чтобы у Вальтера все вышло так просто. «Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода тосковали о ребенке! — подсказала она себе. — Живые памятники ты будешь строить себе сам, но сначала выстройся у меня сам телом и душой!» Кларисса улыбнулась: это была ее улыбка, извивавшаяся вертко, как огонь, на который навалили большой камень.

Затем ей подумалось, что отец ее боялся Вальтера. Она перенеслась на несколько лет назад. К этому она привыкла; Вальтер и она любили спрашивать друг друга: «А помнишь?» — и тогда прошедший свет волшебно лился издалека на нынешнее. Это прекрасно, они это любили. Это,

может быть, то же самое, что после долгих часов невеселой ходьбы обернуться и вдруг увидеть издали всю пройденную пустоту преображенной во что-то отрадное; но они никогда не относились к этому так, а придавали своим воспоминаниям большую важность. Поэтому ей и казалось необычайно волнующим и сложным, что ее отец, стареющий художник, тогда авторитет для нее, боялся Вальтера, принесшего в его дом новое время, а Вальтер боялся ее. Это было похоже на то, как она, обнимая свою подругу Люси Паххофен, должна была говорить «папа», но знала, что папа — возлюбленный Люси, ибо это происходило как раз в то же время.

Жар снова прихлынул к щекам Клариссы. Ей было очень занятно представлять себе тот странный ноющий звук, тот чужой всхлип, о котором она рассказала своему другу. Она взяла зеркало и попыталась восстановить лицо с испуганно сжатыми губами, что было у нее, наверно, в ту ночь, когда отец пришел к ее постели. Ей не удалось воспроизвести звук, исторгнутый из ее груди искушением. Она подумала, что и сегодня звук этот, наверно, точно так же таится в груди у нее, как таился тогда. Это был звук беспощадный и беззастенчивый; но он никогда больше

не выходил наружу. Она положила зеркало и осторожно огляделась, подкрепляя сознание, что она одна, ощупывающим взглядом. Затем, на ощупь, кончиками пальцев сквозь платье, она отыскала бархатно-черную родинку, обладавшую таким странным свойством. Находилась она, наполовину спрятанная бедром, в паховом сгибе, у края волос, которые там сходили на нет немного неравномерно; Кларисса положила на нее руку, отогнала все мысли и стала ждать изменения, которое должно было произойти. Она сразу его почувствовала. Это не был мягкий ток желания; рука ее сделалась твердой, крепкой, как мужская; Клариссе казалось, что если она поднимет ее как следует, она сможет сокрушить ею все на свете! Она называла это место на своем теле глазом дьявола. На этом месте ее отец повернул. У глаза дьявола был взгляд, пробивавшийся сквозь одежды; взгляд этот «схватывал» мужчин, гипнотически притягивал их, но не разрешал им шевельнуться, пока так хотелось Клариссе. Кларисса, думая, брала иные слова в кавычки, выделяла их — подобно тому как подчеркивала иные слова, когда их писала, жирными чернильными линиями; такие выделенные слова имели тогда напряженный смысл, напряженный

наподобие ее руки; кто бы подумал, что глазом действительно можно что-то схватить? Но она была первым человеком, державшим в руке это слово, как камень, который можно швырнуть в цель. То была часть сокрушительной силы ее руки. И за всем этим она забыла о ноющем звуке, о котором ей хотелось подумать, и задумалась о своей младшей сестре Марион. В четыре года Марион приходилось на ночь связывать руки, потому что иначе они, ничего не подозревая, просто ради приятного ощущения, забирались под одеяло, как два медвежонка в дупло с медом. А позднее ей, Клариссе, пришлось однажды оторвать Вальтера от Марион. Чувственность ходила по их семье, как вино среди виноделов — от одного к другому. Это была судьба. Она несла тяжкое бремя. Но все-таки мысли ее гуляли сейчас в прошлом, напряжение в руке ослабло до естественного состояния, а ладонь, забытая, осталась у лона. Она тогда обращалась к Вальтеру еще на «вы». Она была ему, в сущности, очень многим обязана. Он принес весть о существовании новых людей, признающих только холодную, ясную мебель и вешающих у себя в комнатах картины, на которых изображена правда. Он читал ей вслух — Петера Альтенберга, короткие истории о

девочках, играющих в серсо среди обезумевших от любви тюльпановых клумб и обладающих светло-мило-невинными, как marrons glaces,[31] глазами; и с той минуты Кларисса знала, что ее стройные ноги, казавшиеся ей еще детскими, значили ровно столько же, сколько какое-нибудь «не знаю чье» скерцо.

Они все уехали тогда на лето из города, широкий круг людей, несколько знакомых семейств сняли дачи у озера, и все спальни были переполнены приглашенными приятелями и приятельницами. Кларисса спала с Марион, и в одиннадцать часов, совершая свой таинственный моцион при луне, к ним в комнату захаживал иногда поболтать доктор Мейнгаст, теперь знаменитый в Швейцарии человек, а тогда душа общества и идол всех матерей. Сколько ей тогда было лет? Пятнадцать или шестнадцать или между четырнадцатью и пятнадцатью, когда приехал его ученик Георг Грешль, который был лишь немногим старше Марион и Клариссы? А доктор Мейнгаст был в тот вечер рассеян, он произнес краткую речь о лунных лучах, бесчувственно спящих родителях и новых людях и вдруг исчез,

---

[31] Примечания: 31
Каштаны в сахаре (фр.).

и казалось, что зашел он только затем, чтобы оставить с девочками маленького плотного Георга, который перед ним преклонялся. Тут Георг как воды в рот набрал, наверное, оробев, и обе девочки, дотоле отвечавшие Мейнгасту, тоже умолкли. Но потом Георг, вероятно, сжал в темноте зубы и подошел к кровати Марион. Комната была снаружи немного освещена, но в углах, где стояли кровати, тени сгущались непроницаемо, и Кларисса не могла разобрать, что происходит; ей показалось только, что Георг стоял во весь рост у кровати и смотрел сверху на Марион, однако к Клариссе он повернулся спиной, а Марион не издавала ни звука, словно ее не было в комнате. Это длилось очень долго. Но наконец — а Марион по-прежнему не подавала никаких признаков своего присутствия — Георг, как убийца, отделился от тени, его плечо и бок бледно мелькнули в середине освещенной луной комнаты, и подошел к Клариссе, которая быстро легла опять и натянула одеяло до подбородка. Она знала, что сейчас повторится то таинственное, что происходило у Марион, и застыла в ожидании, а Георг молча стоял возле ее кровати, до странности крепко, как ей показалось, сжав губы. Наконец появилась его рука, как змея, и принялась за

Клариссу. Что он еще делал, осталось ей неясно; у нее не было представления об этом, и она не могла связать то немногое, что, несмотря на свое волнение, заметила из его движений. Сама она никаких сладострастных чувств не испытывала, они пришли позднее, тогда было только сильное, безымянное, боязливое волнение; она держалась тихо, как дрожащий камень в мосту, по которому бесконечно медленно катится тяжелый воз, она не в силах была что-либо сказать и ничему не сопротивлялась. Когда Георг ее отпустил, он исчез не попрощавшись, и ни одна из сестер не знала с уверенностью, происходило ли с другой то же, что с ней самой; они не позвали друг друга на помощь и не призвали к участию, и прошли годы, прежде чем они впервые перемолвились об этом случае.

Кларисса снова нашла свое яблоко и грызла его, разжевывая маленькие кусочки. Георг не выдавал себя и не заговаривал о случившемся, разве что, может быть, на самых первых порах он нет-нет да делал каменно многозначительные глаза; ныне он был преуспевающим и элегантным юристом на государственной службе, а Марион была замужем. С доктором же Мейнгастом перемен произошло больше; он сбросил с

себя цинизм, уехав за границу, стал тем, что за пределами университетов зовется знаменитым философом, постоянно был окружен учениками и ученицами, а недавно прислал Вальтеру и Клариссе письмо, где сообщал, что вскоре посетит родину, чтобы поработать там некоторое время без помех со стороны своих последователей; он спрашивал их также, могут ли они приютить его у себя, поскольку слышал, что они живут «на рубеже природы и столицы». И это-то, возможно, и было началом всех путей, которыми шли в этот день мысли Клариссы. «О боже, до чего же странное было время!» — подумала она. И теперь она вспомнила: то было лето перед летом с Люси. Мейнгаст целовал ее, когда ему это было угодно. «Позвольте поцеловать вас!»— вежливо говорил он, прежде чем это сделать, и всех ее подруг он целовал тоже, и Кларисса вспомнила даже одну из них, на чью юбку она с тех пор не могла глядеть, не думая о ханжески опущенных глазах. Мейнгаст сообщил ей об этом сам, и Кларисса — ей ведь было тогда всего пятнадцать лет! — сказала совершенно взрослому доктору Мейнгасту, когда он поведал ей о своих приключениях с ее подругами: «Вы свинья!» Ей доставило удовольствие, напомнившее сапоги со шпорами, употребить

это грубое слово и выругать Мейнгаста; но все-таки она испугалась, что в конце концов тоже не устоит, и когда он попросил разрешения поцеловать ее, она не осмелилась воспротивиться, боясь показаться глупой.

Но когда ее впервые поцеловал Вальтер, она сказала очень серьезно: «Я обещала маме никогда этого не делать». В этом-то и заключалась разница; Вальтер говорил красиво, его речь походила на Евангелие, а говорил он очень много, искусство и философия окутывали его, как широкая гряда облаков луну. Он читал ей вслух. Но главным образом он то и дело смотрел на нее, на нее одну из всех ее подруг, в этом поначалу состояла их связь, и было это в точности так, как когда луна глядит на тебя: ты складываешь руки. Связь их друг с другом на самом деле продолжилась потом и пожиманиями рук; тихими, теперь уже без слов, пожиманиями, в которых была бесподобная связующая сила. Все свое тело Кларисса чувствовала очищенным его рукой; она бывала несчастна, если он подавал ей руку рассеянно и холодновато. «Ты не знаешь, что это для меня значит!» — просила она его. Они ведь уже были тогда на «ты», тайком. Он научил ее понимать горы и жуков, а дотоле она видела в природе

только пейзаж, который папа или кто-нибудь из его коллег писали и продавали. У нее вдруг проснулось критическое отношение к семье; она почувствовала себя новой и другой. Теперь Кларисса точно вспомнила и то, как было дело со скерцо. «Ваши ноги, фрейлейн Кларисса, — сказал Вальтер, — имеют к настоящему искусству больше отношения, чем все картины, которые пишет ваш папа!» На даче было пианино, и они играли в четыре руки. Кларисса училась у него; она хотела подняться над своими подругами и над своей семьей; никто не понимал, как можно в прекрасные летние дни играть на пианино, вместо того чтобы грести или купаться, но она связала свои надежды с Вальтером, она сразу и уже тогда решила стать Его Женщиной, выйти за него замуж, и если он прикрикивал на нее за какую-нибудь ошибку в игре, все в ней вскипало, но радости бывало все-таки больше. А Вальтер и в самом деле иногда на нее прикрикивал, ибо дух не признает скидок; но только за пианино. Вне музыки еще случалось, что Мейнгаст ее целовал, а однажды, когда они катались на лодке при луне и Вальтер греб, она сама положила голову на грудь Мейнгасту, сидевшему рядом с ней у кормы. Мейнгаст был до жути ловок в таких де-

лах, она не знала, что из этого выйдет; зато когда Вальтер второй раз, после урока фортепианной игры, в последний миг, когда они уже стояли в дверях, схватил ее сзади и стал целовать, у нее было только очень неприятное чувство, что она задыхается, и она стремительно вырвалась; тем не менее она твердо решила: что бы там еще ни случилось с другим, этого ей нельзя отпускать!

В таких делах бывают ведь странности; в дыхании доктора Мейнгаста было что-то, от чего сопротивление таяло, что-то похожее на чистый легкий воздух, в котором чувствуешь себя счастливой, не замечая его, тогда как у Вальтера, страдавшего, как Кларисса давно знала, замедленным пищеварением, была и в дыхании какая-то очень похожая на его медлительность в решениях застойность, отчасти оно было слишком жарким, отчасти парализующе затхлым. Такое сочетание физической и духовной сторон играло с самого начала необычайную роль, и Кларисса нисколько не удивлялась этому, ибо именно ей казались как нельзя более естественными слова Ницше, что тело человека и есть его душа. Ее ноги не были гениальнее, чем ее голова, они были гениальны в совершенно одинаковой мере, они сами были ее гениальностью; ее

рука, едва до нее дотрагивался Вальтер, тут же приводила в движение поток решений и уверенных мнений, который пробегал от макушки до пят, но не нес с собой слов; и ее молодость, обретя чувство собственного достоинства, бунтовала против убеждений и других глупостей ее родителей просто со свежестью крепкого тела, презирающего все чувства, которые хоть как-то напоминают пышные супружеские кровати и роскошные турецкие ковры, столь любезные строго-нравственному старшему поколению. И потому физическая сторона и в дальнейшем играла роль, на которую она смотрела иначе, чем, может быть, посмотрят другие. Но тут Кларисса велела своим воспоминаниям остановиться; или, вернее сказать, воспоминания высадили ее внезапно опять в нынешнем дне без какого бы то ни было толчка о причал. Ибо все это и то, что еще последовало, Кларисса хотела сообщить своему другу без свойств. Может быть, Мейнгаст занимал сейчас в этом слишком большое место, ведь он же вскоре после того бурного лета исчез, бежал на чужбину, в нем началась та огромная метаморфоза, которая сделала из легкомысленного прожигателя жизни знаменитого мыслителя, и Кларисса видела его с тех пор только мельком,

да и не вспоминали они при этом о прошлом. Но наедине с собой ей было ясно ее участие в совершившейся с ним перемене. Много чего еще происходило между нею и им в те недели перед его исчезновением — без Вальтера и при ревнивом участии Вальтера, вытесняя Вальтера, подстрекая и взвинчивая Вальтера, — духовные грозы, еще более сумасшедшие часы, сводящие с ума перед грозой мужчину и женщину, и часы отбушевавшие, совсем освободившиеся от страсти и, как луга после дождя, дышащие чистым воздухом дружбы. Клариссе приходилось многое сносить, и сносить не без удовольствия, но затем это любопытное дитя по-своему защищалось, высказывая своему разнузданному другу все, что она думала, и поскольку уже в последнее время, перед тем как уехать, Мейнгаст стал по-дружески серьезен, был чуть ли не великодушен и печален в соперничестве с Вальтером, Кларисса была сегодня твердо убеждена в том, что все, омрачавшее его дух до отъезда в Швейцарию, она навлекла на себя и тем самым дала ему возможность так неожиданно измениться. В этом мнении ее укрепило то, что происходило потом между нею и Вальтером; Кларисса уже точно не различала эти давно прошедшие годы и месяцы, но, в конце-то

концов, и неважно было, когда именно произошло то или другое; в общем, вслед за строптивым с ее стороны сближением с Вальтером наступила мечтательная пора совместных прогулок, признаний и духовного овладения друг другом, полная в то же время бесчисленных маленьких, бесконечно мучительных необузданностей, к каким тянет двух любящих, которым для вполне решительной храбрости еще недостает ровно такой доли, какую уже утратило их целомудрие. Это было так, словно Мейнгаст оставил им свои грехи, чтобы те были еще раз пережиты в более высоком смысле, доведены до высшего смысла и тем самым изжиты, и именно так виделось это им. И сегодня, когда Кларисса настолько мало ценила любовь Вальтера, что часто испытывала к ней отвращение, она еще яснее видела, что хмельная жажда любви, доводившая ее тогда до такого безумия, не могла быть ничем, кроме инкарнации, — что значило, как знала она, воплощение, инкарнации чего-то бесплотного, какого-то смысла, предназначения, судьбы, уготовляемых звездами избранным.

Она не стыдилась, ей скорее хотелось плакать, сравнивая прежнее с нынешним; но и плакать Кларисса не плакала, а сжимала губы, и из этого

выходило что-то похожее на ее улыбку. Ее рука, зацелованная до подмышки, ее нога, оберегаемая глазом дьявола, ее гибкое тело, тысячи раз крученное томлением любимого и опять, как канат, раскручивавшееся, сохраняли дивное, сопровождающее любовь чувство, что в каждом твоем движении есть таинственная значительность. Кларисса просто сидела и казалась себе актрисой в антракте. Правда, она не знала, что будет дальше; но она была убеждена, что бесконечная миссия любящих — сохранять себя теми, кем они были друг для друга в самые высокие мгновения. И ее рука была вот она, ее нога была вот она, ее голова венчала ее тело в жутковатой готовности первой заметить знак, который непременно покажется. Может быть, и трудно понять, что имела в виду Кларисса, но для нее это не составляло труда. Она написала письмо графу Лейнсдорфу с требованием года Ницше, а также освобождения убийцы женщин и, может быть, публичной его демонстрации для напоминания о страстях тех, кому суждено взвалить на себя разрозненные грехи всех остальных; и теперь она знает, почему она это сделала. Надо сказать первое слово. Наверно, она выразилась нехорошо, но это неважно; главное — начать и

перестать терпеть и мириться. Историей доказано, что время от времени — за этим звенели слова «от эона к эону», как два колокола, которых не видно, хотя они близко, возникает потребность в таких людях, не способных действовать и лгать заодно со всеми и тем вызывающих всеобщее недовольство. Досюда дело было ясно.

И ясно также, что людям, вызывающим всеобщее недовольство, приходится чувствовать давление мира. Кларисса знает, что великим гениям человечества почти всегда приходилось страдать, и не удивляется тому, что иные дни и недели ее жизни придавлены свинцовой тяжестью, словно по ним волокут громадную плиту; но пока это каждый раз проходило, и таковы все люди, церковь, по своей мудрости, ввела даже времена скорби и траура, чтобы сосредоточить скорбь и не дать унынию и апатии разлиться на каких-нибудь полвека, что тоже уже случалось. Труднее справляться с некоторыми другими мгновениями в жизни Клариссы, слишком раскованными и лишенными силы противодействия, когда порой достаточно слова, чтобы она словно бы сошла с рельсов; она тогда вне себя, она не может определить, где; но она отнюдь не отсутствует, напротив, скорее можно сказать, что

она присутствует внутри, в более глубоком пространстве, которое непостижимым для обычных представлений образом находится внутри пространства, занимаемого в мире ее телом; но зачем искать слова для чего-то, что не лежит на дороге слов, все равно вскоре она ухватится за другие, а в голове останется только легкая, светлая щекотка, как после кровотечения из носу. Кларисса понимает, что это опасные мгновения, иногда у нее бывающие. Это явно предуготовления и испытания. У нее вообще была привычка думать о многом одновременно, так веер складывается, накладывая планку на планку, и одно оказывается наполовину возле, наполовину ниже другого, и когда это уж очень запутывается, понятна потребность высвободиться одним рывком; многие рады бы высвободиться, да не удается.

Итак, Кларисса переживает предуготовления и предвестия так, как иные гордятся своей памятью или своим железным пищеварением; они, по их словам, могут есть хоть толченое стекло. Но Кларисса уже несколько раз доказывала, что она действительно может кое-что взять на себя; ее сила показала себя на ее отце, на Мейнгасте, на Георге Грешле, а с Вальтером еще нужно было напрячься, тут, хотя и с заминками, что-то еще

видоизменялось; но с некоторых пор у Клариссы было намерение показать свою силу на человеке без свойств. Она не могла бы точно сказать, с каких именно; это было связано с этим прозванием, которое Вальтер придумал, а Ульрих одобрил; раньше, должна была она признать, в прежние годы, она никогда не жаловала его серьезным вниманием, хотя они и были добрыми друзьями. Но «человек без свойств» — это напоминало ей, например, фортепианную игру, то есть все эти наплывы грусти, взлеты радости, вспышки гнева, через которые тут проносишься, причем это все-таки не совсем настоящие страсти. Она чувствовала, что это ей сродни. Отсюда был прямой путь к утверждению, что надо отказываться от всего, во что не вкладываешь всю душу, а это уже была для нее самая суть взбаламученной действительности ее брака. Человек без свойств не говорит жизни «нет», он говорит «еще нет!» и сохраняет себя; это она поняла всем телом. Может быть, смысл всех тех мгновений, когда она выходила за пределы самой себя, заключался в том, что ей суждено стать богоматерью. Она вспомнила видение, которое — с тех пор не прошло и четверти часа — ее посетило. «Может быть, каждая мать может стать богоматерью, — поду-

мала она, — если она не уступает, не лжет и не прилагает усилий, а в виде младенца выносит наружу таящееся в ее глубине! При условии, что для самой себя она ничего не достигнет!" добавила она печально. Ибо мысль эта отнюдь не была ей только приятна, а наполнила ее делящимся между мукой и блаженством чувством, что она — жертва за что-то. Если, однако, ее видение мелькнуло картиной, проступившей в ветках дерева между листьями, которые вдруг замерцали, как свечи, после чего лес сразу сомкнулся снова, то теперь ее настроение изменилось надолго. Какая-то случайность подарила ей в следующий миг безразличное для любого другого человека открытие, что в слове „родинка“ слышится слово „роды“; для нее это значило так много, словно судьба ее вдруг оказалась начертанной звездами. Дивная мысль, что мужчину женщина должна вбирать в себя и как родительница, и как возлюбленная, смягчила и взволновала ее. Она не знала, как пришла эта мысль, но мысль эта растопила кристаллы ее сопротивления и все-таки дала ей силу.

Но она еще отнюдь не доверяла человеку без свойств. Он многое хотел сказать не так, как говорил. Когда он утверждал, что его мысли

невыполнимы или что он ничего не принимает всерьез, это было только увиливание, она понимала это ясно; они друг друга учуяли и узнали по признакам, а Вальтер думал, что Кларисса иногда сходит с ума! И все же в Ульрихе было что-то горько злое, дьявольски присущее равнодушию мира. Надо освободить его. Ей надо привлечь его.

Она сказала Вальтеру: убей его. Смысла в этом было немного, она толком не знала, что она имела в виду; но означало это, что нужно что-то сделать, чтобы вырвать его из него же самого, и что нельзя останавливаться ни перед чем.

Ей надо побороться с ним.

Она засмеялась, потерла нос. Побродила в темноте. Надо что-то предпринять с параллельной акцией. Что — она не знала.

98
Насчет государства, погибшего от неточного словоупотребления

Поезд времени — это поезд, который прокладывает перед собой свои рельсы. Река времени — это река, которая тащит с собой свои берега. Пассажир движется между твердыми стенами по твердому полу; но от движений пассажиров

незаметно и самым энергичным образом движутся пол и стены. То было неоценимое счастье для душевного покоя Клариссы, что среди ее мыслей эта еще не встречалась.

Но и граф Лейнсдорф был от нее защищен. Он был защищен от нее убежденностью, что он занимается реалистической политикой.

Дни мелькали и составляли недели. Недели не останавливались на месте, а сплетались в цепь. Непрестанно что-то происходило. А когда постоянно что-то происходит, легко создается впечатление, что ты достигаешь какого-то реального результата. Так, покои лейнсдорфского дворца надо было открыть для публики по случаю большого празднества в пользу больных туберкулезом легких детей, и этому событию предшествовали обстоятельные беседы между его сиятельством и его мажордомом, в ходе которых назывались определенные дни, когда надлежало совершить определенные действия. Полиция устроила в ту же пору юбилейную выставку, на открытие которой явилось все общество, причем начальник полиции самолично посетил графа Лейнсдорфа, чтобы передать ему приглашение, и когда граф Лейнсдорф пожаловал и был принят, начальник полиции узнал

сопровождавшего его сиятельство «добровольного помощника и почетного секретаря», какового с ним еще раз без нужды познакомили, что дало начальнику полиции повод показать свою потрясающую память на лица, ибо о нем говорили, что он знает в лицо каждого десятого подданного или по крайней мере о нем осведомлен. Диотима тоже явилась в сопровождении своего супруга, и все прибывшие ждали некоего члена императорской семьи, которому часть их и была потом представлена, и все, как один, находили, что выставка очень удачна и интересна. Состояла она из однородной смеси картин, развешанных по стенам, и выставленных в стеклянных шкапах и стендах вещественных напоминаний о больших преступлениях. К предметам этим принадлежали орудия взломщиков, аппаратура фальшивомонетчиков, потерянные пуговицы, наведшие на след, трагические инструменты известных убийц с объяснительными табличками, а картины на стенах, в противоположность этому страшному арсеналу, изображали назидательные сюжеты из жизни полиции. Тут можно было увидеть бравого полицейского, переводящего старушку через улицу, строгого полицейского перед прибившимся к берегу трупом, храброго полицейского,

останавливающего шарахнувшихся лошадей, аллегорию «Полиция как хранительница города», заблудившегося ребенка среди по-матерински отзывчивых полицейских в участке, горящего полицейского, который выносит девочку из охваченного огнем дома, множество таких картин, как «Первая помощь» или «На одиноком посту», а также фотографии отличившихся полицейских, начиная с 1869 года службы, их жизнеописания и стихотворения в рамках, прославлявшие полицию или отдельных ее деятелей. Высший ее начальник, глава того министерства, которое в Какании носило психологический титул «внутренних дел», указал, открывая выставку, на эти изображения как на свидетельства подлинной народности духа полиции и назвал восхищение этим духом, состоящим в готовности прийти на помощь и дисциплине, источником нравственности в эпоху, когда искусство и жизнь слишком уж тяготеют к трусливому культу беззаботной чувственности. Диотима, стоявшая рядом с графом Лейнсдорфом, встревожилась за свои усилия по поощрению новейшего искусства и постаралась глядеть в пустоту с кротким, но неуступчивым выражением лица, чтобы дать всем почувствовать, что в Какании есть и иные головы, чем

голова этого министра. А ее кузен, во время речи издали наблюдавший за ней с респектабельной задумчивостью почетного секретаря параллельной акции, вдруг почувствовал в тесноте толпы, что на его руку у локтя легли чьи-то осторожно легкие пальцы, и, к своему удивлению, увидел рядом с собой Бонадею, которая, придя на этот вернисаж с мужем, высоким судейским чином, воспользовалась мгновением, когда все шеи повернулись к министру и стоявшему перед ним эрцгерцогу, чтобы приблизиться к своему неверному другу. Этой смелой атаке предшествовала долгая подготовка; убитая потерей возлюбленного в момент, когда она была во власти печальной потребности закрепить ветреное знамя своих желаний, говоря фигурально, также и свободным концом, она думала последние недели только о том, чтобы вернуть Ульриха. Он избегал ее, а объяснения, которых она добивалась силой, ставили ее только в то невыгодное положение, в каком всегда находится домогающийся по отношению к тому, кто предпочел бы остаться в одиночестве; поэтому она решила во что бы то ни стало войти в тот круг, где ежедневно бывал ее возлюбленный, а эта цель включала в себя вторую — использовать в своих интересах, для внутренней связи с

обеими сторонами, профессиональное отношение, которое имел ее супруг к ужасному убийце Моосбругеру, и намерение ее друга как-нибудь облегчить участь этого убийцы. Поэтому последнее время она сильно докучала супругу разговорами об участии, принимаемом в заботе о душевнобольных преступниках влиятельными кругами, а узнав о создании полицейской выставки и торжественном ее открытии, заставила его взять ее с собой, ибо инстинкт говорил ей, что это и есть то долгожданное благотворительное мероприятие, где она познакомится с Диотимой. Когда министр кончил речь и общество стало обходить экспозицию, она не покинула своего ошеломленного возлюбленного и принялась в его сопровождении осматривать ужасные, покрытые кровью орудия, несмотря на свое почти непреодолимое отвращение к ним.

— Ты говорил, что при желании все это можно было бы предотвратить, пролепетала она, напоминая ему, как благонравный ребенок, желающий показать свою внимательность, об их последней обстоятельной беседе об этом предмете. Чуть позднее она улыбнулась и, дав толпе тесно прижать себя к нему, воспользовалась этим мгновением, чтобы шепнуть: — Ты как-то сказал,

что при надлежащих обстоятельствах любой человек способен на любую слабость!

Ульрих был очень смущен демонстративностью, с какой она не отходила от него ни на шаг, и поскольку, несмотря на все его отвлекающие маневры, его возлюбленная упорно пробиралась к Диотиме, а одернуть всерьез Бонадею при всех нельзя было, он понял, что на сей раз ему ничего не останется, как положить начало знакомству этих двух женщин, которому он до сих пор старался помешать. Они стояли уже совсем близко от группы, окружавшей Диотиму и его сиятельство, когда Бонадея громко воскликнула перед одной из витрин:

— Смотрите, вот нож Моосбругера!

И в самом деле, нож этот был здесь, и Бонадея глядела на него с таким восторгом, словно, роясь в ящике, обнаружила там первый бабушкин орден за котильон; тут ее приятель быстро решился и, придумав подходящий предлог, попросил у кузины милостивого разрешения познакомить ее с дамой, которая этого жаждет и известна ему как страстная почитательница всяких добрых, истинных и прекрасных устремлений.

Итак, нельзя было сказать, что в мелькании дней происходило мало событий, и полицейская

выставка со всем, что с нею связалось, была, в сущности, самым малым из них. В Англии, например, устроили нечто куда более великолепное, о чем здесь в свете было много толков, кукольный домик, подаренный королеве и построенный знаменитым архитектором, со столовой длиною в метр, где висели миниатюрные портреты кисти знаменитых современных художников, комнатами, где из кранов текла горячая и холодная вода, и библиотекой с маленькой, сплошь из золота, книжечкой, куда королева вклеила фотографии королевской семьи, с микроскопически отпечатанным железнодорожно-пароходным справочником и сотнями-двумя крошечных томиков, куда знаменитые авторы собственноручно вписали для королевы стихи и рассказы. У Диотимы имелась английская, только что вышедшая роскошная двухтомная монография об этом, воспроизводившая все достопримечательности в великолепных иллюстрациях, и этому изданию Диотима была обязана усилившимся интересом высших кругов общества к ее салону. Но и вообще непрестанно происходили всякие вещи, которым нелегко было подыскать название, и все это, как барабанный бой в душе, предшествовало чему-то, чего еще не было видно за углом. Бастовали,

например, кайзеровско-королевские служащие телеграфа — впервые и чрезвычайно тревожным способом, получившим название «пассивное сопротивление» и состоявшим не в чем другом, как в том, что они с педантичнейшей добросовестностью соблюдали все официальные инструкции; оказалось, что точное следование закону приведет к полному застою в работе скорее, чем то способна сделать самая необузданная анархия. Вместе с «капитаном из Кепеника» в Пруссии — что стал офицером, как еще помнят сегодня, благодаря купленному у старьевщика мундиру, задержал на улице патруль и с его помощью, а также с помощью прусской верноподданнической дисциплины очистил муниципальную кассу, — «пассивное сопротивление» было чем-то таким, что щекотало вкус, но в то же время подспудно колебало идеи, на которые опиралось просившееся на язык неодобрение. Одновременно в газетах писали, что правительство его величества заключило с правительством другого величества договор, предусматривающий обеспечение мира, экономический подъем, сердечное сотрудничество и уважение к правам всех, но также меры на тот случай, если все это окажется под угрозой. Через несколько дней после этого

министр начальника отдела Туцци произнес речь, где доказал насущную необходимость тесного союза трех континентальных империй, которые не должны игнорировать современное социальное развитие, а должны в общих интересах династий выступить единым фронтом против социальных новшеств; Италия втянулась в вооруженный конфликта Ливии; у Германии и Англии был багдадский вопрос; Какания делала кое-какие военные приготовления на юге, чтобы показать миру, что она не позволит Сербии распространиться до моря, а разрешит только железнодорожную связь; и на равных со всеми событиями такого рода всемирно известная шведская актриса госпожа Фогельаанг призналась, что ей никогда так хорошо не спалось, как в эту первую ночь по прибытии в Каканию, и что ее обрадовал полицейский, который спас ее от энтузиазма толпы, но затем сам попросил позволения благодарно пожать ей руку обеими своими руками. Это, однако, опять возвращает мысли к полицейской выставке. Происходило многое, и люди это замечали. Они находили хорошим то, что делали сами, и сомнительным то, что делали другие. В деталях все было понятно каждому школьнику, но что, собственно, происходит в це-

лом, никто толком не знал, кроме немногих лиц, да и те не были уверены, что знают это. Немного спустя все могло бы произойти и в другом или обратном порядке, и никто не нашел бы никакой разницы, если не считать определенных перемен, которые в ходе времени как раз почему-то упрочиваются и образуют слизистый след улитки-истории.

Понятно, что при таких обстоятельствах иностранное посольство стоит перед трудной задачей, если оно хочет выяснить, что, в сущности, происходит. Дипломатические представители были бы рады набраться ума у графа Лейнсдорфа, но его сиятельство чинил им трудности. Он каждый день заново находил в своей деятельности то удовлетворение, которое способна дать надежная солидность, и посторонним наблюдателям лицо его являло сияющее спокойствие следующих своим порядком событий. Инстанция номер один писала, инстанция номер два отвечала; когда инстанция номер два отвечала, об этом надлежало сообщить инстанции номер один, для чего удобней всего было провести личную встречу; когда инстанции номер один и номер два приходили к согласию, выяснялось, что предпринять ничего нельзя; таким образом, непрестанно надо было

что-то делать. Кроме того, надо было принимать во внимание бесчисленное множество всяких побочных соображений. Ведь работать приходилось рука об руку со всеми многоразличными министерствами; не хотелось обижать церковь; нужно было считаться с определенными лицами и общественными связями; словом, даже в те дни, когда не делали ничего особенного, следовало не делать стольких вещей, что создавалось впечатление бурной деятельности. Его сиятельство ценил это по достоинству. «Чем выше ставит человека судьба, — говорил он, — тем яснее ему, что важны лишь несколько простых принципов, да твердая воля, да планомерный труд». А однажды он при своем «молодом друге» коснулся этой темы подробнее. Упомянув о германских стремлениях к единству, он признал, что между тысяча восемьсот сорок восьмым и шестьдесят шестым годами в политике сказало свое слово много умнейших людей; «но потом, — продолжал он, — пришел этот Бисмарк, а одно хорошее качество у него во всяком случае было: он показал, как надо делать политику не болтовней и не умничаньем! Несмотря на свои темные стороны, он добился того, что с его времени везде, где говорят по-немецки, любому известно, что

полагаться в политике надо не на умничанье и не на болтовню, а на молчаливое размышление и действие!» Аналогичные заявления граф Лейнсдорф делал и на Соборе, и представителям иностранных держав, имевших там порой своих наблюдателей, было трудно составить верную картину его взглядов. Придавая важное значение участию Аргейма и посту начальника отдела Туцци, приходили в общем к выводу, что между этими двумя людьми и графом Лейнсдорфом существует тайный сговор, политическая цель которого скрыта пока энергичными отвлекающими маневрами, осуществляемыми госпожой Туцци благодаря ее панкультурным стараниям. Учитывая этот успех, которым граф Лейнсдорф без всяких усилий обманул любопытство даже опытных наблюдателей, графу никак нельзя отказать в том таланте реалистического политика, каковым он, по его мнению, обладал.

Но и господа, носящие на фраках в торжественных случаях вышитые золотом листья и тому подобные буколические символы, тоже оставались верны реалистическо-политическим предрассудкам своего ремесла и, не находя за кулисами параллельной акции никаких осязаемых явлений, обратили вскоре свой взор на то, что было в

Какании причиной большинства неясных явлений и называлось «нераскрепощенные народы». Сегодня делают вид, будто национализм — это только изобретение армейских поставщиков, но надо бы сделать попытку и более широкого объяснения, а Какания вносила в таковое немаловажную лепту. Жители этой кайзеровской и королевской кайзеровско-королевской двойной монархии стояли перед трудной задачей: они должны были чувствовать себя кайзеровскими и королевскими австро-венгерскими патриотами, но одновременно и королевско-венгерскими или кайзеровско-королевско-австрийскими.

Их понятный перед лицом таких трудностей девиз гласил: «Объединенными силами!» Иначе говоря, viribus unitis. Но австрийцам требовались для этого гораздо большие силы, чем венграм. Ибо венгры были прежде всего и в конечном счете только венграми и лишь наряду с этим считались у людей, не понимавших их языка, также и австро-венграми; австрийцы, напротив, не были первоначально ничем и должны были, по мнению их начальства, тоже чувствовать себя австро-венграми или австрийцами-венграми, — не было даже точного слова для этого понятия. Австрии тоже не было. Обе части, Ав-

стрия и Венгрия, подходили друг к другу, как красно-бело-зеленый пиджак к черно-желтым штанам; пиджак был самостоятельным предметом, штаны же — остатком уже не существующего черно-желтого костюма, разделенного в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году. Штаны Австрия именовались с тех пор на официальном языке «Представленные в имперском совете королевства и земли», что, конечно, ровно ничего не значило и было названием, составленным из названий, ибо и этих королевств, например, вполне шекспировских королевств Лодомерии и Иллирии, тоже давно не было и не существовало уже тогда, когда еще существовал полный черно-желтый костюм. Поэтому на вопрос, кто он такой, австриец не мог, конечно, ответить: «Я житель представленных в имперском совете королевств и земель, которых не существует», — и хотя бы по этой причине предпочитал сказать: «Я поляк, чех, итальянец, фриулец, ладин, словенец, хорват, серб, словак, русин или валах», — а это был так называемый национализм. Надо представить себе белку, которая не знает, белка она или кошка-дубнячка, существо, которое понятия о себе не имеет, и не удивляться, что в иных обстоятельствах можно проникнуться отчаянным страхом

перед собственным хвостом; а каканцы находились именно в таких отношениях между собой и смотрели друг на друга с паническим ужасом частей тела, которые объединенными силами мешают друг другу быть чем-либо. С тех пор как мир стоит, еще ни одно существо не умирало от неточного словоупотребления, но надо, видимо, прибавить, что с австрийской и венгерской австро-венгерской двойной монархией случилось все же так, что она погибла от своей невыразимости.

Человеку со стороны полезно знать, каким образом такой искушенный и высокопоставленный каканец, как граф Лейнсдорф, справлялся с этими трудностями. Прежде всего он мысленно, в бдительном своем уме, тщательно отделял Венгрию, о которой он, будучи мудрым дипломатом, никогда не говорил, как никогда не говорят о сыне, начавшем самостоятельную жизнь против воли родителей, хотя и надеются, что ему еще придется туго; остальное же граф называл национальностями или австрийскими племенами. Это было очень тонкое изобретение. Его сиятельство изучал государственное право и нашел там довольно распространенное во всем мире определение, что народ лишь тогда вправе считаться нацией, если он обладает собственной государственностью,

из чего следовало, что каканские нации — это разве что национальности. С другой стороны, граф Лейнсдорф знал, что полное и истинное свое назначение человек может найти лишь в более широких рамках общей жизни нации, и поскольку ему не хотелось, чтобы у кого-то их не было, он приходил к выводу о необходимости стоящего над национальностями и племенами государства. Он верил, кроме того, в божественный порядок, хотя таковой и не всегда виден человеческому глазу, а в революционно-современные часы, иногда у него случавшиеся, способен был даже думать, что столь окрепшая в новейшее время идея государства есть, возможно, не что иное, как данная богом идея величия, начавшая только теперь проявляться в своей обновленной форме. Так или иначе, — как политик-реалист, он был против слишком далеко уводящих мыслей и согласился бы с мнением Диотимы, что идея каканского государства равнозначна идее мира во всем мире, — главное было то, что каканское государство, худо ли, хорошо ли, существовало, хотя и без надлежащего наименования, и что соответственно надо было изобрести каканскую нацию. Он обычно пояснял это примером, что тот не школьник, кто не учится в школе, а школа

остается школой, даже когда она пуста. Чем больше противились народности каканской школе, которая должна была сделать из них народ, тем более необходимой казалась ему при данных условиях школа. Они всячески подчеркивали, что они нации, требовали, чтобы им вернули потерянные исторические права, заигрывали с братьями и родственниками по племени по ту сторону границы и во всеуслышание называли империю тюрьмой, из которой им хотелось выйти на волю. Тем успокоительнее, однако, называл их племенами граф Лейнсдорф; он так же, как они сами, всячески подчеркивал несовершенство их состояния, только он хотел усовершенствовать его, сделав из племен австрийскую нацию, а все, что не вязалось с его планом или было слишком строптиво, он по своему уже знакомому обыкновению объявлял следствием еще не преодоленной незрелости и считал, что против этого лучше всего применить смесь умной гибкости и карательной мягкости.

Когда граф Лейнсдорф дал жизнь параллельной акции, она сразу прослыла среди национальностей таинственным пангерманским заговором, и интерес, проявленный его сиятельством к полицейской выставке, был поставлен в связь

с политической полицией и истолкован как подтверждение его родства с ней. Все это знали иностранные наблюдатели, слышавшие насчет параллельной акции сколько им было угодно страшных вещей. Они не забывали об этих вещах, когда им рассказывали о приеме, устроенном актрисе Фогельзанг, о кукольном домике королевы и о бастующих служащих или спрашивали у них, как они смотрят на недавно опубликованные международные договоры; и хотя слова о духе дисциплины, употребленные министром в его речи, можно было при желании понять как провозглашение определенной политической линии, у них сложилось впечатление, что на открытии нашумевшей полицейской выставки, если объективно разобраться, ничего достойного внимания не произошло, но и у них, как у всех других, сложилось вместе с тем впечатление, что происходит что-то общее и неопределенное, в чем пока еще разобраться нельзя.

О полусмышлености и ее плодотворной другой половине, о сходстве двух эпох, о милом нраве тетушки Джейн и о нелепости, которую называют новым временем

Невозможно, однако, было получать в какую-то связную картину происходившего на заседаниях Соборе. В общем среде передовых людей принято было тогда выступать за «активный дух»; признавать, что долг головного человека — решительно взять на себя руководство человеком утробным. С другой стороны, существовала такая штука, которую называли экспрессионизмом; нельзя было тогда сказать, что это такое, но это было, как говорят само слово, некое выжимание; выжимание, может быть, конструктивных видений, но видения эти были, если сравнить их с художественной традицией, и деструктивными, поэтому их можно назвать просто структивными, это ни к чему не обязывает, а «структивное мировосприятие» звучит вполне респектабельно. Но это не все. Тогда на день и на мир смотрели изнутри наружу, но также уже и снаружи внутрь; интеллектуальность и индивидуализм слыли уже отжившими и эгоцентричными, любовь сно-

ва попала в немилость, и дело шло к тому, чтобы вновь открыть здоровое массовое воздействие дешевого, низкопробного искусства на очищенные души людей действия. «Принято быть тем-то» меняется, кажется, столь же быстро, как «принято носить то-то и то-то», и первое имеет со вторым то общее, что никто, не исключая даже, наверно, причастных к моде дельцов, не знает истинной тайны этого безличного «принято». А тот, кто против такого положения взбунтовался бы, непременно произвел бы немного смешное впечатление человека, который, оказавшись между полюсами фарадизационной машины, дергается и дрыгает конечностями, но видеть своего противника не может. Ибо противник — это не те люди, что сметливо используют имеющуюся конъюнктуру, нет, таковым является сама газообразно-жидкостная непрочность общего состояния, бесчисленность областей, где находятся его источники, его беспредельная способность ко всяческим комбинациям и переменам, а к этому надо прибавить еще отсутствие или бездействие могучих, опорных, упорядочивающих принципов на стороне рецептивной.

Найти в этом чередовании явлений опору так же трудно, как вбить гвоздь в струю фонтана;

и все-таки тут есть что-то вроде бы постоянное. Ведь что происходит, например, когда это изменчивое существо «человек» называет гениальным какого-нибудь теннисиста? Оно что-то пропускает. А когда оно называет гениальной скаковую лошадь? Оно пропускает еще больше. Оно что-то пропускает, называет ли оно игру футболиста научной, фехтовальщика — умным или говорит о трагическом поражении боксера; оно вообще всегда что-то пропускает. Оно преувеличивает, но приводит к такому преувеличению неточность, как в маленьком городе неточность представлений причина тому, что сына владельца самого большого магазина считают там светским человеком. Что-то тут, конечно, верно; почему бы сюрпризам чемпиона не походить на сюрпризы гения, а его мыслям — на мысли опытного исследователя? Что-то другое — и этого гораздо больше — тут, конечно, неверно; но на практике этого остатка не замечают или замечают его неохотно. Его считают неопределенным; его обходят и опускают, и если эта эпоха называет какого-нибудь скакуна или какого-нибудь теннисиста гениальным, то дело тут, наверно, не столько в ее представлении о гении, сколько в ее недоверии ко всей высшей сфере.

Здесь уместно, пожалуй, поговорить о тете Джейн, о которой Ульрих вспомнил потому, что листал старые семейные альбомы, взятые им на время у Диотимы, и сравнивал лица в них с лицами, встречавшимися ему в ее доме. В детстве Ульрих часто подолгу живал у одной двоюродной бабки, чьей подругой тетя Джейн была с незапамятных времен; первоначально она никакой тетей не была; она попала в дом как учительница музыки для детей и, не снискав большой чести на этом поприще, снискала зато большую любовь, ибо принцип тети Джейн состоял в том, что нет смысла упражняться в фортепианной игре, если ты, как говорила она, не рожден для музыки. Ее больше радовало, когда дети лазали на деревья, и благодаря этому она стала в такой же мере тетей двух поколений, в какой, благодаря обратному действию лет, школьной подругой своей разочарованной работодательницы.

— Ах, этот Муки! — могла, например, сказать тетя Джейн с таким неподвластным времени чувством, с такой снисходительностью и с таким восхищеньем маленьким Непомуком, который тогда был уже дядюшкой лет сорока, что голос ее и сегодня еще был жив для того, кто его некогда слышал. Этот голос тети Джейн был как бы посы-

пан мукой; словно бы ты погрузил руку до локтя в тончайшего помола муку. Хрипловатый, мягко панированный голос; это оттого, что она пила очень много черного кофе и к тому же курила длинные, тонкие, тяжелые виргинские сигары, которые вместе со старостью сделали ее зубы черными и маленькими. Взглянув на ее лицо, можно было, впрочем, подумать, что звучание ее голоса связано с бесчисленными морщинками, которыми ее кожа была заштрихована, как гравюра. Лицо у нее было длинное и кроткое, и для позднейших поколений оно не менялось, как не менялось и все прочее в тете Джейн. Она всю жизнь носила одно-единственное платье, хотя оно, надо все-таки полагать, существовало во множестве повторений; это был узкий футляр из черного шелкового репса, достававший до земли, не поощрявший никаких физических излишеств и застегивавшийся на множество черных пуговок, как сутана священника. Вверху из него скупо выглядывал узкий крахмальный стоячий воротничок с отогнутыми уголками, между которыми при каждой затяжке дрожала и морщилась у гортани бесплотная кожа шеи; узкие рукава заканчивались крахмальными белыми манжетами, а увенчивался наряд рыжеватым, чуть

завитым мужским париком с прямым пробором. С годами в этом проборе стала немного проглядывать парусина, но еще трогательнее были те два места, где рядом с яркими волосами виднелись седые виски — единственный признак того, что возраст тети Джейн не оставался одним и тем же всю ее жизнь.

Могут подумать, что она за много десятилетий предвосхитила вошедший потом в моду мужеподобный тип женщины; но это было не так, ибо в ее мужеподобной груди билось очень женское сердце. Можно было также подумать, что когда-то она была очень знаменитой пианисткой, но потом утратила связь со своим временем, ибо с видом ее это вязалось; но и это было не так, она никогда не была чем-то большим, чем учительница музыки, а мужская прическа и сутана объяснялись лишь тем, что девушкой тетя Джейн была страстной поклонницей Франца Листа, с которым в течение недолгого времени несколько раз встречалась в свете, причем именно тогда ее имя приняло каким-то образом свою английскую форму. Она хранила верность этой встрече так же, как носит до старости цвета своей дамы, ничего больше не желая, влюбленный рыцарь; и это было в тете Джейн трогательнее, чем если бы она, уйдя на

покой, продолжала носить парадную одежду дней своей славы. Что-то от этого было и в тайне ее жизни, тайне, которую в семье передавали подросшим детям лишь после торжественного, как при посвящении в юноши, призыва ее уважать. Джейн была уже не такой молоденькой (ведь требовательная душа выбирает долго), когда нашла человека, которого полюбила и за которого против воли своей родни вышла замуж, и человек этот был, конечно, художником, хотя из-за оскорбительно злосчастных обстоятельств провинциального быта только фотографом. Но уже вскоре после брака он стал делать долги, как гений, и вовсю пить. Тетя Джейн терпела ради него лишения, она приводила его из трактира назад к богам, она плакала втайне и при нем, у его ног. Он походил на гения, у него были могучий рот и гордые волосы, и обладай тетя Джейн способностью вселить в него страстность собственного отчаяния, то он со злосчастьем своих пороков стал бы велик, как лорд Байрон. Но фотограф чинил переселению чувств трудности, через год он покинул Джейн с ее деревенской служанкой, успевшей от него забеременеть, и вскоре после этого умер, совсем опустившись. Джейн срезала локон с гордой его головы и хранила его;

она усыновила его внебрачного ребенка и самоотверженно воспитала его; она редко говорила об этих минувших временах, ибо от жизни, если она громадна, нельзя требовать, чтобы она была еще и легкой.

В жизни тети Джейн было, таким образом, немало романтической аффектации. Но позднее, когда фотограф в его земном несовершенстве давно уже ее не очаровывал, несовершенное вещество ее любви к нему тоже в некотором роде истлело, и осталась вечная форма любви и восторженности; из далекой дали это переживание оказывало такое же, наверно, действие, какое оказало бы переживание и вправду громадное. Но такова была тетя Джейн вообще. Ее духовное содержание было, вероятно, невелико, но форма, которую оно принимало в ее душе, была прекрасна. Ее поза была героической, а такие позы неприятны лишь до тех пор, пока у них ложное содержание; когда они совсем пусты, они снова становятся как полыхание пламени и вера. Тетя Джейн жила только на чае, черном кофе и двух чашках мясного бульона в день, но на улицах маленького городка люди не останавливались и не глядели ей вслед, когда она проходила мимо в своей черной сутане, потому что знали, что

она порядочный человек; больше того, перед ней испытывали какое-то благоговение, потому что она была порядочным человеком и все-таки сохранила способность выглядеть так, как это явно отвечало тому, что у нее было на сердце, хотя подробнее ничего об этом не знали.

Вот и вся история тетушки Джейн, давно умершей в глубокой старости, и двоюродной бабушки нет на свете, и дяди Непомука на свете нет, и почему, собственно, все они жили? — спрашивал себя Ульрих. Но сейчас он кое-что отдал бы за возможность еще раз поговорить с тетей Джейн. Он перелистывал толстые старые альбомы с фотографиями своей семьи, каким-то образом попавшие к Диотиме, и чем ближе подходил он, листая, к началам этого нового изобразительного искусства, тем более гордыми, казалось Ульриху, представали перед этим искусством люди. Они попирали ногой каменные глыбы из картона, обвитые бумажным плющом; если они были офицерами, они широко расставляли ноги, а сабля находилась прямо посередине; если они были девушками, они складывали руки у лона и широко раскрывали глаза; если они были свободными мужчинами, брюки их вздымались с земли романтически смело, без складки, как клубы ды-

ма, а в пиджаках была размашистая округлость, какая-то порывистость, вытеснившая чопорную чинность буржуазного сюртука. Было это, наверно, в шестидесятые годы девятнадцатого века, когда техника фотографии уже преодолела начальный этап. Революция сороковых годов давно ушла в прошлое смутной эпохой, и люди жили совсем другим, сегодня уж никто толком не скажет, чем именно; слез, объятий и признаний, в которых новое сословие искало в начале своей эпохи свою душу, тоже уже не было; но как волна растекается по песку, так и это великодушие пошло теперь в одежду и в какую-то индивидуальную порывистость, для которой, наверно, есть слово получше, но от него пока налицо лишь фотографии. Это было время, когда фотографы носили бархатные куртки и эспаньолки и выглядели художниками, а художники набрасывали большие картоны, где выстраивали целые роты величавых фигур; и людям обыкновенным в это время казалось, что теперь самое время изобрести технику увековечения и для них. Остается только добавить, что людям другого времени нелегко было чувствовать себя такими великолепно-гениальными, какими чувствовали себя люди именно этого времени, среди которых было

так мало незаурядных людей, — или им так редко удавалось выйти из ряда вон, как никогда.

И, листая альбомы, Ульрих часто спрашивал себя, есть ли связь между этим временем — когда фотограф мог считать себя гением, потому что он пил, носил открывавший шею воротник и с помощью новейшей техники доказывал наличие благородной души, которой он обладал, также у всех современников, позировавших перед его объективом, — и неким другим временем, когда искренне считают гениальными разве только скаковых лошадей из-за их беспримерной способности вытягиваться и сжиматься. Облик у этих эпох разный; настоящее гордо и свысока взирает на прошлое, а если бы прошлое случайно явилось позднее, оно взирало бы на настоящее гордо и свысока, но в главном оба сводятся к чему-то очень сходному, ибо и там, и тут неточность и опускание решающих различий играют величайшую роль. Часть великого принимают за целое, отдаленную аналогию — за исполнение истины, и выпотрошенная шкура великого слова набивается соответственно моде дня. Это получается великолепно, хоть и недолго держится. Люди, говорившие в салоне Диотимы, не были ни в чем совсем неправы, потому что идеи их были

нечетки, как очертания предметов в прачечной. «Эти понятия, на которых жизнь парит, как орел на своих крыльях! — думал Ульрих. — Эти бесчисленные моральные и художественные идеи жизни, по природе своей такие нежные, как твердые горы в неясной дали!» У них на языках они умножались простым верчением, ни об одной из их идей нельзя было поговорить так, чтобы нечаянно не сбиться уже на следующую.

Этот тип людей во все времена называл себя новым временем. Это словосочетание — как мешок, которым пытаются поймать ветры Эола; оно служит постоянным оправданием, тому, что вещи не приведены в порядок, то есть не приведены в им свойственный, объективный порядок, а поставлены в воображаемую, нелепую связь. И все же в этом словосочетании заключено некое кредо. В людях этих самым странным образом жила убежденность, что они призваны внести в мир порядок. Если назвать то, что они предпринимали для этой цели, полусмышленостью, то примечательно, что как раз другая, неназванная или, чтобы ее назвать, глупая, всегда неточная и неверная половина этой полусмышлености обладала неисчерпаемой обновляющей силой и плодотворностью. В ней были жизнь, непостоян-

ство, беспокойство, изменчивость позиции. Но они, видимо, сами чувствовали, как тут обстояло дело. Их тормошило, их не — отпускало, они принадлежали нервной эпохе, и что-то было не так, каждый считал себя умным, смышленым, но все вместе они чувствовали себя бесплодными. Если у них был к тому же талант, — а их неточность этого ведь никоим образом не исключала, — то в голове у них было так, словно погоду и облака, железные дороги и телеграфные провода, деревья и животных и всю движущуюся картину нашего дорогого мира видишь в узкое, мутное окошко; и никто не замечал этого сразу на примере собственного окошка, но каждый на примере чужого.

Ульрих однажды позволил себе пошутить, потребовав у них точных данных о том, что они имеют в виду; они посмотрели на него неодобрительно, назвали его желание механистическим жизневосприятием и скепсисом и выдвинули утверждение, что самое сложное можно решить только самым простым способом, в силу чего новое время, как только оно высвободится из настоящего, будет выглядеть совсем просто. Ульрих, в отличие от Арнгейма, не произвел на них решительно никакого впечатления, а тетушка

Джейн погладила бы его по лицу и сказала: «Я прекрасно их понимаю; ты им мешаешь своей серьезностью».

100
Генерал Штумм вторгается в государственную библиотеку и приобретает опыт, относящийся к библиотекарям, библиотечным служителям и духовному порядку

Генерал Штумм наблюдал неудачу своего «товарища» и решил его утешить.

— Что за бесполезная говорильня! — возмущенно выругал он членов Собора и через минуту, хотя и не нашел поддержки, начал взволнованно и все же не без удовольствия изливать душу. — Ты помнишь, — сказал он, — что я задался целью положить к ногам Диотимы ту спасительную мысль, которую она ищет. Есть, оказывается, очень много значительных мыслей, но какая-то одна должна быть в конце концов самой значительной; это ведь логично? Значит, все дело лишь в том, чтобы внести в них порядок. Ты сам сказал, что это решение, которое было бы

достойно какого-нибудь Наполеона. Помнишь? Потом ты дал мне еще ряд отличных советов, как и следовало от тебя ожидать, но мне не довелось ими воспользоваться. Короче говоря, я сам взял дело в свои руки!

Он носил роговые очки, которые вынимал теперь из кармана и надевал вместо пенсне, когда хотел пристально взглянуть на кого-то или на что-то.

Одно из важнейших условий полководческого искусства — иметь ясное представление о силе противника.

— Так вот, — продолжал генерал, — я велел выправить себе билет в нашу всемирно знаменитую придворную библиотеку и под руководством одного из библиотекарей, любезно предложившего мне свои услуги, когда я сказал ему, кто я такой, вторгся в неприятельские ряды. Мы стали обходить это колоссальное книгохранилище, и поначалу, знаешь, я не был так уж ошеломлен, эти ряды книг не хуже, чем гарнизонный парад. Вскоре, однако, я начал считать в уме, и результат получился неожиданный. Понимаешь, мне раньше казалось, что если ежедневно прочитывать какую-нибудь книгу, то это будет, конечно, очень утомительно, но конец этому когда-нибудь

да придет, и тогда я вправе буду претендовать на определенное положение в духовной жизни, даже если я то или другое пропущу. Но что, ты думаешь, ответил мне библиотекарь, когда я, не видя конца нашей прогулке, спросил его, сколько же, собственно, томов в этой сумасшедшей библиотеке? Три с половиной миллиона томов, отвечает он!! Когда он это сказал, мы находились примерно у семисоттысячной книги, но с той минуты я перестал считать. Избавлю тебя от труда, в министерстве я еще раз проверил это с карандашом в руке: мне понадобилось бы десять тысяч лет, чтобы осуществить свой план при таких условиях!

В эту минуту ноги у меня так и приросли к полу и мир показался мне сплошным обманом. Но и теперь, когда я уже успокоился, заверяю тебя: тут что-то в корне неверно!

Ты можешь сказать: не надо читать все книги. Я тебе на это отвечу: и на войне не надо убивать всех солдат, и все-таки каждый необходим. Ты скажешь мне: каждая книга тоже необходима. Но то-то и оно, что это не так, потому что это неправда. Я спрашивал библиотекаря!

Дорогой друг, я рассуждал просто: вот человек, который живет среди этих миллионов книг, знает

каждую, знает, где стоит каждая. Значит, он мог бы помочь мне. Конечно, я не хотел спрашивать его напрямик: как мне найти самую прекрасную в мире мысль? Это ведь прозвучало бы совсем как начало какой-нибудь сказки, и я достаточно хитер, чтобы это заметить, а кроме того, я с детства терпеть не могу сказок; но что поделаешь, что-то подобное я в конце концов должен был спросить у него! С другой стороны, мой такт запрещал мне сказать ему правду, предпослать, допустим, своей просьбе несколько слов о нашей акции и попросить его навести меня на след достойнейшей для нее цели; я не считал себя на это уполномоченным. Вот я и применил маленькую хитрость. «Ах, — начал я совершенно невинно, — ах, я забыл осведомиться, как, собственно, вы умудряетесь всегда находить в этом бесконечном хранилище нужную книгу?!» — сказал я это, знаешь, в точности так, как сказала бы, по-моему, Диотима, и еще подпустил нотку восхищения им, чтобы он попался на удочку.

И правда, очень умасленный, он ретиво спрашивает меня, чем именно интересуются господин генерал. Ну, это несколько смутило меня. «Ах, очень многим!» — говорю я, растягивая слова.

«Я хочу сказать, каким вопросом или каким

автором вы занимаетесь? Военной историей?» — сказал он.

«Нет, никоим образом; скорее историей мирных отношений».

«В прошлом? Или текущей пацифистской литературой?»

Нет, говорю я, это так просто сказать нельзя. Например, сборник всех великих мыслей о человечестве, существует ли такой, спрашиваю я его с подвохом, ты ведь помнишь, какую работу в этой области я уже велел проделать.

Он молчит. «Или книга об осуществлении самого важного?» — говорю я.

«Значит, теологическая этика?» — спрашивает он.

«Это может быть и теологическая этика, но там должно быть что-нибудь и о старой австрийской культуре, и о Грильпарцере», — требую я. Понимаешь, в моих глазах загорелась, видимо, такая жажда знания, что этот малый вдруг испугался, уж не будет ли он до дна осушен; я говорю еще что-то о чем-то вроде железнодорожного расписания, позволяющего установить прямое и пересадочное сообщение между любыми мыслями, и тут он становится до жути вежлив и предлагает мне провести меня в комнату каталога и оставить там

одного, хотя это, собственно, запрещено, потому что вход туда разрешен только библиотекарям. И вот я действительно проник в святая святых библиотеки. У меня было, скажу тебе, такое ощущение, словно я вошел внутрь черепной коробки; вокруг ничего, кроме этих полок с ячейками для книг, и повсюду стремянки, чтобы взбираться по ним, и на стеллажах и на столах ничего, кроме каталогов и библиографий, то есть самая квинтэссенция знания, и нигде ни одной порядочной книги для чтения, а только книги о книгах. Да, тут сильно пахло мозговым фосфором, и я не льщу себе, если скажу, что у меня было впечатление, что я чего-то достиг! Но, конечно, когда он вздумал оставить меня одного, у меня появилось какое-то странное, я сказал бы, жутковатое чувство, благоговейное и жутковатое. Он, как обезьяна, взлетает по стремянке к какому-то тому, прямотаки нацелившись на него снизу, спускается с ним ко мне и говорит: «Господин генерал, вот вам библиография библиографий», — ты знаешь, что это такое? — алфавитный, значит, указатель алфавитных указателей заглавий тех книг и работ, которые в последние пять лет занимались прогрессом в этических вопросах исключительно в области моральной теологии и изящной сло-

весности, — так или примерно так объясняет он это мне и хочет исчезнуть. Но я успеваю вовремя схватить его за рукав и не отпускаю его. «Господин библиотекарь, — кричу я, — не покидайте меня, не открыв мне секрет, как вы сами ориентируетесь в этом, — я по неосторожности сказал „бедламе“, потому что такое на меня вдруг нашло чувство, — как вы сами-то, — говорю, значит, — ориентируетесь в этом бедламе книг». Наверно, он не так меня понял, позднее мне вспомнилось, что сумасшедшие часто считают других сумасшедшими; во всяком случае, он не спускал глаз с моей сабли, и я удерживал его с великим трудом. А потом он меня просто ужаснул. Видя, что я не отпускаю его, он вдруг выпрямился, он буквально вырос из своих болтающихся штанов, и говорит голосом, растягивающим каждое слово с такой значительностью, словно сейчас он выдает тайну этих стен. «Господин генерал, — говорит он, — вы хотите знать, как я ухитряюсь знать каждую книгу? Сказать вам могу одно: потому что я их не читаю!»

Это, знаешь, меня действительно чуть не доконало! Но, увидев, как я потрясен, он все объяснил мне. Секрет всех хороших библиотекарей состоит в том, что из всей доверенной им литературы они

никогда не читают ничего, кроме заглавий книг и оглавлений. «Кто вникает в содержание, тот как библиотекарь пропал! — сказал он мне. — Он никогда не охватит взглядом всего!»

Я спрашиваю его, затаив дыхание: «Вы, значит, никогда не читаете этих книг?»

«Никогда; за исключением каталогов».

«Но вы же доктор?»

«Конечно. Даже преподаю в университете; приват-доцент по библиотечному делу. Библиотечное дело — это тоже самостоятельная наука, — объяснил он. Сколько, вы думаете, господин генерал, существует систем, по которым расставляют и сохраняют книги, систематизируют их заглавия, исправляют опечатки и неверные данные на титульных листах и так далее?»

— Должен тебе признаться, когда он потом оставил меня одного, было только две вещи, которые мне хотелось сделать: либо расплакаться, либо закурить; но ни то, ни другое в этом месте не разрешалось! И что же, по-твоему, было дальше? — продолжал генерал с удовольствием. — Я, значит, стою себе в замешательстве, как вдруг ко мне приближается старый служитель, который, вероятно, уже наблюдал за нами, и, вежливо потоптавшись рядом, останавливается, глядит

на меня и премягким не то от книжной пыли, не то от предвкушения чаевых голосом заводит разговор. «Чего изволят господин генерал?» — спрашивает он меня. Я отмахиваюсь, но старик продолжает: «К нам часто приходят господа из военного училища. Господину генералу достаточно лишь сказать мне, какой темой интересуются в данный момент господин генерал. Юлий Цезарь, принц Евгений, граф Даун? Или что-нибудь современное? Закон о воинской повинности? Прения о бюджете?» Уверяю тебя, он так разумно говорил и так хорошо знал написанное в книгах, что я дал ему на чай и спросил его, как это ему удается. И что же ты думаешь? Он опять начинает говорить и рассказывать мне, что курсанты училища, получив письменное задание, иногда приходят к нему и требуют книг; «и бывает, они ругаются, когда я приношу им книжечки, — продолжает он, — какую, мол, чепуху приходится им учить, и тут наш брат многого наберется. Или приходит господин депутат, который должен составить доклад о школьном бюджете, и спрашивает меня, какими материалами пользовался господин депутат, составлявший этот доклад в прошлом году. Или приходит господин прелат, который уже пятнадцать лет пишет об определенных

жуках, или кто-нибудь из господ профессоров университета жалуется, что он вот уже три недели требует определенную книгу и не получает ее, и тогда надо обыскать все соседние полки, может быть, книгу поставили не на то место, а потом выясняется, что он уже два года назад взял ее на дом и не вернул. И так вот почти уже сорок лет; тут уж волей-неволей мотаешь на ус, что кому нужно и что он для этого читает».

«И все же, любезный, — говорю я ему, — мне не так просто объяснить вам, чего я ищу для чтения!»

И что, ты думаешь, отвечает он мне? Он спокойно глядит на меня, кивает головой и говорит: «Позвольте заметить, господин генерал, такое, конечно, случается. Как раз недавно со мной говорила одна дама, которая сказала в точности то же самое; может быть, господин генерал ее знают, это супруга начальника отдела Туцци из министерства иностранных дел».

Ну, что ты скажешь? Я думал, меня хватит удар! И, видя такое дело, старик, представь себе, приносит мне все книги, которые там оставляет за собой Диотима, и когда я теперь прихожу в библиотеку, то это прямо-таки как тайная духовная свадьба, и время от времени я осторожно,

карандашом, делаю на полях какой-нибудь значок или пишу какое-нибудь слово и знаю, что на следующий день она это найдет, понятия не имея, кто занимает ее ум, когда она размышляет, что бы это значило!

Генерал сделал блаженную паузу. Но потом он овладел собой, лицо его омрачила серьезность, и он заговорил снова:

— Теперь на минуту соберись с силами, насколько это возможно, я хочу у тебя кое-что спросить. Мы ведь все убеждены, что наша эпоха самая, пожалуй, упорядоченная из всех, какие были. Я, правда, однажды назвал это при Диотиме предрассудком, но, конечно, этого предрассудка не лишен и я сам. А теперь мне пришлось убедиться, что единственные люди, обладающие действительно надежным духовным порядком, — это библиотечные служители, и вот я спрашиваю тебя — нет, не спрашиваю, мы ведь в свое время уже говорили об этом, а после моих последних впечатлений я, конечно, снова об этом думал, — не спрашиваю, а говорю: представь себе, ты пьешь водку, так? Недурно в определенных ситуациях. Но ты пьешь водку еще, и еще, и еще; ты понимаешь меня? Сначала ты будешь пьян, позднее у тебя начнется белая

горячка, и наконец тебя похоронят с почестями, и курат скажет у твоей могилы что-нибудь насчет железной верности долгу. Ты представил себе это? Так вот, если представил себе, — это ведь ничего не стоит, — то теперь представь себе воду. И представь себе, что ты должен пить ее до тех пор, пока не утонешь в ней. Или представь себе, что ты ешь до заворота кишок. А теперь лекарства, хинин, мышьяк или опиум. Зачем? — спросишь. Но теперь, дорогой товарищ по оружию, я делаю тебе самое замечательное предложение. Представь себе порядок. Или лучше представь себе сперва великую мысль, потом еще более великую, потом еще более великую, чем вторая, и так далее; и по этому же образцу представь себе все больше и больше порядка в своей голове. Сперва это мило, как комната старой девы, и опрятно, как армейская конюшня; потом великолепно, как бригада в боевом строю; потом дико, как если бы, возвращаясь ночью из офицерского клуба, ты скомандовал звездам: «Космос, смирно! Равнение направо!» Или, скажем, вначале порядок-это как если у рекрута заплетаются ноги, а ты учишь его строевому шагу; потом — как если бы во сне тебя вне очереди произвели в военные министры. Ну, а теперь только представь себе всеохватываю-

щий, универсальный, всечеловеческий, одним словом, совершенный гражданский порядок. Это, даю тебе слово, смерть от замерзания, окоченевший труп, лунный пейзаж, геометрический мор!

Я беседовал об этом со своим библиотечным стариком. Он предложил мне почитать Канта или что-нибудь в этом роде о границах понятий и способности познания. Но я, признаться, ничего не хочу больше читать. У меня появилось какое-то смешное чувство, что я понимаю, почему мы, военные, обладая самым большим порядком, должны быть в то же время готовы отдать свою жизнь в любую минуту. Я не могу выразить почему. Каким-то образом порядок переходит в потребность в убийстве. И я теперь искренне озабочен тем, что своими усилиями твоя кузина учинит еще в результате что-нибудь такое, что очень ей повредит, а я тогда меньше, чем когда-либо, смогу ей помочь! Ты понимаешь меня? Что касается попутных достижений науки и искусства по части великих и замечательных мыслей, то честь им, конечно, и хвала, против них я ничего не хотел сказать!

101
Враждующие родственники

Диотима тоже в эту пору снова завела разговор со своим кузеном. Позади вихрей, упорно и непрестанно круживших по ее комнатам, однажды вечером возникла лагуна покоя у стены, где он сидел на скамеечке, и Диотима подошла, как усталая танцовщица, и села с ним рядом. Такого давно не случалось. Со времени тех поездок и так, словно это было их следствием, она избегала «внеслужебного» общения с ним.

От жары и усталости лицо Диотимы пошло пятнами.

Опершись руками на скамейку, сказав: «Как вам живется?» — и ничего больше, хотя ей непременно следовало бы сказать больше, и слегка склонив голову, она стала смотреть прямо перед собой. Впечатление было такое, что она в состоянии «грогги», если тут позволительно боксерское выражение. Усевшись, она даже не старалась, чтобы платье красиво облегало ее.

Ее кузен подумал о растрепанных волосах, крестьянской юбке и обнаженных ногах. Если

снять с нее искусственное убранство, остался бы сильный и красивый человеческий экземпляр, и Ульрих должен был сдержать себя, чтобы не взять ее руку просто в кулак, как то делают крестьяне.

— Арнгейм, стало быть, не доставляет вам счастья, — констатировал он спокойно.

Она должна была, наверно, дать отпор его дерзости, но почувствовала странное волнение и промолчала; лишь через некоторое время она возразила:

— Его дружба доставляет мне большое счастье.

— У меня было впечатление, что его дружба немного мучит вас.

— Ну, что вы?! — Диотима выпрямилась и опять стала дамой. — Знаете, кто меня мучит? — спросила она, стараясь найти тон легкой беседы. — Ваш друг, генерал! Что этому человеку нужно? Зачем он приходит сюда? Почему он все время пялит на меня глаза?

— Он любит вас, — ответил кузен.

Диотима нервно засмеялась. И продолжала:

— Знаете ли вы, что я вся содрогаюсь, когда его вижу? Он напоминает мне смерть.

— Необыкновенно жизнеутверждающая смерть, если взглянуть на него беспристрастно!

— Я явно не беспристрастна. Не могу это себе

объяснить. Но я прихожу в панику, когда он заговаривает со мной и объясняет мне, что я «выдаю» «выдающиеся» идеи по «выдающемуся» поводу. На меня нападает неописуемый, непонятный, фантастический страх!

— Перед ним?

— А перед чем же еще?! Он — гиена.

Кузен не удержался от смеха. Она продолжала ругать генерала безудержно, как ребенок.

— Он все подкрадывается и ждет, когда наши прекрасные усилия потерпят крах и погибнут.

— Этого-то, наверно, вы и боитесь! Великая кузина, помните ли вы, что крах этот я предсказал вам давно? Он неизбежен; вы должны быть готовы к нему.

Диотима величественно взглянула на Ульриха. Она помнила прекрасно; больше того, в эту минуту она вспомнила слова, которые сказала ему, когда он нанес ей свой первый визит, и слова эти были очень способны причинить ей теперь боль. Она тогда с укором сказала ему, что это великая привилегия — иметь возможность призвать нацию, по сути даже мир, не погрязать в материальных интересах и обратиться к духовным. Она не хотела тогда ничего истрепанного, устаревшего; и все-таки взгляд, который она бросила сейчас

на своего кузена, скорее следовало назвать уже отрешенным от этих мечтаний, уже вознесшимся над ними, чем еще заносчивым. Она думала о годе всего мира, искала какого-то взлета, какого-то культурного содержания, которым бы все увенчалось; она бывала то близка к этому, то снова очень от этого далека; она много колебалась и много страдала; последние месяцы казались ей долгим плаванием, когда тебя неимоверно швыряют вверх и вниз волны, причем повторяются они однообразно, и поэтому она уже почти не различала, что было раньше, а что позже. И вот она сидела здесь, как человек, присевший после неимоверных усилий на скамью, которая, слава богу, не движется, и не желающий сейчас ничего делать, кроме как следить за дымком своей трубки; такое настроение овладело Диотимой настолько сильно, что она сама выбрала это сравнение, напоминающее старика на вечернем солнце. Она казалась себе человеком, прошедшим великие, полные страсти битвы. Усталым голосом сказала она своему кузену:

— Я очень многое испытала; я очень изменилась.

— Пойдет ли это на пользу мне? — спросил он.

Диотима покачала головой и улыбнулась, не

глядя на него.

— Тогда я вам открою, что за генералом стоит Арнгейм, не я; вы ведь всегда считали виноватым в его присутствии только меня! — сказал Ульрих вдруг. — Но помните, что я ответил вам, когда вы потребовали от меня объяснений по этому поводу?

Диотима помнила. Держать на расстоянии, сказал кузен. Но Арнгейм — тот сказал, что она должна принимать генерала самым любезным образом! Она почувствовала в этот миг нечто не поддававшееся описанию; у нее было такое чувство, словно она сидела в облаке, которое быстро поднималось выше ее глаз. Но скамеечка под ней сразу сделалась опять твердой и прочной, и она сказала:

— Не знаю, как попал к нам этот генерал, я сама не приглашала его. А доктор Арнгейм, которого я спрашивала, тоже, разумеется, ничего об этом не знает. Тут произошло какое-то недоразумение.

Кузен сделал лишь небольшую уступку.

— Я знаю генерала с давних времен, но впервые мы увиделись снова у вас, — объяснил он. — Конечно, вполне вероятно, что он здесь немного шпионит по заданию военного министерства, но он и честно хочет помочь вам. И я слышал от него

самого, что Арнгейм тратит на него поразительно много сил!

— Потому что Арнгейм принимает участие во всем! — ответила Диотима. — Он посоветовал мне не отталкивать генерала, потому что верит в его добрую волю и видит в его влиятельном положении возможность принести пользу нашим стараниям.

Ульрих энергично покачал головой.

— Послушайте это кудахтанье вокруг него! — сказал он так резко, что стоявшие поблизости могли это услышать, и хозяйка дома смутилась. — Он терпеливо сносит это, потому что он богат. У него есть деньги, он признает всех правыми и знает, что они добровольно создают рекламу ему!

— С чего бы ему так вести себя?! — возразила Диотима неодобрительно.

— Потому что он тщеславен! — продолжал Ульрих. — Безмерно тщеславен! Не знаю, как сделать понятным вам это утверждение во всей его полноте. Есть тщеславие в библейском смысле: из пустоты делают кимвал бряцающий! Тщеславен человек, которому кажется, что ему можно позавидовать, когда слева от него восходит луна над Азией, а справа от него тускнеет Европа в лучах

заката; так описал он мне однажды путешествие по Мраморному морю! Наверно, над цветочным горшком влюбленной девочки луна восходит красивее, чем над Азией!

Диотима искала места, где их бы не слышали расхаживавшие кругом люди. «Вы раздражены его успехом», — тихо сказала она, ведя его через комнаты; умным маневром она незаметно вывела его потом за дверь в переднюю. Все другие помещения были заняты гостями.

— Почему, — начала она там снова, — вы так враждебны к нему? Этим вы ставите меня в трудное положение.

— Я ставлю вас в трудное положение? — удивился Ульрих.

— А вдруг у меня есть потребность поговорить с вами? Но пока вы так ведете себя, я не могу вам довериться!

Она остановилась в середине передней.

— Спокойно доверьте мне, пожалуйста, то, что вы хотите сказать, попросил Ульрих. — Вы влюбились друг в друга, это я знаю. Он на вас женится?

— Он предложил мне это, — ответила Диотима, не обращая внимания на ненадежность места, где они находились. Она была захвачена

собственными чувствами и не споткнулась о непристойную прямоту своего кузена.

— А вы? — спросил тот.

Она покраснела, как школьница, у которой что-то выспрашивают.

— О, это вопрос, связанный с тяжелой ответственностью! — ответила она, помедлив. — Любая несправедливость недопустима. При событиях действительно больших не так уж, кстати, и важно, как ты поступишь!

Слова эти были Ульриху непонятны, потому что он не знал о ночах, когда Диотима преодолевала голос страсти и достигала неподвижной справедливости душ, любовь которых держится как коромысло весов при одинаковой тяжести чаш. Поэтому ему показалось, что лучше пока сойти с очень уж прямого пути беседы, и он сказал:

— Я бы хотел поговорить с вами о моем отношении к Арнгейму, потому что при этих обстоятельствах мне жаль, что у вас создалось впечатление враждебности. Я думаю, что хорошо понимаю Арнгейма. Вам должно быть ясно: то, что происходит в вашем доме — назову это, по вашему желанию, синтезом, с этим он имел дело уже бесчисленное множество раз. Выступая в форме убеждений, духовное движение сра-

зу же выступает и в форме противоположных убеждений. И, воплощаясь в личности так называемого гиганта мысли, оно чувствует себя так же неуверенно, как в брошенном в воду коробке из картона, если этой личности все добровольно не выражают своего восхищения. Мы — по крайней мере в Германии — одержимы любовью к личностям признанным, мы ведем себя как пьяные, которые бросаются на шею новому человеку, чтобы вскоре по столь же темным причинам сбить его с ног. Могу поэтому живо представить себе, что испытывает Арнгейм. Это что-то вроде морской болезни; и, вспоминая в таком окружении, чего можно добиться богатством, если умело им пользоваться, он снова чувствует под ногами твердую почву после долгого плавания. Он замечает, как предложение, инициатива, желание, готовность, умение стремятся быть поближе к богатству, и это есть, безусловно, отражение самой духовности. Ведь и мысли, которые хотят получить власть, прицепляются к мыслям, которые властью уже обладают. Не знаю, как мне это выразить; разницу между устремленной вглубь и устремленной к карьере мыслью определить нелегко. Но уж если эта ложная связь с великим заняла место мирской бедности и чистоты духа,

то на это место втирается, и, конечно, по праву, также и то, что слывет великим, а в конце концов и то, что слывет великим благодаря рекламе и коммерческой ловкости. И вот вам Аргейм во всей своей невинности и виновности!

— У вас сегодня очень святой ход мыслей! — ответила Диотима язвительно.

— Признаю, что мне до него мало дела; но то, как он берет смешанные проявления внешнего и внутреннего величия и хочет сделать из них образцовую гуманность, это и правда способно довести меня до неистовой святости!

— О, как вы ошибаетесь! — резко перебила его Диотима. — Вы представляете себе этакого напыщенного богача. Но для Аргейма богатство — это невероятная, всепроникающая ответственность. Он заботится о своем деле, как другой заботился бы о человеке, которого оставили на его попечение. И действовать — это для него глубокая необходимость; он к миру приветлив, потому что надо шевелиться, чтобы, как он говорит, шевелили тебя! Или это говорит Гете? Он однажды объяснил мне это подробно. Он стоит на той точке зрения, что делать добро можно начать только тогда, когда ты вообще начал что-то делать; признаюсь, мне и самой иногда кажется, что он

чрезмерно расходует себя на всех и каждого.

Так разговаривая, они ходили взад и вперед по пустой передней, где висели только зеркала и одежда. Теперь Диотима остановилась и положила руку на рукав кузена.

— Этот во всех отношениях вознесенный судьбой человек, — сказала она, держится скромного принципа, что одиночка не сильнее покинутого больного! Вы, наверно, с ним согласитесь: когда человек одинок, он впадает в тысячи преувеличений! — Она посмотрела вниз, словно искала что-то на полу, чувствуя взгляд кузена на своих опущенных веках. — О, я могла бы сказать о себе самой, я была очень одинока последнее время, — продолжала она, — но я вижу это и на вашем примере. Вы ожесточены и несчастливы. Вы не в ладу со своим окружением, это видно по всем вашим взглядам. Человек по натуре ревнивый, вы противопоставляете себя всему на свете. Признаюсь вам откровенно, Арнгейм жаловался мне, что вы отвергаете его дружбу.

— То есть он сказал вам, что хочет со мной дружить? Это ложь!

Диотима подняла глаза и засмеялась.

— Сейчас вы преувеличиваете опять! Мы оба хотим с вами дружить. Может быть, именно

потому, что вы такой. Но объясню по порядку: Арнгейм воспользовался для этого следующими примерами… — Она секунду помедлила, потом поправилась: — Нет, это завело бы слишком далеко. Короче, Арнгейм говорит, что нужно пользоваться средствами, которые предоставляет тебе твое время; нужно даже всегда действовать с двух позиций, не совсем революционно и не совсем контрреволюционно, не целиком любя и не целиком ненавидя, никогда не следуя какой-то склонности, а развивая все, что в тебе есть. А это не умничанье, которое вы ему приписываете, а, наоборот, признак всеохватывающей, прорывающейся сквозь все поверхностные различия, синтетически-простой натуры, натуры аристократической!

— А какое отношение имеет это ко мне? — спросил Ульрих.

Этот вопрос возымел то действие, что он развеял воспоминание об одном разговоре насчет схоластики, церкви, Гете и Наполеона, а заодно и туман образованности, сгустившийся было вокруг головы Диотимы, и она вдруг очень ясно увидела себя сидящей рядом с кузеном на продолговатом ящике для обуви, на который она, увлекшись, потянула его; спина его упрямо из-

бегала прикосновения к висевшим сзади чужим пальто, а ее волосы запутались в них, и ей понадобилось поправить прическу. Поправляя ее, она ответила:

— Вы же прямая противоположность этому! Вы хотите пересотворить мир по своему подобию! Вы всегда оказываете какое-то пассивное сопротивление — пользуясь этим ужасным выражением! — Она была очень довольна, что сумела так пространно высказать ему свое мнение. Но больше им нельзя было там сидеть, где они сидели, соображала она одновременно, ибо в любую минуту гости могли отправиться по домам или войти в переднюю по каким-либо другим причинам. — Вы полны критицизма, я не помню, чтобы вы что-нибудь нашли хорошим, — продолжала она. — Из чувства противоречия вы хвалите все, что сегодня невыносимо. Если среди мертвой пустыни нашего лишенного божеств времени захочешь сберечь немножко чувства и интуиции, то можно не сомневаться, что вы станете фанатично защищать специализацию, беспорядок, негативное бытие!

Она, улыбаясь, встала и дала ему понять, что они должны поискать другое место. Они могли либо вернуться в комнаты, либо, если хотели про-

должать разговор, спрятаться от других, спальни супругов Туцци можно было через потайную дверь достичь и отсюда, но Диотиме показалось все-таки слишком интимным пустить кузена туда, тем более что при уборке квартиры перед приемом комнату эту каждый раз загромождали самым беспорядочным образом, и единственным прибежищем оставались потому лишь обе каморки для прислуги. Мысль, что это будет веселой смесью беспечности и долга хозяйки — неожиданно осмотреть комнату Рахили, в которую она вообще никогда не входила, решила дело. На ходу, извинившись за свое предложение, и затем в каморке она продолжала спорить с Ульрихом:

— Создается такое впечатление, что вы готовы насолить Арнгейму при малейшей возможности. Ваша строптивость огорчает его. Он — великий пример нынешнего человека. Поэтому у него есть и ему требуется контакт с реальностью. Вы же, напротив, всегда делаете прыжок в невозможное. Он — само утверждение и вполне уравновешен; вы, в сущности, асоциальны. Он стремится к единству и весь до кончиков пальцев озабочен поисками решения; вы противопоставляете этому аморфные взгляды. У него есть вкус к тому, что уже прошло процесс становления; а у вас? Что

делаете вы? Вы делаете вид, будто мир начнет существовать лишь завтра. Так ведь вы говорите?! С первого же дня, как только я сказала вам, что нам представляется возможность сделать что-то великое, вы так держались. И когда на эту возможность смотрят как на судьбу и, сойдясь вместе в решающий момент, ждут, так сказать, ответа с немым вопросом в глазах, вы ведете себя как злой мальчишка, который хочет все испортить!

Ей хотелось заглушить неловкость их пребывания в этой каморке умными словами, и, несколько преувеличенно браня кузена, она обретала храбрость, чтобы оставаться в ней.

— А если я такой, то какая вам от меня польза? — спросил Ульрих. Он сидел на маленькой железной кровати Рахили, маленькой горничной, а Диотима сидела на маленьком соломенном стуле, на расстоянии вытянутой руки от Ульриха. И тут он получил от Диотимы поразительный ответ.

— Если бы я, — сказала она без видимой связи, — повела бы себя при вас совсем пошло и скверно, вы были бы наверняка чудесны, как архангел!

Она сама испугалась сказанного. Она хотела

только подчеркнуть его строптивость и пошутить, что из чувства противоречия он был бы добр и мил тогда, когда этого не заслуживают; но при этом в уме бессознательно забил какой-то ключ и вынес наружу слова, которые, когда она произнесла их, сразу же показались ей немного бессмысленными и все же удивительным образом связанными с ней и с ее отношением к кузену.

Тот почувствовал это; он молча поглядел на нее и после паузы ответил вопросом:

— Вы очень, вы безмерно влюблены в него?

Диотима опустила взгляд.

— Какие неподходящие слова вы употребляете! Я же не девчонка, чтобы втюриться!

Но кузен стоял на своем.

— Я спрашиваю по причине, которую могу более или менее точно назвать: я хочу знать, знакомо ли уже вам желание, испытываемое всеми людьми — я думаю при этом и о гнуснейших страшилищах, что находятся сейчас рядом в вашей комнате, — раздеться догола, обнять друг друга за плечи и начать петь, вместо того чтобы говорить; но тогда вам следовало бы обойти всех и по-сестрински поцеловать каждого в губы. Если вы находите это слишком неприличным, я уж,

так и быть, позволю надеть ночные рубашки.

Диотима ответила на всякий случай:

— Милые у вас мысли, ничего не скажешь!

— Но мне, видите ли, знакомо это желание, хотя дело было давно! Ведь даже очень уважаемые люди утверждали, что так оно, в сущности, и должно быть на свете!

— Тогда вы сами виноваты, если этого не делаете! — перебила его Диотима. — Кроме того, не нужно выставлять это в таком смешном виде!

Она вспомнила, что ее приключение с Арнгеймом неопределимо и будило желание такой жизни, где социальные различия исчезнут и деятельность, душа, ум и мечта сольются воедино.

Ульрих ничего не ответил. Он предложил кузине папиросу. Она взяла ее. Когда пахучие облака наполнили «скромную каморку», Диотима подумала, что вообразит Рахиль, застав выдохшиеся следы этого нашествия. Проветрить? Или дать девочке объяснение на следующее утро? Удивительно, что именно мысль о Рахили побуждала ее остаться; она уже была близка к тому, чтобы положить конец их странному уединению, но привилегии умственного превосходства и необъяснимый для ее горничной табачный аромат таинственного визита каким-то образом

отождествились, что доставило ей удовольствие.

Кузен смотрел на нее. Его удивляло, что он говорил с нею так, но он продолжал; он тосковал по обществу.

— Скажу вам, — заговорил он опять, — при каких условиях я был бы способен на такое ангельское поведение; ведь «ангельское» — это, пожалуй, не слишком громкое слово, если хочешь выразить, что выносишь своего ближнего не только физически, но и можешь без содрогания прикоснуться к нему под его, так сказать, психологической набедренной повязкой.

— Только если этот ближний не женщина! — вставила Диотима, вспомнив о плохой репутации, которой пользовался кузен в семье.

— Нет, он может быть и женщиной!

— Вы правы! То, что я называю «любить в женщине человека», встречается невероятно редко!

По мнению Диотимы, Ульрих с некоторых пор обладал тем свойством, что его взгляды были близки ее взглядам, но то, что он говорил, оставалось все же каждый раз неточным и не вполне достаточным.

— Я опишу вам это как следует, — сказал он упрямо. Он сидел, наклонившись вперед, опершись руками на мускулистые бедра, и мрачно

глядел в пол. — Сегодня мы еще говорим: «я люблю эту женщину» и «я ненавижу того человека», вместо того чтобы сказать: «они меня притягивают» или «они меня отталкивают». И для большей точности надо бы добавить, что это я вызываю в них способность притягивать или отталкивать меня. А для еще большей точности надо бы добавить еще, что они выпячивают во мне нужные для этого свойства. И так далее; нельзя сказать, где делается первый шаг, ибо это взаимная, функциональная зависимость, как между двумя эластичными шарами или двумя электрическими цепями. И мы, конечно, давно знаем, что и чувствовать следовало бы нам так же, но мы все еще куда как предпочитаем быть причиной и первопричиной в силовых полях чувства, нас окружающих; даже если наш брат признается, что подражает другому, он выражает это так, словно речь идет об активном достижении! Поэтому я спросил вас и спрашиваю вас еще раз, были ли вы когда-нибудь безмерно влюблены, иди безмерно злы, или в безмерном отчаянии. Ведь тогда при некоторой наблюдательности ясно понимаешь, что, волнуясь всем своим существом, ты находишься точно в таком же положении, как пчела у окна или инфузория

в отравленной воде: тобой играет буря эмоций, ты слепо мечешься во все стороны, ты сотни раз натыкаешься на непроницаемую преграду и однажды, если тебе повезет, вырываешься на свободу, что, конечно, потом, в твердом сознании, истолковываешь как планомерное действие.

— Должна возразить вам, — заметила Диотима, — что это безотрадный и недостойный взгляд на чувства, которые способны решить всю жизнь человека.

— У вас на уме, может быть, старый, наскучивший спорный вопрос, властен ли человек над собой или нет, — ответил Ульрих, быстро подняв глаза. — Если все имеет причину, то ты ничего не можешь поделать, и тому подобное? Должен признаться вам, за всю мою жизнь это не занимало меня и четверти часа. Это постановка вопроса, принадлежащая веку, который незаметно отжил свое; она идет от богословия и, кроме юристов, — у них в ноздрях остался еще запах богословия и сожженных еретиков, — о причинах пекутся сегодня разве только члены семьи, которые говорят: «Ты причина моих бессонных ночей», или: «Падение цен на хлеб было причиной его беды». Но спросите преступника, встряхнув его совесть, как дошел он до жизни такой! Он этого не знает;

не знает даже и в том случае, если в момент преступления его сознание не отключалось ни на долю секунды!

Диотима выпрямилась.

— Почему вы так часто говорите о преступниках? У вас особая любовь к преступлению. Это ведь должно что-то означать?

— Нет, — отвечал кузен. — Это ничего не означает. Разве что известный интерес. Обыкновенная жизнь — это среднее состояние, образуемое всеми возможными у нас преступлениями. Но раз уж мы упомянули богословие, я хочу спросить у вас одну вещь.

— Опять, наверно, была ли я уже безмерно влюблена или испытывала безмерную ревность!

— Нет. Рассудите-ка: если бог все определил наперед и знает заранее, как может человек грешить? Так ведь раньше и спрашивали, и видите, это все еще вполне современная постановка вопроса. На редкость интриганское представление о боге! Его оскорбляют с его согласия, он толкает человека на проступок, за который сам же на него обидится; он ведь не только знает это заранее, — примеров такой смиренной любви сколько угодно, — нет, он побуждает к этому! В сходном положении относительно друг друга

находимся сегодня мы все. «Я» теряет значение, которое было у него до сих пор, значение суверена, издающего правительственные указы; мы учимся понимать его закономерное становление, влияние его окружения, типы его структуры, его исчезновение в моменты величайшей деятельности, одним словом, законы, управляющие его формированием и его поведением. Подумайте только — законы личности, кузина! Это как профсоюз, объединяющий ядовитых змей, или торговая палата для разбойников с большой дороги! Ведь поскольку законы — это, пожалуй, самая безличная вещь на свете, то личность скоро будет не более чем воображаемым сборным пунктом всего безличного, и трудно будет найти для нее ту почетную позицию, без которой вы не можете обойтись…

Так говорил кузен, и однажды Диотиме удалось вставить: «Но, дорогой мой, ведь все как раз и надо делать настолько лично, насколько возможно!» Наконец она сказала:

— Вы сегодня действительно в очень богословской стихии; с этой стороны я вас совсем не знала!

Она опять сидела как усталая танцовщица. Сильный и красивый экземпляр женщины; ка-

ким-то образом она сама чувствовала это каждой своей клеткой. Она неделями избегала кузена, может быть, уже даже месяцами. Но ей нравился этот ее сверстник. У него был забавный вид; во фраке, в слабо освещенной комнатке, черно-белый, он походил на члена рыцарского ордена; в этой черно-белости было что-то от страсти креста. Она оглядела скромную спаленку; параллельная акция была далеко, позади была великая, страстная борьба, эта комната была проста, как долг, ее смягчали лишь вербочки и неисписанные цветные открытки в уголках зеркала; между ними, значит, окаймленное столичным великолепием, представало лицо Рахили, когда эта девочка рассматривала себя в зеркале. Где, собственно, она мылась? В том узком ящичке, если его открыть, стоит, кажется, жестяной тазик, — вспомнила Диотима и потом подумала: этот человек хочет и не хочет.

Она смотрела на него спокойно, расположенной к нему слушательницей. «Хочет ли Арнгейм действительно жениться на мне?» — спросила она себя. Он сказал это. Но потом он больше на это не нажимал. У него столько других тем для разговора. Но и ее кузену, вместо того чтобы говорить об отдаленных вещах, следовало бы,

собственно, спросить: «Так как же обстоит дело?» Почему он не спрашивал? Ей казалось, что он понял бы ее, если бы она подробно рассказала ему о своей борьбе. «Пойдет ли это на пользу мне?» — спросил он по привычке, когда она сказала ему, что изменилась. Наглость! Диотима улыбнулась.

Оба эти человека были, в сущности, одинаково странны. Почему кузен так плохо отзывался об Арнгейме? Она знала, что Арнгейм искал его дружбы; но и Ульриха, судя по его собственным резким замечаниям, занимал Арнгейм. «И до чего же неправильно он его понимает, — подумала она, — с этим ничего поделать нельзя!» Кстати, теперь не только душа ее восставала против ее состоявшего в браке с начальником отдела Туцци тела, но и тело ее порой восставало против души, томившейся на краю пустыни, над которой дрожало, может быть, только обманчивое марево страстной тоски. Она охотно поделилась бы с кузеном своим страданием и своей слабостью; решительная односторонность, обычно им проявляемая, нравилась ей. Уравновешенную многосторонность Арнгейма следовало, конечно, ставить выше, но в момент решения Ульрих не так колебался бы, несмотря на свои теории, старавшиеся превратить все в полную

неопределенность. Это она чувствовала, хотя и не знала, по каким признакам; наверно, это было связано с теми чувствами, которые он вызвал у нее с самого начала их знакомства. Если Арнгейм представился ей в этот миг огромным напряжением, царственным бременем ее души, бременем, возвышавшимся над ее душой во всех направлениях, то все, что говорил Ульрих, приводило, показалось ей, единственно к тому, что за сотнями всевозможных моментов терялся момент ответственности и ты попадал в подозрительное состояние свободы. У нее вдруг возникла потребность сделаться тяжелее, чем она была; и неизвестно почему это одновременно напомнило ей о том, как она девочкой уносила от опасности какого-то малыша, а он, сопротивляясь, упрямо колотил коленками по ее животу. Живость этого воспоминания, пришедшего ей на ум так непредвиденно, словно в эту одинокую комнатку она угодила через дымовую трубу, полностью вывела ее из равновесия. «Безмерно?» — думала она. Почему он все время об этом спрашивал? Как будто она не могла быть безмерной?! Она перестала слушать его, она не знала, вовремя это или нет, она просто прервала его, отшвырнула все, что он говорил, и со смехом (только при этом ее

внезапном и бесконтрольном волнении нельзя было поручиться за то, что она действительно рассмеялась, а не думала, что смеется) дала ему на все и раз навсегда ответ:

— Но я и правда безмерно влюблена!

Ульрих усмехнулся ей в лицо.

— На это вы вовсе не способны, — сказал он.

Она встала, приложила ладони к волосам, посмотрела на него удивленно.

— Чтобы не знать меры, — принялся он спокойно объяснять, — надо быть совершенно точным и объективным. Два «я», знающие, сколь сомнительно сегодня «я», держатся друг за друга, так я себе представляю, если это непременно должна быть любовь, а не просто какая то обычная деятельность; они так сцеплены, что одно оказывается причиной другого, когда они чувствуют, что становятся чем-то великим, и парят, как невесомая пелена. Тут невероятно трудно не делать неверных движений, даже если какое-то время движения делались верные. Просто трудно в мире чувствовать верное! Вопреки всеобщему предрассудку, для этого нужен чуть ли не педантизм. Кстати, именно это я и хотел вам сказать. Вы очень польстили мне, Диотима, приписав мне задатки архангела; ссылаюсь на это самым скром-

ным образом, как вы сейчас увидите. Ведь только если бы люди были целиком объективны, — а это почти то же самое, что безличность, — тогда они были бы и целиком любовью. Потому что только тогда они были бы целиком ощущением, чувством и мыслью; и все элементы, образующие человека, нежные, ибо они стремятся друг к другу, только сам человек не нежен. Быть безмерно влюбленной — это, значит, что-то такое, чего вы, может быть, совсем и не хотели бы!..

Он старался сказать это как можно неторжественнее; чтобы лучше управлять своим лицом, он даже опять закурил, и Диотима от смущения тоже взяла предложенную им папиросу. С шутливо-упрямым видом она пускала дым в воздух, чтобы показать свою независимость, ибо она не вполне его поняла. Но в целом на нее произвел сильное впечатление тот факт, что все это кузен вдруг сказал ей именно в комнатке, где они были одни, и не сделал при этом, против обыкновения, ни малейшей попытки — такой естественной в этих обстоятельствах — взять ее руку или коснуться ее волос, хотя оба чувствовали притяжение, которым в этой тесноте заряжали друг друга тела, как магнетический ток… Если бы они сейчас?.. — подумала она… Но что вообще можно

было предпринять в этой комнатке? Она посмотрела по сторонам. Повести себя как шлюха? Но как это делается? Если бы она разревелась?! «Разреветься» — ей вспомнилось вдруг это словечко, которое было в ходу у гимназисток. Если бы она вдруг, как он требовал, разделась, обняла его за плечи и запела, что запела? Заиграла на арфе? Она взглянула на него с улыбкой. Он показался ей озорником братом, в чьем обществе можно вытворять что угодно. Ульрих тоже улыбнулся. Но его улыбка была как слепое окно, ибо, поддавшись соблазну провести этот разговор с Диотимой, он чувствовал только стыд за него. Тем не менее ей почудилось сейчас что-то от возможности полюбить этого человека; ей представилась эта любовь такой же, какой была, на ее взгляд, современная музыка, — совершенно не удовлетворяющей, но полной волнующей инородности. И хотя она полагала, что это чудится ей, конечно, яснее, чем ему, ноги ее, когда она стояла перед ним, начали тайно пылать, и потому, показав выражением лица, что их разговор слишком уж затянулся, она несколько внезапно сказала кузену:

— Дорогой мой, мы делаем что-то совершенно невозможное; побудьте здесь еще минутку, а я

выйду первой и покажусь нашим гостям.

102
Борьба и любовь в доме Фишелей

Герда тщетно ждала прихода Ульриха. По правде, он забыл об этом обещании или вспоминал о нем в минуты, когда у него были другие намерения.

— Оставь его! — говорила Клементина, когда директор Фишель ворчал. — Прежде мы были для него достаточно хороши, а теперь он, наверное, зазнался. Если ты навестишь его, ты только ухудшишь дело; ты слишком неловок для этого.

Герда тосковала о своем старшем друге. Она хотела, чтобы он явился, и знала, что захочет, чтобы он исчез, когда он явится. Несмотря на свои двадцать три года, она еще ничего не знала, кроме некоего господина Гланца, осторожно ухаживавшего за ней с согласия ее отца, да своих христианско-германских друзей, которые иногда казались ей не мужчинами, а мальчишками-школьниками. «Почему он не приходит?» — спрашивала она себя, когда думала об Ульрихе. В кругу ее друзей не подлежало сомнению, что параллельная акция означает начало духовного

уничтожения немецкого народа, и она стыдилась его участия в ней; она была бы рада услышать, что думает по этому поводу он сам, и надеялась, что у него есть причины, его оправдывающие.

Мать говорила отцу:

— Ты упустил возможность войти в это дело. Для Герды это было бы полезно и навело бы ее на другие мысли; у Туцци бывает множество людей.

Вышло так, что он вовремя не ответил на приглашение его сиятельства. Теперь ему оставалось страдать.

Молодые люди, которых Горда называла своими товарищами по духу, засели в его доме, как женихи Пенелопы, и обсуждали здесь, что должен делать молодой немец перед лицом параллельной акции. «Есть обстоятельства, когда финансист обязан показать себя меценатом!»— требовала от него Клементина, когда он горячо уверял ее, что не для того нанял за свои денежки в домашние учителя Ганса Зеппа, «духовного руководителя» Герды, чтобы из этого вышло теперь такое!.. Ведь так оно и было: Ганс Зепп, студент, не подававший ни малейшей надежды на обеспеченное существование, появился в доме как учитель и только благодаря царившим там

противоречиям превратился в тирана; теперь он обсуждал со своими друзьями, успевшими стать друзьями Герды, как спасти германскую аристократию, которая у Диотимы (о ней говорилось, что она не видит различия между братьями по расе и расово чуждыми людьми) попала в сети еврейского духа. И хотя в присутствии Лео Фишеля это разбиралось обычно только с некоей щадящей объективностью, до слуха его доходило все же достаточно много слов и утверждений, которые действовали ему на нервы. Выражалась тревога по поводу того, что такая чреватая полной катастрофой попытка предпринимается в век, которому не дано создавать великие символы, и от одних уже таких слов, как «знаменательный», «путь к вершинам человечности» и «свободные человеческие ценности», пенсне на носу Фишеля вздрагивало всякий раз, когда он их слышал. В доме его расцветали такие понятия, как «жизненность мысли», «кривая духовного роста», «парящее действие». Потом выяснилось, что каждые две недели в его доме проводится «час очищения». Он потребовал объяснений. Оказалось, что в этот час читают вслух Стефана Георге. Лео Фишель тщетно искал в своем старом энциклопедическом словаре, кто это такой. Но

больше всего злило его, старого либерала, то, что, говоря о параллельной акции, эти молокососы называли всех участвовавших в ней министерских референтов, председателей банков и ученых «напыщенными людишками», что они высокомерно утверждали, будто сегодня нет больше великих идей или нет уже никого, кто их понимал бы; что даже гуманность они объявили пустой фразой и признавали только нацию или, как они это называли, народ и традицию чем-то реальным.

— У меня, папа, человечество не вызывает никаких представлений, — отвечала Герда, когда он выговаривал ей, — сегодня это уже лишено содержания; а вот моя нация — это что-то осязаемое!

— Твоя нация! — начинал тогда Лео Фишель, собираясь сказать что-то о великих пророках и о своем собственном отце, который был некогда адвокатом в Триесте.

— Я знаю, — прерывала его Герда. — Но моя нация — это нация духовная; я говорю о ней.

— Я запру тебя в комнате и буду держать там, пока не образумишься! — говорил тогда папа. — А твоим друзьям откажу от дома. Это недисциплинированные люди, которые без конца занимаются своей совестью, вместо того чтобы работать!

— Я знаю, папа, — отвечала Герда, — твой образ

мыслей. Вы, старшие, думаете, что имеете право нас унижать, потому что нас кормите. Вы патриархальные капиталисты.

Такие разговоры происходили из-за отцовской заботливости нередко.

— А на что бы ты жила, если бы я не был капиталистом?! — спрашивал хозяин дома.

— Я не могу все знать, — отрезала обычно Герда такое продолжение разговора. — Но я знаю, что ученые, воспитатели, духовные пастыри, политики и другие люди действия уже начали создавать новые ценности, в которые можно верить.

Директор Фишель иногда еще спрашивал: «А эти духовные пастыри и политики, конечно, вы сами?!»— но делал он это только для того, чтобы последнее слово осталось за ним; в сущности, он всегда бывал рад, что Герда не замечала, до какой степени, уже по привычке, все неразумное сопряжено было для него со страхом, что ему придется пойти на уступки. Доходило до того, что в конце таких бесед он начинал даже осторожно хвалить упорядоченность параллельной акции как противоположность диким контрмерам, принимаемым в его доме; но случалось это только тогда, когда Клементины поблизости не было.

Тихое мученическое упорство в сопротивлении

увещаниям отца Герде придавала ощутимая в этом доме и смутно чувствуемая Лео и Клементиной атмосфера невинного сладострастия. В среде молодых людей говорилось о многих вещах, насчет которых родители ожесточенно молчали. Даже в том, что они называли национальным чувством, в этом желанном единстве, в которое сплавлялись их непрестанно споривше между собой «я» и которая называлось у них германско-христианским содружеством граждан, было, в отличие от гнетущих любовных отношений старшего поколения, что-то от крыльев Эрота. Они не по годам мудро презирали «похоть», «прикрашенную ложь грубого наслаждения жизнью», как у них это называлось, но о сверхчувственности и любострастности говорили столько, что в душе пораженного слушателя невольно и по контрасту возникало легкое воспоминание о чувственности и страстности, даже Лео Фишель не мог не признать, что безудержная горячность, с какой они говорили, порой заставляла слушателя чувствовать корни их идей чуть ли даже не чреслами, чего он, однако, не одобрял, считая, что великие идеи должны вызывать у тебя чувство, что ты смотришь на них снизу вверх.

Клементина, напротив, говорила:

— Тебе не следовало бы просто все отметать, Лео!

— Как могут они утверждать: «собственность ведет к бездуховности»? — начинал он тогда спорить с нею. — Разве я бездуховен?! Ты, может быть, и потеряла уже половину своей духовности, потому что всерьез принимаешь их болтовню!

— Ты этого не понимаешь, Лео; они придают этому христианский смысл, они хотят уйти от старого способа жизни к более высокой жизни уже на земле.

— Это не по-христиански, а просто заумно! — протестовал Лео.

— Истинную действительность видят, в конечном счете, может быть, не реалисты, а те, кто смотрит внутрь, — отвечала Клементина.

— Мне смешно! — утверждал Фишель. Но он ошибался, он плакал; внутренне, от неспособности совладать с духовными переменами в его окружении.

Директор Фишель испытывал теперь чаще, чем прежде, потребность в свежем воздухе; по окончании работы его не тянуло домой, и когда он уходил из конторы засветло, то любил немного побродить по городским садам, хотя и стояла зима. Еще со времен, когда он был практикан-

том, у него осталось пристрастие к этим садам. По непонятной ему причине муниципалитет распорядился поздней осенью заново покрасить железные складные стулья; и вот, прислонясь друг к другу, они стояли свежезеленые на белоснежных дорожках и будоражили воображение весенними красками. Иногда Лео Фишель усаживался в одиночестве на такой стул на краю площадки для игр или аллеи и, закутавшись, смотрел на бонн, которые со своими подопечными принимали на солнце здоровый по-зимнему вид. Они играли в диаболо или бросали снежки, и девочки делали большие женские глаза… Ах, думал Фишель, это как раз такие глаза, которые на лице взрослой красивой женщины создают то дивное впечатление, что глаза у нее детские. Ему было отрадно глядеть на играющих девочек, в чьих глазах любовь плавала еще в сказочном пруду, откуда ее позднее вытащит аист; а иногда и на их воспитательниц. Зрелищем этим он часто наслаждался в молодые свои годы, когда стоял еще перед витриной жизни и, не входя в ее лавку за неимением денег, мог только гадать о том, что ему позднее пошлет судьба. Вышло довольно жалко, думал он, и какое-то мгновение, полное молодой напряженности, ему чудилось, что он

снова сидит среди белых крокусов и зеленой травы. Когда потом чувство реальности возвращало его к снегу и зеленому лаку, он странным образом каждый раз думал о своем доходе; деньги дают независимость, но теперь его жалованье целиком уходило на нужды семьи и на самые необходимые сбережения; надо было, значит, — размышлял он, заняться, кроме службы, еще чем-нибудь, чтобы стать независимым, может быть, использовать приобретенное знание биржи, как то делают главные директора. Такие мысли, однако, подступали к Лео только тогда, когда он смотрел на играющих девочек, и мысли эти он отвергал, потому что отнюдь не чувствовал в себе нужного для спекуляций темперамента. Он был управляющим, он только назывался директором, у него не было видов на то, чтобы подняться выше, и он сразу нарочно запугивал себя мыслью, что такая бедная рабочая спина, как его, слишком уже согнулась, чтобы свободно выпрямиться. Он не знал, что думал так только затем, чтобы возвести непреодолимую преграду между собой и этими красивыми детьми и их красивыми боннами, которые в такие мгновения в садах олицетворяли для него весь соблазн жизни; ибо даже в мрачном настроении, не велевшем ему идти домой,

он был неисправимым семьянином и отдал бы все, чтобы только превратить домашний адский круг в круг ангелов, парящих вокруг бога-отца титулярного директора.

Ульрих тоже любил эти сады и пересекал их, когда его путь это позволял; так получилось, что в это время он снова встретился с Фишелем, и тому сразу вспомнилось все, что он уже претерпел из-за параллельной акции у себя дома. Он выразил свое неудовольствие по поводу того, что его молодой друг не дорожит приглашениями старых друзей, во что он, Фишель, мог поверить тем искреннее, что и мимолетные знакомства становятся со временем такими же старыми, как самые близкие.

Старый молодой друг сказал, что он действительно очень рад видеть Фишеля, и пожаловался на свою смешную деятельность, лишавшую его до сих пор такой возможности.

Фишель пожаловался на плохие времена и скверные дела. Вообще падение нравов. Во всем материалистичность и опрометчивость.

— А я-то думал, что вам можно позавидовать! — ответил Ульрих. Профессия коммерсанта — это же просто санаторий для души! По крайней мере, единственная профессия с идеально чистой

основой!

— Это так! — подтвердил Фишель. — Коммерсант служит человеческому прогрессу и довольствуется дозволенной выгодой. При всем при том ему так же плохо, как любому другому! — прибавил он хмуро.

Ульрих вызвался проводить его домой.

Там они застали уже крайне напряженную атмосферу.

Все друзья были в сборе, и шла большая перепалка. Эти молодые люди еще учились в гимназии или были студентами первых семестров, некоторые состояли также на службе в торговых фирмах. Как сложился их кружок, они уже не помнили. По цепочке. Одни познакомились в националистических студенческих союзах, другие — благодаря социалистическому или католическому движению молодежи, третьи — в туристских походах «Перелетных птиц».

Не совсем ошибочно предположение, что единственным, что всех их связывало, был Лео Фишель. Чтобы духовное движение держалось и продолжалось, ему нужно тело, и таким телом была фишелевская квартира вместе с угощениями и известным контролем над этими контактами со стороны Клементины. Принадлежностью этой

квартиры была Герда, а принадлежностью Герды — Ганс Зепп, а Ганс Зепп, студент с нечистым цветом лица и тем более чистой душой, хотя и не был вождем, потому что молодые люди не признавали вождей, был самым одержимым из них. Иногда они собирались в других местах, и тогда на их встречах бывали и другие женщины, кроме Герды; но с ядром движения дело обстояло так, как только что сказано.

Тем не менее истоки духа этих молодых людей столь же поразительны, как возникновение новой болезни или несколько подряд выигрышей в азартной игре. Когда начало гаснуть солнце старого европейского идеализма и белый дух потемнел, из рук в руки стали передавать факелы, — бог весть где украденные или изобретенные факелы идей! — и повсюду затрепыхались огненные озера маленьких духовных общин. Вот почему в последние годы, прежде чем великая война сделала из этого выводы, в среде молодых людей было много разговоров о любви и общности, и особенно молодые антисемиты в доме директора банка Фишеля пребывали под знаком всеобъемлющей любви и общности. Истинная общность есть действие некоего внутреннего закона, и самый глубокий, самый простой, самый

совершенный и самый первый закон — это закон любви. Как уже было замечено, не любви в низменном, чувственном смысле; ибо физическое обладание есть изобретение мамоны и действует лишь разлучающе и разлагающе. И, конечно, каждого человека любить нельзя. Но можно уважать характер каждого, если он подлинно человечен в своих стремлениях и несет за себя строжайшую ответственность. Так спорили они вместе обо всем во имя любви.

Но в тот день образовался некий фронт против Клементины, которая очень рада была еще раз почувствовать себя молодой и, внутренне признавая, что в супружеской любви действительно много общего с выплатой процентов на капитал, упорно не позволяла все-таки осуждать параллельную акцию на том основании, что арийцы способны будто бы создавать символы лишь тогда, когда они находятся в чисто арийском обществе. Клементина с трудом сдерживала себя, а у Герды горели щеки от гнева на мать, которую никак не удавалось выпроводить из комнаты. Когда Лео Фишель с Ульрихом вошли в квартиру, девушка стала тайком делать знаки Гансу Зеппу, прося его прекратить этот разговор, и Ганс миролюбиво сказал: «Людям нашего времени вообще

не удается создать ничего великого!» — полагая, что этим свел дело к безличной формуле, к которой уже привыкли.

Но в этот момент в разговор вмешался, на беду, Ульрих, который не без ехидства по адресу Фишеля спросил Ганса, неужели тот совершенно не верит в прогресс.

— Прогресс? — ответил Ганс Зепп свысока. — Сравните только, какие люди были сто лет назад, пока дело не дошло до прогресса, — Бетховен! Гете! Наполеон! Геббель!

— Гм, — сказал Ульрих, — последний сто лет назад был как раз грудным младенцем.

— Точность в цифрах эти молодые люди презирают! — с удовольствием объяснил директор Фишель. Ульрих не поддержал этой темы; он знал, что Ганс Зепп ревниво презирает его, но ему самому были довольно симпатичны диковинные друзья Герды. Поэтому он сел в их круг и продолжал:

— В отдельных областях человеческого умения мы, бесспорно, добиваемся такого прогресса, что прямо-таки чувствуем свою неспособность поспеть за ним; не отсюда ли, может быть, возникает и чувство, что никакого прогресса у нас нет? В конце концов, прогресс — это общий результат

всех усилий, и можно, собственно, сказать наперед, что реальный прогресс всегда будет именно тем, чего никто не хотел.

Темный чуб Ганса Зеппа повернулся к нему как дрожащий рог.

— Вы же сами говорите: чего никто не хотел! Много шума и треска, и никакого движенья вперед; сто путей — и ни одного пути! Мысли, значит, но не душа! И никакого характера! Фраза выскакивает из страницы, слово выскакивает из фразы, целое уже не целое больше, сказал уже Ницше; отвлекаясь от того, что эгоизм Ницше — это тоже пример малоценности бытия! Назовите мне хотя бы одну какую-нибудь прочную, последнюю ценность, на которую вы, например, ориентировались бы в своей жизни!

— Так-таки сразу! — запротестовал директор Фишель; но Ульрих спросил Ганса:

— Вы действительно не в состоянии жить без последней ценности?

— Нет, — сказал Ганс. — Но признаю, что поэтому мне не дано быть счастливым.

— Черт вас побери! — засмеялся Ульрих. — Все, что мы умеем, основано на том, чтобы не быть слишком строгими и не ждать высочайшего познания; средневековье ждало и осталось неве-

жественным.

— Это еще вопрос, — ответил Ганс Зепп. — Я утверждаю, что невежественны мы.

— Но вы должны признать, что наше невежество — явно очень счастливое и разнообразное.

Чей-то тягучий голос проворчал в глубине комнаты:

— Разнообразие! Знание! Относительный прогресс! Это понятия, созданные механистическим мышлением испорченной капитализмом эпохи! Больше я Вам ничего не скажу…

Лео Фишель тоже ворчал про себя; судя по всему, он находил, что Ульрих уделяет слишком много внимания этим непочтительным мальчишкам; Фишель спрятался за газетой, которую извлек из кармана.

Но Ульриху это почему-то доставляло удовольствие.

— Если взять современный буржуазный дом с шестикомнатной квартирой, ванной для слуг, пылесосом и так далее и сравнить его со старыми домами, где высокие комнаты, толстые стены и красивые своды, то это прогресс или нет? — спросил он.

— Нет! — крикнул Ганс Зепп.

— Аэроплан — это прогресс по сравнению с

почтовой каретой?!

— Да! — крикнул директор Фишель.

— Машина по сравнению с ручным трудом?

— Ручной труд! — крикнул Ганс; — Машина! — Лео.

— Я думаю, — сказал Ульрих, — что всякий прогресс — это и регресс. Прогресс существует всегда только в каком-то определенном смысле. А поскольку наша жизнь в целом лишена смысла, то в целом в ней нет и прогресса.

Лео Фишель опустил газету:

— Что, по-вашему, лучше — пересекать Атлантический океан за шесть дней или чтобы на это требовалось шесть недель?!

— Я бы, пожалуй, сказал, что безусловный прогресс — это уметь делать и то, и другое. Однако наши молодые христиане оспаривают и это.

Кружок оставался неподвижен, как натянутый лук. Ульрих парализовал разговор, но не наступательный дух. Он спокойно продолжал:

— Но можно сказать и обратное: если в нашей жизни есть прогресс в отдельных областях, то и смысл у нее в отдельных областях есть. Но если некогда имело смысл, например, приносить людей в жертву богам, или сжигать ведьм, или пудрить волосы, то это остается одним из осмыс-

ленных чувств жизни и тогда, когда прогресс состоит в более гигиеничных обычаях и гуманности. Ошибка заключается в том, что прогресс всегда хочет покончить со старым смыслом.

— Вы, может быть, хотите сказать, — спросил Фишель, — что нам снова нужно вернуться к человеческим жертвоприношениям, после того как мы счастливо преодолели их отвратительный мрак?!

— Насчет мрака — это еще вопрос! — ответил Ганс Зепп вместо Ульриха. Если вы подтираете ни в чем не повинного зайца, это мрачно; но если каннибал, совершая религиозный обряд, благоговейно съедает человека чужого племени, то мы просто не знаем, что в этом людоеде происходит!

— Наверно, в преодоленных нами эпохах что-то такое действительно было, — присоединился к нему Ульрих, — иначе ведь столько славных людей не было бы с ними когда-то в ладу. Нельзя ли нам воспользоваться этим, не принося больших жертв? И может быть, сегодня мы именно потому и жертвуем еще столькими людьми, что никогда ясно не ставили перед собой проблемы верного преодоления прежних затей человечества? Отношения между всеми этими вещами темные, и выразить их трудно.

— Но для вашего мышления желанной целью все равно всегда остается только сумма или итог! — выпалил тут, обращаясь к Ульриху, Ганс Зепп. — Вы точно так же верите в буржуазный прогресс, как директор Фишель, только вы выражаете это как можно сложнее и заковыристей, чтобы вас нельзя было раскусить!

Ганс высказал мнение своих друзей. Ульрих искал лицо Герды. Он хотел еще раз небрежно подхватить нить своих мыслей, не обращая внимания на то, что Фишель и молодые люди были одинаково готовы броситься на него и друг на друга.

— Но ведь вы стремитесь к какой-то цели, Ганс? — спросил он снова.

— Что-то стремится. Во мне. Через меня, — ответил Ганс Зепп скупо.

— И оно достигнет ее? — Лео Фишель не удержался от этого насмешливого вопроса, став тем самым, как то поняли все, кроме него самого, на сторону Ульриха.

— Этого я не знаю! — мрачно ответил Ганс.

— Сдали бы вы свои экзамены, вот и был бы прогресс! — Лео Фишель не отказал себе и в этом замечании, настолько он был раздражен; но своим другом не меньше, чем этими молокососами.

В это мгновение произошел взрыв. Клементина метнула на своего супруга заклинающий взгляд; Герда пыталась опередить Ганса, а Ганс судорожно искал слов, которые в конце концов обрушились на Ульриха.

— Можете быть уверены, — крикнул он ему, — и у вас тоже нет, в сущности, ни одной мысли, которая не могла бы прийти в голову директору Фишелю!

С этими словами он выбежал из комнаты, а его друзья, гневно откланявшись, бросились за ним. Попираемый взглядами Клементины, директор Фишель сделал вид, будто с опозданием вспомнил о долге хозяина дома, и недовольно вышел в переднюю, чтобы сказать молодым людям какое-нибудь доброе слово. В комнате остались только Герда, Ульрих и Клементина, которая несколько раз облегченно вздохнула, потому что атмосфера теперь разрядилась. Затем она поднялась, и Ульрих, к своему удивлению, оказался с Гердой наедине.

103

Соблазн

Герда была заметно взволнована, когда они остались одни. Он взял ее пальцы; вся рука ее до самого плеча задрожала, и Герда высвободилась.

— Вы не знаете, — сказала она, — что это значит для Ганса — цель! Вы потешаетесь над этим. Это, конечно, дешево. Думаю, что ваши мысли стали еще непристойнее! — Она искала как можно более сильного слова и теперь сама испугалась его. Ульрих попытался снова поймать ее руку; она прижала ее к себе. — Вот это-то нам и ни к чему! — воскликнула она; воскликнула с сильным презрением, но тело ее колебалось.

— Я знаю, — глумился Ульрих, — все, что происходит между вами, должно отвечать высочайшим требованиям. Это-то и подбивает меня на поведение, которое вы так любезно определили. И вы не представляете себе, как любил я раньше говорить с вами по-другому!

— Вы никогда не были другим! — ответила Герда быстро.

— Я всегда был в колебании, — сказал Ульрих просто и заглянул ей в лицо. — Доставит ли вам удовольствие, если я немного расскажу вам о том, что происходит у моей кузины?

В глазах Герды показалось что-то явно отличное от неуверенности, в которую ее повергала близость Ульриха: она горела желанием услышать его рассказ, чтобы все передать Гансу, и старалась это скрыть. Ульрих не без удовлетворения заметил это и, подобно животному, которое, почуяв опасность, запутывает след, начал с другого.

— Помните историю о луне, что я вам рассказывал? — спросил он ее. — Хочу вам сперва поведать нечто похожее.

— Вы опять наврете мне! — отрезала Горда.

— По мере возможности — нет! Вы, наверно, помните из лекций, которые слушали, как поступают, когда хотят узнать, является ли что-то законом или нет? Либо заранее есть причины считать это законом, как, например, в физике или в химии, и даже если наблюдения никогда не дают искомого значения, то все же они определенным образом подводят к нему, и отсюда его вычисляют. Либо причин этих нет, как столь часто в жизни, и ты стоишь перед явлением, о котором толком не знаешь, закономерность это или случайность, и вот тогда дело становится интересным по-человечески. Из кучи наблюдений тогда прежде всего делают кучу цифр; их разбивают на разделы — посмотреть, какие числа

лежат между этим и тем, следующим и последующим значениями, и так далее — и образуют таким путем распределительные ряды; теперь выясняется, есть ли систематическое возрастание или убывание частоты данного явления; получают постоянный ряд или распределительную функцию, вычисляют меру колебаний, среднее отклонение, меру отклонения от любого-значения, центральное значение, нормальное значение, среднее значение, дисперсность и так далее и с помощью всех этих понятий исследуют изучаемое явление.

Ульрих рассказывал это тоном спокойного объяснения, и трудно было различить, хотел ли он собраться с мыслями сам или ему доставляло удовольствие гипнотизировать Герду наукой. Герда отдалилась от него; она сидела в кресле наклонившись вперед и глядела в пол, напряженно нахмурившись. Когда говорили так деловито и обращались к честолюбию ее разума, ее дурное настроение проходило; она чувствовала, как исчезает простая уверенность, которую оно ей давало. Она прошла реальную гимназию и несколько семестров в университете; она прикоснулась к уйме нового знания, которое не укладывалось в старые рамки классических

и гуманистических представлений; у многих молодых людей такое образование оставляет сегодня чувство, что оно совершенно беспомощно, а новое время лежит перед ними как новый мир, землю которого старыми орудиями обрабатывать нельзя. Она не знала, куда ведет то, что говорил Ульрих; она верила ему, потому что любила его, и не верила ему, потому что была на десять лет моложе и принадлежала к другому поколению, которое казалось себе полным сил, и оба эти отношения к нему сливались весьма неопределенным образом, а он рассказывал дальше.

— И вот, — продолжал он, — есть наблюдения, выглядящие в точности как закон природы, хотя в основе их не лежит ничего, что мы могли бы считать таковым. Правильность статистических числовых рядов порой столь не велика, как правильность законов. Вам наверняка известны эти примеры из какой-нибудь лекции по социологии. Скажем, статистика разводов в Америке. Или соотношение между новорожденными мужского и женского пола, являющееся одной из самых постоянных пропорций. И еще вы знаете, что каждый год примерно одно и то же число военнообязанных пытается уклониться от военной службы, нанося себе увечья. Или что каждый год

приблизительно один и тот же процент населения Европы совершает самоубийство. Кражи, изнасилования и, насколько я знаю, банкротства тоже повторяются ежегодно примерно с одной и той же частотой…

Тут сопротивление Герды сделало попытку прорыва.

— Уж не пытаетесь ли вы объяснить мне прогресс?! — воскликнула она, постаравшись вложить в эту догадку побольше презрения.

— Ну конечно пытаюсь! — ответил Ульрих, не давая прервать себя. — Это несколько туманно называют законом больших чисел, означающим, грубо говоря, что один кончает с собой по этой причине, другой — по той, но при очень большой численности самоубийств случайный и личный характер этих причин перестает иметь значение, и остается… да, что же остается? Вот это я и хочу у вас спросить. Ведь остается, как вы видите, то, что каждый из нас, не будучи специалистом, преспокойно называет средней цифрой и о чем, стало быть, совершенно неизвестно, что это такое. Позвольте прибавить, что этот закон больших чисел пытались объяснить логически и формально как нечто, так сказать, само собой разумеющееся; с другой стороны, утверждали также, что такую

регулярность явлений, причинно между собою не связанных, обычным путем размышления объяснить вообще нельзя; и наряду со многими другими анализами этого феномена выдвинули утверждение, что дело тут идет не только об отдельных случаях, но и о неизвестных законах совокупности. Не буду надоедать вам частностями, да и сам их уже не помню, но, несомненно, мне лично было бы очень важно знать, кроются ли за этим непонятые законы коллектива или просто по иронии природы особенное возникает из того, что ничего особенного не происходит, и высший смысл оказывается чем-то таким, чего можно достичь через средний уровень глубочайшей бессмысленности. И то, и другое знание повлияло бы, конечно, на наше восприятие жизни решающим образом! Ведь как бы то ни было, на этом законе большого числа основана всякая возможность упорядоченной жизни; и не будь этого сглаживающего закона, в одном каком-нибудь году не происходило бы ничего, а зато в следующем ни на что нельзя было бы положиться, голод чередовался бы с изобилием, детей не рождалось бы или рождалось бы слишком много и человечество металось бы между своими небесными и адскими возможностями, как мечутся

птички, когда приблизишься к их клетке.

— Все это правда? — спросила Герда, помедлив.

— Это вы сами должны знать.

— Конечно; в деталях я тоже кое-что об этом знаю. Но я не знаю, это ли имели вы в виду прежде, когда все спорили. То, что вы сказали о прогрессе, звучало так, словно вам просто хотелось всех позлить.

— Вы всегда так думаете. Но что мы знаем о том, что такое наш прогресс? Ничего! Есть много вариантов того, каким бы он мог быть, и я сейчас назвал еще один.

— Каким бы он мог быть! Так думаете вы всегда; вы никогда не попытаетесь ответить на вопрос, каким бы ему следовало быть!

— Вы торопитесь. Вам непременно подавай цель, программу, что-то абсолютное. А в конце-то концов получается компромисс, какая-то середина! Не признаете ли вы, что это в общем утомительно и смешно — доходить до крайностей во всех своих желаниях и действиях, чтобы в результате вышло что-то среднее?

По существу это был тот же разговор, что с Диотимой; только форма была иная, но за нею можно было перейти из одного разговора в другой. И явно столь же безразлично было и то, какая

женщина сидела рядом, — тело, которое, войдя в наличное уже силовое поле мысли, вызывало какие-то определенные процессы! Ульрих разглядывал Герду, не ответившую ему на его последний вопрос. Тоненькая, с хмурой складкой между глазами, сидела она перед ним. Начало груди виднелось в вырезе блузки тоже глубокой вертикальной складкой. Руки и ноги были длинные и изящные. Вялая весна, опаленная зноем слишком раннего лета; вот какое возникло у него впечатление, и одновременно он почувствовал весь напор своенравия, заключенного в таком молодом теле. Странная смесь отвращения и спокойствия взяла его в свою власть, ибо он вдруг почувствовал, что он сейчас ближе к какому-то решению, чем думает, и что эта девушка призвана сыграть тут некую роль. Непроизвольно он начал и в самом деле рассказывать о впечатлениях, полученных им от так называемой молодежи, участвовавшей в параллельной акции, и закончил словами, поразившими Герду:

— Они там тоже очень радикальны и тоже не любят меня. Но я плачу им тем же, ибо я тоже по-своему радикален и с любым беспорядком примирюсь скорее, чем с духовным. Мне мало видеть идеи развернутыми, мне нужно, чтобы

они были связаны между собой. Мне нужна не только вибрация, но и густота идеи. Это-то вы и браните, моя незаменимая подруга, говоря, что я всегда рассказываю только то, что могло бы быть, а не то, чему быть следовало бы. Я не путаю эти две вещи. И наверно, это самое несвоевременное свойство, каким можно обладать, ибо нет сегодня ничего столь чуждого друг другу, сколь чужды друг другу строгость и эмоциональность, и наша точность в делах механических дошла, к сожалению, до того, что надлежащим ее дополнением ей кажется неточность жизни. Почему вы не хотите меня понять? Вероятно, вы совершенно не способны понять меня, и это безнравственно с моей стороны — стараться смутить ваш соответствующий духу времени ум. Но поверьте, Герда, иногда я спрашиваю себя, прав ли я. Может быть, как раз те, кого я терпеть не могу, делают то, чего я когда-то хотел. Делают, может быть, неверно, безмозгло, один несется в одну сторону, другой в другую, и у каждого в клюве мысль, которую он считает единственной в мире; каждый из них кажется себе ужасно умным, а все вместе они думают, что время обречено на бесплодие. Но, может быть, наоборот, каждый из них глуп, а все вместе они плодовиты. Похоже, что любая

правда появляется сегодня на свет разложенной на две противоположных друг другу неправды, и это тоже может быть способом прихода к сверхличному результату! Тогда итог, сумма опытов уже не возникает в индивидууме, который становится невыносимо односторонним, но все в совокупности — это как бы экспериментальное объединение. Одним словом, будьте снисходительны к старому человеку, которого одиночество толкает порой на эксцессы!

— Чего только вы мне уже не наговорили! — мрачно ответила на это Герда. — Почему вы не напишете книгу о своих взглядах, вы, может быть, помогли бы этим себе и нам?

— С чего бы вдруг я стал писать книгу? — воскликнул Ульрих. — Меня родила как-никак мать, а не чернильница!

Герда задумалась, действительно ли помогла бы кому-нибудь книга Ульриха. Как все молодые люди, с которыми она дружила, она переоценивала силу печатного слова. В квартире воцарилась полная тишина, когда Ульрих и Герда умолкли; казалось, что чета Фишелей покинула дом вслед за возмущенными гостями. И Герда почувствовала давящую близость более сильного мужского тела, она чувствовала ее всегда, вопреки всем

своим убеждениям, когда они бывали одни; она взбунтовалась против этого и стала дрожать. Ульрих заметил это, встал, положил ладонь на слабое плечо Герды и сказал ей:

— Я хочу сделать вам одно предложение, Герда. Допустим, что в вопросах морали дело обстоит точно так же, как в кинетической теории газов: все летит вперемешку куда придется, каждый делает что хочет, но если высчитать, что, так сказать, не имеет причины возникнуть из этого, получается именно то, что действительно возникает! Есть поразительные соответствия! Допустим, стало быть, также, что в наше время в воздухе беспорядочно носится определенное количество идей; оно дает какое-то наиболее вероятное среднее значение, которое очень медленно и автоматически меняется, и это есть так называемый прогресс или историческая ситуация; но самое важное то, что при этом наше личное, индивидуальное движение никакого значения не имеет, в своих мыслях и действиях мы можем быть правыми или левыми, высокими или низкими, новыми или старыми, беспечными или осмотрительными — для среднего значения это совершенно безразлично, а богу и миру важно только оно, до нас им нет дела!

Говоря это, он попытался заключить ее в объятья, хотя и чувствовал, что делает усилие над собой.

Герда разозлилась.

— Вы всегда начинаете глубокомысленно, — воскликнула она, — а потом все сводится к самому обыкновенному кукареканью! — Ее лицо пылало и пошло пятнами, губы ее, казалось, вспотели, но была в ее возмущении какая-то красота. — Именно того самого, что вы из этого делаете, мы не хотим!

Тут Ульрих не удержался от соблазна тихо спросить ее:

— Обладание убивает?

— Не хочу говорить с вами об этом! — так же тихо ответила Герда.

— Это все равно, идет ли речь об обладании человеком или об обладании вещью, — продолжал Ульрих. — Я тоже знаю это, Герда, я понимаю вас и Ганса лучше, чем вы думаете. Чего же вы с Гансом хотите? Скажите мне.

— То-то и оно: ничего! — воскликнула с торжеством Герда. — Сказать это нельзя. Папа тоже твердит: «Уясни себе наконец, чего ты хочешь! Ты увидишь, что это чепуха». Все чепуха, когда это уясняешь себе! Если мы будем разумны, мы

не выйдем за пределы банальностей! Сейчас вы с вашим рационализмом опять возразите!

Ульрих покачал головой.

— А как насчет демонстрации против графа Лейнсдорфа? — спросил он кротко, как будто это относилось к теме их разговора.

— Ах, вы шпионите! — воскликнула Герда.

— Полагайте, что я шпионю, но скажите мне, Герда. По мне, можете на здоровье полагать и это.

Герда смутилась.

— Ничего особенного. Просто демонстрация немецкой молодежи. Может быть, шествие мимо его дома, возгласы неодобрения. Параллельная акция — это гнусность!

— Почему?

Герда пожала плечами.

— Сядьте же! — попросил Ульрих. — Вы это переоцениваете. Давайте поговорим наконец спокойно.

Герда повиновалась.

— Послушайте-ка, понимаю ли я ваше положение, — продолжал Ульрих. — Вы говорите, значит, что обладание убивает. Вы думаете при этом прежде всего о деньгах и о своих родителях. Это, конечно, убитые души…

Герда сделала надменный жест.

— Будем, значит, говорить не о деньгах, а сразу об обладании любого рода. Человек, у которого есть самообладание; человек, который владеет своими убеждениями; человек, который позволяет обладать собой другому человеку, или собственным своим страстям, или всего лишь своим привычкам, или своим успехам; человек, который хочет что-то завоевать; человек, который вообще чего-то хочет — все это вы отвергаете? Вы хотите быть странниками. Скитающимися странниками — так назвал это однажды Ганс, если я не ошибаюсь. Бредущими к другому смыслу и существованию? Верно?

— Все, что вы говорите, до ужаса верно; ум может имитировать душу!

— А ум относится к группе обладания? Он мерит, он взвешивает, он делит, он собирает, как старый банкир? Но разве я не рассказал вам сегодня множества историй, к которым прицепилась примечательно большая доля нашей души?

— Это холодная душа!

— Вы совершенно правы, Герда. Теперь, значит, мне нужно только сказать вам, почему я стою на стороне холодных душ или даже банкиров.

— Потому что вы трус!

Ульрих заметил, что, говоря, она обнажила зубы, как зверек в смертельном страхе.

— Видит бог, да, — отвечал он. — Но если уж вы не считаете меня способным ни на что другое, то поверьте, что у меня хватило бы решимости удрать по громоотводу или даже по крошечному выступу в стене, если бы я не был убежден, что все попытки бегства снова приведут к папе!

Герда отказывалась вести этот разговор с Ульрихом, с тех пор как между ними состоялся похожий разговор; чувства, о которых тут шла речь, принадлежали лишь ей и Гансу, и еще больше, чем насмешки Ульриха, она боялась его одобрения, которое сделало бы ее беззащитной перед ним, прежде чем она узнала бы, верует он или богохульствует. С того недавнего момента, как ее поразили его грустные слова, последствия которых ей приходилось теперь терпеть, было ясно видно, как сильно колебалась она в душе. Но и с Ульрихом происходило нечто похожее. Порочная радость по поводу своей власти над этой девушкой была ему совершенно чужда; он не принимал Герду всерьез, и поскольку это включало в себя умственную неприязнь, говорил ей обычно неприятные вещи, но чем энергичнее выступал он перед ней адвокатом мира, тем

удивительнее с некоторых пор привлекало его желание довериться ей и показать ей свою душу без фальши и без прикрас или взглянуть на ее душу, как если бы та была голая, словно моллюск. Поэтому он задумчиво посмотрел ей в лицо и сказал:

— Мой взгляд мог бы покоиться между вашими щеками, как покоятся облака на небе. Не знаю, приятно ли облакам покоиться на небе, но в конце концов столько же, сколько все Гансы, знаю о мгновениях, когда бог берет нас как перчатку и медленно-премедленно выворачивает наизнанку на своих пальцах! Вы слишком облегчаете себе жизнь; вы чувствуете негативное отношение к позитивному миру, в котором мы живем, и коротко утверждаете, что позитивный мир принадлежит родителям и старшим, а мир смутного негатива — новой молодежи. Отнюдь не хочу быть шпионом ваших родителей, милая Герда, но советую вам учесть, что при выборе между банкиром и ангелом более реальная природа профессии банкира тоже кое-что значит!

— Хотите чаю?! — резко спросила Герда. — Можно мне оказать вам гостеприимство в нашем доме? Пусть перед вами будет безупречная дочь моих родителей.

Она снова овладела собой.

— Допустим, вы выйдете замуж за Ганса.

— Но я вовсе не хочу выходить за него замуж!

— Какая-то цель у вас должна быть; вы не можете вечно жить несогласием со своими родителями.

— Когда-нибудь я уйду из дому, стану самостоятельна, и мы останемся друзьями!

— Но прошу вас, милая Герда, давайте допустим, что вы будете замужем за Гансом или что-нибудь похожее; этого, безусловно, не избежать, если все так пойдет дальше. И вот представьте себе, как вы в состоянии отрыва от мира чистите утром зубы, а Ганс получает повестку об уплате налога.

— Я должна это знать?

— Ваш папа сказал бы «да», если бы имел представление о состояниях повернутости к миру спиной; обыкновенные люди умеют, увы, прятать необыкновенные переживания так глубоко в трюм корабля своей жизни, что и не замечают их никогда. Но возьмем более простой вопрос: потребуете ли вы от Ганса, чтобы он был вам верен? Верность относится к комплексу обладания! Вы должны бы считать, что так и надо, если Ганс воспаряет душой с другой женщиной. Более того, по законам, которые вам чудятся, вы должны бы

воспринимать это даже как обогащение вашей собственной жизни!

— Не думайте только, — ответила Герда, — что мы сами не говорим о таких вопросах! Нельзя одним махом стать новым человеком; но делать из этого довод против возможности стать им — верх буржуазности!

— Ваш отец требует от вас, в сущности, совсем не того, что вы думаете. Он даже не утверждает, что он в этих вопросах умнее вас с Гансом; он просто говорит, что не понимает, что вы делаете. Но он знает, что сила — вещь очень разумная, что у нее больше разума, чем у вас, у него и у Ганса, вместе взятых. Что, если бы он предложил Гансу деньги, чтобы тот наконец без забот закончил ученье? Пообещал ему после испытательного срока если не женитьбу, то хотя бы отмену принципиального «нет»? И только поставил бы условием, что до конца испытательного срока всякое общение между вами прекращается, значит, даже и то, какое у вас теперь?!

— Вот, значит, до чего вы дошли?

— Я хотел объяснить вам вашего папу. Он — мрачное божество, обладающее зловещим превосходством. Он думает, что деньги приведут Ганса туда, куда он хочет его привести, к разуму

реальности. Никакой Ганс с ограниченным месячным доходом не будет уже, по его мнению, безгранично глуп. Но, может быть, ваш папа фантазер. Я восхищаюсь им, как восхищаюсь компромиссами, средними величинами, сухостью, мертвыми цифрами. Я не верю в черта, но если бы верил, то представлял бы его себе тренером, добивающимся от неба рекордов. И я обещал ему насесть на вас так, что от ваших химер ничего не останется, разве только реальность.

Совесть Ульриха отнюдь не была чиста при этих словах. Герда стояла перед ним, пылая, в глазах ее сквозь слезы проглядывал гнев. Вдруг перед нею и Гансом открылся путь. Но предал ли ее Ульрих или хотел ей помочь? Она этого не знала, но и то и другое оказалось способным сделать ее столь же несчастной, сколь и счастливой. В своем смятении она не доверяла ему и страстно чувствовала, что в самом святом для нее он родной ей человек, который просто не хочет показать это.

Он прибавил:

— Ваш отец втайне, конечно, хочет, чтобы я пока что поухаживал за вами и навел вас на другие мысли.

— Это исключено! — с усилием воскликнула

Герда.

— Между нами это, пожалуй, исключено, — мягко повторил Ульрих. — Но и так, как было до сих пор, продолжаться не может. Я уже слишком далеко зашел.

Он попытался улыбнуться; он был себе в высшей степени противен. Он всего этого действительно не хотел. Он чувствовал нерешительность этой души и презирал себя за то, что она вызывала в нем жестокость.

И в ту же секунду Герда взглянула на него глазами, полными ужаса. Она стала вдруг прекрасна, как пламя, к которому ты подошел слишком близко; почти без формы, только тепло, которое парализует волю.

— Пришли бы когда-нибудь ко мне! — предложил он. — Здесь не поговоришь так, как хотелось бы.

Пустота мужской бесцеремонности светилась в его глазах.

— Нет, — отклонила Герда. Но она отвела взгляд, и — словно это движение ее глаз опять приподняло ее перед ним — Ульрих с грустью увидел перед собой не то чтобы красивую и не то чтобы некрасивую фигуру тяжело дышащей девушки. Он вздохнул глубоко и совершенно искренне.

104
Рахиль и Солиман на тропе войны

Среди высоких задач дома Туцци и обилия мыслей, там собиравшихся, функционировало юркое, подвижное, вдохновенное, не немецкое существо. И все-таки эта маленькая камеристка Рахиль была как моцартовская ария камеристки. Она отворяла входную дверь и стояла наготове, наполовину разведя руки, чтобы принять пальто. Ульриху часто при этом хотелось узнать, известна ли ей вообще его причастность к дому Туцци, и он неоднократно пытался заглянуть ей в глаза, но глаза Рахили либо уходили в сторону, либо выдерживали его взгляд как два непроницаемых бархатных лоскутка. Он вспоминал, что ее взгляд при первой их встрече был, кажется, другим, и несколько раз наблюдал, что в таких случаях из темного угла передней к Рахили устремлялись глаза, похожие на две большие белые раковины; то были глаза Солимана, но вопрос, уж не этот ли мальчик причина сдержанности Рахили, оставался открытым, ибо на его взгляд Рахиль тоже не отвечала и, доложив о госте, тихо удалялась

без промедления.

Правда была романтичнее, чем то могло подозревать любопытство. После того как упрямым наговорам Солимана удалось впутать сияющую фигуру Аргейма в темные махинации и от этой перемены детское восхищение Рахили Диотимой тоже уменьшилось, вся ее страстная тяга к хорошему поведению и услужливой любви сосредоточилась на Ульрихе. Поскольку она, убежденная Солиманом, что за событиями в этом доме надо следить, прилежно подслушивала у дверей и во время обслуживания посетителей, а также подслушала несколько разговоров между начальником отдела Туцци и его супругой, от нее не укрылась та позиция наполовину врага, наполовину любимого человека, которую занимал между Диотимой и Аргеймом Ульрих и которая целиком соответствовала ее собственному, колебавшемуся между бунтом и раскаянием чувству к ничего не подозревавшей госпоже. Теперь она отчетливо вспомнила также, что давно уже заметила, что Ульрих чего-то хотел от нее. Ей не приходило на ум, что она могла ему нравиться. Она, правда, постоянно надеялась — с тех пор, как была изгнана и хотела показать родным в Галиции, что все равно выбьется в люди, не боль-

шое везение, неожиданное наследство, открытие, что она — подкинутое дитя знатных родителей, случай спасти жизнь какому-нибудь князю, — но о простой возможности понравиться барину, бывающему у ее барыни, стать его любовницей или даже женой она и думать не думала. Поэтому она просто была готова оказать Ульриху какую-нибудь большую услугу. Это она и Солиман послали приглашение генералу, случайно узнав, что Ульрих с ним в дружбе; конечно, произошло это и потому, что дело надо было подтолкнуть, а на основании всей предшествующей истории генерал казался очень подходящим для этого лицом. Но поскольку Рахиль действовала в скрытом, таившем в себе что-то от домового согласии с Ульрихом, нельзя было избежать возникновения между нею и им, за чьими движениями она с любопытством следила, той захватывающей близости, когда все тайно подмечаемые движения его губ, глаз и пальцев делались актерами, к которым она привязывалась со страстью человека, видящего свое неприметное бытие вынесенным на большую сцену. И чем явственнее она замечала, что эта взаимность сжимает ей грудь не менее сильно, чем узкое платье, когда припадаешь к замочной скважине, тем более испорченной она

казалась себе, потому что не очень решительно сопротивлялась в то же время темным ухаживаньям Солимана; такова была та неведомая Ульриху причина, по которой она встречала его любопытство благоговейной страстью показать себя благовоспитанной, образцовой служанкой.

Ульрих тщетно задавался вопросом, почему это созданное природой для нежной игры существо так целомудренно, что впору было поверить в холодную строптивость, не столь уж редкую у изящных женщин. Он, однако, переменил свое мнение и был, может быть, немного даже разочарован, став однажды свидетелем неожиданной сцены. Арнгейм только что прибыл, Солиман притаился в передней, а Рахиль быстро, как всегда, удалилась, но Ульрих воспользовался вызванной появлением Арнгейма минутной суматохой, чтобы вернуться и взять носовой платок из кармана пальто. Свет был уже погашен, но Солиман был еще там и не заметил, что Ульрих, скрывшись в тени косяка, затворил открытую им дверь только для вида, чтобы показать, будто он снова покинул переднюю. Солиман осторожно поднялся и медленно вынул из-под своей куртки большой цветок. Это был большой белый ирис, и Солиман сперва рассмотрел его, а потом пошел

на цыпочках и миновал кухню. Ульрих, который ведь знал, где находилась комнатка Рахили, тихо последовал за ним и увидел дальнейшее. Соли-ман остановился у двери, прижал цветок к губам и прикрепил его к рукоятке, дважды поспешно обернув вокруг нее стебель и воткнув его конец в замочную скважину.

Трудно было незаметно вытащить по дороге этот цветок из букета и спрятать его для Рахили, и Рахиль знала цену таким знакам внимания. Оказаться уличенной и уволенной было бы для нее равнозначно смерти и Страшному суду; поэтому ее, наверно, тяготила необходимость быть из-за Солимана настороже на каждом шагу, и ей это не доставляло большого удовольствия, когда он вдруг из своего укрытия щипал ее за бедро, а она и вскрикнуть не смела; но на нее не могло не производить впечатление и то, что какое-то существо оказывало ей с риском для себя знаки внимания, самоотверженно выведывало каждый ее шаг и испытывало ее нрав в трудных ситуациях. Этот обезьяненок ускорял дело безумным и опасным, на ее взгляд, образом — так чувствовала Рахиль, и порой, вопреки всем ее принципам и среди всех сумбурных ожиданий, которыми была забита ее голова, у нее появлялось грешное желание

сначала — какие бы важные вещи ни случились когда-то потом — хорошенько воспользоваться толстыми, везде ждущими ее, созданными, чтобы служить ей, служанке, губами сына африканского князя.

Однажды Солиман задал ей вопрос, есть ли у нее смелость. Арнгейм проводил два дня в горах в обществе Диотимы и некоторых ее друзей и не взял его с собой. Кухарку отпустили на сутки, а начальник отдела Туцци столовался в ресторане. Рахиль рассказала Солиману о следах курения, обнаруженных ею у себя в комнате, и на вопрос Диотимы, что подумает об этом девочка, она и он единодушно ответили предположением, что на Соборе вертится нечто такое, что требует и от них какой-то усиленной деятельности. Когда Солиман спросил, есть ли у нее смелость, он сообщил ей, что хочет украсть у своего хозяина документы, доказывающие его, Солимана, высокое происхождение. Рахиль не верила в существование таких свидетельств, но все эти заманчивые осложнения вокруг вызвали у нее настоятельную потребность в том, чтобы что-то случилось. Они договорились, что она останется в белой наколке и фартучке, когда Солиман зайдет за ней и проводит в гостиницу, чтобы это

выглядело так, словно она послана хозяевами с каким-то поручением. Когда они вышли на улицу, за кружевным нагрудником фартучка сразу стало так дымно-жарко, что даже в глазах потемнело, но Солиман смело остановил такси; последнее время у него было много денег, потому что Арнгейм часто бывал очень рассеян. Рахиль тоже собралась с духом и на глазах у всех села в машину, словно ее поручение и обязанности в том и состояли, чтобы кататься с негритенком, Сверкая, пролетали мимо утренние улицы, полные изящных бездельников, которым эти улицы принадлежали по праву, Рахиль же опять волновалась так, словно совершала кражу. Она попыталась откинуться в машине так же покойно, как это делала при ней Диотима; но сверху и снизу, где она прикасалась к подушкам, в нее проникло беспорядочное, укачивающее движение. Такси было закрытое, и Солиман воспользовался тем, что она откинулась назад, чтобы прижаться широкими штемпельными подушками своего рта к ее губам; наверно, это было видно через окно, но машина летела вперед, и ощущение, напоминавшее слабое закипание какой-то ароматической жидкости, лилось из качающихся подушек сиденья в спину Рахили.

Арап не отказал себе в удовольствии подъехать к самой двери гостиницы. Дворники с черными шелковыми рукавами и в зеленых фартуках ухмылялись, когда Рахиль вышла из машины, портье глазел через стеклянную дверь, пока Солиман платил, и Рахиль думала, что тротуар провалится под ее ногами. Но потом ей все-таки показалось, что Солиман пользуется в гостинице большим влиянием, потому что никто не задержал их, когда они шагали через огромный холл с колоннами. В холле сидели порознь какие-то мужчины, следовавшие за Рахилью взглядами из глубоких кресел; она опять очень застыдилась, но потом поднялась по лестнице и увидела множество горничных, тоже, как она, в черном, с белыми наколками, только одетых немного менее изящно, и тут она почувствовала себя совершенно так же, как исследователь, блуждающий по неизвестному, быть может, опасному острову и впервые набредший на людей.

Потом Рахиль впервые в жизни увидела апартаменты фешенебельного отеля. Первым делом Солиман запер все двери; затем он почувствовал себя обязанным еще раз поцеловать свою подругу. В поцелуях, которыми последнее время обменивались Рахиль и Солиман, было что-то от

жара детских поцелуев; они скорее успокаивали, чем опасно ослабляли, да и теперь, когда они впервые остались вдвоем в запертой комнате, Солиман не нашел ничего более неотложного, чем изолировать эту комнату еще романтичнее. Он опустил ставни и закупорил выходившие в коридор замочные скважины. Рахиль тоже была слишком взволнована этими приготовлениями, чтобы думать о чем-либо, кроме как о своей храбрости и позоре возможного раскрытия их тайны.

Затем Солиман повел ее к аргеймовским шкафам и чемоданам, и все они были отперты, кроме одного. Ясно было, значит, что тайна могла храниться лишь в нем. Негр вынул ключи из отпертых чемоданов и испробовал их. Ни один не подошел. При этом Солиман трещал без умолку; весь его запас верблюдов, принцев, таинственных курьеров и ложных доносов на Аргейма изливался потоком. Он попросил у Рахили шпильку и попытался сделать из нее отмычку. Когда это не удалось, он вытащил все ключи из шкафов и комодов, разложил их, став на колени, перед собой и, умолкнув, задумался, чтобы найти какое-нибудь новое решение.

— Видишь, как он от меня прячется! — сказал он Рахили, потирая лоб. — Но ведь сперва я могу

показать тебе все другое.

И он стал просто разбрасывать обескураживающие богатства арнгеймовских чемоданов и шкафов перед Рахилью, которая сидела скорчившись на полу и, зажав руки коленями, с любопытством глядела на это добро. Интимный гардероб избалованного тончайшими наслаждениями мужчины был чем-то, чего она еще не видела. Ее барин был, конечно, неплохо одет, но у него не было ни денег на хитрейшие выдумки портных и белошвеек, создателей домашней и дорожной роскоши, ни потребности в таком шике, и даже у ее хозяйки не было ничего похожего на такие изысканные, женственно-нежные и неведомо для чего нужные вещи, как у этого безмерно богатого человека. В Рахили вновь пробудилось что-то от ее прежнего боязливого почтения к набобу, а Солиман, кичась огромным впечатлением, которое он произвел на нее добром своего хозяина, выставлял все напоказ, демонстрировал, как пользоваться всеми приспособлениями, и усердно объяснял все секреты. Рахиль стала уставать, как вдруг ее поразило одно странное наблюдение. Она отчетливо вспомнила, что с некоторых пор среди белья и мелких домашних вещей Диотимы стали попадаться похожие вещи.

Они не были так многочисленны и драгоценны, как эти здесь, но, если сравнить их с прежней монастырской простотой, то сегодняшнему зрелищу были они безусловно роднее, чем строгому прошлому. В этот миг Рахилью овладело постыдное предположение, что связь между ее госпожой и Арнгеймом может быть менее духовной, чем она думала.

Она покраснела до корней волос.

Ее мысли не затрагивали этой области, с тех пор как она служила у Диотимы. Великолепие тела ее госпожи глаза ее глотали как порошок вместе с оберткой, без какой бы то ни было связи с мыслями о применении этого великолепия. Ее удовлетворенность жизнью среди высших существ была так велика, что все это время мужчина существовал для столь легко совратимой Рахили вообще не как реальное существо другого пола, а был лишь в романтическом и романном смысле чем-то другим. Благодаря этому возвышенному строю мыслей в ней появилось больше детского, она как бы вернулась к предшествующей половой зрелости поре, когда так самозабвенно восхищаешься чужим величием, и только этим и можно было объяснить, что россказни Солимана, над которыми презрительно

посмеялась бы какая-нибудь кухарка, встречали у нее податливость и опьяненную слабость. Но теперь, когда Рахиль сидела на полу и как бы воочию видела перед собой мысль о преступной связи между Аргеймом и Диотимой, в ней произошел давно уже намечавшийся переворот — пробуждение от неестественного душевного состояния к недоверчивому плотскому состоянию мира.

Она сразу сделалась совершенно неромантичной, немного сердитой, стала решительным телом, которое полагало, что и служанка может когда-нибудь взять свое, Солиман сидел рядом на корточках перед своим развалом, он собрал все, чем она особенно восхитилась, и пытался в виде подарка набить ей карман фартука тем, что туда. вошло бы. Вдруг он вскочил и принялся снова быстро обрабатывать запертый чемодан перочинным ножом. В раже он объявил, что до возвращения Аргейма получит по его чековой книжке большую сумму, чтобы бежать с Рахилью, — в денежных делах этот маленький безумец разбирался отнюдь не по-детски, но сначала он должен добыть свои документы.

Рахиль поднялась с колен, решительно освободила свои карманы от всех набитых туда

подарков и сказала:

— Не болтай! У меня нет больше времени; который час?

Голос ее сделался более низким. Она пригладила фартук и поправила наколку; Солиман сразу почувствовал, что она не будет больше играть в его игру и стала вдруг старше, чем он. Но прежде, чем он успел возразить, Рахиль поцеловала его на прощанье. Губы ее не дрожали, как обычно, а вдавились в сочный плод его лица, причем голову меньшего ростом Солимана она запрокинула и держала так долго, что он чуть не задохнулся. Солиман стал вырываться, и, когда она отпустила его, у него было такое ощущение, словно более сильный мальчик окунул его с головой в воду, и в первое мгновение ему хотелось лишь отомстить за это неприятное насилие. Но Рахиль выскользнула за дверь, и взгляд, который только и догнал ее, был, правда, сначала злобен, как стрела с огненным наконечником, но потом, догорев, стал мягким пеплом, и Солиман начал поднимать с пола вещи своего господина, чтобы убрать все на место, и превратился в молодого человека, который хочет добиться чего-то, что вполне достижимо.

105
Возвышенной любви не до шуток

После экскурсии в горы Арнгейм находился в отъезде дольше обычного. Странно употребление слов «в отъезде», невольно вошедших и в его собственный обиход, поскольку правильно было бы сказать: «дома». По многим такого рода причинам Арнгейм чувствовал, что крайне необходимо прийти к какому-то решению. Его преследовали неприятные сны наяву, строгой его голове дотоле неведомые. Особенно упорным был один; он видел себя и Диотиму, одно мгновение они стояли на высокой церковной башне, и под ними зеленела земля, а потом прыгали вниз. Проникнуть вечером без всякой рыцарственности в спальню супругов Туцци и застрелить начальника отдела было явно то же самое. Он мог бы уложить его и на дуэли, но это представлялось Арнгейму менее естественным; эта фантазия была отягощена уже слишком многими атрибутами действительности, а чем больше Арнгейм приближался к действительности, тем неприятнее росли препятствия. В конце концов можно было и, так сказать,

свободно и открыто попросить у Туцци руки его супруги. Но что сказал бы по этому поводу тот? Это уже значило бы оказаться в ситуации, чреватой возможностями выставить себя на посмешище. И даже в том случае, если бы Туцци повел себя гуманно и скандал свелся бы к минимуму, более того, если предположить, что никакого скандала вообще не было бы, поскольку и в высшем обществе начали тогда мириться с разводами, — то все-таки никуда нельзя было уйти от того факта, что старый холостяк ставит себя поздним браком в немного смешное положение, такое же примерно, как супруги, у которых к серебряной свадьбе вдруг родится ребенок. И уж если бы Арнгейм пошел на такое, то ответственность перед делом потребовала бы, чтобы женился он хотя бы на богатой американской вдове или на приближенной ко двору аристократке, а не на разведенной жене чиновника-буржуа. Для него любое действие, даже в области чувственного, было преисполнено ответственности. В эпоху, когда на свете так мало ответственности за то, что ты делаешь или думаешь, как в нашу, такие возражения выдвигало отнюдь не только его личное честолюбие, но и прямо-таки сверхличная потребность приводить выросшую в руках

Аргеймов власть (этот организм, возникший сперва из тяги к деньгам, но потом давно вышедший у нее из подчинения, имевший свой собственный разум, свою собственную волю, вынужденный увеличиваться, укрепляться, способный заболевать, ржавевший, когда давал себе роздых!) в согласие с бытующими властями и иерархиями, чего он и от Диотимы, насколько ему было известно, никогда не скрывал. Конечно, человек, который носил фамилию Аргейм, мог позволить себе жениться хоть на простушке, пасущей коз; но позволить себе это он мог только в личном плане, а в остальном это оставалось все же изменой делу ради личной слабости.

Тем не менее он действительно предложил Диотиме жениться на ней. Он сделал это хотя бы уже потому, что хотел предотвратить неизбежные при супружеской неверности ситуации, с добросовестной жизнью по большому счету несовместимые. Диотима благодарно пожала ему руку и с улыбкой, напоминавшей лучшие образцы из истории искусства, ответила на его предложение: «Тех, кого мы обнимаем, мы никогда не любим самой глубокой любовью!..» После этого ответа, многозначительного, как манящая желтизна в лоне строгой лилии, Аргейм не ре-

шался вернуться к своей просьбе. Но на ее месте возникли беседы общего характера, где слова «развод», «женитьба», «неверность» и подобные проявляли примечательную склонность фигурировать. Так, например, Арнгейм и Диотима не раз вели глубокую беседу об освещении супружеской неверности в современной литературе, и Диотима находила, что проблема эта освещается совершенно без понимания великого смысла порядочности, самоотречения, героического аскетизма, чисто сенсуалистски, что, к сожалению, в точности совпадало с мнением на этот счет Арнгейма, отчего ему оставалось только добавить, что понимание глубокой нравственной тайны личности ныне почти повсюду утрачено. Тайна эта состоит в том, что не все можно позволить себе. Эпоха, когда все дозволено, каждый раз делала несчастными тех, кто в эту эпоху жил. Порядочность, воздержность, рыцарственность, музыка, обычай, стихи, форма, запрет — у всего этого нет более глубокой цели, чем придать жизни ограниченный и определенный облик. Нет безграничного счастья. Нет великого счастья без великих запретов. Даже в делах нельзя гнаться за каждой выгодой, а то ничего не достигнешь. Граница есть тайна явления, тайна силы, счастья,

веры и задачи утвердиться во вселенной, будучи крошечным человеком.

Так излагал это Арнгейм, и Диотима могла лишь соглашаться с ним. Огорчительным в известном смысле следствием таких взглядов было то, что понятие законности приобретало из-за них такую значительность, какою оно уже для обыкновенных смертных существ обычно не обладает. У великих душ есть, однако, потребность в законности. В возвышенные часы чувствуешь вертикальную строгость космоса. И купец, хотя он владеет миром, чтит королевскую власть, дворянство и духовенство как носителей иррационального. Ибо законное просто, как просто все великое, и не нуждается в смышлености. Гомер был прост. Христос был прост. Великие умы снова и снова возвращаются к простым правилам, надо даже иметь мужество сказать — к нравственным банальностям, и в общем поэтому никому так не трудно действовать наперекор традициям, как душам воистину свободным. Такие взгляды, сколь они ни верны, не благоприятствуют намерению вторгнуться в чужой брак. Поэтому они находились в положении людей, которых связывает великолепный мост с дырой посредине, всего, правда, в несколько метров, но вполне достаточ-

ной, чтобы помешать им сойтись друг с другом. Искренне огорчаясь, что у него нет искры того вожделения, которое во всех вещах одинаково и вовлекает человека в безрассудное дело в точности так же, как в безрассудную любовь, Арнгейм начал в этой огорченности подробно говорить о вожделении. Вожделение, по его словам, — это как раз то чувство, которое соответствует культуре ума в нашу эпоху. Ни одно другое чувство не направлено так однозначно на свою цель, как это. Оно застревает, как воткнувшаяся стрела, а не уносится, как стая птиц, во все новые дали. Оно обедняет душу, как обедняют ее расчеты, механика, грубость. Так неодобрительно говорил Арнгейм о вожделении, чувствуя в то же время, что оно шумит, как ослепленный раб в подвале.

Диотима попыталась поступить иначе. Она сделала протестующее движение рукой и попросила своего друга:

— Давайте помолчим! Слово — это великая сила, но есть нечто более великое! Истинную правду, стоящую между двумя людьми, нельзя высказать. Как только мы начинаем говорить, дверь затворяется; слово служит лучше неподлинному общению, говорят в те часы, когда не живут.

Аргейм с ней согласился.

— Вы правы, самоуверенное слово придает невидимым движениям нашей души произвольную и бедную форму!

— Не надо говорить! — повторила Диотима и положила ладонь на его запястье. — У меня такое чувство, что мы дарим друг другу миг жизни тем, что молчим. — Через несколько мгновений она убрала свою руку и вздохнула: — Есть минуты, когда все скрытые драгоценные камни души лежат на виду!

— Наступит, может быть, время, — дополнил Аргейм, — и есть много признаков того, что оно уже близко, — когда души будут видеть друг друга без посредничества чувств. Души соединяются, когда разлучаются губы!

Губы Диотимы надулись, образовав подобие искривленного хоботка, погружаемого в цветок бабочкой. Она была в тяжелом духовном опьянении. Легкая бредовость ассоциаций свойственна ведь, наверно, любви, как всем недюжинным состояниям; везде, куда падали слова, загорался многозначительный смысл, приближался как закутанный бог и растворялся в молчании. Диотима знала этот феномен по возвышенным часам одиночества, но еще никогда до сих пор он

вот так не доходил до самого предела терпимого духовного счастья; в ней была анархия избытка, легкая, как на коньках, подвижность божественного, и ей несколько раз казалось, что она вот-вот упадет в обморок.

Арнгейм подхватывал ее громкими фразами. Он давал отсрочки и передышки. Затем натянутая сеть значительных мыслей снова качалась под ними.

Мукой в этом распростертом счастье было то, что оно не допускало сосредоточенности. Из него снова и снова исходили и ширились кругами дрожащие волны, но они не прижимались друг к другу, не сливались в ток действия. Тем не менее Диотима дошла уже до того, что по крайней мере про себя усматривала порой тонкость и благородство в том, чтобы предпочесть опасность супружеской измены глубокой катастрофе разбитых жизней, и Арнгейм давно пришел к нравственному решению не принимать этой жертвы и жениться на Диотиме; они могли, стало быть, так или иначе получить друг друга в любую секунду, это они знали, но они не знали, чего им следовало хотеть, ибо счастье возносило их созданные для него души на такую торжественную высоту, что они испытывали там страх перед

некрасивыми движениями, вполне естественный для тех, у кого под ногами — облако.

Ум их впивал, таким образом, ничего не пропуская, все то великое и прекрасное, что разливала перед ними жизнь, но от высочайшей сублимации оно несло странный урон. Желания и суетные заботы, наполнявшие обычно их бытие, лежали где-то далеко внизу, как игрушечные домики и дворики на дне долины, вместе с их кудахтаньем, лаем и всеми волнениями проглоченные тишиной. Оставались молчание, пустота и глубина.

«Может быть, мы избранные существа»? — думала Диотима, озираясь на этой высочайшей высоте чувства и догадываясь о чем-то мучительном и таком, что нельзя представить себе. Более низкие степени подобных ощущений были знакомы ей не только по собственному опыту, о них умел говорить и такой ненадежный человек, как ее кузен, и в последнее время о них много писали. Но если рассказы не врали, то через каждую тысячу лет бывали эпохи, когда душа ближе к пробуждению, чем обычно, когда она, словно бы родясь для реальности через посредство отдельных лиц, подвергает их испытаниям совершенно отличным от того, о чем можно прочесть и поговорить. В связи с этим ей даже вдруг

снова вспомнилось таинственное появление генерала, которого не приглашали. И она очень тихо сказала своему искавшему новых слов другу, меж тем как волнение выводило между ними дрожащий свод:

— Разум — не единственное средство общения между двумя людьми!

И Аргейм ответил:

— Да. — Его взгляд проник в ее глаза по горизонтали, как луч заката. — Вы это уже сказали раньше. Истинную правду между двумя людьми нельзя высказать; любое усилие становится для нее помехой!

106
Верит ли современный человек в бога или в главу мирового концерна? Нерешительность Аргейма

Аргейм один. Он задумчиво стоит у окна своего апартамента в отеле и глядит на оголившиеся верхушки деревьев, на ветки, сплетающиеся в решетку, под которой пестрая и темная людская масса движется двумя трущимися друг о друга змеями начавшегося в этот час корсо. Недоволь-

ная улыбка разомкнула губы великого человека.

До сих пор для него никогда еще не составляло трудности обозначить то, что он считал бездушным. Что нынче не бездушно? Отдельные исключения можно было легко признать таковыми. Далеко в памяти Арнгейм слышал звуки одного вечера камерной музыки; в бранденбургском замке у него собрались друзья, благоухали прусские липы, друзья были молодые музыканты, им приходилось довольно туго, однако, играя, они внесли в этот вечер все свое вдохновение; в этом была душа. Или другой случай. Недавно он отказался продолжать выплату пособия, которое некоторое время выбрасывал на некоего художника. Он ожидал, что этот художник обидится на него, почувствует себя брошенным на произвол судьбы, ничего не добившимся; надо было сказать ему, что есть и другие художники, нуждающиеся в поддержке, и тому подобные неприятные вещи, но вышло иначе. Встретившись с Арнгеймом во время его последней поездки, этот художник только твердо взглянул ему в глаза, схватил его руку и заявил: «Вы поставили меня в трудное положение, но я убежден, что такой человек, как вы, ничего не делает без глубокой на то причины!» В этом чувствовалась душа настоящего

мужчины, и Арнгейм был не прочь в другой раз сделать опять что-нибудь для него.

Таким образом, во многих отдельных случаях душа налицо даже сегодня; это всегда казалось Арнгейму важным. Но когда приходится вступать с ней в прямой и безоговорочный контакт, она представляет собой серьезную опасность для искренности. Неужели действительно наступило время, когда души соприкасаются без посредничества чувств? Была ли какая-то цель, столь же важная и значительная, как реальные цели, в том, чтобы общаться друг с другом так, как к тому вынуждало его и его дивную подругу их внутреннее стремление? Трезвым сознанием он ни секунды в это не верил, и все же ему было ясно, что он способствовал тому, чтобы Диотима верила в это.

Арнгейм находился в своеобразном разладе с самим собой. Нравственное богатство состоит в близком родстве с материальным; это было ему хорошо известно, и легко понять, почему так оно и есть. Ведь мораль заменяет душу логикой; если душа обладает моралью, то для нее нет, в сущности, больше моральных вопросов, а есть только логические; она спрашивает себя, подпадает ли то, что она хочет сделать, под ту

или иную заповедь, надо ли толковать ее намерения так или этак и тому подобное, а это все равно что превратить буйную ватагу в группу дисциплинированных гимнастов, которые по команде наклоняются вправо, выбрасывают руки в стороны и делают низкие приседания. Но логика предполагает повторяемость того, с чем мы сталкиваемся; ясно, что если бы события менялись как в вихре, где ничто не возвращается, мы никогда не смогли бы сформулировать глубокое открытие, что А равно А или что больше не есть меньше, нет, мы просто мечтали бы, а это состояние любому мыслителю отвратительно. Так вот, то же самое относится к морали, и не будь ничего, что можно было бы повторить, нам и предписать ничего нельзя было бы, а без возможности предписать людям что-либо мораль не доставляла бы ни малейшего удовольствия. А деньгам это свойство повторяемости, присущее морали и разуму, присуще в самой высокой мере; они прямо-таки состоят из этого свойства и раскладывают, покуда обладают стабильной ценностью, все наслаждения мира на те кирпичики покупательной способности, из которых можно сложить что угодно. Поэтому деньги нравственны и разумны; а поскольку, как известно, не у

каждого нравственного и разумного человека есть, наоборот, и деньги, то можно заключить, что свойства эти изначально заложены в деньгах или хотя бы что деньги увенчивают нравственную и разумную жизнь.

Разумеется, в точности так Арнгейм не думал, не считал, скажем, что образование и религия суть естественной следствие собственности, а полагал, что собственность обязывает обладать ими; но он любил подчеркнуть, что духовные силы не всегда достаточно смыслят в деятельных силах бытия и редко бывают совсем не оторваны от жизни, и он, человек с широким кругозором, приходил и не к таким еще заключениям. Ведь всякое взвешивание, учитывание, измерение предполагают также, что измеряемый предмет в ходе их не меняется; а когда это все-таки происходит, все остроумие надо употребить на то, чтобы даже в изменении найти нечто неизменное, и, таким образом, деньги сродни всем духовным силам, и по их образцу ученые разлагают мир на атомы, законы, гипотезы и чудесные математические знаки, а техники выстраивают из этих фикций мир новых вещей. Это было хозяину гигантской промышленности, прекрасно осведомленному о природе служивших ему сил,

так же хорошо известно, как известны среднему немецкому читателю романов нравственные представления Библии.

Эта потребность в однозначности, повторяемости и твердости, являющаяся предпосылкой успеха в мышлении и планировании, — так продолжал думать, глядя вниз, на улицу, Арнгейм, — удовлетворяется в области духовной всегда какой-то формой насилия. Кто хочет строить свои отношения с человеком на камне, а не на песке, должен пользоваться только низкими свойствами и страстями, ибо только то, что теснейше связано с эгоизмом, устойчиво и может быть принято в расчет; высшие стремления ненадежны, противоречивы и мимолетны, как ветер. Человек, знавший, что империями раньше или позже придется управлять так же, как фабриками, на мельтешение мундиров, на мельтешение внизу гордых и, как гниды, крошечных лиц смотрел с улыбкой, в которой смешивались превосходство и грусть. Не подлежало никакому сомнению: вернись сегодня бог, чтобы установить среди нас Тысячелетнее Царство, ни один практичный и опытный человек не оказал бы доверия этому предприятию, пока Страшный суд не был бы дополнен аппаратом, обеспечивающим

исполнение приговора, прочными тюрьмами, полицией, жандармерией, армией, статьями уголовного кодекса о государственной измене, правительственными учреждениями и всем, что еще нужно, чтобы свести не поддающиеся учету возможности души к тем двум основным фактам, что только запугиванием и закручиванием гаек или потачкой вожделению будущего небожителя, словом, только «строгими мерами» можно от него с уверенностью добиться всего, что требуется.

Но тогда выступил бы вперед Пауль Аргейм и сказал господу: «Господи, зачем?! Эгоизм — самое надежное свойство человеческой жизни. С его помощью политик, солдат и король упорядочили твой мир хитростью и принуждением. Такова мелодия человечества; ты и я должны это признать. Отменить принуждение значило бы ослабить порядок; сделать человека, хотя он и незаконнорожденный, способным на великие дела, — только в этом наша задача!» При этом Аргейм скромно улыбнулся бы господу, в спокойной позе, чтобы не забывали, сколь важным остается для каждого смиренно признавать великие тайны. А потом он продолжал бы свою речь: «Но разве деньги — это не такой

же надежный способ устройства человеческих отношений, как насилие, разве не позволяют они нам отказаться от его наивного применения? Это одухотворенное насилие, особая, гибкая, высокоразвитая и творческая форма насилия. Разве коммерция не зиждется на хитрости и принуждении, на сверхприбыли и эксплуатации, только они цивилизованы, перенесены целиком внутрь человека, даже, можно сказать, облачены в облик его свободы? Капитализм как организация эгоизма соответственно иерархии сил, доставляющих деньги, — это, можно сказать, величайший и притом гуманнейший порядок, который мы смогли установить во славу твою; более точной меры человеческая деятельность в себе не несет!» И Арнгейм посоветовал бы господу построить Тысячелетнее Царство по коммерческим принципам и поручить управление им крупному коммерсанту, разумеется, с широким философским кругозором. Ведь, в конце концов, чистой религиозности всегда приходилось страдать, и даже ей коммерческое руководство сулило бы, несомненно, большие преимущества по сравнению с ее ненадежным существованием в воинские эпохи.

Так сказал бы Арнгейм, ибо подспудный голос

ясно говорил ему, что от денег так же нельзя отказываться, как от разума и морали. Другой, такой же подспудный голос говорил ему, однако, столь же ясно, что от разума, морали и всего рационализованного существования следует отказаться ничтоже сумняся. И как раз в те головокружительные мгновения, когда у него не было другой потребности, кроме как упасть блуждающим спутником в солнечную громаду Диотимы, этот голос бывал, пожалуй, мощнее. Тогда рост мыслей казался ему таким же чуждым и неорганичным, как рост ногтей и волос. Нравственная жизнь представлялась ему тогда чем-то мертвым, и скрытое отвращение к нравственности и порядку заставляло его краснеть. С Арнгеймом было то же, что со всей его эпохой. Она поклоняется деньгам, порядку, знанию, учету, измерению и взвешиванию, то есть, в общем, духу денег и их родни, и одновременно ропщет на это. Стуча молотком и считая в свои рабочие часы, а вне их ведя себя как орава детей, которую власть имеющего, в сущности, горький привкус вопроса «А что бы нам сделать теперь?» гонит от одной крайности к другой, эпоха эта не может освободиться от внутреннего побуждения начать все заново. К нему она применяет принцип разделения труда,

держа для такого внутреннего ропота и таких смутных предчувствий особых интеллигентов, исповедующихся от имени своего времени и выслушивающих его исповеди, специалистов по индульгенциям, литературных проповедников и провозвестников, знать о наличии которых очень важно, если ты лично не в том положении, чтобы за ними следовать; и такую же примерно разновидность нравственного выкупа представляют собой фразы и денежные средства, которые государство ежегодно всаживает в культурные начинания, не имеющие под собой никакой почвы.

Это разделение труда было и в самом Арнгейме. Сидя в своем директорском кабинете и проверяя расчеты сбыта, он постыдился бы думать иначе, чем на коммерческий и технический лад; но как только деньги фирмы перестали бы стоять на карте, он постыдился бы не думать прямо противоположным образом и не требовать, чтобы человек был способен возвыситься иначе, чем ложным путем регулярности во всем, выполнения предписаний, норм и тому подобного, результаты чего совершенно неорганичны и, в конечном счете, несущественны. Нет сомнения, что этот другой путь называют религией; он пи-

сал книги об этом. В своих книгах он называл это также мифом, возвратом к простоте, царством души, одухотворением экономики, сущностью действия и так далее, ибо это занимало много страниц; точнее говоря, занимало это ровно столько страниц, сколько он находил в себе, когда самоотверженно занимался собой, как то надлежит человеку, видящему перед собой большие задачи. Но такова была, видно, его судьба, что в час решения это разделение труда разваливалось. В момент, когда он хотел броситься в пламя своего чувства, когда испытывал потребность быть таким же великим и цельным, как герои древности, таким беззаботным, каким способен быть лишь истинный аристократ, таким без остатка религиозным, как того требует глубоко постигнутая сущность любви, в момент, стало быть, когда он хотел, не думая о своих брюках и о своем будущем, упасть к ногам Диотимы, некий голос его останавливал. То был не вовремя проснувшийся голос разума или, как он с досадой говорил себе, голос мелочной расчетливости, повсюду ныне противящийся жизни с размахом, тайне чувства. Он ненавидел этот голос и одновременно знал, что тот не был неправ. Ведь даже если предположить, что медовый месяц был

бы возможен, какая форма жизни с Диотимой образовалась бы потом, по истечении медового месяца? Он вернулся бы к своим делам и сообща с ней решал бы остальные житейские проблемы. Год проходил бы в чередовании финансовых операций с отдыхом на лоне природы — в животной и растительной части собственного бытия. Вероятно, было бы возможно великое, воистину гуманное сочетание деятельности и покоя, человеческих нужд и красоты. Это было очень хорошо, да это, наверно, и маячило перед ним как цель, и, по мнению Аргейма, тот не обладал силой для крупных финансовых операций, кто не знал полного отключения и отрешения, не знал, что значит лежать, так сказать, без всяких желаний в одном набедреннике вдали от мира; но в Аргейме бушевало какое-то дикое, немое удовлетворение, ибо все это противоречило тому начальному и конечному чувству, которое вызывала в нем Диотима. Каждый день, когда он снова видел ее, эту античную статую с округлостями скорее в современном вкусе, он попадал в замешательство, чувствовал исчезновение сил, неспособность поместить в своем внутреннем мире это уравновешенное, покойное, гармонически движущееся по собственным кругам

существо. Это было совсем не высокогуманное или хотя бы просто гуманное чувство. Вся пустота вечности была в этом состоянии. Он вперялся в красоту любимой взглядом, который, казалось, искал ее уже тысячу лот, а теперь, встретив ее, вдруг лишился дела, что приводило к бессилию, явно носившему черты остолбенения, чуть ли не идиотической изумленности. Чувство уже не давало ответа на этот избыток требовательности, сравнить который можно было разве что с желанием, чтобы тобой вместе с любимой выстрелили из пушки в космос!

Диотима с ее тактом нашла и для этого верные слова. Однажды в такое мгновение она напомнила о том, что уже великий Достоевский установил связь между любовью, идиотизмом и внутренней святостью, но тем не менее нынешние люди, за которыми нет его благочестивой России, нуждаются, видимо, в каком-то особом предварительном освобождении, чтобы осуществить эту мысль.

Эти слова были Арнгейму по душе.

Мгновение, когда она их сказала, было одним из тех полных сверхсубъективности и вместе сверхобъективности мгновений, что, как закупоренная труба, из которой нельзя выдуть ни

звука, гонят кровь в голову; ничего не было в нем незначащего, от самой маленькой чашки на полке, по-вангоговски утверждавшей себя в комнате, до человеческих тел, которые, набухнув невыразимым и заострившись, казалось, вдавились в ее пространство.

Диотима испуганно сказала:

— Больше всего мне хотелось бы сейчас пошутить; юмор прекрасен, он парит надо всем, не зная никаких вожделений!

Арнгейм улыбнулся в ответ. Он встал и задвигался по комнате. «Если бы я стал разрывать ее на куски, если бы стал рычать и плясать, если бы запустил руку себе в глотку, чтобы поймать для нее в груди свое сердце, — может быть, тогда случилось бы чудо?» — спрашивал он себя. Но по мере того как остывал, переставал спрашивать.

Эта сцена живо возникла перед ним снова. Взгляд его еще раз холодно задержался на улице у его ног. «Надо и правда произойти чуду освобождения, сказал он себе, — надо, чтобы землю населили другие люди, прежде чем можно будет думать об осуществлении таких вещей». Он не дал себе труда угадать, как и от чего надо освободиться; во всяком случае все должно было стать другим. Он вернулся к письменному сто-

лу, покинутому им полчаса назад, к письмам и телеграммам, и позвонил Солиману, чтобы тот вызвал секретаря. И пока он его ждал и мысленно уже округлял первые фразы диктанта на экономическую тему, пережитое выкристаллизовалось в нем в прекрасную и многозначительную нравственную форму. «Человек, сознающий свою ответственность, — сказал себе Аргейм убежденно, — даже если он и дарит свою душу, волен жертвовать только процентами, но никак не капиталом!»

107
Граф Лейнсдорф добивается неожиданного политического успеха

Когда его сиятельство говорил о европейской семье государств, которая должна, ликуя, сплотиться вокруг старого императора-патриарха, он всегда про себя исключал Пруссию. Теперь это делалось, может быть, даже еще проникновеннее, чем прежде, ибо граф Лейнсдорф чувствовал, что ему определенно мешает впечатление, производимое доктором Паулем Аргеймом; приходя к своей приятельнице Диотиме, он неизменно заставал там либо этого человека, либо его следы

и точно так же, как начальник отдела Туцци, не знал, как ему к этому относиться. Диотима — чего раньше никогда не случалось — замечала теперь каждый раз, когда выразительно смотрела на него, набухшие жилы на руках и на шее его сиятельства и светло-табачную, издававшую стариковский запах кожу, и хотя у нее не было недостатка в почтительности к этому вельможе, в лучах ее благоволения что-то все-таки изменилось, как меняется летнее солнце на зимнее солнце. Граф Лейнсдорф не имел склонности ни к фантазиям, ни к музыке, но с тех пор, как ему приходилось терпеть доктора Арнгейма, до странного часто случалось так, что в ушах у него стоял легкий звон как бы от литавр и тарелок австрийского военного марша, а когда он закрывал глаза, в их темноте его беспокоило бурленье, которое шло от двигавшихся там скопищами черно-желтых знамен. И такие патриотические видения одолевали, кажется, и других друзей дома Туцци. По крайней мере все, кого он слушал, хоть и говорили о Германии с величайшим уважением, но как только он давал понять, что в ходе событий великая патриотическая акция может, чего доброго, и кольнуть братскую империю, это уважение украшалось сердечной улыбкой.

Его сиятельство столкнулся тут на своем поприще с одним важным феноменом. Есть определенные семейные чувства, которые особенно горячи, и к ним принадлежала повсюду распространенная перед войной в европейской семье государств неприязнь к Германии. Германия была, может быть, духовно наименее единой страной, где каждый мог что-то найти для своей неприязни; это была страна, старая культура которой раньше всех попала под колеса нового времени и оказалась разрезана на пышные слова для мишурных и коммерческих надобностей; она была, кроме того, задириста, хищна, хвастлива и опасно непокладиста, как всякая взволнованная толпа; но все это было в общем-то лишь европейским и могло показаться европейцам разве что немного чересчур европейским. Есть просто, видимо, такие существа, такие образы нежелательного, на которых оседает всякое отвращение, всякая дисгармония, словно шлак от неполного сгорания, оставляемый ныне жизнью. Из «может быть», к несказанному удивлению всех заинтересованных участников, вдруг возникает «есть», и все, что ври этом крайне беспорядочном процессе отпадает, не подходит, становится лишним и не удовлетворяет ум, — все это, кажется, образует

ту носящуюся в воздухе, вибрирующую между всеми тварями ненависть, которая так характерна для современной цивилизации и заменяет пропавшую удовлетворенность собственными действиями легко достижимым недовольством действиями других. Попытка сосредоточить это недовольство на особых существах есть лишь некая часть старейшего психотехнического инвентаря жизни. Так колдун извлекал тщательно приготовленный фетиш из тела больного, и так добрый христианин сваливает свои ошибки на доброго еврея, утверждая, что тот склонил его к рекламе, процентам, газетам и тому подобным вещам; в ходе времен ответственность возлагали на гром, на ведьм, на социалистов, на интеллигентов и генералов, а в последнее перед войной время по причинам, в свете самого принципа совершенно неважным, одним из великолепнейших и популярнейших средств в этом удивительном процессе была и пруссаческая Германия. Мир ведь лишился не только бога, но и черта тоже. Так же, как он переносит зло в образы нежелательного, мир переносит добро в образы желательного, которые он чтит за то, что они выполняют все, чего тебе, по-твоему, никак не выполнить самолично. Предоставляешь напря-

гаться другим, а сам спокойно смотришь со своего сидячего места — это спорт; позволяешь другим впадать в самые односторонние преувеличения — это идеализм; стряхиваешь с себя зло, а те, кого им забрызгаешь, — это образы нежелательного. Так все находит в мире свое место и свой порядок; но эта основанная на самоотчуждении техника почитания святых и откармливания козлов отпущения небезопасна, ибо она наполняет мир напряжением всех несостоявшихся внутренних битв. Сражаясь или братаясь, ты не знаешь толком, делаешь ли это вполне серьезно, потому что ведь часть тебя — вне тебя, и кажется, что все события совершаются наполовину перед реальностью или наполовину позади ее, как показное отображение ненависти и любви. Старая вера в демонов, возлагавшая ответственность за все добро и зло, которое ты ощущал, на духов неба и преисподней, работала куда лучше, точнее и чище, а можно только надеяться, что с дальнейшим развитием психотехники мы опять к ней вернемся.

Для того чтобы оперировать образами желательного и нежелательного, Какания была особенно подходящей страной; жизнь там и так отличалась какой-то нереальностью, и как раз

самым аристократическим в духовном плане каканцам, чувствовавшим себя наследниками и носителями знаменитой, ведущей от Бетховена к опереттe каканской культуры, казалось вполне естественным быть в союзе и братстве с германскими немцами и их не выносить. Считали нелишним малость одернуть их и, думая об их успехах, всегда немного беспокоились о состоянии отечественных дел. А состояли эти отечественные дела главным образом в том, что Какания, государство, которое вначале было не хуже других и лучше многих, с веками порастеряло интерес к себе самому. В ходе параллельной акции можно было уже несколько раз заметить, что мировая история делается так же, как другие истории; то есть авторам редко приходит в голову что-нибудь новое, и, когда дело идет об интриге и об идеях, они списывают друг у друга вовсю. Но сюда входит и еще что-то, о чем до сих пор не упоминалось, а это не что иное, как радость от истории; сюда входит та столь частая у авторов убежденность, что их история хороша, та страсть автора, которая, пылая, удлиняет его уши и заставляет испариться всякую критику. Граф Лейнсдорф обладал этой страстной убежденностью, и в кругу его друзей ее еще можно

было найти, но в остальной Какании она исчезла, и уже давно подыскивали какую-нибудь замену. На место истории Какании там стала история нации, обрабатываемая авторами в полном соответствии с тем европейским вкусом, который находит усладу в исторических романах и костюмированных драмах. Так возникло то примечательное и все-таки еще, может быть, не оцененное по достоинству положение, что люди, которым надо было решить вместе какой-нибудь самый обыкновенный вопрос, вроде постройки школы или замещения должности начальника станции, заводили при этом речь о годе 1600-м или 400-м, споря о том, какой претендент предпочтительней в свете колонизации предгорья Альп во время Великого переселения народов, а также в свете битв контрреформации, и споры эти они оснащали теми представлениями о великодушии, подлости, родине, верности и мужестве, которые примерно соответствуют наиболее распространенному везде типу начитанности. Граф Лейнсдорф, не придававший литературе никакого значения, не переставал этому удивляться, особенно при мысли о том, как хорошо, в сущности, жилось всем крестьянам, ремесленникам и горожанам, что попадались

ему на глаза во время поездок по его населенным немцами и чехами богемским угодьям, и потому приписывал действию особого вируса, особого, гнусного подстрекательства тот факт, что время от времени они проявляли бурное недовольство друг другом и мудростью правительства, факт тем более непонятный, что в больших промежутках между такими приступами и когда им не напоминали об их идеалах они отлично ладили с кем угодно.

Политика же, применяемая против этого государством, известная национальная политика Какании, сводилась к тому, что каждые примерно полгода правительство то карало какую-нибудь непослушную национальность, то мудро шло перед ней на попятный, и, подобно тому, как в сообщающихся сосудах при определенном наклоне жидкость, устремляясь в один из них, убывает в другом, этим переменам соответствовало отношение к немецкой «национальности». Ей принадлежала в Какании особая роль, ибо в массе своей она всегда хотела, в сущности, лишь одного — чтобы государство было сильным. Она дольше всех сохраняла веру в то, что есть же какой-то смысл у каканской истории, и лишь постепенно, поняв, что в Какании можно начать как государ-

ственный преступник и кончить как министр, но можно и, наоборот, продолжать свою министерскую карьеру снова как государственный преступник, она тоже начала чувствовать себя угнетаемой нацией. Подобные вещи случались, возможно, не только в Какании, но своеобразие этого государства состояло в том, что там для них не требовалось никаких революций и переворотов, потому что со временем все стало идти путем естественного, спокойного, как маятник, развития, просто в силу расплывчатости понятий, и под конец в Какании остались лишь угнетенные нации и высший круг лиц, которые, собственно, и были угнетателями и чувствовали себя измученными глумлением угнетенных. В этом кругу были глубоко озабочены тем, что ничего не происходит, нехваткой, так сказать, истории, и твердо убеждены, что когда-нибудь наконец что-то произойдет. И если это обратится против Германии, как к тому клонила, казалось, параллельная акция, то такой оборот дела даже не считали нежелательным, ибо, во-первых, всегда чувствовали себя немного отставшими от своих братьев в рейхе, а, во-вторых, в правящих кругах сами чувствовали себя все-таки немцами и не могли подчеркнуть беспристрастную роль

Какании лучше, чем столь самоотверженным способом.

Вполне, стало быть, понятно, что при таких обстоятельствах у его сиятельства и в мыслях не было считать свое предприятие пангерманским. Но что слыло оно таковым, явствовало из того, что среди «официально числящихся народностей», чьи пожелания должны были учитываться комитетами параллельной акции, со временем начали отсутствовать славянские группы, и к иностранным послам стали постепенно поступать такие страшные сведения об Аргейме, начальнике отдела Туцци и немецком заговоре против славянства, что кое-что в приглушенной форме слухов дошло и до ушей его сиятельства, подтвердив его опасения, что и в те дни, когда ничего особенного не происходит, ты пребываешь в состоянии тяжкой деятельности из-за того, что многого делать не смеешь. Но будучи реалистическим политиком, он не преминул сделать ответный ход — к сожалению, однако, со столь щедрым расчетом, что таковой принял сначала вид ошибки в государственной политике. Глава комитета по пропаганде — задачу этого комитета составляла популяризация параллельной акции — тогда еще не был назначен, и граф Лейн-

сдорф принял решение избрать для этого барона Виснечки, учитывая, что Виснечки, который несколько лет назад был министром, принадлежал к кабинету, сваленному немецкими националистическими партиями и проводившему, как считалось, скрытную антигерманскую политику. Ибо у его сиятельства был тут собственный план. Уже в начале параллельной акции одной из его мыслей было расположить к ней как раз ту часть каканцев немецкого происхождения, которая чувствовала себя менее привязанной к отечеству, чем к немецкой нации. Если другие «этнические группы» называли, как то бывало, Каканию тюрьмой и самым открытым образом выражали свою любовь к Франции, Италии и России, то это были, так сказать, более далекие от реальности восторги, и ни один серьезный политик не смел ставить их на одну ступень с увлечением иных немцев Германской империей, которая географически охватывала Каканию клещами и всего лишь одно поколение тому назад была с нею единым целым. К этим немецким отщепенцам, чьи происки вызывали у графа Лейнсдорфа, поскольку он сам был немцем, наиболее мучительные чувства, относилось его знаменитое изречение: «Они придут сами!» Оно тем временем достигло ранга

политического пророчества, на котором основывали отечественную акцию, и смысл его состоял примерно в том, что сперва надо расположить к патриотизму «другие этнические группы», ибо, как только это удастся, все немецкие круги будут вынуждены присоединиться, ведь известно, что гораздо труднее отстраниться от того, что делают все, чем отказаться начать самим. Таким образом, путь к немцам вел поначалу против немцев и к предпочтению другим национальностям; граф Лейнсдорф уже давно это понял, а когда настало время действовать, он именно это и осуществил, поставив во главе комитета по пропаганде его превосходительство Виснечки, который, как считал Лейнсдорф, был родом поляк, но по убеждениям каканец.

Трудно решить, сознавал ли его сиятельство, что этот выбор направлен против немецкой идеи, как то позднее ставили ему в упрек; вероятно, однако, что он усматривал в своем выборе служение истинной немецкой идее. Следствием, во всяком случае, было то, что теперь и в немецких кругах началась оживленная деятельность против параллельной акции, и одни, таким образом, стали открыто бороться с ней, сочтя ее антинемецким заговором, другие же,

считая ее заговором пангерманским, с самого начала осторожно избегали ее под всяческими предлогами. Столь неожиданный результат не ускользнул и от его сиятельства, да, и повсюду вызывал серьезную озабоченность. Однако такая тревога и чрезвычайно бодрила его сиятельство; когда Диотима и другие руководители испуганно расспрашивали его, он показывал малодушным непроницаемое, но дышавшее верностью долгу лицо и отвечал им так:

— Эта попытка не удалась нам сразу вполне, но кто хочет добиться чего-то великого, тот не должен зависеть от минутного успеха; во всяком случае интерес к параллельной акции возрос, а остальное приложится, была бы лишь твердость!

108
Нераскрепощенные народы и мысли генерала Штумма о слове «раскрепощение» и родственных с ним словах

Сколько бы слов ни произносилось каждый миг в большом городе, чтобы выразить индивидуальные желания его жителей, среди них никогда

не бывает одного слова — «раскрепощать». Можно предположить, что все другие, самые страстные слова и выражения сложнейших, даже, несомненно, исключительных отношений выкрикиваются и произносятся шепотом во множестве дубликатов одновременно, например: «Вы величайший прохвост, какого я когда-либо видел», или: «Нет на свете женщины такой же волнующе прекрасной, как вы»; и эти глубоко индивидуальные переживания можно, стало быть, представить даже в их массовом распределении по всему городу красивыми статистическими кривыми. Но ни один живой человек не скажет другому: «Ты можешь меня раскрепостить!», или: «Раскрепостите меня!» Можно привязать его к дереву и морить голодом; можно после его многомесячных тщетных ухаживаний высадить его вместе с любимой на необитаемый остров; можно заставить его подделать вексель и найти кого-нибудь, кто его спасет, — все слова на свете сорвутся у него с языка, но, пока он воистину взволнован, он наверняка не скажет «раскрепощать», «раскрепоститель» или «раскрепощение», хотя с лингвистической точки зрения это было бы вполне допустимо.

Тем не менее нации, объединенные под какан-

ской короной, называли себя нераскрепощенными народами!

Генерал Штумм фон Бордвер размышлял. Благодаря своему посту в военном министерстве он достаточно хорошо знал о трудностях в национальном вопросе, от которых страдала Какания, ибо при обсуждении бюджета военные в первую голову чувствовали вытекавшую из этого нетвердую, зависящую от сотни соображений политику, и лишь недавно, к великой досаде министра, военным пришлось отказаться от одного важного проекта, потому что за предоставление нужных для него средств одна нераскрепощенная нация потребовала таких уступок, что правительство никак не могло на них пойти, не раздражив другие жаждавшие раскрепощения нации. Так Какания осталась незащищенной от внешнего врага, ибо речь шла о больших расходах на артиллерию, чтобы заменить совершенно устаревшие армейские орудия, относившиеся по дальнобойности к орудиям других государств как нож к копью, новыми, которые относились бы к ним, наоборот, как копье к ножу, и это снова на необозримый срок сорвалось. Нельзя сказать, что генерал Штумм готов был поэтому покончить с собой, но большие расстройства

могут ведь поначалу выражаться и во многих с виду не связанных между собой мелочах, и, конечно, с беззащитностью и безоружностью Какании, на которые она была обречена из-за своих несносных внутренних распрей, было связано то обстоятельство, что Штумм размышлял о нераскрепощенности и раскрепощении, тем более что слово «раскрепостить» ему с некоторых пор доводилось до невыносимого часто слышать в ходе своей полуштатской деятельности у Диотимы.

На первый взгляд ему показалось, что оно просто принадлежит к не вполне освещенной языкознанием группе «высокопарных слов». Это говорил ему его солдатский здравый смысл; но помимо того, что таковой был смущен Диотимой-ведь впервые слово «раскрепощение» Штумм услышал из ее уст и пришел в восторг, в этом плане оно и сегодня еще, несмотря на артиллерийский проект, было овеяно волшебной прелестью, так что первый взгляд генерала был уже, собственно, вторым его взглядом на данный предмет! — теория «высокопарности» казалась неверной и по другой причине: достаточно было слово этого корня сдобрить маленькой милой несерьезностью, как оно сразу же играючи слетало с языка. «Ты меня просто спас и раскрепо-

стил!»— или что-нибудь в подобном роде, кто бы так не сказал, даже если тому предшествовали всего-навсего десять минут нетерпеливого ожидания или иная неприятность столь же мелкого рода. И благодаря этому генералу стало ясно, что не столько сами эти слова претят здравому смыслу, сколько неубедительность обеспечиваемой ими серьезности. И в самом деле, спрашивая себя, где, кроме как у Диотимы и в политических прениях, слышал он, чтобы кто-то говорил о раскрепощении, Штумм вспоминал, что случалось это в церквах и кофейнях, в журналах по искусству и в книгах Арнгейма, которые он с восхищением читал. Этим путем ему стало ясно, что выражается такими словами не какой-то естественный, простой и человеческий факт, а некая отвлеченная и общая сложность; раскрепощение и тоска по раскрепощению суть, видимо, нечто такое, что может учинить только один дух другому духу.

Генерал покачал головой от удивления по поводу увлекательных открытий, к которым его приводили его служебные обязанности. Он включил красный свет в круглом стеклышке над дверью своего кабинета в знак того, что у него идет важное совещание, и, пока его офице-

ры с папками, вздыхая, поворачивали у порога, продолжал размышлять. Люди умственные, попадавшиеся ему теперь на всех его путях, не были удовлетворены. Они во всем находили недостатки, везде происходило, на их взгляд, слишком многое или слишком немногое, все было, с их точки зрения, не так, как надо. Мало-помалу они ему опротивели. Они были похожи на тех несчастных неженок, которые всегда садятся там, где дует. Они ругали сверхученость и невежество, грубость и чрезмерную утонченность, задиристость и равнодушие. Куда бы они ни направляли взгляд, везде зияла брешь. Их мысли никогда не успокаивались, улавливая вечно блуждающий остаток всех на свете вещей, который никогда не обретает порядка. Так пришли они в конце концов к убеждению, что время, в которое они живут, обречено на духовное бесплодие и может быть избавлено от него, раскрепощено только каким-нибудь особым событием или каким-нибудь совершенно особым человеком. Таким образом возникло тогда среди так называемых интеллектуальных людей пристрастие к словам «раскрепощение», «избавление» и родственным с ними. Были убеждены, что если вскоре не явится Мессия, то дальше идти некуда. Это был,

смотря по обстоятельствам, Мессия медицины, долженствовавший раскрепостить науку врачевания, избавив ее от ученых исследований, во время которых люди заболевают и умирают без помощи; или Мессия изящной словесности, способный написать драму, которая потянет миллионы людей в театры, обладая при этом беспримерно высоким духовным уровнем. И кроме этой убежденности, что каждый, в сущности, вид человеческой деятельности может вернуться в свойственное ему состояние только благодаря особому Мессии, существовала, конечно, и простая, во всех отношениях нерасчлененная тоска по Мессии сильной руки для всего вообще. Таким образом, то было довольно-таки мессианское время, тогдашнее, незадолго до великой войны, и если раскрепоститься хотели даже целые нации, то ничего особенного и необыкновенного в этом, в сущности, не было.

Правда, генералу казалось, что это, как и все другое, о чем говорили люди, не следует понимать буквально. «Вернись сегодня спаситель-раскрепоститель, — сказал он себе, — они свергли бы его власть, как любую другую!» На основании собственного опыта он полагал, что происходит это оттого, что пишется слишком много книг

и газетных статей. «Как разумен, — подумал он, — воинский устав», запрещающий офицерам писать книги без особого разрешения начальства». Он немного испугался этой мысли, таких сильных приступов лояльности у него давно уже не было. Несомненно, он сам думал слишком много! Это происходило от соприкосновения со штатским духом; штатский дух явно потерял преимущество обладания твердым мировоззрением. Это генерал ясно понял, и потому вся болтовня о раскрепощении предстала ему теперь еще и с другой стороны. Мысли генерала Штумма перекочевали к воспоминаниям о полученных уроках религии и истории, чтобы уяснить эту новую связь; трудно сказать, что он теперь думал, но если бы это можно было вынуть из него и тщательно разгладить, то выглядело бы оно примерно так. Если коротко коснуться сперва церковной части, то пока верили в религию, доброго христианина или благочестивого еврея можно было сбросить с любого этажа надежды и благополучия — он все равно непременно упал бы на ноги, так сказать, своей души. Происходило это оттого, что в толковании жизни, даруемом ими человеку, все религии предусматривали иррациональный, но поддающийся учету остаток,

который они называли неисповедимостью бога; если задача у смертного не решалась, ему достаточно было вспомнить об этом остатке, и его дух мог уже довольно потирать руки. Это падание на ноги и потирание рук называют мировоззрением, и владеть им современный человек разучился. Либо он должен совсем отказаться думать о своей жизни, чем многие довольствуются, либо оказывается в такой странной раздвоенности, что вынужден думать и все же, видимо, так и не может достичь этим удовлетворения. Раздвоенность эта в ходе времен одинаково часто принимала форму полного неверия и форму нового полного подчинения вере, и ее наиболее распространенная ныне форма состоит, пожалуй, в убежденности, что без духовности нет подлинной человеческой жизни, но при слишком большой духовности ее тоже нет. На этом убеждении целиком основана наша культура. Она строго следит за тем, чтобы выделялись средства на учебные и исследовательские учреждения, но не слишком большие средства, а такие, которые находятся в подобающе низкой пропорции к ее расходам на развлечения, автомобили и оружие. Она открывает все дороги способному человеку, но осторожно заботится о том, чтобы он был и

способным дельцом. После некоторого сопротивления она признает любую идею, но потом это автоматически идет на пользу и противоположной идее. Это выглядит как чудовищная слабость и небрежность; но это, видимо, есть и вполне сознательное старания дать духовности знать, что духовность — еще в ней, ибо если бы к какой-нибудь из идей, движущих нашей жизнью, хоть раз отнеслись всерьез, настолько всерьез, чтобы для противоположной идеи ничего не осталось, тогда наша культура, пожалуй, не была бы уже нашей культурой.

У генерала был толстый, детский кулачок; он сжал его и, как в перчатке с подкладкой, похлопал им по доске своего письменного стола как бы в подтверждение необходимости сильного кулака. Как офицер он обладал мировоззрением! Иррациональный остаток такового назывался честью, дисциплиной, верховным главнокомандующим, воинским уставом, часть III, и как итог всего перечисленного состоял в убеждении, что война есть не что иное, как продолжение мира более сильными средствами, энергичная разновидность порядка, без которой человечество уже не может выжить. Жест, каким генерал похлопал по столу, был бы немного смешон, если бы кулак

означал лишь что-то атлетическое, а не что-то еще и духовное, некое необходимое дополнение к духовности. Штумму фон Бордверу немного уже надоела штатская жизнь. Он обнаружил, что библиотечные служители — единственные люди, у которых есть надежный общий взгляд на штатский ум. Он открыл тот парадокс избытка порядка, что совершенный порядок неизбежно повлек бы за собой бездеятельность. Он чувствовал что-то смешное в объяснении, почему в армии можно найти величайший порядок и одновременно готовность отдать жизнь. Он узнал, что в силу какой-то невыразимой связи порядок ведет к потребности в убийстве. Он озабоченно сказал себе, что нельзя ему продолжать работу в таком темпе. «И что это такое вообще — дух?! — спросил генерал, бунтуя. — Он же не бродит в полночь в белой рубахе; чем же ему быть, как не определенным порядком, который мы придаем своим впечатлениям и переживаниям?! Но тогда, — заключил он решительно, осчастливленный наитием, — если дух — это не что иное, как упорядоченный опыт, тогда он в мире, где есть порядок, вообще не нужен!»

Облегченно вздохнув, Штумм фон Бордвер выключил красный свет, подошел к зеркалу и

пригладил волосы, чтобы к приходу подчиненных устранить все следы душевной бури.

109
Бонадея, Какания; системы счастья и равновесия

Если в Какании был кто-нибудь, кто ничего не смыслил в политике и знать о ней не хотел, то таким человеком была Бонадея; и все же существовала связь между нею и нераскрепощенными народами: Бонадея (не путать с Диотимой; Бонадея, благая богиня, богиня целомудрия, чей храм по воле судьбы стал ареной разврата, супруга председателя окружного суда или кого-то в этом роде и несчастная любовница человека, ее недостойного и недостаточно в ней нуждавшегося) обладала системой, а политика в Какании была ее лишена.

Система Бонадеи состояла до сих пор в двойной жизни. Она ублажала свое честолюбие в привилегированном, можно сказать, семейном кругу, да и светские контакты доставляли ей удовлетворявшую ее репутацию высокообразованной и изысканной дамы; известным же искушениям, от которых не был защищен ее дух, она уступала

под тем предлогом, что она жертва повышенной возбудимости или что у нее падкое на глупости сердце, ибо глупости сердца так же почетны, как романтически-политические преступления, даже если сопровождающие их обстоятельства не совсем безупречны. Сердце играло тут такую же роль, как честь, дисциплина, часть III воинского устава в жизни генерала или как тот иррациональный остаток во всяком упорядоченном житье, который в конце концов наводит порядок во всем, в чем не в состоянии навести его разум.

Система эта работала, однако, с одним дефектом; она делила жизнь на два состояния, и переход от одного к другому не совершался без тяжелых потерь. Ибо насколько убедительным могло быть сердце перед падением, настолько же унылым бывало оно после него, и обладательница этого сердца постоянно металась между маниакально клокочущим состоянием души и состоянием, текущим как чернильно-черный поток, а уравновешивались эти состояния весьма редко. И все-таки это была система; то есть тут не было просто бесконтрольной игры инстинктов, вроде того, как некогда считали жизнь автоматическим балансом удовольствия и неудовольствия с известным остатком в пользу удовольствия,

нет, принимались усиленные духовные меры, чтобы этот баланс подделать.

У каждого человека есть такой способ истолковывать баланс своих впечатлений в свою пользу, и это более или менее обеспечивает в обычные времена жизненно необходимый дневной рацион удовольствия. Удовольствие от жизни может при этом состоять и из неудовольствия, такая разница в материале не играет роли, ведь известно, что есть счастливые меланхолики, как есть похоронные марши, которые отдаются своей стихии с не меньшей легкостью, чем танцы — своей. Вероятно, можно даже утверждать обратное, — что многие веселые люди ничуть не счастливей, чем грустные, ибо счастье требует такого же напряжения, как несчастье; это примерно то же, что летать по принципу «легче» или «тяжелее воздуха». Но напрашивается другое возражение: не права ли в таком случае старая мудрость богатых, уверяющая, что бедняк не должен им завидовать, поскольку это чистая химера, что их деньги сделали бы его счастливее? Это поставило бы его только перед задачей выработать вместо своей системы жизни другую, при которой бюджет удовольствия оставил бы его лишь с тем маленьким перевесом счастья, какой

у него и без того есть. Теоретически это значит, что семья без крова, если она не замерзла в ледяную зимнюю ночь, так же счастлива при первых лучах утреннего солнца, как богач, который должен вылезти из теплой постели; а практически выходит, что каждый человек терпеливо, как осел, несет то, что на него навьючено, ибо осел, который хоть чуть-чуть сильнее, чем его груз, счастлив. И правда, это определение личного счастья самое надежное из всех, к каким можно прийти, пока рассматриваешь только отдельно взятого осла. В действительности личное счастье (или равновесие, довольство и как там еще назвать автоматическую глубочайшую цель личности) ограничено самим собой лишь настолько, насколько ограничены собой камень в стене или капля в реке, испытывающие воздействие всех напряжений и сил целого. То, что человек делает и чувствует сам, незначительно по сравнению со всем, насчет чего он должен предполагать, что это надлежащим образом делают и чувствуют в отношении него другие. Ни один человек не живет своим собственным равновесием, каждый опирается на равновесие охватывающих его слоев, и потому на маленькую личную фабрику удовольствия оказывает действие весьма слож-

ная система морального кредита, о котором еще пойдет речь, потому что для психологического баланса коллектива он важен не меньше, чем для баланса индивидуума.

С тех пор как старания Бонадеи вернуть любовника терпели неудачу, заставляя ее думать, что Ульриха похитили у нее ум и энергия Диотимы, она прониклась безмерной ревностью к этой женщине, но, как то часто случается с людьми слабыми, находила в восхищении ею некое объяснение и вознаграждение, отчасти возмещавшие понесенную потерю; пребывая в этом состоянии уже довольно долго, она ухитрялась время от времени, под предлогом скромных пожертвований в пользу параллельной акции, проникать к Диотиме, но в круг завсегдатаев дома не вошла и воображала, что между Ульрихом и Диотимой существует определенное соглашение на этот счет. Таким образом, она страдала от их жестокости, а поскольку она еще и любила их, то у нее возникла иллюзия беспримерной чистоты и самоотверженности ее чувств. По утрам, когда муж покидал квартиру, чего она терпеливо ждала, она очень часто усаживалась перед зеркалом, как птица, которая чистит перья. Она заплетала и завивала щипцами волосы, пока они не принимали фор-

мы, похожей на греческий узел Диотимы. Она начесывала кудряшки, и хотя эффект получался немного смешной, она этого не замечала, ибо из зеркала ей улыбалось лицо, общим очертанием отдаленно напоминавшее теперь божественное. Уверенность и красота существа, которым она восхищалась, и его счастье поднимались в ней тогда маленькими, мелкими, теплыми волнами таинственного, хотя еще не совсем глубокого союза — так сидишь у кромки большого моря, окунув ноги в воду. Это похожее на религиозный культ поведение — ибо от божественных масок, в которые человек в первобытных состояниях влезает всем своим телом, до церемоний цивилизации такое волнующее плоть счастье благочестивого подражания никогда не утрачивало целиком своего значения — брало в свою власть Бонадею еще и потому, что одежду и все внешнее она любила как некую непреложность. Разглядывая себя в зеркале в новом платье, Бонадея никак не могла бы представить себе, что придет время, когда, например, вместо буфов, кудряшек на лбу и длинных юбок-клеш будут носить юбочки до колен и прическу под мальчика. Оспаривать эту возможность она тоже не стала бы, ибо мозг ее просто не был бы в силах представить себе такое. Одевалась

она всегда так, как полагалось аристократке, и каждые полгода благоговела перед новой модой, как перед вечностью. Если бы даже удалось, апеллируя к ее умственным способностям, добиться от нее признания недолговечности моды, то и это ничуть не уменьшило бы ее благоговения перед ней. Непреложную волю мира она впитывала в себя в чистом виде, и времена, когда на визитных карточках отгибали уголки, или посылали на дом новогодние поздравления, или снимали перчатки на балу, во времена, когда этого не делали, уходили для нее в такую даль, как для любого другого современника эпоха столетней давности, то есть лежали в области совершенно невообразимого, невозможного и отдавшего. Потому-то и было в такой мере смешно видеть Бонадею без одежд; она целиком лишалась тогда и всякого идеального облачения и становилась нагой жертвой неумолимой непреложности, бросавшейся на нее с бесчеловечностью землетрясения.

Эта периодическая гибель ее культуры в переворотах тупого мира материи теперь, однако, прекратилась, и с тех пор, как Бонадея стала столь таинственно печься о своем облике, она в незаконной части своей жизни жила — чего не было со времени ее двадцатилетия — по-вдовьи.

Можно, пожалуй, отметить вообще, что женщины, очень уж пекущиеся о своей внешности, относительно добродетельны, ибо средства оттесняют тогда цель, точно так же, как великие спортсмены часто бывают плохими любовниками, донельзя воинственные на вид офицеры — плохими солдатами, а особенно умные с виду мужчины иногда даже дураками; но в данном случае дело было не только в этом распределении энергии, Бонадея занялась своей новой жизнью с огромной, совершенно поразительной самоотдачей. Она с любовью живописца подводила себе брови, слегка эмалировала лоб и щеки, уводя их от натурализма к тому легкому возвышению над действительностью и удалению от нее, которые свойственны культовому искусству, тело было зажато в мягкий корсет, а к большим грудям, всегда немного мешавшим ей и смущавшим ее, потому что они казались ей слишком женственными, она вдруг почувствовала сестринскую любовь. Ее супруг немало удивлялся, когда, пощекотав ей пальцем шею, слышал в ответ: «Не порти мне прическу!», — а спросив: «Не дашь ли ты мне руку?», услыхал: «Как можно, на мне же новое платье!» Но сила греха словно бы сбросила всегдашние оковы тела и, как новорожденная

звезда, блуждала в преображенном новом мире Бонадеи, которая под этими непривычными и смягченными лучами чувствовала себя освобожденной от своей «сверхвозбудимости», как если бы с кожи у нее сошли струпья. В первый раз за время их брака ее благоверный недоверчиво спросил себя, уж не нарушает ли кто-то третий его домашний мир и покой.

Раз происшедшее было не чем иным, как явлением из области систем жизни. Одежды, если изъять их из потока современности и рассматривать их в их чудовищном существовании на человеческой фигуре как чистую форму, суть странные трубки и наросты, достойные общества, где протыкают ноздри палочками и продевают сквозь губы кольца; но как пленительны делаются они, когда видишь их вместе со свойствами, которые они одалживают своему владельцу! Это как если бы в случайные завитушки на листе бумаги влился вдруг смысл какого-то великого слова. Представим себе, что невидимая доброта и изысканность человека вдруг показалась бы в виде желто-золотого, величиной с полную луну ореола у него за макушкой, — как то изображают на благочестивых старых картинах, — когда он гуляет по проспекту или за чаем кладет бутер-

броды себе на тарелку. Это было бы, несомненно, одним из самых невероятных и потрясающих зрелищ. А такую силу — делать видимым невидимое и даже вовсе не существующее — хорошо сшитый предмет одежды демонстрирует каждый день!

Такие предметы подобны должникам, которые возвращают нам одалживаемый им капитал с фантастическими процентами, и на свете нет, собственно, ничего, кроме вещей-должников. Ведь этим свойством платья обладают и убеждения, предрассудки, теории, надежды, вера во что-то, мысли, даже бездумность обладает им, если только в силу самой себя проникнута сознанием своей правильности. Одалживая нам способность, которую мы же даем им в долг, все они служат одной цели — представлять мир в свете, исходящем от нас, а ни в чем другом, собственно, и не состоит задача, для решения которой у каждого есть своя особая система. С великим и разнообразным искусством создаем мы ослепление, благодаря которому мы умудряемся жить рядом с чудовищнейшими вещами и притом оставаться совершенно спокойными, потому что признаем в этих замерзших гримасах космоса стол или стул, крик или вытянутую руку, скорость или жареную курицу. Мы в состоянии

чувствовать себя на земле между отверстой небесной бездной над головой и слегка прикрытой небесной бездной под ногами так же удобно, как в запертой комнате. Мы знаем, что жизнь одинаково теряется в бесчеловечном просторе пространства и в бесчеловечной тесноте мира атомов, но в промежутке между тем и другим мы смотрим на некий слой форм как на вещи, которые и составляют мир, и нимало не смущаемся тем, что это значит лишь отдавать предпочтение впечатлениям, получаемым с какого-то среднего расстояния. Такое поведение находится значительно ниже уровня нашего разума, но это-то и доказывает, что наше чувство играет тут громадную роль. И действительно, важнейшие умственные ухищрения человечества служат сохранности ровного душевного состояния, и все чувства, все страсти мира — ничто по сравнению с чудовищными, но совершенно бессознательными усилиями, какие делает человечество, чтобы сберечь свой возвышенный душевный покой! Не стоит, кажется, и говорить об этом, так безупречно тут все срабатывает. Но если присмотреться, то оказывается, что все-таки крайне искусственное состояние сознания дает человеку возможность ходить выпрямившись между кружащимися

звездами и позволяет ему среди почти бесконечной неизвестности мира с достоинством прятать руку за борт сюртука между второй и третьей пуговицами. Для достижения такого результата недостаточно, чтобы у каждого человека, будь то у идиота или у мудреца, были свои приемы, эти личные системы приемов к тому же еще искусно пригнаны к моральным и интеллектуальным ухищрениям, обеспечивающим равновесие обществу и всему миру и служащим, стало быть, той же цели в большем масштабе. Это взаимодействие подобно взаимодействию самой природы, где все силовые поля космоса влияют на силовые поля земли, но этого никто не замечает, потому что результат и есть земное коловращение; и достигаемое таким образом интеллектуальное облегчение так велико, что даже мудрецы, совсем как маленькие, невежественные девочки, кажутся себе в спокойном состоянии очень умными и добрыми.

Но время от времени после таких состояний довольства, которые в известном смысле можно назвать и навязчивыми состояниями чувства и воли, на нас, кажется, нападает их противоположность или, пользуясь опять-таки понятиями сумасшедшего дома, на земле начинается вдруг

бурная скачка идей, после которой вся человеческая жизнь располагается вокруг новых центров и осей. Более глубокая, чем повод, причина всех великих революций состоит не в накоплении неблагоприятных условий, а в износе солидарности, которая подпирала искусственное довольство душ. Лучше всего применимо тут изречение одного знаменитого раннего схоластика, по-латыни оно гласит «Credo, ut intelligam»[32] и несколько вольно может быть переведено на современный язык примерно так: «Господи боже, дай моему духу кредит производительности!» Ибо всякое человеческое кредо есть, наверно, лишь частный случай кредита вообще. В любви и в коммерции, в науке и при прыжках в длину нужно сначала верить, а потом уже можно победить и достигнуть, так почему же должно быть иначе в жизни вообще?! Как ни обоснован ее порядок, доля добровольной веры в этот порядок всегда в нем есть, она, вера, обозначает, как если бы перед нами было растение, место, откуда пошел побег, а если эта необъяснимая и ничем не обеспечиваемая вера израсходована, то вскоре следует крах; эпохи и империи рушатся не иначе,

---

[32] Примечания: 32
Верю, чтобы понять (лат.).

чем коммерческие предприятия, когда теряют кредит. И вот этот принципиальный анализ душевного равновесия пришел от прекрасного примера Бонадеи к печальному примеру Какании. Ибо Какания была на нынешнем отрезке развития первой страной, которую бог лишил кредита, радости жизни, веры в себя и способности всех культурных государств распространять полезную иллюзию, будто у них есть задача. Это была умная страна, и жили в ней люди культурные; как все культурные люди во всех местах земли, они в нерешительном расположении духа метались среди невероятного волнения, шума, скоростей, новшеств, конфликтов и всего прочего, что принадлежит оптическо-акустическому пейзажу нашей жизни; как все другие люди, они читали и слышали каждый день по нескольку десятков известий, от которых у них волосы вставали дыбом, и они готовы были волноваться, даже вмешаться, но дело до этого не доходило, потому что уже через несколько мгновений возбуждение вытеснялось из их сознания новыми возбудителями; как все другие, они чувствовали себя окруженными убийствами, преднамеренными убийствами, страстями, жертвенностью, величием, которые как-то вершились в обра-

зовавшемся вокруг них клубке, но сами они не могли дойти до этих авантюр, потому что сидели в плену в конторе или каком-нибудь другом учреждении, а когда освобождались под вечер, напряжение, с которым им уже нечего было делать, разряжалось в развлечениях, которые не доставляли им удовольствия. И еще одно было характерно именно для культурных людей, если они не посвящали себя столь исключительно, как Бонадея, любви: у них не было больше ни блага кредита, ни дара обманывать. Они уже не знали, куда девались их улыбка, их вздох, их мысль. Зачем они раньше думали и улыбались? Их взгляды были делом случая, их склонности образовались давно, все как-то висело в воздухе готовой схемой, в которую человек ввинчивался, и они не могли ничего делать и ни от чего воздерживаться от всего сердца, потому что не было никакого закона их единства. Таким образом, культурным был тот, кто чувствовал, что какой-то долг все растет и растет, что погасить его он уже никогда не сможет, культурным был человек, видевший неминуемое банкротство и либо обвинявший время, жить в которое он был осужден, хотя жил в нем с не меньшим удовольствием, чем все другие, либо с мужеством тех, кому нечего терять,

бросавшийся на любую идею, если она сулила ему перемену.

Так было, правда, и во всем мире, но, лишив кредита Каканию, бог сделал особое дело: он дал понять трудности культуры целым народам. Как бактерии, сидели они там на своей почве, не заботясь о том, надлежаще ли закруглен небосвод, или о чем-либо подобном, но вдруг им стало тесно. Человек обычно не знает, что для того, чтобы суметь быть тем, что он есть, он должен верить, что он есть нечто большее; но он все-таки должен как-то чувствовать это над собой и вокруг себя, и порой он может вдруг ощутить отсутствие этого. Тогда ему не хватает чего-то воображаемого. Ровным счетом ничего не происходило в Какании, и прежде подумали бы, что такова уж старая, неброская каканская культура, но теперь это «ничего» тревожило, как неспособность уснуть или неспособность понять. И потому интеллектуалам было легко, после того как они внушили себе, что при национальных культурах все будет иначе, убедить в этом и народы Какании. Это стало теперь некоей заменой религии или заменой доброго императора в Вене или просто объяснением того непонятного факта, что в неделе семь дней. Ведь есть много необъяснимых вещей, но когда

поют свой национальный гимн, их не чувствуют. Конечно, это был момент, когда на вопрос, кто он такой, добрый каканец мог бы и с энтузиазмом ответить: «Никто!» Ибо это означает нечто, чему снова вольно сделать из каканца все, чего еще не было! Но каканцы не были столь упрямыми людьми и довольствовались половиной: каждая нация просто старалась только сделать с другой то, что считала хорошим. Конечно, при этом трудно представить себе боли, которых сам не испытываешь. А за два тысячелетия альтруистического воспитания люди стали такими самоотверженными, что даже в том случае, если либо мне, либо тебе придется худо, каждый предпочитает другого. Тем не менее не надо представлять себе под знаменитым каканским национализмом что-то особенно дикое. Он был больше историческим, чем реальным процессом. Люди там были довольно-таки расположены друг к другу; правда, они проламывали друг другу головы и оплевывали друг друга, но это они делали только по соображениям высшей культуры: бывает же и вообще, что человек, который с глазу на глаз мухи не обидит, под распятием в зале суда приговаривает человека к смертной казни. И можно, пожалуй, сказать: каждый раз,

когда их высшие «я» устраивали себе перерыв, каканцы облегченно вздыхали и, превращаясь в инструменты для принятия пищи, в славных едоков, для чего они и были созданы, как все люди, очень удивлялись тому, что испытали в роли инструментов истории.

110
Распад и сохранение Моосбругера

Моосбругер все еще сидел в тюрьме и ждал повторного психиатрического освидетельствования. Это создало плотную массу дней. Отдельный день, правда, выступал из нее, когда он был тут, но к вечеру он уже опять погружался в массу. Моосбругер хоть и входил в соприкосновение с арестантами, надзирателями, коридорами, дворами, клочком голубого неба, несколькими облаками, пересекавшими этот клочок, с едой, водой и подчас с каким-нибудь начальником, который интересовался им, впечатления эти были слишком слабы, чтобы утвердиться надолго. У него не было ни часов, ни солнца, ни работы, ни времени. Он всегда был голоден. Он всегда был усталый — от блуждания по шести квадратным метрам, от которого устаешь боль-

ше, чем от блуждания верстами. Что бы он ни делал, он скучал так, словно должен был мешать клей в горшке. Но когда он все обдумывал, ему все виделось так, как если бы день и ночь, еда и опять еда, посещения и проверки непрерывно и быстро летели друг за другом, жужжа, и он развлекался этим. Часы его жизни разладились; их можно было перевести вперед и назад. Он это любил; это было ему по душе. Лежавшее далеко в прошлом и свежеслучившееся не были больше искусственно разъединены; если это было одно и то же, то обозначение «в разное время» уже не прилипало к этому подобием красной нитки, которую вешают на шею младенцу, чтобы не спутать его с его близнецом. Несущественное исчезло из его жизни. Когда он размышлял об этой жизни, он вел про себя медленные разговоры с самим собой, нажимая на корни слов и на аффиксы с одинаковой силой; это была совсем другая песня жизни, чем та, которую слышишь каждый день. Он часто надолго останавливался на каком-нибудь слове, и, когда наконец покидал его, сам не зная как, через некоторое время слово это вдруг снова попадалось ему еще где-нибудь. Он смеялся от удовольствия, потому что никто не знал, что ему встретилось. Трудно найти вы-

ражение для того единства его бытия, какого он в иные часы достигал. Легко, наверно, представить себе, что жизнь человека течет, как ручей; но движенье, которое видел Моосбругер в своей жизни, было как ручей, текущий сквозь большую стоячую воду. Устремляясь вперед, оно соединялось и с тем, что было сзади, и подлинный ход жизни во всем этом почти исчезал. Однажды в полусне-полубодрствовании у него у самого возникло такое ощущение, что Моосбругера своей жизни он носил на плечах, как плохой пиджак, из которого теперь, когда он его приоткрывал, текла огромными, как леса, шелковыми волнами чудеснейшая подкладка.

Он больше не хотел знать, что происходило снаружи. Где-то была война. Где-то была большая свадьба. Сейчас прибудет король Белуджистана — думал он. Везде занимались строевой подготовкой солдаты, шлялись проститутки, стояли среди стропил плотники. В трактирах Штутгарта пиво лилось из таких же кривых желтых кранов, как в Белграде. Когда странствуешь, жандарм везде спрашивает у тебя документы. Везде они ставят в них штамп. Везде либо есть клопы, либо их нет. Либо есть работа, либо ее нет. Бабы все одинаковы. Врачи в больницах все одинаковы.

Когда вечером идешь с работы, люди торчат на улицах и ничего не делают. Всегда и всюду одно и то же; людям не приходит в голову ничего нового. Когда первый аэроплан пролетел по синему небу над головой Моосбругера, это было прекрасно; но потом появлялся один такой аэроплан за другим, и один не отличился на вид от другого. Это было другое однообразие, отличное от чудес его мыслей. Он не понимал, как оно получилось, и оно везде было на его пути. Он качал головой. «Черт побери, — думал он, — этот мир!» Или пусть бы его, Моосбругера, отдали палачу, он, Моосбругер, мало что потерял бы…

Однако порой он как бы в задумчивости подходил к двери в тихонько ощупывал то место, где снаружи был замок. Тогда из коридора в окошко заглядывая чей-то глаз, а потом следовал злой голос, ругавший его. От таких оскорблений Моосбругер быстро уходил назад в камеру, и тогда случалось, что он чувствовал себя запертым и ограбленным. Четыре стены и железная дверь — в этом нет ничего особенного, если выходишь и входишь. Решетка перед чужим окном — тоже не велика важность, а что койка или деревянный стол прочно прикреплены к полу, то так полагается. Но то-то и есть, что в тот миг, когда

с ними уже нельзя обойтись так, как тебе хочется, возникает нечто совершенно нелепое. Эти вещи, изготовленные человеком, слуги, рабы, о которых даже не знаешь, как они выглядят, делаются дерзкими. Они велят остановиться. Когда Моосбругер заметил, как вещи командуют им, ему очень захотелось разломать их на части, и он лишь с трудом убедился, что борьба с этими слугами правосудия недостойна его. Но руки у него так чесались, что он боялся заболеть.

Из всего просторного мира выбрали шесть квадратных метров, и Моосбругер ходил по ним взад и вперед. Мышление здоровых, не заключенных в тюрьму людей очень, впрочем, походило на его мышление. Хотя он еще недавно живо их занимал, они быстро забыли его. Он был водворен на свое место, как гвоздь, который вбивают в стену; когда он вбит, никто его больше не замечает. Приходила очередь других Моосбругеров; они не были им, не были даже такими же, как он, но они несли ту же службу. Было какое-то преступление на сексуальной почве, какая-то темная история, какое-то ужасное убийство, дело рук какого-то безумца, дело рук какого-то полуневменяемого, какая-то встреча, перед которой каждый, в сущности, должен быть начеку, какое-то удо-

влетворительное вмешательство уголовного розыска и правосудия… Такие общие, бедные содержанием понятия и формулы воспоминаний приплетают начисто выхолощенный инцидент к какому-то месту своей широкой сети. Забыли фамилию Моосбругера, забыли подробности. Он стал «белкой, зайцем или лисой», более точная дифференциация утратила свою ценность: общественное сознание сохранило не какое-то определенное понятие о нем, а лишь истощенные, широкие поля смешивающихся общих понятий, похожие на светлую серость в подзорной трубе при наводке на слишком большое расстояние. Эта слабость связей, жестокость мышления, которая оперирует удобными для него понятиями, не заботясь о том грузе страдания и жизни, что делает всякое решение трудным, она была общей чертой коллективной души и души Моосбругера; но то, что в его сумасшедшем мозгу было мечтой, сказкой, поврежденным или странным местом в зеркале сознания, не отражавшим картину мира, а пропускавшим свет, это в коллективной душе отсутствовало, или разве что какая-то доля этого нет-нет да проступала в каком-нибудь отдельно взятом человеке и его неясном волнении.

А что касалось именно Моосбругера, этого,

а не какого-нибудь другого Моосбругера, того, которого некогда поместили на определенных шести квадратных метрах мира, что касалось его питания, охраны, обращения с ним согласно инструкциям, дальнейшего его следования для жизни в тюрьме или для смерти, — это было препоручено относительно маленькой группе людей, которая относилась к нему совершенно иначе. Здесь глаза, неся свою службу, недоверчиво следили, голоса бранили за малейший проступок. К нему никогда не входило меньше двух охранников. На него надевали кандалы, когда его вели по коридорам. Тут действовали под влиянием страха и осторожности, которые связывались с определенным Моосбругером в этой маленькой области, но как-то странно противоречили обращению, с каким он встречался вообще. Он часто жаловался на эту осторожность. Но тогда надзиратель, директор, врач, поп, в зависимости от того, кто выслушивал его протест, делал неприступное лицо и отвечал, что с ним обращаются в соответствии с инструкцией. Таким образом, инструкция заменяла теперь утраченное участие мира, и Моосбругер думал: «У тебя на шее длинная веревка, и тебе не видно, кто за нее тянет». Он был как бы где-то за углом

привязан к внешнему миру. Люди, в большинстве своем совершенно не думавшие о нем, даже ничего о нем не знавшие, или такие, для кого он значил не больше, чем обыкновенная курица на обыкновенной деревенской улице для университетского профессора зоологии, действовали вместе, чтобы уготовить ту судьбу, которая, как он чувствовал, бесплотно терзала его. Какая-то канцелярская барышня печатала на машинке какое-то дополнение к его делу. Какой-то регистратор применял к этому дополнению какие-то изощренные мнемонические правила. Какой-то советник министерства готовил новейшие указания относительно исполнения приговора, какие-то психиатры вели профессиональный спор об отграничении чисто психопатической конституции от определенных случаев эпилепсии и ее смеси с другими симптомами. Какие-то юристы писали об отношении смягчающих вину обстоятельств к обстоятельствам, смягчающим приговор. Какой-то епископ высказался против всеобщего упадка нравственности, а какой-то арендатор охотничьего угодья пожаловался справедливому супругу Бонадеи на засилье лисиц, что укрепило в этом высоком деятеле его сочувствие непоколебимости правовых принципов.

Неописуемым пока образом складывается из таких безличных событий событие личное. И если очистить дело Моосбругера от всего индивидуально-романтического, касавшегося лишь его и нескольких человек, которых он убил, то от него осталось бы немногим, пожалуй, больше того, что выразилось в перечне цитированных трудов, приложенном к последнему письму сыну отцом Ульриха. Такой перечень выглядит вот так: AH. — AMP. — AAC.AKA. — AP. — ASZ. — BKL. — BGK. — BUD. — CN. — DTJ. — DJZ. — FBgM. — GA. — GS. — JKV.KBSA. — MMW. — NG. — PmW. — R. — VSgM. — WMW. — ZGS. — ZMB. — ZP. — ZRS. — Аддикес, там же. Ашаффенбург, там же. Белинг, там же, и т. д. и т. д. — или в переводе на слова: Annales d'Hygiene Publique et de Medicine legale, изд. Бруарделя, Париж; Annales Medico-Psychologiques, изд. Ритти… и т. д. и т. д., при максимальных сокращениях в страницу длиной. То-то и оно, что истина — не кристалл, который можно сунуть в карман, а бесконечная жидкость, в которую погружаешься целиком. Надо представить себе за каждым из этих сокращений несколько сотен или десятков печатных страниц, за каждой страницей человека с десятью пальцами, который ее пишет, за каждым пальцем по десяти учеников

и по десяти противников, за каждым учеником и противником по десяти пальцев и за каждым пальцем по десятой части какой-то личной идеи, и это даст слабое представление об истине. Без нее и воробей не упадет с крыши. Солнце, ветер, пища привели его туда, болезнь, голод, холод или кошка убили его; но все это не могло бы случиться без биологических, психологических, метеорологических, физических, социальных и т. д. законов, и это поистине успокоительное занятие — просто искать эти законы, вместо того чтобы, как то происходит в морали и правоведении, создавать их самим. Впрочем, что касается Моосбругера лично, то он, как известно, питал большое уважение к человеческому знанию, столь малой частью которого, увы, обладал сам, но даже и знай он свое положение, он никогда не понял бы его вполне. Он смутно догадывался о нем. Его состояние представлялось ему непрочным. Его могучее тело было не вполне закрыто. Небо заглядывало иногда в череп. Так, как прежде часто бывало в странствиях. И никогда, хотя теперь она была порой даже неприятна, его не покидала какая-то торжественность, отовсюду притекавшая к нему через тюремные стены. Так он, дикая, плененная возможность вызывающего

страх действия, пребывал необитаемым коралловым островом среди бесконечного моря ученых исследований, невидимо окружавших его.

111
Для юристов не существует полусумасшедших людей

Как бы то ни было, у преступника часто бывает очень легкая жизнь, если сравнить ее с напряженной умственной работой, к которой он принуждает ученых. Обвиняемый просто извлекает выгоду из того, что переходы от здоровья к болезни в природе нечетки; а юрист в таком случае вынужден утверждать, что «доводы в пользу и против способности индивидуума проявить свою волю или понять преступный характер своего действия перекрещиваются и взаимно уничтожаются в такой мере, что по всем правилам логики получается лишь проблематическое определение». Ибо по логическим причинам юрист постоянно имеет в виду, что «когда речь идет об одном и том же преступлении, ни в коем случае нельзя признавать возможности смешения двух состояний», и не допускает, чтобы «в отношении физически обусловленных психиче-

ских состояний принцип нравственной свободы растворился в туманной неопределенности эмпирического мышления». Он не извлекает своих понятий из природы, а пронизывает природу огнем мышления и мечом нравственного закона. И по этому поводу вспыхнул спор в том, созванном министерством юстиции комитете по обновлению уголовного кодекса, куда входил отец Ульриха; но понадобились некоторое время и некоторые напоминания о необходимости исполнить сыновний долг, чтобы Ульрих вполне усвоил изложенное его отцом со всеми приложенными материалами. Его «твой любящий отец» — ибо так подписывал он и самые горькие свои письма — настаивал на том, что признавать невиновным частично больного следует только тогда, когда можно доказать, что среди его бредовых идей были такие, которые — не будь они бредовыми идеями — оправдывали бы его действие или отменяли наказуемость такового. Профессор же Швунг — может быть, потому, что он сорок лет был другом и коллегой старика, что должно ведь в конце концов привести когда-нибудь к стычке, настаивал на том, что такое лицо, у которого состояние вменяемости и невменяемости, поскольку юридически они существовать

бок о бок не могут, следуют, быстро чередуясь, одно за другим, должно быть признано невиновным только в том случае, если в отношении какого-то отдельного желания можно доказать, что именно в момент этого желания обвиняемый был не в состоянии с ним совладать.

Таковы были исходные позиции. Неспециалисту легко заметить, что в секунду поступка не проглядеть момент здоровой воли преступнику не менее трудно, чем идею, которая, может быть, обосновала бы его наказуемость; но ведь в задачи правосудия не входит избавлять людей от необходимости думать и трудностей нравственного поведения! А поскольку оба ученых были одинаково убеждены в высоком достоинстве права и ни один не мог привлечь на свою сторону большинство комитета, они обвиняли друг друга сперва в заблуждении, а потом, в быстрой последовательности, также и в нелогичности, намеренном непонимании и отсутствии идеалов. Сперва они делали это в лоне нерешительного комитета; но потом, когда заседания из-за этого застопорились, стали откладываться, а наконец и вовсе прекратились надолго, отец Ульриха написал две брошюры: «и загрязненные источники правоопределения», а профессор Швунг

подверг их критике в журнале «Юридический ученый мир», каковой Ульрих тоже нашел среди приложений. В этих полемических сочинениях во множестве встречались «и» и «или», ибо надлежало «прояснить» вопрос, можно ли соединить обе концепции союзом «и» или же их следует разделить союзом «или». И когда после долгого перерыва комитет снова составил некое лоно, в нем уже выделились партия «и» и партия «или». Но кроме того, была и партия, выступившая за простое предложение, чтобы мера ответственности и вменяемости возрастала и уменьшалась прямо пропорционально затратам психической энергии, которой хватило бы для совладания с собой при данных патологических обстоятельствах. Этой партии противостояла четвертая, настаивавшая на том, что первым делом надо исчерпывающе решить, вменяем ли вообще преступник; ведь уменьшение вменяемости логически предполагает наличие вменяемости, а если преступник в какой-то части вменяем, то наказан он должен быть целиком и полностью, потому что другого уголовно-правового способа уловить эту часть нет. Против этой партии выступила еще одна, которая, признавая самый принцип, подчеркивала, что природа, создающая

и полусумасшедших людей, его не придерживается; поэтому приобщить их к благодати права можно лишь отказом от уменьшения их вины, но учитывающим обстоятельства смягчением наказания. Так образовались еще партия вменяемости и партия ответственности, и когда они тоже достаточно разделились, тогда только и вскрылись аспекты, расхождений еще не вызвавшие. Конечно, ни один специалист не ставит сегодня своих доводов в зависимости от доводов философии и теологии, но как перспективы, то есть будучи чем-то столь же пустым, как пространство, и все же сдвигая предметы, как и оно, обе эти претендентки на конечную мудрость всюду вторгаются в мнение специалистов. И таким образом тут тоже тщательно обходимый вопрос, можно ли считать нравственно свободным каждого человека, стал в конце концов перспективным центром всех разногласий, хотя и находился за пределами их объекта. Ведь если человек нравственно свободен, то наказанием его подвергают практическому принуждению, в которое никто не верит теоретически; если же не признавать его свободным, а считать местом встречи необратимо связанных естественных процессов, то наказанием можно вызвать в нем

действенное отвращение к проступку, но нельзя вменять ему этот проступок в нравственную вину. Из-за этого вопроса возникла, стало быть, еще одна партия, предложившая разделить преступника на две части — на зоологически-психологическую, совершенно не касающуюся судьи, и юридическую, хоть и сконструированную, но в правовом отношении свободную. К счастью, это предложение ограничилось теорией. Трудное дело — воздать справедливости по справедливости вкратце. Комиссия состояла примерно из двадцати ученых, которые, как легко сосчитать, могли занять несколько тысяч позиций в отношении друг друга. Законы, подлежавшие улучшению, применялись с 1852 года, речь, стало быть, шла, помимо всего, о чем-то очень давнем, что нельзя опрометчиво заменить чем-то другим. И вообще, устанавливая незыблемое право, нельзя следовать за всеми скачками господствующей в данное время духовной моды, — как верно заметил один из членов. С какой добросовестностью приходилось работать, видно как нельзя лучше из того, что по статистическим данным примерно семьдесят человек из ста, совершающих нам в ущерб преступления, уверены, что ускользнут от учреждений нашей правозащиты; ясно, что тем

внимательнее надо отнестись к пойманной четверти! Конечно, с тех пор все это могло немного улучшиться, да и, помимо того, было бы неверно видеть цель этого отчета в высмеивании ледяных узоров, которые разум в головах правоведов доводит до великолепнейшего цветения, над чем уже потешалось столько людей с оттепелью в голове; напротив, мужественная суровость, высокомерие, моральное здоровье, неприступность, благодушие, то есть сплошь свойства души и, в большой своей части, добродетели, которых мы, как говорится, надо надеяться, не утратим, — вот что мешало ученым участникам пользоваться своими умственными способностями без предрассудков. Они обращались с мальчиком по имени человек по образцу школьных наставников, как с младшим, доверенным их опеке, которому нужно быть только внимательным и послушным, чтобы делать успехи, а вызывалось это не чем иным, как домартовскими — речь идет о марте 1848 года — политическими эмоциями предшествовавшего им поколения. Спору нет, психологические знания этих юристов отстали примерно на пятьдесят лет, но такое часто бывает, когда часть собственного поля знаний приходится обрабатывать орудиями соседа, и

такое отставание при удобном случае быстро наверстывается; но что постоянно отстает от своего времени, отстает, потому что к тому же еще и немножко кичится своим постоянством, — это сердце человека, и особенно человека основательного. Никогда разум не бывает таким сухим, твердым и замысловатым, как тогда, когда у него есть маленькая старая сердечная слабость! Она-то в конце концов и привела к взрыву. Когда стычки достаточно ослабили всех участников и стали помехой дальнейшей работе, умножились голоса, предлагавшие заключить соглашение, которое выглядело бы примерно так, как выглядят все формулы, когда непримиримое противоречие нужно замазать красивой фразой. Была тенденция сойтись на том известном определении, по которому вменяемыми называют преступников, способных по своим интеллектуальным и нравственным свойствам совершить преступление; то есть ни в коем случае не тех, у кого этих свойств нет, а это определение беспримерное, обладающее тем преимуществом, что задает преступникам очень много работы и, пожалуй, позволило бы соединять право на арестантскую одежду с докторским званием. Но тут, перед лицом грозящей мягкости юбилейного года и

перед лицом определения, округлого, как яйцо, которое он принял за брошенную в него ручную гранату, отец Ульриха совершил то, что назвал своим сенсационным обращением к социальной школе. Социальная концепция говорит нам, что о преступном «выродке» судить нужно вообще без морализаторства, только с точки зрения его вредности для человеческого общества. Из этого следует, что он должен быть тем вменяемей, чем он вреднее; а из этого, в свою очередь, с железной логикой следует, что самым как бы невиноватым преступникам, то есть душевнобольным, по природе своей наименее подверженным исправительному воздействию наказания, должны грозить самые суровые наказания, во всяком случае более суровые, чем здоровым, чтобы сила устрашения была одинаково велика. Естественно было ждать, что теперь-то уж у коллеги Швунга не найдется возражений против этой социальной концепции. Так оно, кажется, и было, но именно поэтому он прибег к средствам, давшим отцу Ульриха непосредственный повод тоже сойти с пути юриспруденции, заносимого песком новых бесконечных споров в комитете, и обратиться к сыну, чтобы использовать теперь его связь с высокими и высшими кругами, которую сам же и устроил

ему, для пользы правого дела. Ибо реакция коллеги Швунга состояла в том, что вместо какой-либо попытки объективного опровержения он тотчас же злобно прицепился к слову «социальный», в очередной своей публикации заподозрив его в «материализме» и зараженности «прусской государственностью». «Дорогой сын, — писал отец Ульриха, — я, конечно, тотчас же указал на романское, а тем самым никак не прусское происхождение идей социальной школы правоведения, но вряд ли это возымеет действие после столь клеветнического доноса, с дьявольской злобностью спекулирующего на том впечатлении, для верхов несомненно отталкивающем, которое не преминет произвести упоминание о материализме и Пруссии. Это уже не упреки, от которых можно защищаться, а распространение настолько невообразимого слуха, что в верхах едва ли станут проверять таковой и необходимость вообще заниматься подобными вещами может навлечь на невинную жертву такую же дурную славу, как на бессовестного доносчика. И вот я, всю жизнь презиравший всякие черные ходы, вынужден настоятельно просить тебя…» И так далее, на чем это письмо и заканчивалось.

112
Арнгейм приобщает своего отца Самуила к богам и принимает решение завладеть Ульрихом. Солиман хочет подробнее узнать о своем царственном отце

Арнгейм позвонил и велел найти Солимана. Он давно уже не испытывал потребности беседовать с ним, и сейчас этот сорванец слонялся где-то в отеле.

Наконец возражения Ульриха задели Арнгейма за живое.

Конечно, от Арнгейма никогда не ускользало, что Ульрих работает против него. Ульрих работал бескорыстно; он действовал как вода на огонь, как соль на сахар; он стремился лишить Арнгейма влияния, почти не хотя этого. Арнгейм был уверен, что Ульрих злоупотребляет даже доверием Диотимы, чтобы делать неблагоприятные или насмешливые замечания насчет него.

Он признался себе, что ничего подобного с ним давно не случалось. Обычный метод его успехов перед этим пасовал. Ибо воздействие большо-

го и цельного человека сходно с воздействием красоты; оно так же не выносит отрицания, как воздушный шар не выносит, чтобы его сверлили, а статуя — чтобы ей надевали шляпу на голову. Красивая женщина становится некрасивой, если она не нравится, и большой человек, если на него не обращают внимания, становится, может быть, чем-то *бо*льшим, но он перестает быть большим человеком. В этом Арнгейм признался себе, правда, не этими словами, но думал он так: «Я не выношу возражений, потому что только разуму возражения на пользу, а тех, у кого есть только разум, я презираю!» Арнгейм полагал, что ему нетрудно обезвредить своего противника каким-нибудь образом. Не он хотел расположить к себе Ульриха, влиять на него, воспитывать его, вызывать у него восхищение. Чтобы облегчить себе это, он убедил себя, что любит его глубокой и противоречивой любовью, хотя никаких оснований для такой убежденности привести бы не мог. Ему нечего было бояться со стороны Ульриха и нечего было ждать от него; в лице графа Лейнсдорфа и начальника отдела Туцци друзей у неге и без того не было, он это знал, да и вообще все шло, хотя и несколько медленно, так, как ему хотелось. Противодействие Ульриха сходило на

нет под воздействием Арнгейма, оставаясь как бы неземным протестом; единственное, на что его, кажется, хватало, состояло, может быть, в том, что оно откладывало решение Диотимы, несколько сковывая решительность этой замечательной женщины. Осторожно обнаружив это, Арнгейм лишь улыбнулся. Грустно или ехидно? Такие различия в таких случаях не имеют значения; он находил справедливым, чтобы рациональная критика и возражения его противника, не зная того, работали на него, Арнгейма; это была победа более глубокого дела, одна из чудесно ясных, саморазрешающихся сложностей жизни. Арнгейм чувствовал, что это была петля судьбы, связывавшая его с более молодым Ульрихом и заставлявшая его, Арнгейма, идти на уступки, которых тот не понимал. Ибо Ульрих не поддавался ни на какие ухаживания; он был, как болван, безразличен к социальным преимуществам и то ли, казалось, не заметил, то ли не оценил предложения дружбы.

Было нечто такое, что Арнгейм называл остроумием Ульриха. Отчасти он подразумевал под этим неспособность умного человека признать преимущества, которые предлагает жизнь, и приспособить свой дух к великим предметам и

возможностям, сулящим достойное и прочное положение. Ульрих демонстрировал смешное противоположное мнение, что жизнь должна приспособляться к духу. Арнгейм мысленно видел перед собой Ульриха; такого же роста, как он сам, моложе, без мягкостей, которых он не мог скрыть от себя на собственном теле; что-то безоговорочно независимое было в лице; он приписывал это, не без зависти, тому, что за Ульрихом стояли поколения аскетов-ученых, ибо так представлял он себе его происхождение. Лицо это было беспечнее в отношении денег и производимого впечатления, чем то позволительно потомкам преуспевающей династии специалистов по облагораживанию отбросов! Но чего-то в этом лице не хватало, Жизни в нем не хватало, ужасающе не хватало следов жизни! В момент, когда Арнгейм донельзя ясно представил это себе, он так встревожился, что понял еще раз, до чего неравнодушен он к Ульриху; лицу этому почти можно было предсказать беду. Он задумался над этим двойственным ощущением зависти и озабоченности; то было печальное удовлетворение, какое, вероятно, испытывает тот, кто достиг безопасности трусостью, и вдруг мощная волна зависти и неодобрения выметнула

вверх мысль, которую он бессознательно искал и от которой бессознательно же старался уйти. Он подумал, что Ульрих, пожалуй, такой человек, что пожертвовал бы не только процентами, но и всем капиталом своей души, если бы обстоятельства потребовали этого от него! Да, как ни странно, и это тоже Арнгейм подразумевал под остроумием Ульриха. В тот миг, когда он вспоминал найденные им самим слова, ему стало совершенно ясно: представление, что человек может отдаться своей страсти настолько, чтобы она как бы вырвала его в безвоздушное пространство, показалось ему остроумной шуткой! Когда Солиман прошмыгнул в комнату и стал перед своим господином, тот забыл, зачем позвал его, но почувствовал успокоение от присутствия живого и преданного существа. Он шагал по комнате с замкнутым видом, и черный диск лица негритенка поворачивался вслед за ним. — Сядь! — приказал Арнгейм, остановившись в углу, повернулся на каблуке и начал: — В одном месте «Вильгельма Мейстера» великий Гете с известной страстностью дает рецепт правильной жизни, оно гласит: «Думать, чтобы действовать; действовать, чтобы думать!» Ты это понимаешь? Нет, этого тебе, пожалуй, не понять… — ответил он сам себе и снова

умолк. «Это рецепт, содержащий всю мудрость жизни, — подумал он, — а тот, кто хочет быть моим противником, знает только одну его половину — думать!» Ему пришло в голову, что и это тоже можно подразумевать под «обладать лишь остроумием».

Он распознал слабость Ульриха. «Остроумие» — от слова «ум», мудрость заключена в самом языке, указывающем на интеллектуальное происхождение этого свойства, на его созерцательную, эмоционально бедную природу; остроумный всегда умничает, всегда выходит из положенных границ, у которых человек чувства останавливается. Так история с Диотимой и цельность капитала души виделись в более отрадном свете, и, думая об этом, Арнгейм сказал Солиману:

— Это правило, в котором содержится вся мудрость жизни, и, следуя ему, я забрал у тебя книги и приучаю тебя работать! Солиман ничего не ответил и сделал пресерьезное лицо. — Ты несколько раз видел моего отца, — спросил вдруг Арнгейм, — ты его помнишь? Солиман счел уместным выкатить белки глаз, и Арнгейм задумчиво сказал: — Знаешь, мой отец почти никогда не читает книг. Как, по-твоему, сколько лет моему отцу? — Он снова не стал дожидаться ответа

и продолжил сам: — Ему уже за семьдесят, а он еще причастен ко всем делам, сколько-нибудь важным для нашей фирмы! Затем Арнгейм снова стал молча ходить взад и вперед.

Он испытывал неодолимую потребность говорить о своем отце, но не мог сказать все, что думал. Никто не знал лучше, чем он, что и его отцу порой не удавались дела; но никто не поверил бы ему, что это так, ибо прослывший Наполеоном выигрывает и свои проигранные сражения. Поэтому для Арнгейма никогда не существовало другой возможности утвердиться рядом с отцом, чем избранная им возможность поставить дух, политику и общество на службу делу. Старого Арнгейма, казалось, и впрямь радовало, что молодой Арнгейм так много знал и был такой умелый; но когда надо было решить какой-нибудь важный вопрос, — а его много дней выясняли и рассматривали с производственно— и финансово-технической, с идейно— и хозяйственно-политической сторон, — отец благодарил, нередко приказывал противоположное тому, что ему предлагали, и отвечал на все доводы, которые ему приводили, только беспомощно-упрямой улыбкой.

Даже директора часто качали головами по

этому поводу, но раньше или позже каждый раз оказывалось, что старик так или иначе был прав. Это выглядело примерно так, как если бы старый егерь или проводник по горам посовещался с метеорологами, а потом принял бы решение, руководствуясь предсказаниями своего ревматизма; и, в сущности, это было совсем не удивительно, ибо еще в ряде вопросов ревматизм надежнее, чем наука, и важна в конце концов не точность прогноза, потому что все равно в жизни все всегда выходит иначе, чем ты представлял себе, главное — это хитро и упорно приноравливаться к ее строптивости. Не так уж и трудно было, стало быть, понять Аргейму, что старый практик знает и умеет делать много такого, чего теоретически предвидеть нельзя, и все же это был решающий для него день, когда он обнаружил, что у старого Самуила Аргейма есть интуиция.

— Знаешь, что такое интуиция? — спросил Аргейм сквозь свои мысли, словно нащупывая тень оправдания своей потребности говорить об этом. Солиман напряженно моргнул, как то делал, когда его допрашивали по поводу поручения, о котором он забыл, и Аргейм еще раз быстро поправился. — Я сегодня в очень нервном состоянии, — сказал он, — конечно, ты не можешь этого

знать! Но слушай внимательно то, что я тебе сейчас скажу: зарабатывание денег ставит нас, как ты можешь представить себе, в положения, которые не всегда красивы. Эти вечные старания все скалькулировать и из всего извлечь прибыль противоречат манере жить с размахом, выработанной более счастливыми эпохами. Из убийства умудрились сделать аристократическую добродетель храбрости, но сомневаюсь, чтобы что-либо подобное удалось сотворить с калькуляцией; в ней нет настоящей доброты, нет достоинства, нет глубокого естества, деньги все превращают в понятия, они неприятно рациональны; когда я вижу деньги, я поневоле, понятно это тебе или нет, думаю каждый раз о недоверчиво проверяющих пальцах, о шуме и крике, о большой сметке, а всего этого я одинаково терпеть не могу.

Он замолчал и опять погрузился в одиночество. Он вспомнил своих родственников — как они, когда он был ребенком, гладили его по голове и говорили при этом, что у него хорошая головка. Головка, созданная для счета. Он ненавидел такой взгляд на вещи! В блестящих золотых монетах отражался разум выбившейся вверх семьи! Он презирал бы чувство стыда за свою семью, напротив, именно в высших кругах он с благородной

скромностью отмечал свое происхождение; но разума своей семьи он боялся, словно разум этот, как слишком шумная речь и быстрая жестикуляция, есть некая семейная слабость, делающая его, Арнгейма, на вершинах человечества невозможным.

Тут, вероятно, и коренилось его почтение к иррациональному. Аристократия была иррациональна — это звучало почти как насмешка над недостатком разума у аристократов, но Арнгейм знал, что он имел в виду. Ему достаточно было подумать о том, что как еврей он не стал офицером запаса; а поскольку, как Арнгейм, он не мог занять и скромное положение унтер-офицера, его просто-напросто признали негодным к военной службе, и поныне еще он отказывался видеть в том лишь недостаток разумности, ибо отдавал должное связанной с этим чести. Это воспоминание дало ему повод обогатить свою речь к Солиману несколькими фразами.

— Возможно, — продолжил он с того места, где остановился, ибо, несмотря на все свое отвращение к этому, был методичен, — возможно и даже вероятно, что аристократия не всегда означала именно то, что мы называем сегодня аристократическим образом мыслей. Чтобы заполучить

земли, на которых потом строился ее аристократизм, ей надо было, наверно, быть не менее расчетливой и старательной, чем нынешний коммерсант, возможно, что дело коммерсанта делается даже честнее. Но в земле заключена сила, пойми, то есть она была заключена в самом клочке земли, в охоте, в войне, в вере в небо и в земледелии — словом, в физической жизни этих людей, меньше шевеливших головой, чем руками и ногами, в близости природы заключена была сила, сделавшая их в конце концов достойными, благородными, чуждыми всему низкому.

Он подумал, не сказал ли он лишнего из-за своего настроения. Если Солиман не понял смысла этой речи, то после слов его господина почтение мальчика к аристократии могло уменьшиться. Но тут произошло нечто неожиданное. Солиман, уже некоторое время беспокойно ерзавший на стуле, прервал своего господина вопросом.

— Простите, — спросил он, — мой отец царь?

Аргейм посмотрел на него озадаченно.

— Я ничего об этом не знаю, — ответил он наполовину строго, наполовину весело. Но пока он глядел на серьезное, почти гневное лицо Солимана, им овладело что-то похожее на растроганность. Ему нравилось, что этот мальчик

ко всему относился серьезно; «у него совершенно нет юмора, — подумал он, — и, в сущности, в нем много трагического»; почему-то ему показалось, что отсутствие юмора равнозначно весомости и полноте жизни. Мягко, поучающим тоном продолжал он: — Маловероятно, что твой отец царь, скорее, по-моему, у него было какое-нибудь более низкое занятие, ведь я же нашел тебя в труппе жонглеров в приморском городе.

— Сколько я стоил? — с любопытством прервал его Солиман.

— Ну, дорогой, как я могу сегодня помнить это? Во всяком случае, немного, я думаю. Безусловно, немного! Но что тебе до всего этого? Мы рождаемся на свет, чтобы создать себе свое собственное царство! На будущий год я, может быть, отправлю тебя в коммерческое училище, а потом ты смог бы начать учеником в какой-нибудь из наших контор. От тебя, конечно, зависит, чего ты добьешься, но я буду держать тебя в поле зрения. Ты мог бы, например, впоследствии представлять наши интересы там, где с цветными уже как-то считаются; действовать тут следовало бы, конечно, очень осторожно, но все же тот факт, что ты черный, мог бы дать тебе кое-какие выгоды. В ходе своей деятельности ты только и поймешь в

полной мере, какую пользу принесли тебе годы, проведенные под моим непосредственным надзором, но одно я могу сказать тебе уже теперь: ты принадлежишь к расе, еще сохраняющей что-то от благородства природы. В средневековых рыцарских сказаниях черные цари всегда играли почетную роль. Если ты будешь культивировать в себе черты духовного благородства, достоинство, доброту, откровенность, мужество быть правдивым и еще большее мужество воздерживаться от нетерпимости, ревности, недоброжелательности и мелкой нервной злобности, которыми отмечено сегодня большинство людей, если тебе это удастся, ты наверняка сделаешь коммерческую карьеру, ибо наша задача — доставлять миру не только товары, но и лучшую форму жизни. Аргейм давно не говорил с Солиманом так доверительно и потому чувствовал, что при постороннем слушателе это выставило бы его в смешном свете, но никаких посторонних тут не было, а кроме того, все, что он говорил, было лишь поверхностью более глубоких ассоциаций, которые он держал про себя. Так, например, то, что он говорил об аристократическом образе мыслей и о становлении аристократии, одновременно двигалось дальше внутрь в прямо противополож-

ную направлению его слов сторону. Там у него напрашивалась мысль, что с тех пор, как мир стоит, ничто еще не возникало исключительно из духовной чистоты и добрых порывов, а все только из подлости, которая со временем стачивает себе рога, так что в конце концов из нее даже и получаются эти великие и чистые помыслы! Совершенно ясно, — думал он, — что становление аристократических родов, точно так же как превращение мусороуборочного предприятия в мировой концерн, отнюдь не основано только на отношениях, связь которых с повышенной гуманностью несомненна, и все-таки в одном случае возникла серебряная культура восемнадцатого века, а в другом случае возник Арнгейм. Таким образом, жизнь недвусмысленно ставила перед ним задачу, которую вернее всего, по его мнению, выразил бы глубоко противоречивый вопрос: какая мера подлости необходима и допустима, чтобы создать величие помыслов?.. А между тем в другом слое мысли его время от времени следовали за сказанным Солиману об интуиции и рационализме, и Арнгейм вдруг очень живо вспомнил о том, как он впервые объяснил отцу, что тот делает свои дела с помощью интуиции. Обладать интуицией принято было тогда у всех,

кто не мог как следует оправдать своих действий разумом; это играло примерно ту же роль, какую играет теперь способность к высоким темпам. Все, что делалось неверно или, по правде сказать, не удавалось до конца, оправдывали тем, что это создано для интуиции или благодаря ей, и пользовались ею и для приготовления обеда, и для писания книг; но старому Аргейму ничего не было известно об этом, и он с искренним удивлением взглянул на сына. Тот ликовал. «Зарабатывание денег, — сказал он, — требует от нас мышления, которое не всегда благородно. Между тем вполне вероятно, что мы, большие дельцы, призваны для того, чтобы при следующем повороте истории взять на себя руководство массами, а мы не знаем, будем ли мы духовно способны на это! Но если что-либо в мире может дать мне мужество перед лицом такой возможности, то это ты, ибо тебе дарованы прозорливость и воля, какими в великой древности обладали цари и пророки, которых направлял еще бог. Как ты берешься за дело — это тайна, и я сказал бы, что все тайны, не поддающиеся вычислению, одного ранга, будь то тайна мужества, тайна открытия или тайна звезд!» С обидной отчетливостью Аргейм увидел сейчас памятью, как после первых

его фраз поднятый к нему дотоле взгляд старого Аргейма снова погрузился в газету, откуда потом ни разу уже не поднимался, когда сын говорил о делах и об интуиции. Такими отношения между отцом и сыном оставались всегда, и третьим слоем мыслей, как бы холстом этих картин памяти, Аргейм отдавал себе в этом отчет и сейчас. В большей отцовской талантливости дельца, постоянно его угнетавшей, он видел что-то вроде исполинской силы, для более сложного сына недостижимой, и тем самым исключал этот образец из области своих тщетных усилий, одновременно выправляя себе грамоту об аристократическом происхождении. Благодаря этой двойной уловке он не оставался внакладе. Деньги превращались в сверхличную, мифическую силу, которой под стать только сама первозданность, и он приобщал своего родоначальника к богам, в точности так, как это делали древние воины, которым их мифический предок, несмотря на весь трепет перед ним, казался, наверно, немного все-таки примитивным по сравнению с ними. Но в четвертом слое он ничего не знал об улыбке, витавшей над этим третьим, и продумывал в точности ту же мысль еще раз серьезно, размышляя о роли, которую он надеялся еще сыграть на

земле. Такие пласты мышления не надо, конечно, понимать буквально, словно они находятся один над другим, как разные глубины или слои почвы, это всего лишь способ выразить проницаемые, наплывающие с разных сторон токи мысли под воздействием сильных противоречий в чувствах. Ведь всю жизнь Арнгейм испытывал и почти болезненную неприязнь к остроумию и иронии, проистекавшую, вероятно, от немалой наследственной склонности к ним. Он подавлял эту склонность, потому что она всегда была для него квинтэссенцией неаристократизма и плебейского интеллектуализма, но именно сейчас, когда чувства его были самыми аристократическими и прямо-таки враждебными интеллекту, она сказывалась в отношении к Диотиме, и когда его чувства словно бы стояли на цыпочках, его часто манила дьявольская возможность уйти от своих возвышенных переживаний с помощью одной из тех метких острот о любви, которые ему доводилось слышать из уст низких или грубых людей. И, вынырнув сквозь все эти пласты на поверхность, он вдруг удивленно посмотрел на мрачно-внимательное лицо Солимана, похожее на черную грушу для бокса, на которую обрушилась непонятная мудрость жизни. «В какое

смешное положение ставлю я себя!» — подумал Аргейм. С неспящими глазами заснуло, казалось, на стуле тело Солимана, когда его господин кончил эту одностороннюю беседу; глаза пришли в движение, а тело не шевелилось, словно еще ждало слова, которое его разбудит. Аргейм заметил это и прочел во взгляде негра жадное желание узнать поточнее, какими интригами можно сделать слугу из царского сына. Этот словно бы выпустивший когти взгляд заставил его сразу же вспомнить того младшего садовника, который обокрал его коллекции, и он со вздохом сказал себе, что ему, Аргейму, всегда, наверно, будет недоставать простого инстинкта приобретательства. Ему вдруг показалось, что эта догадка приложима и к его отношениям с Диотимой. С мучительным волнением почувствовал он, что от всего, к чему прикасался, он отделен на вершине своей жизни какой-то холодной тенью. Это была не простая мысль для человека, только что установившего правило, что думать нужно для того, чтобы действовать, и всегда стремившегося освоить все великое и отметить печатью собственного значения все, что поменьше. Но тень между ним и предметами его желаний легла вопреки его воле, которой у него всегда хватало,

и, к своему удивлению, Арнгейм с уверенностью подумал, что тень эта связана с теми нежными, как свет, ознобами, которыми была окутана его юность; словно из-за неверного обращения с ними из них возник тончайший слой льда. Только на вопрос, почему этот лед не таял даже перед отрешенным от мира сердцем Диотимы, ответа у него не было; но как очень неприятная боль, только и ждавшая прикосновения, тут ему снова вспомнился Ульрих. Арнгейм вдруг понял, что на жизни этого человека лежала та же тень, что и на его жизни, но оказывала там другое действие! Среди страстей человеческих страсть мужчины, которого раздражает ревностью естество другого мужчины, редко ставят на верное, подобающее ей по ее силе место, и открытие, что его бессильная досада на Ульриха, если копнуть глубже, похожа на встречу не узнавших друг друга братьев, было чувством очень сильным и вместе благотворным. С любопытством разглядывал Арнгейм натуры их обоих в этом сравнении. Грубый инстинкт приобретательства, стремление извлечь из жизни как можно больше выгод отсутствовали у Ульриха в еще большей мере, чем у него, а возвышенный инстинкт приобретательства, желание проникнуться всем достоинством и

всей важностью бытия отсутствовали у него прямо-таки досадным образом. У этого человека не было потребности в весомости и вещественности жизни. Его объективное усердие, в котором ему нельзя было отказать, не рвалось к обладанию чем-либо! Аргейму это напомнило бы даже его служащих, если бы от их бескорыстности в работе бескорыстие Ульриха не отличалось каким-то необычайным высокомерием. Скорее то был одержимый, не желающий быть держателем и владельцем. Возникала, пожалуй, и мысль о добровольно нищем борце. Можно было, кажется, говорить и о человеке до мозга костей «теоретическом»; только это тоже было неверно, потому что его вообще нельзя было назвать «теоретическим» человеком.

Тут Аргейм вспомнил, что однажды ясно заявил ему, что его мыслительные способности отстают от практических его способностей. А если посмотреть на него с практической точки зрения, то этот человек был совершенно невозможен. Так, уже не в первый раз, направлялись мысли Аргейма то туда, то сюда, но, несмотря на сомнения в себе самом, владевшие им сегодня, он никак не мог признать превосходство Ульриха в каком-либо отдельном вопросе и пришел

к заключению, что решающее различие состоит, вероятнее всего, в том, что Ульриху чего-то недостает. Однако было в этом человеке в целом что-то неистраченное и свободное, и Арнгейм, помедлив, признался себе, что это напоминало ему не больше не меньше как «тайну целого», которой обладал он сам и которую, чувствовал он, ставил под вопрос тот, другой. Ведь как же можно было бы, если бы дело шло только о доступном меркам разума, проникнуться при виде столь далекого от действительности человека тем же жутковатым чувством «остроумия», которого Арнгейм научился бояться, когда оно появлялось в связи с таким слишком уж основательным знатоком действительности, как его отец! «Значит, этому человеку чего-то недостает в целом!» — подумал Арнгейм, но, словно то было лишь другой стороной этой уверенности, ему почти сразу же и совершенно непроизвольно подумалось: «У этого человека есть душа!» Этот человек обладал еще не растраченной душой; поскольку догадка эта была интуитивной, Арнгейм не смог бы точно указать, что он имеет в виду; но каким-то образом это подразумевало, что каждый человек, как он знал, растворяет со временем свою душу в разуме, морали и великих идеях, причем это необрати-

мый процесс; а у его друга-врага процесс этот не дошел до конца, оставалось что-то наделенное двусмысленной прелестью, не поддававшейся точному определению, но проявлявшейся в том, что это «что-то» вступало в необычные связи с элементами из сферы всего бездушного, рационального и механического, которые уж никак нельзя было причислить к культурным ценностям. Когда Арнгейм все это обдумывал и сразу же приспособлял к стилю своих философских трудов, у него, конечно, не было ни секунды времени, чтобы признать что-либо из этого заслугой Ульриха, хотя бы единственной его заслугой, так сильно было впечатление, что сделано открытие; это он сам, Арнгейм, создал эти представления, и он казался себе маэстро, открывающим в еще не поставленном голосе блестящие возможности. Его мысли охладило лишь лицо Солимана, который, видимо, уже долго смотрел на него и теперь решил, что настало время продолжить расспросы. От сознания, что не каждому дано совершать открытия с помощью такого маленького немого полудикаря, у Арнгейма усилилось счастливое чувство, что он единственный, кто знает тайну своего врага, хотя тут многое еще было темно и в смысле дальнейших последствий неясно.

Он чувствовал только любовь, испытываемую ростовщиком к своей жертве, в которую вложен его капитал. И может быть, именно зрелище Солимана вдруг внушило ему умысел привлечь к себе этого человека, показавшегося ему по-иному воплощенным приключением собственного «я», привлечь к себе во что бы то ни стало, любой ценой, пусть даже, если понадобится, усыновив его! Он улыбнулся по поводу этого поспешного подкрепления намерения, форма которого еще должна была созреть, и одновременно заткнул рот Солиману, чье лицо содрогалось от трагической жажды знания, таким приказом:

— Ну, довольно теперь, и отнеси госпоже Туцци цветы, которые я заказал. Если у тебя есть еще какие-либо вопросы, мы можем, пожалуй, подумать об этом в другой раз.

113
Ульрих беседует с Гансом Зеппом и Гердой на смешанном языке пограничной области между сверхразумным и не вполне разумным

Ульрих воистину не знал, что сделать для ис-

полнения желания отца, требовавшего от него, чтобы он, возлюбив социальную школу, подготовил почву для личных переговоров с его сиятельством и другими высокопоставленными патриотами, и потому навестил Герду, чтобы начисто выкинуть это из головы. Он застал у нее Ганса, и Ганс тотчас же пошел в наступление.

— Вы взяли под защиту директора Фишеля?

Ульрих уклончиво ответил вопросом, сказала ли ему об этом Герда.

Да, Герда сказала ему об этом.

— Что дальше? Хотите услыхать почему?

— Я прошу об этом! — потребовал Ганс.

— Это не так просто, милый Ганс.

— Не называйте меня «милый Ганс»!

— Ну, тогда, значит, милая Герда, — он повернулся к ней, — это совсем не просто. Я уже донельзя много говорил об этом и думал, что вы меня поняли.

— Я и понимаю вас, но я вам не верю, — ответила Герда, стараясь, однако, тем, как она это сказала и как при этом на него посмотрела, придать своему союзничеству с Гансом что-то примирительное для Ульриха. — Мы не верим вам, — тотчас же прервал Ганс этот более приятный ход разговора, — что вы действительно

такого мнения. Вы это где-то подхватили!

— Что?! Вы имеете в виду то, о чем… чего нельзя выразить толком? — спросил Ульрих, сразу поняв, что наглое замечание Ганса относится к тому, о чем он говорил с Гердой с глазу на глаз.

— О, это можно прекрасно выразить, если действительно так думать!

— Мне это не удается. Но я могу рассказать вам одну историю.

— Опять история! Вы, похоже, рассказываете истории, как старик Гомер! — воскликнул Ганс еще наглее и самоуверенней.

Герда просительно посмотрела на него. Но Ульрих пропустил его возглас мимо ушей и продолжал: — Однажды я был очень влюблен; лет мне было примерно столько, сколько вам сейчас. Влюблен был я тогда, в сущности, в свою любовь, в свое изменившееся состояние и меньше в женщину, которая для этого требовалась; тогда я узнал все то, из чего вы, ваши друзья и Герда делаете свои великие тайны. Вот история, которую я хотел вам рассказать. Ганс и Герда были смущены тем, что история оказалась такой короткой. Герда, помедлив, спросила: «Вы были однажды очень влюблены?..»— и тут же огорчилась, что так, со страшным девчоночьим любопытством,

спросила при Гансе. Но Ганс прервал ее: — Зачем нам вообще говорить о таких вещах! Расскажите нам лучше, что поделывает ваша кузина, попавшая в руки духовных банкротов.

— Она ищет идею, которая показала бы миру дух нашей родины во всем его великолепии. Не хотите ли вы помочь ей каким-нибудь предложением? Я вполне готов сыграть роль посредника, — ответил Ульрих.

Ганс презрительно усмехнулся.

— Почему вы делаете вид, будто не знаете, что мы будем мешать этой кампании?

— Да почему, собственно, вы так негодуете на нее?

— Потому что она есть великая гнусность, направленная против немецкого духа в этой стране! — сказал Ганс. — Неужели вы действительно не знаете, что развивается многообещающее ответное движение? Внимание немецкого национального союза обращено на намерения вашего графа Лейнсдорфа. Гимнастическая ассоциация уже выступила с протестом против оскорбления немецкого духа. Федерация оруженосных братств в австрийских высших учебных заведениях выскажется на днях против грозящего ославянивания, и союз немецкой молодежи, в

котором я состою, не успокоится, даже если нам придется выйти на улицу! — Ганс сидел выпрямившись и рассказывал это не без гордости. Тем не менее он прибавил: — Но все это, конечно, не имеет значения! Эти люди переоценивают внешние обстоятельства. Вся штука в том, что здесь вообще ничего никогда не удастся.

Ульрих спросил, по какой причине.

— Великие расы, все как одна, создали себе свой миф уже в самом начале своей истории; а существует ли австрийский миф? — спросил Ганс в ответ. Австрийская прарелигия? Австрийский эпос? Ни католическая, ни протестантская религия здесь да возникли; книгопечатание и традиция живописи пришли из Германии; династию поставляли Швейцария, Испания, Люксембург; технику — Англия и Германия; самые красивые города, Вена, Прага, Зальцбург, построены итальянцами и немцами, военное дело устроено по наполеоновскому образцу. У такого государства не должно быть никаких собственных затей; спасти его может только одно — присоединение к Германии. — Ну, вот, теперь вы все знаете, что хотели о нас узнать? — заключил Ганс.

Герде было неясно, следует ли ей гордиться им или стыдиться его. Ее тяга к Ульриху в последнее

время снова оживилась, хотя вполне человечное желание играть самой какую-то роль ее более молодой друг удовлетворял лучше. Странное дело, эту девушку смущали два противоречивших одно другому влечения — стать старой девой и отдаться Ульриху. Это второе влечение было естественным следствием любви, которую она чувствовала уже много лет, любви, однако, которая не вспыхивала пламенем, а робко тлела в ней; и ощущения ее были похожи на ощущения, свойственные любви к недостойному, когда оскорбленная душа мучится презренной тягой к физической покорности. В странном противоречии с этим, а может быть, в простой и естественной связи, как тоска по покою, находилось предчувствие, что она никогда не выйдет замуж и все ее мечтания кончатся тем, что она будет вести одинокую, спокойную и деятельную жизнь. Это желание не было порождено убеждениями, ибо ясного взгляда на то, что касалось ее самой, у Герды не было; желание это было скорее одной из тех догадок, что осеняют наше тело порою раньше, чем наш разум. Влияние, оказываемое на нее Гансом, было тоже связано с этим. Ганс был невзрачный юноша, костистый, хотя невысокого роста и не крепкий, он вытирал

руки о волосы или об одежду и то и дело гляделся в круглое, в жестяной оправе карманное зеркальце, потому что его постоянно беспокоил какой-нибудь гнойничок на неухоженной коже его лица. Но точно такими представляла себе Герда первых римских христиан, которые, несмотря на преследования, собирались под землей в катакомбах; разве что карманного зеркальца у них не было. «Точно такими» подразумевало ведь не тождественность всех деталей, а некое общее, глубинное чувство ужаса, связывавшееся у нее с представлением о христианстве; вымытые и умащенные язычники нравились ей всегда больше, но быть заодно с христианами означало жертву, которую непременно надо было принести своему характеру. Высшие требования приобрели таким образом для Герды неприятный привкус затхлости, очень подходивший к мистическим настроениям, область которых открыл ей Ганс. Ульрих знал эти настроения как нельзя лучше. Надо, может быть, благодарить спиритизм за то, что он своими смешными, напоминающими дух умерших поварих донесениями из потустороннего мира удовлетворяет грубую потребность черпать ложками если не бога, то хотя бы духов, как кушанье, которое, скользя в темноте

по глотке, наполняет ее ледяным холодом. В более древние времена эта потребность вступать в личный контакт с богом и его спутниками, что происходило будто бы в состоянии экстаза, давала, несмотря на свое тонкое и отчасти диковинное оформление, все-таки смесь грубо земного поведения с переживаниями крайне необычного и неопределимого состояния интуитивной проницательности. Метафизическое было погруженным в это состояние физическим началом, отражением земных желаний, ибо верили, что видят в нем то, относительно чего современные представления заставляли горячо надеяться, что это удается увидеть. Но как раз представления интеллекта меняются и становятся недостоверными со временем; если бы сегодня кто-нибудь вздумал рассказать, что бог с ним говорил, больно схватил его за волосы и поднял к себе или не вполне понятным, но весьма сладостным образом проник в его грудь, то этим определенным представлениям, в которые он облекает свое переживание, никто не поверил бы, и, уж конечно, не поверили бы профессиональные слуги бога, ибо, как дети разумного века, они испытывают вполне человечный страх перед тем, что их скомпрометируют исступленные и истеричные

приверженцы. Вследствие этого остается либо считать иные, весьма отчетливые и распространенные в средние века и в языческой античности переживания химерами и патологическими явлениями, либо предположить, что в них содержится что-то не зависящее от мифической связи, в каковую это до сих пор всегда ставили, чистое, так сказать, ядро переживания, ядро, которое было бы достоверно, даже если подойти к нему со строгими эмпирическими критериями, и потому, само собой разумеется, представляло бы чрезвычайную важность задолго до того, как настанет очередь второго вопроса — какие следует сделать из этого выводы относительно наших отношений с потусторонним миром.

И в то время, как вере, упорядоченной богословским разумом, приходится вести жестокую борьбу с сомнениями и возражениями разума ныне господствующего, голое, очищенное от всех традиционных терминологических оболочек веры, освобожденное от всех религиозных представлений, глубинное ощущение мистической связанности, которое вряд ли можно назвать исключительно религиозным, — это ощущение, кажется, и в самом деле невероятно распространилось, и оно-то и составляет душу

того многообразного иррационального движения, что, как заплутавшаяся при свете дня ночная птица, мечется по нашей эпохе. Гротескной частицей этого многообразного движения был бурлящий кружок, в котором играл свою роль Ганс Зепп. Если перечислять идеи, — чего, однако, по царившим там воззрениям делать нельзя было, ибо идеи не терпят числа и сметы, — если перечислять идеи, сменявшие одна другую в этом обществе, то первым делом надо было бы назвать робкое и вполне платоническое требование пробного и товарищеского брака, даже полигамии и полиандрии; затем, в области искусства, необъективный, направленный на общезначимое и вечное взгляд, который тогда, именуясь экспрессионизмом, презрительно отворачивался от грубого внешнего проявления, от оболочки, от «пошлой наружности», верное отображение которых считалось почему-то у предыдущего поколения революционным; с этой абстрактной задачей передать, не заботясь о внешних деталях, непосредственно «сущность» духа и мира вполне уживалась, однако, и задача самая конкретная и самая ограниченная, а именно задача национального искусства, к которому, как считали эти молодые люди, обязывало их

благоговейное служение своей немецкой душе; и так, в хаотическом беспорядке, обнаружились бы и другие, подобранные на дорогах эпохи великолепные веточки и травинки, из которых можно выстроить гнездо духу, но среди которых пышные представления о праве, долге и творческой силе молодежи играют настолько большую роль, что о них надо упомянуть подробнее.

Нынешнее время, считалось там, не знает права молодежи, ибо до совершеннолетия человек почти бесправен. Отец, мать, опекун могут его одевать, кормить, предоставлять ему кров, как им заблагорассудится, могут наказывать и, по мнению Ганса Зеппа, губить вконец, лишь бы они не переступали далекой границы определенной статьи уголовного кодекса, защищающей ребенка разве что в духе защиты животных. Он принадлежит родителям, как раб — хозяину, и является в силу своей материальной зависимости собственностью, объектом капиталистической эксплуатации. Эта «капиталистическая эксплуатация ребенка», описание которой Ганс где-то вычитал, а потом разработал сам, была первым, чему он научил свою удивленную и дотоле вполне благополучно жившую у себя дома ученицу Герду. Христианство облегчило лишь иго

женщины, но не дочери; дочь влачит жалкое существование, потому что ее силой отчуждают от жизни; после этой подготовки он преподал ей право ребенка строить свое воспитание по законам собственной натуры. Ребенок — существо творческое, потому что растет и творит самого себя. Он — существо царственное, потому что диктует миру свои представления, чувства и фантазии. Он знать не желает о случайном готовом мире и строит собственный мир идеалов. У него своя собственная сексуальность. Взрослые совершают варварский грех, губя творческие способности ребенка похищением его мира, удушая их мертвечиной традиционных знаний и направляя их на определенные, чуждые ребенку цели. Ребенок не стремится ни к какой цели, его творчество — это игра и нежное подрастание; если ему не мешать насилием, он не воспримет ничего, кроме того, что он воистину вберет в себя; каждый предмет, до которого он дотрагивается, живет; ребенок — это мир, космос, он видит конечное, абсолютное, хотя и не может выразить это; но ребенка убивают, уча его понимать цели и приковывая его к пошлой сиюминутности, которую лживо называют действительностью!

Так говорил Ганс Зепп. Когда он начал насаж-

дать это учение в доме Фишелей, ему был уже двадцать один год, и Герда была не моложе. Кроме того, у Ганса давно не было отца, а с матерью, державшей небольшую лавку, на доходы с которой она кормила его и его сестер и братьев, он всегда был раскованно груб, так что непосредственного повода для такой философии подавленных, в защиту бедных детей, собственно, не было.

И, усваивая эту философию, Герда колебалась между мягким педагогическим интересом к воспитанию будущих людей и непосредственным воинственным использованием ее в отношении к Лео и Клементине. Ганс Зепп, однако, подходил к делу гораздо принципиальнее и провозгласил лозунг: «Мы все должны быть детьми!» То, что он так упорно настаивал на боевой позиции ребенка, объяснялось, вероятно, отчасти его ранним стремлением к самостоятельности, но главная причина была в том, что язык юношеского движения, тогда развернувшегося, был первым языком, который дал слова его душе и, как то и должен делать настоящий язык, вел от одного слова к другому и каждым говорил больше, чем ты, собственно, знаешь. Так и фраза, что мы все должны быть детьми, развивала важнейшие положения. Ребенку не нужно извращать и от-

метать свою сущность, чтобы стать матерью и отцом; это происходит только для того, чтобы быть «гражданином», рабом мира, связанным и «запрограммированным». Гражданство, таким образом, воистину старит, и ребенок противится превращению себя в гражданина — чем и устраняется трудность, заключающаяся в том, что в двадцать один год нельзя вести себя как ребенок: ведь борьба эта длится от рождения до старости и оканчивается лишь с разрушением мира гражданства миром любви.

Это была, так сказать, высшая ступень учения Ганса Зеппа, и все это Ульрих со временем узнал от Герды.

Это он, Ульрих, открыл связь между тем, что именовалось у этих молодых людей любовью, или еще содружеством, и следствиями какого-то странного, дико-религиозного или немифологического мифического состояния или просто, может быть, состояния влюбленности, которое задевало его за живое, о чем они не знали, потому что он ограничивался тем, что выставлял в смешном свете следы этого состояния в них. Так и сейчас он вступил в дискуссию с Гансом, прямо спросив его, почему он не хочет попытаться использовать параллельную акцию для содействия

«содружеству отрешенных от своего „я“».

— Потому что это недопустимо! — ответил Ганс.

Из этого у них возник разговор, который произвел бы на постороннего странное впечатление своим сходством с беседой на жаргоне преступников, хотя жаргон обоих был не чем иным, как смешанным языком мирской и религиозной влюбленности. Предпочтительнее поэтому больше передавать смысл их беседы, чем приводить подлинные их слова. Выражение «содружество отрешенных от своего „я“» было придумано Гансом, но оно все-таки понятно. Чем более самоотверженным чувствует себя человек, тем светлее и сильнее становятся окружающие вещи, чем легче он делается, тем возвышенней себя чувствует, и состояния такого рода знает, наверно, каждый; не надо только путать их с резвостью, веселостью, беззаботностью и тому подобным, ибо это только их заменители для низкого, а то даже и порочного употребления. То, подлинное состояние следовало бы, может быть, вообще называть не возвышенным, а сбросившим панцирь — панцирь собственного „я“ — объяснял Ганс. Надо различать два крепостных вала, окружающих человека. Один преодолева-

ется каждый раз уже тогда, когда человек делает что-то доброе и бескорыстное, но это лишь малый вал. Большой состоит в эгоизме даже самого самоотверженного человека; это просто-напросто первородный грех; каждое чувственное впечатление, каждое чувство, даже чувство самоотдачи в нашем исполнении таковы, что мы больше берем, чем даем, и от этого панциря своекорыстия едва ли можно как-то избавиться. Ганс привел примеры. Так, знание — не что иное, как присвоение чужого предмета; его убивают, разрывают на куски и пожирают, как животное. Понятие — это нечто убитое и ставшее неподвижным. Убеждение — это уже неизменимое, застывшее отношение. Исследование означает констатацию, утверждение. Характер означает косность, ленивое нежелание меняться. Знать человека — это все равно что больше не волноваться по его поводу. Заглянуть во что-то значит просто взглянуть на это. Истина есть успешная попытка думать объективно и бесчеловечно. Во всех этих отношениях налицо убийство, ледяной холод, потребность в собственности и окоченении, смесь своекорыстия с объективной, трусливой, коварной, ненастоящей самоотверженностью!

— И даже любовь, — спросил Ганс, хотя он знал

лишь невинную Герду, разве она была когда-либо чем-то иным, чем желанием обладать или отдаться в расчете на обладание?!

Ульрих согласился с этими не вполне однородными утверждениями осторожно и с поправками. Верно, что даже страдание и самоотверженность сберегает полушку на черный день нам самим; бледная, грамматическая, так сказать, тень эгоизма не сходит ни с какого действия, пока не существует сказуемых без подлежащих.

Но Ганс горячо это отверг. Он и его друзья спорили о том, как надо жить. Иной раз они полагали, что каждый должен жить прежде всего для себя и лишь потом для всех; другой раз они были убеждены, что по-настоящему у каждого может быть только один друг, но этому опять-таки нужен какой-то другой друг, ввиду чего содружество представлялось им круговой связью душ, наподобие спектра или других сцеплений отдельных звеньев; но больше всего им нравилось верить в существование духовного, лишь затененного эгоизмом закона принадлежности к содружеству, внутреннего, огромного, еще не использованного источника жизни, которому они приписывали фантастические возможности. Даже дерево, борющееся в лесу и укрытое лесом, не может ощу-

щать себя более смутно, чем ощущают сегодня чуткие люди темное тепло массы, ее движущую силу, невидимые, молекулярные процессы ее бессознательной сплоченности, напоминающие им при каждом вдохе, что и самый великий и самый малый не одни на свете; так было и с Ульрихом; он, конечно, ясно видел, что обузданный эгоизм, из которого строится жизнь, дает упорядоченную структуру, тогда как дыхание общности остается лишь символом неясных связей, и он лично склонялся даже к обособленности, но его странно задевало за живое, когда юные друзья Герды вещали о великой стене, через которую следует перебраться.

Ганс, то бубня, то рывками, перечислял догматы своей веры, глядя прямо вперед невидящими глазами. Неестественный разрез проходит через вселенную, деля ее, как яблоко, обе половины которого от этого засыхают. Сегодня приходится поэтому искусственным и противоестественным способом приобретать то, с чем некогда ты составлял одно целое. Но разрез этот можно уничтожить, как-то раскрывшись, как-то изменив свое поведение, ибо чем больше человек способен забыть, погасить себя, от себя отрешиться, тем больше освобождается в нем сил для содружества,

как бы высвобождаясь из неверного соединения; и одновременно, по мере своего приближения к содружеству, он непременно становится все в большей мере самим собой; ибо, слушая Ганса, можно было также узнать, что степень подлинной оригинальности заключена не в суетной обособленности, а возникает из самораскрытия и через возрастающие степени участия и самоотдачи ведет, может быть, к той высочайшей степени содружества полностью поглощенных миром и отрешенных от своего «я» людей, какой можно достигнуть этим путем! Эти фразы, которые, кажется, ничем наполнить нельзя было, заставили Ульриха замечтаться о том, как дать им реальное содержание, но он только холодно спросил Ганса, как тот практически представляет себе это самораскрытие и все прочее. У Ганса нашлись грандиозные слова; трансцендентное «я» вместо чувственного, готическое «я» вместо натуралистического, царство сущности вместо мира явлений, безусловное переживание и тому подобные громкие существительные, которые он выдавал за квинтэссенцию своего неописуемого опыта, как то, кстати сказать, обычно практикуется в ущерб делу и для повышения его авторитета. А поскольку состояние, порою, быть может, даже

часто мерещившееся ему, никогда не удавалось удержать дольше, чем на мгновения короткой задумчивости, он пошел еще дальше и заявил, что потустороннее открывается сегодня не яснее, чем внезапными вспышками, сверхфизическими картинами, которые, понятно, трудно задержать и осадком которых являются разве что великие произведения искусства; он заговорил о символах, — то было его любимое обозначение этих и других сверхъестественно огромных проявлений жизни, — и наконец о германской, дарованной тем, в ком течет германская кровь, способности создавать и созерцать символы, — так, с помощью величественного варианта формулы «старое доброе время», ему с удобством удалось объяснить, что прочное владение сущностью вещей есть утраченная современностью привилегия прошлого, а ведь это утверждение как раз и положило начало спору. Ульриха раздражала эта суеверная болтовня. Уже долгое время для него было нерешенным вопросом, чем, собственно, привлекает Ганс Герду. Она сидела рядом бледная, не принимая в разговоре деятельного участия. У Ганса Зеппа была великая теория любви, и, наверно, она, Герда, находила в ней более глубокий смысл собственного существования, Ульрих дал

теперь новый поворот разговору, заявив — со всяческими возражениями против того, чтобы такие разговоры вообще велись! — что высший подъем, ощущаемый человеком, не возникает ни при обычном эгоистическом поведении, когда присваиваешь себе все, что встречаешь, ни, как утверждают его друзья, от того, что можно назвать усилением своего «я» через самораскрытие и самоотдачу, а есть, в сущности, спокойное, как стоячая вода, состояние, в котором никогда ничего не меняется. Герда оживилась и спросила, как он это представляет себе. Ульрих ответил ей, что Ганс, хотя он и облекал свои мысли иной раз в очень прихотливый наряд, говорил все время не о чем ином, как о любви; о любви святых, о любви отшельников, о любви, вышедшей из берегов желаний, которая всегда описывалась как расторжение, ослабление, даже извращение всех мирских отношений и, во всяком случае, означает не только чувство, но изменение мышления и восприятия. Герда посмотрела на него, словно проверяя, испытал ли он каким-либо образом — ведь он знал настолько больше, чем она, — и такое, или от этого втайне любимого человека, когда он сидел здесь с нею рядом как ни в чем не бывало, исходила та странная эманация, которая

соединяет два существа при раздельности тел. Ульрих почувствовал проверку. У него было такое ощущение, словно он объясняется на чужом языке, на котором может бегло говорить дальше, но только внешне, потому что не чувствует в себе корней своей речи.

— В этом состоянии, — сказал он, — когда выходишь из границ, вообще-то поставленных твоему поведению, понимаешь все, потому что душа принимает лишь то, что относится к ней; в известном смысле ей уже заранее известно все, что она узнает, Любящие не могут сказать друг другу ничего нового; и такой вещи, как познание, для них не существует. Ибо любящий не узнает о человеке, которого он любит, ничего, кроме того, что этот человек каким-то неописуемым образом приводит его в состояние внутренней деятельности. А познать человека, которого он не любит, означает для него ввести этого человека в сферу любви, подобно тому как освещает солнце мертвую стену. А познать неодушевленный предмет не значит выведать его свойства одно за другим, а значит, что падает покров или уничтожается граница, не принадлежащие воспринимаемому миру. Неодушевленное, будучи неизвестным, но полным доверия, тоже вступает в товарищеский

союз любящих. Природа и особый дух любящих заглядывают друг другу в глаза; это два направления одного и того же действия, это течение в двух направлениях и горение с двух концов. И познать человека или вещь безотносительно к себе — это тогда вообще невозможно; ибо, принимая к сведению, беря на заметку, что-то принимаешь, что-то забираешь у вещей, они сохраняют свою форму, но внутри нее как бы распадаются, превращаются в пепел, что-то из них уходит, испаряется, и остаются только их мумии. Поэтому и не существует истины для любящих; она была бы тупиком, концом, смертью мысли, которая, пока она живет, подобна дышащему краю пламени, где свет и мрак приникают грудью к груди. Как может стать ясным, осветиться что-то в отдельности, когда светится все?! Зачем милостыня уверенности и однозначности, когда все сплошь — изобилие? И как еще можно желать чего-нибудь для себя одного, хотя бы даже и самого предмета любви, изведав, как любящие уже не принадлежат самим себе, а должны дарить себя всему, что им встретится, — им, ставшим единым четырехглазым существом? Овладев этим языком, можно затем пользоваться им без труда. Идешь словно неся свечу, нежный луч которой

падает то на один, то на другой узел жизни, и все они выглядят так, как будто в обыкновенном своем виде, при надежном будничном свете, они были лишь грубыми недоразумениями. Какой, например, невозможной кажется сразу поза слова «обладать», если отнести ее к любящим? Но разве есть что-то более изящное в желании «обладать» принципами? Или уважением своих детей? Мыслями? Самим собой? Эта грубая поза грузного зверя перед прыжком, зверя, готового подмять под себя свою жертву, есть, однако, по праву, главное и любимое выражение капитализма, и в позе этой как раз и видна связь между обладателями, владельцами, собственниками в буржуазной жизни и владельцами знаний и мастерства, в которых эта жизнь превратила своих мыслителей и художников, оставив где-то в стороне, одинокими братом и сестрой, аскетизм и любовь. И разве эти брат и сестра, когда они стоят вместе, не никчемны, не лишены цели — в отличие от полной целей жизни? Но слово «цель» — из лексикона стрелков. Не означают ли, стало быть, слова «не иметь цели» по своему первоначальному смыслу то же, что «не быть убийцей»? Достаточно, стало быть, пойти по следу языка, — заметенному, но предательскому следу! — чтобы

увидеть, как везде грубо изменившийся смысл протиснулся на место более осторожных отношений, совершенно утраченных. Это какая-то связь, которую везде можно почувствовать, но нигде нельзя ухватить; Ульрих не пожелал развивать эту тему, но и на Ганса нельзя было быть в претензии за убежденность, что если потянуть в каком-то месте, то вывернется наизнанку вся ткань, да только чутье, которое указало бы это место, утрачено. Он снова прервал и дополнил Ульриха:

— Рассматривая эти ощущения как исследователь, вы увидите в них то же, что увидел бы и банковский служащий! Все эмпирические объяснения лишь кажутся объяснениями и не выводят из круга низшего, чувственно воспринимаемого знания! Ваша любознательность хочет свести мир всего-навсего к механической скукотище так называемых сил природы! Такого рода были его возражения; реплики. Он был временами груб, временами воспламенялся. Он чувствовал, что плохо отстаивал свою позицию, и винил в том присутствие этого чужого человека, не дававшего ему быть наедине с Гердой, ибо с глазу на глаз с ней те же слова прозвучали бы совершенно иначе, вознеслись бы, как сверкающие струи

фонтана, как кружащие соколы, это он знал; он чувствовал, что у него сегодня, в сущности, большой день. В то же время он очень удивлялся и злился, слыша, как легко и подробно говорит Ульрих вместо него. В действительности Ульрих говорил отнюдь не как беспристрастный исследователь, он сказал гораздо больше того, на чем готов был стоять, хотя у него и не было впечатления, что он сказал что-либо, чему сам не верил. Его окрыляла подавленная злость на это. Чтобы так говорить, нужно странно приподнятое, слегка горячечное состояние, а настроение Ульриха было промежуточным между таким состоянием и тем, которое вызывал вид Ганса с его жирными взъерошенными волосами, неухоженной кожей, некрасиво назойливыми движениями, и его потоком слов, в пене которого проглядывало все-таки что-то сокровенное, что-то вроде содранной словно бы с сердца кожи; но если быть точным, то Ульрих всю свою жизнь пребывал между двумя такими впечатлениями от этой материи, он всегда был способен говорить о ней так же свободно, как говорил сегодня, и наполовину верить в это, но он никогда не выходил за пределы этой шутливой легкости, потому что не верил в смысл своих слов, и сейчас тоже его удовольствие от

разговора было равно его неудовольствию от него. Но Герда не обращала внимания на насмешливые возражения, которые он потому, словно пародист, порою вставлял, а находилась только под впечатлением, что теперь он раскрылся. Она смотрела на него почти боязливо. «Он гораздо мягче, чем в том признается», — думала она, когда он говорил, и чувство, похожее на то, которое она испытала бы, если бы младенец искал ее грудь, обезоруживало Герду. Ульрих поймал ее взгляд. Он знал почти все, что происходило между нею и Гансом, потому что она была напугана этим и испытывала потребность облегчить свою душу хотя бы намеками, которые Ульрих легко мог дополнить. Они видели в обладании друг другом, обычно считающемся у молодых влюбленных целью, начало омерзительного духовного капитализма и думали, что презирают физическую страсть, но презирали и здравомыслие, находя его, как буржуазный идеал, подозрительным. Так возникла нефизическая или полуфизическая поглощенность друг другом; они пытались друг друга «утвердить», как они это называли, и чувствовали то трепетно-нежное единение душ, которое возникает оттого, что два человека глядят друг на друга, проскальзывают в волны,

невидимо играющие в голове и груди другого, и в миг, когда они уверены, что понимают друг друга, чувствуют, что каждый носит другого в себе и неотделим от него. В часы не столь возвышенные они довольствовались, однако, и обыкновенным восхищением друг другом; тогда они только напоминали друг другу знаменитые картины и сцены и, когда целовались, удивлялись тому, что — повторяя одно гордое изречение — на них смотрят тысячелетия. Ибо они целовали друг друга; присущее любви грубое чувство корчащегося в теле «я» они хоть и объявляли таким же низменным, как корчи желудка, но их части тела не очень-то пеклись о том, что скажут их души, и прижимались друг к другу на собственную ответственность. Каждый раз после этого Ганс и Герда бывали и полной растерянности. Хрупкая их философия не устаивала перед сознанием, что никого нет поблизости, перед полумраком комнат, перед буйно растущей притягательной силой прижавшихся друг к другу тел, и особенно Герду — как девушка, она была старшей, — желание полноты объятия охватывало с такой простодушной мощью, какую, наверно, чувствует дерево, которому что-то мешает цвести весной. Эти половинчатые объятия, пресные, как детские поцелуи, и не

имеющие границ, как ласки стариков, оставляли их каждый раз разбитыми. Ганс смирялся с этим легче, ибо смотрел на это, когда это проходило, как на испытание убеждений. «Нам не дано обладать, — учил он, — мы странники, шагающие от ступени к ступени»; а замечая, как Герда вся дрожит от неудовлетворенности, он, не колеблясь, усматривал в этом слабость, а то даже и рецидив негерманского происхождения и представлялся себе угодным богу Адамом, мужскому сердцу которого снова суждено быть отторгнутым от веры его бывшим ребром. Герда презирала его тогда. И потому, наверно, во всяком случае прежде, как можно больше рассказывала об этом Ульриху. Она подозревала, что мужчина сделал бы больше и меньше, чем Ганс, который, обидев ее, прятал, как ребенок, в ее коленях свое залитое слезами лицо; и, гордясь этим опытом и чувствуя в то же время, как он ей надоел, она посвящала в него Ульриха в боязливой надежде, что тот разрушит своими речами эту мучительную красоту.

Ульрих, однако, редко говорил с нею так, как она того ожидала, он обычно насмешливо охлаждал ее, ибо хотя Герда отказывала ему поэтому в доверии, прекрасно знал, что ей постоянно хотелось быть ему преданной и что ни Ганс, ни

кто-либо другой не имели над ее душой такой власти, какую мог бы иметь он. Он оправдывал себя тем, что и любой другой настоящий мужчина на его месте подействовал бы на нее избавляюще после мутного грязнули Ганса. Но пока он все это обдумывал и вдруг соотнес и живо почувствовал, Ганс собрался с мыслями и попытался еще раз перейти в наступление.

— В общем, — сказал он, — вы совершили величайшую ошибку, какую вообще можно совершить; вы пытаетесь выразить понятиями то, что порой хоть чуть-чуть, а приподнимает мысль над понятиями; но в этом, наверно, и состоит разница между учеными мужами и нами. Сперва надо научиться этим жить, а потом уж, наверно, научишься думать об этом! — прибавил он гордо, и когда Ульрих улыбнулся, у него вырвалось карающей молнией: — Иисус был ясновидцем в двенадцать лет, ему не надо было стать сперва доктором наук!

Эти слова спровоцировали Ульриха, вопреки его долгу молчать, дать Гансу совет, выдававший осведомленность, которой он, Ульрих, мог быть обязан только Герде. Он возразил Гансу:

— Не знаю, почему вы, если хотите этим жить, не доходите в этом до конца. Я бы заключил Гер-

ду в объятия, отбросил бы все опасения своего разума и не разжимал объятий до тех пор, пока наши тела либо не испепелятся, либо, следуя за метаморфозой сознания, не превратятся в самих себя, как мы того и вообразить не можем!

Ганс, уколотый ревностью, взглянул не на него, а на Герду. Герда побледнела и смутилась. Слова «я бы заключил Герду в объятия и не отпускал» произвели на нее впечатление тайного обещания. В этот миг ей было совершенно безразлично, как наиболее последовательно представить себе «другую жизнь», и она была уверена: захоти Ульрих по-настоящему, он сделал бы все так, как следовало бы. Ганс, разгневанный предательством Горды, которое он чувствовал, отрицал, что то, о чем говорит Ульрих, удастся: не та эпоха, заявлял он, и первые души в точности так же, как первые аэропланы, должны пускаться в полет с горы, а не с равнинной эпохи. Сначала, может быть, должен прийти человек, который раскрепостит, избавит других от их пут, а уж потом удастся самое высшее! Он не считал вполне решенным, что этим раскрепощающим спасителем никак не может быть он, но это было его дело, а вообще-то он не верил в способность нынешнего убожества выдвинуть такую фигуру. Тут

Ульрих что-то сказал о том, сколько спасителей налицо уже сегодня. Каждый приличный глава какого-нибудь клуба уже слывет таковым! Он был убежден, что, вернись ныне сам Христос, он застал бы еще худшую картину, чем в тот раз; озабоченные нравственностью газеты и книжные объединения нашли бы его тон недостаточно задушевным, и большая мировая пресса вряд ли бы предоставила ему свои столбцы!

Все тем самым опять повторилось сначала, разговор вернулся к исходному положению, и Герда увяла.

Но одно изменилось, Ульрих, хоть он и не подавал виду, немного запутался. Его мысли были далеки от его слов. Он посмотрел на Герду. Лицо ее обострилось, кожа казалась усталой и тусклой. Ему вдруг ясно увиделось в ней что-то стародевическое, хотя оно и всегда, наверно, играло главную роль в той скованности, что мешала ему сойтись с этой девушкой, любившей его. Тут сказалось, конечно, и воздействие Ганса с полуплотским происхождением его мечтаний о содружестве, в которых тоже, пожалуй, было что-то не совсем далекое от стародевического строя чувств. Герда не понравилась Ульриху, и все же ему захотелось продолжить разговор с

ней. Это напомнило ему, что он приглашал ее к себе. Она ничем не дала понять, забыла ли она его приглашение или еще помнит о нем, а он не нашел случая тайком спросить ее. Это оставило в нем чувство беспокойного сожаления и вместе с тем облегчения, как бывает, когда минует опасность, слишком поздно распознанная.

114
Обстановка обостряется. Арнгейм очень милостив к генералу Штумму. Диотима делает приготовления к отбытию в беспредельность. Ульрих фантазирует о возможности жить так же, как читаешь

Его сиятельству было крайне желательно, чтобы Диотима набралась сведений о знаменитом триумфальном шествии Макарта,[33] объединившем в энтузиазме всю Австрию в семидесятых годах; он еще хорошо помнил увешанные коврами повозки, лошадей в тяжелой сбруе, трубачей

[33] Примечания: 33
Макарт Ганс (1840–1884) — австрийский художник, писавший в патетически пышном стиле картины на мифологические и исторические сюжеты.

и гордость, которой наполнял людей весь этот средневековый, тяжелый, вырывавший их из обыденности реквизит. Так получилось поэтому, что Диотима, Арнгейм и Ульрих выходили из придворной библиотеки, где они искали материалы того времени об этом событии. Как и предсказывала, надув губы, Диотима его сиятельству, результат никуда не годился; таким псевдодуховным хламом нельзя было уже вырвать людей из обыденности, и красавица объявила своим провожатым о желании порадоваться яркому солнцу и 1914 году, который, далеко-далеко от той истлевшей эпохи, начался уже несколько недель назад. Диотима на лестнице заявила, что хочет пойти домой пешком, но, едва выйдя наружу, они встретили генерала Штумма, направлявшегося к порталу библиотеки и, поскольку он немало гордился тем, что его застали за такой научной деятельностью, сразу же выразившего готовность повернуть и умножить своей особой свиту Диотимы на пути домой.

Поэтому уже после нескольких шагов Диотима обнаружила, что устала, и пожелала поехать. Но свободных экипажей не было видно, и они все стояли перед библиотекой на прямоугольной площади, замкнутой с трех сторон великолепными

старыми фасадами и открытой с четвертой, где, перед низким, вытянутым в длину особняком, по блестевшей, как каток, асфальтированной улице мчались автомобили и коляски, не отвечавшие на кивки и знаки, которыми они подзывали их с упорством жертв кораблекрушения, пока не устали или не забыли это делать, после чего только изредка вяло повторяли свои попытки. Арнгейм сам нес большую книгу под мышкой. Этот жест доставлял ему радость, выражая одновременно снисходительное и почтительное отношение к духовности. Он оживленно говорил с генералом.

— Я рад встретить и в вашем лице завсегдатая библиотеки; надо время от времени навещать дух в его собственном доме, — пояснил он, — но сегодня это стало редкостью среди людей с положением!

Генерал Штумм ответил, что он хорошо знаком с этой библиотекой, Арнгейм нашел это похвальным. — Теперь остались почти одни писатели, и нет людей, которые читали бы книги, — продолжал он. — Задавались ли вы, господин генерал, вопросом, сколько каждый год печатают книг? Насколько я помню, более ста ежедневно в одной Германии. И больше тысячи журналов основывается ежегодно! Каждый пишет; каждый

пользуется любой мыслью как своей собственной, если она подходит ему; никто не думает об ответственности за все в целом! С тех пор, как церковь утратила свое влияние, нет больше авторитетов в нашем хаосе. Нет модели образования и нет образовательной идеи. При этих обстоятельствах не приходится удивляться, что чувства и мораль дрейфуют без якоря и самый твердый человек начинает шататься!

У генерала пересохло во рту. Нельзя было сказать, что доктор Арнгейм говорил действительно с ним; просто человек стоял на площади и думал вслух. Генерал вспомнил, что многие люди на улице разговаривают, спеша куда-нибудь, сами с собой; вернее сказать, многие штатские, ибо солдата взяли бы под арест, а офицера отправили бы в психиатрическую лечебницу. На Штумма производило неприятное впечатление публичное философствование, так сказать, посреди имперской столицы. Кроме обоих этих мужчин, на площади на солнце стоял еще один немой, и он был из бронзы и стоял на большом камне; генерал не помнил, кого он изображает, да и вообще заметил его сейчас впервые. Арнгейм, поймав взгляд генерала, осведомился, кто это. Генерал извинился. — А ведь его поставили здесь, чтобы

мы его чтили! — заметил великий муж. — Но так уж оно, видно, устроено! Каждую минуту мы вращаемся среди установлений, вопросов и требований, зная только последнюю их частицу, и, стало быть, настоящее непрестанно захватывает прошлое; проваливаясь, если можно так сказать, глубже, чем по колено, в подвал минувшего, мы воспринимаем это как самое что ни на есть настоящее время!

Аргейм улыбнулся, он вел светскую беседу. Его губы непрестанно мельтешили на солнце, огоньки у него в глазах мелькали, как на сигнальщем пароходе. Штумму стало не по себе; ему трудно было снова и снова показывать свое внимание при столь многочисленных и необычных тематических поворотах, стоя в мундире на этой площади, как на подносе, у всех на виду. В щелях между камнями мостовой росла трава; она была прошлогодняя и выглядела неправдоподобно свежей, как труп, лежавший в снегу; это вообще было чрезвычайно странно, и как-то тревожило, что тут между камнями росла трава, тогда как всего в нескольких шагах отсюда асфальт был на современный манер до блеска отшлифован автомобилями. Генерал начал страдать от трусливой мысли, что, если ему еще долго придется

слушать, он, чего доброго, упадет на колени в станет у всех на виду щипать зубами траву. Ему было неясно почему; но в поисках защиты он поискал глазами Ульриха и Диотиму. Те укрылись под тонкой вуалью тени, обвившей угол стены, и только слышно было, как спорят их до неразборчивости тихие голоса. — Это безотрадная точка зрения! — сказала Диотима.

— Что? — спросил Ульрих, скорее машинально, чем с любопытством.

— Но ведь существуют же на свете индивидуальности!

Ульрих попытался заглянуть ей сбоку в глаза.

— Ах, господи, — сказал он, — мы уже говорили об этом!

— У вас нет сердца! А то бы вы не могли всегда так говорить! Она сказала это мягко. Согревшийся воздух поднимался от каменных плит вдоль ее ног, которые были недостижимы, не существовали для мира, окутанные длинными юбками, как ноги статуи. Ничто не показывало, что она это замечала. Это была нежность, не имевшая никакого отношения ни к мужчине, ни к кому-либо вообще. Ее глаза побледнели. Возможно, однако, что такое впечатление складывалось просто от ее сдержанности в минуту, когда она была открыта

взглядам прохожих.

Она повернулась к Ульриху и сказала с трудом: — Если женщине надо выбирать между долгом и страстью, на что же ей опереться, как не на свой характер?

— Вам не надо выбирать! — возразил Ульрих.

— Вы позволяете себе слишком много; я говорила не о себе! — прошептала его кузина.

Поскольку на это он ничего не ответил, они одинаково враждебно поглядели вдаль через площадь. Потом Диотима спросила: — Может ли, по-вашему, то, что мы называем душой, выйти из тени, в которой оно обычно находится?

Ульрих посмотрел на нее недоумевающе.

— У особых и привилегированных людей, — добавила она.

— Ах, вам нужна информация? — спросил он скептически. — Не познакомил ли вас Арнгейм с каким-нибудь спиритом?

Диотима была разочарована.

— Не ожидала, что вы так превратно поймете меня! — упрекнула она его. Говоря «выйти из тени», я хотела сказать — из несущественности, из этой мерцающей скрытости, в которой мы иногда чуем необыкновенное. Это расстилается, как сеть, мучая нас, потому что и не держит, и

не отпускает. Не думаете ли вы, что были времена, когда дело обстояло иначе? Внутренняя жизнь проступала сильнее; отдельные люди шли просветленным путем: короче, они шли, как говорили прежде, святым путем, и чудеса становились реальностью, потому что они не что иное, как всегда имеющийся другой вид реальности!

Диотима удивилась уверенности, с которой это и без какого-либо особого настроения, словно стоя на твердой почве фактов, удалось высказать. Ульрих втайне злился, но по сути он был испуган до глубины души. «Дошло уже, значит, до того, что эта гигантская курица говорит в точности так же, как я?» — подумал он. Он снова представил себе Диотиму и свою душу — в облике большой курицы, склевывающей маленького червячка. Его охватил давний-предавний детский ужас перед Великой Женщиной, смешанный с другим странным ощущением; ему было приятно, что глупое согласие с человеком, находящимся с ним в родстве, как бы истощает его духовно. Согласие было, конечно, только случайностью и нелепостью; он не верил ни в магию родства, ни в то, что он может и в самом жестоком хмелю принять кузину всерьез. Но в последнее время с ним происходили перемены; он делался мягче,

его внутренняя позиция, которая всегда была атакующей, ослаблялась, обнаруживая склонность трансформироваться, перейти в желание нежности, мечты, родства и бог весть чего еще, а выражалось это и в том, что противоположное, боровшееся с такой мягкостью настроение, настроение злой воли, прорывалось у него иногда ни с того ни с сего.

Поэтому он и теперь стал издеваться над кузиной.

— Я считаю вашим долгом, если вы в это верите, стать либо тайно, либо открыто, но как можно скорее возлюбленной Арнгейма «целиком и полностью»! — сказал он ей.

— Пожалуйста, замолчите! Говорить об этом я не дала вам права! — осадила его Диотима.

— Я должен об этом говорить! До недавних пор мне было неясно, какие, в сущности, отношения у вас с Арнгеймом. Но теперь я вижу все ясно, и вы кажетесь мне человеком, который всерьез хочет полететь на Луну; я никак не думал, что вы способны на такое безумие.

— Я говорила вам, что способна терять меру! — Диотима попыталась бросить смелый взгляд в воздух, но солнце, заставив ее сощуриться, придало ее глазам почти веселое выражение.

— Это бредни любовного голода, — сказал Ульрих, — которые с насыщением проходят. — Он спрашивал себя, каковы намерения Арнгейма в отношении кузины. Может быть, тот жалел о своем предложении и пытался прикрыть отступление фарсом? Но тогда было бы проще уехать и больше не возвращаться, ведь необходимой для этого бесцеремонности тому, кто всю жизнь делал дела, занимать не пришлось бы? Он вспомнил, что замечал у Арнгейма признаки, указывающие у немолодого человека на страсть; лицо его бывало серо-желтым, дряблым, усталым, оно выглядело как комната, где в полдень еще не застелена постель. Он догадался, что скорее всего это объясняется разрушением, которое учиняют две страсти примерно одинаковой силы, когда они безрезультатно борются за главенство. Но, не будучи способен представить себе властолюбия такой силы, как у Арнгейма, он не понимал и силы, с какой сопротивлялась этой страсти любовь.

— Вы странный человек! — сказала Диотима. — Всегда не такой, как ожидаешь! Не сами ли вы говорили мне о любви ангельской?

— А вы думаете, что так действительно можно себя вести? — спросил Ульрих рассеянно.

— Конечно, так, как вы описали, вести себя нельзя!

— Значит, Арнгейм любит вас ангельской любовью? — Ульрих начал тихо смеяться.

— Не смейтесь! — сердито попросила Диотима, чуть ли не прошипев.

— Вы же не знаете, почему я смеюсь, — извинился он. — Смеюсь я, как говорится, от волнения. Вы и Арнгейм — натуры тонкие; вы любите стихи; я совершенно убежден в том, что иногда вы чувствуете некое дуновение; дуновение чего-то; в том-то и вопрос, чего именно. И вот вы со всей дотошностью, на какую способен ваш идеализм, хотите тут докопаться до самого основания?!

— Разве не вы же всегда требуете точности и основательности?! — отпарировала Диотима.

Ульрих немного смутился.

— Вы сумасшедшая! — сказал он. — Простите мне это слово, вы сумасшедшая! А вам нельзя сходить с ума!

Арнгейм тем временем сообщил генералу, что вот уже два человеческих века мир охвачен величайшим переворотом: душа сходит на нет. Это задело генерала за живое. Господи, это было опять что-то новое! По правде говоря, до этого часа он, несмотря на Диотиму, думал, что «души» вообще

нет; в кадетском корпусе и в полку плевали на такую поповскую дребедень. Но когда фабрикант пушек и брони заговорил об этом так спокойно, словно он видит это где-то рядом с собой, глаза у генерала выкатились и мрачно завращались в прозрачном воздухе.

Но Арнгейм не заставил просить у себя разъяснений; слова стекали у него с губ, лились сквозь бледно-розовую щель между коротко остриженными усами и эспаньолкой. Он сказал, что уже со времен распада церкви, то есть примерно в самом начале буржуазной культуры, душа попала в процесс усыхания и старения. С тех пор она утратила бога, прочные ценности и идеалы, и сегодня человек дошел до того, что живет без морали, без принципов, даже, в сущности, ничего не испытывая.

Генерал не совсем понял, почему нельзя испытать что-либо, если мораль у тебя отсутствует. Но Арнгейм раскрыл большой, в переплете из свиной кожи том, который держал в руке; том содержал дорогостоящее факсимиле рукописи, не выдававшейся на дом даже такому необыкновенному смертному, как он. Генерал увидел ангела, чьи горизонтальные крылья простирались на две страницы, который стоял посреди листа,

покрытого, кроме того, темной землей, золотым небом и странными, похожими на облака пятнами красок; он глядел на репродукцию одной из самых волнующих и великолепных картин раннего средневековья, но так как он этого не знал и зато прекрасно разбирался в охоте на птиц и ее изображениях, ему показалось только, что длинношеее существо с крыльями, не являющееся ни человеком, ни вальдшнепом, означает какое-то заблуждение, на которое и хочет обратить внимание его собеседник.

Между тем Арнгейм указал пальцем на картину и задумчиво сказал:

— Вот что хочет вернуть миру создательница австрийской акции!..

— Так, так?! — отвечал Штумм. Он это, значит, явно недооценил и должен был теперь высказываться осторожно.

— Эта величавость при совершенной простоте, — продолжал Арнгейм, наглядно показывает, что утрачено нашей эпохой. Что по сравнению с этим наша наука? Мешанина! Наше искусство? Крайности без связующего их тела! Тайны единства недостает нашему духу, и поэтому, понимаете, меня волнует этот австрийский замысел подарить миру соединяющий пример, общую

для всех мысль, хотя я не считаю его вполне осуществимым. Я немец. Во всем мире сегодня все шумно и грубо; по в Германии еще шумнее. Во всех странах люди мучаются с раннего утра до поздней ночи, независимо от того, работают ли они или развлекаются; но у нас они встают еще раньше и ложатся спать еще позже. Во всем мире дух расчетливости и насилия утратил связь с душой; но у нас в Германии больше всего коммерсантов и самая сильная армия. — Он восхищенно оглядел площадь. — В Австрии все это еще не так развито. Здесь еще есть прошлое, и люди сохранили что-то от природной интуиции. Если это вообще еще возможно, то лишь отсюда могло бы начаться освобождение немецкого естества от рационализма. Но боюсь, — прибавил он со вздохом, — это не удастся. Великая идея встречает сегодня слишком много препятствий; великие идеи годятся ныне лишь на то, чтобы предохранять друг друга от злоупотребления ими, мы живем, так сказать, в состоянии вооруженного идеями морального мира.

Он улыбнулся своей шутке. А потом ему пришло на ум еще кое-что.

— Знаете, та разница между Германией и Австрией, о которой мы сейчас говорили, всегда

напоминает мне игру на бильярде: в бильярде тоже всегда промахиваешься, если полагаешься на расчет, а не на чувство!

Угадав, что он должен чувствовать себя польщенным словами «вооруженный моральный мир», генерал пожелал доказать свое внимание. В бильярде он кое-что смыслил.

— Позвольте, — сказал он поэтому, — я играю в карамболи и в пирамиду, но я ни разу не слыхал о существовании разницы между немецкой и австрийской техникой игры!

Арнгейм закрыл глаза и подумал.

— Я сам не играю в бильярд, — сказал он потом, — но я знаю, что шар можно ударить кием сверху или снизу, справа или слева; можно попасть в центр второго шара, но можно его только задеть; можно ударить сильнее или слабее; сделать «накат» более или менее сильным; и наверняка есть еще много таких возможностей. И поскольку каждый из этих элементов я могу представить себе в любых вариантах, то комбинаций получается чуть ли не бесконечное множество. Захоти я определить их теоретически, я должен был бы, кроме законов математики и механики твердых тел, учитывать теорию эластичности; я должен был бы знать коэффициенты матери-

ала; влияние температуры; я должен был бы обладать точнейшими методами измерения для координации и градации моих моторных импульсов; я должен был бы определять расстояния с точностью нониуса; мое умение комбинировать должно было бы превосходить быстротой и надежностью логарифмическую линейку; не говорю уж о допусках на основании теории ошибок, о поле рассеивания, о том, что сама цель — верное столкновение двух шаров — не однозначна, а представляет собой располагающуюся вокруг какого-то среднего значения группу достаточных условий.

Аргейм говорил медленно и принуждая ко вниманию, так, словно что-то лилось из капельницы в стакан; он не избавлял своего визави ни от каких подробностей.

— Вы видите, стало быть, — продолжал он, — что я должен был бы иметь исключительно такие свойства и делать исключительно такие вещи, которых я никак не могу иметь и делать. Вы, конечно, в достаточной мере математик, чтобы судить, какая это была бы пожизненная задача — рассчитать таким путем хотя бы ход простейшего карамболя; разум просто бросает нас на произвол судьбы! Тем не менее я подхожу к бильярдному

столу с папироской во рту, с мелодией в голове, не снимая, так сказать, шляпы, почти не даю себе труда рассмотреть ситуацию, ударяю кием и решаю задачу! То же самое, генерал, происходит в жизни несметное число раз! Вы не только австриец, но еще и офицер, вы должны понимать меня; политика, честь, война, искусство, решающие процессы жизни вершатся по ту сторону разума. Величие человека уходит корнями в иррациональность. Мы, коммерсанты, тоже не считаем, как вы, может быть, думаете, нет, мы — я имею в виду, конечно, ведущих людей; маленькие, те еще как-то считают свои гроши, — мы учимся смотреть на свои действительно успешные идеи как на тайну, глумящуюся над всяким расчетом. Кто не любит чувство, мораль, религию, музыку, стихи, форму, дисциплину, рыцарственность, искренность, открытость, терпимость — тот, поверьте мне, никогда не станет коммерсантом большого масштаба. Поэтому я всегда восхищался воинским сословием; особенно австрийским, опирающимся на древнейшие традиции, и очень рад, что вы оказываете поддержку мадам. Это меня успокаивает. Ее влияние, наряду с влиянием нашего молодого друга, чрезвычайно важно. Все великие вещи основаны на одних и тех же

свойствах; великие обязанности — это благословение, генерал!

Он непроизвольно пожал руку Штумма и добавил:

— Очень мало людей знает, что действительно великое всегда лишено основания; я хочу сказать: все сильное просто!

У Штумма фон Бордвера сперло дыхание; не поняв почти ни слова, он почувствовал потребность броситься в библиотеку и часами справляться в книгах насчет всех этих идей, делясь которыми великий человек явно хотел польстить ему. Наконец, однако, эта буря в его душе сменилась вдруг поразительной ясностью. «Черт побери, да ведь он чего-то от тебя хочет!» — сказал он себе. Он поднял глаза. Арнгейм все еще держал книгу в обеих руках, но теперь делал серьезные попытки остановить какой-нибудь экипаж; лицо у него было оживленное и слегка покрасневшее, каким бывает лицо человека, только что обменявшегося мыслями с кем-либо. Генерал молчал, как молчат из почтительности, после того как произнесено великое слово; если Арнгейм чего-то хотел от него, то ведь и генерал Штумм мог хотеть от Арнгейма чего-то, что пошло бы на пользу императорской службе. Эта мысль открывала такие

возможности, что Штумм пока не стал и задумываться, все ли действительно так и есть. Но подними вдруг ангел в книге свои намалеванные крылья, чтобы дать заглянуть под них умному генералу Штумму, тот не почувствовал бы себя смущеннее и счастливее!

На углу Диотимы и Ульриха был поставлен тем временем такой вопрос: следует ли женщине, находящейся в трудном положении Диотимы, пойти на супружескую неверность или же лучше сделать нечто третье и промежуточное, то есть принадлежать телом одному, а душой другому мужчине, или даже телом вообще никому; это третье состояние не имело, так сказать, текста, оно выливалось только в песню без слов, в какую-то высокую музыку. И Диотима все еще строго следила за тем, чтобы говорить ни в коем случае не о себе самой, а только о «женщине» вообще; ее взгляд каждый раз грозно останавливал Ульриха, когда его слова пытались слить этих двух в одно целое.

Поэтому он говорил обиняками.

— Видели ли вы когда-нибудь собаку? — спросил он. — Это вам только кажется! Вы видели всегда лишь нечто такое, что вам более или менее справедливо представлялось собакой. У этого

существа нет всех собачьих свойств и есть что-то личное, чего опять-таки нет у другой собаки. Как же нам в жизни делать «правильные» вещи? Мы можем делать лишь что-то, что никогда не есть правильное, а всегда больше или меньше, чем что-то правильное.

Разве хоть один кирпич падал когда-либо с крыши так, как то предписано законом? Никогда! Даже в лаборатории вещи не ведут себя так, как им положено. Они хаотически отклоняются от нормы по всем направлениям, и это в какой-то мере фикция — считать сей факт погрешностью в исполнении и полагать, что истинное значение скрыто где-то посерединке.

Или, например, находят какие-то определенные камни и называют их из-за общих им свойств алмазом. Но один камень из Африки, а другой из Азии. Один выкопан из земли негром, другой — азиатом. Может быть, различие это так важно, что оно уничтожает всякую общность? В уравнении «алмаз плюс обстоятельства все равно в итоге алмаз» потребительная стоимость алмаза так велика, что значение обстоятельств рядом с ней исчезает; но можно представить себе обстоятельства духовного свойства, при которых это отношение становится обратным.

Все причастно к общему, но вдобавок оно и особенно. Все соответствует истине, но вдобавок оно и дико, и ни с чем не сравнимо. Мне представляется это так, что личное свойство любого существа есть именно то, что не совпадает ни с чем другим. Я как-то сказал вам, что в мире остается тем меньше личного, чем больше истин мы открываем, ибо давно уже идет борьба против индивидуального, которое все больше теряет почву. Не знаю, что останется от нас под конец, когда все будет рационализировано. Может быть, ничего, но, может быть, тогда, когда исчезнет ложное значение, которое мы придаем личности, мы вступим в какую-то новую систему оценок с таким же энтузиазмом, с каким пускаются на самую великолепную авантюру.

Так как же вы решаете? Надо ли «женщине» поступать в соответствии с законом? Тогда уж пускай руководствуется гражданским законом, и дело с концом. Мораль — это вполне правомерная средняя и коллективная величина, соблюдать которую нужно скрупулезно и без отклонений, коль скоро ее признаешь. Единичные случаи, однако, морального решения не допускают, морали у них тем меньше, чем больше проникнуты они неисчерпаемостью мира!

— Вы произнесли целую речь! — сказала Диотима. Чувствуя известную удовлетворенность высотой этих предъявленных ей требований, она захотела все же показать ему свое превосходство тем, что не болтает, как он, что попало.

— Так что же делать женщине в том положении, о котором мы говорили, в реальной жизни? — спросила она.

— Предоставить свободу действий! — ответил Ульрих.

— Кому?

— Всему решительно! Ее мужу, ее возлюбленному, ее самоотверженности, ее смеси альтернатив.

— Вы в самом деле представляете себе, что это значит? — спросила Диотима, с болью вспоминая при этих его словах, как ее высокой готовности, может быть, отказаться от Арнгейма еженощно подрезал крылья тот простой факт, что она спала в одной комнате с Туцци. Что-то от этой мысли кузен, видимо, уловил, ибо спросил напрямик: — Хотите попробовать со мной?

— С вами? — ответила Диотима протяжно; она пыталась защититься безобидной насмешливостью: — Может быть, опишете, как вы это, собственно, представляете себе?

— Извольте! — серьезно согласился Ульрих. — Вы ведь очень много читаете, не так ли?

— Конечно. — Что вы при этом делаете? Я сам и отвечу: ваше предвзятое мнение отбрасывает то, что вам не подходит. То же сделал уже и автор. Точно так же вы опускаете что-то во сне или в воображении. Констатирую, стало быть: красота или волнение приходят в мир в результате того, что что-то отбрасывается. Наша позиция среди реальности — это явно некий компромисс, некое среднее состояние, когда чувства мешают друг другу страстно развиться и немножко сливаются в серости. Дети, у которых такой позиции еще нет, поэтому счастливее и несчастнее взрослых. Сразу добавлю: глупцы тоже отбрасывают; ведь глупость делает человека счастливым. Итак, предлагаю прежде всего — попробуем полюбить друг друга, словно мы персонажи писателя, встречающиеся на страницах книги. Отбросим, значит, во всяком случае всю драпировку, весь жировой слой, который округляет действительность! Диотиму тянуло возражать; ей хотелось теперь увести разговор от слишком личной темы, а кроме того, она хотела показать, что кое-что понимает в затронутых вопросах.

— Прекрасно, — ответила она, — но утвержда-

ют, что искусство — это передышка, это отдых от действительности, назначение которого — возвращать нас к ней освеженными!

— А я настолько неразумен, — возразил кузен, — что утверждаю: никаких «передышек» быть не должно! Что это за жизнь, которую нужно время от времени продырявливать передышками! Стали бы мы протыкать дырки в картине, потому что она предъявляет к нам слишком высокие требования?! Разве в вечном блаженстве каникулы предусмотрены? Признаюсь вам, что мне даже мысль о сне иногда неприятна.

— Вот видите, — прервала его Диотима, воспользовавшись этим примером, как неестественно то, что вы говорите! Человек без потребности в покое и передышке! Никакой пример не выявит разницы между вами и Арнгеймом лучше, чем этот! С одной стороны, ум, не знающий тени вещей, а с другой — ум, развивающийся из полной человечности, с ее теневыми и солнечными сторонами!

— Несомненно, я преувеличиваю, — признал Ульрих невозмутимо. — Вы увидите это еще яснее, когда мы войдем в детали. Давайте подумаем, например, о великих писателях. Можно направлять свою жизнь по ним, но жизни из

них не выжмешь. Тому, что их волновало, они придали такую твердую форму, что оно, вплоть до промежутков между строчками, похоже на спрессованный металл. Но что, собственно, они сказали? Никто этого не знает. Они сами никогда не знали этого вполне однозначно. Они как поле, над которым летают пчелы; в то же время они сами — некий полет. В их мыслях и чувствах есть все степени перехода между истинами — или, если угодно, заблуждениями, — которые можно как-то обозначить, и переменчивыми существами, которые самовольно приближаются к нам или ускользают от нас, когда мы хотим их рассмотреть. Невозможно высвободить мысль книги из страницы, облекающей эту мысль. Она подмигивает нам, как лицо человека, которое, проносясь мимо нас в цепи других лиц, лишь на миг предстает нам полным значения. Я, наверно, опять немного преувеличиваю; но теперь мне хочется вас спросить: что же из происходящего в нашей жизни не сходно с тем, что я описал? Молчу о точных, измеримых и поддающихся определению впечатлениях, но все другие понятия, на которых мы строим свою жизнь, — это не что иное, как застывшие метафоры. Между сколькими представлениями колеблется и бол-

тается хотя бы уже такое простое понятие, как мужественность! Это как облачко пара, меняющее свою форму от малейшего дуновения, и нет ничего твердого — ни твердого впечатления, ни твердого порядка. Значит, когда мы в литературе просто, как я сказал, отбрасываем то, что нам не подходит, мы тем самым восстанавливаем первоначальное состояние жизни.

— Милый друг, — сказала Диотима, — мне эти соображения кажутся беспредметными.

Ульрих на миг умолк, и слова эти были вставлены в паузу.

— Да, пожалуй. Надеюсь, я говорил не слишком громко, — ответил он.

— Вы говорили быстро, тихо и долго, — подхватила она немного насмешливо. — Но тем не менее вы не сказали ни слова из того, что хотели сказать. Знаете, что вы объясняли мне снова? Что реальность надо отменить! Признаюсь вам, услыхав от вас это замечание впервые, — кажется, во время одной из наших поездок, — я долго не могла забыть его; не знаю почему. Но как вы хотите к этому приступить, вы, к сожалению, опять не сказали!

— Ясно, что тогда мне пришлось бы говорить минимум еще так же долго. Но разве вы ожи-

даете, что это будет просто? Если не ошибаюсь, вы говорили о том, что хотели бы улететь с Арнгеймом в некую святость. Вы представляете это себе, значит, как какую-то вторую реальность. А то, что я говорил, означает, что нужно вновь овладеть нереальностью; у реальности нет больше смысла.

— Уж с этим-то Арнгейм вряд ли бы согласился! — сказала Диотима.

— Конечно, не согласился бы; в этом и состоит наша противоположность друг другу. Тому факту, что он ест, пьет, спит, является великим Арнгеймом и не знает, жениться ему на вас или нет, он хочет придать смысл и всю свою жизнь собирал для этого все сокровища мысли!

Ульрих сделал вдруг паузу, которая перешла в молчание. Через некоторое время он спросил другим тоном:

— Не можете ли вы мне сказать, почему я веду этот разговор именно с вами? Я вспоминаю сейчас свое детство. Я был, вы не поверите, славным ребенком; мягким, как воздух теплой лунной ночью. Мне ничего не стоило влюбиться в какую-нибудь собаку или в какой-нибудь ножик…

И этой фразы тоже он не закончил.

Диотима поглядела на него с сомнением. Она

снова вспомнила, как ратовал он в свое время за «точность чувства», а сегодня он выступал против этого. Один раз он даже упрекнул Арнгейма за недостаточную чистоту намерений, а сегодня он высказался за то, чтобы «предоставить свободу действий». И ее встревожило, что Ульрих был за «чувства без каникул», тогда как Арнгейм двусмысленно заявил, что не надо ни всецело ненавидеть, ни всецело любить! Ей было очень не по себе от этой мысли.

— Неужели вы правда считаете, что существует беспредельная чуткость? — спросил Ульрих.

— О, существует беспредельное чувство! — ответила Диотима и вновь обрела под ногами твердую почву.

— Знаете, я не очень-то в это верю, — рассеянно сказал Ульрих. — Мы странным образом часто об этом говорим, но это как раз то, чего мы всю жизнь избегаем, словно боясь утонуть в этом.

Он заметил, что Диотима не слушала, а беспокойно следила за Арнгеймом, чьи глаза искали экипажа.

— Боюсь, — сказала она, — что нам следует спасти его от генерала.

— Я поймаю такси и возьму генерала на себя, — вызвался Ульрих, и в тот миг, когда он уже

уходил, Диотима положила руку на его рукав и, вознаграждая его усилия ответной любезностью, сказала тоном мягкого одобрения:

— Всякое другое чувство, кроме беспредельного, ничего не стоит.

115
Кончик твоей груди как лепесток мака

В соответствии с законом, по которому за периодами большой стабильности следуют бурные перемены, рецидив претерпела и Бонадея. Ее попытки сблизиться с Диотимой остались напрасными, и ничего не вышло из ее прекрасного намерения наказать Ульриха тем, что соперницы станут подругами и отстранят его от себя, хотя эта фантазия часто фигурировала в ее мечтах. Ей пришлось уронить свое достоинство и снова постучаться в дверь своего возлюбленного, но тот, видимо, устроил так, чтобы им непрестанно мешали, и ее слова, которые должны были ему объяснить, почему она опять здесь, хотя он этого не заслуживает, увядали от его бесстрастной любезности. Ее одолевало желание закатить ему ужасную сцену, но, с другой стороны, этого не допускала ее поза добродетели, и со временем она

стала поэтому испытывать большее отвращение к вмененной себе в обязанность безупречности. По ночам вызванная неудовлетворенной похотью головная боль отягощала ее плечи, как кокосовый орех, покрытый по оплошности природы обезьяноволосой скорлупой изнутри, и как пьяницу, которого насильственно лишили спиртного, ее в конце концов охватила бессильная ярость. Она про себя ругала Диотиму, называя ее обманщицей и несносной бабой, и, давая волю фантазии, отпускала по поводу благородно-женственной величавости, очарование которой было тайной Диотимы, ядовитые комментарии. Подражание внешности этой женщины, еще недавно делавшее Бонадею такой счастливой, стало теперь для нее тюрьмой, откуда она вырвалась на вольную волю; щипцы для завивки и зеркало утратили свою способность превращать ее в идеальный образ себя, и вместо с этим рухнуло и то искусственное состояние сознания, в каком она пребывала. Даже сон, который у Бонадеи, несмотря ни на какие конфликты ее жизни, всегда был превосходным, теперь по вечерам заставлял себя иногда немножко ждать, и для нее это было так ново, что казалось ей патологической бессонницей; и в этом состоянии она чувствовала

то, что чувствуют все люди, когда они серьезно больны, — что дух убегает, бросая тело, как раненого, на произвол судьбы. Когда Бонадея, терзаясь соблазнами, как бы лежала на раскаленном песке, все умные речи, которыми восхищала ее Диотима, уходили куда-то далеко-далеко, и она честно их презирала. Не решаясь еще раз посетить Ульриха, она опять придумала план его возврата к естественным чувствам, и прежде всего был готов конец этого плана: Бонадея проникнет к Диотиме, когда Ульрих будет у нее, у соблазнительницы. Все эти дискуссии у Диотимы были ведь явно просто предлогом, чтобы пофлиртовать, вместо того чтобы действительно что-то предпринять для общего дела. Бонадея же совершит нечто для общего дела, а тем самым и начало ее плана было уже готово: никто больше не печется о Моосбругере, и тот погибает, в то время как все вокруг только бросаются громкими словами! Бонадея ни на секунду не удивилась тому, что Моосбругеру опять суждено выручить ее из беды. Она нашла бы его ужасным, если бы задумалась о нем; но она думала только: «Если Ульрих принимает в нем такое участие, то пусть уж он не забывает его!» При дальнейшей разработке этого плана ее внимание остановилось еще

на двух деталях. Она вспомнила, что в разговоре об этом убийце Ульрих утверждал, что у нас есть вторая душа, которая всегда невиновна, и человек, отвечающий за свое поведение, всегда может поступить иначе, а невменяемый — нет; из этого она сделала некое подобие вывода, что ей хочется быть невменяемой, ибо тогда она не будет ни в чем виновата, и что Ульриха, которому недостает невменяемости, надо, ему же на благо, привести в это состояние.

Тщательно, как для выхода в свет, одетая, она, чтобы исполнить свой план, несколько раз вечерами бродила перед окнами Диотимы, которые после недолгого ожидания всегда освещались, в знак деятельности внутри дома, по всему фасаду. Мужу своему она говорила, что приглашена, но не засиживается; и благодаря этой лжи, благодаря этому вечернему топтанию перед домом, куда ее не звали, за те немногие дни, когда ей еще не хватало храбрости, возник некий все возраставший импульс, который вскоре должен был заставить ее подняться по лестнице. Ее могли увидеть знакомые, мог заметить, случайно проходя мимо, муж; на нее мог обратить внимание швейцар, полицейскому могло прийти в голову задать ей вопрос-другой; чем чаще повторялась ее прогул-

ка, тем большими казались ей эти опасности и тем вероятнее становилось, что что-то случится, если она будет долго медлить. Вообще-то Бонадее доводилось шмыгать в парадные и ходить такими дорогами, где надо было укрываться от чьих бы то ни было глаз, но тогда ей, как ангел-хранитель, помогало сознание, что все это неотделимо от того, чего она хочет достигнуть, а тут она должна была проникнуть в дом, где ее никто не ждал, и не было известно, что ее ждет; она чувствовала себя как мстительница или террористка, которая сперва не очень точно представляла себе всю операцию, но с помощью обстоятельств приходит в такое состояние взвинченности, что ни звук выстрела, ни блеск летящих капель соляной кислоты его уже не могут усугубить.

У Бонадеи не было намерений этого рода, но она пребывала в подобной отрешенности ума, когда наконец нажала на звонок и вошла. Маленькая Рахиль незаметно приблизилась к Ульриху и доложила ему, что его просят выйти, не выдавая, что выйти его просит незнакомая дама под низко опущенной вуалью, и когда Рахиль затворила за ним дверь гостиной, Бонадея сняла вуаль с лица. В этот миг она была твердо убеждена, что судьба Моосбругера не терпит больше никаких

отлагательств, и встретила Ульриха не как измученная ревностью любовница, а запыхавшись, как марафонец. В объяснение своего прихода она без труда солгала, будто муж вчера сообщил ей, что Моосбругера скоро уже никак нельзя будет спасти.

— Ничто не омерзительно мне в такой мере, — заключила она, — как эта непристойная разновидность убийц; но все-таки я рискнула показаться здесь непрошеной посетительницей, потому что ты должен сейчас же вернуться к хозяйке дома и ее наиболее влиятельным гостям и рассказать о своем деле, если ты хочешь еще чего-то добиться!

Она не знала, чего ждала. Что Ульрих растроганно поблагодарит ее, что он вызовет Диотиму, что Диотима удалится с нею и с ним в какую-нибудь уединенную комнату? Что, может быть, шум голосов заставит Диотиму выйти в переднюю и она даст ей понять, что она, Бонадея, вовсе не такова, чтобы не иметь права печься о благородных чувствах Ульриха? Ее глаза влажно сверкали, а руки дрожали. Она говорила громко. Ульрих был очень смущен и долго улыбался, отчаянно силясь успокоить ее и выиграть время, чтобы обдумать, как убедить ее, что ей нужно как можно скорее

уйти. Положение было трудное, и дело, возможно, кончилось бы истерическими криками или рыданиями Бонадеи, если бы не пришла на помощь Рахиль. Все это время маленькая Рахиль стояла с блестящими, широко раскрытыми глазами неподалеку от них. Она сразу почуяла что-то романтическое, когда незнакомая, красивая, от макушки до пят беспокойная дама заявила, что ей надо поговорить с Ульрихом. Рахиль слышала большую часть их разговора, и слово «Моосбругер» ударило ей в уши своими слогами, как выстрелами. Ее захватили бушевавшие в голосе дамы горе, желание и ревность, хотя она и не понимала этих чувств. Она угадала, что эта дама — любовница Ульриха, и мгновенно влюбилась в него вдвое сильнее обычного. Она чувствовала, что ее влечет что-то сделать, словно рядом лилась во всю мощь песня, которую она обязана была подхватить. И прося взглядом не предавать это огласке, она открыла какую-то дверь и пригласила их пройти в единственную не занятую гостями комнату. Это было первое на ее счету несомненное предательство в отношении госпожи, ибо у нее не могло быть никаких иллюзий насчет того, что будет, если ее проделка раскроется; но мир был так прекрасен, а сладостное волнение

— состояние такое сумбурное, что она не успела об этом подумать.

Когда вспыхнул свет и глаза Бонадеи постепенно увидели, где она находится, у нее чуть ноги не подкосились и румянец ревности залил ей щеки, ибо оказалась она в спальне Диотимы; кругом были разбросаны чулки, щетки для волос и многое другое, что остается разбросанным, когда женщина наспех переодевается с головы до ног для гостей, а у горничной нет времени убрать или она, как в данном случае, не делает этого потому, что на следующее утро все равно предстоит основательная уборка; ибо в дни торжественных приемов спальня тоже служила складом для мебели, чтобы освободить остальные комнаты. В воздухе еще пахло этой тесно сдвинутой мебелью, пудрой, мылом и духами.

— Девчонка сделала глупость; здесь нам нельзя оставаться! — сказал Ульрих со смехом. — И вообще тебе не следовало приходить, ведь Моосбругеру все равно ничем помочь нельзя.

— Нечего было мне, говоришь, трудиться идти сюда? — повторила Бонадея почти беззвучно. Ее глаза блуждали. Как пришло бы девчонке в голову, спрашивала она себя с болью, провести Ульриха в святая святых дома, если бы он к это-

му не привык?! Но, не в силах заставить себя привести ему это доказательство, она предпочла сказать с глухим упреком: — Ты способен спокойно спать, когда совершается такая несправедливость? Я не сплю ночами, и поэтому я решила тебя разыскать!

Она стояла спиной к комнате у окна, глядя в зеркальную темень, подступавшую снаружи к ее глазам. Это могли быть кроны деревьев или колодец двора. Несмотря на свое волнение, она ориентировалась достаточно хорошо, чтобы определить, что окна этой комнаты не выходят на улицу; через другие окна можно было, однако, заглянуть внутрь дома, и когда она представила себе, что вот она стоит вместе со своим вероломным любовником при незадернутых занавесках и на ярком свету перед незнакомым темным зрительным залом в спальне своей соперницы, это взволновало ее донельзя. Она сняла шляпу и распахнула пальто, ее лоб и теплые кончики грудей касались холодного стекла; от нежности и от слез глаза ее были влажны. Она медленно отстранилась от окна и снова повернулась к своему другу, но что-то от мягкой, податливой черноты, в которую она глядела, осталось в ее глазах, приобретших теперь какую-то бессозна-

тельную глубину.

— Ульрих! — сказала она проникновенно. — Ты человек совсем не плохой! Ты только притворяешься плохим! Ты всячески стараешься сделать так, чтобы тебе было трудно быть хорошим.

Из-за этих не к месту умных слов Бонадеи ситуация вновь стала опасной; на сей раз это была уже не смешная у такой целиком подвластной своему телу женщины тоска по якобы сулящему утешение духовному благородству; на сей раз сама красота этого тела выражала свое право на тихое достоинство любви. Он подошел к ней и обнял ее плечи одной рукой; они снова повернулись к темноте и поглядели в окно вдвоем. В бескрайнем, казалось, мраке выделилось немного света, который шел из дома, и выглядело это так, как если бы воздух наполнила мягкость густого тумана. Почему-то Ульриху явственно представилось, что он глядит в прохладную октябрьскую ночь, хотя был конец зимы, и что ночь эта окутала город, как огромное шерстяное одеяло. Потом ему подумалось, что с таким же правом можно сказать о шерстяном одеяле, что оно как октябрьская ночь. Он почувствовал пробежавшие по коже мурашки неуверенности и крепче прижал к себе Бонадею.

— Ты теперь пойдешь туда?

— И предотвращу несправедливость, грозящую Моосбругеру? Нет; я ведь даже не знаю, действительно ли несправедливо с ним поступают! Что я знаю о нем! Один раз я мельком видел его на суде, да еще прочел кое-что из того, что о нем написано. Это как если бы мне пригрезилось, что кончик твоей груди как лепесток мака. Вправе ли я на этом основании уже считать, что он и правда лепесток мака?

Он задумался. Бонадея тоже задумалась. Он думал:

«И в самом деле, человек, даже если смотреть на него трезво, значит для другого человека немногим больше, чем ряд сравнений». Бонадея, подумав, пришла к результату: «Давай уйдем отсюда!»

— Это невозможно, — ответил Ульрих, — спросят, куда я делся, и если выплывет что-нибудь насчет твоего прихода, это вызовет ненужный шум. Молчание у темного окна и что-то, что одинаково неразличимо для них могло быть октябрьской ночью, январской ночью, шерстяной тканью, болью или счастьем, снова соединило их.

— Почему ты никогда не делаешь самого простого? — спросила Бонадея.

Он вспомнил вдруг один сон, который видел, вероятно, недавно. Он принадлежал к тем, кто редко видит сны или, во всяком случае, никогда их не помнит, и ему было странно то, как это воспоминание вдруг открылось и впустило его. Он много раз тщетно пытался пересечь крутой склон горы, и каждый раз сильная тошнота гнала его назад. Без каких-либо объяснений он знал теперь, что этот сон относится к Моосбругеру, хотя тот и не фигурировал в нем. Сон этот — сновидения ведь часто имеют много разных смыслов — давал также физическое выражение тщетным усилиям его ума, то и дело последнее время проглядывавшим в его разговорах и действиях и как нельзя более походившим на ходьбу без дороги, не ведущую дальше какой-то определенной точки. Он не мог не улыбнуться по поводу наивной конкретности, с какой это изобразил его сон: гладкий камень и осыпающаяся земля, кое-где — остановкой или целью — одинокое дерево и еще стремительный рост крутизны при ходьбе. Он одинаково безуспешно пытался подняться и спуститься, и ему уже становилось дурно, когда кто-то, кто шел вместе с ним, сказал: довольно с нас, внизу в долине есть ведь удобная дорога, которой все пользуются! Это было достаточно

ясно! Ульриху, кстати сказать, показалось, что лицо, находившееся там с ним, вполне могло быть Бонадеей. Может быть, ему и правда приснилось также, что кончик ее груди как лепесток мака; что-то бессвязное, что могло показаться ищущему чувству широким, зазубренным и лилово-багровым, выделилось, как туман, из еще не освещенного угла его сновидения.

В этот миг наступила та светлая ясность сознания, когда одним взглядом видишь его кулисы и все, что среди них происходит, хотя описать увиденное никак нельзя. Отношение, существующее между сном и тем, что он выражает, было ему известно, оно было тем самым отношением аналогии, метафоры, которое уже часто занимало его. Метафора содержит правду и неправду, для чувства неразрывно друг с другом связанные. Если взять метафору такой, какова она есть, и придать ей по образцу реальности доступную чувствам форму, получатся сон и искусство, но между ними и реальной, полной жизнью стоит стеклянная стена. Если подойти к метафоре рационалистически и отделить несовпадающее от точно совпадающего, получатся правда и знание, но чувство окажется уничтоженным. По образцу определенных племен бактерий, расщепляющих

органическую субстанцию на две части, племя человеческое разлагает первоначальное бытие метафоры на твердую материю реальности и правды и на стекловидную атмосферу догадки, веры и артефакта. Кажется, никакой третьей возможности, кроме этих двух, нет; но как часто что-то неопределенное принимает желательный оборот, если берешься за дело без долгих раздумий! Ульриху казалось, что среди путаницы закоулков, через которую его так часто вели его мысли и настроения, он стоит теперь на главной площади, откуда все начинается. И кое-что из всего этого он сказал Бонадее в ответ на ее вопрос, почему он никогда не делает самого простого. Она, наверно, не поняла, что он имел в виду, но у нее безусловно был великий день; она минуту подумала, крепче прижалась плечом к Ульриху и, подводя итог, сказала: — Во сне ты ведь тоже не думаешь, просто с тобой происходит какая-нибудь история! Это было почти правдой. Он пожал ей руку. У нее вдруг снова появились на глазах слезы. Они очень медленно потекли по ее лицу, и от вымытой их солью кожи поднялся не поддающийся определению аромат любви. Ульрих вдохнул его и почувствовал томительную тоску по этой туманной скользкости, по непринужден-

ности и забвению.

Но он совладал с собой и нежно повел ее назад к двери. — Теперь ты должна уйти, — сказал он тихо, — и не сердись на меня, я не знаю, когда мы увидимся, у меня сейчас много хлопот с самим собой! И чудо случилось.

Бонадея не оказала никакого сопротивления и не сделала никаких раздраженно-выспренних замечаний. Она больше не ревновала. Она почувствовала, что с ней происходит какая-то история. Ей хотелось укрыть его, обняв; ей чудилось, что его надо спустить на землю; всего больше хотелось ей перекрестить его лоб, как то она делала со своими детьми. И это показалось ей таким прекрасным, что она и не подумала увидеть в этом конец. Она надела шляпу и поцеловала его, а потом поцеловала еще раз через вуаль, нитки которой стали от этого горячими, как раскаленные прутья решетки. С помощью Рахили, караулившей у двери и подслушивавшей, Бонадее удалось незаметно исчезнуть, хотя гости уже начали расходиться. За это Ульрих сунул в руку Рахили щедрые чаевые и сказал несколько слов в похвалу ее отваге; то и другое так воодушевило Рахиль, что ее пальцы — она не отдавала себе в этом отчета — долго держали вместе с деньгами

и его руку, пока он, рассмеявшись, ласково не похлопал по плечу девушку, которая вдруг залилась краской.

116
Два древа жизни и требование учредить генеральный секретариат точности и души

В этот вечер гостей в доме Туцци было уже не так много, как прежде, интерес к параллельной акции ослабел, и те, кто пришли, удалились раньше обычного. Даже появление его сиятельства в последнюю минуту — он, кстати сказать, казался озабоченным, мрачным и был в дурном настроении, потому что его смущали полученные им сведения о националистических происках против его детища, — даже его появление не могло приостановить этой утечки. Гости несколько задержались в ожидании, что его приход означает, чего доброго, какие-то особые новости, но видя, что это не так и что до присутствующих ему вообще мало дела, ушли и последние. Поэтому, появившись снова, Ульрих, к своему ужасу, обнаружил, что комнаты уже почти пусты, и вскоре в

покинутых апартаментах остался только «самый узкий круг», дополненный лишь начальником отдела Туцци, который тем временем вернулся домой. Его сиятельство повторял:

— Восьмидесятивосьмилетнего императора-миротворца можно, конечно, назвать символом; в этом заключена великая мысль; но надо вложить в это и какое-то политическое содержание. Ведь совершенно естественно, что иначе интерес ослабеет. То есть то, что от меня, знаете ли, зависит, я сделал; немецкие националисты негодуют из-за Виснечки, уверяя, что он славянофил, а славяне тоже негодуют, уверяя, что на министерском посту он был волком в овечьей шкуре. Но из этого вытекает только, что он и есть подлинный, стоящий над партиями патриот, и я от него не отступлюсь! С другой стороны, все это надо срочно дополнить какими-то мероприятиями в области культуры, чтобы дать людям что-то положительное. Наш референдум для учета пожеланий заинтересованных слоев населения продвигается вперед слишком медленно. Австрийский год или год всего мира — вещь прекрасная, но, скажу вам, всякий символ должен мало-помалу становиться чем-то подлинным; другими словами, пока это символ, я тешу им свою душу и еще ничего не

знаю, но позднее я отворачиваюсь от зеркала своей души и делаю что-то совсем другое, что снискало тем временем мое одобрение. Понятно ли, что я хочу этим сказать? Наша любезная хозяйка делает все, что в ее силах, и здесь уже много месяцев говорят о действительно важных вещах, но интерес тем не менее ослабевает, и у меня такое чувство, что скоро нам придется решиться на что-нибудь; не знаю, на что, может быть, на пристройку второй башни к собору святого Стефана или на создание кайзеровской и королевской колонии в Африке, это почти безразлично. Ведь я убежден, что в последний момент из этого может выйти и что-нибудь совсем другое. Главное — это вовремя запрячь, так сказать, изобретательность участников, чтобы она не пропала! У графа Лейнсдорфа было ощущение, что он произнес полезную речь. Для ответа от имени остальных слово взял Арнгейм.

— То, что вы говорите о необходимости в известные моменты оплодотворять размышление действием, пусть даже временным, чрезвычайно справедливо для жизни вообще! И в связи с этим действительно важен тот факт, что в собирающемся здесь интеллектуальном кругу царит с некоторых пор другое настроение. Необозри-

мость, которая была бичом поначалу, исчезла; новых предложений почти не поступает, а старые если и упоминаются, то, во всяком случае, не получают настойчивой поддержки. Похоже, что у всех сторон пробудилось сознание, что, приняв приглашение, берешь на себя обязательство прийти к согласию, в силу чего каждое более или менее приемлемое предложение имело бы теперь шансы быть всеми одобренным.

— Как обстоит с этим дело у нас, дорогой доктор? — обратился его сиятельство к Ульриху, которого тем временем заметил. — Прояснилось ли уже тоже что-либо?

Ульрих должен был ответить отрицательно. Письменный обмен мнениями можно растягивать с гораздо большим удовольствием, чем устный, да и поток предложений о тех или иных улучшениях не оскудевал; поэтому он все еще учреждал союзы и отсылал их от имени его сиятельства к разным министерствам, готовность которых заниматься ими заметно, впрочем, уменьшилась в последнее время. Это он и доложил.

— Не диво! — сказал его сиятельство, обращаясь к присутствующим. — В нашем народе невероятно сильна государственная мысль, но нужно

обладать энциклопедической образованностью, чтобы удовлетворить ее по всем ее направлениям. Министрам становится просто невмоготу, а это и доказывает, что приходит пора, когда нам надо вмешаться сверху.

— В этой связи, — еще раз взял слово Арнгейм, — вашему сиятельству покажется, может быть, примечательным, что в последнее время все возрастающий интерес у участников совещания вызывал генерал фон Штумм.

Граф Лейнсдорф впервые взглянул на генерала.

— Чем же? — спросил он, совершенно не стараясь скрыть невежливость своего вопроса.

— Но мне это только неприятно! Это совершенно не входило в мои намерения! — стыдливо возразил Штумм фон Бордвер. — У солдата в совете задача скромная, и я этого правила придерживаюсь. Но вы, ваше сиятельство, помните, что на первом же заседании и, так сказать, лишь во исполнение своего солдатского долга я попросил, чтобы комитет по выработке особой идеи, если он не найдет ничего другого, подумал о том, что у нашей артиллерии нет современных орудий, а у наших военно-морских сил — кораблей, то есть такого количества кораблей, которого тре-

буют задачи предстоящей, может быть, обороны страны…

— Ну, и что же? — прервал его граф, направляя на Диотиму удивленно-вопросительный взгляд, откровенно показывавший его неудовольствие.

Диотима подняла свои красивые плечи и смиренно их опустила; она уже почти привыкла к тому, что этот круглый маленький генерал, ведомый какими-то непонятными силами, ему помогавшими, появлялся, как дурной сон, везде, куда бы она ни направилась.

— Ну, и вот, — продолжил Штумм фон Бордвер поспешно, чтобы перед лицом этого успеха его скромность не взяла над ним верх, — как раз в последнее время раздавались голоса, которые были бы за это, если бы для начала кто-нибудь выступил с таким предложением. Говорили ведь, что армия и флот — это общепонятная идея, и притом идея великая, и что, наверно, все это доставило бы радость его величеству. И то-то бы удивились пруссаки… прошу прощения, господин фон Арнгейм!

— О нет, пруссаки не удивились бы, — с улыбкой возразил Арнгейм. Впрочем, само собой разумеется, что когда речь идет о таких австрийских делах, я вообще отсутствую и лишь с предельной

скромностью пользуюсь разрешением все-таки слушать.

— Во всяком случае, стало быть, — заключил генерал, — действительно раздавались голоса, которые заявляли, что самое простое — не заниматься больше словопрениями, а остановиться на военных мероприятиях. Я лично полагаю, что это можно было бы связать с еще какой-нибудь другой, может быть, какой-нибудь великой штатской идеей; но солдату, как я сказал, вмешиваться в разговоры не пристало, а голоса, заявлявшие, что от штатских размышлений все равно ничего лучшего ждать не приходится, раздавались как раз с самой интеллектуальной стороны.

Его сиятельство слушал под конец с неподвижно открытыми глазами, и только непроизвольные поползновения покрутить большими пальцами выдавали его напряженную и мучительную внутреннюю работу. Начальник отдела Туцци, которого не привыкли слушать, вставил тихо и медленно: — Не думаю, чтобы у министра иностранных дел были против этого какие-либо возражения!

— Ах, ведомства, значит, уже поладили?! — спросил граф Лейнсдорф иронически и раздраженно.

Туцци с милой невозмутимостью ответил: — Изволите шутить, ваше сиятельство, насчет ведомств. Военное министерство скорее приветствовало бы всемирное разоружение, чем договорилось бы с министерством иностранных дел! — И продолжил: — Вашему сиятельству известна ведь история с укреплениями в Южном Тироле, построенными за последние десять лет по настоянию начальника генерального штаба? Говорят, они сделаны безупречно и по последнему слову техники. Разумеется, они оснащены колючей проволокой под током и большими прожекторными установками, для питания которых даже поставлены опускающиеся под землю дизельные двигатели, — нельзя сказать, что мы от кого-либо отстаем. Беда только, что двигатели заказаны через управление артиллерии, а горючим снабжает управление строительства; таковы правила, и в результате эти установки бездействуют, потому что два управления военного министерства не могут договориться между собой насчет того, считать ли спички, нужные для запуска двигателей, горючим, которое поставляется управлением строительства, или принадлежностью двигателей, подведомственных артиллерии.

— Очаровательно! — сказал Арнгейм, хотя он знал, что Туцци перепутал дизельный двигатель с газовым, да и газовый давно уже не требовал никаких спичек; это был просто один из тех полных милой иронии по собственному адресу анекдотов, что обычно циркулируют в чиновничьих кабинетах, и начальник отдела Туцци рассказал его тоном, в котором звучала радость по поводу описываемой незадачи. Все улыбались или смеялись, генерал Штумм был веселее всех.

— А виновата в этом только гражданская администрация, — растянул он шутку Туцци. — Стоит лишь нам затеять что-либо не предусмотренное бюджетом по всем правилам, как министерство финансов спешит заявить нам, что мы ничего не смыслим в конституционной форме правления. Поэтому если до окончания бюджетного года, упаси боже, вспыхнет война, нам придется в первый же день мобилизации на рассвете уполномочить по телеграфу всех комендантов крепостей закупить спичек, а если это в их горной глуши не удастся, им не останется ничего другого, как вести войну спичками своих денщиков!

Генерал все же, видно, растянул это слишком широко; сквозь тонкую ткань шутки вдруг снова проглянула грозная серьезность положения, в

котором находилась параллельная акция. Его сиятельство задумчиво начал: «Со временем…» — но потом вспомнил, что в трудных ситуациях умнее предоставлять говорить другим, и фразы не кончил. Несколько мгновений эти шесть человек молчали, словно бы стоя у ямы колодца и глядя в нее.

Диотима сказала:

— Нет, это невозможно!

— Что? — спросили все взгляды.

— Так мы сделаем именно то, за что упрекают Германию, — вооружимся! — закончила она свою фразу. Душа ее не слышала или забыла только что рассказанные анекдоты и все еще была занята успехом генерала.

— Но как же быть? — спросил граф Лейнсдорф благодарно и озабоченно. — Мы же должны найти хотя бы что-то временное!

— Германия — относительно наивная, полная сил страна, — сказал Арнгейм, словно он обязан был извиниться в ответ на упрек своей приятельницы. — Ее познакомили с порохом и водкой.

Туцци улыбнулся по поводу этой метафоры, показавшейся ему более чем смелой.

— Нельзя отрицать, что в кругах, которые должна охватить наша акция, Германия вызы-

вает растущую неприязнь! — Граф Лейнсдорф не упустил возможности сделать это замечание. — Даже, к сожалению, и в тех кругах, которые она уже охватила! — добавил он загадочно.

Он был поражен, когда Арнгейм сказал ему, что его это не удивляет.

— Мы, немцы, — ответил тот, — несчастный народ; мы не только живем в сердце Европы, но и страдаем, как это сердце…

— Сердце? — невольно переспросил его сиятельство. Он ждал не «сердца», а «мозга» и с этим бы согласился скорее. Но Арнгейм настоял на «сердце». — Помните, — спросил он, — пражский муниципалитет разместил недавно большой заказ во Франции, хотя мы, разумеется, сделали предложение и поставили бы товар лучшего качества и по более низкой цене. Это просто эмоциональная неприязнь. И должен сказать, что я вполне понимаю ее. Не дав ему продолжить, Штумм фон Бордвер обрадованно взял слово и объяснил это.

— Во всем мире люди мучаются, но в Германии больше всего, — сказал он. Во всем мире они сегодня шумят, но громче всего в Германии. Повсюду коммерция утратила связь с тысячелетней культурой, но в рейхе самым досадным

образом. Везде, конечно, цвет молодежи бросают в казармы, но у немцев больше казарм, чем у всех других. И потому это в известном смысле наш братский долг, заключил он, — не слишком отставать от Германии. Прошу прощения, если мой вывод парадоксален, но что поделать, от таких сложностей интеллекту сегодня никуда не уйти! Арнгейм одобрительно кивнул головой.

— Может быть, Америка еще хуже, чем мы, — добавил он, — но она при этом по крайней мере наивна, по крайней мере не знает нашей духовной раздвоенности. Мы во всех отношениях народ середины, где скрещиваются все мотивы мира. Синтез — вот что нам нужнее всего. И мы это знаем. У нас есть какое-то сознание своей греховности. Все это так, и с этого я начинаю, но, с другой стороны, справедливость требует признать, что мы страдаем за других, берем на себя как бы для образца их ошибки. Мы в известном смысле представляем весь мир, когда нас поносят или распинают или как там это еще назвать. И переменись Германия, это было бы, пожалуй, самым значительным из всего, что может произойти. Я полагаю, что в распространенной и, кажется, несколько страстной враждебности к нам, о которой вы говорили, есть какое-то смут-

ное ощущение этого! Теперь вмешался и Ульрих:
— Господа недооценивают германофильские настроения. У меня есть надежные сведения, что со дня на день состоится бурная демонстрация против нашей кампании, потому что в почвеннических кругах она слывет антигерманской. Вы увидите, ваше сиятельство, народ Вены на улицах. Выступать будут против назначения барона Виснечки. Считают, что господа Туцци и Арнгейм состоят в тайном сговоре, а вы, ваше сиятельство, противитесь немецкому влиянию на параллельную акцию.

В глазах графа Лейнсдорфа было теперь что-то от спокойствия исследователя и от ярости быка. Взгляд Туцци медленно и приветливо поднялся и вопросительно остановился на Ульрихе. Арнгейм искренне рассмеялся и встал; он предпочел бы с вежливым лукавством взглянуть на начальника отдела Туцци, чтобы таким способом извиниться за нелепый поклеп на них обоих, но встретиться с ним глазами не удалось, и поэтому Арнгейм повернулся к Диотиме. Туцци тем временем положил руку на руку Ульриха и спросил его, откуда у него такие сведения. Ульрих ответил, что это не секрет, а широко распространенный слух, которому многие верят и о котором он узнал в од-

ном частном доме. Туцци приблизил к нему свое лицо, вынудив этим Ульриха нарушить круг и наклониться, и, получив такое прикрытие, вдруг прошептал: — Вы все еще не знаете, почему Арнгейм здесь? Он близкий друг князя Мозжутова и персона грата у царя. Связан с Россией и должен оказывать пацифистское влияние на здешнюю акцию. Все неофициально. Частная инициатива, так сказать, русского монарха. Идеологическое дело. Нечто для вас, друг мой! — заключил он насмешливо. — Лейнсдорф понятия не имеет об этом!

Начальник отдела Туцци получил эти сведения через свой служебный аппарат. Он верил им, ибо считал пацифизм движением, отвечающим образу мыслей красивой женщины, что объясняло и увлеченность Арнгеймом Диотимы, и более частое пребывание Арнгейма в его доме, чем где-либо. Перед этим он был близок к тому, чтобы начать ревновать. «Духовную» тягу он считал возможной лишь до известной степени, но ему претило пускаться на хитрости, чтобы выяснить, в сохранности ли еще эта степень, поэтому он заставил себя доверять своей жене; но хотя этим самым чувство образцово мужского поведения показало себя более сильным, чем сексуальные

чувства, последние возбуждали в нем все-таки ревность вполне достаточную, чтобы ему впервые стало ясно, что у человека, поглощенного профессией, никогда не бывает времени следить за своей женой, если он не хочет пренебречь задачами своей жизни. Он, правда, говорил себе, что если уж машинист не может держать жену на своем паровозе, то мужу, управляющему империей, ревнивым и подавно нельзя быть, но, с другой стороны, благородное неведение, в котором он таким образом оставался, тоже не вязалось с дипломатией и отнимало у Туцци какую-то долю его профессиональной уверенности. Поэтому он с великой благодарностью обрел опять полное самообладание, когда все, что его тревожило, получило, казалось, безобидное объяснение. Теперь он даже усматривал маленькое наказание своей жене в том, что он знал уже об Аргейме все, а она еще видела в нем только человека и не подозревала, что он эмиссар царя; Туцци снова с большим удовольствием просил ее добыть какую-нибудь мелкую информацию, за что она милостиво, хоть и нетерпеливо бралась, он придумал ряд невинных с виду вопросов, чтобы делать свои выводы из ответов на них. Супруг рад был бы рассказать кое-что на этот счет и «кузену» и как раз обду-

мывал, как сделать это, не компрометируя жену, когда тон разговору снова задал граф Лейнсдорф. Он был единственным, кто не поднялся, и никто не заметил, что творилось у него в душе, с тех пор как объявились все эти трудности. Но его боевой дух, по-видимому, восстановился, он покрутил свои валленштейновские усы и сказал медленно и твердо: — Надо что-то предпринять!

— Вы что-нибудь решили, ваше сиятельство? — спросили его.

— Мне ничего не пришло на ум, — ответил он просто. — Но предпринять все равно что-то надо!

Он сидел как человек, который не тронется с места, пока его воля не будет исполнена.

От этого исходила какая-то сила, и все почувствовали, что пустое усилие что-то найти болтается в них, как монетка, потерявшаяся в копилке и, сколько ее ни тряси, никак не выпадающая через прорезь.

Арнгейм сказал:

— Нельзя же, право, считаться с такими инцидентами!

Лейнсдорф ничего не ответил.

Еще раз была повторена вся история предложений, которые должны были дать параллельной акции какое-то содержание.

Граф Лейнсдорф отвечал на это как маятник, каждый раз меняющий положение и неизменно проделывающий один и тот же путь. «Это нельзя, потому что заденет церковь. Это нельзя, потому что заденет либералов. Против этого выступил центральный союз архитекторов. Против этого возражает министерство финансов». Так продолжалось без конца.

Ульрих, не принимавший в этом участия, находился в таком состоянии, словно эти пять человек, что здесь говорили, только что выкристаллизовались из жидкой мути, обволакивавшей его чувства уже несколько месяцев. С чего это вдруг он сказал Диотиме, что нужно овладеть нереальностью или, в другой раз, что надо отменить реальность?! Вот она сидит, помнит такие фразы и может думать о нем бог знает что. И что дернуло его сказать ей, что жить надо как персонаж на странице книги? Он полагал, что она давно уже передала это Арнгейму!

Но он полагал также, что не хуже любого другого человека знает, который сейчас час или сколько стоит зонтик! Если он тем не менее занимал в этот миг промежуточную позицию между собой и другими, одинаково далекую от обеих сторон, то это не было облечено в форму чего-то

причудливого, вполне возможную при приглушенном и отрешенном состоянии сознания, нет, напротив, он снова ощутил ту врывающуюся в его жизнь светлую ясность, которую уже почувствовал прежде в присутствии Бонадеи. Он вспомнил, как совсем недавно, осенью, был с супругами Туцци на бегах, когда после одного инцидента с большими и подозрительными потерями для тех, кто ставил на лошадей, мирная толпа зрителей мгновенно превратилась в море, которое затопило ипподром и не только смело все на своем пути, но и разграбило кассы, прежде чем под влиянием полиции снова составило массу людей, желающих невинно и привычно развлечься. Перед лицом таких происшествий смешно было думать о метафорических и расплывчатых пограничных формах, которые может или даже не может принять жизнь. Ульрих со всей первозданной полнотой ощущал, что жизнь — это грубое и тяжкое состояние, когда нельзя слишком долго задумываться о завтрашнем дне, потому что у тебя достаточно хлопот с сегодняшним. Как можно не видеть, что человеческий мир не есть что-то зыбкое, что он жаждет как можно более плотной твердости, потому что рискует при любом нарушении порядка распасться совсем!

Более того, как может зоркий наблюдатель не признать, что эта составляющая жизнь мешанина забот, порывов и идей, которая разве что насилует идеи для своего оправдания или пользуется ими как возбуждающим средством, что она-то как раз и формирует и связывает идеи, дает им естественное движение и ставит границы! Да, вино выжимают из винограда, но насколько прекрасней, чем целый пруд вина, виноградник со своей несъедобной, грубой землей и необозримыми рядами мерцающих колышков из мертвого дерева! «Короче говоря, — подумал он, — мир возник не в угоду какой-либо теории, а… — и он хотел было сказать „под действием силы“, но тут неожиданно вклинилось другое слово, и мысль его закончилась так: — …а возникает он под действием силы и любви, и обычная связь между этими двумя вещами неверна!» В этот миг сила и любовь опять стали для Ульриха не вполне обычными понятиями. Все, что было у него от склонности к злу и суровости, заключалось в слове «сила», оно означало исток всякого скептического, целесообразного и трезвого поведения; ведь в конце концов какая-то суровая, холодная жесткость сыграла роль даже в выборе его профессии, и математиком он стал, может быть,

не совсем без какого-то жестокого намерения. Все это было взаимосвязано, как густая листва дерева, которая прячет даже его ствол. И если о любви говоришь не только в расхожем смысле, а тоскуя при звуке этого слова о состоянии, вплоть до атомов тела ином, чем состояние безлюбовности; или если находишься под впечатлением, что происходит только все то же, потому что жизнь, донельзя кичащаяся своим «здесь» и «теперь» (состоянием в сущности весьма неопределенным и даже совершенно нереальным!), выливается в десяток-другой кондитерских формочек-изложниц, и из них-то реальность и состоит; или что во всех кругах, по которым мы вертимся, не хватает какой-то части; что ни одна из систем, нами построенных, не обладает тайной покоя, — то и все это, такое на вид разное, связано, как ветки дерева, прячущие со всех сторон ствол. В обоих этих деревьях росла раздельно его жизнь. Он не мог сказать, когда она оказалась под знаком древа жесткой листвы, но случилось это рано, ибо уже его незрелые наполеоновские планы показывали человека, который смотрел на жизнь как на стоящую перед ним задачу, как на свою миссию. Это стремление атаковать жизнь и завладеть ею было всегда отчетливо, представало ли оно

отрицанием существующего порядка или меняющейся мечтой о новом, какой-нибудь логической или нравственной потребностью или даже просто потребностью в атлетической тренировке тела. И все, что Ульрих назвал со временем эссеизмом и чувством возможного и фантастической — в отличие от педантической — точностью, все эти требования выдумывать историю, жить историей идей, а не мировой историей, овладевать тем, что никак не осуществимо вполне, и, в конце концов, может быть, жить так, словно ты не человек, а только персонаж книги, от которого отброшено все несущественное, чтобы остальное магически сомкнулось, — все эти версии его мыслей, враждебные реальности в своей необыкновенной афористичности, имели то общее, что они с несомненной и беспощадной страстью стремились повлиять на действительность.

Труднее было распознать, потому что они больше походили на тень и сон, связи в другом древе, образ которого принимала его жизнь. Основу тут составляло, пожалуй, какое-то первоначальное воспоминание о детском отношении к миру, о доверчивой открытости; жить это продолжало в чувстве, что когда-то ты видел просторной землей то, что обычно лишь наполняет горшок,

в котором всходят убогие ростки морали. Несомненно, та, увы, несколько смешная история с майоршей была единственной попыткой достичь полного развития на этой мягкой теневой стороне его естества и одновременно началом спада, никогда уже потом не кончавшегося. Листья и ветки этого дерева колыхались с тех пор на поверхности, но само оно не показывалось, и только по таким признакам и было видно, что оно все-таки еще существует. Отчетливее всего эта бездеятельная половина его естества сказывалась в непроизвольной убежденности, что деятельная и предприимчивая половина полезна лишь временно, убежденности, омрачавшей эту деятельную половину, как тень. Во всех своих затеях — подразумевая под этим физические страсти в такой же мере, как и духовные, — он казался себе в итоге пленником подготовки, которой конца так и нет, и с годами поэтому чувство необходимости иссякло у его жизни, как масло в лампе. Его развитие явно разошлось по двум дорогам, одна была на виду, другая скрывалась в темноте, и состояние нравственного застоя, его осаждавшее и угнетавшее его, может быть, больше, чем нужно, объяснялось не чем иным, как тем, что ему никогда не удавалось соединить

оба эти пути. Вспоминая, что невозможность их соединения предстала ему в последний раз напряженностью отношений между литературой и действительностью, между метафорой и правдой, он вдруг понял теперь, что все это значило куда больше, чем просто случайное наитие в одном из извилистых, как никуда не ведущие дорожки, разговоров, которые он вел в последнее время с самыми неподходящими лицами. Ведь на всем протяжении человеческой истории можно различить эти два главных подхода к жизни — метафорический и однозначно прямолинейный. Однозначность — это закон трезвой мысли и трезвого поступка, одинаково действующий и в неоспоримом логическом выводе и в мозгу шантажиста, шаг за шагом загоняющего в угол свою жертву, и идет она, однозначность, от острых нужд жизни, которые привели бы к гибели, если бы событиям нельзя было придать однозначный вид.

Метафора же — это та связь представлений, что царит во сне, та скользящая логика души, которой соответствует родство вещей в догадках искусства и религии; но и все имеющиеся в жизни обыкновенные симпатии и антипатии, всякое согласие и отрицание, восхищение, подчинение,

главенство, подражание и все их противоположности, все эти разнообразные отношения человека с самим собой и природой, которые чисто объективными еще не стали, да и никогда, наверно, не станут, нельзя понять иначе как с помощью метафор. То, что называют высшей гуманностью, есть, несомненно, не что иное, как попытка слить воедино эти две великие половины жизни — метафору и правду, осторожно разъединив их сперва. Но отделив в метафоре все, что, вероятно, могло бы быть правдой, от просто словесной пены, правды обычно приобретают немножко, а всю ценность метафоры сводят на нет; поэтому такое отделение было, может быть, и неизбежно в духовном развитии, но действие оно оказало такое же, как вываривание и уплотнение какого-либо вещества, внутренние силы и соки которого улетучиваются во время этого процесса облачком пара. Сегодня иногда нельзя отделаться от впечатления, что понятия и правила нравственной жизни — это только вываренные метафоры, вокруг которых клубятся невыносимо жирные кухонные пары гуманности, и если тут позволительно отступить от темы, то только чтобы отметить, что следствием этого неясно тяготеющего надо всем впечатления

было и то, что наша эпоха должна была бы честно назвать своим уважением к подлости. Ведь сегодня лгут не столько от слабости, сколько от убежденности, что человек, справляющийся с жизнью, должен уметь лгать. Люди прибегают к грубой силе, потому что после долгих бесплодных разговоров однозначность насилия кажется избавлением, раскрепощением. Люди объединяются в группы, потому что послушание позволяет делать все, чего по собственному убеждению давно уже делать нельзя, и враждебность этих групп дарит людям неутомимую взаимность кровавой мести, тогда как любовь очень скоро уснула бы. К вопросу, добры люди или злы, это имеет гораздо меньшее отношение, чем к тому, что они потеряли связь между высоким и низким. И лишь еще одно противоречивое следствие этого разрыва — вычурность духовных украшений, которыми увешивает себя сегодня недоверие к духу. Сцепка мировоззрения с видами деятельности, почти не терпящими его, такими, например, как политика; всеобщая мания делать из каждой точки зрения сразу уж и позицию, а каждую позицию считать точкой зрения; потребность ревнителей любого оттенка повторять, снова и снова размножая ее вокруг себя, как в комнате с зеркальными стена-

ми, одну-единственную, выпавшую им на долю мудрость, — все эти столь распространенные явления означают не то, чем им хотелось бы быть, не стремление к гуманности, а ее убыль. В целом создается впечатление, что из всех человеческих отношений надо прежде всего вновь полностью изъять душу, которая там не на месте; и в тот миг, когда Ульрих это подумал, он почувствовал, что его жизнь, если она вообще имела смысл, то только этот и никакого другого — что обе главные сферы человеческого существования сами представали в ней порознь и в противоборстве. Такие люди явно родятся сегодня, но они еще одиноки, а один он был не в состоянии заново собрать распавшееся. Он не строил себе иллюзий относительно ценности своих мыслительных экспериментов; хотя они никогда не пригоняли мысль к мысли без последовательности, но выходило это так, словно ты ставил стремянку на стремянку, а верх в результате качался в высоте, далекой-предалекой от естественной жизни. Он почувствовал к этому глубокое отвращение. И, может быть, по этой причине он вдруг взглянул на Туцци. Туцци говорил. Словно открывшимися первым звукам утра ушами Ульрих услышал, как тот сказал:

— Не могу судить, отсутствуют ли сегодня великие человеческие и художественные свершения, как вы говорите; но смею утверждать одно; нигде внешняя политика не трудна так, как у нас. Можно в общем предвидеть, что политикой французов и в юбилейном году будет руководить идея реванша и колониальных владений, политикой англичан — игра на шахматной доске мира, как называют их манеру вести себя, наконец, политикой немцев то, что они не всегда однозначно называют своим местом под солнцем. Но у нашей старой монархии потребностей нет, и поэтому никто не знает наперед, какие концепции могут нам к тому времени навязать!

Казалось, что Туцци хотел притормозить и предостеречь. Он говорил явно без иронического подтекста; аромат иронии исходил только из наивной деловитости, в сухой кожуре которой он выразил убеждение, что отсутствие земных потребностей — большая опасность. Ульриха это взбодрило, словно он раскусил кофейное зернышко. А Туцци тем временем еще больше утвердился в своем намерении предостеречь и довел свою речь до конца.

— Кто сегодня, — спросил он, — вообще решится осуществлять великие политические идеи?! В

таком человеке должно быть что-то от преступника и несостоятельного должника! Ведь этого вы не хотите? Дипломатия на то и нужна, чтобы консервировать.

— Консервация ведет к войне, — возразил Аргейм.

— Возможно, — сказал Туцци. — Единственное, наверно, что можно сделать, это выбрать благоприятный момент для вынужденного вступления в нее! Вы помните историю Александра Второго? Его отец Николай был деспот, но он умер естественной смертью; Александр же был монарх великодушный, он и начал-то свое правление с либеральных реформ; а в результате из русского либерализма получился русский радикализм, и после трех неудачных покушений на его жизнь Александр пал жертвой четвертого.

Ульрих поглядел на Диотиму. Она сидела очень прямо, строгая и пышная, и подтвердила слова супруга:

— Это верно. В ходе наших стараний у меня от интеллектуального радикализма сложилось такое же впечатление: протяни им палец — всю руку захватят…

Туцци улыбнулся; ему показалось, что он одержал маленькую победу над Аргеймом.

Арнгейм сидел при этом спокойно, дыша раскрытым, как лопнувшая почка, ртом. Запертой башней плоти взирала на него Диотима через глубокую долину.

Генерал протирал свои роговые очки.

Ульрих медленно сказал:

— Так получается только оттого, что усилия всех, кто чувствует себя призванным восстановить смысл жизни, имеют сегодня одну общую черту: они презирают думанье там, где можно обрести не только личные взгляды, но и какие-то истины; в расплату за это они связывают себя куцыми идеями и полуистинами там, где важна именно неисчерпаемость взглядов!

На это никто не ответил. Да и надо ли было отвечать? То, что так говорят, это ведь только слова. Факт состоял в том, что они сидели вшестером в комнате и вели важную беседу; все, что они при этом говорили и чего не говорили, и уж подавно чувства, догадки, возможности, было заключено в этом факте, хоть и не было равнозначно ему, оно было заключено в нем примерно так, как темные движения печени и желудка заключены в одетой персоне, ставящей свою подпись под каким-нибудь важным документом. И эту субординацию нельзя было нарушать, в этом состояла

действительность!

Старый приятель Ульриха Штумм кончил теперь протирать очки, надел их и взглянул на него.

Хотя Ульрих всегда считал, что он только играет со всеми этими людьми, он вдруг почувствовал себя среди них очень одиноким. Он вспомнил, что несколько недель или месяцев назад уже чувствовал что-то подобное: легкое дуновение, маленький выдох мироздания сопротивляется окаменевшему лунному пейзажу, куда его занесло; и ему показалось, что все решающие мгновения его жизни сопровождались таким впечатлением удивленности и одиночества. Но не страх ли на сей раз беспокоил его при этом? Он не мог разобраться в своем чувстве; оно говорило ему, пожалуй, что он еще ни разу в жизни по-настоящему ни на что не решался и скоро должен будет на что-то решиться, но он не думал это соответствующими словами, а именно лишь чувствовал в неприятной растерянности, словно что-то хотело оторвать его от этих людей, среди которых он сидел, и хотя они были ему совершенно безразличны, его воля вдруг стала отбиваться от этого руками и ногами!

Граф Лейнсдорф, которому воцарившееся

молчание напомнило об обязанностях реалистического политика, сказал увещевающим тоном:
— Так что же предпринять? Мы должны ведь, пусть лишь на время, сделать что-то решительное, чтобы предотвратить опасности, грозящие нашей акции!

Тут Ульрих предпринял одну нелегкую попытку.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — задача у параллельной акции одна-единственная — положить начало генеральной инвентаризации духовного имущества! Мы должны сделать примерно то, что следовало бы сделать, если бы день Страшного суда приходился на тысяча девятьсот восемнадцатый год, если бы кончалось время старой и начиналась эра более высокой духовности. Учредите именем его величества земной секретариат точности и души; все другие задачи дотоле неразрешимы или же это задачи мнимые, не настоящие!

И Ульрих прибавил кое-что из того, что занимало его в недавние минуты погруженности в свои мысли. Когда он это говорил, ему казалось, что у всех не только глаза лезут на лоб, но и туловища от удивления отрываются от стульев; ожидали, что сейчас и он вслед за хозяином дома расскажет

какой-нибудь анекдот, но ничего забавного не последовало, и теперь он сидел среди них как малое дитя среди наклонившихся башен, которые несколько обиженно следят за его простодушной игрой. Только граф Лейнсдорф сделал любезную мину.

— Это совершенно справедливо, — сказал он удивленно, — но ведь наша обязанность — выйти за пределы намеков и найти что-то истинное, а собственность и образованность бросили нас на произвол судьбы!

Арнгейм счел нужным предостеречь этого аристократа, чтобы тот не принимал шутки Ульриха за чистую монету.

— Нашего друга преследует определенная идея, — пояснил он. — Он верит, что правильную жизнь можно создать каким-то синтетическим способом, как синтетический каучук или синтетический азот. Но человеческий дух, — он повернулся к Ульриху с самой рыцарственной своей улыбкой, — ограничен, увы, тем, что его жизненные проявления нельзя плодить как подопытных мышей в лаборатории; тут огромного амбара едва хватает на прокорм каким-нибудь двум-трем мышиным семействам!

Он хоть и извинился затем перед остальными за

это рискованное сравнение, но сам был доволен им, потому что оно отдавало чем-то сельскохозяйственно-помещичьим, подходившим к графу Лейнсдорфу, и в то же время живо выражало разницу между ответственными за исполнение мыслями и мыслями безответственными.

Но его сиятельство недовольно покачал головой.

— Да я прекрасно понимаю доктора, — сказал он. — Прежде люди врастали в условия, которые они заставали, и это был для них надежный способ прийти к самим себе; но сегодня, когда все перемешано и оторвано от почвы, следовало бы даже, так сказать, при производстве души заменить традиционную кустарщину хитроумием фабричного процесса.

Это был один из тех примечательных ответов, которыми граф иногда поражал своих собеседников; ведь перед тем как это сказать, он все время глядел на Ульриха с полной растерянностью.

— Но ведь все, что говорит доктор, совершенно невыполнимо! — с особым упором констатировал Арнгейм.

— Нет, почему же! — коротко и задиристо ответил граф Лейнсдорф.

Диотима пришла на помощь.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — сказала она, словно прося его сделать что-то, что и язык-то не поворачивается произнести, то есть образумиться, ведь все, что говорит мой кузен, мы уже давно пытаемся осуществить! Чем же иным, как не такими попытками, считать эти утомительные большие совещания вроде сегодняшнего?!

— Вот как? — обиженно реагировал его сиятельство. — Я-то с самого начала думал, что у этих умных людей ничего не выйдет! Ведь этот психоанализ и теория относительности, и как там еще все это называется, — сущая суета! Каждый хочет скомпоновать мир на свой особый лад. Доктор, скажу вам, выразился, может быть, не совсем безупречно, но по сути он совершенно прав! Всегда делается что-то новое, как только начинается новое время, и никогда не выходит ничего путного!

Прорвалась нервозность, вызванная неудачным ходом параллельной акции. Граф Лейнсдорф в раздражении крутил теперь вместо усов один большой палец вокруг другого, не замечая этого. Прорвалась, может быть, и неприязнь к Арнгейму. Ведь когда Ульрих начал говорить о душе, граф Лейнсдорф был очень удивлен, но то, что он потом услышал, ему понравилось. «Когда о ней

столько говорят такие вот, как Аргейм, — подумал он, — то это вздор; в этом нет нужды, на это уже есть религия». Но и у Аргейма побледнели даже губы. В таком тоне, как сейчас с ним, граф Лейнсдорф говорил раньше только с генералом. Он не тот человек, чтобы это позволить! Но решительность, с какой его сиятельство стал на сторону Ульриха, помимо воли Аргейма произвела на него впечатление и вновь пробудила в нем обиду на того. Ему было неловко, ведь он хотел объясниться с Ульрихом, а так и не нашел для этого случая, пока дело не дошло, как сейчас, до стычки при всех; и именно потому он не стал отвечать графу Лейнсдорфу, которого просто оставил в стороне, а со всеми признаками сильной физической возбужденности, которой обычно не обнаруживал, обратил свои слова к Ульриху.

— Неужели вы сами верите во все, что вы сказали?! — спросил он строго и не заботясь о вежливости. — Неужели вы верите, что это осуществимо? Вы действительно думаете, что можно жить только по «законам аналогии»? Что же вы сделали бы, если бы его сиятельство предоставил вам полную свободу действий?! Скажите-ка, я очень прошу вас?

Минута была мучительная. Диотиме странным

образом вспомнилась одна история, вычитанная ею на днях в газете. Одну женщину приговорили к ужасному наказанию за то, что она предоставила своему любовнику возможность убить ее старого мужа, уже много лет «не состоявшего» с ней в супружеских отношениях, но не дававшего ей развода. Этот случай привлек ее внимание своими почти медицинскими деталями и какой-то отталкивающей притягательностью; обстоятельства делали все настолько понятным, что возложить вину хотелось не на кого-либо из участников драмы с их ограниченной возможностью помочь себе, а на противоестественность мира, создающего подобные ситуации. Она не понимала, почему подумала об этом именно теперь. Но она думала и о том, что в последнее время Ульрих говорил ей много «зыбкого и скользкого», и злилась, потому что он всегда сразу же привязывал к этому какую-нибудь наглость. Да и сама она говорила о том, что в людях избранных душа способна выйти из своей несущественности, и поэтому ей представилось, что ее кузен так же неуверен, как она сама, и, может быть, так же страстен. И все это в ее голове или в ее груди, покинутом местопребывании графской дружбы, мгновенно сплелось с историей осужденной жен-

щины таким образом, что она, Диотима, сидела сейчас с раскрытыми губами и с таким чувством, что произойдет что-то ужасное, если дать волю Аргейму и Ульриху, но если не дать им воли и вмешаться, то, может быть, это произойдет и подавно.

Ульрих же, когда Аргейм нападал на него, глядел на начальника отдела Туцци. Туцци с трудом прятал веселое любопытство в складках своего смуглого лица. Ну, вот, возне в его доме, кажется, приходит конец из-за ее собственных противоречий, думал он. Ульриху он тоже не сочувствовал; все, что говорил этот малый, было ему совершенно не по нутру, ибо он был убежден, что ценность человека заключена в его воле или в его труде, во всяком случае, не в его чувствах и мыслях, а уж говорить такой вздор о метафорах было, на его взгляд, прямо-таки непристойно. Может быть, Ульрих что-то из этого почувствовал, ибо вспомнил, что как-то он сказал Туцци, что покончит с собой, если год его отпуска от жизни пройдет без всякого результата; сказал не этими именно словами, но все же до неприятного ясно, и сейчас ему было совестно. И снова у него возникло непонятно на чем основанное чувство, что какое-то решение близко. Он подумал в эту ми-

нуту о Герде Фишель и увидел опасность, что она придет к нему и продолжит последний их разговор. Ему стало вдруг ясно, что они, хотя он только играл этим, дошли уже до последнего рубежа слов, откуда возможен только один шаг дальше — любовно подчиниться колеблющимся желаниям девушки, распоясаться интеллектуально, перейти через «вторую линию укреплений». Но это было сумасшествием, и он был убежден, что никогда не сможет зайти с Гердой так далеко и что вообще связался с ней потому, что с ней у него была под ногами твердая почва. Находясь в странном состоянии трезвой, раздраженной приподнятости, он видел взволнованное лицо Арнгейма, слышал, как тот упрекал его еще за отсутствие «реалистического взгляда» и говорил, что «такие резкие „либо-либо“, простите, слишком ребячливы», но полностью потерял охоту на это отвечать. Он посмотрел на часы, миролюбиво улыбнулся и заметил, что уже очень поздно и слишком поздно, чтобы полемизировать.

Так он в первый раз вступил опять в контакт с остальными. Начальник отдела Туцци даже встал и лишь чуть-чуть загладил эту невежливость видимостью какого-то действия. Граф Лейнсдорф тоже тем временем успокоился; он порадовался

бы, если бы Ульрих сумел отбрить «пруссака», но когда этого не произошло, он был тоже доволен. «Если человек нравится, то нравится — и все! — подумал он. — И пускай другой говорит какие угодно умные вещи!» И, глядя на отнюдь не умное в этот момент выражение лица Ульриха, он весело прибавил, смело, но безотчетно приблизившись к Аргейму и его «тайне целого»: «Впору даже сказать, что ничего совсем глупого милый, симпатичный человек сказать или сделать вообще не может! «Беседа быстро кончилась. Генерал отправил свои роговые очки в брючный карман для револьвера, тщетно попытавшись сначала засунуть их в полы своего мундира, ибо еще не нашел для этого штатского инструмента мудрости подходящего места. — Вот оно, вооруженное перемирие идей! — с сообщническим и довольным видом сказал он при этом Туцци, намекая на поспешное и дружное прекращение беседы.

Только граф Лейнсдорф еще раз добросовестно задержал спешивших разойтись.

— Так на чем же мы в итоге сошлись? — спросил он и, когда ни у кого не нашлось ответа, успокаивающе прибавил: — Ну, в конце концов, там видно будет!

117
Черный день Рахили

Пробуждение в нем мужчины и решение совратить Рахиль сделали Солимана холодным, как бывает холоден охотник при виде дичи или мясник при виде идущего на бойню скота, но он не знал, как достичь своей цели, как при этом действовать и каких условий их встречи для этого достаточно; одним словом, воля мужчины заставила его почувствовать всю слабость мальчика. Рахиль тоже знала, к чему идет дело, и с тех пор, как она забывчиво задержала руку Ульриха в своей и прошла через эпизод с Бонадеей, она была сама не своя, пребывая в большой, так сказать, эротической рассеянности, проливавшейся и на Солимана тоже, как слепой дождь. Однако обстоятельства не благоприятствовали им и все откладывали: кухарка заболела, и Рахили пришлось пожертвовать своим свободным днем, приемы в доме задавали много работы, и хотя Арнгейм навещал Диотиму часто, решено было, видимо, тщательнее приглядывать за юной прислугой, ибо он лишь изредка брал с собой

Солимана, да и когда это случалось, они виделись только минут пять и в присутствии хозяев, что вынуждало их придавать своим лицам невинное и хмурое выражение. В это время они чуть ли не злились друг на друга, потому что каждый заставлял другого чувствовать, какая это мука, когда тебя держат на слишком короткой цепи. Солимана к тому же его нетерпение подбивало на решительные поступки, он задумал выйти из отеля ночью, а чтобы его хозяин об этом не узнал, он украл простыню и попытался, изрезав ее на полосы и скрутив их, сделать из нее веревочную лесенку, но это ему не удалось, и он выбросил изуродованные лоскутья в лестничный пролет. Потом он долго и тщетно обдумывал, как ночью слезть и взобраться по кариатидам и выступам стен, и, бродя целыми днями по знаменитому своей архитектурой городу, видел в ней только удобства и неудобства для верхолаза, а Рахили, коротко и шепотом оповещенной об этих планах и помехах, нередко мерещилось, когда она вечерами гасила свет, черная луна его лица у подножья стены или слышался стрекочущий зов, на который она с робостью отвечала, высунувшись из окна своей каморки в пустую ночь, пока не убеждалась в том, что ночь-то пуста. Но она уже

не досадовала на эти романтические тревоги, а принимала их с томной печалью. Томность эта относилась, собственно, к Ульриху, а Солиман был тем, кого не любишь, но кому, несмотря на это, отдашься, насчет чего у Рахили никаких сомнений не было; ибо то, что ей не давали с ним встретиться, что в последнее время они друг от друга и слова, сказанного во весь голос, не слышали и что немилость их хозяев обрушилась на них обоих — все это действовало так, как действует на влюбленных полная неопределенности, тревоги и вздохов ночь, и собирало их жгучие видения, как зажигательное стекло, под лучом которого чувствуешь не столько приятное тепло, сколько свою неспособность больше терпеть. И тут Рахиль, не терявшая времени на веревочные лестницы и акробатические химеры, проявила большую практичность, чем Солиман. Туманный образ похищения на всю жизнь превратился вскоре в ночь, которую нужно улучить, а ночь, поскольку и она была недостижима, в скрытую от посторонних глаз четверть часа; ведь в конце концов ни Диотима, ни граф Лейнсдорф, ни Арнгейм, когда их «служба» заставляла их после больших и безуспешных сборищ великих умов озабоченно обсуждать итоги, задерживаясь для этого часто

еще на час без каких-либо других нужд, — никто из них в конце-то концов не думал о том, что такой час состоит из четырех четвертей. Но Рахиль это учла, и поскольку кухарка не совсем еще оправилась от болезни и, с разрешения хозяйки, удалялась на покой рано, у ее младшей товарки было, по счастью, столько работы, что никак нельзя было сказать, где она в данный момент находится, а обязанностями горничной ее в эту пору по возможности не обременяли. Для пробы — так, примерно, как люди слишком трусливые, чтобы покончить с собой, делают притворные попытки самоубийства до тех пор, пока одна из них нечаянно не удается, — она уже несколько раз приводила к себе Солимана, у которого на случай, если его там обнаружат, была приготовлена ссылка на какое-то поручение, и дала ему понять, что в ее каморку можно проникнуть и этим путем, а не только по наружной стене. Но парочка так и продолжала зевать в передней и, прислушиваясь, наблюдать за обстановкой, пока в один из вечеров, когда голоса в гостиной следовали друга за другом так равномерно, как Звуки при молотьбе, Солиман, пользуясь великолепной романной фразой, не объявил, что терпеть он больше не может. Он же в каморке и дверь закрыл на за-

движку; но потом они не могли решиться зажечь свет и сперва стояли друг перед другом слепые, как статуи в темном парке, словно вместе со зрением лишились и всех других чувств. Солиман подумал, правда, что надо бы сжать руку Рахили или ущипнуть ее за бедро, чтобы она вскрикнула, ибо таковы были до сих пор его мужские победы, но он должен был держать себя в руках, ведь шуметь им не следовало, и когда он все же робко предпринял одну небольшую грубую попытку, от Рахили хлынуло на него лишь нетерпеливым равнодушием. Ибо Рахиль почувствовала руку судьбы, руку, которая легла на ее поясницу и толкала вперед, а нос и лоб ее стали вдруг ледяными, словно она уже сейчас утратила все свои иллюзии. И тут Солиман тоже почувствовал себя совершенно опустошенным и предельно неловким, и неясно было, как прекратить это стояние в темноте друг перед другом. Наконец все-таки благородной, но несколько более опытной Рахили пришлось сыграть роль совратителя. И при этом ей помогла злоба, которую она питала к Диотиме вместо прежней любви, ибо с тех пор, как Рахиль перестала довольствоваться участием в высоких восторгах своей госпожи и завела собственный роман, она очень изменилась. Она не только

лгала, чтобы скрыть свои встречи с Солиманом, но и рвала гребенкой, причесывая Диотиму, ее волосы, чтобы отомстить за бдительность, с какой охраняли ее, Рахили, невинность. Пуще же всего злило ее теперь то, что прежде больше всего воодушевляло, — ношение рубашек, штанов и чулок, которые дарила ей Диотима, когда они отслуживали свой срок, — ибо хотя Рахиль ушивала это белье на две трети и полностью переделывала его, она казалась себе в нем узницей и чувствовала ярмо приличий надетым прямо на голое тело. Но именно это внушило ей на сей раз ту находчивую мысль, в которой она нуждалась в сложившейся ситуации. Ведь она уже раньше рассказывала Солиману о давно замечаемых переменах в белье госпожи, и ей достаточно было показать ему это белье, чтобы найти отправную точку, которой требовала ситуация.

— Можешь судить по этому, какие они плохие, — сказала она, показывая в темноте Солиману серебристую оборку своих штанишек, — и если между ними что-то есть, то, уж конечно, они обманывают хозяина и в этой истории с войной, которую у нас готовят! И когда мальчик осторожно ощупал нежные и опасные штанишки, она, немного задыхаясь, прибавила: — Держу пари,

Солиман, что твои кальсоны такие же черные, как ты; мне всегда так говорили!

И Солиман обиженно, но мягко вдавил свои ногти в ее ляжку, и Рахили пришлось придвинуться к нему, чтобы освободиться, и пришлось еще что-то сказать и сделать, что, однако, не принесло подлинного успеха, пока, наконец, она не воспользовалась своими острыми зубками и не обошлась с лицом Солимана, — по-детски прижавшимся к ее лицу и при каждом движении снова по-мальчишески ловившим его, — как с большим яблоком. И тогда она забыла устыдиться этих усилий, а Солиман забыл устыдиться своей неловкости, и сквозь мрак пронесся ураганный ветер любви. Он резко спустил любовников на землю, когда отпустил их; он исчез сквозь стены, и темнота между ними была как кусок угля, которым зачернили себя грешники. Они не знали, сколько прошло минут, они переоценили истекшее время и боялись. Последний нерешительный поцелуй Рахили был для Солимана обременителен; ему хотелось зажечь свет, и он вел себя как грабитель, захвативший добычу и теперь направляющий все силы на то, чтобы улизнуть. Рахиль, стыдливо и быстро приведшая в порядок свою одежду, глядела на него взглядом, у которого нет

ни цели, ни дна. Над глазами у нее висели растрепанные волосы, а в глубине глаз ей впервые снова предстали все громадные образы ее любви и чести, которые она до этой минуты забыла. Кроме всех возможных собственных добродетелей, она желала себе красивого, богатого и необыкновенного возлюбленного, а перед ней стоял Солиман, не очень пристойно одетый, пугающе безобразный, и она не верила ни одному слову из всего, что он ей рассказывал. Может быть, в темноте она была бы не прочь еще несколько мгновений подержать в объятиях его толстое, напряженное лицо, прежде чем им оторваться друг от друга; но сейчас, когда горел свет, он был ее новым любовником, и ничем больше, сжавшимся из тысячи мужчин в немного смешного паренька и в того, кто исключает всех прочих. А Рахиль снова была служанкой, позволившей себя соблазнить и очень боявшейся ребенка, из-за которого это выйдет на свет. Она была просто слишком испугана этой метаморфозой, чтобы застонать. Она помогла Солиману одеться, ибо в смятении тот сбросил свой узкий китель со множеством пуговиц, но помогла ему не из нежности, а чтобы поскорее управиться. Все казалось ей оплаченным ужасающе дорого, и разоблачение

было бы невыносимо. Тем не менее, когда они привели себя в порядок, Солиман повернулся к ней и, осклабившись, заржал, ибо был как-никак очень горд; а Рахиль быстро схватила коробку спичек, погасила свет, тихо отомкнула задвижку и, прежде чем отворить дверь, шепнула ему:

— Ты должен еще поцеловать меня!

Ибо так полагалось; но на вкус этот поцелуй показался обоим таким, словно на губах у них был зубной порошок.

Когда они вернулись в переднюю, они очень удивились, что успели прийти вовремя и разговоры за дверью продолжались по-прежнему; когда гости стали расходиться, Солиман исчез, а полчаса спустя Рахиль расчесывала волосы своей госпожи с величайшим старанием и чуть ли не с прежней смиренной любовью.

— Я рада, что мои увещания подействовали на тебя! — одобрительно сказала Диотима, и она, не нашедшая настоящего удовлетворения в столь многом, ласково похлопала по руке свою маленькую служанку.

118

Ну, так убей его!

Сменив костюм, в котором он ходил на службу, на лучший, Вальтер завязывал галстук перед зеркалом над туалетным столиком Клариссы, которое, несмотря на извилистую, в новейшем вкусе рамку, давало искаженное, неглубокое отражение из-за дешевого, вероятно пузырчатого, стекла.

— Они совершенно правы, — сказал он сердито, — эта знаменитая акция — сплошной обман!

— А какой им смысл кричать?! — ответила Кларисса.

— А какой сегодня вообще смысл в жизни! Когда они выходят на улицу, они хотя бы образуют шествие; каждый чувствует тело другого! Они хотя бы не думают и не пишут: из этого что-то выйдет!

— И ты действительно думаешь, что параллельная акция заслуживает этого возмущения?

Вальтер пожал плечами.

— Ты не читала в газете о резолюции немецких делегатов, переданной премьер-министру? Оскорбления и дискриминация немецкого населения и так далее? И об издевательском постановлении чешского клуба? Или маленькое

сообщение, что депутаты-поляки разъехались по своим избирательным округам? Если уметь читать между строк, то оно говорит очень многое, ведь поляки, от которых всегда зависит решение, бросают правительство на произвол судьбы! Положение напряженное. Не время было разжигать страсти общей патриотической акцией!

— Когда я сегодня была в городе, — сказала Кларисса, — я видела конную полицию на марше; целый полк; одна женщина сказала мне, что их где-то прячут!

— Конечно. Войска в казармах тоже наготове.

— Ты думаешь, что-то будет?!

— Кто же знает!

— Они тогда врежутся в толпу? Ужасно, как представишь себе, что кругом одни крупы и холки!

Вальтер еще раз развязал галстук и стал завязывать его снова.

— Ты когда-нибудь уже видел такое? — спросила Кларисса.

— Когда был студентом.

— А с тех пор нет?

Вальтер отрицательно покачал головой.

— Ты ведь сказал, что Ульрих виноват, если что-то будет? — попыталась Кларисса еще раз

удостовериться.

— Этого я не говорил! — запротестовал Вальтер. — Политические события его, к сожалению, не волнуют. Я только сказал, что он вполне способен легкомысленно накликать что-нибудь такое; он вращается в кругу, который несет вину!

— Мне бы тоже хотелось быть сейчас в городе! — призналась Кларисса.

— Ни в коем случае! Это чересчур взволновало бы тебя! — Вальтер возразил очень решительно; он наслышался на службе о том, чего ждали от демонстрации, и хотел оградить от этого Клариссу. Ведь это не для нее — истерия, исходящая от огромной массы людей; с Клариссой надо было обращаться как с беременной. Он чуть не поперхнулся на этом слове, неожиданно внесшем в неприступную раздражительность его уклоняющейся от ласк возлюбленной глупую теплоту беременности. «Но такие связи между вещами, выходящие за пределы обычных понятий, на свете есть!» — сказал он себе не без гордости и предложил Клариссе: — Если хочешь, я тоже останусь дома.

— Нет, — ответила она, — по крайней мере уж ты побывай там.

Ей хотелось остаться одной. Когда Вальтер рас-

сказал ей о предстоящей демонстрации и описал, как это выглядит, у нее перед глазами возникла змея, сплошь в чешуйках, которые шевелились порознь. Ей хотелось самой убедиться, что так оно и есть, а не вести долгие разговоры.

Вальтер обнял ее одной рукой.

— Я тоже останусь дома? — повторил он вопросительно.

Кларисса смахнула его руку, взяла с полки книгу и перестала обращать на него внимание. Это был том ее Ницше. Но Вальтер, вместо того чтобы теперь покинуть ее, попросил:

— Дай-ка взглянуть, что тебя занимает!

Дело шло уже к вечеру. Неопределенное предчувствие весны было в квартире; словно бы слышался щебет птиц, приглушенный стеклом и стенами; обманчиво поднимался аромат цветов — от запаха покрывавшего полы лака, от обивки мебели, от начищенных медных ручек. Вальтер потянулся к книге. Кларисса обхватила книгу обеими руками, заложив ее пальцем в том месте, где она была открыта.

И тут разыгралась одна из тех «ужасных» сцен, которыми был так богат этот брак. Все они шли по одному образцу. Надо представить себе театр с погруженной во мрак сценой и двумя осве-

щенными ложами, одна против другой; в них находятся Вальтер на одной, Кларисса — на другой стороне, они выделены из всех женщин и мужчин, между ними глубокая черная пропасть, теплая от невидимых человеческих существ; Кларисса открывает рот, а потом отвечает Вальтер, и все слушают, затаив дыхание, ибо это такое зрелище, такая игра звуков, какие еще никогда не удавались людям.

Так произошло и сейчас, когда Вальтер просительно протянул руку, а Кларисса, в нескольких шагах от него, зажала палец между страницами книги. Она наобум напала на то прекрасное место, где мэтр говорит об обеднении из-за упадка воли, которое во всех формах жизни выражается в том, что частности разрастаются в ущерб целому. «Жизнь оттеснена в мельчайшие формы, остаток беден жизнью» — эта фраза была у нее еще в памяти, а смысл более широкого контекста, который она пробегала глазами в тот миг, когда Вальтер прервал ее, дошел до нее лишь приблизительно; и тут, несмотря на неблагоприятность момента, она сделала великое открытие. Хотя мэтр говорил в этом месте обо всех искусствах, даже обо всех формах человеческой жизни, примеры он приводил только из литературы; а

поскольку общих принципов Кларисса не понимала, она открыла, что Ницше недооценил всей широты своих мыслей, ибо они были применимы и к музыке!! Она слышала сейчас больную фортепианную игру мужа, словно та воистину звучала рядом, его эмоциональные замедления, запинки и непременные выпадения звуков из строя, когда мысли его уносились к ней и, как говорит мэтр в другом месте, «побочная моральная тенденция» подавляла в нем «художника». Кларисса умела слышать это, когда Вальтер безмолвно ее желал, и могла видеть музыку, когда та уходила с его лица. Тогда на нем светились лишь губы, и он выглядел так, словно порезал себе палец и упадет в обморок. Так же он выглядел и сейчас, когда, нервно улыбаясь, протянул руку к книге. Всего этого Ницше, конечно, не мог знать, но было символично, что случайно она открыла то место, которое имело к этому отношение, и когда она все это вдруг увидела, услыхала и поняла, ее ударила молния наития, и она очутилась на высокой горе под названием Ницше, которая погребла под собой Вальтера, а ей доходила как раз до подошв! «Прикладная философия и поэзия» большинства людей, не обладающих творческими способностями, но не вовсе чуждых духовности, состоит из

таких проблесков, из таких слияний маленькой личной перемены с большой чужой мыслью.

Вальтер тем временем встал и приблизился теперь к Клариссе. Он решил плюнуть на демонстрацию, в которой собирался участвовать, и остаться с женой. Он видел, что при его приближении она строптиво стоит прислонясь к стене, и эта нарочитая поза женщины, отпрянувшей от мужчины, к несчастью, не заразила его отвращением, а пробудила в нем такие мужские порывы, которые как раз и могли бы послужить причиной ее отвращения. Ведь мужчина должен уметь приказывать и навязывать сопротивляющемуся свою волю, и вдруг эта потребность показать себя мужчиной стала для Вальтера совершенно равнозначна потребности бороться со слабыми пережитками суеверия его юности, внушавшего, что надо быть чем-то особенным. «Не надо быть ничем особенным!» — говорил он себе упрямо. Ему казалось трусостью неумение жить без этой иллюзии. «Мы все носим в себе эксцессы, — думал он пренебрежительно. — Мы носим в себе больное, жуткое, одинокое, злостное; каждый из нас годен на что-то, на что годен лишь он. Это еще ровно ничего не значит!» Его ожесточало бредовое утверждение, будто наша задача — развивать

необыкновенное, а не, наоборот, сдерживать эти пагубные ростки, органически усваивать их и чуть-чуть освежать ими слишком уж склонную к покою кровь цивилизованного человека. Так думал он и ждал того дня, когда музыка и живопись станут для него всего-навсего благородным способом развлечения. Его желание иметь ребенка принадлежало к этим новым задачам; владевшая им в юности жажда стать титаном и огнедобытчиком привела теперь в конечном счете к тому, что веру, будто сперва надо стать таким же, как все, он принял с некоторым преувеличением; ему было в это время стыдно, что у него нет ребенка, он завел бы пятерых детей, если бы это позволили Кларисса и его доходы, ибо ему очень хотелось быть в центре теплого круга жизни, и он желал себе превзойти заурядностью ту великую человеческую заурядность, которой держится жизнь, желал, несмотря на противоречие, заключенное именно в этом стремлении.

Но потому ли, что он слишком много размышлял или слишком много спал, прежде чем стал переодеваться для выхода и начал этот разговор, у него горели сейчас щеки, и, как выяснилось, Кларисса сразу поняла, почему он стал приближаться к ее книге, и эта тонкость их взаимоприлажен-

ности, несмотря на мучительные признаки отвращения, таинственным образом тотчас же взволновала его, что пошло в ущерб мужской грубости и опять разрушило его простоту.

— Почему ты не хочешь мне показать, что ты читаешь? Давай поговорим! — попросил он робко.

— «Говорить» невозможно! — прошипела Кларисса.

— Какая ты взвинченная! — воскликнул Вальтер. Он пытался выхватить у нее книгу раскрытой. Кларисса упорно прижимала ее к себе. Но после нескольких мгновений борьбы Вальтера вдруг осенило: «На что мне, собственно, эта книга?!»— и он отстал от Клариссы. Дело тем бы и кончилось, если бы именно в этот миг, когда он ее наконец отпустил, Кларисса не прижалась к стене с такой силой, словно ей нужно было пробиться спиной через твердое заграждение, чтобы уйти от грозящего ей насилия. Тяжело дыша, побледнев, она хрипло прокричала ему: — Вместо того чтобы самому что-то сделать, ты хочешь продолжить себя в ребенке!

Как ядовитое пламя, выплеснул на него ее рот эти слова, и Вальтер невольно снова сказал, задыхаясь: — Давай поговорим!

— Не хочу говорить, ты мне противен!! — ответила Кларисса, вдруг опять вполне овладев своими голосовыми средствами и пользуясь ими так целеустремленно, что казалось, будто тяжелая фарфоровая миска упала на пол точно между нею и Вальтером.

Вальтер на шаг отступил и удивленно поглядел на нее. Кларисса сказала это без злого умысла. Она просто боялась, что когда-нибудь уступит по добродушию или небрежности; тогда Вальтер сразу привяжет ее к себе пеленками, а этого никак нельзя допустить сейчас, когда она хочет решить вопрос вопросов. Обстановка «обострилась»; она мысленно видела подчеркнутым это слово, которое употребил Вальтер, чтобы объяснить ей, почему люди вышли на улицу; ведь Ульрих, связанный с Ницше тем, что подарил ей на свадьбу его сочинения, находился на другой стороне, против которой обратится острие, если заварится каша; а Ницше только что дал ей знак, и если она при этом увидела себя стоящей на «высокой горе», то что же такое высокая гора, как не заострившаяся кверху земля?! То были, значит, очень странные связи, которых, наверно, никто еще не разгадывал, и даже Клариссе они представлялись неясными; но именно поэтому ей

хотелось побыть одной и выпроводить Вальтера из дому. Дикая ненависть, которой пылало в эту минуту ее лицо, не была цельной и серьезной, это была только физически бурная ненависть, с весьма неопределенным личным началом, фортепианная ярость, на которую был способен и Вальтер, а потому и он, после того как несколько мгновений ошеломленно глядел на жену, вдруг словно бы с опозданием побледнел, оскалил зубы и в ответ на то, что он ей противен, вскричал:
— Берегись гения! Ты-то и берегись!

Он кричал еще неистовей, чем она, и темное его пророчество ужаснуло его самого, ибо оно было сильнее его, оно просто вырвалось у него из глотки, и вдруг все в комнате увиделось ему черным, словно наступило затмение солнца. На Клариссу тоже это произвело впечатление. Она вдруг умолкла. Аффект столь же сильный, как солнечное затмение, дело, конечно, не простое, и как бы он ни возник, в ходе его совершенно внезапно прорвалась ревность Вальтера к Ульриху. Почему он при этом назвал его гением? Он имел в виду, наверно, что-то вроде надменности, которая не знает, что крах ее не за горами. Вальтер вдруг увидел перед собой старые картины. Ульрих, возвращающийся домой в мундире,

варвар, который уже имел дело с реальными женщинами, когда Вальтер, хотя он был старше, еще писал стихи о каменных статуях в парках. Позднее: Ульрих, приносящий домой новости о духе точности, скорости, стали; но и это для гуманиста Вальтера было налетом варварской орды. По отношению к младшему своему другу Вальтер всегда испытывал тайную неловкость физически более слабого и менее предприимчивого, но одновременно видел в себе дух, а в нем лишь грубую волю. И, подтверждая этот взгляд, отношение между ними всегда было такое: взволнованный чем-то прекрасным или добрым Вальтер, качающий головой Ульрих. Такие впечатления долговечны. Если бы Вальтеру удалось увидеть место, где была раскрыта книга, из-за которой он боролся с Клариссой, он отнюдь не усмотрел бы в описанном там разложении, вытесняющем волю к жизни из целого в частности, осуждения собственной художественной мечтательности, как то поняла Кларисса, а был бы убежден, что это великолепное описание его друга Ульриха, начиная с переоценки частностей, свойственной нынешней суеверной вере в опыт, и вплоть до продолжения этого варварского распада в индивидууме, что он, Вальтер, назвал человеком без

свойств или свойствами без человека, причем Ульрих в своей мании величия еще и одобрил это определение. Все это имел в виду Вальтер, выкрикивая как ругательство слово «гений»; ибо если кто-то и смел называть себя одинокой индивидуальностью, то это был, казалось ему, он сам, Вальтер, и все-таки он отказался от этого, чтобы вернуться к естественной человеческой миссии, и чувствовал себя опередившим тут своего друга на целый век. Но в то время, как Кларисса молчала, не отвечая на его хулу, он думал: «Если она скажет хоть слово в пользу Ульриха, я этого не выдержу!» — и ненависть трясла его так, словно это делала рука Ульриха.

В своем безмерном волнении он почувствовал, что хватает шляпу и спешит прочь. Он несся по улицам, не замечая их. В его воображении дома прямо-таки относило в сторону ветром. Лишь спустя некоторое время шаг его стал медленней, и теперь он заглядывал в лица людей, мимо которых проходил. Эти лица, приветливо глядевшие на него, его успокоили. И теперь он начал, в той мере, в какой его сознание осталось вне этого фантастического чувства, рассказывать Клариссе, что он имеет в виду. Но слова блестели у него в глазах, а не на устах. Да и как описать

счастье быть среди людей и братьев! Кларисса сказала бы, что ему недостает самобытности. Но в крутой самоуверенности Клариссы было что-то бесчеловечное, и он не хотел больше удовлетворять надменным требованиям, которые она ему предъявляла! Он испытывал мучительное желание включиться в один с ней порядок, а не блуждать среди бесконечных иллюзий любви и душевной анархии. «Во всем, что ты есть и что делаешь, и даже тогда, когда ты находишься в разладе с другими, надо ощущать наличие глубинного движения к ним», — примерно так хотелось ему возразить ей. Ибо Вальтеру всегда везло с людьми; даже в споре он привлекал их к себе, а они его, и потому несколько плоское мнение, что человеческому обществу присуща уравновешивающая, вознаграждающая старания сила, которая в конечном счете всегда пробьется, стало в его жизни твердым убеждением. Ему подумалось, что есть люди, привлекающие птиц; птицы любят подлетать к ним, и в облике таких людей часто бывает что-то птичье. Он был вообще убежден, что у каждого человека есть животное, с которым он необъяснимым образом связан. Эту теорию он однажды придумал; она была ненаучна, но он считал: люди музы-

кальные догадываются о многом, что лежит за пределами науки, и уже со времени его детства было установлено, что его животное — рыба. К рыбам его всегда сильно влекло, хотя к этому чувству примешивался ужас, и в начале каникул он вечно возился с ними как одержимый; он мог часами стоять у воды, выуживая их из родной им стихии и укладывая их трупы рядом с собой в траву, пока это вдруг не кончалось приступом граничившего с ужасом отвращения. И рыба в кухне принадлежала к самым ранним его страстям. Скелеты выпотрошенных рыб складывали в продолговатую, похожую на челнок глазированную зелено-белую, как трава и облака, миску, наполовину наполненную водой, где они по какой-то связанной с законами кухонного царства причине оставались до тех пор, пока обед не был готов, после чего отправлялись на помойку; к этому сосуду таинственно влекло мальчика, который под всякими ребяческими предлогами то и дело возвращался на кухню и, если его прямо спрашивали, что ему нужно, терял дар речи. Сегодня он, может быть, смог бы ответить, что волшебство рыб состоит в том, что они не принадлежат двум стихиям, а целиком пребывают в одной. Он снова видел их перед собой, как часто

видел в глубоком зеркале воды, и двигались они не так, как он сам, по земной тверди, по самой ее границе с другой стихией-пустотой (не будучи дома ни там, ни здесь! — подумал Вальтер, вертя эту мысль туда и сюда; принадлежишь земле, хотя с ней всего-то и общего у тебя, что маленькая площадь подошв, а всем остальным телом торчишь в воздухе, в котором ты упал бы и который вытесняешь собой!), нет, почва рыб, их воздух, их питье, их еда, их страх перед врагами, и призрачный ход их любви, и их могила замыкали их в себе; они двигались в том, что их двигало, а человеку это знакомо лишь по снам или, может быть, по томительному желанию вновь обрести защитную нежность материнского лона, желанию, верить в которое тогда как раз входило в моду. Но почему же в таком случае он умерщвлял рыб, вырывая их из воды? Это доставляло ему несказанное, священное наслаждение! И он знать не хотел, почему; он, Вальтер, загадочный человек! Но Кларисса как-то назвала рыб просто буржуа водного царства?! Он обиженно вздрогнул. И пока он — в том вымышленном состоянии, в каком он находился и обо всем этом думал, — несся по улицам, заглядывая в лица встречным, установилась хорошая погода для рыбной ловли; не то чтобы

уже пошел дождь, но стало влажно, и тротуары и мостовые успели, как он только теперь заметил, побуреть. Люди, которые по ним двигались, выглядели теперь одетыми в черное, и на них были твердые шляпы, но не было воротничков; Вальтер принял это к сведению без удивления; во всяком случае, они не были буржуа, а выходили, по всей видимости, из фабрики, они шли неплотными группами, а другие люди, которые еще не кончили рабочего дня, торопливо пробирались между ними вперед, так же, как и он, и он стал очень счастлив, только голые шеи напоминали ему что-то, что мешало ему и с чем дело было не совсем чисто. И вдруг из этой картины хлынул дождь; люди начали распыляться, в воздухе было что-то вспоротое, беловато-блестящее; дождем сыпалась рыба; и надо всем висел дрожащий, нежный, как бы совсем неуместный здесь клич какого-то одиночного голоса, который звал, звал по имени какую-то собачку.

Эти последние перемены произошли так независимо от него что он сам поразился. Он не заметил, что его мысли блуждали и с невероятной скоростью уносились вдаль на зрительных образах. Он встрепенулся и увидел лицо своей молодой жены, все еще искаженное отвращени-

ем. Он почувствовал себя очень неуверенно. Он вспомнил, что хотел подробно объяснить какой-то упрек; его рот был еще открыт. Но он не знал, прошло ли с тех пор несколько минут, несколько секунд или лишь тысячные доли секунды. Его при этом согревала некоторая гордость; так по коже после ледяной ванны пробегает какой-то двойственный озноб, говоря что-то вроде: «Смотрите, на что я способен!» Но не меньше чувствовал он себя в ту же минуту и посрамленным этим прорывом подземных сил; ведь еще только что он хотел говорить о том, что упорядоченность, владение собой и довольство своим местом в широком кругу вещей духовно куда выше, чем отступление от нормы, и вот уже его убеждения лежали корнями вверх, и к ним пристала лава вулкана жизни! Поэтому сильнейшим его чувством после пробуждения был, в сущности, ужас. Он не сомневался, что ему предстоит что-то ужасное. У этого страха не было разумного содержания; думая еще наполовину образами, он просто представлял себе, что Кларисса и Ульрих стараются вырвать его из его образа. Он собрался с мыслями, чтобы стряхнуть этот сон наяву, и хотел сказать что-нибудь, что помогло бы разумно продолжить парализованный его неистовостью

разговор; у него уже и вертелось что-то на языке, но чувство, что слова его опоздали, что тем временем было сказано и уже случилось другое, а он и не знает о том, чувство это удержало его, и вдруг он услышал, догоняя упущенное время, как Кларисса сказала ему:

— Если ты хочешь убить Ульриха, так убей его! У тебя слишком много совести; художник может создать хорошую музыку, только если у него нет совести!

Вальтер долго никак не мог это понять. Ведь иногда понимаешь что-либо лишь благодаря тому, что отвечаешь на это, а он медлил с ответом, боясь выдать свое отсутствие. И в этой неуверенности он понял или убедил себя, что Кларисса действительно высказала то, что положило начало той устрашающей рассеянности, в которой он только что пребывал. Она была права; Вальтер, если бы ему дозволено было любое желание, часто ничего другого и не желал бы, кроме как видеть Ульриха мертвым. Такое в дружбе, которая обычно не так быстро распадается, как любовь, бывает не столь уж редко, если дружба очень уж посягает на ценность индивидуума. И мысль эта была не бог весть какой кровавой; ибо стоило ему представить себе Ульриха мертвым,

как старая юношеская любовь к потерянному другу снова давала себя знать, хотя бы частично; и подобно тому как в театре обывательский ужас перед чудовищным поступком уничтожается огромным искусственным чувством, Вальтеру чуть ли не казалось, что при мысли о трагической развязке с тем, кому отведена роль жертвы, происходит что-то прекрасное. Он чувствовал большую приподнятость, хотя был робок и не выносил вида крови. И хотя он честно желал, чтобы высокомерие Ульриха когда-нибудь рухнуло, он даже для этого ничего не предпринял бы. Но ведь у мыслей поначалу нет логики, сколько бы им ее ни приписывали; лишь начисто лишенное фантазии сопротивление, оказываемое реальностью, направляет внимание на противоречия в поэме «человек». Значит, Кларисса, возможно, была и права, утверждая, что избыток обывательской совестливости может вредить художнику. И все это было одновременно в Вальтере, который нерешительно и строптиво глядел на жену.

Но Кларисса настойчиво повторила:

— Если он мешает твоему творчеству, ты вправе убрать его с дороги!

Она, казалось, находила это привлекательным и занятным.

Вальтеру хотелось протянуть к ней руки. Локти его словно приросли к туловищу, но все-таки он как-то ухитрился приблизиться к ней.

— Ницше и Христос погибли из-за своей половинчатости! — шепнула она ему на ухо.

Все это было вздором. Как припутала она сюда Христа? Что это значило, что Христос погиб из-за половинчатости?! Такие сравнения вызывали только неловкость. Но Вальтер все еще чувствовал, как от движения этих губ исходит что-то неописуемо подхлестывающее; конечно, против его собственной, с трудом добытой решимости присоединиться к большинству человечества всегда выступала подавляемая, но упорная потребность в исключительности. Он схватил Клариссу изо всех сил, не давая ей двинуться с места. Ее глаза стояли перед его глазами двумя кружочками.

— Не знаю, откуда у тебя берутся такие мысли! — сказал он несколько раз подряд, но ответа не получил. И, не желая этого, он, видимо, притянул ее к себе, ибо Кларисса растопырила ногти десяти своих пальцев, как птица, перед его лицом, отчего он уже не мог приблизиться к ней плотнее. «Она обезумела!»— почувствовал Вальтер. Но отпустить ее он не смог. Что-то непонятно

безобразное было в ее лице. Он никогда не видел умалишенных; но такой, думал он, должен быть у них вид.

И вдруг он простонал:

— Ты любишь его?!

Это было, конечно, не очень-то оригинальное замечание, и оно уже не раз ими обсуждалось; но чтобы не быть вынужденным поверить, что Кларисса больна, он предпочел допустить, что она любит Ульриха, и жертвенность эта была, наверно, отчасти вызвана тем, что Кларисса, чьей узкогубой, во вкусе раннего Возрождения красотой он до сих пор всегда восхищался, впервые показалась ему безобразной, а безобразие это, в свою очередь, связано было, наверно, с тем, что лицо ее больше не было нежно защищено любовью к нему, а было оголено грубой любовью соперника. Все это создало множество осложнений, и они трепетали у него между сердцем и взором, они были чем-то новым, имевшим и общее, и частное значение; но то, что он, произнося слова «ты любишь его», издал совершенно нечеловеческий стон, произошло, может быть, потому, что он был уже заражен безумием Клариссы, и это немного испугало его.

Кларисса мягко высвободилась, однако еще раз

приблизилась к нему добровольно и несколько раз, словно бы напевая, сказала в ответ: — Я не хочу ребенка от тебя; я не хочу ребенка от тебя! При этом она небрежно и быстро несколько раз подряд поцеловала его. Потом она ушла. В самом ли деле она сказала: «Он хочет ребенка от меня»? Вальтер не мог вспомнить с уверенностью, что она это сказала, но он как бы слышал такую возможность. Он ревниво стоял перед роялем и чувствовал, как с одной стороны на него веет чем-то теплым и чем-то холодным. Были ли это токи гениальности и сумасшествия? Или уступчивости и ненависти? Или токи любви и ума? Он мог представить себе, что откроет Клариссе дорогу и положит на эту дорогу свое сердце, чтобы Кларисса прошла по нему, и мог представить себе, что уничтожит страшными словами ее и Ульриха. Он не знал, поспешить ли ему к Ульриху или начать писать свою симфонию, которая в этот миг может стать вечной борьбой между землей и звездами, или лучше сначала несколько охладить свой пыл в русалочьем пруду запретной музыки Вагнера. Невыразимое состояние, в котором он находился, начало постепенно растворяться в этих соображениях. Он открыл рояль, закурил, и в то время, как мысли его разбегались

все шире и шире, пальцы его на клавишах повели зыбящуюся, пробирающую до мозга костей музыку саксонского колдуна.

И после какого-то срока этой медленной разрядки ему стало совершенно ясно, что его жена и он находились в состоянии невменяемости; но, несмотря на неловкость, которую это у него вызвало, он знал, что так скоро после случившегося еще бесполезно идти искать Клариссу, чтобы объяснить это ей. И вдруг его потянуло к людям. Он надел шляпу и направился в город, чтобы выполнить свое первоначальное намерение и влиться в общее волнение, если ему удастся таковое найти. По пути он был весь во власти впечатления, что несет в себе демоническую рать, предводителем которой и примкнет к остальным. Но уже в трамвае жизнь выглядела обыкновенно; мысли, что Ульрих находится на стороне противника, что дворец графа Лейнсдорфа, возможно, подвергся штурму, что Ульрих, чего доброго, висит на фонаре, что он растоптан толпой или что, наоборот, Вальтер взял его, дрожащего, под защиту и спас, — это были разве что мимолетные тени на светлой упорядоченности поездки по твердому тарифу, с остановками и предостерегающими звонками, упорядоченности, в которой Вальтер,

дышавший теперь снова спокойнее, почувствовал что-то родное.

119
Контрманевр и совращение

Тогда похоже было на то, что события спешат к какой-то развязке, и для директора Лео Фишеля, который в деле с Аргеймом терпеливо ждал своего контрманевра, тоже настал час удовлетворения. К сожалению, Клементины в этот момент как раз не было дома, и он должен был удовольствоваться тем, что вошел в комнату своей дочери Герды с утренней газетой, обычно хорошо информированной о делах биржи; он сел на удобный стул, указал на какую-то маленькую заметку и с удовольствием спросил:

— Знаешь, дитя мое, почему этот глубокомысленный финансист пребывает в нашей среде?

Дома он никогда не называл Аргейма по-другому, чтобы показать, что, как серьезный деловой человек, совершенно не разделяет восхищения своих женщин этим богатым болтуном. И даже если ненависть никого не делает ясновидящим, то биржевые слухи все же нередко соответствуют истине, и неприязнь Фишеля к Аргейму застави-

ла его сразу же верно дополнить недосказанное газетой.

— Знаешь? — повторил он, пытаясь поймать глаза дочери лучом своего торжествующего взгляда. — Он хочет взять под контроль своего концерна галицийские нефтяные промыслы!

С этими словами Фишель встал, схватил газету, как хватают за загривок щенка, и покинул комнату, потому что ему вздумалось позвонить кое-кому по телефону, чтобы удостовериться окончательно. У него было такое чувство, что то, что он сейчас прочел, он и всегда думал (из чего видно, что биржевые заметки оказывают такое же действие, как изящная словесность), и он был доволен Аргеймом, словно ничего другого и нельзя было ожидать от такого благоразумного человека, хотя при этом начисто забыл, что до сих пор считал его всего-навсего болтуном. Он не стал утруждать себя разъяснением Герде значения того, что он сообщил ей; каждое лишнее слово нанесло бы ущерб языку фактов. «Он хочет взять под контроль своего концерна галицийские нефтяные промыслы!» — еще чувствуя языком вес этой простой фразы, он удалился и только подумал еще: «У кого есть выдержка, чтобы выждать, тот всегда выигрывает!» — а это старое

биржевое правило, которое, как все истины биржи, самым безошибочным образом дополняет вечные истины.

Как только он вышел, Герда дала волю своим чувствам; до сих пор она старалась не доставить отцу удовольствия, показав, что растерянна или хотя бы удивлена, а сейчас она рывком распахнула шкаф, достала пальто и шляпу и, поправив перед зеркалом волосы и платье, осталась сидеть перед зеркалом и стала с сомнением разглядывать свое лицо. Она приняла решение поспешить к Ульриху. Это произошло в тот миг, когда при словах отца ей подумалось, что именно Ульриху следует как можно скорее узнать эту новость, ибо о ситуации в окружении Диотимы ей было известно достаточно многое, чтобы понять, как важно для него то, что сообщил отец. И в тот миг, когда она это решила, ей показалось, что ее чувства пришли в движение, как долго стоявшая на месте толпа; до сих пор она заставляла себя делать вид, будто забыла приглашение Ульриха посетить его, но стоило лишь в темной толпе ее чувств медленно тронуться первым, как уже и более далекие неудержимо зашевелились и сдвинулись с места, и хотя она не могла решиться, решение сложилось, не заботясь о ней.

«Он не любит меня! — сказала она себе, рассматривая в зеркале свое лицо, которое еще больше заострилось за последние дни. — Да и как ему любить меня, если у меня такой вид! — подумала она при этом устало. И в ту же секунду упрямо прибавила: — Он этого не стоит! Я просто все выдумала!»

Она совсем приуныла. События последнего времени извели ее. Ее отношение к Ульриху представлялось ей таким, словно он и она годами тщательно усложняли нечто совсем простое. А Ганс своими детскими нежностями напрягал ее нервы; она обращалась с ним резко и в последнее время порой с презрением, но Ганс отвечал еще большей резкостью, как мальчик, который грозит, что причинит себе какую-нибудь боль, и когда ей приходилось его успокаивать, он опять обнимал ее и касался ее, как тень, отчего ее плечи худели, а кожа теряла свежесть. Со всеми этими муками Герда покончила, открыв шкаф, чтобы достать шляпу, а страх перед зеркалом кончился тем, что она быстро встала и побежала из дому, нисколько не избавившись от этого страха.

Когда Ульрих увидел ее, он все понял; вдобавок еще она надела вуаль, как то обычно делала, нанося свои визиты, Бонадея. Она дрожала всем

телом и пыталась скрыть это искусственно непринужденной осанкой, которая производила впечатление нелепой натянутости.

— Я пришла к тебе, потому что только что узнала от отца одну очень важную вещь, — сказала она.

«Странно! — подумал Ульрих. — Ни с того ни с сего она говорит мне „ты“». Это насильственное „ты“ привело его в бешенство, и чтобы не показать своей ярости, он попытался объяснить ее „ты“ тем, что чрезмерность в поведении Герды призвана, конечно, лишить ее приход примет рокового, да и вообще какого-либо особого значения, представить его разумным, разве что чуть запоздалым поступком, из чего прежде всего вытекало обратное, а значит, девушка явно собиралась дойти до конца.

— Мы ведь уже давно перешли про себя на «ты» и говорим «вы» только потому, что всегда избегали друг друга! — объяснила Герда, обдумавшая по пути свой приход и готовая к тому удивлению, которое он вызовет.

Но Ульрих не терял времени, он обнял ее за плечи и поцеловал. Герда поддалась, как мягкая свеча. Ее дыхание, ее пальцы, ощупывавшие его, были как в обмороке. В этот миг им овла-

дела жестокость совратителя, чувствующего, сколь неодолимо притягательна для него нерешительность души, которую тащит с собой ее собственное тело, как узника — его тюремщики. Зимний день на исходе проникал через окна в темнеющую комнату светлыми полосами, и в одной из них стоял он и держал в объятьях Герду; голова ее желто и резко выделялась на белой подушке света, и лицо у нее было оливковое, отчего она очень смахивала сейчас на покойницу. Он медленно целовал всю ее шею, открытую между волосами и платьем, преодолевая при этом легкое отвращение, пока не коснулся ее губ, движение которых навстречу его губам напомнило ему слабые ручки ребенка, обвивающие затылок взрослого. Он подумал о красивом лице Бонадеи, которое в тисках страсти напоминало голубя, чьи перья топорщатся в когтях хищной птицы, и о Диотиме, об ее монументальной прелести, которой он не насладился; вместо красоты, которую могли бы подарить ему обе эти женщины, перед глазами его было теперь, как ни странно, искаженное пылом, беспомощно безобразное лицо Герды.

Но в этом бодрствовании обморока Герда пребывала недолго. Она хотела закрыть глаза лишь

на миг, но когда Ульрих стал целовать ее лицо, это уподобилось для нее неподвижности звезд в бесконечности пространства и времени, и она уже не представляла себе длительности и границ этого ощущения, но как только его усилия пошли на убыль, она очнулась и снова твердо стала на ноги. Впервые она целовала и, как она чувствовала, целовали ее с настоящей, а не с наигранной и надуманной страстью, и резонанс в ее теле был так огромен, словно уже эта минута сделала ее женщиной. А с этим процессом дело обстоит примерно так же, как с вырыванием зуба; хотя потом тела становится меньше, чем его было дотоле, испытываешь все же чувство большей полноты, потому что повод для беспокойства окончательно устранен; и когда ее состояние дошло до подобной точки, Герда выпрямилась со свежей решительностью.

— Ты ведь даже и не спросил еще, что я пришла тебе сказать! — выкликнула она.

— Что ты меня любишь! — ответил Ульрих несколько неуверенно.

— Нет, что твой друг Арнгейм обманывает твою кузину; он строит из себя влюбленного, а у самого совсем другие намерения!

И Герда рассказала ему об открытии папы.

На Ульриха эта информация при всей ее простоте произвела глубокое впечатление. Он почувствовал себя обязанным предостеречь Диотиму, которая, распустив перья души, неслась во всю прыть к смешному разочарованию. Ибо, несмотря на злорадство, с каким он нарисовал себе эту картину, он испытывал сочувствие к своей красивой кузине. Но оно мощно перевешивалось сердечной признательностью папе Фишелю, и хотя Ульрих был близок к тому, чтобы причинить ему большое горе, он искренне восхищался его надежным, старомодным, украшенным прекрасными убеждениями деловым умом, которому удалось простейшим образом раскрыть тайны новомодного гиганта мысли. Поэтому настроение Ульриха очень отклонилось от нежных требований, предъявленных присутствием Герды. Он удивился, что всего несколько дней назад находил возможным открыть этой девушке свое сердце; «переходом через вторую линию укреплений, — подумал он, — называет Ганс эту кощунственную идею двух одержимых любовью ангелов!» — и мысленно насладился, словно бы проводя по ней пальцами, удивительно гладкой, твердой поверхностью той трезвой формы, которую принимает сегодня жизнь благодаря умелым

усилиям Лео Фишеля и его единомышленников. Поэтому слова «Твой папа замечательный человек!» были единственным его ответом.

Герда, проникшаяся важностью своей новости, ожидала другого; она не знала, какого именно эффекта ждала она от своего сообщения, но это должно было походить на тот миг, когда все инструменты в оркестре трубят и поют, и равнодушие, которое вдруг, показалось ей, проявил Ульрих, снова мучительно напомнило ей о том, что при ней он всегда становился апологетом среднего, обычного и отрезвляющего. Ведь если порой она и уверяла себя, что это лишь колючая форма любовного сближения, примером чему могла служить и ее собственная девичья душа, то теперь, — «когда они ведь уже любили друг друга», как гласило ее несколько детское мысленное обозначение ситуации, какая-то отчаянная предостерегающая ясность говорила ей, что мужчина, которому она отдает все, не принимает ее всерьез. Добрая доля обретенной ею уверенности снова теперь исчезла, но, с другой стороны, ей было это «непринимание ее всерьез» удивительно приятно; оно избавляло от всех усилий, каких требовали отношения с Гансом для их поддержания, и когда Ульрих похвалил ее отца, она,

правда, не поняла, как может он хвалить его в такую минуту, но почувствовала, что восстановлен какой-то неопределенный порядок, который она нарушала, обижая из-за Ганса папу Лео. Это приятное чувство несколько необычного возврата в лоно семьи, совершаемого сейчас благодаря ее опрометчивому шагу, так отвлекло ее, что она оказала руке Ульриха нежное сопротивление и сказала ему:

— Давай сначала сойдемся по-человечески; остальное выйдет само собой!

Эти слова представляли собой заимствование из программы «Общества действия» и были сейчас последним, что осталось от Ганса Зеппа и его кружка. Ульрих, однако, снова охватил рукой плечи Герды, потому что после сообщения об Аргейме чувствовал, что ему предстоит нечто важное, но что сперва надо эту встречу с Гордой довести до конца. Он при этом не ощущал ничего, кроме того, что необходимость проделать все, что тут полагается, весьма неприятна, и поэтому сразу же снова обнял Герду отстраненной ею рукой, но на сей раз с той немой речью, которая без насилия и убедительней слов извещает, что всякое дальнейшее сопротивление напрасно. Герда почувствовала, как мужественность, исто-

чаемая этой рукой, спускается у нее по спине; она опустила голову и упрямо глядела на свое лоно, словно там, как в фартуке, собраны у нее мысли, с помощью которых она «сойдется» с Ульрихом «по-человечески», прежде чем случится то, чему надлежит быть только венцом; но ей казалось, что лицо ее делается все более глупым и пустым, и наконец оно поднялось, как всплывает пустая скорлупка, и легло глазами под глаза совратителя.

Он наклонился и покрыл его теми безжалостными поцелуями, что приводят в волнение плоть. Герда безвольно встала и дала себя повести. Шагов десять надо было им пройти до спальни Ульриха, и девушка опиралась на него, как тяжело раненный или больной. Как чужие, переступали ее ноги, хотя ее не тащили, а она шла добровольно. Такой пустоты, несмотря на такое волнение, Герда еще никогда не ощущала; ей казалось, что из нее вытекла вся кровь, ей было донельзя холодно, она прошла мимо зеркала, в котором, хотя оно находилось, казалось, слишком далеко, разглядела, что лицо ее медно-красно и в бледных пятнах. И вдруг — так при несчастных случаях взгляд сверхчувствительно вбирает в себя порой все одновременное — она увидела

вокруг себя запертую мужскую спальню со всеми ее деталями. Ей подумалось, что на правах жены она устроилась бы здесь, наверно, остроумнее и расчетливее; это доставило бы ей большое счастье, но она искала слов, чтобы сказать, что не хочет никаких выгод, а хочет только принести себя в дар; не найдя этих слов, она сказала себе: «Так надо!» — и открыла воротник своего платья.

Ульрих отпустил ее; он не мог заставить себя оказать ей при раздевании нежную помощь любящего и, отойдя в сторону, сбросил собственную одежду. Герда увидела стройное, мощное тело мужчины, где уравновешивались грубая сила и красота. Она испуганно заметила, что ее собственное тело, хотя она была еще в нижнем белье, покрылось гусиной кожей. Снова стала она искать слов, которые бы ей помогли; в каком жалком была она сейчас виде! То, что она хотела сказать, должно было сделать Ульриха ее возлюбленным так, как это ей чудилось, путем бесконечно сладостного растворения, для которого вовсе не надо было делать того, что она собиралась сделать. Это было столь же чудесно, сколь и неясно. На мгновение ей привиделось, что она стоит с ним среди беспредельного поля свечей, которые торчат в земле как ряды аню-

тиных глазок и по единому знаку загораются у их ног. Но, не в силах сказать об этом хоть слово, она чувствовала себя на редкость некрасивой и жалкой, руки ее дрожали, она была не в состоянии раздеться до конца, и бескровные губы ее плотно сомкнулись, чтобы не делать жутковатых бессловесных движений.

В этой ситуации Ульрих, заметивший ее муку и опасность, что все, до чего с такой борьбой продвинулись, может сойти на нет, подошел к ней и снял бретельку у нее с плеча. Герда, как мальчик, скользнула в постель. Какой-то миг Ульрих видел просто движение молодого обнаженного существа; к любви это имело не больше отношения, чем если бы вдруг мелькнула над водой рыбка. Он понял, что Герда решила как можно скорей пройти через то, чего уже нельзя было избежать, и никогда еще ему не становилось так ясно, как в ту секунду, когда он последовал за ней, в какой мере страстное проникновение в чужое тело есть продолжение детского пристрастия к тайным и недозволенным укрытиям. Его руки коснулись все еще шершавой от страха кожи девушки, и он сам почувствовал испуг вместо влечения. Ему не нравилось это тело, уже вялое и еще незрелое; то, что он делал, казалось ему совершенно неле-

пым, и охотнее всего он пустился бы наутек из постели, в предотвращение чего ему пришлось собрать все свои пригодные для этого мысли. Вот почему он в отчаянной спешке внушал себе все имеющиеся ныне общие соображения, дающие основание вести себя без серьезности, без веры, без церемоний и без удовлетворения; и в том, что он предавался этому, не сопротивляясь, он нашел хоть и не одержимость любви, но полусумасшедшую, напоминающую резню, садистское убийство или, если такое бывает, садистское самоубийство, одержимость бесами пустоты, которые живут за всеми декорациями жизни.

По какой-то неясной ассоциации его положение напомнило ему вдруг его ночную схватку с хулиганами, и он решил на этот раз быть быстрее, но в тот же миг началось что-то ужасное. Герда употребила всю силу воли, какую вообще могла проявить, на то, чтобы совладать с мучившим ее позорным страхом; у нее было на душе так, словно ее должны казнить, и в тот миг, когда она почувствовала рядом с собой непривычную наготу Ульриха и руки его коснулись ее, тело ее отметнуло от себя всю ее волю. Где-то глубоко в груди она все еще чувствовала несказанную симпатию, трепетно нежное желание обнять

Ульриха, поцеловать его волосы, последовать за его голосом своими губами, и ей казалось, что, прикоснувшись к его истинной сути, она растает от этого, как снег в теплой руке; но то был Ульрих, который в обычной одежде двигался по знакомым комнатам ее родительского дома, а не этот голый мужчина, чью враждебность она угадала и который не принимал ее жертвы всерьез, хотя и не давал ей опомниться. И вдруг Герда заметила, что кричит. Как облачко, как мыльный пузырь, повис в воздухе крик, и за ним последовали другие. Это были слабые крики, вырывавшиеся у нее из груди так, словно она с чем-то боролась, стон, из которого, закругляясь, выделялся звонкий звук «и-и-и». Ее губы извивались и были влажны, как в приступе смертного сладострастия, она хотела вскочить, но не могла подняться. Ее глаза не повиновались ей и делали знаки, которые она не позволяла им делать. Герда молила о пощаде, как ребенок перед наказанием или когда его ведут к врачу и он не может сделать ни шагу, потому что извивается и разрывается от крика. Она прикрыла руками груди, угрожая Ульриху ногтями, и судорожно сжала длинные бедра. Этот бунт ее тела против нее самой был страшен. У нее было при этом совершенно такое чувство, словно она

находится на сцене театра, но в то же время, одинокая и покинутая, сидит в темном зрительном зале и не может помешать ни актерам бурно и с криками играть ее судьбу, ни даже себе невольно подыгрывать им.

Ульрих с ужасом глядел в маленькие зрачки затуманившихся глаз, взгляд которых был удивительно тверд, и растерянно смотрел на странные движения, где невыразимым образом скрещивались желание и запрет, душа и бездушие. Взор его бегло скользнул по бледной светлой коже с черными волосками, приобретавшими в местах, где они сгущались, рыжеватый отлив. Ему медленно стало ясно, что это истерика, но он не знал, что предпринять против нее. Он боялся, что эти страшные крики станут еще громче. Он вспомнил, что такой припадок можно прекратить резким окриком или, может быть даже, внезапным ударом. Какой-то неуловимый элемент неизбежности, связанный с этим ужасным приступом, заставил его подумать о том, что мужчина помоложе, может быть, попытался бы продолжить натиск на Герду. «Может быть, как раз и нельзя уступать ей, если уж эта глупышка зашла так далеко!» Он ничего в этом роде не сделал, но такие досадные мысли разбегались в

разные стороны; он непроизвольно и непрестанно шептал Герде утешительные слова, обещал, что ничего с ней не сделает, объяснял, что с ней еще ничего не случилось, просил прощения, но эта собранная им в ужасе мякина слов казалась ему такой смешной и недостойной, что он с трудом удерживался от соблазна просто схватить несколько подушек и заткнуть ими этот неумолкающий рот.

Наконец, однако, приступ утих сам собой, и тело ее успокоилось. Глаза девушки наполнились слезами, она приподнялась на кровати, маленькие груди вяло повисли на ее еще не вернувшемся под надзор сознания теле, и Ульрих еще раз почувствовал все отвращение к бесчеловечности, чистой плотскости того, что он сейчас изведал. Затем обычное сознание вернулось к Герде; в глазах ее что-то открылось, — так у иных, хотя они еще не проснулись, глаза уже несколько мгновений открыты, — она еще секунду непонимающе глядела в одну точку, потом заметила, что сидит голая, взглянула на Ульриха, и кровь волнами ударила ей в лицо. Ульрих не нашел ничего лучшего, как еще раз повторить все, что он уже нашептал ей; он обнял ее за плечи, прижал ее, стараясь утешить, к своей груди и попросил

не придавать случившемуся никакого значения. Теперь Герда опять очутилась в том положении, в каком с ней случился приступ, но все казалось ей до странности бледным и далеким; раскрытая постель, ее обнаженное тело в объятиях что-то горячо шепчущего мужчины и чувства, которые привели ее сюда, — она хоть и знала, что это значило, но она знала также, что успело произойти что-то страшное, о чем она вспоминала лишь с отвращением и глухо, и хотя от нее не ускользнуло, что голос Ульриха звучал сейчас нежнее, она объяснила себе это тем, что теперь она для него — больная, и подумала, что больной сделал ее он, но все казалось ей безразличным, и единственным ее желанием было исчезнуть отсюда, не говоря ни слова. Она опустила голову и оттолкнула от себя Ульриха, нашла ощупью свою рубашку и натянула ее себе на голову, как ребенок или как человек, которому уже наплевать на себя. Ульрих помог ей при этом. Он даже натянул на нее чулки, и ему казалось, что он одевает ребенка. Герда пошатнулась, когда впервые встала опять на ноги. Память говорила ей, с какими чувствами покидала она родительский дом, куда теперь возвращалась. Она чувствовала, что испытания не выдержала, и была глубоко несчастна и по-

срамлена. Она ни единым словом не отвечала на все, что говорил Ульрих. В большом отдалении от всего, что происходило сейчас, ей вспомнилось, как однажды он сказал о себе в шутку, что одиночество толкает его на бесчинства. Она не была зла на него. Она только не хотела никогда больше слышать его. Он вызвался сходить за извозчиком, она только покачала головой, надела шляпу на растрепанные волосы и покинула его, на него не взглянув. Глядя, как она уходит, с вуалью теперь в руке, Ульрих чувствовал себя нескладным мальчишкой; ведь он, конечно, не должен был отпускать ее в таком состоянии, но он никак не мог придумать, чем ее задержать, да и сам он, поскольку он помогал ей, был полуодет, что тоже придавало серьезному настроению, в котором он остался, какую-то незавершенность, словно сперва нужно было полностью одеться, а уж потом решать, как быть с самим собой.

120
Параллельная акция сеет смуту

Когда Вальтер добрался до центра города, в воздухе что-то носилось. Люди шагали не иначе, чем обычно, и трамваи двигались как всегда; в иных

местах, может быть, и возникало какое-нибудь необычное копошенье, но оно прекращалось, прежде чем его по-настоящему замечали; тем не менее все было как бы отмечено маленьким отличительным знаком, острие которого указывало определенное направление, и, едва пройдя несколько шагов, Вальтер почувствовал этот знак и на себе. Он последовал в этом направлении с ощущением, что служащий департамента искусств, каковым он был, а также воинствующий художник и музыкант и даже измученный супруг Клариссы уступили место лицу, которое не находилось ни в одном из этих определенных состояний; точно так же и улицы с их деятельностью и с их разукрашенными, кичливыми домами пришли в сходное «первобытное состояние», как он назвал это про себя; ибо это производило на него впечатление некоей кристаллической формы, плоскости которой разъедаются какой-то жидкостью и возвращаются к более раннему состоянию. Насколько был он консервативен, когда речь шла об отклонении будущих новшеств, настолько же был он готов, когда дело касалось его самого, осудить настоящее, и распад порядка, им ощущаемый, действовал на него благотворно. Люди, которых он встречал в больших коли-

чествах, напоминали ему его видение; от них исходила атмосфера подвижности и спешки, и солидарность, казавшаяся ему более органической, чем обычная, обеспечиваемая разумом, моралью и хитроумными мерами, делала их свободным, вольным сообществом. Он подумал о большом букете цветов, с которого убрали связывавшие его нитки, так что он раскрывается, но при этом не распадается; и еще он подумал о теле, с которого снята одежда, так что глазам предстает улыбчивая нагота, слов не имеющая и в них не нуждающаяся. И когда он, шагая быстрее, вскоре столкнулся с большим отрядом стоявшей наготове полиции, от этого его тоже нисколько не покоробило, зрелище это, напротив, восхитило его сходством с военным лагерем в ожидании тревоги, и все эти красные воротники, спешившиеся всадники, движение отдельных отрядов, рапортовавших о своем прибытии или отбытии, настроили его на воинственный лад.

За этим оцеплением, хотя оно еще не замкнулось, Вальтеру сразу бросился в глаза более мрачный вид улиц; почти не видно было женщин, и пестрые мундиры праздношатающихся офицеров, обычно оживлявшие этот квартал, тоже, казалось, поглотила воцарившаяся неопре-

деленность. Но подобно ему к центру города устремлялось множество людей, и впечатление от их движения было теперь иное; оно напоминало мусор, взметаемый сильным порывом ветра. Вскоре он увидел и первые группы ими образуемые и сплачиваемые, казалось, не только любопытством, но в такой же мере и нерешительностью насчет того, поддаваться ли и дальше необычному соблазну или повернуть домой. На свои вопросы Вальтер получал разноречивые ответы. Одни отвечали ему, что идет большая демонстрация верноподданнических чувств, другие будто бы слышали, что демонстрация направлена против некоторых чересчур усердных патриотов, и точно так же расходились мнения насчет того, является ли охватившее всех волнение волнением немецкого народа по поводу мягкости правительства, потворствующего славянам, что считало большинство, или же это волнение на пользу правительству и призывает всех благонамеренных каканцев выступить против непрекращающихся беспорядков. Это были такие же любопытные, как он, и Вальтер не узнал ничего, чего бы он не слышал уже у себя на службе, но потребность говорить, с которой он не мог совладать, заставляла его спрашивать

снова и снова. И сообщали ли ему те, к кому он подходил, что они сами не знают, в чем дело, или смеялись и иронизировали над собственным любопытством, но чем дальше он продвигался, тем единодушнее звучало серьезное добавление, что пора наконец что-то предпринять, хотя никто не изъявлял желания объяснить ему, что же. И чем дальше он так продвигался, тем чаще замечал на лицах, в которые заглядывал, какое-то оголтелое, сумасшедшее безрассудство, и правда, казалось, уже все равно, что происходит там, куда всех тянет, самого факта, что это что-то необычное, уже достаточно, чтобы вывести их из себя; и хотя слова «выйти из себя» понимать надо было лишь в том ослабленном смысле, который означает самое обычное легкое волнение, в них все-таки чувствовалось дальнее родство с забытыми состояниями экстаза и преображения, чувствовалась как бы растущая бессознательная готовность вылезти из одежды и кожи.

И, обмениваясь догадками и говоря вещи, не очень-то соответствовавшие его натуре, Вальтер слился с другими, и постепенно из разрозненных групп ожидавших или нерешительно шагавших дальше людей складывалась процессия, которая, двигаясь к предполагаемому месту действия без

определенных еще намерений, заметно густела и набирала внутреннюю силу. Но было еще во всех этих эмоциях что-то от кроликов, снующих возле норы и готовых исчезнуть в ней в любой миг, когда от невидимой головной части процессии в самый ее конец передалось волнение более определенное. Отряд студентов или других молодых людей, уже что-то сделавший и шедший «с поля боя», присоединился там к толпе; слышно было что-то неразборчивое, искаженные сведения и волны немого возбуждения бежали от головы колонны к хвосту, и в зависимости от своего темперамента и от того, что до них доходило, люди испытывали возмущение или страх, желание драться или выполнить нравственное веление, и теперь теснившимися вперед руководили такие в общем-то обычные ощущения, которые у каждого выглядели по-своему, но, хоть и господствовали в сознании, значили столь мало, что соединялись в общую для всех живую силу, действовавшую больше на мышцы, чем на мозги. Вальтер, находившийся теперь в середине процессии, тоже этим заразился и сразу впал в состояние взволнованности и опустошенности, похожее на начало опьянения. Толком неизвестно, как возникает эта перемена, делающая в определенные моменты

из людей с собственной волей единодушную массу, способную на величайшие крайности добра и зла и неспособную призадуматься, даже если большинство людей, из которых она состоит, всю свою жизнь ни о чем так не пеклось, как о мере и рассудительности. Жаждущее разрядиться волнение толпы, не находящей выхода своим чувствам, готово, видимо, метнуться на любой путь, какой только откроется, и подают пример, открывают путь, надо полагать, люди наиболее возбудимые, наиболее чувствительные, обладающие наименьшей сопротивляемостью, но, значит, и экстремисты, способные на внезапное насилие или на трогательное великодушие; они суть точки наименьшего сопротивления в массе, но крик, который издается скорее через них, чем ими самими, камень, который оказывается у них в руке, чувство, которым они разражаются, открывают путь, куда безотчетно устремляются другие, разволновавшие друг друга до последнего предела терпения, и люди эти придают действиям окружающих ту форму массового действия, что воспринимается всеми наполовину как гнет, но наполовину как освобождение.

В этих волнениях, наблюдать которые можно с таким же успехом на примере зрителей лю-

бого состязания или слушателей какой-нибудь речи, — в этих волнениях, впрочем, не так любопытна психология их разрядки, как любопытен вопрос, по каким причинам возникает готовность к ним, ибо если бы со смыслом жизни дело обстояло благополучно, то так же обстояло бы оно и с ее бессмысленностью и таковая не должна была бы сопровождаться симптомами слабоумия. Вальтер знал это лучше, чем кто бы то ни было, у него имелось множество вариантов исправления такой ситуации, и все они сейчас приходили ему на ум, и с противным, скверным чувством боролся он с общим энтузиазмом, который все-таки его увлекал. В минуту умственного просветления он подумал при этом о Клариссе. «Хорошо, что ее здесь нет, — подумал он, — она не выдержала бы этого напора! „Но в ту же минуту острая боль помешала ему продолжить эту мысль; он вспомнил предельно ясное впечатление безумной, которая она произвела на него. Он подумал: „Может быть, я сам безумен, если так долго не замечал этого!“ Он подумал: „Я скоро сойду с ума, если буду продолжать жить с ней!“ Он подумал: „Я этому не верю!“ Он подумал: „Но это же совершенно ясно!“ Он подумал: «Ее любимое лицо застыло между моими ладонями в страшную маску!“ Но

продумать как следует все это он уже не мог, ибо отчаяние и безнадежность ослепили его ум. Он почувствовал только, что, несмотря на эту боль, несравненно прекраснее любить Клариссу, чем шагать здесь, и, скрываясь от собственного страха, втиснулся поглубже в свою шеренгу.

Другой дорогой, чем он, Ульрих достиг между тем дворца графа Лейнсдорфа. Завернув в ворота, он увидел у въезда двух часовых, а в глубине двора мощный полицейский пикет. Его сиятельство спокойно приветствовал Ульриха и показал свою осведомленность насчет того, что стал мишенью народного негодования.

— Я должен кое от чего отказаться, — сказал он. — Я однажды сказал вам, что если за что-то выступает много людей, то можно быть почти уверенным, что из этого выйдет что-нибудь путное. Так вот, бывают и исключения!

Вскоре после Ульриха наверх явился мажордом и, передав полученное тем временем внизу донесение, что толпа приближается ко дворцу, с осмотрительной озабоченностью спросил, запирать ли ворота и ставни. Его сиятельство покачал головой.

— Да что вы! — сказал он благодушно. — Они бы только обрадовались, потому что это выгля-

дело бы так, словно мы боимся. А кроме того, на месте ведь все часовые, которых нам прислала полиция! — И, повернувшись к Ульриху, прибавил оскорбленным тоном: — Ну, что ж, пусть разобьют нам окна! Я же всегда говорил, что от умников ждать нечего!

В нем кипела, кажется, глубокая злость, которую он скрывал под полным достоинства внешним спокойствием.

Ульрих как раз подошел к окну, когда появилась процессия. Рядом с нею по краям улицы шагали полицейские, сметая с пути зевак, как пыль, которую нагнала, маршируя, колонна. Там и сям торчали уже зажатые толпой экипажи, и властный поток обтекал их нескончаемыми черными волнами, на которых плясала разбрызганная пена светлых лиц. Когда головная часть шествия увидела дворец, показалось, что чей-то приказ умерил шаг, волна откатилась назад, напиравшие сзади ряды втиснулись в передние, и возникла картина, которая одно мгновение напоминала набухающую перед ударом мышцу. В следующую секунду удар этот разрезал воздух, и выглядел этот удар довольно странно, ибо состоял он из крика возмущения, который сначала являл зрелище широко раскрытых ртов, а раздавался

и долетал до слуха потом. Лица распахивались в ритмической последовательности по мере того, как они появлялись в поле зрения, и поскольку голоса тех, кто был дальше, перекрывались голосами успевших приблизиться, то, направив взгляд вдаль, можно было наблюдать непрестанное повторение этой пантомимы.

— Пасть народа! — сказал граф Лейнсдорф, став на секунду позади Ульриха, сказал очень серьезно, словно это было такое же привычное словосочетание, как «хлеб насущный». — Но что они, собственно, кричат? Я никак не разберу из-за этого шума.

Ульрих счел, что они кричат главным образом «Позор!».

— Да, но, кажется, и еще что-то?

Ульрих не сказал ему, что сквозь темную пляску звуков слова «позор» нередко слышался протяжный звонкий клич «Долой Лейнсдорфа!». Несколько раз ему даже послышалось среди чередовавшихся «ура» в честь Германии и «Ура Аргейму!», но он и сам не был уверен, что не ослышался, ибо толстое оконное стекло искажало звуки.

Ульрих сразу, как только убежала Герда, направился сюда, чувствуя потребность сообщить хотя

бы графу Лейнсдорфу дошедшую до него новость, которая разоблачала Аргейма так, как того и ожидать нельзя было; но он до сих пор еще не проронил об этом ни слова. Он глядел на темное движение под окном и, вспомнив времена своего офицерства, подумал с презрением: «Роты солдат хватило бы, чтобы очистить эту площадь!» Он видел это почти воочию, грозные рты стали одним брызжущим слюной ртом, в ужасных очертаниях которого вдруг мелькнул страх; края его обмякли и поникли, губы медленно легли на зубы; и вдруг его воображение превратило грозную массу в мечущуюся стайку кур, которых вспугнула собака! Это произошло так, словно все злое еще раз сплелось в нем в тугой узел, но старая удовлетворенность, которую он испытывал, наблюдая, как движимый нравственными импульсами человек отступает перед человеком бесчувственным и готовым действовать, была, как всегда, ощущением обоюдоострым.

— Что с вами? — спросил граф Лейнсдорф; он ходил за спиной Ульриха взад и вперед и из-за какого-то странного его движения решил, что тот и в самом деле порезался чем-то острым, хотя никакой возможности порезаться кругом не видно было; не получив ответа, он остановился,

покачал головой и сказал: — В конце концов нельзя забывать, что великодушное решение его величества даровать народу известное право участия в собственных делах принято не так уж давно, — понятно поэтому, что еще не везде налицо такая политическая зрелость, которая была бы во всех отношениях достойна доверия, выказанного монархом столь милостиво! По-моему, я сказал это на первом же заседании!

При этих словах Ульрих потерял охоту осведомлять его сиятельство или Диотиму о происках Аргейма; несмотря на всю вражду, он чувствовал большую свою близость к нему, чем к другим, и воспоминание о том, что сам он напал на Герду, как большая собака на завывшую маленькую, — воспоминание это, он заметил теперь, мучило его с тех пор непрестанно, но оно становилось не таким мучительным, как только он думал о подлости Аргейма по отношению к Диотиме. В истории с кричащим телом, устроившим спектакль двум нетерпеливо ждущим душам, можно было при желании найти даже смешную сторону, и эти люди внизу, на которых Ульрих, не обращая внимания на графа Лейнсдорфа, все еще неотрывно глядел, тоже ведь только разыгрывали комедию! Вот это-то и приковывало к ним

его взгляд. Они, безусловно, не хотели ни на кого нападать и никого рвать на части, хотя вид у них был именно такой. Они показывали себя донельзя разгневанными, но это была не та серьезность, которая гонит навстречу винтовочному огню; это даже не была серьезность пожарной команды! «Нет, то, что они вытворяют, — подумал он, — это скорее культовое действие, обрядовая игра с оскорбленными глубинными чувствами, какой-то цивилизованно-нецивилизованный пережиток коллективных действий, который отдельному лицу незачем принимать всерьез во всех деталях!» Он завидовал им. «Как приятны они даже сейчас, когда стараются стать как можно неприятнее!" подумал он. Защита от одиночества, которую дает толпа, излучалась оттуда, снизу, и тот факт, что сам он стоял здесь наверху без всякой защиты, — а это он на миг ощутил так живо, словно с улицы увидел собственное изображение за оправленным стеной дома стеклом, — факт этот показался ему выражением его судьбы. Эта судьба, чувствовал он, была бы лучше, если бы он сейчас разозлился или, от имени графа Лейнсдорфа, привел охрану в боевую готовность, а зато в другой раз испытывал бы к этим же людям дружеское расположение

и не отделял себя от них; ведь тот, кто играет со своими современниками в карты, кто с ними торгует, спорит и делит удовольствия, тот может при случае и приказать стрелять в них, и в этом не будет ничего из ряда вон выходящего. Есть известная сговорчивость с жизнью, позволяющая каждому поступать как ему угодно при условии, что до него никому нет дела и жизнь тоже вправе поступать с ним как ей угодно, — вот о чем подумал Ульрих. И хотя правило это, может быть, и несколько странно, но оно не менее надежно, чем дарованный природой инстинкт, ибо в нем явно есть точное ощущение человеческой удачливости, а у кого нет этой способности к компромиссу, кто одинок, серьезен и ни с чем не считается, тот беспокоит других хоть и неопасным, но вызывающим отвращение образом, как червяк или гусеница. Он почувствовал себя в этот миг целиком подавленным той глубокой неприязнью к неестественности одинокого человека и его интеллектуальным экспериментам, какую может вызвать тревожное зрелище взбаламученной естественными и общими чувствами толпы.

Демонстрация между тем набрала силу. Граф Лейнсдорф взволнованно ходил взад-вперед в глубине комнаты, бросая время от времени

взгляд во второе окно. Он, казалось, очень страдал, хотя и старался не показать этого; его глаза навыкате торчали, как два кремешка в мягких бороздках его лица, а скрещенные за спиной руки он иногда вытягивал, словно от тяжкой боли. Вдруг Ульрих понял, что его самого, поскольку он долго стоял у окна, принимают за графа. Все взгляды целились снизу в его лицо, и трости выразительно замахивались с прицелом в его сторону. Чуть дальше, всего в нескольких шагах отсюда, где дорога делала поворот и как бы исчезала за кулисой, большинство уже снимало грим; нелепо было продолжать угрожать без зрителей, и с лиц в тот же миг сходило волнение самым естественным для тех, кому они принадлежали, образом, иные даже смеялись и резвились, как на увеселительной прогулке. И Ульрих, наблюдая это, тоже смеялся, но те, что прибывали позднее, думали, что это смеется граф, и злость их ужасающе росла, и Ульрих смеялся теперь совсем уж безудержно.

Но вдруг он содрогнулся от отвращения. И в то время как глаза его еще глядели то на угрожающие рты, то на веселые лица, а душа отказывалась продолжать вбирать в себя эти впечатления, с ним произошла странная перемена. «Я не мо-

гу больше участвовать в этой жизни и не могу больше восставать против нее!» — почувствовал он; но одновременно он почувствовал за собой комнату с большими картинами на стене, с длинным ампирным письменным столом, с застывшими вертикалями звоночных шнурков и гардин. И в самом этом сейчас тоже было что-то от маленькой сцены, у выема которой он стоял спереди, а снаружи шло действие на большей сцене, и обе эти сцены как-то странно, несмотря на то что он стоял между ними, соединялись. Затем его ощущение комнаты за спиной у себя сжалось и вывернулось изнанкой наружу, оно то ли прошло сквозь него, то ли, как что-то очень мягкое, обволокло его и обтекло. «Какая странная пространственная инверсия!»— подумал Ульрих. Люди шли мимо позади его, он, пройдя через них, достиг какого-то небытия; а может быть, они шли и перед ним и позади его, омывая его, как омывают камень изменчиво-одинаковые волны ручья. Это было явление, лишь наполовину доступное пониманию, и особенно поразила тут Ульриха стеклянность, пустота и безмятежность состояния, в котором он находился. «Неужели можно выйти из своего пространства в какое-то скрытое другое?» — подумал он, ибо у него было

совершенно такое чувство, словно случай провел его сквозь какую-то потайную соединительную дверь.

Он стряхнул эти мечты таким резким движением всего тела, что граф Лейнсдорф удивленно остановился.

— Что с вами сегодня?! — спросил его сиятельство. — Вы слишком близко принимаете это к сердцу! Я остаюсь при своем мнении: мы должны склонить на свою сторону немцев через посредство иноплеменников, как это ни больно!

При этих словах Ульрих смог хотя бы опять улыбнуться, и он с благодарностью взглянул на морщинистое и со множеством бугорков лицо графа. Есть особый момент при посадке самолета: земля округло и пышно выступает из похожей на карту плоскости, до которой она на несколько часов уменьшилась, и кажется, что старое значение, вновь приобретаемое сейчас земными предметами, растет из земли. Этот момент и вспомнился Ульриху. Но в ту же секунду ему непонятным образом пришло на ум совершить преступление, впрочем, может быть, то была лишь бесформенная мысль, ибо он не соединил с этим никаких представлений. Возможно, что это было связано с Моосбругером, ведь он был

бы рад помочь этому безумцу, с которым судьба свела его так же случайно, как два человека садятся в парке на одну и ту же скамью. Но по существу это «преступление» сводилось к потребности выйти из игры или покинуть жизнь, которую ведешь по договору среди других. То, что называют антигосударственным или мизантропическим настроением, — это тысячекратно обоснованное и заслуженное чувство, — оно не возникало, оно ничем не подтверждалось и не доказывалось, оно просто было налицо, и Ульрих вспомнил, что оно сопровождало его всю жизнь, но редко бывало таким сильным. Можно, пожалуй, сказать, что при всех переворотах на земле до сих пор страдал человек духовный; они начинаются с обещания создать новую культуру, отбрасывают, как собственность врага, то, чего дотоле достигла душа, и оказываются опережены следующим переворотом, не успев превзойти прежний уровень. Поэтому то, что именуют периодами культуры, есть не что иное, как длинный ряд знаков, указывающих, что дальше проезда нет, и отмечающих начинания, которые пошли прахом, и в мысли поставить себя вне этого ряда для Ульриха не было ничего нового! Новы были только усиливающиеся признаки решения, даже

действия, которое уже, кажется, рождалось. Он не утруждал себя никакими попытками дать этой идее какое-то содержание: на несколько мгновений его целиком наполнило чувство, что на сей раз не последует снова что-то общее и теоретическое, уже набившее ему оскомину, что теперь он должен совершить какое-то личное действие, участвуя в нем кровью, руками и ногами. Он знал, что в момент этого странного «преступления», которого его сознание еще не постигло, он уже не сможет противостоять миру, но бог весть почему чувство это было какое-то страстно-нежное; с тем удивительным пространственным ощущением, когда происходившее перед окнами и за ними смешалось, ощущением, более слабый отзвук которого он мог пробудить в любой миг, чувство это слилось в такое смутно волнующее отношение к миру, какое Ульрих, будь у него время об этом задуматься, возвел бы, наверно, к мифическому сладострастию героев, проглатываемых богинями, чьей любви они домогались.

Но мысли его прервал граф Лейнсдорф, который тем временем прошел через собственную битву.

— Я должен быть здесь, чтобы противостоять этому мятежу, — начал его сиятельство, — поэтому я не могу уйти отсюда! Но вам, дорогой

мой, следовало бы, собственно, как можно скорее отправиться к вашей кузине, пока она не испугалась этих событий и не сделала, чего доброго, неуместного сейчас заявления журналистам! Скажите ей, пожалуй… — Он еще раз подумал, прежде чем принял решение. — Да, я думаю, самое лучшее будет сказать ей: всякое сильное лекарство оказывает и сильное действие! И еще скажите ей: кто хочет сделать жизнь лучше, пусть не боится в критических ситуациях жечь или резать! — Он еще раз задумался; у него был при этом обеспокаивающе решительный вид, и его эспаньолка отвесно поднималась и опускалась, когда он, начав было что-то говорить, сразу же все-таки снова задумывался. Но наконец прорвалась какая-то природная его доброта, и он продолжал: — Но вы должны объяснить ей также, что страшиться ей нечего! Беснующихся людей никогда не надо бояться. Чем большего они стоят на самом деле, тем скорее приспособляются они к реальным условиям, когда им дают такую возможность. Не знаю, обращали ли и вы на это внимание, но никогда еще не было на свете оппозиции, которая не перестала бы стоять в оппозиции, придя к рулю; причем это не просто, как можно подумать, азбучная истина, нет, это вещь

очень важная, ибо на ней зиждется, если можно так выразиться, реалистичность, надежность и преемственность в политике!

121
Обмен мнениями

Когда Ульрих пришел к Диотиме, Рахиль, отворяя дверь, объявила ему, что хозяйки нет дома, но доктор Арнгейм здесь и ждет ее. Ульрих сказал, что останется, не заметив, как при виде его лицо его раскаивавшейся подружки залилось краской.

На улице еще бушевал беспорядок, и Арнгейм, стоявший у окна, двинулся оттуда навстречу Ульриху, чтобы поздороваться с ним. Неожиданность этой медлительно искавшейся встречи оживила его, Арнгейма, лицо, но он соблюдал осторожность и не находил нужного начала. Ульрих тоже не решался начать сразу же с галицийских нефтяных промыслов, и, помолчав после первых приветствий, оба в конце концов вместе подошли к окну и стали безмолвно глядеть на неунимавшееся внизу волнение.

Через некоторое время Арнгейм сказал:

— Я вас не понимаю; разве не в тысячу раз важ-

нее схватиться с жизнью, чем писать?!

— А я ничего не пишу, — возразил Ульрих кратко.

— И хорошо делаете! — подладился к такому ответу Арнгейм. — Писание — это, как жемчуг, — болезнь. Вот поглядите… — Он указал двумя холеными пальцами на улицу, и в этом жесте, несмотря на его быстроту, было что-то от папского благословения. — Люди идут в одиночку и группами, и время от времени что-то внутри раскрывает один из ртов и заставляет его кричать! В другой раз этот же человек стал бы писать; тут вы правы!

— Но вы-то ведь знаменитый писатель?!

— О, это ничего не значит! — Но после этого ответа, в милой манере оставившего вопрос открытым, Арнгейм обернулся к Ульриху, развернувшись всей своей шириной, и, стоя перед ним грудь в грудь, растягивая промежутки между словами, сказал: — Позволительно спросить у вас одну вещь?

Было, конечно, невозможно ответить на это «нет»; но так как Ульрих непроизвольно чуть-чуть отступил, эта риторическая вежливость послужила арканом, который снова его приблизил.

— Надеюсь, — начал Арнгейм, — вы не рассердились на меня за наше последнее маленькое столкновение и отнесли его на счет участия, которое вызывают у меня ваши взгляды, даже если они, что нередко случается, как будто противоречат моим. Так вот, позвольте спросить вас, действительно ли вы стоите на том, что — я резюмирую это так, — что жить надо с ограниченным сознанием реальности? Я выразился верно?

Улыбка, которой ответил Ульрих, сказала: я этого не знаю и жду, что ты еще скажешь.

— Вы говорили, что жизни нужно придать как бы состояние неопределенности, по образцу метафор, которые колеблются между двумя мирами и в каждом из них как дома? Вы сказали вашей кузине и много других чрезвычайно любопытных вещей. Мне было бы очень обидно, если бы вы считали меня каким-то прусским милитаристом от коммерции, которому чужды такие темы. Но вы говорите, например, что нашу действительность и нашу историю порождает лишь безразличная часть нас самих; я понимаю это так, что надо обновить формы и типы событий, а до тех пор, по-вашему, более или менее безразлично, что случится с любым из нас?

— По-моему, — осторожно и нехотя вставил

Ульрих, — это напоминает материю, вырабатываемую тысячами рулонов с большим техническим совершенством, но по старым образцам, об улучшении которых никто не печется.

— Другими словами, — подхватил Арнгейм, — я понимаю ваше утверждение так, что нынешнее, несомненно неудовлетворительное состояние мира создается тем, что вожди полагают себя обязанными делать мировую историю, а вместо этого надо бы направить все силы человека на то, чтобы пронизать идеями сферу власти. Еще вернее, может быть, сравнить это с фабрикантом, который знай себе производит товар и только ориентируется на рынок, вместо того чтобы его регулировать! Видите, меня очень волнуют ваши мысли. Но именно поэтому вы должны понять, что меня как человека, вынужденного непрестанно принимать решения, которые держат на ходу крупную промышленность, эти мысли порой прямо-таки ошеломляют! Например, когда вы требуете, чтобы мы отказались придавать реальное значение нашим поступкам; или «временно окончательный» характер нашим действиям, как прелестно выражается наш друг Лейнсдорф, хотя целиком отказываться от этого и правда нельзя!

— Я ничего не требую, — сказал Ульрих.

— О, вы требуете, пожалуй, большего! Вы требуете сознания экспериментальности! — Арнгейм сказал это с живостью и теплотой. Ответственные вожди должны верить, что их задача — не историю делать, а составлять протоколы опытов, могущие послужить основой для дальнейших опытов! Я в восторге от этой мысли; но как быть, например, с войнами и революциями? Можно ли пробудить мертвых, когда опыт закончен и снят с повестки дня?!

Тут Ульрих поддался-таки подхлестывающему действию речи, которое, как затяжка курильщику, велит тебе продолжать, и возразил, что, наверно, за все, чтобы продвинуть это вперед, надо браться с полной серьезностью, даже зная, что никакой опыт через пятьдесят лет после его проведения не стоит затраченных на него усилий. Но ведь ничего необычного в этой «перфорированной серьезности» в общем-то нет; рискуют же часто люди жизнью играючи, ни с того ни с сего. Психологически, стало быть, жизнь в виде опыта — вполне возможная вещь; если чего не хватает, то только воли взять на себя безграничную в известном смысле ответственность.

— Вот в чем решающее различие, — заключил он. — Раньше люди чувствовали, так сказать,

дедуктивно, исходя из определенных предпосылок, и это время прошло; сегодня мы живем без руководящей идеи, но и без метода сознательной индукции, мы прем наобум, как обезьяны!

— Великолепно, — признал Аргейм добровольно. — Но вот, простите, еще один, последний вопрос. Вы, как мне не раз говорила ваша кузина, относитесь с живым участием к одному патологически опасному человеку. Я это, между прочим, прекрасно понимаю. К тому же у нас нет еще нужного способа обращаться с такими людьми, и отношение к ним общества позорно безответственно. Но при существующих условиях, когда выбрать можно только одно из двух — либо убить этого человека, хотя он невиновен, либо позволить ему убивать невиновных, дали бы вы ему удрать в ночь перед казнью, если бы это было в ваших силах?

— Нет! — сказал Ульрих.

— Нет? Действительно нет?! — спросил Аргейм, вдруг очень оживившись.

— Не знаю. Думаю, что нет. Я мог бы, конечно, в свое оправдание сослаться на то, что в неправильно устроенном мире я не волен поступать так, как то мне кажется правильным; но я просто признаюсь вам, что не знаю, как следовало бы

мне поступить.

— Этого человека надо, несомненно, обезвредить, — сказал Арнгейм задумчиво. — Но во время своих приступов он несет в себе демоническое начало, которое во все могучие эпохи считалось родственным началу божественному. Раньше такого человека, когда на него нашло бы, отправили в пустыню; он, может быть, и тогда совершал бы убийства, но во власти великого видения, как Авраам хотел заколоть Исаака! То-то и оно! Мы сегодня уже не знаем, как с этим быть, и искренних мнений у нас нет!

Эти последние слова Арнгейм сказал, вероятно, в запальчивости, сам толком не зная, что он имеет в виду; тот факт, что у Ульриха не хватило «души и безумия», чтобы на вопрос, спас ли бы он Моосбругера, ответить решительным «да», подстегнул его, Арнгейма, собственное честолюбие. Но, хотя Ульрих и воспринял этот поворот разговора чуть ли не как знамение, которое неожиданно напомнило ему принятое им во дворце Лейнсдорфа «решение», он был раздражен той расточительностью, с какой разукрасил Арнгейм мысль о Моосбругере, и обе эти причины заставили его сухо, но с любопытством спросить:

— А вы бы освободили его?

— Нет, — улыбаясь, ответил Арнгейм. — Но я хотел сделать вам другое предложение. — И, не оставляя ему времени на сопротивление, продолжал: — Я уже давно хотел сделать вам это предложение, чтобы покончить с вашим ко мне недоверием, которое, откровенно сказать, меня обижает; я хочу даже привлечь вас на свою сторону! Вы представляете себе, как выглядит внутри крупное коммерческое предприятие? У него две вершины: дирекция и правление; над ними обычно есть еще третья, исполнительный комитет, как вы это здесь называете, который состоит из представителей дирекции и правления и собирается ежедневно или почти ежедневно. Правление, само собой разумеется, комплектуется из доверенных лиц держателей большинства акций. — Только теперь наконец он сделал для Ульриха паузу, и она была такова, словно он проверял, успел ли уже тот что-то заметить. — Я сказал, что держатели большинства акций сажают своих людей в правление и в исполнительный комитет, — добавил он, как бы подсказывая. — Есть у вас какое-либо определенное представление об этом большинстве?

Такого представления у Ульриха не было; у него было лишь собирательно-неопределенное пред-

ставление о финансовой системе, включавшее в себя служащих, окошечки касс, купоны и бумаги, похожие на старинные грамоты.

Аргейм подсказал еще раз.

— Вы когда-нибудь выбирали правление? Нет, конечно! — сам же и прибавил он сразу. — Да и нечего воображать себе это, ибо вы никогда не будете держателем большинства акций какого-либо предприятия!

Он сказал это настолько уверенно, что Ульриху впору было устыдиться отсутствия у него такого важного свойства; и это было вполне по-аргеймовски — одним махом и без труда перейти от демонов к правлениям и акциям. Он продолжал, улыбаясь:

— Я до сих пор не назвал вам одного лица, а лицо это в известном смысле важнейшее! Я говорил — «держатели большинства акций», это отдает невинной множественностью. Однако это всегда одно лицо, безымянный и неизвестный широкой публике владелец главного пакета, прикрываемый тем, кого он сажает вместо себя!

Теперь Ульрих понял, конечно, что это вещи, о которых можно в любой день прочесть в газете; но Аргейму все-таки удалось придать им занимательность. Он с любопытством спросил

его, кому принадлежит главный пакет акций Ллойд-банка.

— Это неизвестно, — ответил Арнгейм спокойно. — Вернее сказать, посвященные это, конечно, знают, но говорить об этом не принято. Позвольте мне лучше коснуться сути этих вещей. Везде, где налицо такие две силы, хозяин, с одной стороны, и администрация, с другой, само собой возникает такое положение, что любое возможное средство умножить прибыль, независимо от того, нравственно ли оно и красиво ли, пускается в ход. «Само собой» в буквальном смысле, ибо процесс этот совершенно не зависит ни от чьих личных качеств. Хозяин не соприкасается с исполнителями непосредственно, а органы администрации прикрываются тем, что они действуют не по личным убеждениям, а как служащие. Эту картину вы увидите сегодня везде, отнюдь не только в сфере финансов. Можете быть уверены, что наш друг Туцци с преспокойной совестью даст сигнал к войне, хотя он лично не смог бы застрелить и старого пса, и тысячи людей отправят на тот свет вашего друга Моосбругера, потому что всем им, кроме каких-то трех человек, не надо делать это собственными руками! Это доведенная до виртуозности «косвенность» обеспечивает сегодня

чистую совесть каждому в отдельности и обществу в целом; кнопка, которую ты нажимаешь, всегда белая и чистая, а что произойдет на другом конце провода — это дело других людей, а они опять-таки не из тех, кто нажимает кнопки. Вы находите это отвратительным? Но, обрекая тысячи людей на смерть или на прозябание, приводя в движение горы страдания, мы чего-то этим и добиваемся! Я почти готов утверждать, что в этом, в форме социального разделения труда, проявляется, принимая, правда, грандиозный и опасный вид, старое раздвоение человеческой совести на похвальную цель и уж какие найдутся средства.

В ответ на вопрос Арнгейма, отвратительно ли это на его взгляд, Ульрих пожал плечами. Раздвоенность нравственного сознания, о которой говорил Арнгейм, — это страшнейшее явление нынешней жизни, — существовала всегда, свою ужасную чистую совесть она обрела лишь в результате всеобщего разделения труда и потому носит печать величественной неизбежности этого разделения. Ульриху претило просто-напросто возмущаться ею, дух противоречия рождал в нем, напротив, то смешное и приятное чувство, какое доставляет скорость в сто километров, когда у

дороги стоит и бранится покрытый пылью моралист. Поэтому, когда Арнгейм умолк, он первым делом сказал:

— Любую форму разделения труда можно развить. Вопрос, который вы вправе мне задать, состоит, следовательно, не в том, «нахожу ли я это отвратительным», а в том, верю ли я, что можно прийти к более достойному положению, не повернув вспять!

— Ах, этот ваш всеобщий учет! — подхватил Арнгейм. — Мы отлично организовали распределение дел, но при этом не заботились о координирующих инстанциях; мы непрестанно разрушаем мораль и душу по новейшим патентам и думаем, что можно сберечь их старыми домашними средствами религиозной и философской традиции! Я не люблю насмешничать в таком тоне, — поправился он, — и вообще считаю острословие чем-то очень двусмысленным; но предложение реорганизовать совесть, которое вы сделали в нашем присутствии графу Лейнсдорфу, я никогда не считал просто шуткой.

— Это была шутка, — ответил Ульрих резко. — Я не верю в такую возможность. Скорей уж я могу представить себе, что европейский мир построен дьяволом, а бог позволяет своему конкуренту

показать, на что тот способен!

— Славная идея! — сказал Арнгейм. — Но почему же вы рассердились на меня, когда я не захотел вам поверить?

Ульрих не ответил.

— То, что вы сейчас сказали, противоречит также очень конструктивному замечанию о способе приблизиться к правильной жизни, сделанному вами несколько раньше, — тихо и упорно продолжал Арнгейм. — Вообще, совершенно независимо от того, согласен ли я с вами в частностях или нет, меня поражает, до какой степени смешаны в вас активность и безразличие.

Когда Ульрих и на это не нашел нужным ответить, Арнгейм сказал с той вежливостью, с какой и следует отвечать на грубость:

— Я только хотел обратить ваше внимание на то, в какой мере сегодня, принимая экономические решения, от которых и так-то зависит почти все, нужно представлять себе и свою нравственную ответственность и как поэтому увлекательны такие решения.

Даже в этой одергивающей скромности был легкий привкус ухаживания.

— Простите, — ответил Ульрих, — я задумался над вашими словами. — И, словно все еще про-

должая размышлять, прибавил: — Хотел бы я знать, считаете ли вы это тоже нынешней косвенностью и нынешним разделением сознания, если в душу женщины вселяют мистические чувства, находя самым разумным предоставить ее тело ее супругу?

Арнгейм немного побледнел при этих словах, но не потерял самообладания. Он ответил спокойно.

— Не знаю точно, что вы имеете в виду. Но если бы вы говорили о женщине, которую вы любите, вы бы не могли это сказать, ибо узор реальности всегда богаче, чем контуры принципов.

Он отошел от окна и жестом пригласил Ульриха сесть.

— Вас не так-то легко поймать! — продолжал он тоном, в котором было что-то и от похвалы, и от сожаления. — Но я знаю, что для вас я служу скорее враждебным принципом, чем личным противником. А те, что по своим убеждениям являются самыми ожесточенными противниками капитализма, нередко бывают в делах лучшими его слугами; я, пожалуй, и сам могу себя к ним причислить, а то бы я не позволил себе сказать вам это. Бескомпромиссные и страстные люди, если уж они признали необходимость какой-то

уступки, бывают обычно самыми способными ее поборниками. Поэтому я хочу во что бы то ни стало довести свое намерение до конца и предлагаю вам: поступайте на службу в мою фирму.

Он нарочно сделал это предложение невзначай, он даже, казалось, хотел смягчить естественное изумление, которое, он не сомневался, должны были вызвать его слова, ровной и быстрой речью; совершенно не отвечая на удивленный взгляд Ульриха, он стал как бы перечислять детали, которые надо было бы уладить в случае согласия, но высказывать какое-либо личное мнение на этот счет сейчас отнюдь не хотел.

— Сначала у вас, конечно, не было бы опыта, — сказал он мягко, — чтобы занять какое-нибудь руководящее место, да и желания такого у вас, вероятно, не было бы; поэтому я предложил бы вам место рядом с собой, назовем это секретарь по общим вопросам, место, которое и учредил бы специально для вас. Надеюсь, что не обижаю вас своим предложением, ибо я вовсе не рисую себе этот пост подкупающе высокооплачиваемым; я хочу, чтобы ваша деятельность дала вам возможность обеспечить себе со временем любой доход, какой вы сочтете желательным, и убежден, что по истечении года вы будете понимать меня

совсем не так, как теперь.

Закончив эту речь, Аргейм все-таки почувствовал, что он взволнован. Он, в сущности, удивлялся сейчас, что и впрямь сделал Ульриху такое предложение, которое, если бы тот его отверг, только скомпрометировало бы его, Аргейма, а если бы принял — ничего приятного не сулило бы. Ибо представление, что этому сидевшему перед ним человеку может быть по силам что-то непосильное для него, Аргейма, в ходе разговора исчезло, а потребность совратить этого человека и подчинить его своей власти утратила смысл, как только она вышла наружу. Ему показалось неестественным, что он боялся чего-то, что называл «остроумием» Ульриха. Он, Аргейм, был большой барин, и для такого, как он, жизнь должна быть проста! Он в ладу со всем, столь же большим, насколько это ему дозволено, он не восстает, как авантюрист, против всего на свете и не подвергает всего сомнению, это было бы противно его природе; но, с другой стороны, есть, конечно, прекрасные и сомнительные вещи, и ты стараешься ухватить от них сколько возможно. Никогда еще, казалось Аргейму, он не ощущал с такой силой, как в этот миг, надежности западной культуры, представляющей собой чудесное

сплетение сил и запретов! Если Ульрих этого не признавал, то он был всего-навсего авантюрист, и то, что из-за него Арнгейм чуть не склонился к мысли… но тут у Арнгейма не хватило слов, даже не произносимых вслух, оставляемых при себе; он не в силах был членораздельно, хотя бы и про себя, сказать, что думал о том, чтобы приблизить к себе Ульриха, словно сына. Ничего особенного не было бы, если бы он это и сказал, мысль как мысль, в конце концов, как тысячи других, за которые не нужно отвечать и которые бывают внушены, вероятно, какой-то тоской, оседающей на дне любой деятельной жизни, потому что никогда не находишь того, чем был бы доволен; да и вообще, может быть, у него не было этой мысли в такой уязвимой форме, он просто почувствовал что-то, чему можно было эту форму придать, — тем не менее он не хотел вспоминать об этом и только кричаще ясно чувствовал, что если вычесть возраст Ульриха из его возраста, то разность будет не так велика, а за этим чувством скрывалось, конечно, другое, более смутное, — что Ульрих должен служить ему предостережением от Диотимы! Он вспомнил, что уже часто находил в своем отношении к Ульриху какое-то сходство с дополнительным кратером, по которому можно

судить, как жутко то, что готовится в главном, и его до некоторой степени встревожил тот факт, что тут уже извержение произошло, ибо слова излились и прокладывали себе путь в жизнь. «Что будет, — пронеслось в голове Аргейма, — если он согласится?!» Так подходили к концу те напряженные секунды, когда такой человек, как Аргейм, должен был ждать решения какого-то более молодого человека, которому он придал важность только из-за своей блажи. Он сидел очень неподвижно, с враждебно искривленными губами, и думал: «Уж как-нибудь образуется, если не удастся отвертеться сейчас».

Пока чувства и мысли шли этим путем, ситуация, однако, не задерживалась на месте, вопросы и ответы следовали друг за другом без всякой заминки.

— Каким же свойствам, — спросил Ульрих сухо, — обязан я этим предложением, с деловой точки зрения вряд ли оправданным?

— В этом вопросе вы все время ошибаетесь, — возразил Аргейм. — В моем положении не ищут оправданности интересами дела, выражающимися в чистогане; то, что я могу на вас потерять, не играет никакой роли по сравнению с тем, что я надеюсь приобрести!

— Вы разожгли мое любопытство, — сказал Ульрих. — Что я приобретение, мне говорят очень редко. Маленьким приобретением я мог бы стать разве что для своей науки, но и там-то я, как вы знаете, надежд не оправдал.

— Что вы необыкновенно умны, — отвечал Арнгейм (все еще в тоне тихой непоколебимости, который он внешне по-прежнему выдерживал), — вы прекрасно знаете сами; это мне незачем вам говорить. Но возможно даже, что у нас, в наших предприятиях, есть умы поострее и понадежнее. Ваш характер, ваши человеческие свойства — вот чем хотелось бы мне по определенным причинам постоянно располагать.

— Мои свойства? — усмехнулся Ульрих. — Знаете ли вы, что мои друзья называют меня человеком, у которого нет свойств?

Арнгейм не удержался от маленького жеста нетерпения, который означал примерно: «Не рассказывайте мне о себе того, что я давно знаю лучше!» В этой дрожи, пробежавшей по его лицу и плечу, сказалось его недовольство, но слова его еще лились по прежнему плану. Ульрих уловил этот жест, и поскольку прийти из-за Арнгейма в раздражение ему ничего не стоило, он стал теперь говорить вполне откровенно, дав их беседе

направление, которого до сих пор избегали. Между тем они снова успели встать; Ульрих отошел от своего визави на несколько шагов, чтобы лучше увидеть эффект, и сказал:

— Вы задали мне столько важных вопросов, что мне тоже захотелось кое-что узнать, прежде чем я решусь.

И после приглашающего жеста Арнгейма продолжил ясно и деловито: — Мне сказали, будто ваше участие во всем, что связано с проводимой здесь «акцией» — а госпожа Туцци и моя ничтожная персона тут лишь с боку припека! — направлено на приобретение большой части галицийских нефтяных промыслов!

Арнгейм, насколько можно было разглядеть при уже померкнувшем свете, побледнел и медленно подошел к Ульриху. Тому показалось нужным предотвратить какую-нибудь невежливость, и он пожалел, что своей неосторожной прямотой дал Арнгейму возможность отказаться от продолжения беседы в момент, когда она стала ему неприятна. Поэтому Ульрих сказал как можно любезнее:

— Я не хочу вас, конечно, обидеть, но наш разговор не выполнил бы своего назначения, если бы мы не вели его совершенно начистоту!

Этих нескольких слов и времени короткого пути хватило на то, чтобы к Аргейму вернулось его самообладание; он подошел, улыбаясь, к Ульриху, положил ладонь, вернее даже — полруки ему на плечо и с упреком сказал:

— Как можете вы верить такой биржевой сплетне!

— Я услыхал это не как сплетню, а от человека, который хорошо информирован.

— Да, я тоже слышал уже, что так говорят. Но как вы могли этому поверить! Конечно, я нахожусь здесь не только для своего удовольствия; к сожалению, я никогда не могу себе позволить совсем забросить дела. Не стану также отрицать, что об этих месторождениях нефти я кое с кем говорил, хотя прошу вас не распространяться об этом признании. Но ведь все это не так существенно!

— Моя кузина, — продолжал Ульрих, — о вашем керосине и ведать не ведает. Ее супруг поручил ей выпытать у вас что-нибудь о цели вашего приезда, потому что вас считают агентом царя; но я убежден, что эту дипломатическую миссию она выполняет скверно, ибо уверена, что единственная цель вашего здесь пребывания — она сама!

— Не будьте так неделикатны! — Рука Аргей-

ма дружески качнула плечо Ульриха. — Побочные обстоятельства есть, вероятно, всегда и во всем; но вы, несмотря на вашу нарочитую язвительность, говорили об этом с откровенностью невоспитанного школьника!

Эта рука на его плече лишала Ульриха уверенности. Было смешно и неприятно чувствовать, что тебя обнимают, ощущение это можно было даже назвать противным; но у Ульриха долгое время не было друзей, и, может быть, потому ощущение это немного смущало его. Ему хотелось смахнуть с себя эту руку, и он непроизвольно делал такие попытки; но, заметив эти крошечные признаки неугодности его жеста, Арнгейм напрягся, чтобы и глазом не моргнуть, и из вежливости, потому что он чувствовал трудное положение Арнгейма, Ульрих замер, снося прикосновение, которое теперь оказывало на него все более странное действие, напоминавшее то, как утопает в рыхлой насыпи, разрывая ее надвое, какой-нибудь тяжелый предмет. Этот вал одиночества Ульрих, сам того не желая, возвел вокруг себя, и теперь в брешь прорвалась жизнь, прорвался пульс другого человека, и это было глупое чувство, смешное, но и немного волнующее.

Он подумал о Герде. Вспомнил, как уже друг

его юности Вальтер возбудил в нем желание снова когда-нибудь прийти с кем-нибудь к такому полному и безудержному согласию, словно нет во всем мире других различий, кроме приязни и неприязни. Теперь, когда было уже слишком поздно, желание это снова поднималось в нем, поднималось серебряными волнами, такими же, казалось, как волны воды, света и воздуха, сливающиеся на широкой реке в единый поток серебра, поднималось так дурманяще, что ему пришлось быть начеку, чтобы не поддаться этому и не вызвать недоразумения таким двусмысленным своим положением. Но когда его мышцы напряглись, он вспомнил, что Бонадея сказала ему: «Ульрих, ты человек совсем не плохой, ты только стараешься сделать так, чтобы тебе было трудно быть хорошим!» Бонадея, которая в тот день была так поразительно умна и сказала еще: «Во сне ты ведь тоже не думаешь, а с тобой происходит какая-нибудь история!» А он сказал: «Я был ребенком, мягким, как воздух лунной ночью…» — и сейчас он вспомнил, что картина при этом мелькнула перед ним, собственно, другая: кончик горящей палочки магния; ибо таким же рассыпающимся на искры и превращающимся в свет показалось ему его сердце, но это было дав-

но, и он не отважился высказать это сравнение и был побежден другим; к тому же в разговоре не с Бонадеей, а с Диотимой, как ему сейчас вспомнилось. «Различия жизни лежат у корней очень близко друг к другу», — почувствовал он, глядя на человека, который по каким-то не очень прозрачным причинам предложил ему стать его другом.

Арнгейм убрал свою руку. Они снова стояли теперь в нише окна, где начали этот разговор; внизу на улице уже мирно горели лампы, но чувствовалось, что волнение еще не совсем унялось. Время от времени еще проходили, возбужденно разговаривая, сомкнутые группы людей и нет-нет да раскрывался какой-нибудь рот, выкрикивая угрозу или раскатистое «Э-ге-ге!», за которым следовал смех. Было впечатление какого-то полусознательного состояния. И в свете этой тревожной улицы, между отвесно ниспадающими гардинами, которые обрамляли потемневшую картину комнаты, он видел фигуру Арнгейма и чувствовал, как рядом с ним стоит сам, и оба наполовину залиты светом, наполовину черны и полны какой-то страстной собранности из-за этого двойного освещения. Ульрих вспомнил крики «ура» в честь Арнгейма, которые он, кажется, слышал, и, был ли, или не был связан с этими со-

бытиями Арнгейм, в цезаристском спокойствии, какое тот, задумчиво глядя на улицу, выставлял напоказ, он производил впечатление главной фигуры в этой написанной мгновением картине, да и чувствовал, казалось, при каждом взгляде свое присутствие в ней. Рядом с ним становилось понятным, что такое сознание собственного достоинства. Сознание само по себе не в силах привести в порядок светящуюся сумятицу мира, ибо чем острее оно, тем безграничнее, хотя бы на время, становится мир; сознание же собственного достоинства вступает в мир как режиссер и делает из него искусственное единство счастья. Ульрих завидовал этому человеку из-за его счастья. Ничего не было сейчас легче, казалось Ульриху, чем совершить преступление против него, ибо своей потребностью в картинности Арнгейм вызывал на сцену и старые театральные тексты. «Возьми кинжал, и да свершится судьба его!» Ульриху явственно слышались эти слова, произнесенные со скверной актерской интонацией, и все-таки он непроизвольно стал так, чтобы половина его корпуса была за спиной Арнгейма. Он видел перед собой темную широкую плоскость шеи и плеч. Особенно шея раздражала его. Рука его искала в карманах с правой стороны

перочинный нож. Он встал на цыпочки и еще раз опустил мимо Арнгейма взгляд на улицу. Там, в полутьме, людей, как песок, несло волной, которая тащила их тела. Что-то ведь должно было последовать из этой демонстрации, и вот будущее выслало вперед волну, людьми овладевало какое-то сверхличное творческое озарение, но во всем этом была, как всегда, большая неточность и небрежность. Так примерно ощущал Ульрих то, что он видел, и недолгое время это занимало его внимание, но он до тошноты устал это анализировать. Он осторожно опустился на пятки, устыдился, не особенно, впрочем, серьезно к тому относясь, игры мыслей, заставившей его только что подняться на цыпочки, и почувствовал великий соблазн тронуть Арнгейма за плечо и сказать ему: «Благодарю вас, хватит с меня всего этого, мне хочется попробовать что-то новое, и я принимаю ваше предложение! «Но поскольку и этого Ульрих в действительности не сделал, они не стали касаться ответа на вопрос Арнгейма. Арнгейм вернулся к одной из более ранних тем их разговора.

— Вы ходите иногда в кинематограф? Непременно нужно! — сказал он. Может быть, в теперешней его форме у него еще нет великого бу-

дущего, но дайте только крупным коммерческим интересам — например, интересам электрохимии или анилинокрасочной промышленности — связать себя с ним, и через несколько десятков лет вы увидите развитие, которого ничем нельзя будет задержать. Тогда начнется процесс, где пойдут в ход все средства, сулящие умножение и рост, и что бы ни мнилось нашим писателям и эстетикам, возникнет искусство Всеобщей Электрической Компании или Германской Промышленности Красителей. Это ужасно, дорогой мой! Вы пишете? Нет, я уже спрашивал. Но почему вы не пишете? Вы правы! Писатель и философ будущего придет по мосткам журналистики! Вы не замечали, что наши журналисты становятся все лучше и лучше, а наши писатели все хуже и хуже? Этот процесс, безусловно, закономерен; что-то происходит, и у меня нет никаких сомнений насчет того, что именно: эпоха великих индивидуальностей идет к концу! — Он наклонился вперед. — Не могу разглядеть, какое у вас сейчас выражение лица; я палю в темноту! — Он засмеялся. — Вы требовали всеобщего учета духовных ценностей. Вы верите в это? Неужели вы верите, что жизнь можно регулировать духовным началом?! Вы, конечно, сказали «нет», но

я вам не верю, ибо вы такой человек, который заключил бы в объятья самого черта, потому что тот не имеет равных себе!

— Откуда это? — спросил Ульрих.

— Из изъятого предисловия к «Разбойникам».

«Ну, конечно, из изъятого, — подумал Ульрих, — не из обыкновенного же!»

— «Души, которым мерзейший порок прелестен величием, от него веющим», процитировал Аргейм дальше, пользуясь своей всеобъемлющей памятью. Он чувствовал, что опять стал хозяином положения, а Ульрих, по тем или иным причинам, пошел на уступку; уже не было рядом враждебной твердости, и не надо было больше говорить о том предложении, все сошло хорошо; но подобно тому как борец, угадав, что противник устал, тут-то и пускает в ход всю свою силу, он почувствовал потребность показать задним числом всю весомость того предложения и продолжал:

— Думаю, что теперь вы поймете меня лучше, чем вначале. Так вот, признаюсь вам откровенно, я чувствую себя порой одиноким. Если люди — «из новых», мышление у них слишком коммерческое; а во втором или в третьем поколении семьи коммерсантов теряют фантазию. Тогда от них нечего ждать, кроме безупречных управляющих,

дворцов, охоты, офицеров и зятьев из дворян. Я знаю эту публику во всем мире; среди них есть умные и тонкие люди, но они не способны родить ни одной мысли, хоть как-то связанной с этим последним состоянием беспокойства, независимости и, может быть, несчастности, которое я обрисовал цитатой из Шиллера.

— К сожалению, я не могу продолжать наш разговор, — отвечал Ульрих. — Госпожа Туцци, видимо, дожидается воцарения спокойствия у кого-нибудь из друзей, а мне пора идти. Вы, значит, считаете, что я, хоть и не смыслю в коммерции, обладаю этим беспокойством, которое так полезно ей тем, что лишает ее слишком коммерческого элемента?

Он зажег свет, чтобы попрощаться, и подождал ответа. Арнгейм величественно-дружелюбно положил руку ему на плечо — жест этот, кажется, выдержал испытание — и сказал:

— Простите, если я наговорил лишнего, поддавшись настроению одиночества! Экономика идет к власти, и вот порой спрашиваешь себя: а что же нам с этой властью делать? Не обижайтесь!

— Напротив! — заверил его Ульрих. — Я намерен серьезно обдумать ваше предложение!

Он сказал это быстро, и такую поспешность

можно было истолковать как волнение. Поэтому Аргейм, оставшийся ждать Диотиму, пребывал в некоторой растерянности, опасаясь, что не так-то просто будет найти пристойный способ отвлечь Ульриха от этого предложения.

122
Путь домой

Ульрих пошел домой пешком. Была прекрасная, но темная ночь. Дома своим высоким сомкнутым строем составляли странное, открытое сверху пространство улицы, над которым в воздухе что-то вершилось — темнота ли, ветер ли, тучи ли. Дорога была так безлюдна, словно недавняя смута оставила после себя глубокую дремоту. Когда Ульрих встречал одиноких пешеходов, то сперва долго, сами по себе, словно предупреждая о чем-то важном, к нему приближались звуки шагов. В эту ночь можно было испытать такое же, как в театре, чувство событий. Чувствовалось, что ты в этом мире явление; нечто, кажущееся большим, чем оно есть; нечто гулкое и сопровождаемое, когда оно проходит мимо освещенных плоскостей, собственной тенью, как неистово дергающимся шутом, который вдруг выпрямля-

ется, чтобы в следующий же миг снова смиренно припасть к ногам. «Каким счастливым можно быть», — думал он.

Он миновал арку в каменном коридоре, проходившем на протяжении шагов десяти рядом с улицей и отделенном от нее только толстыми сводчатыми колоннами. Из углов выскакивал мрак, разбой и убийство мерцали в полуосвещенном проходе. Бурное, полное старинной и кровавой торжественности счастье охватило душу. Может быть, это было чересчур; Ульрих вдруг представил себе, с какой самоуспокоенностью и с какой внутренней «режиссурой» здесь прошел бы сейчас на его месте Арнгейм. Ульрих перестал радоваться своей тени и гулкости своих шагов, и призрачная музыка в стенах погасла. Он знал, что не примет предложения Арнгейма; но теперь он казался себе лишь блуждающим по галерее жизни фантомом, который, к своему замешательству, не может найти рамы, куда ему надо скользнуть, и был очень доволен, когда его путь привел его вскоре в не столь гнетущую и великолепную местность.

В темноте открывались широкие улицы и площади, и в обычных домах, мирно сиявших звездами освещенных этажей, не было уже

ничего волшебного. Выйдя на простор, он почувствовал эту мирность, и бог весть почему ему вспомнилось несколько фотографий детской поры, которые он недавно увидел снова; они показывали его в обществе его рано умершей матери, и он отчужденно глядел на маленького мальчика, счастливо улыбавшегося старомодно одетой красивой женщине. Предельно яркий образ послушного, милого, умного мальчугана, связавшийся с ним; надежды, совсем еще не бывшие его собственными надеждами; неясные ожидания, сулившие почетное, блестящее будущее и тянувшиеся к нему, как распахнутые крылья золотой сети, — хотя все это в свое время было незримо, оно через десятки лет очень ясно читалось на старых фотографиях, и из этой зримой незримости, которая так легко могла стать действительностью, на него глядело его мягкое, пустое детское лицо с несколько испуганным выражением форсированной неподвижности. Он не чувствовал ни малейшей приязни к этому мальчику, и хотя на свою красивую мать он смотрел не без гордости, все в целом производило на него главным образом впечатление, что он избежал чего-то ужасного.

Кому знакомо это впечатление, что он сам,

окутанный прошедшим мгновением самодовольства, смотрит на себя со старых своих портретов так, словно что-то связующее напрочь отсохло, тот поймет чувство, с которым он спрашивал себя, каково же, собственно, это связующее звено, если у других оно не перестает действовать. Он находился сейчас на одном из тех бульваров, что прерывающимся кольцом следуют по линии, где когда-то проходили валы, и мог бы, сделав несколько шагов, пересечь его, но большая полоса неба, тянувшаяся в длину над деревьями, соблазнила его свернуть и последовать в ее направлении, и ему казалось, что он все приближается, но никак не приблизится к гирлянде огней, на вид очень домашних, но плывших по краям зимнего бульвара, где он шагал, в небесной дали. «Это некая укорачивающая ум перспектива, — говорил он себе, — делает возможным этот ежевечерний покой, который, простираясь от одного дня к другому, создает прочное чувство согласной с самою собой жизни. Ведь, как правило, главная предпосылка счастья — вовсе не разрешить противоречия, а заставить их исчезнуть, как скрадываются в длинной аллее просветы между деревьями, и так же, как смещаются повсюду для глаза видимые соотношения, создавая

картину, которой он может овладеть, где непосредственно близкое кажется большим, а более далекое, даже если оно огромно, — маленьким, где скрадываются просветы и все в конце концов приобретает упорядоченность, округлость и гладкость, точно так же обстоит дело и с невидимыми соотношениями, ум и чувство смещают их так, что бессознательно возникает нечто, где ты чувствуешь себя полным хозяином. Эту операцию, — говорил себе Ульрих, — я проделываю, стало быть, не так, как надо бы».

На мгновение он остановился перед широкой лужей, преграждавшей ему путь. То ли эта лужа у его ног, то ли голые, как метлы, деревья по сторонам родили в нем вдруг в этот миг картину проселка и деревни и пробудили ту промежуточную между исполнением желаний и их тщетой монотонность души, что свойственна деревенской жизни и не раз после той первой «поездки-бегства» в юности манила его повторить такого рода побег. «Все становится таким простым! — почувствовал он. — Чувства дремлют, мысли рассеиваются, как тучи после ненастья, и вдруг из души вырывается чистое, прекрасное небо! На фоне этого неба может сиять всего-то корова среди дороги — происходящее так убеди-

тельно, словно ничего больше на свете и нет! То же самое может совершить с целой местностью какая-нибудь кочующая туча: трава темнеет, а минуту спустя вся трава кругом сверкает каплями влаги, больше ничего не произошло, но это — как путешествие от одного берега моря к другому! Какой-то старик теряет последний свой зуб — и маленькое это событие составляет в жизни всех его соседей веху, к которой они могут привязывать свои воспоминания! Так же и птицы ежевечерне поют вокруг деревни и всегда одинаково, когда за садящимся солнцем приходит тишина, но это каждый раз ново, как будто миру нет еще и семи дней! В деревне боги еще приходят к людям, — думал он, — там человек что-то представляет собой и что-то испытывает, а в городе, где испытать можно в тысячу раз больше, он уже не в состоянии соотнести испытываемое с собой, и так, наверно, начинается пресловутое превращение жизни в абстракцию».

Но, думая так, он в то же время знал, что это в тысячу раз умножает силу человека и если даже делает его в десять раз мельче во всем по отдельности, то в целом все-таки во сто раз укрупняет его, и ни о каком возврате назад Ульрих не помышлял. И в ходе тех как бы неуместных

и отвлеченных мыслей, что в его жизни часто приобретали такое непосредственное значение, ему подумалось, что закон этой жизни, по которой ты, устав от перегрузки и мечтая о простоте, все время тоскуешь, тот же самый, что и закон порядка повествования! Того простого порядка, который состоит в том, что можно сказать? «Когда случилось это, произошло то-то!» Простая последовательность, отражение подавляющего разнообразия жизни в одномерности, как сказал бы математик, — вот что нас успокаивает; нанизывание всего случившегося в пространстве и времени на одну нить, на ту знаменитую «нить повествования», из которой, стало быть, состоит и нить жизни. Блажен тот, кто может сказать «когда», «прежде чем» и «после того как»! Пускай с ним случилась беда или он корчился от боли — как только он оказывается в состоянии воспроизвести события в их временной последовательности, ему становится так хорошо, словно солнце светит ему в живот. Вот что искусственно обратил себе на пользу роман; путник может ехать верхом под проливным дождем по проселочной дороге или при двадцатиградусном морозе, под ногами у него может скрипеть снег, а читателю уютно, и понять это было бы трудно,

если бы эта вечная уловка эпоса, с помощью которой и няньки-то успокаивают детей, — если бы эта испытанная и проверенная, «укорачивающая ум перспектива» не составляла неотъемлемой части самой жизни, Большинство людей в основе своего отношения к самим себе — повествователи. Они не любят лирику или любят ее лишь минутами, и даже если в нить жизни вплетается какая-то толика «потому что» и «чтобы», им претит задумываться об этом надолго: они любят последовательный порядок фактов, потому что он походит на необходимость, и, воображая, что у жизни их есть «течение», чувствуют себя как-то укрытыми от хаоса. И Ульрих заметил теперь, что он утратил эту примитивную эпичность, за которую еще держится частная жизнь, хотя в жизни общественной все уже лишилось повествовательности и уже не следует никакой «нити», а расходится вширь бесконечными сплетениями.

Когда он, сделав это наблюдение, двинулся дальше, он вспомнил, правда, что Гете в одной из статей об искусстве писал: «Человек — существо не поучающее, а живое, действующее и влияющее!» Он почтительно пожал плечами. «Разве что как актер, не думающий о кулисах и гриме и воображающий, что он совершает какие-то

поступки на самом деле, вправе сегодня человек забывать тот неопределенный фон знания, от которого зависит всякая его деятельность!" подумал он. Но эта мысль о Гете немного, наверно, смешалась с мыслью об Аргейме, всегда злоупотреблявшем ссылками на него, ибо в ту же секунду. Ульрих с неудовольствием вспомнил необычную неуверенность, которую вызвала у него рука этого человека, когда она легла ему на плечо. Тем временем он вышел из-под деревьев на тротуар и стал искать дорогу в сторону своего дома. Высматривая названия переулков, он чуть не налетел на какую-то тень, которая вдруг рассеялась, и ему пришлось мгновенно остановиться, чтобы не сбить с ног загородившую ему путь проститутку. Она стояла и улыбалась, вместо того чтобы показать свой гнев по поводу того, что он чуть не свалил ее, как буйвол, и Ульрих вдруг почувствовал, что эта профессиональная улыбка распространяет в ночи какое-то маленькое тепло. Она сказала несколько слов; она заговорила с ним захватанными словами, которые хотят приманить и похожи на грязный осадок всех предшествовавших мужчин. „Пойдем со мной, маленький!“— сказала она или что-то подобное. Плечи у нее были по-детски покатые,

из-под шляпы ее выбивалась прядка светлых волос, и при свете фонаря видно было, что лицо ее бледно и черты его миловидно неправильны; под косметикой вполне могла прятаться кожа молодой еще девушки со множеством веснушек. Она смотрела на него снизу вверх и была гораздо меньше ростом, чем Ульрих, тем не менее она еще раз сказала ему „маленький“, не найдя, по своей безучастности, ничего несообразного в этом сочетании звуков, произносимым ею сотни раз за вечер.

Ульриха это тронуло. Он не оттолкнул ее, а остановился и дал ей повторить ее предложение, как если бы не расслышал его. Неожиданно он нашел подругу, которая за небольшую мзду целиком отдавала себя в его распоряжение; она постарается быть милой и избегать всего, что может ему не понравиться; если он даст ей знак согласия, она возьмет его под руку с той нежной доверчивостью и легкой робостью, какая возникает только тогда, когда близкие люди впервые встречаются после вынужденной разлуки; и если он пообещает ей и сразу же выложит сумму, во много раз превышающую ее таксу, чтобы ей не надо было думать о деньгах и она пришла в то беззаботно приятное состояние, какое остается

после деловой удачи, то окажется, что и чистое равнодушие тоже обладает преимуществом всех чистых чувств — свободой от личной заинтересованности и способностью делать свое дело без суетной сумятицы эмоциональных амбиций. Полусерьезно-полуигриво пронеслись у него эти мысли, и он не решился совсем разочаровать маленькую незнакомку, которая ждала, что он вступит в сделку. Он почувствовал, что хочет ее расположения, но вместо того, чтобы просто перекинуться с ней несколькими словами ее профессионального лексикона, он довольно неловко полез в карман, сунул девушке в руку кредитный билет, примерно соответствовавший стоимости одного посещения, и пошел дальше. При этом он на секунду задержал руку, которая странным образом сопротивлялась от неожиданности в своей руке и сказал одно лишь ласковое слово. Затем он покинул девицу, убежденный, что сейчас она подойдет к своим товаркам по ремеслу, которые рядом шушукались в темноте, покажет им деньги и, в конце концов, отпустит какую-нибудь издевательскую шутку, чтобы дать выход своим чувствам, которых она так и не сумела толком понять.

Эта встреча оставалась еще несколько мгнове-

ний живой, словно она была минутной нежной идиллией. Он не заблуждался насчет грубой бедности своей мимолетной подруги. Но когда он представил себе, как бы она чуть скосила глаза и издала один из тех слабых, неумело сделанных вздохов, которые научилась исполнять в надлежащий момент, от этого глубоко пошлого, совершенно бездарного лицедейства за заранее определенную плату повеяло все-таки и чем-то трогательным, он сам не знал почему; может быть, потому, что это была сама человеческая комедия в балаганной постановке. И уже в то время, как Ульрих говорил с девушкой, одна очень понятная ассоциация напомнила ему о Моосбругере. Моосбругер, больной комедиант, охотник на проституток и их губитель, который шел в той злосчастной ночи точно так же, как он сегодня. Когда нетвердые, как кулисы, стены улицы на секунду остановились, он натолкнулся на то незнакомое существо, которое ждало его в ночь убийства у моста. Какое это было, наверно, чудесное узнавание, какое потрясение от макушки до пят! Ульриху на миг показалось, что он может представить это себе. Он почувствовал, что его что-то поднимает, как поднимает волна. Он потерял равновесие, но оно и не было ему

нужно, его несло движение. Сердце его сжалось, но в воображении все беспредельно спуталось и расширилось и сразу изошло в каком-то расслабляющем сладострастии. Он старался отрезвить себя. Он, видимо, так долго жил жизнью без внутреннего единства, что теперь завидовал даже душевнобольному с его навязчивыми идеями и с его верой в свою роль! Но Моосбругер манил ведь не только его, а и всех других тоже? Он услышал в себе, как голос Арнгейма спрашивает: «Вы бы освободили его?» И как он, Ульрих, отвечает: «Нет. Наверно, нет». «Тысячу раз нет!» — прибавил он, почувствовав, однако, как его ослепила картина действия, где движение хватающего в величайшем волнении и движение схваченного слилось в одно неописуемо общее состояние, где нельзя было отличить радость от принуждения, смысл — от необходимости, а величайшую активность — от блаженной пассивности. Он мельком вспомнил мнение, что такие несчастные создания — это воплощение подавленных инстинктов, присущих всем, реализация их мысленных убийств и воображаемых надругательств. Что ж, пускай те, кто в это верит, справляются с ним на свой лад и для восстановления собственной нравственности казнят его, насытившись им!

Его, Ульриха, разлад был иного рода и состоял как раз в том, что он ничего не подавлял и при этом видел, что с портрета убийцы на него не глядит ничего такого, что было бы более чуждым ему, чем-то, что глядит на него с других картин мира, которые все таковы, как его собственные старые фотографии: наполовину — сформировавшийся смысл, наполовину — снова бьющая ключом бессмыслица. Распоясавшаяся метафора порядка — вот чем был для него Моосбругер! И вдруг Ульрих сказал: «Все это!..» — и сделал такое движение, словно отметал что-то в сторону тыльной стороною ладони. Он сказал это не про себя, а сказал вслух, после чего резко сжал губы и закончил фразу уже безмолвно: «Все это надо решить!» Он не хотел знать никаких больше подробностей насчет того, что же это за «все это»; «все это» было то, что его занимало и мучило, а порой и приводило в восторг, с тех пор как он взял «отпуск», и сковывало как сновидца, для которого нет ничего невозможного, кроме одного — встать и начать двигаться; все это приводило ко всяким невозможным вещам, с первого дня и до последних минут этого пути домой! И Ульрих почувствовал, что теперь наконец надо либо жить ради недостижимой цели, как все прочие, либо взяться за

эти «невозможные вещи» серьезно, а поскольку он добрался уже до окрестностей своего жилья, то последний переулок он пробежал со странным чувством, что с ним вот-вот что-то произойдет. Это было окрыляющее, устремленное к какому-то действию, но бессодержательное и потому опять-таки странно свободное чувство.

Может быть, оно прошло бы так же, как многие другие; но когда он свернул на свою улицу, ему после нескольких шагов показалось, что окна его дома освещены, а когда он подошел к решетке своего сада, никаких сомнений в этом уже не осталось. Старый его слуга отпросился на сегодняшнюю ночь к своим родственникам, жившим в другом районе, сам он не был дома со времени разыгравшегося еще при дневном свете эпизода с Гердой, садовник с женой, которых он поместил в нижнем этаже, никогда в его комнаты не входили; но всюду горел свет, казалось, что в дом к нему проникли чужие люди, грабители, которых он сейчас застигнет врасплох. Ульрих был в таком замешательстве и настолько не намерен расставаться с этим необычным чувством, что без колебаний зашагал к своему дому. Он не ждал ничего определенного. Он увидел в окнах тени, по которым вольно было заключить, что внутри

ходит кто-то один; но людей могло быть и много, и он не знал, выстрелят ли в него, когда он войдет в дом, или ему нужно приготовиться стрелять самому. В другом состоянии Ульрих, наверно, привел бы полицейского или хотя бы выяснил обстановку, прежде чем на что-то решиться, но ему хотелось быть с этим своим чувством наедине, и он даже не вытащил пистолета, который после той ночи, когда его избили хулиганы, носил иногда с собой. Он хотел… Этого он не знал, это должно было выясниться!

Но когда он толкнул дверь парадного, выяснилось, что грабитель, встречи с которым он ждал с такими неясными чувствами, был всего-навсего Клариссой.

123
Поворот

Сперва, может быть, в поведении Ульриха и была убежденность, что все как-то благополучно объяснится, та несклонность верить в худшее, с какой всегда встречаешь опасность; но когда в вестибюле навстречу ему неожиданно вышел его старый слуга, он чуть не нанес ему удара, который свалил бы его с ног. Удержавшись от

этого, к счастью, в последний миг, Ульрих узнал от него, что пришла телеграмма, которую взяла Кларисса, и что эта молодая дама явилась уже с час назад, как раз когда старик собирался уйти, и отказалась удалиться, отчего он предпочел тоже остаться дома, пожертвовав своим сегодняшним досугом, ибо — да простит ему хозяин это замечание — молодая дама показалась ему очень взволнованной.

Когда Ульрих поблагодарил его и вошел в свои комнаты, Кларисса лежала на диване, слегка повернувшись на бок и подтянув ноги к животу; ее стройная, без талии фигура, ее по-мальчишески причесанная головка с длинным миловидным лицом, которое, опершись на руку, взглянуло на него, когда он открыл дверь, были донельзя обольстительны. Он сказал ей, что принял ее за грабителя. Глаза Клариссы стали похожи на частый огонь из браунинга.

— Может быть, я и есть грабитель! — ответила она. — Старый плут, который у тебя служит, ни за что не хотел меня оставлять здесь; я отправила его спать, но я знаю, что он спрятался где-то внизу! Хорошо у тебя! — Она протянула ему телеграмму, не вставая. — Мне хотелось посмотреть, как ты возвращаешься домой, когда думаешь,

что ты один, — продолжала она. — Вальтер на концерте. Он вернется лишь за полночь. Но я ему не сказала, что пойду к тебе.

Ульрих вскрыл телеграмму и прочел ее, лишь краем уха слушая, что говорила Кларисса; он вдруг побледнел и, не веря глазам своим, прочел еще раз странный текст. Хотя он так и не ответил на разные запросы отца относительно параллельной акции и ограниченной вменяемости, он уже некоторое время не получал от него писем с напоминаниями, но не обращал на это внимания; и вот в обстоятельной манере, представлявшей собой замечательную смесь полускрытых упреков и траурной торжественности, в манере, до мелочей продуманной и намеченной явно еще самим отцом, эта телеграмма сообщала ему о смерти его родителя. Они не очень-то любили друг друга, мысль об отце была Ульриху даже почти всегда неприятна, однако, читая этот забавно-жутковатый текст второй раз, он думал: «Теперь я совсем один на свете!» Не то чтобы он вкладывал в эти слова их буквальный смысл, который с закончившимися сейчас отношениями совсем не вязался; скорее он с удивлением чувствовал, что всплывает вверх, словно порвался канат какого-то якоря, или чувствовал полную

теперь свою чужеземность в мире, с которым был еще как-то связан через отца.

— Умер мой отец! — сказал он Клариссе и с какой-то невольной торжественностью поднял руку с телеграммой.

— Вот как! — ответила Кларисса. — Поздравляю! — И после маленькой задумчивой паузы прибавила: — Теперь ты, наверно, будешь очень богат?

— Не думаю, чтобы он был так уж богат, — недовольно возразил Ульрих. — Я жил здесь не по его средствам.

Кларисса приняла этот маленький выговор с улыбкой, подтверждающей, что он дошел до нее, и как бы расшаркивающейся; многие ее выразительные движения были порой торопливы и судорожно-нарочиты, как поклон мальчика, который должен продемонстрировать в обществе свою воспитанность. Она осталась одна в комнате, поскольку Ульрих, извинившись, ненадолго удалился, чтобы отдать необходимые распоряжения, связанные с его отъездом. Покинув Вальтера после той бурной сцены, она ушла недалеко, за дверью их квартиры была лестница, которой редко пользовались и которая вела на чердак, и там, на чердаке, укутавшись

платком, Кларисса сидела до тех пор, пока не услышала, как ее супруг покидает дом. Она смутно представляла себе помещение над сценой в театре; там, стало быть, наверху, откуда свисают веревки, сидела она, пока Вальтер спускался по лестнице. Она воображала, что между выходами, когда им нечего делать, актрисы, закутавшись в платки, сидят среди балок над сценой и смотрят вниз; теперь она тоже была такой актрисой, и все события происходили внизу, под ней. В этом опять проступала ее старая любимая мысль, что жизнь — это актерская задача. Жизнь, конечно, не нужно принимать разумом, — думала она; что вообще человек знает о жизни, даже если он знает больше, чем она, Кларисса. Но надо обладать верным чутьем жизни, как птица буревестник! Надо свои руки — а это значило у нее: свои слова, свои поцелуи, свое слезы — расправить, как крылья! В этом образе она нашла какое-то вознаграждение за то, что уже не могла больше верить в будущность Вальтера. Глядя вниз, в крутой пролет лестницы, куда ушел Вальтер, она развела руки в стороны и держала их поднятыми в таком положении, пока могла: а вдруг она этим поможет ему! «Крутой подъем и крутой спуск враждебно родственны в своей силе и нераз-

дельны!» — думала она. «Ликующей крутизной мира» назвала она свои распростертые руки и взгляд вниз. Она отказалась от намерения тайком поглядеть на демонстрации в городе; какое ей было дело до «стада», началась огромная драма одной-единственной.

Так Кларисса пошла к Ульриху. По пути она показывала порой свою хитрую улыбку, когда думала о том, что Вальтер принимает ее за сумасшедшую, стоит лишь ей обнаружить свое более высокое понимание того состояния, в каком они оба находятся. Ей льстило, что он боялся, что она родит ему ребенка, и все же с нетерпением этого ждал; под «сумасшествием» она понимала что-то вроде сходства с зарницей или пребывание в столь высоком состоянии здоровья, что оно пугает других, и это было свойство, которое развилось в ее браке, развилось исподволь, по мере того как росли ее превосходство и главенство. Но она знала все-таки, что иногда бывала непонятна другим, и когда Ульрих снова вошел, у нее было чувство, что она должна что-то сказать ему, как того требует такое глубоко врезавшееся в его жизнь событие. Она быстро спрыгнула с дивана, походила по комнате и по смежным комнатам и после этого сказала:

— Итак, прими мое искреннее соболезнование, старина!

Ульрих взглянул на нее удивленно, хотя и знал уже этот тон, появлявшийся у нее, когда она нервничала. «Тогда в ней бывает иногда что-то неожиданно стандартное, — подумал он, — как будто в книгу по ошибке вшили страницу из другой книги». Она не произнесла свою фразу с подобающим ей выражением, а бросила со стороны, через плечо, усилив эффект: фальшь слышалась как бы не в мелодии, а в не соответствующем ей тексте, и создавалось жутковатое впечатление, что Кларисса сама состоит из множества таких ошибочных подтекстовок. Теперь, когда Ульрих не ответил, она остановилась перед ним и сказала:

— Мне нужно поговорить с тобой!

— Хочешь чем-нибудь подкрепиться? — спросил Ульрих.

В знак отказа Кларисса только быстро пошевелила поднятой на высоту плеча рукой. Она собралась с мыслями и начала:

— Вальтер хочет, чтобы я во что бы то ни стало родила ему ребенка. Ты это понимаешь?

Что мог ответить Ульрих?

— А я не хочу! — воскликнула она с силой.

— Не злись, — сказал Ульрих. — Если ты не хочешь, этого так или иначе не случится.

— Но погибнет из-за этого он!

— Люди, которые каждую минуту умирают, живут долго! Мы с тобой давно уже будем высохшими сморчками, а Вальтер и под седыми волосами, став директором своего архива, сохранит юношеское лицо!

Кларисса задумчиво повернулась на каблуке и отошла от Ульриха; на некотором расстоянии она опять заняла позицию и «взяла» его «на прицел» взглядом.

— Знаешь, как выглядит зонтик, если вынуть из него палку? Вальтер рухнет, если я от него отвернусь. Я его палка, он… — Она хотела сказать «зонтик», но ей пришла в голову существенная поправка. — Он мое прикрытие, сказала она. — Он считает, что должен прикрывать меня. Сначала он хочет для этого видеть меня с большим животом. Потом он будет убеждать меня, что естественная обязанность матери — кормить ребенка грудью. Потом захочет воспитывать этого ребенка соответственно своим представлениям. Ты же сам это знаешь. Он просто хочет присвоить себе права и, прикрываясь громкими словами, сделать из нас обоих мещан. Но если я и

дальше, как до сих пор, буду говорить «нет», тогда он пропал! Я для него просто все!

Ульрих ответил на это огульное утверждение недоверчивой улыбкой.

— Он хочет убить тебя! — прибавила Кларисса быстро.

— Да ну? По-моему, сделать это советовала ему ты?

— Ребенка я хочу от тебя! — сказала Кларисса.

Ульрих удивленно свистнул сквозь зубы.

Она улыбнулась, как юнец, поставивший грубое требование.

— Мне не хочется обманывать человека, которого я знаю так хорошо, как Вальтера. Мне это противно, — медленно сказал Ульрих.

— Вот как? Ты, значит, очень упорядочен? — Кларисса, казалось, придавала этому какое-то значение, которого Ульрих не понимал; она подумала и лишь через некоторое время продолжила свою атаку: — Но если ты меня любишь, ты у него в руках.

— Каким образом?

— Это же совершенно ясно; я только не могу это выразить. Ты будешь вынужден считаться с ним. Нам будет его очень жаль. Ты же, конечно, не можешь просто обманывать его, значит, ты

будешь стараться дать ему что-то за это. Ну и так далее. А самое главное — ты заставишь его выдать лучшее, что в нем есть. Этого ты не станешь ведь отрицать — что мы спрятаны в себе, как статуи в каменной глыбе. Надо высекать себя из себя! Надо принуждать к этому друг друга!

— Прекрасно, — сказал Ульрих. — Но ты слишком быстро предположила, что так и будет!

Кларисса опять улыбнулась.

— *Может быть*, и опрометчиво! — сказала она. Она приблизилась к нему и дружески сцепила свою руку с его рукой, которая по-прежнему безучастно висела у туловища, не освобождая ей места. — Я тебе не нравлюсь? Ты меня не любишь? — И когда Ульрих промолчал, она продолжала: — Я нравлюсь тебе, я же знаю; я довольно часто замечала, как ты на меня смотришь, когда бываешь у нас! Не помнишь, говорила ли я тебе, что ты дьявол? Мне так кажется. Пойми меня верно. Я не говорю, что ты бедный дьявол, бедняга, который хочет зла, потому что не знает ничего лучшего; ты великий дьявол, ты знаешь, что было бы хорошо, но делаешь прямо противоположное тому, чего хочешь! Ты находишь жизнь, какую мы все ведем, отвратительной и поэтому назло говоришь, что ее нужно вести и

дальше. И ты говоришь ужасно порядочно: «Я не обманываю своих друзей!»— но говоришь так только потому, что уже сотни раз думал: «Я хочу обладать Клариссой!» Но поскольку ты дьявол, в тебе есть что-то и от бога, Уло! От великого бога! Который *лжет*, чтобы его не узнали! Ты хочешь меня…

Вместо одной его руки она схватила теперь обе и стояла перед ним запрокинувшись, — как растение, если его мягко потянуть за цветок. «Сейчас на лицо ее опять накатит, как тогда!» — испугался Ульрих. Но этого не случилось. Лицо ее осталось красиво. Она улыбалась не своей обычной узкой улыбкой, а улыбкой открытой, которая вместе с мякотью губ показывала немного и зубы, словно Кларисса оборонялась, а форма ее рта напоминала дважды изогнутый лук бога любви, и лук этот повторялся в выпуклостях ее лба и над ними еще раз в просвечивающем облаке волос.

— Ты бы давно уже унес меня в зубах своего лживого рта, если бы только решился показать мне себя таким, каков ты есть! — продолжала Кларисса. Ульрих мягко высвободился. Она опустилась на диван так, словно он ее туда усадил, и потянула его за собой.

— Не преувеличивай, — упрекнул ее Ульрих

за ее слова.

Кларисса отпустила его. Она закрыла глаза и положила голову на обе руки, уперев локти в колени; ее вторая атака была отбита, и она намерилась теперь убедить Ульриха ледяной логикой.

— Ты не цепляйся за слова, — ответила она. — Это я только так говорю: бог, дьявол. Но когда я бываю дома одна, обычно весь день, и брожу по окрестностям, я часто думаю; пойду сейчас налево — явится бог, пойду направо — явится дьявол. И такое же чувство часто бывает у меня, когда нужно взять какой-нибудь предмет и можно взять его либо правой, либо левой рукой. Когда я показала это Вальтеру, он от страха сунул руки в карманы! Ему доставляют радость цветы или даже какая-нибудь улитка; но скажи, разве жизнь, которую мы ведем, не грустна до ужаса? Не приходит ни бог, ни дьявол. Так я слоняюсь уже годами. Что же может произойти? Ничего. Это все, разве только искусству удастся каким-то чудом что-то изменить.

В эту секунду в ней было столько мягкой грусти, что Ульрих поддался искушению дотронуться рукой до ее мягких волос.

— В частностях ты, пожалуй, права, Кларисса, —

сказал он, — но я никогда не понимаю у тебя связей и скачков, которые ты делаешь в своих выводах.

— Они просты, — отвечала она, все еще в той же позе, что прежде. — С течением времени у меня возникла одна идея. Послушай! — Теперь она выпрямилась и вдруг опять оживилась. — Не говорил ли ты сам как-то, что у состояния, в котором мы живем, есть щели, откуда выглядывает, так сказать, невозможное состояние? Можешь не отвечать; я давно уже это знаю. Каждому, конечно, хочется, чтобы его жизнь была в порядке, но ни у кого это не получается! Я занимаюсь музыкой или живописью; но это все равно, как если бы я поставила ширму перед дырой в стене. У тебя и у Вальтера есть, кроме того, идеи, в этом я мало смыслю, но и тут что-то не так, и ты говорил, что в эту дыру не заглядывают по лености и косности или отвлекают себя от нее всякими дурными вещами. Ну, так вот, остальное просто; через эту дыру нужно выйти! И я могу это сделать! У меня бывают дни, когда я могу выскользнуть из себя. Тогда стоишь — как бы это сказать? — как облупленный среди вещей, с которых тоже содрана грязная корка. Или связан со всем, что перед тобой, воздухом, как сиамский близнец. Это неве-

роятно великолепное состояние; все переходит в музыку, краски и ритм, и я тогда не домашняя хозяйка по имени Кларисса, а, пожалуй, какой-то блестящий осколок, проникающий в какое-то огромное счастье. Но ты ведь и сам все это знаешь! Ведь это ты и имел в виду, когда говорил, что реальность заключает в себе невозможное состояние и что происходящее с тобой нельзя обращать к себе и смотреть на него как на что-то личное и реальное, а нужно обращать его наружу, как будто оно спето или написано на холсте, и так далее и так далее. Я могла бы тебе все это повторить слово в слово!

Это «и так далее» повторялось диким рефреном в дальнейшей торопливой речи Клариссы, и почти каждый раз предшествовало у нее утверждение: «И у тебя есть сила на это, но ты не хочешь; я не знаю, почему ты не хочешь, но я буду тебя тормошить!!»

Ульрих не мешал ей говорить; время от времени, когда она приписывала ему что-нибудь вовсе уж далекое от возможного, он безмолвно отрицал это, но не находил в себе воли вмешаться и не снимал руки с ее волос, под которыми он чуть ли не осязал сбивчивую пульсацию этих мыслей. Он никогда еще не видел Клариссу в таком чувствен-

ном возбуждении, и его почти удивило, что и в ее узком, твердом теле тоже может разгораться, разливаться и растекаться женский огонь, и вечная неожиданность того, что женщина, которую ты знал только закрытой для всех, вдруг раскрывается, не преминула оказать свое действие и на сей раз. Ее слова его не отталкивали, хотя они оскорбляли разум, ибо когда они приближались к его внутренней сущности и снова до нелепого далеко от нее уходили, это длительное снование действовало как свист или жужжанье, благозвучие или неблагозвучие которых не ощущается из-за сильной вибрации. Он чувствовал, что это облегчает ему его собственные решения, как дикая музыка, — слушать ее, и только когда ему показалось, что она сама уже не находит выхода из своих речей и конца им, он немного покачал ее голову ладонью, чтобы она опомнилась и образумилась.

Но тут произошло противоположное тому, чего он хотел, ибо Кларисса внезапно бросилась на него. Она стремительно, так что он не мог этому помешать и совершенно остолбенел, обвила рукой его шею и прижалась губами к его губам, быстрым движением подобрала под себя ноги и стала на колени у него на коленях, а плечом

он почувствовал мячик ее груди. Он мало что понимал из того, что она говорила. Она лепетала что-то о своей спасительной силе и о его трусости, и он разобрал только, что он «варвар» и поэтому она намерена зачать спасителя мира от него, а не от Вальтера, но, в сущности, слова ее были только дикой игрой над его ухом, тихим, торопливым бормотаньем, они были больше заняты собой, чем тем, чтобы что-то сообщить, и лишь время от времени в этом рокочущем ручье можно было различить какое-нибудь отдельное слово, «Мо-осбругер» или «взор дьявола». Защищаясь, он схватил свою маленькую притеснительницу за плечи и припер к дивану, теперь она боролась с ним ногами, прижимаясь головой к его лицу, и старалась снова обвить его шею.

— Я убью тебя, если ты не уступишь! — сказала она звонко и ясно. Она была похожа на мальчика, который так охвачен смешанным с нежностью раздражением, что никак не уймется и от возбуждения расходится все больше и больше. Силясь усмирить ее, он лишь слабо чувствовал токи желания в ее теле; однако в тот миг, когда он крепко охватил рукой ее туловище и прижал ее к сиденью, Ульрих ощутил их со всей силой. Это было совершенно так, словно ее тело проникло

в его чувство; ведь он уже давно ее знал и часто устраивал с ней шуточную возню, но он никогда еще так, сверху донизу, не прикасался к этому маленькому, знакомо-чужому существу с дико бьющимся сердцем, и когда теперь движения Клариссы, скованные его руками, смягчились и эта расслабленность членов нежно замерцала в ее глазах, чуть не случилось то, чего он не хотел. В этот миг, однако, он вспомнил о Герде, словно только теперь перед ним встало требование прийти к какому-то окончательному соглашению с самим собой.

— Я не хочу, Кларисса! — сказал он и отпустил ее. — Я хочу сейчас остаться один, мне еще многое нужно уладить перед отъездом!

Когда Кларисса уразумела его отказ, это произошло так, словно в голове ее рывком включили другую систему шестерен. Она видела, как Ульрих с мучительно искаженным лицом стоит в нескольких шагах от нее, видела, как он говорит, ничего как бы не понимала, но, следя за движениями его губ, чувствовала растущее отвращение, потом заметила, что юбки ее задрались выше колен, и вскочила. Еще не опомнившись, она уже стояла на ногах. Она поправила волосы и одежду, словно повалявшись на траве, и сказала:

— Конечно, тебе надо укладывать вещи, я не стану больше тебя задерживать!

Вновь обретя обычную свою улыбку, которая насмешливо-неуверенно пробилась сквозь узкую щелку, она пожелала ему счастливого пути.

— Когда ты вернешься, у нас, вероятно, будет Мейнгаст; он сообщил, что приедет, и это, собственно, я и пришла тебе сказать! — прибавила она невзначай.

Ульрих задержал ее руку.

Палец ее, играя, царапнул его ладонь; ей очень хотелось знать, что, собственно, она сказала ему, а наговорила она, наверно, всякой всячины, потому что была так взволнована, что умудрилась это забыть! Приблизительно она знала, что произошло, и не придавала этому никакой важности, ибо чутье говорило ей, что она была отважна или готова к жертве, а Ульрих сробел. У нее было только желание проститься с ним вполне по-товарищески, чтобы на этот счет у него не оставалось сомнений. Она сказала вскользь:

— Лучше не рассказывай Вальтеру о моем приходе, и пусть то, о чем мы говорили, останется между нами до следующего раза!

У садовой калитки она еще раз протянула ему руку и дальше провожать себя не позволила.

Когда Ульрих вернулся, состояние у него было странное. Ему нужно было написать несколько писем, чтобы проститься с графом Лейнсдорфом и Диотимой, да и многое другое следовало привести в порядок, ибо он предвидел, что вступление в наследство задержит его на длительный срок; затем он сунул в чемоданы, уже упакованные слугой, которого он отправил спать, кое-какие мелкие предметы обихода и книги, и когда он со всем этим покончил, у него уже не было желания ложиться. Он был утомлен и крайне возбужден в результате этого бурного дня, и оба эти состояния не шли на убыль, а, наоборот, усиливали друг друга, и поэтому при большой усталости уснуть он не мог. Не думая, а следуя за скачущими то в одну, то в другую сторону воспоминаниями, Ульрих сначала признался себе в том, что не раз складывавшееся у него впечатление, что Кларисса существо не просто необычное, а втайне, наверно, уже и душевнобольное, никаких больше сомнений не допускает, и все-таки во время своего приступа, или как там назвать недавнее ее состояние, она говорила вещи, обескураживающе похожие на многое из того, что говорил он сам. Это могло бы заставить его поразмыслить о таких вещах снова и основательно, но он почувствовал

в этом только неприятное, противное природе его полусонного состояния напоминание о том, что ему еще многое надо сделать. Почти половина года, который он себе предоставил, уже прошла, а он ни одного вопроса еще не решил. У него мелькнула мысль, что Герда требовала, чтобы он написал книгу об этом. Но он хотел жить, не расщепляя себя на реальную и призрачную части. Он припомнил момент, когда говорил об этом с начальником отдела Туцци. Он видел себя и его стоящими в салоне Диотимы, и в этом было что-то драматическое, что-то лицедейское. Он вспомнил, как он сказал вскользь, что ему придется, видно, либо написать книгу, либо покончить с собой. Но и мысль о смерти была, когда он рассматривал ее теперь и, так сказать, с близкой дистанции, отнюдь не подлинным выражением его состояния; ибо когда он, предаваясь ей, представлял себе, что может ведь, вместо того чтобы уезжать, покончить с собой еще до утра, ему казалось, что получится просто неуместное совпадение, если он сделает это в момент, когда узнал о смерти отца! Он находился в том полусонном состоянии, при котором картины, рисуемые воображением, начинают гнать одна другую. Он представлял себе ствол огнестрельного оружия

и, заглядывая в его темноту, где видел черное ничто, отрезающий глубину мрак, чувствовал всю странность сходства, всю поразительность совпадения, по которому этот же образ заряженного оружия был в его юности любимым образом его ожидавшей полета и цели воли. И вдруг он увидел много таких картин, как картина пистолета и его беседы с Туцци. Вид луга ранним утром. Открывающаяся из окна поезда, наполненная густым вечерним туманом картина длинной, извилистой долины реки. На другом конце Европы место, где он расстался с любимой; черты любимой были забыты, картина немощеных улиц и крытых камышом домиков была свежа, словно он видел ее вчера. Волосы под мышками у другой любимой — единственное, что осталось от нее. Отдельные части мелодий. Характерность какого-то движения. Запахи клумб, не замеченные когда-то из-за сильных слов, рожденных глубоким волнением душ, — но живые и сегодня, когда эти слова и души забыты. Человек на разных дорогах, зрелище почти мучительное — он сам, от которого осталось как бы множество кукол, в которых пружинки давно сломаны. Казалось бы, такие картины — самое мимолетное на свете, но настает миг, когда вся жизнь распадается на

такие картины, только они стоят на жизненной дороге, кажется, что только от них и к ним она шла, и судьба прислушивалась не к решениям и не к идеям, а к этим таинственным, полубессмысленным картинам.

Но меж тем как это бессмысленное бессилие всех усилий, которыми он гордился, трогало его чуть ли не до слез, в его измученности бессонницей расправлялось или, лучше, пожалуй, сказать, вершилось вокруг него странное чувство. Во всех комнатах еще горели зажженные Клариссой, когда она была одна, лампы, и обилие света текло взад и вперед между стенами и вещами, заполняя промежуточное пространство чем-то почти живым. И наверно, нежность, содержащаяся во всякой безболезненной усталости, изменила общее ощущение его тела, ибо это всегда наличное, хотя и незамечаемое самоощущение тела, и без того ограниченное неточно, перешло в более рыхлое и более широкое состояние. Что-то распустилось, как если бы вдруг развязался узел; и поскольку ни в стенах, ни в вещах ничего на самом деле не изменилось, и никакой бог в комнату этого неверующего не входил, а сам Ульрих отнюдь не отказывался от ясности в своих суждениях (разве что усталость обманывала его на сей

счет), то претерпеть эту перемену могло только отношение между ним и его окружением, причем измениться могла опять-таки не вещественная сторона этого отношения и не чувственные восприятия, не разум, трезво ей соответствующие, нет, изменилось, казалось, какое-то чувство, разливающееся глубоко, как грунтовая вода, чувство, на котором обычно покоятся эти столпы объективного восприятия и мышления, и столпы теперь то ли мягко разошлись, то ли сблизились — это различие в тот же миг тоже потеряло свой смысл. «Это другой взгляд; я становлюсь другим, и потому другим становится то, что со мной связано!» — думал Ульрих, полагая, что хорошо наблюдает за собой. Но можно было и сказать, что его одиночество — состояние, которое находилось ведь не только в нем, но и вокруг него, и, значит, связывало одно с другим, — можно было сказать, и он сам это чувствовал, что это одиночество становилось все плотнее или все больше. Оно шагало сквозь стены, оно прорастало в город, не расширяясь на самом деле, оно прорастало в мир. «Какой мир? — подумал он. Ведь нет никакого мира!» Ему показалось, что это понятие лишилось какого бы то ни было значения. Но Ульрих еще сохранял контроль над собой в доста-

точной степени, чтобы его сразу и покоробило от этой слишком уж выспренней фразы; он не стал искать никаких других слов, напротив, с этого мгновения он начал опять приближаться к полной трезвости бодрствования и через несколько секунд встрепенулся. Брезжил день, примешивая свою тусклость к быстро меркнувшей яркости искусственного света.

Ульрих вскочил и потянулся всем телом. В теле, однако, осталось что-то, чего стряхнуть не удалось. Он провел пальцами по глазам, но взгляд его сохранял что-то от той мягкости прикосновения к вещам, когда погружаешься в них. И вдруг каким-то трудноописуемым образом, словно что-то отхлынуло, словно у него просто иссякла сила отрицать это дольше, он понял, что снова стоит там, где уже находился однажды много лет назад. Улыбаясь, он покачал головой. «Приступ майорши» назвал он насмешливо свое состояние. Разум его нашел, что ничего опасного нет, ибо не было никого, с кем он мог бы повторить такую глупость. Он отворил окно. Снаружи был равнодушный воздух, самый заурядный утренний воздух с первыми звуками городского шума. По мере того как прохлада омывала его виски, нелюбовь европейца к сентиментальной меч-

тательности наполняла его ясной твердостью, и он решил встретить этот поворот событий, если уж так суждено, с предельной точностью. И все же, когда он долго так стоял у окна и бездумно глядел в утро, в нем что-то еще оставалось от сверкающего скольжения чувств.

Он поразился, когда вдруг с торжественным выражением рано вставшего человека вошел слуга, чтобы его разбудить. Он принял ванну, наскоро расшевелил свое тело несколькими гимнастическими движениями и поехал на вокзал.